

Александр **КРЮКОВ**

3



Александр **КРШН**

**Собрание сочинений
в трех томах**



**Москва
„Художественная литература“
1991**

Александр КРШН

**Собрание сочинений
том третий**

**Капитан
дальнего плавания**
Повесть

**Пьесы
Из балтийских
дневников
Статьи о театре**



**Москва
„Художественная литература“
1991**

ББК 84Р7
К83

Составление и научная подготовка текста
Д. Тевекелян, И. Желваковой

Примечания
И. Желваковой

Оформление художника
Р. Вейлерта

К 4702010206-416 Подписное
028(01)-91

ISBN 5-280-01047-2 (Т.3)
ISBN 5-280-01045-6

© Состав, примечания, оформление. Издательство «Художественная литература», 1991 г.

Капитан дальнего плавания



Повесть о друге

В этом здании в 1930—33 годах
учился
МАРИНЕСКО
Александр Иванович,
капитан дальнего плавания,
командир подводной лодки
«С-13»,
потопившей в годы
Великой Отечественной войны
вражеские суда общим
водоизмещением 52 884 тонны.
Мемориальная доска на здании
Одесского мореходного училища

І. «Способен на подвиг»

Эту повесть я начинал много раз. Бросал и принимался писать заново. Ни одна из моих книг не давалась мне так трудно.

Изменялись обстоятельства, изменялся я сам. Неизменным оставалось только мое отношение к герою.

Об Александре Ивановиче Маринеско и бессмертном подвиге балтийской подводной лодки «С-13» я писал и раньше. Писал бегло, от случая к случаю. Мысль о книге пришла позже, когда Александра Ивановича уже не было в живых, и пришла она не мне, а Ивану Степановичу Исакову. Эту книгу мы должны были писать вместе.

Иван Степанович Исаков, прославленный флотоводец и выдающийся ученый, обладал незаурядным литературным дарованием. Об участии Исакова в судьбе Маринеско, о заочной дружбе, связывавшей этих замечательных людей в последние годы их жизни, я расскажу дальше. Сперва — о книге.

У меня сохранился составленный Иваном Степановичем и подписанный нами обоими проект, состоящий из десяти пунктов и дающий исчерпывающее представление об отношении Исакова к личности и подвигу Маринеско. Приведу только первый пункт:

«Чего мы добиваемся (разрядка И. С. Исакова.— А. К.) при разборе и анализе материалов и человеческих свидетельств о героической жизни и судьбе Александра Ивановича Маринеско:

1. Чтобы ярче заблистал и стал доступным для всего советского народа один из замечательных подвиг-

гов экипажа балтийской подводной лодки «С-13» под командованием капитана 3-го ранга Маринеско. К сожалению, несмотря на истекшие 20 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, мало кто знает о той роли, которую сыграла «С-13» для ускорения морального и физического разгрома гитлеризма».

На последней странице рукой Ивана Степановича: «Принято условно, в качестве отправного пункта для начала работы, в процессе которой будет проясняться не только ее содержание, но и цель».

Подписи и дата: 2/3 июня 1965 года. Такая датировка может показаться необычной. Я нахожу ей только одно объяснение: проект был написан ночью. Мучительные боли в ампутированной ноге часто не давали Ивану Степановичу заснуть. В таких случаях он вставал и, преодолевая боль, садился за пишущую машинку.

Итак, подвиг, ускоривший моральный и физический разгром гитлеризма, это очень ответственные слова, а Иван Степанович слов на ветер не бросал. В главе, посвященной боевому походу, я, опираясь на свидетельства участников, постараюсь подробнее рассказать об этом подвиге, а пока ограничусь краткой справкой.

30 января 1945 года подводная лодка «С-13» под командованием капитана 3-го ранга А. И. Маринеско потопила в районе Штольпмюнде гигантский лайнер фашистского флота «Вильгельм Густлов» водоизмещением 25 484 тонны, на борту которого находилось свыше семи тысяч эвакуировавшихся из Данцига под ударами наступающих советских войск фашистов: солдат, офицеров и высокопоставленных представителей нацистской элиты, палачей и карателей. На «Густлове», служившем до выхода в море плавбазой для школы подводного плавания, находилось свыше трех тысяч обученных подводников — примерно семьдесят экипажей для новых подлодок гитлеровского флота. В том же походе Маринеско торпедировал большой военный транспорт «Генерал Штойбен», на нем переправлялись из Кенигсберга 3600 солдат и офицеров вермахта. «За один этот боевой поход,— пишет в своей статье «Боевая деятельность подводных лодок КБФ в 1944—1945 гг.» кандидат военно-морских наук В. А. Полещук,— Маринеско по существу отправил на дно целую дивизию». Из этой же статьи я взял основные цифры.

С небольшими разночтениями сведения о подвиге

«С-13» сегодня можно найти в других трудах советских военных историков и в общей печати; в имеющемся у меня далеко не полном списке публикаций последних лет свыше ста названий — от научных трудов до детского журнальчика и отрывных календарей. С более существенными разночтениями — в книгах наших бывших противников. И бывших союзников. Уточнить все, что касается класса и водоизмещения потопленных кораблей, а также кораблей конвоя, численности и характера находившихся на борту контингентов — задача специалистов. Она решена еще не полностью. И. С. Исаков всячески подчеркивал, что позднейшая советская версия должна быть наиболее достоверной и обстоятельной, подвиг «С-13» сам по себе настолько значителен, что не нуждается в преувеличениях и украшательстве. Это дело ближайшего будущего, а пока читателю достаточно знать: на исходе войны фашистскую Германию постигла катастрофа, перед которой бледнеют все сохранившиеся в памяти человечества морские катастрофы.

«Расплата за воину» — так назвал автор вышедшей в 1959 году в Гамбурге книги, немецкий историк К. Беккер, ту главу, где он описывает гибель «Густлова».

А наш советский историк И. С. Исаков в статье, посвященной двадцатилетию Победы и опубликованной в журнале «Советский Союз», отвечая на вопрос, что ему особенно запомнилось из боевых действий в последний период войны и что наиболее воздействовало на фашистов, ускорив их разгром, писал: «...пришел к убеждению, что таким героическим подвигом, потрясшим фашистов, начиная с самого Гитлера, является беспримерный успех атак подводной лодки «С-13».

Этим авторитетным суждением я на первых порах и ограничусь. Иван Степанович считал, что любое повествование о боевых походах «С-13» было бы неполно без правдивой характеристики ее отважного командира. Поэтому он предложил оригинальную и в то же время устраивавшую его форму соавторства. Исаков, никогда не встречавшийся с Маринеско, брал на себя всесторонний анализ документов о боевой деятельности командира «С-13»; я должен был рассказать о человеке, которого знал и любил. Два пеленга — аналитический обзор и психологический портрет. Предполагалось, что повествование пойдет двумя равноправными, но несливающимися потоками, возможно различными

шрифтами. Или даже так: нечетные страницы пишет военный историк, четные — мемуарист. В заключительной главе оба потока должны были слиться воедино. Работа нас увлекла, но вскоре застопорилась из-за резкого обострения болезни Ивана Степановича. Незадолго до своей кончины он писал мне: «Кажется, придется Вам писать эту книгу одному».

И я остался один. Взять на себя обе задачи было мне явно не по силам. Не обладая авторитетом и специальными знаниями Исакова, я не мог быть судьей походов Маринеско, не будучи их участником — не мог быть летописцем. Прекратить работу? Но это было бы предательством, забвением своего долга перед светлой памятью Александра Ивановича и Ивана Степановича, перед экипажем корабля, перед всеми, кто помогал мне по крупицам восстанавливать живые черты героя и события, уже покрывшиеся патиной времени, наконец, перед читателями, которые уже многие годы не перестают интересоваться личностью Маринеско, пишут мне письма и задают вопросы на читательских конференциях. Число их с годами не уменьшается, а растет. У меня, как у всякого действующего литератора, есть своя особая читательская почта. В это понятие не входит обычная дружеская переписка, хотя друзья — это тоже читатели. Речь идет о письмах, которые приходят от людей совершенно незнакомых. Писем, так или иначе касающихся подвига «С-13» и личности Маринеско, за двадцать лет накопилось множество, они уже не умещаются в ящиках стола. Из этих писем самые дорогие — сообщения из школьных читательских клубов, поисковых групп, отрядов красных следопытов и созданных ими музеев. С некоторыми из них я переписываюсь и глубоко убежден, что дело, которым занимаются рассеянные по всей стране ревнители воинской славы Маринеско, есть дело в высшей степени полезное и имеет самое прямое отношение к тому, что мы называем военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Есть еще одна причина, почему я не вправе молчать. Нетрудно догадаться, что имя Маринеско достаточно известно и на Западе. О писаниях К. Беккера, Г. Шена и других западногерманских военных историков покойный И. С. Исаков отзывался с иронией. «Все они, — говорил Иван Степанович, — на разные лады пытаются принизить значение потопления «Густлова» и «Штойбена» для разгрома фашистского рейха, всячески под-

черкнуть, что на борту «Густлова» были гражданские лица и семьи военнослужащих, и при этом умалчивают, почему спаслись от гибели многие brave вояки, в том числе и авторы воспоминаний».

Не без греха в этом отношении и более серьезный историк германского флота Ю. Ровер. Но он хотя бы отдает должное бывшему противнику. «Мы видели,— писал Ю. Ровер в 50-х годах,— что советские подводники — люди высокого порыва, доблести, упорства, хорошо обучены, обладали необходимым опытом, а также хорошими морскими качествами и тактической подготовкой». Самым значительным успехом балтийских подводников он признает январский рейд «С-13».

В своей книге «На флотах боевая тревога» (1971) Н. Г. Кузнецов пишет: «Потопление «Вильгельма Густлова» явилось значительным событием даже на фоне наших крупных побед в те дни». Однако за последние годы в западной печати все чаще встречаются попытки ревизовать значение атак «С-13».

Передо мной лежат два солидных тома в глянцевах суперобложках. На обоих изображено одно и то же — погружающийся в холодные балтийские волны гигант. Сходны и названия. Одна книга, немецкая, называется «Nackt in den Tod» («Голыми в смерть»). Другая английская, — «The Cruellest Night» («Ужасная ночь»). Написаны они в разных жанрах, на разных языках и разными людьми. Одна — бывшим противником. Другая — бывшими союзниками.

Книга Иоахима Брока «Nackt in den Tod» — роман. Выбор жанра поначалу удивляет, и не потому, что автор, по профессии дантист, взялся за эту труднейшую форму. Пути в литературу никому не заказаны. Обращает внимание другое. Лайнер, на котором происходит действие романа, называется «Вильгельм Густлов», а автор — свидетель и участник разыгравшихся на его борту событий, в описываемое время — лейтенант гитлеровского флота, командир взвода 2-го отряда 2-го учебного дивизиона. Из тех самых подводников, чьей плавучей базой был «Густлов». Из всех прав, которые предоставляет автору свободная романная форма, он воспользовался только одним — правом на вымысел. Задача автора ясна — доказать, что лайнер был не плавучей казармой подплава, где нашли ненадежный приют удиравшие от справедливого возмездия фашистские бонзы, палачи и каратели, а почти беззащитным

прибежищем невинных жертв, не беглецов, а «беженцев». О Маринеско ни слова, но нетрудно понять, кого Брок считает своими заклятыми врагами.

Но довольно о Броке. Брок — неразоружившийся гитлеровец, сменивший кортик на бормашину, но не усвоивший уроков поражения. Его книга любопытна как показатель растущей за последние годы в странах НАТО тенденции исказить историю второй мировой войны и опорочить подвиги наших героев. Гораздо интереснее другая книга, написанная и изданная в стране, которая в битве с фашизмом была нашим союзником.

Книга выпущена совсем недавно, в 1979 году, солидным издательством «Хэддер и Стоунтон» (Лондон, Сидней, Окленд, Торонто) и рассчитана на все англоязычные страны. Авторы книги — английские журналисты Кристофер Добсон, Джон Миллер и Рональд Пэйн. В отличие от Брока, авторы не были и не могли быть свидетелями описываемых событий. Тем не менее книга претендует на документальность. Использованы десятки свидетельств, интервью взято даже у гросс-адмирала Деница, командовавшего в годы войны фашистским флотом, того самого отсидевшего срок военного преступника, кого Гитлер перед смертью назначил своим преемником. Книга иллюстрирована фотографиями. На одной вклейке «Густлов» и гросс-адмирал Дениц в полной парадной форме, на другой — «С-13» и портрет Маринеско. Так что книга претендует на объективность. Авторы пишут не только о гибели «Густлова», но и об атаке «С-13». Впрочем, претензии эти не способны обмануть самого доверчивого читателя. Не в том дело, что о «Густлове» в книге написано много, а о подвиге «С-13» — мало. И большая часть книги, где описывается катастрофа, и немногие страницы, посвященные «С-13» и ее командиру, в одинаковой мере служат единой цели: дискредитировать подвиг «С-13», изобразить «Густлов» как спасательное судно и легкую добычу, а успех атаки «С-13» — случайной удачей. О «Штойбене» в книге, конечно, ни слова. Еще бы, вспомогательный крейсер с целым полком на борту. Тут уж никакие ухищрения не помогут.

Как ни близка «концепция» трех авторов к свободному творчеству Брока, они временами проговариваются. В погоне за сенсацией они подробно излагают свою беседу с высокопочитаемым гросс-адмиралом, ко-

торый не скрыл, что 21 января, всего за несколько дней до гибели «Густлова», он передал в эфир кодовый сигнал «Ганнибал», предписывающий всем подводникам, обучавшимся в районе Данцига, срочно возвратиться на главные базы, в Киль и Гамбург. Нужны были команды для лодок нового типа, нацеленных на коммуникации союзников, и прежде всего на морскую блокаду Великобритании. Вот эти-то команды и должен был доставить «Густлов».

Самое постыдное в книге — то, как изображен в ней Александр Иванович Маринеско. Собирая материал для своей книги в ФРГ, авторы еще соблюдают приличия, ссылаются на документы, называют людей, от которых они получали сведения. В части, касающейся советской подводной лодки и ее команды, мы сталкиваемся только с необузданной, и притом весьма дурно пахнувшей, фантазией. А ведь известно, что один из авторов, Джон Миллер, дважды приезжал в СССР со специальной целью — добыть интересующие его данные из биографии Саши Маринеско (Александра Ивановича г. Миллер и К° с непонятной для меня фамильярностью именуют Сашей; впрочем, развязности им не занимать). Кто же такой, судя по книге английских журналистов, Саша Маринеско? В юности — мелкий воришка, малограмотный и циничный удалец, связанный с блатным миром, усвоивший правила жизни на одесских базарах и до конца жизни объяснявшийся на полублатном портовом жаргоне. В зрелые годы — пьяница и бунтарь, за отчаянную смелость стяжавший славу «подводного аса», а затем разжалованный и высланный на рабский труд в ужасный советский лагерь на Колыме. Авторы намекают, что Миллеру удалось «приоткрыть завесу тайны», тяготевшей над судьбой Маринеско, на какой-то политический скандал, в котором был якобы замешан командир «С-13», чем и объясняется длительное молчание вокруг имени Маринеско. Авторы утверждают также, что, не в пример западным немцам, охотно сотрудничавшим с ними, русские официальные лица всячески «отводили» вопросы г. Миллера. Не знаю, к кому из официальных лиц обращался Миллер, их он не называет. Очевидно, он предпочитал пути неофициальные. Опубликованные в советской печати материалы его не заинтересовали. В книге глухо говорится о каких-то пожелавших остаться анонимными источниках. Прием знакомый. Я что-то не верю.

что среди соратников и друзей Маринеско нашлись люди, которые наболтали весь этот вздор да еще просили не называть имен. Но зато я определенно знаю людей (к ним принадлежу я сам), не захотевших встречаться с г. Миллером. Разгадать его намерения не представляло большого труда.

Я рассказал об этих книгах не для того, чтобы с ними полемизировать. Они этого не заслуживают. Но само существование подобных книг — лишний аргумент, доказательство того, как нужна именно теперь полная и неприкрашенная, не оставляющая почвы для лукавых домыслов правда о Маринеско.

* * *

Итак, мне предстояло принять решение. Далось оно нелегко.

Одно было для меня ясно с самого начала — никакой беллетристики. Никакого сочинительства, ни малейшей попытки создать собирательный образ. Александр Иванович Маринеско такой, каким он был в жизни и каким его знали друзья, со всеми его достоинствами и недостатками, гораздо ярче и интереснее того, что я мог бы про него выдумать.

Напрашивался вывод — надо писать нечто строго документальное. Пусть документы говорят сами за себя.

Я вооружился ножницами и клеем — и потерпел крах. Документы говорили сами за себя, но говорили разное.

От мысли получить и использовать материалы, собранные Иваном Степановичем, я очень скоро отказался. В моем распоряжении оказалось достаточно документов другого рода — музейных и, так сказать, человеческих; собственноручные записи и письма Александра Ивановича, мои собственные дневники, куда я по свежей памяти заносил рассказанное им во время наших встреч, письменные и запечатленные на магнитофонной ленте свидетельства соратников, фотографии и выписки из опубликованных в печати материалов.

Во всех этих документах нет ничего секретного, но много загадочного и противоречивого. И больше всего противоречий в материалах опубликованных. Несколько первых газетных публикаций, относящихся к началу шестидесятых годов, по праву носили заголовки «Не-

известный подвиг». С годами подвиг из неизвестного превратился в легендарный.

Здесь я позволю себе сделать некоторое отступление. Мы не всегда правильно пользуемся эпитетом «легендарный». Зачастую мы делаем его синонимом слова «прославленный» (или «знаменитый») и упускаем важный оттенок. Народной молве, устному эпосу, легендам, мифам и сказкам мы обязаны тем, что до нас, «как свет потухших звезд», доходит весть о делах наших далеких предков. Там, где есть документы или живые свидетели, мифы и легенды отступают, и если рождаются, то как следствие недостаточной или искаженной информации.

А впрочем, документальность еще не дает патента на бесспорность. Документы пишутся людьми. Документы можно отбирать и монтировать. Иногда в результате такого отбора и монтажа рождается искусство.

В моем случае этого не произошло. Все, взятое порознь, было как будто и достоверно, и интересно, а живший в моей памяти сложный и привлекательный образ не складывался. Каждая страница требовала сносок и пояснений; то, что для меня имело цвет, вкус и запах, для читателя восьмидесятых годов может оказаться попросту непонятным. Этот читатель не обязан знать ни устройства подводных лодок, построенных в тридцатые годы, ни привычных для моряков военного поколения сокращенных обозначений, ни особенностей военно-стратегической обстановки на Балтике. Никакие подстрочные примечания не спасали положения. Не хватало чего-то самого существенного.

А время шло. Количество публикаций, в том числе зарубежных, росло. Моя рукопись устарела, не сходя с письменного стола. И я понял: от меня ждут не информации, а жизнеописания.

Тогда я бросился в другую крайность. Начал писать биографический очерк. Несколько традиционный, в подчеркнуто спокойной, объективной манере («Александр Иванович Маринеско родился в Одессе 2(15) февраля 1913 года в семье рабочего...») — так, как пишутся многие биографии для серии «Жизнь замечательных людей». И вновь потерпел неудачу. Не потому, что мой герой — человек несомненно замечательный — того недостоин, а потому, что его образ, так сказать, еще не созрел для бронзы, споры вокруг личности и подвига Александра Маринеско не умолкают до сих пор. Откуда

взяться эпическому спокойствию? К тому же очень скоро я заметил, что неотвратимо скатываюсь к самому чуждому мне жанру — обезличенному, слегка беллетризованному очерку, из которого невозможно понять, откуда автор почерпнул свои сведения, что видел сам, о чем знает с чужих слов и откуда ему ведомы мысли и чувства участников описываемых событий.

Таким образом, я вновь пришел к тому, от чего пытался уйти, — к воспоминаниям. Пришел, обогащенный опытом своих неудач.

Отдаю себе отчет, что мои личные воспоминания недостаточны, во время войны я с Александром Ивановичем почти не встречался, и сблизились мы только в последние годы его жизни. На помощь мне придут собранные мной сведения, в первую очередь — свидетельства соратников. Кому-то мои воспоминания покажутся субъективными. Иными они и не могут быть, от субъективности не спасает и документальность, но я обещаю читателю нигде не злоупотреблять его доверием. Расскажу только о том, что видел и слышал. Источники — назову. Свои догадки оговорю. Из несходных версий постараюсь выбрать наиболее надежную. Конечно, возможны ошибки. Я готов их исправить.

Свой рассказ я привычно поведу от первого лица. Это позволит мне попутно поделиться с читателями некоторыми накопившимися у меня в ходе работы соображениями, не выдавая их за истину в последней инстанции. Надеюсь, читатели не воспримут это как нескромность. Для доверительного разговора «я» удобнее, да, пожалуй, и скромнее, чем «мы».

Кстати, о названии. Александр Иванович много раз говорил мне, а однажды написал в письме, что не считает себя героем. Больше того, никогда, даже в детстве, не стремился им стать. Пределом его мечтаний с самых ранних лет было стать капитаном дальнего плавания. Он и стал им, хотя жизнь внесла в его мечту свои жесткие поправки. Об этом повесть.

* * *

Память бывает двух родов — логическая и образная. Память ума и память сердца.

Конечно, я упрощаю — одна не существует без другой. И все-таки гораздо легче восстановить в памяти то, что ты когда-то знал, чем то, что ты некогда чувство-

вал. Нужен толчок, приводящий в действие механизм нашей образной памяти. Происходит он самым неожиданным и не всегда подвластным нам способом. Его может вызвать самый простенький сувенир, пожелтевшее от времени письмо или даже нечто менее вещественное: знакомый запах, чем-то памятный пейзаж и особенно звуки — музыка, песня...

Я прижимаю к уху «микрорекордер» — маленький репортерский магнитофончик — и слышу звуки духового оркестра, гул военного плаца, согласный топот сотен ног, усиленные мощными репродукторами голоса ораторов на трибуне, и в моей памяти оживает весь тот день, в котором для меня смешались радость и горечь, торжество и боль.

7 мая 1978 года. Солнечное, но еще прохладное ленинградское утро. Просторный, как городская площадь, плац Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола. На празднично украшенной трибуне командование училища и почетные гости — двадцать пять членов экипажа краснознаменной подводной лодки «С-13», приехавших на традиционный сбор ветеранов-подводников Балтики. Двадцать пять — это больше половины команды, в таком полном составе рассеянные по всей стране участники походов «С-13» собрались впервые. И чувствуют их так тоже впервые. Впервые перед командой «С-13» во главе с помощником командира корабля Львом Петровичем Ефременковым проходит церемониальным маршем, рота за ротой, все училище. Впервые имя покойного командира грохочет в мощных динамиках на весь огромный плац так, что слышно на прилегающих к плацу улицах.

От всего этого радостно на душе. А горько оттого, что командир всего этого не слышит.

Гул плаца и звуки оркестра резко обрываются. Тихий щелчок, и вновь возникает гул, но уже другой — запись сделана в закрытом помещении. Голоса отражаются от стен и потолка, и слова разобрать трудно. Зато ясно слышатся шорохи и дыхание сидящих рядом со мной людей, и в моей памяти мгновенно возникает просторный кубрик, ставший тесным от набившихся в него курсантов, а затем я узнаю слегка скандирующую речь штурмана «С-13» Н. Я. Редкобородова. Он рассказывает о походах корабля и отвечает на вопросы молодежи. Мы с Николаем Яковлевичем старые друзья, и я

имел возможность записать его драгоценные для меня рассказы в более подходящей обстановке, этот же кусочек магнитной пленки имеет для меня совсем другую ценность — ассоциативную. Теперь в моей памяти отчетливее всплывают впечатления того дня — и обед в курсантской столовой, и с оглядкой выпитые в чьем-то кабинете праздничные пятьдесят граммов спирта, и веселый гомон в заказном автобусе, везущем ветеранов «С-13» и немногих приглашенных гостей команды через Неву на Биржевую площадь в Центральный военно-морской музей. Там мы почтительно, но торопливо проходим через храмовой вышины экспозиционные залы, где привольно, как под открытым небом, расположились многомачтовые модели старинных кораблей, бронзовые статуи флотоводцев и огромные, вырубленные из цельных стволов весла галер и галионов. У подводников мало времени, они полны впечатлениями дня, а впереди еще посещение Богословского кладбища, где похоронен командир. Надолго задерживаются они только у небольшой витрины, где под стеклом выставлена знакомая фотография Александра Ивановича, его ордена (орден Ленина без муаровой ленточки, — значит, получен в самом начале войны) и очень краткая справка о потоплении «Густлова». Более чем скромно. Но восемнадцать лет назад, когда я впервые пришел в музей, не было и этого.

Здесь запись кончается — не записывать же на пленку молчание. Вместе со всеми я смотрю на это прекрасное, полное жизни, все еще мальчишеское лицо и не в первый раз задаю себе вопрос: в чем его неотразимая привлекательность? Вряд ли найдется кинорежиссер, который взял бы на роль главного героя актера с такими данными. А если б и взял, его не утвердил бы худсовет. Круглое лицо, нос картошкой. Ни глубокомысленной складки между бровями, ни изобличающего железную волю квадратного подбородка. А в итоге — ощущение силы. Силы, которая себя прячет, а не демонстрирует. Прячет до поры.

Я выключаю магнитофон и раскидываю по столу свое богатство — десятка три фотографий Александра Ивановича, подаренных мне или переснятых, и вновь вглядываюсь в эти любительские снимки. Маринеско на мостике подводной лодки. Маринеско в центральном посту у перископа, Маринеско в кругу команды. И более поздние, снятые уже в мирное время во время

Кронштадтских сборов. Веселая церемония на пирсе учебного отряда: Александр Иванович принимает в дар от начальника отряда, своего бывшего комдива Евгения Гавриловича Юнакова, живого поросенка. Этим традиционным подарком подводники встречали возвращающихся из боевого похода победителей. Александр Иванович и адмирал В. Ф. Трибуц, командовавший Балтийским флотом в годы войны. Они курят и о чем-то мирно беседуют. Александр Иванович в «комнате славы» учебного отряда отвечает на вопросы молодых моряков. Впечатление такое, что все снимки сделаны скрытой камерой. Абсолютная естественность, полное отсутствие позы. Не хочу сказать, что на всех тридцати снимках он одинаков. Сказываются и годы, и настроение, в котором его захватил объектив. Но он везде верен себе. Один и тот же с матросом и адмиралом. В центре дружеского внимания и наедине со своими мыслями.

Особенно дорога мне одна фотография. Ее подарил мне председатель Совета ветеранов-подводников Балтики вице-адмирал Лев Андреевич Курников, во время войны начальник штаба нашей бригады. На фото мы сняты вместе с Александром Ивановичем. Третий в кадре — наш общий друг, бывший флагманский штурман бригады, ныне покойный Н. Н. Настай. Настай в морской форме, Александр Иванович в пиджаке и белой рубашке с галстуком, через руку переброшен легкий плащ. На лацкане пиджака только один орден Ленина, тот самый, без ленточки, что выставлен теперь в музейной витрине. Мы стоим у гранитного парапета, сзади широкая Нева, горизонт закрывает мост Лейтенанта Шмидта. По этим признакам легко угадываются и место, и дата. Июнь 1963 года. Университетская набережная. Раннее утро. Скоро должны подать «плавсредства», которые перевезут ветеранов-подводников из Ленинграда в Кронштадт на традиционную встречу. Дата и место не вызывают сомнений, а вот о чем мы трое говорили за несколько секунд до того, как возникла эта уловленная чьим-то объективом тревожная пауза, восстановить уже невозможно, и мне все чаще приходит в голову, что я ошибаюсь: это не встреча, а расставание. Мы стоим на фоне светлого неба, но Ленинград — город белых ночей, и в июне вечера там почти неотличимы от раннего утра. А если так, то все становится на свои места: сбор уже позади, нас привезли в Ленинград, остались считанные минуты до послед-

него рукопожатия, понятны и плохо скрытая тревога на наших с Настаем лицах, и невеселое раздумье на еще недавно оживленном лице Маринеско. На этой фотографии он уже немолод, все мальчишеское куда-то ушло, на лбу залегли морщины, но и до старости ему еще далеко, в темных волосах не блестит седина, а от всей его невысокой, но крепкой, нерасплывшейся фигуры по-прежнему исходит ощущение сдержанной силы. И трудно поверить, что этому поразительно жизнестойкому и жизнелюбивому человеку осталось жить всего несколько месяцев.

Знали ли мы, его друзья, что страшная болезнь уже проникла в него? Не знали, как не знал до конца и сам Александр Иванович, но нас уже точила тревога. На сборе ветеранов он был, как всегда, оживлен, дружелюбен, открыт, но покашливал странно, не по-простудному, и тогда лицо его сразу старело и становилось таким, каким его запечатлел объектив на этом, вполне вероятно, последнем по времени снимке.

Не перестаю огорчаться, что среди множества магнитофонных записей у меня не записан голос Александра Ивановича: когда мы с ним встречались, у меня еще не было портативного магнитофона. Но я и так помню его голос. То же ощущение сдержанной силы, что и от внешности. Говорил он всегда негромко, но так, что хотелось слушать. Подводники вообще народ не шумный, в центральном посту и в рубке подводной лодки принято говорить вполголоса и обходиться без лишних слов. Эта привычка сказывается и на берегу. Даже в возбуждении Александр Иванович редко повышал голос. Разве только когда пел. Петь он любил, пел хорошо, по-русски и по-украински и даже под хмельком не фальшивил. Как впрочем, и в быту. А чужую фальшь угадывал мгновенно, и это наводит на мысль, что музыкальность слуха — качество не только физиологическое. Слух у Александра Ивановича был тончайший.

Прошло то время, когда подвиг Маринеско оставался неизвестным народу, теперь никто не спорит, что он — настоящий герой. Но ведь не единственный же. Я знал и знаю многих не менее отважных. «Рядом с героями» — так называлась вышедшая в шестидесятых годах книга воспоминаний писателей-фронтовиков Ленинграда и Балтики. Название очень точное. И по долгу службы, и по характеру своей профессии воен-

ные литераторы оказались летописцами героического времени, пройдя за годы войны сложный путь от фронтового репортажа к первым, еще несовершенным попыткам понять и осмыслить природу массового героизма советских воинов и приблизиться к первым художественным обобщениям. От поступка найти ход к побуждению, от побуждения к характеру. Так было уже тогда, и нет ничего удивительного в том, что сегодня меня интересует не тоннаж потопленных Маринеско вражеских судов, а в первую очередь героический характер. Яркий, самобытный, знавший и взлеты, и падения, но при этом удивительно цельный. Уязвимый, но в своей основе нестигаемый и бескомпромиссный. Способный возвышаться над обстоятельствами и подчинять их себе. И наконец, что немаловажно, — отмеченный печатью таланта. Талант и героизм — понятия сопряженные. Талантливому человеку, для того чтобы полностью осуществить заложенные в нем возможности, необходима воля, зачастую героическая воля. Точно так же человеку героического склада для совершения выдающегося подвига в большинстве случаев необходимо высокое профессиональное мастерство, доступное только людям одаренным.

Героический характер. Чтобы пояснить, что я подразумеваю под этими словами, мне придется сделать некоторое отступление и попытаться определить содержание, которое мы привычно вкладываем в ставшие расхожими слова «героизм», «подвиг». В годы войны мы столько раз сталкивались с этими понятиями в жизни, что почти не испытывали нужды в теоретических определениях. Вместо определений мы приводили примеры, десятки, сотни свежих ошеломляющих фактов. И факты говорили сами за себя.

Но время идет. На смену воинскому подвигу пришла героика созидательного труда. Возникла потребность глубже осмыслить духовный опыт войны, внести необходимые поправки в некоторые сложившиеся представления, все чаще возникают споры и происходят переоценки людей и событий на основе новых данных. Наряду с этим растет потребность в уточнении нашей привычной терминологии.

Итак, что же такое герой и героизм? Для объяснения слов существуют толковые словари. Снимаю с полки третий том «Словаря современного литературного русского языка» (1954) и раскрываю на слове «герой».

Полных четыре столбца убористого текста. С научной тщательностью собраны все возможные оттенки слова — от героя в понимании древних эллинов, полубога, наделенного сверхъестественной силой и способностями, до «героя дня» — человека, на короткое время обратившего на себя всеобщее внимание; от героини как театрального амплуа до пишущегося с прописной буквы почетного звания Матери-героини. Все эти исторически сложившиеся понятия не тождественны, и о каждом из них стоит поразмыслить. Выделим сразу в самостоятельную категорию Героя с большой буквы, Героя как звание, как высшую правительственную награду, она дается за особо значительные заслуги и по существующему статуту может быть присвоена не единожды. Героем со строчной буквы можно быть лишь однажды, это скорее характер человека, чем оценка его деяний, и нередко, называя человека героем, мы имеем в виду не столько объективную значимость совершенного им деяния, сколько те черты личности, которые подвигли его на вызывающий наше восхищение поступок. Я нарочно употребил этот прекрасный древний глагол, потому что он многое проясняет в более привычном слове «подвиг». В своем основополагающем определении толковый словарь говорит: «Герой — человек, совершающий подвиги»; и хотя слово «подвиг» тоже многозначно и многооттеночно, в нем как бы закапсулированы два составляющих единство, но находящихся в сложном взаимодействии элемента: высокая общественная ценность поступка, дающая ему право называться подвигом, и те высокие нравственные качества, подвигнувшие человека преодолеть все трудности и опасности на пути к его свершению. В каждом подвиге объективный смысл деяния и субъективные человеческие побуждения находятся в сложных, разнообразных, зачастую противоречивых отношениях. К этой теме я еще неизбежно вернусь, а пока признаюсь, что наряду с объективным смыслом подвига Маринеско меня не в меньшей мере увлекают те стороны его личности, которые я расцениваю как героический склад характера. И то, что сам Маринеско и на словах, и письменно заявлял, что никогда не считал себя героем и не мечтал им быть, несколько тому не противоречит. Мечтает стать героем почти любой подросток, иногда это свидетельствует только о честолюбии. Рост материальной и духовной культуры отразился и на процессе

формирования героического характера. Чтобы совершить подвиг во время войны и тем более в мирное время, как правило, уже недостаточно самоотверженности и готовности рисковать собой — подвиг сегодня может совершить только человек хорошо вооруженный. Вооруженный, конечно, в самом широком смысле — не только оружием, но и умением, знаниями, навыками, наконец, вооруженный идейно, отлично знающий, во имя чего он идет на подвиг.

И конечно, постепенно складывающийся во мне образ Маринеско привлек меня тем, что героическое начало было в нем глубочайшим образом заложено; чем больше я узнавал его и о нем, тем яснее становилось для меня, что беспримерный, по слову И. С. Исакова, январский рейд 1945 года не был яркой вспышкой, на короткое время осветившей фигуру человека заурядного, а предопределен всей его предшествующей жизнью. Я увидел в Александре Маринеско один из тех характеров, которые привлекали меня всегда. И в жизни, и в искусстве.

Здесь я позволю себе некоторый экскурс в прошлое.

В течение моей, как выяснилось, уже довольно долгой жизни у меня было несколько друзей, погибших в самом расцвете лет. И хотя они не совершили каких-либо чрезвычайных подвигов, они остались в моей благодарной памяти как люди героического склада. Никто из них не ушел из жизни бесследно, но я убежден, что только ранняя смерть помешала им совершить нечто более значительное, еще более заслуживающее названия «подвиг», чем то, что они успели за свою короткую, но активную, отмеченную самостоятельностью решений жизнь. Вся их жизнь была подготовкой к подвигу, они непрерывно тренировали и закаливали свою волю для какого-то еще неясного по очертаниям, но несомненного для них главного дела, главного поступка.

Валентин Кукушкин, Юрий Крымов, Алексей Лебедев.

Они были очень разными, эти люди, и объединяла их только страстная любовь к литературе. Между собой они не были знакомы, возникли в моей жизни в разные периоды, и я потерял их одного за другим. Не вернувшиеся с войны Крымов и Лебедев оставили после себя книги. Проза Крымова и стихи Лебедева живут и сегодня. С Вале́й Кукушкиным, скончавшимся в 1930 году в возрасте двадцати лет от осложнения после скарлати-

ны, мы подружились детьми. В годы гражданской войны мы оба были воспитанниками трудовой колонии при Биостанции Юных Натуралистов под Москвой. Помимо общего для всех интереса к живой природе нас с Вале́й сближало страстное увлечение литературой и театром. Валентин ни в чем не знал удержу — это была натура бурная, подверженная разнообразным, зачастую скоропреходящим увлечениям, однако все его интересы, в том числе биология, спорт и театр, казались ему слишком мирными и, так сказать, побочными. У него был темперамент бойца. «Такие люди, как мы с тобой, — сказал мне однажды Валька, — должны готовить себя к революционной деятельности. Мировая революция нас ждать не будет. Надо пойти на производство, чтоб приобрести пролетарскую закалку. А дальше — видно будет. Пойдем, куда пошлют. Искусство — прекрасная вещь, но заниматься им надо только в свободное время».

«Таким людям» было в то время лет по двенадцать. Но время было такое. И позже, когда жизнь внесла свои поправки в наши детские мечтания, Валентин остался верен себе. Пошел на производство, а затем поступил в военное училище. Работал в типографии, написал свою первую пьесу, поставленную Театром рабочей молодежи. Нелепая смерть прервала его работу над второй пьесой, принятой к постановке вахтанговцами. Трудно сказать, кем бы стал Валентин Кукушкин к началу войны — драматургом или командиром полка, но в одном я уверен твердо: это был человек, заряженный на подвиг. И даже когда такие ребята не успевают свершить всего задуманного, они оставляют след в сознании знавших их людей, они как бы электризуют среду.

Юрий Крымов до начала войны дожил. И не только дожил, но успел прославиться. Написанная тридцатилетним инженером-нефтяником повесть «Танкер «Дербент» имела всесоюзный успех, вошла в школьные программы по русской литературе, автор был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1939 году ордена у писателей, особенно у молодых, были редкостью. Единственный раз, когда я видел Крымова, человека на редкость смелого, по-настоящему испуганным, был день, когда он узнал о награждении. Он считал, что ему выдан щедрый аванс и неизвестно, сумеет ли он когда-нибудь его отработать.

«Погиб на фронте» — этими словами заканчивается краткая справка о Юрии Крымове в советском энциклопедическом словаре (1980). «Пал смертью храбрых» было бы точнее, но, памятуя, как Крымов не любил торжественности, я принимаю формулировку. Она нуждается только в расшифровке.

На фронт Юрий ушел в самые первые дни войны. Вскоре связь с ним оборвалась, и только в 1943 году, после освобождения Полтавщины, родные и близкие узнали о его судьбе. В райком партии пришел колхозник из села Богодуховка Чернобаевского района и принес пробитый штыком фашистского солдата военный билет Крымова и написанное им перед боем незаконченное письмо к жене, Ирине. Этот потрясающий человеческий документ опубликован, и я не хочу портить его беглым пересказом. Мы многим обязаны ныне покойному Алексею Коваленко и его сыновьям, они похоронили Юрия и с риском для жизни сохранили до конца оккупации драгоценные реликвии. Могила Крымова — в центре села Богодуховка, рядом со школой. Я был там дважды и видел, как колхозники села и пионеры из отряда имени Крымова чтут память писателя.

Справедливо ли выделять судьбу Юрия среди понесенных в том бою тяжких потерь? Выполнение воинского долга еще не подвиг. Может быть, и несправедливо, если б не одна подробность, о которой я узнал много позже, через десятилетия. Ее рассказал мне поэт Микола Бажан, видевший Крымова незадолго до его гибели. Оказывается, Крымов имел полную возможность на законном основании с санкции военного начальства выйти из окружения вместе с редакцией армейской газеты. Никто бы его не обвинил в дезертирстве. Но он предпочел вернуться в свою часть к товарищам и разделить их судьбу.

Рассказ Бажана меня поразил — и тем новым, что я узнал о Крымове, и еще больше тем, что я узнал в нем Крымова, иначе поступить он не мог.

Кадровый моряк, штурман подводной лодки Алексей Лебедев ненамного пережил Крымова. В первом же боевом походе лодка, на которой шел Лебедев, подорвалась на минном поле. Подвига, к которому он готовил себя всю жизнь, ему совершить не пришлось. Нельзя сомневаться, что он готовил себя именно к подвигу, порукой тому не только выбор профессии, достаточно перечитать его стихи, чтобы понять, что море,

флот, военная история России были для него постоянным источником вдохновения. К началу войны у Лебедева вышли уже две книжки стихов, их знали не только моряки, ими увлекалась и продолжает увлекаться молодежь. Как-то я спросил Лебедева, не подумывал ли он (до войны, конечно) уйти с флота и стать профессиональным литератором. Лебедев ответил твердо: «Нет. Я штурман. В тот день, когда я перестану быть моряком, я перестану писать стихи».

Не знаю, как вел себя лейтенант Лебедев в свой последний час. Наверняка достойно. Труднее сказать, как сложилась бы судьба Лебедева, доживи он до Победы, но мне нетрудно представить себе его капитан-лейтенантом, командиром лодки, с победой вернувшимся из боевого похода.

И опять одна подробность, ставшая известной через многие годы. Ее сообщил мне адмирал В. Ф. Трибуц, командовавший во время войны Краснознаменным Балтийским флотом.

— Признаться,— сказал со вздохом Владимир Филиппович,— подписывая боевой приказ, я запнулся на фамилии Лебедева. Подумал: а не побережь ли нашего лучшего флотского поэта? Потом вспомнил его стихи и понял, что, вычеркнув его из списка, нанесу ему нестерпимое оскорбление. И подписал.

Кто сегодня решится ответить на вопрос: не целесообразнее ли было «побережь» Лебедева? А может быть, и Крымова? Я знаю одно: нравственные соображения не всегда совпадают с целесообразностью. Иногда они выше.

Меня могут спросить — для чего сделано это отступление? Только для того, чтобы подчеркнуть, как подвижны и многооттеночны наши представления о подвиге и героизме, как сложно сочетаются в них субъективные побуждения героя и объективная значимость совершенного ими деяния, индивидуальный склад характера и социальный климат, свободная воля и непредсказуемое стечение обстоятельств.

У слова «подвиг» есть слово-антипод. Это слово — «преступление». Совершить преступление — это значит сделать нечто совершенно обратное подвигу — пренебречь в личных интересах интересами других людей, интересами родины, общества, человечества. Исстари повелось, что оценку преступным действиям дает суд. В различные эпохи, в разных странах суд вершится

различно, различны и задачи суда — между судьей, за полчаса осуждающим мелкого воришку, и Нюрнбергским международным трибуналом, осудившим не только главных военных преступников, развязавших бесчеловечную войну, но бесчеловечную сущность фашизма, существует гигантская разница. Но во всех судах, начиная с древних времен, есть нечто общее: взвешиваются показания свидетелей и вещественные доказательства, выслушиваются показания обвиняемого, решение выносится с учетом личности и прошлой жизни, смягчающих или отягчающих обстоятельств.

С подвигом дело обстоит иначе. Хотя большинство преступлений делается тайно, а героический поступок таить незачем, количество безымянных подвигов огромно. Даже в тех случаях, когда общество заинтересовано в поощрении героя, «следствие» до предела упрощено, а вердикт выносится чисто административным путем. Правила, предписывающие средства массовой информации весьма осторожно высказываться по нерешенным судебным делам, на подвиги не распространяются. Бывает, что информация недостаточна или не соответствует стихийно складывающемуся общественному мнению. Тогда рождается легенда. Когда легенда касается событий, сохранившихся лишь в памяти поколений и не оставивших зримых следов, она с трудом поддается суду истории. Иное дело — события сравнительно недавнего прошлого. Для здоровья общества необходимо, чтоб все общественные приговоры, осуждающие или прославляющие реально существовавших людей, соответствовали фактам и давали объективную оценку поступков и побуждений, попросту говоря — были справедливыми. Суд истории нередко поправляет суждения современников. Иногда на это уходят десятилетия. Благодаря кропотливой работе военных историков пересмотрены многие репутации в истории гражданской войны, у всех на памяти героическая борьба писателя С. С. Смирнова за исторически точную трактовку подвига защитников Брестской крепости, а подхваченная народом крылатая фраза Ольги Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто» — это еще не констатация, а скорее призыв. Читая газеты, следя за радио- и телепередачами, мы повседневно сталкиваемся с неизвестными подвигами, узнаем имена героев, еще недавно безымянных. Суд истории не самый скорый, но самый справедливый, и время зачастую работает

не во вред, а на пользу истине. Печально, что все меньше остается живых свидетелей подвига, но в установлении исторической дистанции есть и хорошая сторона. Временная (или пространственная) приближенность к событию или человеку нередко искажает наши представления; сколько раз мы убеждались, что, рассматривая со слишком близкого расстояния, мы теряем перспективу, нам застилают глаза соображения хотя и существенные, но сиюминутные, преходящие, и нужен какой-то срок, чтобы отделить главное от второстепенного и увидеть явление в его подлинных масштабах.

В личности Александра Маринеско для меня сегодня важнее всего проследить, как складывался этот характер, понять заключенные в нем противоречия, присущие, по моим наблюдениям, многим незаурядным людям. Концентрированная воля, равно как и выдающееся дарование, — качество не только прекрасное, но и опасное, требующее, как все нестандартное, нестандартного к себе отношения.

Приступая к работе, я старался не обременять себя никакими предвзятостями и был готов к неожиданностям. Единственное, в чем я был убежден с самого начала: героем не делаются в пять минут. Самый подвиг может длиться секунды, но он всегда подготовлен всей предшествующей жизнью.

В одной из ранних служебных аттестаций Маринеско, подписанной его учителем и воспитателем Евгением Гавриловичем Юнаковым, есть такая фраза: «Способен пренебрегать личными интересами для пользы службы».

Сказано сухо вато. Сегодня, оглядываясь на пройденный Маринеско жизненный путь, этот пункт можно, пожалуй, сформулировать иначе:

«Способен на подвиг».

II. Кронштадт, площадь Мартынова

В Кронштадте на площади Мартынова стоит памятник подводникам Балтики. Памятник очень скромный, как скромна на вид и сама площадь. Никакого сравнения с центральной площадью перед Морским собором, где теперь музей. Но отсюда рукой подать до прекрасного здания, где еще во время войны помещался

штаб Балтийского флота, с вышкой, откуда видны стоящие на рейде корабли и просматривается южный берег залива. Еще ближе — строения береговой базы. Во время войны от ее пирсов уходили в боевые походы подводные лодки, теперь там учебный отряд. От площади Мартынова начинается Советская улица — главная улица Кронштадта с почтамтом и старинными торговыми рядами, а если, дойдя до рядов, свернуть направо — Матросский клуб, до революции — Офицерское собрание, описанное Л. Соболевым в «Капитальном ремонте». Получившему увольнение в город моряку никак не миновать площади Мартынова, и немудрено, что сердцу моряка эта тихая площадь говорит очень многое. В обычное время, особенно в сумерки, она почти безлюдна, но в сквере есть уютные скамеечки, и они редко пустуют. Здесь можно встретиться с товарищем для душевного разговора, назначить свидание девушке, можно посидеть наедине с собой, перечитать полученное из дома письмо, просто отдохнуть от четко организованного быта воинской части. Оживает площадь только по торжественным дням. В дни ежегодных (теперь — реже) сборов ветеранов-подводников здесь проводятся общегородские митинги. Сюда 9 мая 1978 года вместе с другими ветеранами приехали на встречу с кронштадтцами почетные гости — экипаж краснознаменной «С-13». И опять, как в училище имени Ленинского комсомола, была встреча с флотской молодежью, менее парадная, но не менее волнующая: здесь все свое, знакомое, отсюда под покровом темноты уходили в море, здесь неподалеку дом, где жил командир, здесь, в Кронштадте, до недавнего времени жила вдова командира Нина Ильинична.

Кронштадт вообще удивительный город. Его красота и величие приоткрываются не сразу. Он суров и для человека, не приобщившегося к его тайнам, будничен. Зато для переживших вместе с ним «его минуты роковые» он остается памятным навеки. Помню свое первое впечатление, когда в июле сорок первого получил назначение на бригаду подводных лодок, стоявшую тогда в Кронштадте. Еще не ступив на кронштадтскую землю, я был разочарован. Стоя на палубе тихоходного буксирчика, я с нетерпением ждал, что передо мной прямо из воды вырастет отвесная скала, а на ней крепостные стены с бастионами и бойницами — нечто среднее между замком Иф из «Графа Монте-Кристо»

и Петропавловской крепостью. Вместо этого я увидел плоский берег и чуть позже — провинциального вида скрипучую деревянную пристань, к которой пришвартовался наш тихоход. Затем в компании таких же, как я, новичков с тяжелым чемоданом в левой руке (было уже известно, что в Кронштадте насчет приветствий — строго) прошагал по накаленным июльским солнцем пустынным улицам до штаба флота. Улицы застроены домами казарменного типа, много глухих заборов, пыльный булыжник мостовых и непривычная тишина, лишь изредка нарушаемая согласным грохотом тяжелых матросских башмаков. Ни в этот день, ни позже, приступив к работе в бригадной многотиражке, я не ощутил поэзии Кронштадта; занятый с утра до ночи редакционной текучкой, я почти не бывал на берегу, и легендарная крепость казалась мне тихим заштатным городишком с суровыми крепостными порядками.

Тишина взорвалась очень скоро — фронт приближался. В августе флот оставил таллинскую базу, корабли пришли в Кронштадт. Начались «звездные» налеты пикирующих бомбардировщиков на гавань и рейд, «юнкерсы» шли волнами со всех сторон, и зенитные батареи Кронштадта помогали артиллерии кораблей отражать атаки с воздуха. Затем войска фон Лееба прорвались к Финскому заливу, и к бомбардировкам авиации прибавился артиллерийский обстрел. Ночью, стоя на палубе плавбазы, где помещалась моя редакция, можно было видеть пороховые вспышки на южном берегу, вражеские батареи стояли так близко, что долетала даже шрапнель. Тяжелая артиллерия линкоров и крейсеров била на два фронта — по северному и по южному берегу, когда двенадцатидюймовые с «Марата» проносились над городом, на центральных улицах сыпались стекла.

Кронштадт стал осажденной крепостью, дважды осажденной, потому что даже в заблокированный фашистскими войсками Ленинград надо было прорываться ночами под огнем, летом на катере или на притопленной по самую рубку подводной лодке, зимой по льду. Крепость не только оборонялась. Стоявшие у кронштадтских пирсов подводные лодки неожиданно оказывались в Данцигской бухте или на меридиане Берлина и топили вражеские корабли.

Именно в те жаркие дни я впервые ощутил суровую

красоту города, полюбил небо Кронштадта, сиреневую дымку по утрам и оранжевый огонь закатов; во время нечастых передышек я понял очарование Петровского парка, служившего летним клубом для многих поколений военных моряков, и проникся почтением к полутемным залам бывшего Офицерского собрания, где висели на стенах большие картины в тяжелых рамах: картины изображали море и корабли, походы и сражения. Для меня приобрели волнующий смысл старинные названия причалов и маяков, и постепенно ко мне пришло радостное чувство сопричастности славному прошлому города-крепости, то гордое чувство, которое великолепно выражено даже в самом названии стяжавшего мировую известность фильма — «Мы из Кронштадта».

Маринеско был «из Кронштадта», настоящий балтийский моряк; то, что он родился и вырос в Одессе, несколько тому не противоречит. Кронштадтцы — особое племя, в чем-то заметно отличающееся от ленинградцев. Тому есть исторические причины. Исстари большая часть моряков Балтийского флота вербовалась из южан, лучшими матросами считались уроженцы Николаева, Одессы, Херсона и других портов юга. У балтийцев не редкость украинские фамилии. Перенесенные с щедрой почвы Причерноморья на берега холодной Балтики, растворившись среди коренных жителей, они сохранили свой южный темперамент, но обрели внешнюю сдержанность северян. Получился своеобразный сплав. Маринеско не был похож ни на ленинградца, ни на одессита, он был именно балтиец. В отличие от большинства военных моряков, успевавших за время службы побывать на всех флотах, Александр Иванович знал только Балтику, и она окончательно сформировала его характер. В нем угадывалась неостывшая лава, но под прочной корой.

В Кронштадте мы и познакомились. Уже после войны. Если не считать одной мимолетной встречи в осажденном Ленинграде зимой 1942 года (о ней речь впереди), во время войны мы не виделись, и, как потом выяснилось, я мало что знал о нем.

Произошло наше знакомство на ставшем традиционным сборе ветеранов-подводников летом шестидесятого года. Традицией этих сборов мы обязаны Евгению Гавриловичу Юнакову, во время войны боевому командиру дивизиона подводных лодок, а затем командиру Кронштадтского учебного отряда. Ему же мы обязаны

тем, что на одном из первых сборов был заложен, а на другом открыт построенный на общественных началах памятник на площади Мартынова. О Евгении Гавриловиче Юнакове я должен рассказать еще и потому, что в течение многих лет он был старшим другом и наставником Александра Ивановича. Перед войной и в начале войны Юнаков командовал дивизионом «малюток», куда входила и «М-96» Маринеско, а когда Александр Иванович принял «С-13», он вновь попал под начало к Евгению Гавриловичу. Дружеские отношения с Юнаковым Александр Иванович сохранил до конца своих дней, и, пожалуй, никто не имел на него такого влияния, как этот властный, суровый, беспощадно требовательный во всем, что касалось морской службы, человек. Александра Ивановича это не пугало, в море он был такой же.

Мне рассказывал инженер Кронштадтского морзавода Василий Спиридонович Пархоменко, служивший с Маринеско на «М-96», а затем на «С-13», человек, душевно преданный Александру Ивановичу и сохранивший благодарную память о своем комдиве:

«Помню, швартовалась наша «малютка» к борту «Иртыша». Я был матрос второго года службы. Стоял наш дивизион тогда в порту Ханко. Я несколько раз бросал тяжелый мокрый конец, все не попадаю. Ветер был отжимный, лодку качало. Юнаков молча наблюдал. Потом сказал мне: «Вместо проворачивания механизмов месяц будешь кидать конец, пока не выучишься». Через месяц Ефременков (помощник командира «М-96») принял у меня экзамен. Я до того наловчился, что при любой погоде стал попадать с первого раза. У Александра Ивановича был такой же подход. Требовал точности и быстроты, у кого не получается, непременно заставит повторить. Зато и дела у нас шли отлично. На рубке звездочка — корабль первой линии. В июне нам, пятерым отличникам боевой подготовки, в виде поощрения предоставили отпуск. Но не пришлось поехать — началась война».

Маринеско отзывался о своем учителе всегда с глубочайшим уважением:

«Я прошел школу Юнакова и прямо скажу — мне повезло. Он сделал из меня военного моряка. Научил главному — ни при каких обстоятельствах не отступать и не теряться. Требовать с людей, но и понимать их. И сам понимал душу подводника, суров бывал, но хан-

жества этого у него нисколько не было, умел и прощать, знал, что служба наша нелегкая, а молодость свои права имеет. И еще понимал, что хорош не тот командир, у которого ничего не случается, а тот, кто из любого положения найдет выход».

Другая запись:

«На Ханко, где мы базировались до войны, обстановка была скучная. Но скучать было некогда, прибывали новые лодки, отрабатывались задачи. К началу войны лодок первой линии было только две, моя и Саши Мыльников; надо было поторапливаться. Юнакова до войны считали шкуродером: он гонял лодки в шторм, заставлял погружаться на волне, когда одна из лодок из-за недостатка балласта не пошла на погружение, приказал принять воды в трюм. Потом оценили и полюбили».

Маринеско был прав — Юнакова любили. Александра Ивановича уже не было в живых, когда военные моряки торжественно отпраздновали в Кронштадте шестидесятилетие Евгения Гавриловича. Я видел на своем веку много всяких юбилеев, но чествование Юнакова поразило меня своей непринужденностью и теплотой. Сотни подводников ощущали на себе его заботу, многие прославленные командиры были его учениками: Маринеско, Гладилин, Мыльников, Кабо, Лисин, Богорад...

Балтийские комдивы не отсиживались на берегу, они выводили корабли на позиции и сами ходили в походы. Юнаков начал войну с неудачи — тральщик, на котором он шел, взорвался на mine. Комдива подобрали и отправили в госпиталь, где в течение многих месяцев его «собирали из частей». Предстояла эвакуация в тыл, но Юнаков от эвакуации уклонился и в сорок втором году вновь вышел в море. На этот раз он обеспечивал опасный переход подводной лодки на позицию. Во время перехода командир лодки был убит. Юнаков принял на себя командование, снял поврежденную лодку с мели и привел ее на базу. В сорок втором он пошел в боевой поход на «С-13» с неопытным командиром П. П. Маланченко, корабль вернулся с крупным боевым успехом. Когда на смену Маланченко пришел на «С-13» Маринеско, Юнаков всячески помогал ему, но идти «обеспечивать» даже в первом походе отказался: «Ученого учить — только портить».

С Юнаковым у нас установились добрые отношения

еще во время войны. Поначалу он и мне показался суров: высокий, узколицый, хмуроватый и немногословный; потребовалось некоторое время, чтобы разглядеть, каким надежным другом был он для людей, сумевших завоевать его доверие.

В июне 1960 года я получил от него письмо. Евгений Гаврилович приглашал меня в Кронштадт на второй сбор ветеранов-подводников. На первом, состоявшемся годом раньше, я не был, тогда иногородних еще не приглашали. Впоследствии я бывал почти на всех, но этот был самым волнующим. Волнующим было все — и первые встречи на ленинградской пристани, где немолодые люди, не видевшиеся по десять пятнадцать лет, радостно обнимали друг друга, и неторопливое движение катеров знакомым фарватером (в сорок втором здесь не ходили, а прорывались), и торжественная встреча гостей в Петровском парке, куда вплотную подошли катера. Гремел оркестр; весь учебный отряд, выстроившись в две шеренги, встречал и провожал аплодисментами нестройно шагающую толпу гостей до ворот береговой базы. Затем был митинг на площади Мартынова и закладка памятника (на площадь сбежалось полгорода) и наконец встреча ветеранов с курсантами в клубном зале. Началась она необычно. Евгений Гаврилович взял на себя нелегкую задачу — представить молодым морякам каждого из двухсот гостей; он называл их не заглядывая в списки, не по алфавиту и не по протоколу, а всех подряд слева направо, офицеров и матросов, Героев Советского Союза и скромных береговиков, военнослужащих и отставников. Всех он помнил, о каждом что-то знал. Аплодировали всем. Конечно, именам широко известным, всенародно прославленным аплодировали громче, но и тут были свои оттенки, невидимая стрелка не точно совпадала со шкалой должностей и почетных званий. И особенно наглядно это стало, когда Юнаков назвал имя Маринеско и неохотно привстал сидевший с краю небольшого роста человек в поношенном, но опрятном костюме без орденов и ленточек, с лицом немолодым, но сохранившим какие-то мальчишеские черты. Молодежь азартно била в ладоши, в этом было нечто демонстративное, и Маринеско чувствовал себя неловко, он хмурился и опустил-ся на свое место раньше, чем стихла овация.

— Это какой Маринеско? — спросил я соседа. — Тот, с «девянностью шестой»?

— Тот самый.

— А почему его так приветствуют?

— Как? Ты что же, не знаешь?..

К стыду своему, я ничего не знал. Не знал даже того, что на прошлогоднем сборе ветеранов были опубликованы уточненные по последним послевоенным данным сведения о боевых успехах балтийских подводников. По этим данным, первое место по тоннажу потопленных вражеских судов вне всякого спора принадлежит Александру Ивановичу Маринеско. На втором — мой старый друг Петр Денисович Грищенко. Его подводный минзаг «Л-3», ставший впоследствии гвардейским, я знал хорошо, провожал в поход и встречал с победой на этих самых кронштадтских пирсах. Почему же Петр мне ничего не рассказывал? Допустим, не было случая. Но все равно: почему же я, проработавший больше двух лет в газете подводников и никогда не порывавший связи с ними, ничего не знал о подвигах Маринеско? Некоторым объяснением могло служить то, что эти подвиги относились к последнему году войны, когда я уже ушел с бригады и в качестве военного корреспондента кочевал по разным соединениям, и все-таки оставалось необъяснимым, почему же я, внимательно следивший за печатью, упустил такие интересные сообщения.

За обедом, неторопливым, а под конец, когда началось хождение между столами, даже несколько шумным, нас свели вместе общие друзья. Против ожидания, Маринеско заговорил со мной как со старым знакомым. Оказалось, что он помнит раешники, которые я из номера в номер печатал в многотиражке, видел на сцене мои пьесы. Я тоже знал о Маринеско, среди малюточников он считался одним из самых лучших командиров, но встречались ли мы когда-нибудь раньше? Лицо его показалось мне очень знакомым, и не столько даже лицо — его я мог видеть на фотографии, — сколько улыбка, дружелюбная и чуточку лукавая, как будто мой собеседник знает про меня что-то забавное, но не спешит в этом признаться. Улыбка становилась все откровеннее. Наконец Маринеско не выдержал:

— А ведь мы с вами встречались. Не помните? — И уже со смехом: — Ох и хороши были у вас валенки!..

И тут я вспомнил, где я видел эту улыбку. Не мудре-

но, что вспомнил не сразу, — с той страшной блокадной зимы прошло почти двадцать лет.

Плавбазы и подводные лодки нашей бригады рассеяны по Неве и прочно вмерзли в двенадцатидюймовый лед. Набережные превратились в сплошные сугробы. Голод, холод. Бомбежки по сравнению с осенью стали реже, но редкий день проходит без артобстрела. Морские заводы эвакуированы, однако корабельный ремонт идет полным ходом, флот готовится к весенним боям. Все работы, вплоть до корпусных, — руками военных моряков.

Маринеско — командир подводной лодки «М-96». Я — инструктор политотдела бригады и редактор «Дозора» — краснофлотской многотиражки, призванной освещать ход ремонта и боевой подготовки. Моя редакция вместе с наборной кассой и плоской типографской машиной помещается в маленькой каюте на плавбазе «Иртыш», стоящей на Неве у Летнего сада. «М-96» базируется на «Аэгну», плавбазу «малюток», ошвартовавшуюся дальше всех других плавбаз — у Тучкова моста.

Редактор — это звучит внушительно, если не знать, что подчиненных, кроме наборщика (он же печатник), у меня не было и весь материал должен был раздобывать я сам.

В январе сорок второго стояли убийственные морозы. Даже до соседних плавбаз я добирался с трудом. Идти на «Аэгну» мне совсем не хотелось. А идти было надо. По данным политотдела, на «малютках» успешно шел ремонт механизмов, и лучше всех — у Маринеско.

К малюточникам в то время относились не очень серьезно. Не потому, что они были плохими моряками. Малые лодки — превосходная школа для подводника, многие прославленные командиры прошли эту школу. Но ставка делалась на лодки среднего тоннажа. В условиях блокады с суши и с моря, когда Финский залив перегорожен сетями и напичкан всеми видами мин, имело смысл выпускать в море лодки, обладающие достаточной автономностью и большим запасом торпед. Малые лодки для этой цели не годились, самые большие тоже, их время наступило позже. В моем решении не откладывая отправиться на лодку к Маринеско среди прочих соображений некоторую роль сыграло одно, казалось бы, несущественное: всем работникам политотдела, в том числе и мне, выдали валенки. Этот вид

обуви не характерен для флотского обмундирования, учитывая особые условия, в которых нам приходилось работать, валенки пришлись очень кстати. И вот, поддевши под черную флотскую шинель жилет на собачьем меху и сунув ноги в огромные, выше колен, и чересчур просторные для моих ног валенки, я отправился в путь. Шел я, вероятно, больше часа, увязая в сугробах, скользя по обледеневшим настилам. Окаянные валенки, вопреки своему названию, явно не были сваляны из шерсти, а отлиты или отштампованы из какого-то необыкновенно твердого, немнущегося и упорно сохраняющего заданную форму материала. Носы как у торпед, подошвы, вернее — днища, полукруглые, как у бескилевых судов. Меня качало — и от слабости, но еще больше оттого, что я почти не ощущал ногами земного притяжения, ощущение обманчивое, в любую минуту я мог грохнуться на лед. Валенки шли как хотели, меня они почти не слушались, а при малейшем сопротивлении с моей стороны жесткие края голенищ больно били меня по поджилкам. Наконец, замерзший и обессиленный, я ступил на палубу «Аэгны» и узнал от дежурного по кораблю, что комдива нет, а капитан-лейтенант у себя на лодке.

Лодка стояла рядом, но нужно хоть немного представлять себе «малютку» сороковых годов, чтобы понять, каково мне пришлось с моими валенками. Сперва по шатким мосткам без перил я добрался до верхней палубы лодки. Затем, хватаясь варежками за железные скобы, на мостик. Оттуда, спустив ноги в тесный рубочный люк и нащупав каменными носами моих валенок скользкую никелированную перекладину отвесного трапа, я осторожно, чтобы валенки не соскочили, сполз в центральный пост, протиснулся через круглый люк в офицерский жилой отсек и увидел за столом хмурого парнишку в шапке и ватнике, без каких-либо знаков различия. В отсеке было лишь немногим теплее, чем на набережной, дизельное топливо берегли и в период зимнего ремонта отапливали лодки камельками, толку от них было немного. У Маринеско сидел гость, как я узнал потом, командир соседней «малютки», они пили спирт, закусывая хлебной корочкой, и к моему приходу отнеслись настороженно. Морское гостеприимство не миф и не литературный штамп, на всех кораблях, где я бывал, меня встречали приветливо. Александр Иванович тоже улыбался, но нельзя было поручиться, что

за его усмешкой не прячется вызов, он даже сделал широкий жест и сказал «присоединяйтесь», но таким тоном, что я поспешил отказаться. А впрочем, отказался бы в любом случае, я был еще очень молодой политрук, к своим обязанностям относился со свойственным новичкам священным трепетом и начинать свое посещение незнакомого командира с выпивки не рискнул. Впоследствии я редко отказывался от стопки спирта, пивал и неразведенный и технический и не вижу в том большого преступления. В годы блокады, особенно в зимние месяцы, спирт был драгоценностью, воистину «водой жизни», им не напивались, а согревались, и в том, что не вылезавший с утра до вечера из своей насквозь промерзшей стальной коробки командир мог хлопнуть чарочку и угостить товарища, я очень скоро перестал видеть что-либо предосудительное. Недаром же «наркомовские» сто граммов входили в официальный рацион воюющего флота.

Пишу это в разгар очередной антиалкогольной кампании и уже вижу руку моего друга-редактора, занесенную, чтобы вычеркнуть эту апологию пьянства. Не вычеркну. Мне ли не знать, какую трагическую роль в судьбе Александра Ивановича сыграла водка, еще не раз мне придется коснуться этой темы, но в то время Маринеско не имел даже замечаний на этот счет, и, вероятно, мой отказ оба командира восприняли как чистоплутьство и ханжество.

Короче говоря, мы друг другу не понравились. Узнав о цели моего прихода, командир вызвал кого-то из старшин и препоручил меня его заботам. Больше на «М-96» я не был, а если и был, то не видел командира, вскоре мне дали в помощь молодого сотрудника, и на «Аэгну» я гонял его. Листая сегодня газетную подшивку за сорок второй год, вижу: заметки об отличниках ремонта на «М-96» печатались регулярно, а в сентябре газета поместила сообщение об успешном боевом походе и указ о награждении.

И вот почти через двадцать лет мы стоим в дружеском кругу, и нас все больше разбирает смех.

— Уж очень вас некстати принесло. Только мы с Гладилиным расположились, докладывают: прибыл какой-то из редакции. Убирать следы преступления поздно, да и не подобает как-то суетиться. Ладно, говорю, проси. Вижу, лезут в отсек преогромные валенки, а в них политрук, тощий, обмороженный и ужас какой

серьезный... Предлагаю разделить компанию — отказывается. Э, думаю, плохо дело, как бы не стукнул по инстанции, надо его поскорее сплавить... А вы небось подумали — ну и хамло командир, даже разговаривать не стал...

Вероятно, так оно и было. Но теперь Маринеско мне нравился все больше и больше. И я подумал: какая чепуха, какое случайное стечение обстоятельств может стать основанием для стойкого предубеждения. Какие пустяки помешали мне в свое время ощутить то магическое обаяние, которое излучал этот невидный морячок, а между тем оно безошибочно действовало на всех — на мужчин и на женщин, на начальников и подчиненных. Конечно, у него были и враги, и завистники, но равнодушных среди людей, близко его знавших, я не упомяну. Все это я понял позже, а на сборе ветеранов передо мной стоял дружелюбный, улыбающийся, но очень сдержанный человек. Ни одного из вертевшихся у меня на языке вопросов я ему не задал, и правильно сделал. Мы немного поговорили на всякие нейтральные темы, но я уже твердо решил сегодня же расспросить о нем кое-кого из ветеранов, а завтра в Ленинграде отправиться на Биржевую площадь в Центральный военно-морской музей и разрешить там все мои недоумения.

Музеи, так же как и театры, имеют свою закулисную часть, обычно закрытую для посетителей, но столь же важную и жизненно необходимую, как та, что открыта для обозрения. Прежде чем проникнуть за кулисы, я осмотрел экспозицию, нашел там много знакомых лиц и фамилий, но никакого упоминания о Маринеско. Висела большая, писанная маслом картина, изображающая торпедированный подводной лодкой лайнер с огромной свастикой на трубе и — на неправдоподобно близком расстоянии — самую лодку. Табличка на раме: «Подвиг «С-13». Название лодки давно рассекречено — почему же засекречена фамилия командира?

В поисках ответа захожу за кулисы — в научную часть. Знакомлюсь. Вопросов у меня два. Что совершил в годы Великой Отечественной войны капитан третьего ранга Маринеско и почему ни в экспозиции музея, ни в печати действительно ничего не было, а в изданной в 1951 и перепечатанной без изменений в 1955 году статье Д. Корниенко и Н. Майльграма о подвиге «С-13»

говорилось глухо: «Одна из подводных лодок Балтийского флота...»

На первый вопрос я получил сжатый, но исчерпывающий ответ. Мне была показана официальная справка:

«Из хранящихся в Историческом отделении ГШ ВМФ документов следует, что в боевых походах под командованием тов. Маринеско А. И. личный состав действовал слаженно, умело и самоотверженно, а сам командир показал высокое мастерство, решительность и храбрость в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками».

Далее в справке перечислялись победные атаки Маринеско. «Согласно научно проверенным данным,— значилось в справке,— Маринеско А. И., командуя подводной лодкой «М-96», уничтожил 14 августа 1942 года вражеский транспорт тоннажем 7000 брутто-тонн, а в 1944 году, командуя «С-13», еще один транспорт водоизмещением 5000 брутто-тонн». Далее приводились данные о потоплении в 1945 году «Густлова» и «Штойбена», уже известные читателю. Справка убедительно доказывала, что в течение всей войны Маринеско показал себя настоящим подводным асом, ни о какой случайности его успехов не может быть и речи. Впоследствии эти научно проверенные данные еще уточнялись по советским и иностранным источникам, но уже тогда было известно, что взбешенный Гитлер приказал расстрелять начальника сопровождавшего «Густлов» морского конвоя и объявил Маринеско врагом рейха № 1 и своим личным врагом. Основания для ярости у Гитлера были: на «Густлове» удирали из Данцига в Киль отборные палачи и, что еще существеннее, примерно три тысячи только что закончивших обучение подводников — будущие командиры семидесяти новых подводных лодок, предназначенных для морской блокады Англии.

Удовлетворительного ответа на свой второй вопрос я так и не получил. Никакими «научно проверенными данными» на сей счет работники музея не располагали. То есть они знали, конечно, что вскоре после Победы капитан третьего ранга Маринеско был снижен в звании до старшего лейтенанта, а затем демобилизован, что «на гражданке» у него тоже были какие-то неприятности, все это я знал уже вчера. Объяснить мне, почему Маринеско никак не представлен в экспозиции, они

не смогли или не захотели, но любезно предоставили в мое распоряжение драгоценную справку. Справка эта не заключала в себе ничего секретного, и это позволило мне целиком включить ее в свой репортаж о сборе ветеранов, напечатанный в одном из номеров «Литературной газеты».

Вероятно, редакция, направившая меня на сбор своим специальным корреспондентом, не ожидала такого бурного читательского отклика. В газету пришли десятки писем. Писали не только ветераны — живо откликнулась флотская молодежь. Судьба героя взволновала даже людей, далеких от флота. Обзор этих писем под общим заголовком «Он заслужил благодарность Родины» появился в газете в ноябре и вызвал новую волну откликов.

Самое большое впечатление произвело на меня письмо секретаря заводской партийной организации, членом которой состоял Александр Иванович. Письмо это предварительно обсуждалось на партийном собрании и было единогласно одобрено. «В течение семи лет работы в нашем коллективе, — писали коммунисты завода, — товарищ Маринеско проявил лучшие черты мужественного, дельного работника, активного участника общественной жизни. Он имеет несколько благодарностей, а с мая нынешнего года его имя на Доске почета». Но самое удивительное в письме не это. Выяснилось, что товарищи, с которыми Маринеско работал рядом в течение многих лет, ничего не знали о его военных подвигах и впервые узнали о них только из газеты. Какой великолепный сплав гордости и скромности был в этом человеке, за семь лет ни разу не обмолвившемся о своих заслугах даже в товарищеском кругу!

Вскоре после опубликования репортажа пришло самое дорогое для меня письмо — от Александра Ивановича Маринеско. За последние двадцать лет я много раз писал о нем, но никогда не цитировал этого письма. Не без колебания привожу его и теперь. Очень не хочется, чтобы читатель воспринял это как тщеславное желание установить свой приоритет, я совершенно искренне не вижу в своем тогдашнем поведении большой заслуги. Бывают такие ситуации, когда нужна одна только капля, чтобы переполнилась чаша, один струнувшийся с места камешек, чтобы обрушить лавину, и практически безразлично, на чью долю выпадет честь

быть этой каплей или этим камешком. Не сделай этого я, несомненно это сделал бы кто-то другой. Не преувеличиваю я и своего личного влияния на дальнейшие события. И Иван Степанович Исаков и выступивший по телевидению еще при жизни Александра Ивановича Сергей Сергеевич Смирнов сделали для Маринеско несравненно больше. И чувства, которые владеют мною сегодня, гораздо больше похожи на чувства вины, чем на самодовольство. Об этом не оставляющем меня чувстве вины я говорил на вечере, посвященном двадцатипятилетию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, вины за ненаписанное, упущенное, стершееся в памяти, вины перед хорошими людьми, о которых я не написал или написал бегло, торопливо... И эту книгу, которую я пишу сегодня, надо было написать гораздо раньше.

Вот что писал мне в августе шестидесятого Александр Иванович:

«Здравствуйте, уважаемый Александр Александрович!

От всей души благодарю Вас за внимание, которое Вы оказали моей особе в статье «Ветераны». Жаль, что Вы находитесь не в Ленинграде, а то бы я в знак признательности стал перед Вами на одно колено, как перед гвардейским знаменем.

Я никогда не считал себя героем и даже по окончании войны был не удовлетворен своей деятельностью.

Вы первый человек, который осмелился написать так обо мне. Еще раз большое морское Вам спасибо.

В Ленинграде я видел Мишу Вайнштейна, он мне передал, что в августе Вы будете в Ленинграде, и кратко посвятил меня в Ваши творческие планы на будущее. Я считаю, что могу Вам принести некоторую пользу, а потому прошу Вас, когда будете в Питере, сообщить о своем свободном времени, и я буду к Вашим услугам. Передают Вам привет Вайнштейн, Полещук и Юнаков, которых я видел вчера.

А пока желаю Вам всего наилучшего и надеюсь на скорую встречу.

А. Маринеско. 4. 08. 60».

Письмо это нуждается в некоторых комментариях.

Замечу, во-первых, что письмо это, несомненно дружественное, окрашено свойственным Александру Ива-

новичу добродушным юмором. Представить себе Маринеско стоящим перед кем-то даже на одном колене невозможно. Только перед знаменем.

Точно так же невозможно представить себе, что Маринеско лукавил или кокетничал, говоря: «Я никогда не считал себя героем». Настоящим героям чаще свойственна неудовлетворенность; оглядывая пройденный путь, они обычно приходят к мысли, что многое можно было сделать иначе и лучше. Близкие друзья Александра Ивановича свидетели тому, как далек он был от самодовольства. Конечно, он тяжело переживал замалчивание подвига «С-13», но его беззлобная душа жаждала не славы, а справедливости, и не столько даже для себя, сколько для команды. Его угнетала мысль, что из-за него долгое время были лишены своей доли общественного признания люди ни в чем не повинные. Впоследствии я имел полную возможность убедиться, что соратники Маринеско не винили в том своего командира, а когда в одной местной газетке была сделана попытка принизить его роль в январских атаках, никто из них на это не клюнул.

Но, может быть, характернее всего для Маринеско последний абзац письма. Александр Иванович предлагает встретиться, но для чего? Совсем не для того, чтобы рассказывать о своих подвигах и обрести в писателе своего будущего биографа. Нет, узнав от общих друзей, что писатель работает над романом о подводниках, он предлагает ему свою бескорыстную помощь.

Кстати, об общих друзьях. Трое из них названы в письме. О скончавшемся в 1970 году Евгении Гавриловиче Юнакове читатель уже немного знает. Владимир Антонович Полещук во время войны командовал дивизионом подводных минных заградителей. В прошлом торговый моряк, как и Маринеско, после демобилизации — историк флота, кандидат военно-морских наук, он и после переезда в Москву не переставал принимать участие в судьбе Александра Ивановича и бороться за восстановление исторической правды. Михаил Филиппович Вайнштейн, в годы войны дивизионный инженер-механик, — один из самых близких и преданных друзей Александра Ивановича. Во время моих коротких наездов в Ленинград мы неизменно встречались у Михаила Филипповича, жившего тогда в центре города, у Казанского собора. В моем дневнике за август 1960 года отмечены две встречи — 16-го и 29-го числа.

Записи до обидного беглые, но и они будят память:

«16. VIII. Ленинград. Звонил Вайнштейн, вечером встретился у него с Маринеско. От разговора о своих боевых походах и причинах ухода с флота А. И. решительно уклонился, только под конец не удержался и забавно рассказал, как он «вымотал душу» у контр-адмирала А. М. Стеценко, пошедшего с ним в мае 1945 г. в поход в качестве «обеспечивающего». Рассказал со смехом, беззлобно. Говорить предпочитает о заводе, где он сейчас работает и интересами которого живет.

29. VIII. Ленинград. Вечером был у Вайнштейна. Съехались подводные асы: Маринеско, Грищенко, Матиясевич. Маринеско рассказывал, как проходил перевод на семичасовой рабочий день на ленинградских заводах. Рассказчик он отличный».

От этих встреч (и от ряда последующих) у меня осталось смешанное впечатление. Александр Иванович бывал весел, но его не оставляла настороженность. Его радовало дружеское внимание ветеранов, но он не рассчитывал, что в ближайшее время в его судьбе произойдут какие-то существенные изменения, а потому весьма неохотно касался своего прошлого. Всякий раз он подтверждал свою готовность помочь мне советом, но для этого не было подходящей обстановки, мы все время были на людях.

Однако кое-какие изменения после публикации поступивших в «Литгазету» писем все же произошли. С. С. Смирнов, в то время главный редактор газеты, обратился от имени редколлегии в соответствующие инстанции, и вскоре лед тронулся: Маринеско было возвращено прежнее звание, появилось несколько газетных статей о подвиге «С-13». Из них две или три назывались одинаково: «Неизвестный подвиг». За время, прошедшее между вторым и третьим сборами ветеранов, Александр Иванович много раз имел возможность убедиться в своей популярности. Популярности, конечно, неофициальной и нередко приносившей ему вместо радости ненужные огорчения. В различные инстанции полетели письма и ходатайства о присвоении Маринеско звания Героя. Александр Иванович о них не знал и никак в них не участвовал, но всякий становившийся ему известным отрицательный ответ ранил его жестоко. Зато на третьем сборе, организованном Юнаковым с присущим ему размахом (ветеранов впер-

вые пригласили с семьями), я видел, как в лучах всеобщего признания тает наледь, сковывавшая душу Александра Ивановича. Особенно тронула его веселая церемония на пирсе: по обычаю военных лет, ему как вернувшемуся из похода победителю был преподнесен живой поросенок.

За прошедший год наши встречи с Александром Ивановичем становились все дружественнее, но какого-то необходимого мне, может быть и ему, главного разговора все не получалось, говорить о своем прошлом он по-прежнему избегал, а для сколько-нибудь серьезной консультации моей работы мне надо было по меньшей мере ввести его в курс дела, почитать кое-что из написанного. Нужен был день (лучше два) без помех и без свидетелей.

И вот такой день наступил.

В начале ноября 1961 года я приехал в Кронштадт поработать и лишний раз обойти от носа до кормы какое-нибудь учебное судно. Остановился, как всегда, в крошечной одноэтажной гостиничке при учебном отряде. Гостиничка состояла всего из двенадцати номеров, называвшихся, впрочем, по-морскому — не номерами, а каютами. В гостиничке этой я жилал много раз, всегда в одной и той же каюте; несмотря на зарешеченные снаружи окна и весьма умеренный комфорт, в ней хорошо работалось.

Учреждением этим командовала милая женщина по фамилии Ганичева, совмещавшая в одном лице обязанности директора, кастелянши, истопника и уборщицы, приветливая и внимательная к постояльцам.

Запись из моего дневника:

«25 ноября. Кронштадт. Мокро, сыро, зима временно отступила. Проснулся оттого, что Ганичева пришла затопить печку. Сразу стало уютно, и я сел за стол с намерением переписать набело не меньше 15-ти страниц. Но приехал А. И. Маринеско. «Для выступлений на кораблях и в частях», как значилось в удостоверении.

Прежде чем отправиться в здание, где была объявлена беседа Маринеско с коллективом редакции, мы попили чайку и впервые обстоятельно поговорили: Александр Иванович не только не забыл о своем обещании, но взялся за дело с поразившей меня энергией и деловитостью. Он заставил меня читать и рассказывать, а затем забросал вопросами.

В скобках: к ноябрю 1961 г. роман «Дом и корабль»

был вчерне закончен. Я не писал, а переписывал. На моего главного героя — капитан-лейтенанта Горбунова — Маринеско был совсем не похож, тем не менее советы Александра Ивановича были для меня драгоценны по многим причинам. Подобно моему герою, Маринеско начинал войну командиром «малютки»; подобно ему, блокадной зимой готовил свой маленький корабль к летней кампании. Наконец, мне предстояло заново написать обрамляющую роман новеллу, единственный эпизод, где лодка в походе, в атаке, — здесь мнение Маринеско было для меня решающим. В основу эпизода я решил положить памятный мне с первых военных лет случай: поврежденная взрывом глубинных бомб подводная лодка всплывает для ремонта рулевого управления, в случае появления противника лодка должна срочно погрузиться, времени на то, чтоб извлечь из кормовой балластной цистерны работающих там людей, уже не остается, и они это знают. Оказалось, что аналогичный случай был у Маринеско на «С-13», и он одобрил мое решение. А вот описание атаки, решение атаковать не со стороны моря, а, против ожидания, со стороны берега, — это уже прямая подсказка Маринеско — именно так атаковал он «Густлова». Меня поразила сосредоточенность, с какой Александр Иванович слушал, и вдумчивость его осторожных рекомендаций. К моим вымышленным ситуациям он отнесся с серьезностью командира, которому предстоят ответственные решения. Что-то из моих построений он после детального разбора подтвердил, кое-что мягко оспорил (не все слушайте, что вам травят...), но самыми впечатляющими для меня были некоторые попутно высказанные мысли Александра Ивановича. Привожу их в том виде, в каком мне запомнились:

— На подводной лодке командир, особенно в боевом походе, — царь и бог, видит, слышит и решает он один. По-другому и быть не может, иначе лодка утонет. Ни митинговщины, ни двоевластия море не терпит. Но беда, если командир заберет себе в голову, что он всемогущ, а все прочие — пешки. От любого матроса, любого, я не преувеличиваю, может зависеть успех похода. От его умения, отношения к делу, даже от настроения. Командир должен знать боевую технику не хуже приставленного к ней матроса, но еще лучше он должен знать самих людей. Для меня среднего матроса нет, каждый человек исключителен, второго такого нет. Есть

матросы, которым нет цены, есть такие, кому грош цена, от таких надо избавляться, а настоящих уважать и беречь. Ценить за достоинства, а не за отсутствие недостатков. Недостатки есть у каждого, людей без недостатков не встречал и свои знаю крепко. Бояться надо не людей с недостатками, а нулей. Есть такие люди с нулевой плавучестью. Моряк с недостатками, если попадет в хорошие руки, исправится, а ноль, как его ни верти, останется нулем. Есть такие люди, что говорят про меня: ему, мол, везло. Глупости. Если мне и везло в чем, так это на людей. И я никогда не забывал, что от глаз сигнальщика, от ушей акустика зависит успех атаки... Чем дольше живу, тем больше укрепляюсь в мысли: великая ошибка рассматривать народ как однородную массу. Народ состоит из отдельных людей, а они бывают умные и глупые, добрые и злые, сильные и слабые. И когда говорят о мудрости народа, я думаю: ведь не потому народ мудр, что все люди подряд умные, а потому что умные люди, пускай никому, кроме соседей, не известные, — большая сила, они не командуют, а за ними идут. Задумывались ли вы когда-нибудь, как рождается в народе меткое словцо? Ведь сказал же его кто-то первый? Остальные подхватили, обкатали — и пошло оно гулять по стране, но ведь всегда есть кто-то без имени, без прозвища, от кого ведет начало пословица, поговорка, веселая байка. Кто-то их выдумывает? Мне, например, нипочем не выдумать. Вот почему не люблю я, когда о людях говорят этак кучно, в общем и целом. Не люблю, когда говорят: «Все женщины такие». Или: «Что вы, не знаете наших матросов?» Глупости. Все женщины разные. И матросы — тоже...

— А вот вы сами недавно сказали: «Ваш брат писатель», — уязвил я.

Маринеско засмеялся:

— И очень глупо сказал. Читать люблю, но в жизни с писателями почти не сталкивался. Они-то, наверное, очень разные».

Поговорили немного и о литературе. Сегодня уже не вспомнить, какие книги называл тогда Александр Иванович. Насколько я понял, больше других привлекали его книги исторические и описания путешествий, с особенным восхищением он говорил о Миклухо-Маклае. А из книг, пленивших еще в детстве, называл «Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Весь этот разговор у

меня не записан, и полностью воспроизвести его через двадцать лет невозможно, но уже в том разговоре мне начал приоткрываться секрет того таинственного влияния, которое мой собеседник имел на самых разных людей. Секрет был не простой. Конечно, он заключался и в имени, ставшем к тому времени легендарным, но в гораздо большей степени в этом пристальном, очень избирательном, но всегда подлинном внимании к человеку, к любой человеческой судьбе. И, может быть, самое главное, что я понял тогда, — передо мной сидел человек ярко талантливый и при этом покоряюще искренний. О талантливости людей мы, как правило, судим по их достижениям. Способ правильный, но не универсальный. Человек по-настоящему талантливый редко бывает талантлив только в одной строго определенной области. Чаще всего он талантлив вообще, и это понимается окружающими даже раньше, чем он что-либо свершит. Не все талантливые натуры осуществляются, немалая часть их гибнет или сходит на нет по самым разнообразным причинам. И по стечению неблагоприятных обстоятельств. И по недостатку воли. Только сильная воля способна поставить человека выше обстоятельств. Талант и воля взаимосвязаны. Яснее всего эта связь проявляется в детстве, лидерами в своей среде становятся мальчишки и девчонки, наделенные волей или талантом, точнее — волей и талантом. Это оптимальный вариант. Красота и физическая сила тоже имеют значение, но второстепенное. Несомненно, юный Саша Маринеско был в своей школе вожаком. И мне впервые захотелось представить себе подводника № 1 босоногим одесским мальчишкой, а затем шаг за шагом проследить тот сложный путь, которым он пришел к подвигу. Задача непростая, к тому же упиравшаяся в препятствие почти непреодолимое: говорить о себе Маринеско не хотел и от расспросов уклонялся.

Наша беседа оборвалась на полуслове — за нами пришли из редакции. Идти было недалеко — редакция помещалась рядом, в том самом здании, где во время войны был штаб Балтийского флота. Впервые я услышал от самого Маринеско рассказ о январском походе и атаке на «Густлова». Слушали его затаив дыхание, были и аплодисменты, и восторженные реплики, и вспышки блицев, но уже тогда я отметил нечто никак не вяжущееся с моим представлением об Александре Ивановиче: рассказывал он плохо. Вяло, формально,

как будто речь шла не о нем самом, а о каком-то другом командире. Он не делился пережитым, а повторял уже известные цифры и немногие просочившиеся в печать подробности атаки. Рассказ этот я кое-как записал и сегодня, перечитывая свою запись, вижу, насколько она бледнее того, что рассказывали мне потом другие участники похода. Одновременно угадываю причину: над ним еще тяготел данный себе зарок молчания.

После выступления в редакции мы обедали с Юнаковым. Выпили по стопочке, Александр Иванович оживился, стал вспоминать всякие забавные истории. Рассказал о каком-то командире, считавшем своей заслугой то, что в заботе о подчиненных он регулярно снимает пробу на камбузе и перестал замечать, как ему уже давно готовят отдельно. Это схема, рассказывал Маринеско в лицах, с юмором. О выступлении в редакции рассказывать не стал — надо полагать, был недоволен. Не приемом — собой.

А затем произошло совсем неожиданное — мы вернулись в гостиницу и разошлись по своим каютам, чтобы отдохнуть, но не прошло и часу, как ко мне в двенадцатую пришел Александр Иванович и с потрясшей меня искренностью рассказал всю свою жизнь — о семье, детстве, флотской службе, боевых походах, разжаловании, злключениях на берегу. Рассказал, конечно, не по порядку, перескакивая и отвлекаясь, без всякой определенной цели, с единственным желанием открыться и быть понятым. Эта многочасовая исповедь длилась до рассвета, под утро Александр Иванович, охрипший и обессиленный, ушел к себе поспать, а я лег еще позже, надо было пусть неполно, но по свежей памяти записать услышанное. Записывать что-либо при Маринеско я не решился — и правильно сделал. Спать мне почти не пришлось, и на встречу Маринеско с курсантами учебного отряда я опоздал и пришел к концу. Как мне показалось, на этот раз Маринеско говорил свободнее, красочнее, он как-то раскрепостился. Затем опять сидели у меня, зашел Юнаков, и мы хорошо поговорили уже втроем. Когда Юнаков ушел, пошли погулять по Кронштадту, обошли знакомые места, посидели на скамеечке в сквере на площади Мартынова. Вечером Александр Иванович уехал в Ленинград.

Эта кронштадтская встреча оказалась для меня решающей. Я впервые ощутил Маринеско как близкого

друга. Теперь нас связывало то с большим запозданием пришедшее чувство фронтового братства, которое обычно рождается только на войне, и я уже понимал, что, покуда мы живы, эту связь ничем не разорвать. Решающим было и то, что я впервые подумал о Маринеско как о литературном герое. Слишком занятый работой над романом, я еще не знал, что через много лет напишу повесть о моем друге, но уже догадывался, что рано или поздно такая книга будет написана если не мной, то кем-нибудь другим и в этой будущей книге мой друг со всеми своими жизненными сложностями должен быть и будет главным, и притом положительным героем.

Я всегда понимал, что нашей литературе нужен положительный герой, живой и яркий, чтоб за его мыслями и поступками читатель следил бы с таким же захватывающим интересом, с каким я слушал исповедь Маринеско.

Эта исповедь меня не только взволновала, но и заставила задуматься. Мне незачем полемизировать с во многом уже отжившими представлениями о положительном герое как о герое идеальном. От многих властвовавших над нами вульгарно-социологических канонов мы уже освободились, хотя и сегодня еще достаточно распространено представление о положительном герое как о некоем нравственном эталоне, образцовом человеческом экземпляре, лишенном всяких недостатков и противоречий характера. Между тем всякий человек сложен, и чем он значительнее — тем сложнее. Нет такого значительного образа в художественной литературе, вокруг которого в свое время не разгорались бы споры. Оценка литературного героя как положительного не тавро, не атрибут, не прилагательное, наглухо прибитое к существительному, она зависит не только от качеств героя, но и от восприятия его современниками. Вспомним яростные споры вокруг новой для критики фигуры тургеневского Базарова, вспомним, что давно уже воспринимаемая нами как «луч света в темном царстве» Катерина из «Грозы» Островского имела некогда ожесточенных противников, считавших ее глубоко безнравственной женщиной. Мне могут возразить: все это прошлый век, столкнулись точки зрения, отражавшие антагонистические классовые силы русского общества. Но люди моего поколения — свидетели тому, что расхождения в оцен-

ках литературных героев не исключены и в наше время, в нашем обществе, где не существует антагонистических классов. Прекрасно помню, как «гамлетизм» был синонимом вредной рефлексии, интеллигентской дряблости и неспособности к действию. А сколько копий сломано на моей памяти вокруг образа Дон Кихота, слово «донкихотство» до сих пор живет как расхожее обозначение бессмысленного доброхотства.

Все сказанное, как мне кажется, имеет прямое отношение к моему герою. Со дня кончины Маринеско прошли десятилетия, и время меняет масштабы событий и заставляет заново всмотреться в уже известные факты. Подвиг выступает во всем своем историческом величии и заставляет нас быть не столь непримиримыми к былым срывам и ошибкам героя.

Всякий положительный герой вызывает у читателя желание в той или иной мере следовать его примеру. Но между нравственным примером и слепым подражанием существует немалая разница. Склонны к подражанию малые дети — до той поры, пока у них не вырабатывается способность дифференцировать явления. Подражательность свойственна людям с неразвитым вкусом — вот почему залетная мода на покрой штанов или парикмахерские ухищрения внедряются легче, чем многие полезные гигиенические навыки. Общеизвестно, что в искусстве подражатели не создали ничего сколько-нибудь ценного, попытка подражать выдающимся людям или героям популярных произведений обычно сводится к копированию внешних черт оригинала. Сразу же приходят на память лермонтовский Грушницкий с его напускным байронизмом и чеховский Соленый с его лермонтовской позой. Люди незначительные и недобрые, они невольно пародируют своих кумиров, подражательность, заемность чувств — черты, с убийственной точностью характеризующие их внутреннюю опустошенность. Человек самобытный, одаренный всегда неподражаем, оригинален, или, как говорили в старину, бесподобен. Следовать его примеру можно и нужно, имитировать — бесполезно. Влияние литературных образов на формирование характера читателя, в особенности если этот читатель молод, огромно, но оно действительно лишь тогда, когда герой произведения воспринимается нашим сознанием не как сумма признаков, а как реально существующий или существовавший человек. А с реальными людьми

у нас не бывает однозначных отношений. Восприятие художественного произведения — это сложный процесс, во многом схожий с творческим. Мировая литература населена множеством героев, зачастую весьма далеких от нас по своим воззрениям, нравам и обычаям, но в каждом из них заключена по меньшей мере одна доминирующая черта, позволяющая нам хотя бы короткое время прожить его жизнью, как если бы она была частью нашей собственной, радоваться его взлетам и страдать от его бед и заблуждений; проще говоря, сочувствовать ему не в том уже несколько стертом бытовом значении слова, к которому мы приучены, а в том первичном, где приставка «со» еще не окончательно приросла к корню: со-чувствовать, со-переживать. Конечно, чем ближе к нам эпоха, в какой живет и действует герой, чем ближе он нам социально, тем требовательнее мы становимся к его нравственному облику. И все же герой никогда не должен превращаться в эталон. Эталоны хороши для измерения неодушевленных предметов, для живых они часто оборачиваются прокрустовым ложем. Мне кажется, писатель не должен быть озабочен, получит ли его герой при выходе в свет своеобразный «знак качества», свидетельствующий о его несомненной положительности; достаточно, чтобы он знал и любил своего героя, гордился его достоинствами и страдал от его ошибок. Нужно ли эти ошибки скрывать от читателя? На этот счет существуют различные точки зрения. Одна из них, наиболее мне близкая, выражена в известном письме Д. А. Фурманова:

«Вопрос: дать ли Чапая действительно с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой или, как обычно, дать фигуру фантастическую, то есть хотя и яркую, но во многом кастрированную. Склоняюсь к первому».

Надо ли доказывать, что в своем решении образа Чапаева писатель твердо стал на первый путь? Именно поэтому для нескольких поколений советских людей этот образ сохранил свое немеркнувшее обаяние. Фурманов понимал, что герой, из которого извлечена «вся человеческая требуха», превращается в мумию или муляж, и опыт Отечественной войны подтвердил его правоту: у Чапаева оказалось огромное число последователей и ничтожное — подражателей.

Скоро минет двадцать лет с того хмурого зимнего дня, когда мы, друзья покойного, проводили на Бого-

словское кладбище Александра Ивановича Маринеско, но я до сих пор ощущаю потерю как недавнюю. Для меня он — такой, каким я его знал и запомнил, такой, каким он живет в воспоминаниях его друзей и соратников, — самый любимый герой. Я счастлив, что судьба, хоть и поздно, свела меня с ним, и не перестая огорчаться, что наша близость была такой недолгой. Мне никогда не приходило в голову подражать Маринеско, подражать ему — задача в равной мере непосильная и ненужная мне, но я не перестая восхищаться его военным и гражданским мужеством, широтой и силой характера и во многом меряю себя его мерой. И то, что я не воспринимаю его как идеал, не отталкивает, а сближает меня с ним, будит мою совесть, дает постоянно обновляющийся повод к размышлениям. Я берегу в себе то, что было у нас общего, и преклоняюсь перед тем, что мне недоступно. А его недостатки и срывы служат мне предупреждением.

Не так ли мы, читатели, обычно живем общей жизнью со своими любимыми (а следовательно, положительными) героями?

* * *

Мои ночные записи и доставшиеся мне уже после кончины Александра Ивановича его неоконченные автобиографические заметки стали в моей работе лощей. Достоверной, но с большими пробелами. Приступив к работе, я убедился, что мои знания об одесском периоде жизни Маринеско, о его семье, детстве и начале морской службы явно недостаточны.

И я поехал в Одессу.

III. Одесса, Короленко, одиннадцать

«Я родился в городе тепла, красоты и веселья — Одессе».

Так начинаются беглые и оборванные в самом начале автобиографические записки Александра Ивановича. Бесспорно, Маринеско любил свой родной город, хотя прочно связал свою жизнь с холодной Балтикой и никогда не пытался вернуться к теплому Черному морю. Все повороты в своей судьбе он делал круто,

давались они ему нелегко, с кровью, но что отрезано, то отрезано, всякая двойственность ему была чужда. В Одессу он наезжал редко, только чтобы повидаться с родными и с немногими старыми друзьями, и одессита я в нем никогда не видел. Впрочем, и Одессы я почти не знал, а довоенную — больше по литературе. Но, пожалуй, ярче всего Одесса первых послереволюционных лет представала передо мной в устных рассказах друга моей юности Миши Заца, коренного одессита, выходца из рабочей революционной семьи, чье детство прошло в том же дворе, где жила семья знаменитого налетчика Мишки Япончика, одного из прототипов бабелевского Бени Крика. С Мишей (Михаилом Борисовичем Зацем) я познакомился, когда он, несмотря на свою молодость, был уже известным киносценаристом, автором сценария популярного в то время фильма «Ночной извозчик», одной из первых кинематографических работ гениального украинского актера Амвросия Бучмы. Ставши киевлянином, а затем и москвичом, Миша сохранил характерную для одесситов нежную и чуточку хвастливую привязанность к Одессе-маме, у него была щедрая память и незаурядный дар рассказчика, и в моем сознании навсегда запечатлелась карнавально-пестрая Одесса, в которой причудливо сплелись говор и нравы нескольких наций, город отважных подпольщиков и романтических бандитов, грубоватых, общительных, сердечных, насмешливых, ленивых и страстных характеров. Миша погиб на фронте в первый год войны, но у меня до сих пор звучит в ушах его мягкий, слегка пришепетывающий голос, наливавшийся неожиданной мощью, когда он изображал своих любимых героев — могучих одесских портовых грузчиков, рыбаков и биндюжников, их невежественных, но мудрых и сильных духом старейшин, их чуточку вульгарноватых, но цветущих, пылких и самоотверженных подруг. Вероятно, и в послевоенной Одессе сохранились какие-то черты сложившейся в моем воображении старой Одессы, но сегодня они уже не лежат на поверхности. Впрочем, сестра Александра Ивановича, встретившая меня на вокзале, оказалась настоящей одесситкой — темпераментной, говорливой, со знакомыми по одесскому фольклору интонациями. Гостеприимству Валентины Ивановны, ее страстному желанию помочь мне увидеть сквозь толщу десятилетий любимого братика Сашу я обязан возможности подробнее рассказать

о детстве моего героя. Мы вместе рылись в картонке со старыми семейными фотографиями, письмами и газетными вырезками, попутно делились воспоминаниями, она о первых, а я о последних годах жизни Александра Ивановича. От нее я получил немногие и оттого еще более драгоценные адреса почтенных ветеранов, бывших некогда друзьями и сверстниками маленького Саши, с ее помощью мне удалось больше узнать о семье.

Можно по-разному относиться к проблеме наследственности, но, на мой взгляд, правильно поступают те биографы, которые начинают исследование характера своего героя от корня, загодя, еще до его рождения. Значение воспитания огромно, но не следует забывать и про гены. В том же томе толкового словаря, где я штудировал обстоятельную статью о героях и героизме, слово «ген» объясняется кратко: «Некий воображаемый носитель наследственности, якобы обеспечивающий преемственность в потомстве тех или иных неизменных признаков и свойств организма». Сегодня, когда существует уже целая дисциплина, именуемая генной инженерией, определение можно считать устаревшим, а мою попытку угадать в родителях черты, что-то объясняющие в характере сына, — вполне законной. Об отце, скончавшемся в конце войны, мне рассказывали и сын, и дочь; мать я видел сам.

Отец Александра Ивановича, Иван Алексеевич Маринеско, был родом из Румынии. Может быть, порумынски он звался как-то иначе, но в семье не сохранилось воспоминания ни о его прежнем имени, ни о том, когда и каким образом фамилия Маринеску приобрела украинское окончание «о». Детство у него было тяжелое, с семи лет остался сиротой, служил у помещика пастушонком, когда подрос, стал кучером. Затем, будучи парнем трудолюбивым и смышленным, возвысился до должности машиниста при сельскохозяйственных машинах. Никакого систематического образования он не получил, но руки у него, судя по всей его дальнейшей жизни, были золотые. В 1893 году его призывают во флот, и он становится кочегаром на миноносце. О том, каково быть кочегаром на «угольщике», современные матросы знают разве что по популярной песне «Раскинулось море широко...» — нужно было могучее здоровье, чтобы выдержать вахты у топок. Матрос Маринеску выдерживал, пока его не допек возненавидевший

его офицер. В штормовую погоду стоять огненную вахту особенно тяжело, и когда спустившийся в кочегарку офицер набросился на матроса с руганью и ударил по лицу, тот, по одной версии, избил его, а по другой — швырнул в раскаленную топку. Для дальнейшей судьбы матроса разница в версиях была не очень существенна — в обоих случаях кочегару Маринеску грозил военный суд и смертная казнь. До суда Иван Алексеевич содержался в карцере под вооруженной охраной. В одну из ночей на пост у карцера был поставлен близкий друг Ивана, человек решительный. Иван уговорил его бежать, и они бежали, переплыли Дунай, друг остался где-то в Бессарабии, а Иван двинулся дальше, на Украину, по-тогдашнему — Малороссию. Конечно, ни о каком «политическом убежище» в царской России он и не помышлял, весь расчет был на то, что в такой большой стране легче затеряться, раствориться, исчезнуть, и расчет оказался правильным, до 1924 года он не оформлял своего гражданства, или, как говорили в старину, подданства, и первые годы старался держаться подальше от больших городов. Сохранилось предание, что во время своих скитаний он встречался и беседовал с Алексеем Максимовичем Горьким. Поначалу беглец тосковал по своей далекой родине и, прослышав о всеобщей амнистии по поводу какого-то государственного события, сделал попытку вернуться в Румынию, но очень скоро убедился, что для таких, как он, амнистия — самая настоящая западня, и ему пришлось бежать вторично.

Кусок хлеба он находил везде — выручали умелые руки. Человек, знающий толк в машинах, уже не бродяга, нужных людей обычно не спрашивают, откуда они взялись. В 1911 году на Полтавщине Иван Алексеевич (так его звали уже тогда) встретился с крестьянкой села Лохвицы Татьяной Михайловной Коваль и вскоре на ней женился. Через некоторое время молодые переехали на жительство в Одессу, где Иван Алексеевич нашел работу по специальности. Там у них родились сын Александр и дочь Валентина.

Я видел старые фотографии Сашиных родителей: бравый матрос в гражданской одежде, но с подкрученными вверх по тогдашней матросской моде усами и красавица украинка, черноглазая, с пышными косами, пара как на подбор — молодые, сильные, осанистые. По свидетельству обоих детей, отец был пожизненно

влюблен в свою жену, полюбил ее родню, очень быстро усвоил язык и обычаи своей новой родины, охотно ездил летом на Полтавщину и вообще стал, как говорится, ширым украинцем. Татьяна Михайловна была ему преданной женой, родителями они были заботливыми, но по-разному — бывший бунтовщик и государственный преступник оказался очень мягким и снисходительным отцом, мать была куда построже, и, по сохранившимся у детей воспоминаниям, у Татьяны Михайловны была в свое время довольно тяжелая ручка. Мать намного пережила сына, я видел ее в Ленинграде на похоронах Александра Ивановича уже глубокой старухой. Держалась она прямо, с большим достоинством и сразу завоевала почтительное уважение многочисленных друзей покойного.

Человеческие характеры лучше всего познаются в критические для жизни страны моменты. Одесса была одним из первых крупных городов, оккупированных в 1941 году войсками противника. Незадолго до начала войны Александр Иванович приезжал в отпуск, собирался пожить в Одессе, но был срочно отозван на флот. В июле Татьяна Михайловна с дочерью Валентиной и двумя ее детьми была эвакуирована в Мариуполь. Но вскоре Мариуполь оказался под ударом, и семья Маринеско совершила пеший двухсоткилометровый переход до Мелитополя. Мать и дочь по очереди толкали тачку со скарбом, внуки всю дорогу шли пешком. У старшей девочки на ногах вздулись кровавые волдыри, и Валентина Ивановна решилась самолично сделать операцию: выстирала тряпочки, прокалила на огне острый ножик... Через короткое время оказался занят врагами и Мелитополь, все пути на север были отрезаны, и семья, продав на базаре тачку и остатки скарба, налегке двинулась в обратный путь, на Одессу.

А Иван Алексеевич все это время оставался в Одессе. Свой отказ эвакуироваться он объяснял как-то туманно: «Та куды я пиду, я вже старый, хто меня зачепить...» — и, вероятно, у кого-то возникла мыслишка: уж не ждет ли Иван Маринеско своих румын? В самом деле, после захвата Одессы оккупационные власти быстро узнали о румынском происхождении Ивана Алексеевича, его несколько раз таскали в сигуранцу и допрашивали, но, как видно, никакого проку от того не имели, пользу имели одесские партизаны, таково, по крайней мере, мнение всех близко знавших

его. Старик — а впрочем, не такой уж он был старик — явно придурился, горбился, ходил, опираясь на палочку; словом, всячески старался выглядеть более дряхлым и больным, чем был на самом деле. С постоянной службы он сразу же уволился, чтобы оккупационные власти не мобилизовали его для выполнения каких-то военных работ, и жил случайным заработком, перебиваясь с хлеба на квас. Зато он мог бывать в разных частях города, где замешивался в толпу и заговаривал с людьми, с кем по-украински, а с кем и по-румынски. В бомбоубежища спускался редко, на уговоры отшучивался: «Та чого я там не бачив? Шо мені зробити, та я ж «заговоренный»...» Как видно, заговор был некрепок, незадолго до освобождения Одессы Иван Алексеевич получил тяжелую контузию, значительно укоротившую его жизнь. Что делал Иван Алексеевич во время воздушных тревог, мало кто знал, а сам он был неразговорчив. Бомб он не боялся, гораздо страшнее было бы, если б этим вопросом заинтересовалась сигуранца.

Вот из такого крепкого материала были сделаны родители Саши, и сегодня, вспоминая Александра Ивановича, я угадываю в нем глубоко заложенные черты и отца, и матери. Разные это были характеры, но по меньшей мере одна черта была у них общая — ни кривить душой, ни отступать от своих решений они не умели. Вот у таких родителей в 1913 году (по другой версии — годом раньше) появился на свет будущий подводник № 1.

Александр Иванович говаривал, в шутку, конечно, что моряком он был с тех пор, как себя помнит. И в самом деле, по отзывам всех знавших его, пловцом и ныряльщиком он был превосходным. И сегодня, мысленно пробиваясь через более чем полувековую временную толщу, мне легче всего представить себе маленького Сашу Маринеско в воде. Плывущим, ныряющим, пляшущим в ожидании набегающего вала, который через несколько секунд накроет его с головой и, проволочив по шуршащему гравия, выбросит на берег. Или во время короткого отдыха распростертым на нагретом солнцем песке, небольшого, но очень складного, дочерна загоревшего, в выцветших от солнца и соленой воды сатиновых трусиках, заряженного веселой энергией, как лейденская банка электричеством, всегда в кругу таких же, как он, загорелых, переполненных жаждой

деятельности, ждущих только сигнала, чтобы самозабвенно включиться в самую фантастическую авантюру.

Сохранилось несколько ранних фотографий, на которых легко узнать будущего капитана 3-го ранга, грозу фашистских кораблей и личного врага фюрера. Но фотографии — это статика, основой характера Маринеско всегда была динамичность, его трудно представить себе иначе как в движении, в действии. На помощь мне приходят немногие карандашные записи, сделанные Александром Ивановичем уже в зрелые годы:

«Семи лет от роду я уже хорошо плавал и нырял, а лето, начиная с семи часов утра, проводил с приятелями на море, основным нашим занятием была ловля бычков, скумбрии, чируса и камбалы.

В Одессе за морским судоремонтным заводом было раньше кладбище старых кораблей, и защищалось оно деревянными сваями без настила, они уходили далеко в бухту и сверху напоминали букву «Г», взрослые туда не заглядывали и по сваям не ходили, для этого надо было быть своего рода канатоходцами, и вот там мы проводили целый день, купаясь, ловя рыбу, закусывая и даже покуривая. Обратно возвращались поздно, имея «на кукане» килограммов по пять живой рыбы. Больше половины своего улова мы продавали любителям, а на вырученные деньги покупали папиросы и другие запасы. Наш распорядок менялся редко и только для разнообразия впечатлений. Иногда мы гурьбой, человек в десять, уходили на пассажирские пристани к приходу рейсовых пароходов и просили бросать с борта в воду гривенники; когда кто-нибудь бросал, мы ныряли в прозрачную воду и догоняли тонущие монеты; бывало, что овладевали ими с бою, к удовольствию пассажиров, наблюдавших сверху за нашими подводными схватками и восхищавшихся нашей ловкостью. Победитель, всплывая, показывал монету и клал ее себе в рот».

Море, конечно, осталось морем. То грозное, то ласковое, оно и сегодня шумит или тихонько плещет, облизывая пляжный гравий, как в дни юности Саши Маринеско, но кладбища старых кораблей и свайного заграждения в форме буквы «Г» давно уже не существует; неузнаваемо изменилась вся одетая в бетон и гранит прибрежная полоса, и я даже не пытался пройти по местам, где впервые породнился с морем будущий

подводник. Зато дом номер одиннадцать по улице Короленко, сохранившийся почти в первозданном виде, я осмотрел очень внимательно, и хотя в нем уже нет никого, кто помнил бы семью Маринеско, сразу понял, почему Валентине Ивановне так дорога память об этом доме и об этой улице. «Когда мы жили на Короленко, одиннадцать...» — этой фразой начинались почти все ее рассказы о брате. Но впервые я услышал этот адрес от Александра Ивановича. Он плохо помнил окраинный дом, в котором родился, и гостиницу «Бристоль», где Иван Алексеевич ведал котельным хозяйством, с переездом на Короленко, одиннадцать началась самая яркая пора его юности — первые дружбы, первые увлечения, первые самостоятельные решения...

Улица тихая, невдалеке от центра города. Дом четырехэтажный, с аркой, ведущей во двор. В этом типично одесском дворике в самом деле есть что-то увлекательное. Он квадратный, со всех четырех сторон открытые (летом, конечно) окна квартир, соседки видят друг друга и перекликаются. В середине двора дощатый стол для игр, простые скамейки и старый кривой тополь, ветви его почти касаются окон второго этажа. Ловкий, как белка, мальчишка в минуту взбирается на дерево и оказывается дома, минуя лестницу и входную дверь; в дверь еще надо звонить, а позвонив, можно схлопотать затрещину за опоздание. А если обойти весь двор, выясняется, что и кроме тополя в нем много заманчивого — какие-то закоулки, где можно прятаться, а потом неожиданно выскакивать, таинственные лестнички, ведущие в подвальные помещения, а может быть, и еще что-то, невидимое постороннему взгляду, но ведомое Саше Маринеско.

«Короленко, одиннадцать» — это было нечто несравненно большее, чем просто адрес. Это и семейные радости — семья была крепкая, дружная, — и детские игры, и по-одесски свойские отношения с соседями, и привычный путь в школу и из школы — туда молча и торопливо, оттуда шумной компанией, гоня перед собой голыш или пустую консервную банку.

За последнее время часто и небезосновательно пишется о пагубном влиянии улицы на неорганизованного подростка. Так почему же улица Короленко вспоминается и самим Александром Ивановичем, и его сверстниками с такой нежностью, с таким ощущением

не развеянной с годами поэзии? Может быть, это какая-то особенная улица?

В детстве все необыкновенно. Не надо забывать, что Короленко, бывшая Софиевская, — улица южного города. Большую часть года солнце исправно светит и греет, и вся жизнь одесских ребят, за вычетом сна и школьных занятий, проходит под открытым небом. Двадцатые годы. Ни о каких высотных домах в Одессе и не слыхивали, матросским рассказам об американских небоскребах хотя и верили, но сильно сомневались, что в них можно жить: ни с соседкой через окошко обменяться новостями, ни покурить с соседом во дворе. Вся жизнь на виду, все друг друга знают, новый человек сразу будет замечен и обсужден, у всех старожилов своя прочно сложившаяся и в большинстве случаев справедливая репутация, распространяющаяся и на детей. Парень с нашей улицы — это рекомендация. Трудовому населению одесской улицы не чуждо понятие «своего круга», на улицах ребята знакомятся быстро и беспрепятственно, но ввести незнакомого мальчика в дом на «Короленко, одиннадцать» было посложнее, родители, предоставлявшие детям почти неограниченную свободу, внимательно присматривались к их окружению, и мнение родителей имело вес. И в своих записках, и в наших беседах, вспоминая детство, Александр Иванович неизменно называл своими ближайшими друзьями Колю Озерова и Сашу Зозулю. Александра Петровича Зозулю, ныне юрисконсульта крупного универмага, я обнаружил во Львове и на его свидетельства еще не раз буду ссылаться.

Александр Петрович хорошо помнит не только о первом знакомстве с Сашей Маринеско во время традиционной встречи двух соседних школ, но и о первом посещении «Короленко, одиннадцать», о простых, сердечных, но в чем-то и строгих нравах семьи Маринеско, о том, как деликатно расспрашивал гостя Иван Алексеевич: кто родители, с кем дружит, о чем мечтает? Много позже Александр Петрович понял: это был экзамен. Экзамен Саша Зозуля выдержал, через месяц-другой он становится своим человеком в семье, Ивана Алексеевича зовет дядей Ваней, с Сашей Маринеско они неразлучны. Сопоставляя воспоминания А. П. Зозули с записями самого Александра Ивановича и с тем, что сохранила память их ныне здравствующих сверстников, прихожу к убеждению, что буйная ватага маль-

чишек и девчонок с улицы Короленко при всей своей пестроте обладала своими, вероятно никем не сформулированными, но незыблемыми принципами, несомненно повлиявшими на то, как складывались характеры многих подростков, в том числе будущего командира «М-96» и «С-13».

На улице Короленко высоко ценилась отвага. В это понятие входило и умение постоять за себя, но только в оборонительном варианте. Отвага понималась прежде всего как стремление к неизведанному. Считалось постыдным бояться волны, глубины и высоты, жары и холода, напряжения и усталости, темноты, змей, бандитов, привидений,— в общем, всего, что может испугать труса и неженку. Мерилом отваги была готовность к самому трудному, самому рискованному предприятию, к любой аванюре, если она обещала яркие впечатления, приобретение новых навыков и умений, проверку своих зреющих сил. В этом смысле девочки с улицы Короленко мало в чем уступали мальчикам, традиционного мальчишеского презрения к девчонкам на улице Короленко не знали.

Не надо пугаться слова «авантюра». Авантюристами ни Саша Маринеско, ни его ближайшее окружение не были. Это не значит, что на улицу Короленко не заглядывали всякие авантюристы, старавшиеся найти опору и среди подростков. «Мосье Эйхбаум,— писал в своем изысканном стиле бабелевский Беня Крик,— положите, прошу Вас, завтра утром под ворота на Софиевскую, 17 — двадцать тысяч рублей. Если Вы этого не сделаете, так Вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о Вас говорить». Софиевскую, семнадцать и Короленко, одиннадцать разделяют всего два дома, и в начале двадцатых годов портовая Одесса еще таила в себе немало всякой нечисти, унаследованной с описанных Бабелем времен. Авантюры, в которые пускались Саша и его компания, были прежде всего бескорыстными и никому не угрожали.

Не менее чем отвага ценились в этом кругу честность, верность данному слову. Обмануть родителей, когда нет надежды получить разрешение, и таким образом выиграть время еще не считалось зазорным, но сознаваться надо было, не дожидаясь разоблачения, не юлить и не выкручиваться, а мужественно принимать заслуженную кару. Воровство считалось позором, исключение делалось только для яблок и арбузов, но

что поделаешь, мальчишке Сашиных лет очень трудно представить себе, что все, что висит на дереве или растет на земле, не принадлежит отчасти и ему. Но и тут существовали строгие ограничения: ни в коем случае не с лотка и не из ларька, а только из сада или баштана, и столько, сколько нужно самому, а не для продажи, продавать можно только рыбу, которую наловил сам. А. П. Зозуля вспоминает: одну из лучших квартир на Короленко, одиннадцать занимала почтенная семья. Уезжая на лето из Одессы, эти люди поручали Саше присмотреть за квартирой, и в течение всего лета квартиры служила для компании вечерним клубом — там играли, пели, читали книги, рассказывали всякие занимательные истории, но никто не смел прикоснуться ни к одной безделушке, а накануне возвращения хозяев Саша объявлял аврал, производилась генеральная уборка квартиры, и при сдаче ключей Сашу неизменно благодарили за чистоту и порядок.

Еще одна черта, характерная для Саши и его окружения, — ничем не замутненный дух интернационализма. Впрочем, и все ближайшее окружение Саши было интернациональным — украинец Саша Зозуля, русский Коля Озеров, еврей Леня Зальцман... В те годы на Приморском бульваре существовал клуб моряков, где бывали матросы с пришедших в Одессу иностранных судов. Саша и его компания частенько околачивались поблизости в расчете посмотреть на заморских гостей, а когда стали постарше, сумели проникнуть внутрь, неразлучные Сашки стали членами организованного при клубе агитколлектива «Моряк». Для Саши Маринеско участие в самодеятельности было трудным испытанием, при несомненных задатках вожака он был застенчив. Но он умел преодолевать себя, его тянуло в клуб не простое любопытство, а жадный интерес к тому, как живут люди в других странах. В те годы молодежь жила в ощущении близости мировой революции, газеты были полны сообщений о революционном брожении в Европе и освободительной борьбе колониальных народов, и Саша рано освоился с мыслью, что совсем не похожие на него люди, отличающиеся от него цветом кожи, одеждой и языком, на котором они говорят, близки ему в самом главном — они такие же труженики, как его отец и мать, любят море, умеют постоять за друзей, щедры и гостеприимны.

Я вспомнил об этом заложенном с самого детства

духе интернационального братства, слушая рассказ Матрены Михайловны, вдовы Сашиного друга Николая Озерова, о том, как во время оккупации Одессы семья Озеровых с риском для жизни укрывала в своем доме еврейскую семью, причем не близких друзей, а людей малознакомых, случайных.

Сам Маринеско считал себя украинцем. Не только потому, что жил на Украине, учился в украинской школе и родным языком считал украинский. Он воспринимал как свою украинскую историю и неплохо ее знал. Любил петь украинские песни и пел хорошо, пел в Ленинграде, Кронштадте и на Ханко. Национальная гордость соединялась в нем с пристальным и уважительным интересом к людям другого языка и культуры, но, в отличие от своего любимого героя Миклухо-Маклая, считавшего себя потомком запорожцев, Александр Иванович мало интересовался генеалогией и на мой вопрос, кем были его предки, ответил почти равнодушно: «Не знаю. Мужики. Который-нибудь кузнецом был, от него и фамилия материнская. Зря не назовут».

Подобно героям его любимых книг, которых манила широкая, капризная, а в половодье становившаяся опасной река Миссисипи, Сашу и его друзей так же неотразимо влекло море. На первых порах Черное, другого он не знал. Но уже мечтал об океане.

«Море и путешествия,— пишет Маринеско в своих незаконченных записях,— все больше увлекали меня и моего друга Сашку Зозулю».

Стоило друзьям посмотреть фильм об обороне Очакова, и их неудержимо потянуло в Очаков. Не поехать, а пройти пешком до самого Очакова, а при удаче — дальше, по берегу Черного моря и реки Буг до Николаева. Получить родительское разрешение на такой дальний поход нечего было и думать, поэтому был разработан хитроумный план. Неделю шла подготовка, продавались все уловы, копились деньги, а затем в подходящий солнечный день друзья явились к родителям Саши Маринеско и стали просить отпустить Сашу в деревню. Якобы Зозуля-отец, в то время партийный работник, едет в командировку и согласен взять их с собой. Получив разрешение и даже кое-какие припасы на дорогу, приятели отправились к родителям Зозули и с таким же успехом уговорили их отпустить Сашу с Иваном Алексеевичем, якобы едущим в деревню (другую, конечно) на уборочную кампанию.

План можно было считать полностью удавшимся, если б не один маленький просчет — пришлось взять с собой младшего братишку Саши Зозули, которому в то время было лет десять, и хотя отважным путешественникам было тогда лишь года на два больше, разница в возрасте сказала; как ни старался Жорка не отставать, путешествие было ему не по силам. «На исходе второго дня,— читаю я у Александра Ивановича,— мы добрались только до деревни Дофиновки в 25 км от Одессы. В этой деревне жила знакомая нам обоим девочка по имени Мара, у нее мы рассчитывали разжиться хлебом. Дофиновка лежит на самом берегу моря, жители ее занимаются в основном рыбной ловлей и баштанами.

Встретиться с нашей подружкой надо было, конечно, строго секретно, что нам и удалось при помощи деревенских ребят. Они охотно взялись вызвать ее на тайное свидание за околицу деревни, где мы построили себе шалаш. У нас на троих был один пиджачишко, им мы и укрывались.

Продолжить путешествие нам не удалось, на третий день Жорка начал хныкать и проситься домой, но все-таки мы прожили там еще четверо суток. Деревенские ребята снабжали нас хлебом и овощами, арбузы и дыни мы добывали ночью на баштанах, а мелкую рыбешку собирали на берегу моря. Деревенские рыбаки ежедневно заводили невода, но мелочь обычно выбрасывали.

Обратный путь мы проделали гораздо быстрее. Хоть мы и не признавались друг другу, домой хотелось не одному Жорке.

Встретили нас в Одессе не очень деликатно. Родители уже знали о нашей проделке. Да мы в этом и не сомневались, наши семьи жили на расстоянии одного квартала».

В своих воспоминаниях и в письмах ко мне А. П. Зозуля утверждает, что несколько позже поход в Очаков все же состоялся. В записках Александра Ивановича на это указаний нет. Впрочем, на этом эпизоде записки и обрываются. Не помнит этого и Валентина Ивановна, как-никак прошло больше полувека. Не исключена и ошибка памяти у Александра Петровича, по себе знаю, какие неожиданности подносит нам память, когда мы обращаемся к далекому прошлому. Однако мне не хочется совсем отказываться от его версии — уж очень

она в характере Александра Ивановича. Уже в юности одной из главных черт его характера было негибкое упорство, он не любил отказываться от задуманного и не приходил в уныние от неудач. Еще до встречи с Юнаковым он уже жил по правилу: не отступать и не теряться. Не вышло — повтори. Правило, чем-то напоминающее цирковой обычай: не удался прыжок, упал с лошади или с проволоки — повтори, не откладывая в долгий ящик, повтори, преодолевая боль и страх, повторяй до тех пор, пока не добьешься своего, иначе тебе никогда не избавиться от неуверенности в решающий момент.

Подтверждает эту черту и другой эпизод — о нем вспоминает Александр Петрович:

«Появилось в местной газете сообщение, что создана общественная бригада для исследования знаменитых одесских катакомб, и Саше уже не терпится побывать там, и непременно раньше, чем туда придет бригада. Уговорил и меня. Откуда-то мы узнали, что в нескольких десятках шагов от улицы Короленко существует хорошо замаскированный вход в катакомбы, туда мы и направились, приняв в нашу компанию еще одного парня и захватив с собой фонарь, веревки, спички — все, что по нашему мнению, входило в снаряжение спелеологов. Нашли скрытый в кустарниках вход и, расковыряв заложенное плитой и замазанное глиной отверстие, влезли в узкий, круто уходящий в глубину коридор. Тишина. Было страшновато, но Саша был полон решимости, и мы двинулись в путь. Шли гуськом, молча, довольно долго. Еще страшнее нам стало, когда мы уперлись в выложенную камнем стену и при свете фонаря увидели запертую на висячий замок ржавую железную дверь. Почему-то на нас это особенно подействовало, и мы, переглянувшись, решили, что для начала хватит. Двинулись обратно, ориентируясь на сквознячок, отклонявший пламя свечи. А когда мы с облегчением вылезли на белый свет, то увидели ждавшего нас у входа пожилого мужчину. «Вам что, жизнь надоела? — сказал он сердито. — Там прячутся уголовники, и вообще вам там делать нечего». Мы припустились домой, но на другой день по настоянию Саши опять пришли туда (называлось это место почему-то «швейцарской долиной») с твердым решением, несмотря на предупреждение, вновь спуститься в подземелье. И обнаружили, что дыру не только заложили каменной

плитой, но и зацементировали. Саша был очень недоволен и долго не оставлял мысли проникнуть в катакомбы».

В одном из своих писем ко мне сестра Маринеско Валентина Ивановна утверждает, что вскоре после описанного А. П. Зозулей эпизода Саша все-таки проник в катакомбы, водил туда свою компанию, в том числе сестру и ее подруг. Зная чрезвычайную настойчивость Александра Ивановича, я готов этому верить.

При всей своей детской жажде приключений, заставлявшей его иногда пропускать школьные занятия, Саша учился совсем неплохо и много читал. В своей компании Саша первенствовал, никто лучше его не знал историю морских экспедиций и биографии знаменитых мореплавателей. Но по-настоящему определились интересы и стал складываться характер будущего подводного аса с той поры, когда в его жизнь вошли корабли.

Первыми кораблями для Александра Маринеско стали черноморские яхты.

Яхты были белоснежные, легкокрылые. Кто из одесских ребят не любовался ими с берега. Они казались сказочными видениями, недоступными для обыкновенных людей.

Революция внесла в это представление существенные поправки. Для того чтобы яхты были белоснежными, во все времена требовалось много черной работы. Не бояться тяжелой и грязной работы было основным и на первых порах единственным условием для допуска в Одесский яхт-клуб, некогда весьма дорогой и респектабельный. Теперь яхты принадлежали заводским коллективам, но замкнутости не было, принимали всякого, кто, прежде чем кататься, готов был повозить саночки, иными словами — как следует поработать.

Оба Александра учились в то время в школе водников на Приморской улице, по соседству с яхт-клубом. Большая часть учащихся были дети моряков, ребята бредили морем, шли нескончаемые разговоры о дальних плаваниях, океанских штормах, заморских землях; от этих рассказов, достоверных или фантастических, захватывало дух. «Многие уже тогда твердо решили стать моряками,— пишет Александр Иванович.— Окончив пятый класс, мы думали только о море, и первой морской школой для нас стал Одесский яхт-клуб. Прежде чем выйти в море, пришлось здорово потру-

даться. Весной мы помогали ремонтировать яхты, к началу навигации лучших из нас зачислили в команды, и все лето мы плавали, исполняя обязанности настоящих матросов».

Подробнее о яхт-клубе рассказал по моей просьбе А. П. Зозуля, и его рассказ помогает мне увидеть загорелого маленького крепыша на палубе красавицы яхты по имени «Карманьола». Он «драит медяшку» до нестерпимого блеска и поет. Еще не ставши юнгой, он уже матрос, ему доверяют дежурства, он бесконечно горд доверием, и ему действительно можно доверять, у него унаследованный от матери зоркий хозяйский глаз и отцовские умелые руки. На яхте он днюет и ночует; строгая мать хоть и ворчит иногда, но не запрещает, как-никак она моряцкая женка и, может быть, уже догадывается, что моряком будет и сын. Конечно, не подводником — о подводных кораблях она в то время, возможно, и не слыхивала, — а торговым моряком, штурманом или — поднимай выше! — одним из тех капитанов дальнего плавания, на которых с традиционным почтением взирает вся Одесса без различия пола и возраста.

За одно лето подростки становятся заправскими моряками. Яхта изучена от киля до клотика и, что самое радостное, начинает их слушаться. В конце лета командир по имени Аркадий (единственный взрослый на яхте, фамилия его не сохранилась в памяти, давно это было) уже заводит разговор о соревновании с гордостью Одесского яхт-клуба — яхтой «Коммунар». Кто быстрее — «Коммунар» или «Карманьола»? Обычно сдержанный, Саша Маринеско приходит в неистовый восторг. Помериться силами с лидером, с фаворитом — на меньшее он не согласен. И сразу начинается тщательная подготовка, проверяется знание парусов и такелажа, идут регулярные тренировки. Успехи ребят настолько очевидны, что в день соревнования командир доверяет Саше Маринеско самостоятельно вывести яхту за маяк.

«Погода в этот день выдалась прекрасная, — вспоминает Александр Петрович, — небо чистое, легкое волнение, попутный ветер. Когда мы выровнялись, была подана через мегафон команда «вперед!», и мы понеслись в открытое море. Не помню, сколько мы проплыли по прямой, вероятно, километров десять, когда раздалась следующая команда «поворот оверштаг!». И вот

тут-то случилась беда. Задача моя состояла в том, чтобы несколько отпустить парус, перебросить через свою голову рею, натянуть конец и надежно закрепить его за упор. Но конец вырвался у меня из рук, и ударом меня выбросило за борт. Я был оглушен. Вдобавок освободившийся канат обвился вокруг моей шеи, и я здорово перепугался. Саша сидел на руле. В ту же минуту он бросился в воду. Потерявшая управление яхта закрутилась на одном месте, но Аркадий вовремя перехватил руль и еще успел выбросить нам спасательные круги. Когда мы взобрались обратно на палубу, на «Коммунаре» уже закончили маневр и яхта стремительно уходила к берегу. Догнать! Догнать можно было только за счет более искусного управления парусом, подставляя его очень точно по направлению ветра и умело регулируя крен судна весом собственного тела. Для этого нужен большой опыт. Или талант — интуитивное чувство моря и ветра. Опыт у Саши был еще невелик, но, так или иначе, наша «Карманьола» еще до маяка достигла соперницу и первой ошвартовалась у пирса».

Вскоре после парусной гонки у командира возникла идея нового соревнования. Он предложил дальний проплыв — от яхт-клуба до Лузановского пляжа, расстояние немалое, километров шесть-семь вплавь. «Подумайте, ребята,— сказал командир,— если сомневаетесь, то лучше не заводиться». «Никаких сомнений,— сказал мне Саша Маринеско,— не знаю, как ты, а я поплыву».

Руководство яхт-клуба колебалось, допустить ли друзей к заплыву — уж очень они были молоды. Но Саша Маринеско сломил сопротивление. Он умел внушать доверие. И вот в солнечный день на пирсе выстроились отобранные участники проплыва — человек десять. На каждом из них кроме трусов был брезентовый пояс со спрятанными внутри иголками — на случай, если в воде схватит судорога. Плывущих сопровождали две лодки: руководство, контроль, помощь. Условлено было, что через час после старта участники имеют право подплыть к одной из лодок и подкрепиться бутербродами. Питья никакого не полагалось.

Плыли дольше, чем рассчитывали (часов около пяти), и без сил рухнули на песок Лузановского пляжа. В школе обоих Сашек встретили как героев, от родите-

лей же им порядком досталось. Грозилась даже забрать обоих из клуба.

С яхт-клубом в конце концов пришлось расстаться — не по приказу родителей, а потому что клуб перебазировался в район Аркадии, ездить туда было слишком сложно. Но еще до расставания с клубом произошел характерный эпизод, о котором рассказал Леонид Михайлович Зальцман, школьный товарищ Саши, также увлекавшийся морским спортом. У Леонида Михайловича, тогда еще Лени, были слабые легкие, плавать ему запретили, ходить под парусом тоже. Впрочем, выход нашелся: Леня увлекся техникой, стал изучать моторы, что помогло ему впоследствии стать классным шофером-механиком. С Сашей Маринеско они учились вместе начиная со второго класса и, сидя на одной парте, привыкли помогать друг другу. Саша в то время разбирался в моторах, может быть, и хуже Лени, но руки у него были отцовские, металл им покорялся. Вдвоем они собрали подвесной мотор, оставалось закрепить последние гайки, но в этот момент клубный моторист, собравшийся катать на моторке какое-то местное начальство, без всяких церемоний забрал у ребят все инструменты. Саша очень рассердился, но не отступил, и гайки пришлось зажимать кустарным способом — зубилом и молотком. Мотор опробовали и подвесили к «двойке». Саша торопил, ему не терпелось выйти в море. Леня предложил взять с собой весла. Саша заупрямился: «Чепуха... Выйдем из любого положения». Он был вроде как капитан, и Лене пришлось подчиниться. Однако прав-то был Леня: не прошла лодка и трех миль, как двигатель забарахлил, что-то от него отвалилось и упало в воду. Остановили двигатель и сразу поняли, что произошло: открутилась гайка, удерживающая маховик. Дальше под мотором идти нельзя, а весел нет. На тревожный вопрос «что будем делать?» Саша с показным легкомыслием ответил: «Ждать. А я пока выкупаюсь» — и как ни в чем не бывало прыгнул в воду. Но, выкупавшись, долго и внимательно оглядывал горизонт, издали увидел идущую под парусом рыбацью шаланду и, когда она подошла, попросил займы пару весел. Вел он себя с истинно капитанской невозмутимостью, но весьма возможно, что за ней таилась тщательно скрываемая мысль: «В следующий раз я, пожалуй, все-таки захвачу с собой весла».

Если для Лени Зальцмана и Саши Зозули расставание с яхт-клубом было сравнительно легким — у них уже намечались другие интересы, — то Саша Маринеско пережил его болезненно, почти как катастрофу. Без моря и кораблей он уже не мог существовать.

Временный выход из положения все же нашелся. Саша Зозуля случайно познакомился с человеком, работавшим на центральной спасательной станции. Оказалось, что там нужны ученики, и неразлучные Сашки стали подолгу пропадать на Ланжероне, где помещалась станция. Началась их спасательная служба со скучноватых, но требовавших пристального внимания дежурств на вышке. С этим испытанием они справились легко, опыт сигнальщиков у них был. Затем, пройдя первичный инструктаж, друзья были допущены к спасательным операциям и увлеклись ими настолько, что это уже стало отражаться на школьных занятиях. И сразу Саша Маринеско оказался в числе самых смелых и находчивых спасателей. За короткое время он четырежды отличился: спас потерявшую сознание в воде женщину; забравшуюся на глубокое место, но не умевшую плавать молодую девушку; мальчика, захлестнутого волной от винта пробегавшей мимо моторки; подвыпившего мужчину. Уже тогда поговаривали, что ему «везет», но везло все-таки не ему, а тем, кого он спас. Дело было не в везении, а в полноте отдачи, в сосредоточенной воле. Не стремясь во что бы то ни стало первенствовать (за исключением спортивных соревнований, здесь его не устраивало даже второе место), он практически всюду оказывался первым.

В обязанности спасателей не входила подача первой медицинской помощи, для этого на станции дежурили фельдшер или медицинская сестра, но Саша не умел пассивно наблюдать, он научился делать искусственное дыхание и стал помогать медикам. Зозуле запомнился такой эпизод. Во время одного из дежурств на пляже поднялась тревога. Какая-то девушка закричала, что пропал ее младший брат. Саша Маринеско спросил у девушки, в каком направлении она видела последний раз голову брата, и, не теряя времени, бросился в воду. Легко представить себе, что творилось на пляже. Одни с замиранием сердца следили за темной головой Саши, то исчезающей в волнах, то вновь возникающей на поверхности; некоторые осторожные

родители поспешили увести с пляжа своих детей, оставшиеся сочувствовали и надеялись, но время шло — и надежды становилось все меньше...

А Саша нырял и нырял. Он появлялся на считанные секунды, необходимые, чтобы хлебнуть воздуха и оглядеться. Его голова появлялась то левее, то правее, то ближе, то дальше от берега. Многим уже казалось, что продолжать нет смысла, когда Саша всплыл с бездыханным телом мальчика лет восьми. Мальчик так долго пробыл под водой, что оживить его надежды почти не было. Но Саша, хотя и очень уставший, сразу же принялся делать мальчику искусственное дыхание и не уступил своего места, даже когда приехала «скорая». Упрямо сжав губы, он повторял одни и те же заученные приемы, пока не появились первые признаки жизни: чуточку приоткрылись глаза, дрогнули губы. И тут Саша не выдержал, упал рядом на песок и разрыдался, как маленький.

Спасательная станция могла заменить яхт-клуб только на время. С Сашей Зозулей, Леней Зальцманом, Колей Озеровым дело обстояло проще — при всей любви к морю, они прекрасно обходились без него. Сашу Зозулю все больше затягивала общественная работа. В комсомол он вступил раньше Саши Маринеско, и во всех общественных делах заводилой был он. Сухопутные дела тоже увлекали Сашу Маринеско — некоторое время он вместе с Зозулей увлеченно работает общественным контролером в системе госторговли. Сашу Зозулю эта работа захватила настолько, что в какой-то мере определила его дальнейшую профессию. Но что привлекло в ней будущего покорителя морских глубин? Вероятно, органическое отвращение ко всякого рода нечестности и блату, открывшаяся возможность дать им хотя бы на узком плацдарме открытый бой. И позже, когда Маринеско уже был курсантом мореходного училища, Зозуле удавалось вовлекать своего друга в самые разнообразные общественные начинания того времени. Комсомольская организация посылала Зозулю то в «Общество друзей советского фото и кино», то организатором синеблужного коллектива, то на интернациональную работу в клуб «Моряк», и всякий раз Саша Маринеско с увлечением окунался в новую для него среду и непривычные занятия. Однако мысль о море не оставляла его. И он совершил решающий поворот в своей судьбе, крутой, как все его

повороты,— бросил школу и ушел в плавание. Матрос на клубной яхте «Карманьола» — еще детская игра, юнга на учебном судне «Лахта», а затем курсант на знаменитом паруснике «Товарищ» — это уже настоящая морская служба. Не военная, но в чем-то близкая к ней. Море — одновременно друг и противник. Чтобы плавать по морям, нужны здоровье, труд, расчет, выдержка, зоркость, чувство локтя — все, как на войне. Вот почему уходом в первое плавание я заканчиваю рассказ о детских и школьных годах Александра Маринеско. И еще не расставаясь с Одессой, ощущаю настоятельную потребность как-то соотнести мальчика Сашу с тем зрелым, много пережившим человеком, которого я близко узнал и полюбил уже после войны. Сделаю я это в наиболее лапидарной форме: задам себе несколько вопросов и попытаюсь на них ответить.

Итак, какое же воспитание получил в детстве мой герой?

С моей точки зрения, прекрасное.

Его не угнетали и не баловали. Почти неограниченная свобода в соединении с привитым с ранних лет чувством долга. Неприсязательность, привычка к физическому труду — и широкий круг интересов: книги, техника, политика, искусство. Целеустремленность, которая не выжигает все кругом себя,— мир воспринимается гармонически. Была та никем не вычисленная, но реально существующая золотая пропорция, которая позволяет совмещать гордую независимость с дисциплиной, был свой неписаный, но твердый, не поддающийся размыванию кодекс чести. Один для дома и для улицы.

Детство Саши Маринеско подтверждает одну близкую мне мысль А. С. Макаренко, утверждавшего, что основные черты характера складываются очень рано и поэтому воспитание ребенка надо начинать с его первых шагов, если не раньше. Не знаю, обсуждали ли родители, как они будут воспитывать Сашу, и произносили ли вообще слово «воспитание», они были люди не книжного склада, но с самых ранних лет мальчик видел любовно-уважительные, хотя и без лишних сантиментов отношения отца и матери, равную заботу о нем и о сестре, слышал спокойную, блещущую искорками украинского юмора речь, вдыхал запах металла и вареного масла, исходившего от стоявшего в коморе

отцовского верстачка, и на ощупь узнавал жесткие и бережные ладони отца.

Таким ли я представлял себе маленького Сашу Маринеско? Похож ли он на того человека, которого я знал?

Да, похож. Конечно, от некоторых стереотипов и заданных представлений, с какими я ехал в Одессу, пришлось отказаться. Характер оказался более самобытным. Самобытность характера заключается не в том, чтобы быть непохожим на других, а в том, чтобы быть похожим на себя. Саше Маринеско пытались подражать, но сам он не подражал никому, даже своим любимым литературным героям. Он хотел пройти океанскими дорогами Маклая, но Маклаем быть он не хотел. Лишнее доказательство того, что умение улавливать сходство с натурой и потребность в подражании — две самые низшие формы восприятия искусства, его нижний этаж. У людей с развитым эстетическим чувством процесс восприятия сложно опосредован и основан на отборе. Я упоминал уже, что твеновские Том и Гек были в числе самых любимых героев Саши Маринеско. Но он нисколько на них не был похож. А если и был немножко, то на обоих сразу, но ни на кого в отдельности. Его тяга к приключениям была не книжной, как у Тома, не анархической, как у Гека. Он не был ни вырвавшимся на свободу пай-мальчиком, ни люмпеном. След, оставляемый в нашей душе любимыми книгами, не типографский оттиск, он не ложится как печать, а вступает с нашим сознанием в длительную реакцию. Взаимодействие происходит не механически, а, так сказать, на молекулярном уровне и дает не всегда предсказуемые результаты.

И наконец последний вопрос. Когда у Саши Маринеско зародилась мечта стать капитаном дальнего плавания?

Очень рано, если понимать под этим не должность, а призвание. Это была не просто мечта. Мало ли ребят мечтают быть моряками? Есть профессии, властно привлекающие детское воображение, — от пожарного в начале века до летчика в век авиации. Нет, это было выношенное решение, заставившее уйти из средней школы за год до окончания, поступиться своей детской свободой и подвергнуться беспощадному отбору, который проходят все, кто из мира детских мечтаний готов перейти в прекрасный, но полный трудов и опасностей

мир профессиональных мореплавателей. Влекла не красивая морская форма, не внешние атрибуты профессии, не особый почет, каким пользовались в Одессе капитаны. Влекло море.

IV. Фильтр

При всем бесконечном многообразии существующих на свете фильтров их можно условно разделить на два основных рода. На фильтре первого рода осаждаются шлаки. Ценное проходит сквозь фильтр, ненужное остается. У фильтра второго рода задача противоположная — освободиться от лишнего и удержать ценное. При помощи фильтров первого рода изготавливается питьевая вода. При помощи второго промывается золото.

Весь путь Александра Маринеско, от матроса на яхте «Карманьола» до командира подводного корабля, — это многоступенчатый фильтр второго рода. Один за другим отваливались от морской службы сверстники. Одни находили свое призвание на твердой земле, другие попросту не выдерживали испытания морем. Они уходили, Саша оставался.

Морская служба — трудная и не становится легче. Изменился только характер трудностей, на смену устаревшим приходят другие. Для Саши Маринеско в этом не было ничего неожиданного, о трудностях морской службы он догадался еще в яхт-клубе. Они его не пугали.

Расставшись со средней школой, он сразу ушел в плавание. Устроиться на работу, тем более на пароход, было в то время почти невозможно. Подростков брали только через биржу труда — учреждение ныне позабытое, а многим и вовсе неизвестное. Но помогло давнее знакомство. На Короленко, одиннадцать лет старший моряк, боцман Ткаченко, он знал Сашу с малых лет и был о нем хорошего мнения. Ткаченко привел вчерашнего школьника на пароход «Севастополь», и Сашу взяли. Судя по неофициальному прозвищу «кастрюльник», это была доживающая свой век посудина, но Саша был счастлив. «Севастополь» совершал регулярные рейсы, в четырнадцать лет Саша увидел Крым и Кавказ. Быть может, через год или два плавание на «Севастополе» и надоело бы Саше, но, прежде чем это

произошло, пришел приказ о зачислении Александра Маринеско в школу юнг.

Это была удача, и, надо думать, не совсем случайная. Кто-нибудь из служащих пароходства заметил быстрого и смышленного паренька и запомнил его не совсем обычную фамилию. Фамилия была морская.

Юнга на морском языке означает — ученик, подросток, стажирующийся на классную должность матроса. Школа юнг не готовит юнг, готовит она матросов первого класса. Юнги были на многих судах черноморских линий, большинство приходило без всякой подготовки с биржи труда, по так называемой броне подростков, их так и называли — «броневиками». По сравнению с ними Саша Маринеско знал и умел больше. Но настоящие знания и сноровку дала ему школа юнг — старейшее одесское училище. Стать воспитанником такого училища было немалой честью, но и серьезным испытанием. Для многих оно означало выбор профессии. Для Маринеско этот выбор был нетруден, он сделал его раньше. Да и к новому образу жизни он был подготовлен, и в яхт-клубе, и на «Севастополе» он был приучен не бояться никакой работы.

А в школе юнг брать в работу умели.

В первый год обучения шли занятия по слесарному, токарному и столярному делу — матрос должен уметь все. Изучали такелаж и основы навигации. Учили читать корабельные документы и морские лоции. Все это Саше давалось легко. На второй год наука стала потруднее. Весь курс перевели на блокшив «Лахта» — учебное судно, пригнанное с Балтики в Одессу. На «Лахте» жили на казарменном положении, с близким к военному распорядком. Все по звонку или по сигналу горниста. Блокшив стоял на двух якорях около волнолома. Сообщение с берегом — только на шлюпке. Домой только в субботу, да и то если ты не на вахте. Об этом периоде Александр Иванович мне рассказывал мало, и представить себе жизнь в школе юнг мне помогли рассказы сверстников, и в первую очередь Сергея Мироновича Шапошникова.

Сергей Миронович сам по себе заслуживает рассказа. Потомственный моряк. Так же, как Саша Маринеско, начал с яхт-клуба, но познакомился с Сашей только на «Лахте». Во время войны был старшим помощником капитана на героической «Кубани». У этого рефрижераторного теплохода, предназначенного для

перевозки скоропортящихся грузов, послужной список, ставящий его в один ряд с прославленными боевыми кораблями. «Кубань» доставляла продовольствие и медикаменты сражающимся испанским патриотам, во время Отечественной войны возила боеприпасы, высаживала десанты на Черноморском побережье и погибла в бою.

Когда мы встретились с Сергеем Мироновичем, он был уже на пенсии. Но жизнь его полна — он страстный книголюб и председатель местного клуба любителей книги. Вот что он рассказал:

«Саша Маринеско сразу привлек мое внимание. Плавал я, пожалуй, побольше, чем он,— мой отец часто брал меня с собой в плавание, но скоро я понял, что Саша и умеет и знает о море больше меня. Характер у него был сдержанный, нужно было приглядеться, чтобы понять, сколько за этой сдержанностью силы, пылкости, способности беззаветно увлекаться. Конечно, он мечтал о дальних плаваниях, но, готовя себя к ним, не чурался никакой черновой работы. Обучали нас старые боцманы, еще царской службы,— эти спуску не давали. Привезут на блокшив партию списанных за негодностью манильских тросов, нам задание: плести из них маты и кранцы. Работа только на первый взгляд простая, руки исколешь, пока научишься. Саша умел плести лучше всех и еще помогал товарищам, в том числе и мне. Помогать можно по-разному, иной скажет: «Эх ты! Ни черта ты не можешь. А ну, дай сюда!..» Саша помогал как-то незаметно, чаще всего молча. Подойдет, постоит, посмотрит и как бы невзначай покажет».

Жизнь на «Лахте» была строгая. Развлечений — никаких. Подолгу без берега. Но даже в этом вынужденном затворничестве была своя прелесть. Ребята очень сдружились. Лучше узнали друг друга. Научились жить так, чтобы никто никого не теснил и не раздражал. Теперь, в эпоху космических полетов и атомных подводных лодок, проблемы психологической совместимости и взаимной адаптации всерьез разрабатываются учеными и учитываются при формировании экипажей. Тогда даже слов таких не знали. Но уже тогда в суровых порядках на «Лахте» был заключен свой глубокий смысл. Это была тренировка, необходимая для любого моряка, и в особенности для тех, кто мечтает о дальних походах. И, конечно, это был фильтр

Не подходит такая жизнь — садись в шлюпку и прощай навек. Никто тебя не держит. Потому что в море будет потруднее. Хочешь быть настоящим матросом — оставайся. Ну а если хочешь не только плавать, но и водить корабли, «Лахта» — это лишь самый первый фильтр. Ибо, как поется в песне, только смелым покоряются моря...

Срок обучения в школе юнг — два года. Маринеско Александру и Шапошникову Сергею, как наиболее успевающим и имеющим некоторый опыт плавания, его сократили до полутора лет и без экзаменов перевели в Одесский морской техникум, именуемый в просторечии мореходкой.

Из сорока лахтинцев в мореходку перешли восемь человек. Старейшее одесское мореходное училище готовит настоящих моряков. Будущих штурманов дальнего плавания там тоже не баловали. Год напряженной учебы, а затем пятимесячная практика на легендарном паруснике «Товарищ». Слово «легендарный» применительно к «Товарищу» — не расхожий эпитет, которым мы иногда без разбора награждаем многие знаменитые имена. Всякий, кто видел «Товарища» хотя бы на картинке, не может не ощутить, что этот красавец корабль с его высокими мачтами, несущими на себе наполненные соленым ветром паруса, кажется пришельцем из мира легенд, из прошлых веков, когда морские суда назывались каравеллами и бригантинами, а легенда о «Летучем голландце» еще воспринималась как быль. Легендарными фигурами остались в памяти нескольких поколений моряков капитан «Товарища» Фрейман и боцман Адамыч, рассказы о них, по сути достоверные и лишь слегка приправленные фантазией рассказчиков, и сегодня жадно слушаются молодежью, они часть общеодесского фольклора. Мне о «Товарище» рассказывал в свое время Александр Иванович, а в более позднее — его сверстники Сергей Миронович Шапошников и ставшие впоследствии военными моряками Федор Федорович Гусаров и Герой Советского Союза Григорий Иванович Щедрин.

«Товарищ» имел четыре мачты: фок, 1-й и 2-й гроты и бизань. Три мачты имели прямое парусное вооружение, а бизань — косое. Мы с Сашей были во второй вахте, у третьего помощника капитана Андрея Густавовича Габестро — отличного моряка-парусника. Наша вахта при авралах работала на первой грот-мачте,

я на самых верхних парусах (бом-брамселях), а Саша, помнится, чуть ниже — на брамселях. При постановке и уборке парусов, при выполнении поворотов, на приборках и на погрузке балласта можно было на деле узнать, кто есть кто. Парусными работами руководил Андрей Густавович, а на палубе царил боцман Адамыч (фамилию его я забыл), и у обоих Саша был на хорошем счету. Смелый и расторопный, он отлично бегал по вантам и не чурался никакой работы. С ребятами он дружил и пользовался у них крепким авторитетом, «сачков» же презирал всей душой». Это вспоминает Федор Федорович. Его дополняет Григорий Иванович:

«Фамилия Адамыча была Хмелевский. Об этой колоритнейшей фигуре нашего гражданского флота хранят благодарную память несколько поколений моряков, прошедших морскую выучку у этого грозного на вид, но добрейшего человека, и недаром на его могилу в городе Батуми до сих пор приносят живые цветы. Многие по сию пору помнят его повадки и характерные словечки. Курсантов, которыми он был доволен, он звал орёликами. «А ну, орёлики, взяли!», «Молодцы, орёлики!» Саша Маринеско был из орёликов.

Еще более знаменитым, чем Адамыч, был капитан «Товарища» Фрейман. Его знали, кажется, на всех флотах, военных и торговых, а в Одессе — любой мальчишка. Имена капитанов Фреймана и Лухманова — в то время уже инспектора наркомата — назывались всегда, когда речь шла о том, что такое «настоящий морской волк». Это были носители, хранители и ревнители морских традиций, заслужить их похвалы было трудно. Команде шестивесельной гички, где старшиной был Гусаров, а Маринеско загребным, однажды удалось получить лестную оценку от обоих сразу. «Товарищ» стоял на феодосийском рейде. Лухманов прибыл в порт для инспектирования, и Фрейман послал за ним гичку. Ребята с шиком домчали Лухманова к трапу «Товарища». Старый морской волк, тронутый, что его доставили по-морскому, не на моторном катере, а на весельной гичке, оценивший лихость и образцовую выучку гребцов, выходя из гички, благодарил всю команду. Был доволен и Фрейман, ведь шлюпка — это визитная карточка корабля».

Кто-то скажет: «Подумаешь, большое дело — в тихую погоду с шиком прокатить начальство». И будет не прав.

Между умением и мужеством, между знанием и принципиальностью существует не простая, но ясно прослеживаемая связь.

Много лет назад, еще до войны, мне, работавшему тогда над пьесой о разведчиках нефти, понадобилась специальная консультация, и я встретился с одним из крупнейших специалистов в этой области, профессором Владимиром Александровичем Сельским. Маститый ученый внимательно меня выслушал, затем весьма деликатно расспросил об основном конфликте пьесы, и я рассказал ему об энтузиасте-геологе, который, рискуя своей репутацией, может быть, и чем-то большим, настаивает на продолжении разведывательного бурения, несмотря на то, что на проектной глубине нефть не обнаружена, а люди, беспринципные, трусливые, готовы остановить все работы, лишь бы не отвечать за возможную неудачу. Владимир Александрович реагировал на мой рассказ сочувственно, но несколько неожиданно:

— Мне кажется, вы всё несколько усложняете. А дело объясняется проще. Ваш геолог — несомненно хороший геолог. Опытный, знающий, талантливый. Защищать свои принципы ему помогает то обстоятельство, что они у него есть. На основе этих принципов он твердо знает, убежден: здесь должна быть нефть. И это убеждение не только помогает, но заставляет его стоять на своем. А его противники, вероятно, хуже знают свое дело, поэтому их легко сбить, они не столько знают, сколько гадают. Поверьте, принципиальность во многом зависит от мастерства.

Признаюсь, в первый момент высказывание профессора показалось мне каким-то чересчур профессиональным и уж очень беспартийным. Оно как бы смазывало идеологический конфликт. А затем я призадумался и понял, что, отнюдь не сбрасывая со счетов социальные характеристики моих персонажей, профессор счел полезным обратить мое внимание на профессиональную сторону конфликта, которую он видел лучше, чем я.

Много позже, в послевоенные годы, разговаривая с моим другом, известным летчиком-испытателем Марком Лазаревичем Галлаем, я уловил у него сходную мысль.

— Мне кажется,— сказал он,— что, говоря об отваге наших летчиков и в бою, и в испытательной работе, нельзя отрывать нравственную сторону от

мастерства. Чем больше летчик знает и умеет, чем лучше слушается его машина, тем увереннее он себя чувствует в полете и тем больше может себе позволить, на большее отважиться.

«Все это, может быть, и справедливо,— скажет нетерпеливый читатель.— Но при чем тут гичка?»

А вот при чем. Прежде чем заслужить похвалу прославленного капитана, команда Гусарова — Маринеско долго и настойчиво тренировалась, все маневры гички были доведены до полной виртуозности. На первый взгляд особой нужды в этом не было — назначение у капитанской гички самое прозаическое — в порт и обратно к трапу. Но море ставит свои отметки иначе, чем в средней школе: в море тройка — это плохо, а четверка — посредственно. Проходной балл на море — пять. И однажды скромной гичке пришлось держать настоящий морской экзамен, где четверка уже не спасала. Во время стоянки «Товарища» на батумском рейде для курсантов была организована пешая экскурсия на Зеленый мыс. Команде гички было поручено доставить туда продукты для обеда. На обратном пути внезапно налетел шквал, ветер развел сильную волну. Ветер и волны били в скулу, легкую гичку, отнюдь не рассчитанную на штормовую погоду, захлестывало так, что ребята еле успевали отчерпывать воду. Растеряться, допустить самую невинную ошибку — значило перевернуться. И вот через десятки лет товарищам вспомнилось, как вел себя в эти критические минуты Саша Маринеско. Вопреки своему обычному спокойствию, он был очень оживлен. И не просто оживлен, а весел. Шутил, подначивал, и его веселая уверенность передавалась другим. На корабль добрались вымокшие, вымотанные, но с тем радостным ощущением, которое рождается не столько избавлением от опасности, сколько преодолением ее, победой над стихией.

Такое же задорное веселье владело Сашей Маринеско во время корабельных авралов. Первое морское крещение на «Товарище» было суровым. На пути к румынским берегам «Товарища» прихватила непогода, внезапно налетевший сильный ветер порвал часть парусов. Волны сильно раскачивали судно и обрушивали свои гребешки на верхнюю палубу. Убирать паруса в такую погоду — задача непростая даже для испытанных «марсофлотов»; чем выше рея, тем сильнее размах качелей, клотик чертит в потемневшем небе

круглые зигзаги, рея клонится то вправо, то влево, и на мгновение моряк повисает над пучиной. Но медлить нельзя, надо работать — и, вцепившись в рею левой рукой, изловчившись, изо всех сил тянешь правой раздуваемый ветром парус, крепить паруса в непогоду еще тяжелее, чем отдавать. Так рассказывают о штормовой вахте на паруснике все, кого хоть раз поднимали среди ночи, чтобы, натянув на себя штормробу, бежать на верхнюю палубу и строиться по правому борту в ожидании команды «пошел наверх, паруса крепить!». Темнота, в снастях завывает ветер, сечет холодный дождь, угрожающе шумит волна — в ту ночь на вахту вышла только половина состава. Начальник вахты Габестро приказывает: поднять всех наверх! И обычно невозмутимый Саша Маринеско взрывается. Он первым врывается в кубрик. Немногих действительно укачавшихся не трогает, но к сачкам (теперь, я полагаю, всем понятно это слово) он беспощаден — сдергивает одеяла, за ноги вытаскивает из нагретых коек. Через несколько минут вся вахта — за исключением девчат и немногих больных — была уже на реях и крепила паруса по-штормовому. «Товарищ» с честью выдержал испытание штормом, но новички выдержали его не все — и с некоторыми вскоре пришлось расстаться.

А в тихом и даже несколько застенчивом Саше Маринеско эта штормовая ночь открыла для знавших его нечто новое — взрывчатость и зреющую способность вести и повелевать.

Некоторым читателям может показаться странным, что на «Товарище» были девушки. А они были, и в немалом числе, по десять в каждой вахте. Женщина в море! Уже навязло в зубах старинное флотское суеверие, будто женщина на корабле приносит несчастье, и в несколько очищенном от мистических наслоений виде оно бытует и сегодня. На военных кораблях женщин нет по совсем другим причинам — условия жизни и организация службы на них не рассчитаны. Но в том-то и дело, что «Товарищ» не был военным судном. Несмотря на бросающееся в глаза фамильное сходство с описанными Станюковичем корветами и фрегатами, он был всего-навсего РУПС — рабочее учебное парусное судно — и под этим прозаическим обозначением числился за торговым флотом. Грузов он не перевозил, а в качестве балласта нес в своих трюмах многие сотни

тонн обыкновенного песка. Единственной его задачей было готовить кадры для торгового флота, а туда, как известно, пути женщинам не заказаны. К тому же и время было такое: женщины страстно стремились осуществить данное им молодой Советской властью равноправие и проникнуть туда, где раньше женским духом и не пахло. Так вот и в мореходке, и на «Товарище» девушки были, они проходили морскую практику наравне с парнями и даже лазили на мачты, не в штормовую, понятно, погоду. Упоминаю об этом, чтобы пересказать со слов Г. И. Щедрина один малозначительный, но характерный для Саши Маринеско трагикомический эпизод, сохранившийся в памяти сверстников, плававших вместе с ним на «Товарище».

Шла обычная тренировка. Для того чтобы подняться по вантам на мачту, приходится пролезать через довольно узкое отверстие в прикрепленной к мачте открытой площадке, именуемой марсом. Худощавые узкобедрые парни пролезали в это отверстие без затруднений, но одна из девушек по причине своего плотного сложения застряла в нем — и ни вверх, ни вниз, все ее усилия только ухудшали положение. На палубе захохотали. Саша Маринеско не смеялся. Не говоря ни слова, он сорвался с места, быстро вскарабкался на мачту, перемахнул через ограждение марса и втянул девушку на площадку. И хохот стих.

Плавание на «Товарище» закончилось государственным экзаменом. Принимали экзамены двенадцать капитанов во главе с Фрейманом. Экзаменаторы были нелюбезны, но беспощадны. После испытаний из сорока курсантов в классе осталось шестнадцать. Эти шестнадцать держали письменный экзамен по навигации. «На письменную работу, — вспоминает С. М. Шапошников, — было дано два с половиной часа — срок достаточный. Я написал раньше всех, сдал и получил пятерку. Саша Маринеско закончил одновременно со мной, но из чувства товарищества не спешил подавать свою работу. И хотя работа была не хуже моей, получил четверку, — оказывается, быстрота расчетов тоже учитывалась при оценке.

Вообще чувство товарищества было у Саши чрезвычайно развито. На второй год обучения нас в порядке морской практики стали посылать в рейсы, в том числе и заграничные. Я был старостой курса, и Саша всегда настаивал, чтобы в наиболее выгодные рейсы посылали

товарищей из материально необеспеченных семей. Для себя он никогда ничего не требовал».

Ветеран-подводник Филипп Васильевич Константинов, учившийся вместе с Сашей Маринеско в Одесской мореходке, вспоминает о нем с особой теплотой.

«Саша жил на Короленко, и общежитие, где жили многие ребята, ему было не по дороге, но он редкий день не заходил за нами, и мы шли в училище гурьбой. Шли мимо знаменитой одесской лестницы, и нас всегда поражало — Саша узнавал любой «шип». В порту для него не было тайн, он без ошибки угадывал, чье судно, каков его тоннаж, откуда идет, куда направляется. О море он знал куда больше нас. Было голодно, и Саша делал все, чтоб мы могли подработать в порту. Чаще всего грузили по ночам. Из-за этого, бывало, опаздывали на утренние занятия, но на это тогда смотрели сквозь пальцы. Когда улучшились условия — подтянули и дисциплину.

Вот вам характерный факт. Я не выдержал трудностей того времени, стал пропускать занятия, нарушать дисциплину. Меня отчислили. Я сразу поступил учеником матроса на пароход «Трансбалт» — одежда, питание. Один парень меня соблазнял бросить морскую службу и ехать с ним в Донбасс шахтерить. Саша не только был против, но всячески добивался, чтоб я вернулся в мореходку. Выбрал момент, когда начальник был в отпуску, и вымолил у его заместителя приказ о моем восстановлении. Приказ он торжествуя принес на «Трансбалт». Этого поступка, определившего всю мою жизнь, я никогда не забуду».

Пять месяцев плавания — и снова за книгу. Как ни любил курсант Маринеско морскую стихию — возвращение на берег тоже имело свою привлекательную сторону. Теперь он опять жил дома с родителями и сестрой, вновь встретился со старыми друзьями с Короленко, одиннадцать и со своим неразлучным Сашкой Зозулей. Интересы Зозули к тому времени окончательно определились, было уже ясно, что моряком он не станет, его все больше увлекала комсомольская работа. Саша Маринеско, вступивший в комсомол позже своего друга, охотно за ним следует. Морские науки по-прежнему на первом месте, но это не мешает ему с увлечением заниматься общественными делами вне стен училища. За сравнительно короткое время он успел побывать в самых неожиданных ролях: общественного контроле-

ра в торговой сети, активиста недавно созданного на Украине «Общества друзей советского фото и кино», участника самодеятельного ансамбля при клубе «Моряк» и даже массовика-затейника. Как это совместить с яростной целеустремленностью, с «фанатической преданностью морю», о которой я столько слышан от его друзей и сверстников?

Сегодня я нахожу эти увлечения не только совместимыми, но и необходимыми для формирования характера будущего капитана дальнего плавания. Целеустремленность не предполагает узости интересов, и, насколько я понимаю характер Маринеско, всякий фанатизм был ему чужд. Он был создан для подвига, но не для подвижничества. Кстати, о фанатизме. Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что в любом фанатизме нет ничего хорошего. Между целеустремленностью и фанатизмом примерно такая же разница, как между волей и упрямством. Фанатик — это человек, одержимый идеей здоровой или ложной, но даже если идея здоровая, она неизбежно искажается от неспособности фанатика корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся действительностью, от нарушения того, что современная наука называет обратными связями. Фанатизм противопоказан гармоническому развитию личности, и мы совершаем терминологическую ошибку всякий раз, когда бездумно называем людей подвига фанатиками. Бывает, что это делается не без умысла. Враги революции упорно называли Ленина «кремлевским фанатиком». Уэллс проявил бóльшую проницательность, назвав его «кремлевским мечтателем». Ленин был деятелем, творцом, а что такое творчество, как не превращение мечты в действительность?..

Нет, Маринеско не был фанатиком. Его жизнелюбие не позволяло ему замыкаться в тесном кругу профессиональных интересов, и если вдуматься, то не так трудно проникнуть в причины его увлечений. Как свидетельствует А. П. Зозуля, Саша был до болезненности чуток ко всякой лжи, нечестности, блату, и возможность дать этим явлениям бой, хотя бы на ограниченном плацдарме, могла на какое-то время захватить его так же безудержно, как все, чем он увлекался. Увлечение кино и самодеятельностью столь же естественно — в нем нашла свой выход присущая ему артистичность. А в клуб «Моряк» его завлекал жадный интерес к людям

всего мира, сказывалось полученное им еще в раннем детстве интернациональное воспитание. Интернационализм его был не пассивным, а боевым, подобно большинству своего поколения он еще жил ожиданием мировой революции, и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» воспринимался им как совершенно реальный призыв к действию. А в ожидании мировых катаклизмов приходилось принимать участие в классовых схватках местного значения.

«В практических плаваниях, как в школе юнг, так и в морском техникуме, мне как комсомольцу приходилось участвовать в общественной жизни нашей страны, где в то время шло наступление на частную собственность. Национализировались дубки — парусные суда водоизмещением до 25 тонн. Эти дубки принадлежали кулакам и спекулянтам и использовались ими для своих торговых операций. Нам поручалось перегонять эти суда из херсонской Голой Пристани в одесский порт. Кулачье сопротивлялось, и нередко дело доходило до драки».

Апрель 1933 года — рубеж. Из сорока человек, принятых на первый курс, окончили техникум четырнадцать. «Романтики», — написал в своих карандашных набросках Александр Иванович, — отсеялись». Он был прав, заключая это слово в кавычки. Отсеялись романтики в кавычках. Остались настоящие. Такие, как он сам.

Четырнадцать окончивших получили назначения на суда Черноморского флота — третьими и четвертыми помощниками капитана. Саша Маринеско — теперь уже для многих Александр Иванович — был назначен на пароход «Красный флот». Вот что пишет Александр Иванович о своем дебюте:

«Пароход наш был старая посудина водоизмещением около тысячи тонн, плававшая по Крымско-Кавказской линии, и в летнее время использовалась для перевозки зерна. Капитан был опытный моряк, но великий пьяница, и хотя в прошлом он окончил мореходное училище с отличием и сразу же был назначен капитаном танкера, теперь ему доверяли только небольшие суда. Недели две капитан внимательно ко мне присматривался, а затем полностью доверился мне и во время ходовой вахты почти не заглядывал на мостик. Через два месяца я был уже вторым помощником и на этой должности хлебнул порядочно горя.

Шли форсированные перевозки зерна из Николаева, Херсона и Скадовска в порты Закавказья. Чтобы перевыполнить план, судно излишне нагружали, до поры до времени все обходилось благополучно. Но однажды часах в двадцати хода от Батуми разыгрался шторм баллов на восемь. Коробочка наша была так перегружена, что шла почти в подводном положении, и повреждений было много, волнами снесло шлюпку и парадный трап. Так дочапали мы до Батуми и, только когда вскрыли трюмы, узнали, что нас спасло подмоченное и разбухшее зерно, оно забило пробойну и прекратило поступление забортной воды».

Однако и на такой коробочке второй помощник капитана сумел отличиться. Было это осенью в районе Скадовска. Стоя на вахте, он различил на горизонте едва заметную точку, она то опускалась, то поднималась на гребнях волн. Доложил капитану, пароход изменил курс и подоспел на помощь терпящему бедствие торпедному катеру, на котором шло из Севастополя какое-то высокое начальство. Взять катер на буксир удалось только после двух часов напряженных усилий, после чего пароход повернул обратно к Скадовску. За смелые и решительные действия второй помощник капитана парохода «Красный флот» А. И. Маринеско получил благодарность от командующего Черноморским флотом и месячный оклад от пароходства. Александр Иванович был доволен, но ему даже в голову не приходило, что это первое соприкосновение с военноморским флотом будет иметь для него далеко идущие последствия. Через несколько дней он был вызван на медицинскую комиссию, признан здоровым и призван по спецнабору в кадры Военно-Морского Флота.

Здесь необходимо пояснение.

«Призыв» — слово неоднозначное. Существует закон об обязательной военной службе, согласно которому ежегодно призываются в армию и флот достигшие призывного возраста молодые люди. Неявка на призывные пункты даже в мирное время является дезертирством и преследуется по закону. Но есть и другой, хорошо нам знакомый смысл слова. Когда призыв опирается не столько даже на закон, а обращен к нашим глубинным чувствам — гражданского и патриотического долга. Призыв «по спецнабору» ближе к этому второму смыслу. Призванным предстояло принять решение. Было бы лицемерным утверждать, что

оно во всех случаях было полностью добровольным. Но все-таки самостоятельным. Одно дело — отслужить два или три года и податься домой. Совсем другое — изменить весь ход своей жизни, избрать новую, по всей вероятности, пожизненную профессию.

Саша Маринеско решение принял. Далось оно ему лишь по видимости легко.

Он не мог не понимать, что с этим решением рушатся все его с детских лет взлелеянные мечты и планы. Что уже никогда ему не пройти морскими дорогами Миклухо-Маклая, не повидать далекие экзотические страны. Что предстоит крутой поворот. Вернее, даже скачок. Из солнечной Одессы, от любимой семьи, от близких друзей — в чужой, туманный Ленинград. Из теплого Черного моря — в глубины холодной Балтики. «Глубины» — не оговорка. Задача спецнабора была — сделать из вчерашних торговых моряков подводников. И, может быть, самое существенное: переход из трудной, утомительной, временами опасной, но все же гражданской жизни к жестко регламентированному, подчиненному строгой служебной иерархии быту воинской части.

Почему же, зная все это, Саша Маринеско решился в корне изменить свою судьбу? Не значит ли это, что он не хотел стать военным моряком и его к этому принудили?

Попробую ответить на этот непростой вопрос, опираясь на свидетельства самого Александра Ивановича и некоторых его сверстников.

Если говорить только о чисто субъективной, эмоциональной стороне — то, безусловно, не хотел. Кстати, на этом признании обрываются его скупые автобиографические записи. В своем нежелании он был не одинок. Не хотелось многим, однако они стали не только военными моряками, но и прославленными командирами, как сверстник Саши Герой Советского Союза вице-адмирал Григорий Иванович Щедрин.

Итак, в чем же причина? Наши решения редко имеют одну причину. Но всегда есть главная. Среди второстепенных можно угадать и накипевшее раздражение против однообразия рейсов на перегруженной сверх меры коробочке (других, более интересных вакансий в то время не предвиделось), и присущую Саше Маринеско тягу ко всему неизведанному, но основная причина была, конечно, не в этом, а заключалась она

в одном магическом для нашего комсомольского поколения слове. Слово это было: «надо».

Кому надо? Надо стране. В те годы молодежь по призыву комсомола срывалась с родных мест и уезжала на дальние уральские, сибирские, дальневосточные стройки. Комсомол шефствовал над Военно-Морским Флотом, и количество добровольцев, осаждавших военкоматы, намного превышало скромные в начале тридцатых годов заявки флотов. И не боязнь расстаться с комсомольским билетом, а вошедшее в кровь и плоть чувство долга заставило Сашу Маринеско, не долго раздумывая, сказать себе это «надо».

Вспоминаю Валю Кукушкина с его «пойдем, куда пошлют». Это были люди одного поколения.

У читателя может возникнуть вполне законный вопрос: а было ли действительно надо? Нужно ли было срывать с плавающих судов тщательно отобранных и хорошо подготовленных моряков торгового (то есть надводного) флота и заново переучивать их, чтобы сделать из них подводников? Ведь существуют высшие военно-морские училища, ежегодно выпускающие отлично подготовленных командиров, в том числе и подводников. Угроза новой войны еще не ощущалась как близкая, необходимости в ускоренных выпусках не было никакой. Ответить на этот вопрос мне помог Григорий Иванович Щедрин.

В тридцатые годы развернулось строительство отечественных подводных лодок. Нужны были кадры. Советское командование учло немецкий опыт подготовки лоцманов военного времени. Эти лоцманы ходили на германских подводных лодках как консультанты при командире. Установлено было, что лучшие лоцманы выходят из капитанов и штурманов торгового флота — они лучше, чем кто-либо, знают, как ходят транспорты. Наши пошли в своих выводах дальше. Поскольку главная задача подводных лодок — охота за транспортом противника, из торговых моряков можно воспитать отличных командиров-подводников. Кому, как не им, знать все повадки грузовых судов. Практика подтвердила расчет — среди отличившихся в годы Великой Отечественной войны подводников много бывших торговых моряков, достаточно назвать С. Н. Богорада, Н. А. Лунина, А. М. Матиясевича, Ф. В. Константинова, В. А. Полещука и самого Г. И. Щедрина.

Понимал ли все это тогда будущий командир «С-13»? Если и понимал, то смутно. Но, уже будучи подводником, продолжал гордиться своим званием штурмана дальнего плавания и сердился, когда моряков гражданского флота называли «торгашами». Он любил говорить, что лучшие штурманы выходят из этих так называемых торгашей, и пояснял свою мысль очень наглядно: «Всякий раз, когда отходит от пирса торговый корабль,— государству прибыль. А когда военный — чистый расход. У кого, по-вашему, больше опыта?»

Для мирного времени это было не лишено основания.

В ноябре 1933 года Александр Маринеско в числе других призванных по спецнабору прибыл в Ленинград, был обмундирован, получил знаки различия командира 6-й категории (нынешних воинских званий тогда еще не было) и направлен в штурманские классы специальных курсов командного состава. Вместе с ним приехала в Ленинград Нина Ильинична Маринеско, урожденная Карюкина. Свадьба их состоялась незадолго до отъезда из Одессы. Начиналась новая эра. Слово, быть может, чересчур торжественное, но для Александра Ивановича прощание с Одессой было не простой переменой адреса, а обрывом многолетних связей и погружением в новую, незнакомую среду. Все нужно было строить заново.

V. Любовь и долг

О начале своей военно-морской службы Александр Иванович рассказывал мне мало. Однако не скрывал, что временами был близок к отчаянию.

Приспособление, или, как теперь говорят, адаптация, к новым условиям происходило мучительно.

Старые товарищи, наблюдавшие Сашу Маринеско в первые месяцы, единодушно отмечают драматический разрыв между сознательно принятым решением и гнездившимся в его душе глубоким сопротивлением этим новым условиям. Г. И. Щедрин вспоминает: «Саша учился хорошо, никаких претензий к нему ни у командования, ни у комсомольской организации не было, но настроение у него временами было подавленное, и я знал почему. Знал, потому что и сам переживал нечто подобное».

С. М. Шапошников по окончании морского технику-

ма, так же как Маринеско, стал помощником капитана и вместе со своим капитаном ездил в Норвегию — принимать новое судно. На обратном пути в Ленинграде узнал адрес курсов и добился свидания. Саша со своей обычной сдержанностью не жаловался на судьбу, но врать не стал. Признался, что скучает по Одессе, по Черному морю, по родному дому...

Теперь у него было два дома — родительский в Одессе и своя семья в Ленинграде, жена Нина, дочь Лора. Человек, о похождениях которого впоследствии столько судачили, был преданным мужем и ласковым отцом. А видеться с ними приходилось урывками.

Легче всего изобразить противоречия, обуревавшие в то время слушателя спецкурсов Маринеско, как столкновение еще не утраченных «нравов одесской вольницы» с разумной воинской дисциплиной. Но это было бы ошибкой. Командир 6-й категории Маринеско никогда, даже в ранней юности, не был противником дисциплины. Мореплавание вообще дисциплинирует, и любой настоящий моряк — а Маринеско к тому времени был уже настоящим моряком — прекрасно знает, что торговое судно, так же как военный корабль, не терпит анархии. Уходя в плавание, торговый моряк надолго расстается с семьей, и в этом смысле его быт мало чем отличается от быта военного моряка. Все это Маринеско не только знал, но умел подчиняться и требовать; за время обучения на курсах — ни одного дисциплинарного взыскания. Угнетало его другое. Возвратившись из плавания и ступивши ногой на твердую землю, торговый моряк обретает свободу. Он уже не подчинен своему капитану и волен в своих поступках. В своем неприятии казарменного быта Александр Иванович был не одинок. Среди его товарищей по курсу были люди, не менее остро переживавшие изменение привычных мерок. Будь они обычными призывниками, им было бы проще освоиться, но, несмотря на свою относительную молодость, они уже хлебнули другой жизни, ничуть не более легкой и даже более ответственной, но другой. Дипломированные штурманы, в недалекой перспективе капитаны черноморских судов, здесь они вновь превращались в курсантов. Многое пришлось постигать с азов.

Через четверть века Александр Иванович записывает в тетрадку: «Учеба на курсах первое время шла у нас плохо. Военная служба многих не устраивала,

больше всего не любили мы строевые занятия и всякое, даже на короткое расстояние, передвижение строем. Многие у нас стали нарочно плохо учиться в надежде, что их отчислят. Неизвестно, чем кончилась бы эта «итальянская забастовка», если б не влияние преподавателя астрономии и навигации Малинина. Малинин, в прошлом флагманский штурман флота, был культурнейшим моряком и вызывал у нас, молодых, чувство глубокого уважения. Летом 1934 года он руководил практическими занятиями курса на Каспийском море и прекрасно разобрался в психологии подопечных. Когда кто-то притворялся, что не знает предмета, Малинин мгновенно его разоблачал, в людях он разбирался не хуже, чем в астрономии. А под конец практики, собрав всех для беседы, в безупречно вежливой форме, но очень твердо предупредил: если кто-нибудь рассчитывает, что его отчислят по неуспеваемости и он вернется на торговый флот, то это заблуждение. Скорее всего этих товарищей пошлют отбывать воинскую повинность рядовыми матросами на малые корабли».

Здесь не обойтись без некоторых уточнений.

Александр Иванович точен, говоря, что поначалу учеба на курсах шла плохо. Но сам-то он учился хорошо, об этом свидетельствует приведенный выше отзыв Г. И. Щедрина. Уж во всяком случае неучем он не притворялся, и если по окончании практики на Каспии курсант Маринеско с удвоенной энергией принялся за военные науки, то не потому, что в деликатном предупреждении Малинина была закапсулирована угроза. Угрозы на Маринеско не действовали, он становился упрямым. Мог и вспыхнуть: «Отчисляйте! Отслужу что положено и вернусь в Одессу». Значит, дело было не в угрозе. Просто ему было противно делать что-нибудь плохо. Да и другие после Каспия начали заниматься всерьез.

Маринеско попал в самую сильную группу и окончил курсы досрочно.

Военная служба ему по-прежнему не нравилась. Особенно остро он переживал случаи, когда ему доводилось сталкиваться с начальственной грубостью или высокомерием. Эта черта сохранилась в нем до конца жизни. Безотказный на службе, вне службы бывал строптив и очень чувствителен к тону. Знал, что нельзя возражать, но иногда срывался. В особенности он не терпел, когда вчерашний однокашник, поднявшись на

одну служебную ступеньку, резко менял стиль отношений со вчерашними друзьями. Мне приходилось слышать (говорили это люди в высоких званиях), что Маринеско был чрезмерно обидчив. Но не принимаем ли мы иногда за обидчивость развитое чувство собственного достоинства?

Маринеско обижать людей не любил, и когда ему случалось нагрубить кому-нибудь, каялся. Бывало, грубил старшим. А когда срывал раздражение на подчиненном, умел признать свою вину и старался загладить. Это его качество высоко ценилось обеими командами — на «М-96» и на «С-13», — потому на него редко обижались.

Запомнился мне такой разговор.

«Многим из нас, — сказал он в одной из наших бесед, — не хватает хорошего воспитания. Не в смысле идейном, а в смысле манер. Известно, что офицеры старого флота в своем кругу соблюдали корректность, дух кают-компаний, обращение даже к младшим по имени-отчеству... Не так глупо».

Александра Ивановича во время его срывов я ни разу не видел. А в обычное время он на меня производил впечатление человека хорошо воспитанного — простого в обращении, без тени фанаберии или панибратства.

Но я отвлекся. Маринеско отлично окончил курсы, однако свой переезд на Балтику и переход в кадры военного флота он по-прежнему воспринимал драматически. Драма заключалась в том, что долг был в несогласии с чувством.

Долг велел, а сердце не лежало.

На борении любви и долга построена большая часть конфликтов в произведениях мировой литературы. Конечно, если любовь понимать широко — не только как любовную страсть. Впрочем, и понятие долга требует диалектического подхода. С точки зрения феодальной морали, Ромео должен был не любить Джульетту, а уничтожать ее родственников. И разве долг присяги хоть сколько-нибудь оправдывает палачей Освенцима и Треблинки?

В большинстве книг торжествует долг, и мы, читатели, относимся к этому с одобрением. Почему так, нетрудно понять. Долг диктует общество. Любовь — удел частного лица. Примат общественного над личным. В хороших книгах долг торжествует ценой жесточайших

страданий или даже гибели героя. В плохих — с обескураживающей легкостью.

Конфликт, переживаемый командиром 6-й категории Маринеско, был не из легких.

В самом деле — можно из чувства долга отказаться от любых материальных благ. Для порядочного человека это никогда не становится трагедией.

Можно из чувства долга отказаться от любви. К примеру, остаться в семье ради детей. Пожертвовать своим счастьем, чтобы не приносить страдание близким. Трудно, но можно.

Можно, наконец, пожертвовать жизнью. В бою.

Но пожертвовать жизнью, так сказать, в рассрочку, всю жизнь жить не своей жизнью, делать не свое дело?

Вероятно, тоже можно. Но очень тяжело. Не все это выдерживают.

Из этого положения надо было искать выход. И он нашелся.

Раз ничего нельзя изменить, надо заставить себя полюбить. Еще раз сказать себе «надо».

Возможно ли это? Оказалось, возможно. Ведь долг — не только понятие. Долг — чувство. Чувство долга. И чувство, не отгороженное непроницаемой стеной от любви. Военский долг неотделим от любви к родине. Значит, надо не только одним из первых закончить учение, надо вложить всего себя в новую профессию, сделать ее призванием. Надо и в ней стать одним из первых.

Опять крутой поворот. На этот раз он потребовал времени. Сколько? Трудно сказать. Но когда в январе 1937 года Александр Иванович приезжает в Одессу на свадьбу своего друга Николая Ефимовича Озерова, и у родных, и у всех ближайших друзей создается впечатление, что Саша свое призвание нашел.

Но я забежал в тридцать седьмой, а Маринеско окончил курсы в тридцать пятом. И получил назначение дублером штурмана на подводную лодку «Пикша», входившую в состав Краснознаменного Балтийского флота и стоявшую в Кронштадте.

Я веду свой рассказ не для одних моряков и потому считаю нелишним хотя бы в самых общих чертах рассказать, что представляла из себя «Пикша», а заодно — что такое подводная лодка вообще. Переход с надводного корабля на подводный — рубеж в своем роде не менее значительный, чем переход с торгового

судна на военный корабль. Даже в мирное время служба на подводных лодках была тяжелее и опаснее. Любая небрежность в несении службы может обойтись очень дорого: неплотно закрытый люк, ошибка рулевых... В отличие от надводных кораблей, у субмарины кроме вертикального руля есть горизонтальные, они регулируют глубину погружения, и надо все время помнить, что с каждым десятком метров давление воды на корпус лодки возрастает на одну атмосферу. Провалиться ниже предельной для данного типа лодок глубины — это примерно то же самое, что войти в штопор для летчика, разница только в том, что подводник лишен возможности катапультироваться и ему предстоит долгая мучительная смерть в смятой чудовищным давлением стальной коробке. Плавать на подлодках в тридцатые — сороковые годы означало спать в душных отсеках на узеньких койках в три смены, экономить пресную воду, спрашивать разрешения командира на то, чтоб перейти из отсека в отсек, даже на то, чтоб пойти в галюн. Это значило во время долгих подводных переходов мечтать о глотке свежего воздуха, а во время надводного хода рассматривать как великую удачу возможность подняться на мостик и там покурить или просто подышать соленой влагой. На нынешних лодках, как атомных, так и дизельных, многие проблемы, в частности проблема регенерации воздуха, решены кардинально, но в то время автономность, то есть способность лодки находиться в отрыве от базы, была ограниченной, а каждый лишний час пребывания под водой отзывался звоном в ушах.

Конечно, не опасности и не лишения, связанные с подводным плаванием, отталкивали на первых порах штурмана Маринеско. Он был здоров, неприхотлив, а уж смелости ему было не занимать стать. И все же он испытал то стеснение духа, какое испытывает почти любой новичок, впервые заглядывая в узкую горловину рубочного люка и нащупывая ногой скользкую никелированную перекладину ведущего в центральный отсек отвесного трапа. По этому трапу ему предстоит научиться скользить вниз с головокрумной быстротой, как только раздастся сигнал к срочному погружению. А из центрального поста, если люк не закрыт, небо кажется маленьким голубоватым диском, будто смотришь в телескоп на далекую планету. Нужно было время, чтобы после черноморского приволья привыкнуть

к тесноте отсеков, узости люков. Нужно было время, чтобы научиться определять место корабля не по солнцу и звездам, а втемную, по числу оборотов двигателя.

«Пикша», на которой начал свою подводную службу Александр Иванович, была для своего времени очень хорошая лодка, принадлежащая к типу «щук». Однотипным кораблям принято давать однотипные названия. Существовала некогда лодка, названная «Щукой», в дальнейшем все лодки этой конструкции стали получать при крещении рыбы имена. Затем, с ростом нашего подводного флота, все такие лодки стали именоваться «щуками» уже со строчной буквы и обозначаться литерой «Щ» плюс порядковый номер. «Пикша» была «Щ-306». Это была субмарина среднего для того времени тоннажа, побольше, чем «М-96», и поменьше, чем «С-13», — я называю лодки, которыми впоследствии командовал Маринеско. Лодки среднего тоннажа считались, и не без основания, наиболее подходящими для операций в Балтийском море и в первый период войны показали себя как наиболее результативные. Чем меньше лодка, тем больше у нее шансов проскочить через сети и минные заграждения, но и меньше автономность. Вскоре после прихода Маринеско на «Пикшу» лодку стали готовить к многодневному походу. Предстояло побить рекорд автономного плавания для этого типа лодок.

Александр Иванович говорил мне, что этот последний рубеж — превращение в подводника — дался ему тоже нелегко. Трудности были скорее психологические. Небольшого роста, физически крепкий, он быстро научился ориентироваться на лодке, легко освоил штурманское хозяйство, включавшее наблюдение, связь и управление рулями, разбирался уже и в машинах и оружии. За работой он не скучал, к дальнему походу готовился с рвением, но в обычное время подолгу жить без берега не умел, а лодка по многу суток стояла на рейде, иногда без особой нужды, и тогда настроение у Александра Ивановича портилось.

Ветеран-подводник В. А. Иванов, пришедший на «Пикшу» вместе с Маринеско, вспоминает:

«В 1935 году я был дублером минера, а Саша — дублером штурмана. Ходили вместе в длительный автономный поход. 46 суток для «щуки» — это очень много. В таких походах человек раскрывается полностью. Саша был настоящий моряк, службу нес без-

упречно. Видно было, что он готовит себя к самостоятельному управлению кораблем, через несколько месяцев он отлично знал не только свою боевую часть, но и всю лодку. Веселый, жизнерадостный, команда его сразу полюбила».

В служебной аттестации того времени наряду с высокой оценкой Маринеско как моряка и командира были и замечания: недостаточно дисциплинирован, упрям, слабо участвует в общественной работе. Я напомнил об этом Владимиру Алексеевичу. Он засмеялся.

«Созорничать мог. Только не на корабле. Упрям? Скорее упорен. Уж если что задумал — колом из него не выбьешь. А насчет общественной работы не берусь ничего утверждать. Возможно, и не до того было. Молодая жена, маленькая дочка, быт неустроенный... Характер у Саши был как раз общественный».

Рассказывали мне такой случай. Со стоявшей неподалеку от «Пикши» подводной лодки видели, как ночью на рейде появилась какая-то таинственная гичка. Когда гичка подошла к «Пикше», в ней оказались Саша Маринеско и Володя Иванов, явно опоздавшие из увольнения на берег. Гичка была дырявая и, как только из нее перестали вычерпывать воду, затонула.

Подобные эскапады сегодня вспоминаются с улыбкой, но нет сомнения, что предприимчивые мореплаватели получили тогда основательную головомойку.

При всем при том аттестации у друзей были хорошие. В Москве я познакомился с двумя заслуженными моряками в контр-адмиральских званиях, помнящими Маринеско по совместной службе на «Пикше». И. В. Коваленко был инженером-механиком, Б. Н. Бобков — комиссаром корабля.

«Саша и Володя пришли к нам на лодку одновременно и сразу прижились. Служили исправно, обоим хотелось поскорее покончить с дублерством и стать полноправными командирами боевых частей корабля».

Это отзыв И. В. Коваленко, а Б. Н. Бобков при упоминании имени Маринеско заулыбался. «Настоящий моряк, — сказал он мне. — Уже тогда было понятно: будет боевым командиром».

В ноябре 1937 года штурман Маринеско направляется на Высшие курсы командного состава при Учебном отряде имени Кирова. Окончившие курсы приобретали право самостоятельного управления кораблем.

К 1937 году переломный период в жизни Александра

Ивановича вчерне закончился. Он уже считал себя подводником. Учиться он хотел и учился еще лучше, чем прежде. Перед ним была ясная цель.

И вдруг как гром среди ясного неба...

Летом 1938 года, в разгар практических занятий, на курсы приходит приказ: слушателя курсов Маринеско А. И. отчислить и демобилизовать из флота.

Сегодня, через несколько десятилетий, нет особой нужды доискиваться причин такого неожиданного удара. Несомненно одно — приказ не был связан с каким-либо проступком слушателя Маринеско. Вероятно, какое-то чисто анкетное обстоятельство вроде румынского происхождения отца или кратковременного пребывания малолетнего Саши на территории, занятой белыми, вызвало чей-то бдительный интерес. Полный сил и трудового энтузиазма моряк оказался вне флота и вообще без дела. Попытался устроиться в торговый флот, но и там получил отказ.

Это было больше чем катастрофа, это было оскорбление. Требовать объяснений бессмысленно, оставалось ждать. Единственное утешение заключалось в том, что друзья не отвалились, как нередко случалось в то строгое время, ничьи двери перед ним не закрылись. У Владимира Алексеевича Иванова и его жены Людмилы Степановны семья Маринеско по-прежнему встречала теплый прием.

Как переносил Александр Иванович мучительное для него изгнание? Насколько мне известно, он не ходил по инстанциям и не писал заявлений. Раньше ему не хватало свободного времени. Теперь его стало слишком много. Он продолжал встречаться с немногими друзьями, полный благодарности за поддержку, старался помочь им в быту, потратил несколько дней, чтобы разыскать хороший и недорогой радиоприемник для Ивановых, но о своих переживаниях говорить не хотел, на расспросы отвечал коротко: «Произошла ошибка. Разберутся». В этом сказалась свойственная ему деликатность — не хотел нагружать друзей своей бедой, не хотел заставлять их открыто выражать свое отношение к событиям, в которых недостаточно разобрался сам. И он замкнулся. При этом не стал угрюмее или резче: наоборот, все встречавшиеся с ним в то время, отмечают, что он стал как-то мягче, задумчивее. Старался себя занять, иногда просто бродил по городу, избегая, впрочем, пристаней. Кронштадт стал для него

закрытым городом, и хотя Александр Иванович знал, что большинство подводников своего отношения к нему не изменили, не хотел случайных встреч. Было тяжело отвечать на вопросы, если же товарищи после первых приветствий тактично замолкали — оставался неприятный осадок. И Маринеско как бы отступил в глубь Ленинграда, в его южную, материковую сторону, столь отличную от ставшей уже привычной приморской, островной, северо-западной части, где в хорошую погоду пахнет морем, а над водой с криками носятся чайки.

Теперь он жил с семьей в рабочем районе, на проспекте Стачек. Строил ли он какие-нибудь планы? Любые, кроме возвращения в Одессу. Это значило бы признать поражение. Можно только догадываться, какие душевные штормы таились за внешней непроницаемостью безработного штурмана. Подумывал поступить на завод, но боялся очередного отказа. В начале шестидесятых годов мы с Александром Ивановичем говорили о многом вполне откровенно, но этого периода он почти не касался. По сравнению с постигшими его в дальнейшем жизненными испытаниями несколько недель вынужденного безделья остались в его памяти только как нелепый эпизод, и, мне кажется, он сам не понимал, какой незаживающий рубец они оставили в его душе. Пройти через строжайший отбор, по доброй воле переломить себя, изменить весь ход своей жизни, предаться всей душой своему новому призванию — и быть выброшенным без объяснений, как кусок шлака. Такое даром не проходит. К счастью, продолжалось это изматывающее душу состояние, в котором смешались обида, горькое ощущение своей ненужности и тревога за семью, сравнительно недолго.

Так же неожиданно, как приказ о демобилизации, пришел приказ явиться для дальнейшего прохождения службы. Что произошло? Когда я в послевоенные годы задал этот вопрос Александру Ивановичу, он засмеялся и предложил мне спросить что-нибудь полегче. Вероятно, кто-то, обладающий властью, перелистал личное дело Маринеско, увидел хорошие аттестации, затем проглядел подчеркнутые красным карандашом строчки автобиографии и пожал плечами. И через несколько дней, одетый в морскую форму, с золотыми нашивками на рукавах, слушатель Маринеско вновь появился на базе Учебного отряда.

Мне рассказывал Сергей Сергеевич Могилевский — в войну боевой командир корабля, а в ту пору преподаватель высших курсов,— с каким упоением принялся курсант Маринеско наверстывать упущенное: «Я руководил занятиями на приборе торпедной стрельбы. Александр Иванович стрелял отлично, но ему все было мало. Когда курсанты разошлись и кабинет опустел, он задержал меня и попросил дать ему еще одну задачу, какой-то вариант. Отказать я не мог».

Можно считать, что командиру 6-й категории Маринеско, в общем-то, повезло. Потрясение его не разрушило, не пошатнуло его веры в людей, его нарождавшейся и только начинавшей крепнуть любви к военному флоту. Но даром не прошло. Именно в это время Александр Иванович начал помаленьку выпивать.

Начал — в точном смысле слова. Нет, не запил. И если кто-то понял меня так, что до той поры Маринеско «пил, как все люди», а тут стал выпивать крепко, то он ошибается. Раньше Маринеско не пил вовсе. Увлеченный спортом, всегда чем-то очень занятый, он не прикасался к водке. Даже к молодому вину, которое в солнечной Одессе и за алкоголь не считается, был равнодушен. В ассортимент юношеских представлений о настоящем морском волке почти неизбежно входит умение за один присест осушить бутылку доброго ямайского рома. Саше Маринеско все это было чуждо.

Вынужденное безделье и горькие думы оказались подходящей почвой для первого знакомства с крепкими напитками. Выпивал Александр Иванович в то время умеренно. Без всяких эксцессов. Притом совсем не так, как заливают горе. Не мрачнел, не изливал душу случайным собеседникам. Наоборот, старался веселить компанию, пел песни, русские, украинские, пел хорошо, с чувством, но без надрыва. Не растравлял себя, а хотел отвлечься.

Стало уже почти аксиомой, что пьют люди от бездуховности, отсутствия общественных интересов, от пустоты. Вероятно, в большинстве случаев это действительно так. Но всегда ли? Нередко пьют люди с богатой духовной жизнью, люди одаренные, творческие, одержимые самыми благородными идеями. Пьют люди, поставленные в экстремальные условия. Если б в осажденном Ленинграде мне встретился хоть один человек, отказавшийся от стопки водки, я несомненно его запомнил бы. Тот, кто хоть немного соприкасался

с жизнью военного моряка, знает, как спасительная чарка после штормовой вахты, после корпусных работ в легкоодолазном костюме, после изнурительного напряжения дальнего похода.

Саша Маринеско умел обходиться без чарки в самых напряженных ситуациях, могучее здоровье защищало его и от непогоды, и от перегрузок. А вот когда концы перестали сходиться с концами — не сумел. Образовалась трещинка, рубчик, маленький очажок, из тех, что в нормальных условиях дремлют, но перерастают в опухоль или каверну, если их бередить.

Александр Иванович возвращается в Учебный отряд несломленным. Он полон энергии. Что ни аттестация, то похвальный лист. В том же году он оканчивает курсы, получает звание старшего лейтенанта и право самостоятельного управления кораблем.

Назначение командира боевой части, будь он штурман или минер, командиром подводной лодки — всегда событие. Ответственность командира корабля, даже если этот корабль — «малютка», несомненно выше, чем ответственность командира боевой части на средней или даже большой лодке. Большая лодка или маленькая — командир всему голова. В подводном положении у лодки всего один глаз — перископ. В перископ смотрит командир. Только он принимает основные решения — о курсе, скорости, погружении и всплытии и о конечной цели всех эволюций лодки — о торпедной атаке, учебной в мирное время, боевой во время войны. Если во время своего дублерства на «Пикше» Саша Маринеско еще мог ощущать себя шустрым лейтенантиком, которому и пошалить можно, потому что над ним есть командир корабля: командир и пожурит, и поправит, и посоветует, — то, вступив в командование подводной лодкой «М-96», Александр Иванович сразу повзрослел от груза огромной ответственности, свалившейся на его плечи. Предстояло отвечать не только за свои поступки, но за действия каждого матроса, за его поведение на корабле и на берегу, за боевую подготовку и боевой дух экипажа. Короче говоря, за все.

Казалось бы, отличное знание лодки среднего тоннажа должно было облегчить молодому командиру освоение «малютки». В чем-то, конечно, и облегчило, но с первых же дней обнаружились непредвиденные трудности, заставившие Александра Ивановича с головой окунуться в повседневные заботы.

Главная из этих трудностей заключалась в том, что «М-96» была совершенно новая лодка, проходившая в Кронштадте обычные испытания. Новая лодка — значит, новая команда, еще неспаянная, не накопившая совместного опыта и традиций. Все надо было создавать. Почти полгода на лодке крутились строители. Отношения с ними установились прекрасные, но их присутствие не могло не затруднять повседневное несение корабельной службы. В семидесятом году инженер-судостроитель Илья Иванович Федоров, возглавлявший в 1936—1939 годах выездную группу строителей, пишет своему другу, известному подводнику И. С. Кабо, в прошлом тоже малюточнику:

«Мне приходилось часто встречаться по работе с Александром Ивановичем Маринеско. Почти ежедневно был с нами и другой Александр Иванович — Мыльников, он принимал от нас «М-97». Были они большими друзьями. С начала июня и по 18 ноября 1939 года мы были вместе. Простились мы, строители, с Маринеско и Мыльниковым в ресторане «Астория», там было устроено торжество в честь сдачи и приемки судов «М-96» и «М-97». Александра Ивановича мы сразу оценили и горячо полюбили. У нас на заводе много осталось в живых участников строительства этих судов. Мы гордимся подвигом А. И. Маринеско и будем помнить его».

Упомянутый в письме А. И. Мыльников был близким другом Маринеско. Он раньше, чем Маринеско, был назначен командиром лодки типа «С», отлично воевал и погиб в 1943 году. Мыльникова я хорошо знал, и, как теперь мне кажется, у него в характере было много общего с Маринеско.

Вторая — и немалая — трудность состояла в том, что по причине малых размеров на «малютках» тридцатых годов не были предусмотрены должности помощника командира и военкома. Три вахтенных командира, включая самого командира корабля, и инженер-механик — вот и весь средний командный состав. Большинство командиров кораблей, прежде чем стать командирами, какое-то время ходили в помощниках. Маринеско помощником никогда не был. Опыта политической работы на корабле у него тоже не было.

Несколько слов насчет особой роли помощника командира на военном корабле. Обязанности его примерно такие же, как у старшего офицера в старом

флоте. Может быть, отчасти поэтому в наше время помощника командира принято именовать старпомом, хотя формально старшие помощники бывают только на больших кораблях, где помощников два. Это знак уважения. Старпом, по давней флотской традиции — глава кают-компаний, арбитр во всех могущих возникнуть спорах и недоразумениях, он следит за соблюдением порядка, воинского этикета и субординации, за внешним видом корабля и команды, за несением корабельных нарядов, всех его многообразных обязанностей я не берусь перечислить. Быть хорошим старпомом — это значит быть в хорошем смысле слова служакой, неусыпным и всевидящим оком командира и в чем-то даже педантом.

Неизвестно, как справился бы Александр Иванович со всеми этими трудностями, если б во главе дивизиона «малюток» не стоял такой талантливый воспитатель, как Евгений Гаврилович Юнаков. С приходом Александра Ивановича на дивизион начинается их дружба, прервавшаяся только со смертью Юнакова. Юнаков умер позже, но я не оговорился, он и после смерти Маринеско оставался его другом. Дружба эта была особая, на первых порах совсем не равная. Юнаков был старшим — по возрасту, по званию, по должности и, что важнее всего, по зрелости, по опыту. Он сразу разгадал то, что я называл бы «парадоксом Маринеско». Парадокс состоял в том, что при выдающихся командирских качествах Маринеско еще не тянул на хорошего старпома. И Юнаков, сразу привязавшийся к Маринеско и так же сразу завоевавший у него глубокое уважение, поставил перед собой непростую задачу — воспитать в молодом и явно одаренном командире корабля недостающие ему «старпомовские» качества, нащупать в нем военную косточку. Он учил командира «М-96» требовать и заботиться. Самому Александру Ивановичу пришлось испытать на себе расхожий афоризм: «Тяжело в учении, легко в бою». Легко в бою не бывает, но афоризм тем не менее совершенно справедливый, и Юнаков не давал своему молодому другу никаких поблажек. Как говорил мне потом Евгений Гаврилович: «Моряка из Саши делать не надо было. Надо было делать военного моряка».

Однако воспитать в Маринеско старпомовские качества — это было еще не все. Надо было привить ему комиссарские.

Необходимость политико-воспитательной работы с командой доказывать незачем. Она ясна всем. На всех лодках, кроме «малюток», эту работу вели военные комиссары. Напомню только, что институт военных комиссаров, введенный в тридцатые годы, был отменен во время войны, опыт показал, что на военном корабле не может быть двоевластия. Вчерашние комиссары стали заместителями командира по политчасти, что нисколько не отразилось на их авторитете и только развязало руки для повседневной воспитательной работы. Навыка к такой работе у Маринеско не было, и пришлось ему в дополнение ко всем своим многочисленным обязанностям засесть за изучение политической литературы. Беседа в краснофлотском кубрике, знаю это по собственному опыту, — серьезное испытание для политработника. Подводники, как правило, ребята острые, начитанные, вопросы задают самые неожиданные, и ответить на них кое-как нельзя, лучше совсем не отвечать. Александр Иванович иногда так и делал: обещал выяснить, подумать и ответить в следующий раз, — это только вызывало доверие. Много было вопросов о фашизме, о внутренней и внешней политике гитлеровского рейха, о советско-германском договоре 1939 года. Александр Иванович был уже тогда глубочайшим образом убежден, что Гитлер его нарушит, но говорить на эти темы надо было осторожно, не ставя под сомнение целесообразность договора.

Ненависть к фашизму во всех его вариантах — в сравнительно устоявшемся итальянском или в еще набиравшем силу германском — жила в Саше Маринеско всегда. Его свободолюбивой и открытой доброй натуре было чуждо все, с чем связан фашизм, неважно какой — классический гитлеровский или с приставкой «нео»: агрессивность, культ солдатчины, презрение к другим народам и в конечном счете к своему собственному. Но глубоко осознанной эта ненависть стала, когда ему, командиру-единоначальнику, пришлось заняться политическим воспитанием своего экипажа.

Есть такой шуточный афоризм — хочешь научиться, начни преподавать. В шутке этой немалая доля истины. В непривычной поначалу комиссарской должности крепла его любовь к военному флоту и оттачивалась ненависть к врагу. Он знал, кто будет этим врагом. Доходившие до Маринеско сведения о бесчинствах гитлеровцев у себя дома и на захваченных территориях

приводили его в ту особую холодную ярость, какую нельзя разрядить, а можно только копить до решающей схватки.

О том, как рьяно взялся за дело молодой командир корабля, можно судить даже по очередным аттестациям. В аттестации, подписанной Юнаковым в декабре 1939 года, наряду с общей высокой оценкой есть и критические замечания: еще хромает дисциплина. Выводы: должности соответствует; достоин звания капитан-лейтенанта в 1940 году; в военное время может командовать «малюткой». В 1940 году он уже капитан-лейтенант и в новый, 1941 год вступает с аттестацией, которую мне хочется привести полностью:

«Предан партии, систематически изучает историю ВКП(б) по первоисточникам, решителен и смел, сообразителен и находчив, умеет быстро оценивать, ориентироваться и принимать правильные решения как в простой, так и в сложной обстановке. Дисциплинирован, отличный моряк, оперативно-тактически подготовлен хорошо, умеет сочетать теорию с практикой, настойчив, умеет передать подчиненным свои знания, навыки и боевой дух. Чувствует ответственность за порученное ему дело. Способен пренебрегать личными интересами для пользы службы, тактичен и выдержан. Заботлив к подчиненным, морально устойчив, не болтлив. Состояние дисциплины на корабле удовлетворительное, корабль находится в высокой боеготовности (1 линия). В кампании 1940 года подлодка заняла 1-е место по КБФ. Маринеско — 1-й заместитель командира ДПЛ. Выводы: 1) Должности соответствует. 2) Достоин назначения на п. л. типа «С». 3) Достоин должности к-ра ДПЛ (XII серии)».

Аттестация эта подписана командиром ДПЛ (дивизиона подводных лодок) 21 января 1941 года, ровно за пять месяцев до начала войны. Не всякий адмирал имел в двадцать семь лет такую блестящую характеристику. Подписал ее Евгений Гаврилович Юнаков, наставник строгий и многоопытный, — и вот этот строгий наставник признает своего ученика способным командовать дивизионом, иными словами — считает его равным себе. Такую оценку мог получить только настоящий подводник, человек, твердо решивший сделать военную службу своим жизненным призванием.

Вероятно, так оно и было. С любовью вспоминая об Одессе, Александр Иванович перестал о ней тоско-

вать. Перестал мечтать об океанских просторах, о странах, где вечно светит солнце, о сверкающих белизной быстроходных лайнерах и всем сердцем прилепился к хмурой Балтике, к неказистым, крашенным в защитный серо-зеленый цвет подводным кораблям. Полюбил Кронштадт, куда вскоре после окончания курсов переехал вместе с Ниной Ильиничной и подрастающей Лорой. Не впал в уныние, когда в 1940 году дивизион перебросили на Ханко — арендованный у Финляндии каменистый полуостров. Это была чужбина, и довольно скучная чужбина, однако замечено: на чужбине привязанность к родине только обостряется, крепнет близость с немногими оказавшимися рядом соотечественниками, за границей наши люди становятся четче, собраннее — для общего дела. Ханковцы это доказали. В истории Отечественной войны Ханко остается как один из вариантов Малой земли наряду с Брестской крепостью и новороссийским пятачком. Войны еще не было, но предгрозовое ощущение не оставляло ханковцев. Они всегда чувствовали себя форпостом, пограничным отрядом, живущим по законам военного времени даже в мирные дни.

«На «М-96» у нас подобралась сильная и сплоченная команда, — говорил мне Александр Иванович. — Опытные специалисты, как наш инженер-механик Андрей Васильевич Новаков и мичман Петровский. И способная молодежь».

Конечно, это только так говорится — «подобралась». Подбирал и спланировал команду командир.

Итак, за пять месяцев до начала войны капитан-лейтенант Маринеско получил блестящую характеристику. Пришел ли вместе с ней к Маринеско душевный покой?

Нет, душевного покоя не было.

Говорят, большому кораблю — большое плавание. А корабль у Маринеско был маленький. Автономность — десять суток. Не разгуляешься. Считалось, что основное назначение «малюток» в условиях Балтики — дозор и разведка.

Дозорную и разведывательную службу Маринеско нес исправно, но с первых же недель стал упорно готовить свою маленькую лодку для атаки. Каждый выход «М-96» в море был одновременно дозором и боевым учением. Командир внимательно следил за передвижением по акватории иностранных судов и

попутно «отрабатывал задачки». Высшее командование не ошиблось, поверстав штурманов торгового флота в подводники, — Маринеско прекрасно разбирался в повадках иностранных транспортов и раньше других приметил среди них подозрительное оживление. Свои наблюдения он аккуратно записывал и, вернувшись на базу, докладывал. Приспособил «ФЭД» с телеобъективом для фотографирования встречных транспортов. Фотоаппарат выставлялся из люка на длинном шесте и, когда лодка шла в полупритопленном положении, был столь же малозаметен, как глазок перископа. Наблюдения и фотосъемки, несомненно, приносили свою пользу, но Александра Ивановича совсем не устраивало «быть на подхвате».

Конечно, можно было добиваться перевода на бóльшую лодку согласно аттестации. Но добиваться повышения было не в характере Александра Ивановича. К тому же не хотелось расставаться с Юнаковым, с дивизионом, с полюбившей его командой, наконец, с самой лодкой, к ней он тоже успел привязаться. Сердился, когда о «малютках» говорили непочтительно, так же как когда-то на непочтение к «торгашам».

«Лодка как человек, — говорил мне во время наших кронштадтских бесед Александр Иванович. — У каждой свой характер, свои достоинства и недостатки. Все это командир должен понимать до тонкости. «Малютка» тем хороша, что заставляет быть универсалом. Конечно, с тактико-техническими данными считаться приходится. Но молиться на них тоже не следует. Автономность, если потренироваться и затянуть потуже ремешки, можно увеличить. Можно быстрее погружаться и быстрее всплывать. Быстро погружаться рискованно, но если трюмные и рулевые — мастера своего дела, риск оправдан. Мало торпед — значит, надо стрелять без промаха. И не пренебрегать пушечкой — она годится не только против самолетов».

К слову сказать, это свое убеждение Маринеско блестяще подтвердил на практике, потопив в 1944 году артиллерийским огнем большой вооруженный транспорт.

Друг Маринеско Иван Маркович Рубченко, во время войны мичман на одной из «малюток», рассказывал мне:

«Уже после своей демобилизации Александр Иванович, встречаясь со мной, часто вспоминал о войне

и о нашей службе на подводных лодках. Как-то сказал: «А что, Иван, если, не дай бог, новая война, позовут нас с тобой? Мы с тобой тогда соберем команду из таких орлов, что будем запросто по кормушкам стрелять». — «Как так — по кормушкам?» — спрашиваю. «А по-снайперски. Безо всяких треугольников, углов упреждения, а догонять — и без промаха!»

Сегодня уже трудно с уверенностью сказать, всерьез говорил это Александр Иванович или грустно шутил. Но даже если это была шутка, то очень на него похожая. Легко загорался необычной идеей, не боялся парадоксальных решений и не любил категорических запретов, отсекающих в корне всякую фантазию. Как большинство талантливых людей, он был человек неожиданный.

У меня сохранилась довольно точная запись рассказа Александра Ивановича о последнем предвоенном походе «М-96». Привожу ее целиком:

«На девятый день пребывания в море все мы очень устали. Много трудились, мало отдыхали. По нескольку раз в сутки одно и то же: «арттревога!», «срочное погружение!», «по местам стоять к всплытию!». Недовольства я не ощущал, личный состав понимал, что первое место по боевой подготовке нам обеспечено и прошлогодние нормативы, принесшие нам общефлотское первенство в прошлую кампанию, заметно превышены. Теперь для срочного погружения нам требовалось всего 17 секунд — ни одна «малютка» до сих пор этого не добивалась. Трудно, но жалоб не было. Только однажды запросил пощады наш инженер-механик А. В. Новаков, и то не для себя, а для нашего единственного компрессора, из-за частых погружений и всплытий ему приходилось работать почти непрерывно. В обычное время я посчитался бы с законной тревогой механика, но в тот навсегда запомнившийся мне день — 18 июня — меня тревожило совсем другое, и я пробурчал что-то вроде «на войне еще не то будет», и Ефременков меня поддержал. Штурманы чаще наблюдают за горизонтом, чем занятые своими машинами механики, и, вероятно, Леве было понятнее мое беспокойство. Но даже сам я не понимал, какое реальное содержание получит всего через несколько дней моя довольно шаблонная фраза.

А беспокоило меня вот что: в этот солнечный день в той части Финского залива, где наша лодка выпол-

няла свою задачу, творилось нечто необычное. Только за восемь часов в пределах, доступных нашему визуальному наблюдению, прошли курсом вост 32 транспорта различного тоннажа и назначения, все под флагом фашистской Германии. Куда спешили все эти танкеры и сухогрузы, судя по осадке не груженные? Казалось, что во все порты Северной Балтики дана какая-то общая команда. Бросалась в глаза пугливая настороженность капитанов этих судов. Завидев подлодку, да еще маневрирующую по-боевому (мы отрабатывали срочное всплытие с арттревогой), на некоторых транспортах поспешно спускались на воду шлюпки. На одном из транспортов так поспешили, что шлюпка сорвалась и люди посыпались в воду. Немцы явно бежали домой. Почему? На этот вопрос я ответить тогда не мог. Накануне возвращения на базу дал об этом радиogramму, но, конечно, еще не понимал полностью значения происходящего. Не все понимали и на базе. Когда я, вернувшись, подробнее доложил свои соображения, нашлись люди, которые сочли меня паникером. Однако предусмотрительность восторжествовала, и наша «М-96» была вновь отправлена в дозор. Известие о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз я получил, уже находясь на позиции».

Как, впрочем, и весть об окончании войны — добавлю я.

Итак, война. Капитан-лейтенант Маринеско — командир боевого корабля первой линии. Позади яхт-клуб, школа юнг, мореходное училище, штурманские классы, служба на «Пикше», курсы усовершенствования командного состава. По своим знаниям командир «М-96» теперь не уступает командирам, окончившим Высшее училище имени Фрунзе, а по опыту даже превосходит многих сверстников. Ему двадцать семь лет, он муж и отец, любим командой и товарищами. Трудно сказать, какие замыслы роятся в этой бесстрашной голове, а она действительно ничего не боится — не только действовать, но и думать, решать. Ближайшая задача — доказать, что «малютка» не хуже других лодок первой линии способна драться и побеждать.

Наступило время испытаний, равных которым не знала история.

VI. Первые атаки

Опять «микрорекордер». Прижимаю его к уху и, прежде чем возникает голос Нины Ильиничны Маринеско, слышу шум толпы, какие-то неясные выкрики, смех, обрывок песни... Все невнятно, но мне достаточно, чтобы вспомнить обстановку, в какой происходила наша беседа.

9 мая 1978 года. Ленинград. Мы трое — Нина Ильинична, Леонора Александровна и я — едем по набережной и приближаемся к бронзовому Петру. Все пространство вокруг Медного всадника заполнено празднично принаряженными людьми, мужчинами и женщинами. Поражает обилие орденов и медалей. Толпа в непрерывном движении, все кого-то ищут, при встрече радостно обнимаются, смеются, кто-то плачет...

Эти встречи в День Победы уже стали обычаем. В Москве — перед Большим театром. В Ленинграде — у Медного всадника. Бойцы ищут однополчан. Знакомых и незнакомых. Не всегда удастся найти однополчанина в точном смысле слова. Тогда пусть из одной бригады, из одной дивизии — все равно есть о чем поговорить, что вспомнить.

Покрутившись в толпе, находим в сквере за памятником тихую скамеечку. Садимся и тоже вспоминаем: Нина Ильинична — начало войны на Балтике. Я — первую блокадную зиму в Ленинграде. И все вместе — вспоминаем Александра Ивановича.

Весть о начале войны застала «М-96» в море. Но военные действия начались раньше официального объявления. Гитлер ударил внезапно, а маннергеймовская Финляндия, как и следовало ожидать, выступила на его стороне. Гарнизон Ханко приготовился отразить удар, но гражданское население, в основном семьи моряков, нужно было срочно эвакуировать. Нарком Н. Г. Кузнецов, предвидевший поведение финских властей, дал приказ находящимся в море подводным лодкам не возвращаться на Ханко, а идти в Палдиски, порт на Балтийском море в нескольких десятках миль от Таллинна.

О дне эвакуации Нина Ильинична вспоминает спокойно, даже с улыбкой, но от этого мне только яснее становится обстановка и что ей пришлось пережить в тот день. С благодарным чувством говорит она о матросе Васе, самоотверженно помогавшем ей собрать

вещички и погрузиться вместе с маленькой Лорой на уходящий в Ленинград теплоход.

С Васей, Василием Спиридоновичем Пархоменко, трюмным машинистом на «М-96», а затем и на «С-13», я знаком давно, бывал у него в Кронштадте, где он работал инженером на Морзаводе. Через все эти годы он пронес преданную любовь к своему командиру и дружескую привязанность к его семье. Он рассказывал мне:

«Дела наши на «М-96» шли отлично. На рубке звездочка — корабль первой линии. В начале июня нас особо отметили как «виртуозно владеющих воздухом». Имелся в виду сжатый воздух, применяемый на подлодках для погружения и всплытия. Я в числе пяти отличников должен был на днях получить отпуск. Последний наш дозор в Ботническом заливе продолжался одиннадцать суток, все очень устали. Наблюдали и фотографировали движение судов. Движение было большое, записи вели не только командир и штурман, но и наш инженер-механик Андрей Васильевич Новаков, а я ему помогал. Вернулись мы 21-го, а 22-го нам было приказано вновь выйти в море. Под утро была объявлена общая боевая тревога, я прибежал с береговой базы на причал, командир был уже на лодке и распоряжался. Вслед за мной прибежали на причал встревоженные женщины, одна из них сказала командиру, что с Ниной Ильиничной беда — мыла окно, упала с лестницы и сильно порезалась осколками стекла. Командир отлучиться не мог и послал меня сказать жене, чтоб она немедленно, захватив только самое необходимое, уходила на теплоходе «И. Сталин». Нину Ильиничну, всю забинтованную, я застал за сбором вещей. Ей помогал Ефременков. Лора была еще мала, ее пришлось нести на руках. Кое-как собрались, по дороге что-то растеряли, но доставили. Теплоход ушел в Ленинград, а мы вышли на позицию и на Ханко уже не вернулись».

Льва Петровича Ефременкова, штурмана «М-96», Александр Иванович, перейдя в конце 1942 года на «С-13», ухитрился перетащить к себе помощником, с ним он ходил во все походы. Говорю «ухитрился», потому что это было совсем не просто, но об этом чуть позже. Маринеско и Ефременкова связывала настоящая боевая дружба, хотя трудно себе представить более несхожих по внешности, да и по характеру людей.

Маленький, темноволосый, пылкий южанин. И высокий, светлокожий, несколько флегматичный северянин. Но Маринеско умел сдерживаться, а Ефременков — загораться, и они отлично понимали друг друга. На «М-96» Лев Петрович пришел также не при совсем обычных обстоятельствах:

«На втором месяце стажировки в училище имени Фрунзе нас, группу мичманов, послали для практики на дивизион «малюток», базировавшийся перед войной на арендованном у Финляндии полуострове Ханко. Я и двое моих однокурсников попали на «М-96» дублерами к штурману Филаретову. Корабль сразу же мне понравился: на рубке знак «За отличные торпедные стрельбы», команда дружная, командир живой, веселый, доверяет людям, ценит инициативу. Ко всем дублерам отношение было ровное, но однажды в море мое счисление места корабля оказалось точнее, чем у штурмана, и командир меня заметил. Вскоре началась война. «М-96» ушла в море, а нас генерал Кабанов задержал, мы выполняли его поручения. Потом пришел приказ: всех мичманов-практикантов отправить в Ленинград, переодеть в офицерскую форму и разослать на флоты. Я мог оказаться на Тихом океане и на Севере, но задержался в Ленинграде и через некоторое время получил назначение на «М-96». Позже я узнал, что Александр Иванович справлялся обо мне и, когда штурман Филаретов по болезни ушел с лодки, затребовал меня».

Это записано в те же дни, когда съехались ветераны «С-13». На этой памятной встрече бывший помощник командира корабля капитан-лейтенант запаса Ефременков оставался для всех старпомом, главой каюткомпании и главой делегации, хотя среди ветеранов «С-13» были офицеры старше его по званию.

«Лодка стояла в доке Судомеха, и хотя я имел на руках назначение, на территорию завода меня не сразу впустили. Выручил знакомый боцман. Командир встретил меня так, как будто мы не расставались: «Иди на лодку, потом поговорим». Но и разговаривать много не пришлось, с первого же дня я погрузился в корабельный быт и хлопоты. Жили все в домике у проходной завода, в тесноте, но дружно. Поздней осенью, закончив докование, мы поднялись по Неве к своей плавбазе «Аэгна», стоявшей у Тучкова моста, и ошвартовались у плавучего дебаркадера. Там нас настиг снаряд».

Прерываю на время воспоминания Льва Петровича, чтобы вернуть читателя к предшествовавшим событиям.

Итак, 22 июня. С каким чувством воспринял Александр Иванович весть о начале войны? Когда, уже в шестидесятых годах, я спросил его об этом, он ответил коротко:

— С облегчением.

Конечно, это было сложное чувство, в котором смешались и возмущение коварством врага, и предчувствие грядущих тяжелых испытаний, и тревога за близких, но главным было все-таки облегчение, и это ощущение было настолько типично для настроения многих командиров флота, что я нисколько не удивился, услышав такое слово от Александра Ивановича. Если у кого-то и были иллюзии насчет намерений Гитлера, у Маринеско, находившегося на самом переднем крае обороны, их не было. Он жил в ощущении предгрозовой духоты, злился, когда его донесениям не придавали должного значения, сердито спорил в кают-компании с теми, кто чересчур обольщался пактом тридцать девятого года; он прекрасно понимал, что пакт — это только отсрочка, необходимая, но, быть может, более короткая, чем казалось некоторым оптимистам. Маринеско тоже был оптимистом, но другого рода. Ни одной минуты, даже в самые тяжкие для страны периоды, он не сомневался в победе. Не то чтоб не позволял себе сомневаться или принимал за аксиому, что наша страна непобедима и воевать мы будем только на территории врага. Нет, просто не сомневался. Аксиом он вообще не любил, потому что аксиомы избавляют от доказательств, а он привык доказывать свои убеждения делом и требовал этого от других. Уже в летнюю кампанию 1941 года жажда активных боевых действий сотрясала весь флот, запертый в перегороженном сетями и густо заминированном Финском заливе. Военные моряки готовы были на любые жертвы, но в первую очередь они требовали дела. В ожидании боевого приказа проявляли инициативу, командование получало десятки проектов, среди них были отчаянные, фантастические. В музыкальной комедии «Раскинулось море широко...», написанной и поставленной на сцене в осажденном Ленинграде, один из краснофлотцев вслух мечтает: «Дай мне волю — нагрузил бы я катер взрывчаткой, высмотрел какого-нибудь фашиста по-

жирнее, тысяч на пятьдесят тонн... И — на таран!» Это не преувеличение. Такие предложения были.

Беру на себя смелость утверждать: с началом войны окончательно снялись последние сомнения Александра Ивановича в правильности выбранного им пути. Уж если люди, далекие от военной профессии — рабочие, инженеры, ученые,— бросали любимое дело и шли рядовыми в народное ополчение, Маринеско мог считать себя счастливым, у него в руках было оружие огромной мощности, и он чувствовал себя способным на большие дела.

Однако до большого дела, то есть до торпедной атаки, был еще долгий путь, дорога длиной в год, и на этой дороге одно за другим вырастали препятствия. Но недаром Маринеско любил повторять: хорош не тот командир, у которого ничего не случается, а тот, кто из любого случая найдет выход. Выход находился даже тогда, когда препятствия казались непреодолимыми.

В июле «М-96» вышла на позицию в Рижском заливе. В походе лопнул обод кулачной муфты, соединяющий дизель с гребным винтом. Для лодки это паралич. Починили. Когда шли на позицию, минная обстановка была еще сравнительно сносной, на обратном пути она заметно изменилась к худшему, пришлось форсировать минные поля там, где их раньше не было, и Маринеско, еще не имевший опыта хождения сквозь минные заграждения, был один из первых, кому пришлось на практике осваивать эту науку. Науку, где метод проб и ошибок исключается. Любая ошибка грозит гибелью.

Минреп — так называется стальной канат, удерживающий якорную мину на заданной высоте. У «М-96» было много касаний о минрепы.

«Это как схватка с невидимым врагом,— говорил мне Александр Иванович,— нет ничего мучительнее, чем хождение по минному полю, особенно в подводном положении. Мина не выдает себя ничем, недаром ее зовут молчаливой смертью. От мин никуда не уйдешь, можно только догадываться об их расположении, опираясь на рассказы товарищей, ходивших до тебя, и на собственное чутье. Попал на минное поле — ползи. Иди не виляя, самым малым. При касании бортом о минреп — не шарахаться, а осторожно отрабатывать назад. Тихонько, чтоб минреп не сорвался, отводить корму, и не от минрепа, как ошибочно толкает инстинкт,

а непременно в ту сторону, где минреп. Он натягивается как струна, но должен соскользнуть мягко. Нервы при этом надо держать в кулаке. Очень хочется поскорее убратся из опасного места — нельзя. Слышишь скрежет натянувшегося троса, его слышат все, и надо, чтобы команда знала, что у командира рука, лежащая на машинном телеграфе, не дрогнет, он не поддастся панике».

За судьбу «М-96» всерьез тревожились — и не без основания. Знали, как изменилась обстановка, но помочь ничем не могли. Маринеско привел лодку.

Вскоре после возвращения на базу корабль постигла новая беда. На этот раз не связанная ни с какими опасностями, но пережитая Маринеско гораздо острее, чем походные трудности. Пришел приказ: две балтийские «малютки», в том числе «М-96», отправить на Каспийскую флотилию. Для отправки лодку надо было разоружить и демонтировать, и это уже начали делать. Не знаю, пытался ли Александр Иванович бороться; вероятно, нет, приказы не обсуждаются, но воспринял он его как бедствие. Еще бы, годами готовить себя и команду для решающей схватки — и отправиться прозябать в глубокий тыл! К счастью для Маринеско, приказ опоздал, и когда Ефременков пришел на завод Судомех, корабль вновь приводили в боееспособное состояние. Положение на Ленинградском фронте было напряженное, и одно время лодка стояла заминированной на случай, если ее придется взорвать. Но обошлось. Поздней осенью, перед ледоставом, лодку перегнали к плавбазе «Аэгна» и там доделывали то, что можно делать на плаву, без докования.

Примерно в то же время эскадренный миноносец «Сильный» обратился к личному составу КБФ с открытым письмом. В обращении говорилось о необходимости, несмотря на блокаду города и эвакуацию заводов, ввести в строй к началу будущей навигации все корабли флота и подготовить их к активным боевым действиям. «На своем примере мы твердо убедились, — писали моряки «Сильного», — что каждый корабль, имея в своем личном составе высококвалифицированных и преданных делу людей, при настойчивости и упорстве может преодолеть все трудности и выполнить любую работу...»

Таких высококвалифицированных и преданных делу людей экипаж «М-96» в своем составе имел. Собствен-

но говоря, он только из таких людей и состоял. Настойчивости и упорства у них тоже хватало.

Перелистываю подшивку «Дозора», нашей бригадной многотиражки. Найти заметки, относящиеся к «М-96», не так-то просто. В сорок первом году не только называть корабль, но на первых порах даже писать, что этот корабль — подводная лодка, нам не разрешалось. Вместо «лодка срочно погрузилась» писали: «...и корабль искусным маневром уклонился от преследования». Потом от этого отказались и даже газету переименовали в «Подводник Балтики», но корабли по-прежнему не назывались, и догадаться, о какой из лодок идет речь, можно только по знакомым фамилиям. Нахожу заметку А. В. Новакова в номере от 17 января 1942 года — «Механизмы отремонтированы досрочно». Называются фамилии рационализаторов, передовиков ремонта, выполнявших нормы на 160—240 процентов.

Но испытания, которым судьба щедро подвергала отважную «малютку», прежде чем разрешить ей выйти в торпедную атаку, еще не кончились. 14 февраля 1942 года, во время обстрела города, в полутора метрах от левого борта «М-96» разорвался тяжелый артиллерийский снаряд.

«Снаряд пробил прочный корпус, и вода затопила четвертый и пятый отсеки. У лодки оставалось всего восемь кубометров положительной плавучести. Благодаря оперативности, проявленной мичманом Петровским и дежурным по кораблю Фролаковым, катастрофа была предотвращена. Вовремя объявлена боевая тревога, вовремя задраены переборки, по всем правилам завели полужесткий пластырь, прекративший доступ воды».

Это я цитирую запись беседы с бывшим инженером-механиком «М-96» Андреем Васильевичем Новаковым, приехавшим из Пушкина в Ленинград, чтобы рассказать мне о покойном командире. Продолжаю:

«Александр Иванович хотел выйти в море одним из первых и был потрясен. Авария была значительная, особенно для блокадных условий. Стоял даже вопрос о консервации корабля и переводе команды на другую лодку. Но командир на это не пошел, он не опустил руки; наоборот, энергия его удвоилась. Команда переселилась на берег, жили в здании Института русской литературы и продолжали ремонтировать корабль.

Трудности встретились большие — предстояли корпусные работы, дизель был тоже поврежден. Когда лед сошел, подошла «Коммуна» (спасательное судно), лодку подвесили и заварили стальные листы, разошедшиеся от взрыва. Конечно, условия не заводские, в одном месте соединишь — в другом лопается. Намучились, но заварили прочно.

Закончили корпусные работы, а проверить качество нигде — на Неве глубин подходящих нет, — но это нас не остановило, и 9 августа мы на правах корабля первой линии перешли в Кронштадт и стали готовиться к боевому походу. Во время ремонта личный состав был истощен, зима выдалась жестокая, у моряков пальцы прилипали к металлу, кожа отдиралась с кровью, но боевой дух не иссякал, перед нами был живой образец — командир. Александр Иванович был внимателен к каждому человеку, все про всех знал и помнил, в большинстве случаев он мог помочь только добрым словом, но и это ценилось. Изредка командир получал какие-то посылочки и полностью отдавал их в общий котел — это никого не удивляло, наш командир, каким мы его знали, просто не мог поступить иначе».

Возвращаю слово Льву Петровичу Ефременкову: «Из-за этой зимней пробоины мы в первый эшелон не попали и пошли во втором. Одновременно с нами вышла в свой первый боевой поход «С-13». Тогда командовал лодкой Маланченко, обеспечивающим пошел Юнаков. Нам с Александром Ивановичем и в голову не приходило, что пройдет всего несколько месяцев — и он примет «С-13», а я стану его помощником. Из Кронштадта мы перешли к острову Лавенсаари, а оттуда на позицию, в квадрат Порккала-Каллоба. Задание: разведка и атака.

Форсировали минные заграждения. Опыт у нас уже был. Пригодился и опыт Александра Ивановича, приобретенный в плавании на торговых судах. Он хорошо знал пути, какими предпочитают ходить транспорта, и не ждал, когда появится мишень, а настойчиво искал ее.

Как теперь известно, потопили мы немецкое транспортное судно водоизмещением семь тысяч тонн. Транспорт шел с сильным охранением — три сторожевых корабля. Атаковали днем из подводного положения. Обе торпеды попали в цель. Нас преследовали и бомбили. В какую сторону уходить от преследования и как

уклоняться от глубинных бомб — полностью зависит от искусства и чутья командира. Маринеско решил уходить не в сторону наших баз, а в сторону уже занятого противником порта Палдиски, чтобы сбить преследователей с толку. В конце концов мы вырвались и на одиннадцатые сутки явились на randevu с ожидавшими нас катерами. На randevu нас по ошибке обстреляли и побомбили свои, но командир и тут проявил редкую выдержку».

О причинах происшедшего недоразумения А. В. Новаков и Л. П. Ефременков рассказывают не совсем одинаково, это и понятно, прошло много лет. Но в оценке действий командира они едины: командир вел себя с редким хладнокровием. А вот что рассказывал мне он сам с улыбкой, как нечто забавное:

«Условие было такое: мы не радируем, а прямо приходим в условленное место в один из трех дней — 21, 22 или 23 августа. Мы пришли 22-го. Встретили нас плохо. Едва показалась наша рубка, обстреляли из крупнокалиберного пулемета. Командую: «Срочное погружение!» Начали бомбить. Положение мерзкое: прийти из похода с успехом и чтоб тебя утопили свои — перспектива незавидная. Приказываю всплыть, первым выбегаю на мостик и — матом: «Своих, так и так вашу, бьете!» Тогда только расчихали, что мы — свои, и даже извинялись».

Но Маринеско не рассказал самого главного. Поэтому вношу поправку со слов А. В. Новакова:

«Командир умело провел второе всплытие. Поставил лодку между двумя катерами, если б они открыли огонь по лодке, то перестреляли бы друг друга. Это был блестящий расчет, позволивший выиграть время. Мы потом спрашивали катерников, почему они приняли нас за фашистов. А потому, говорят, что у вас на рубке свастика. Откуда быть свастике? Потом посмотрели: кое-где проступала белая камуфляжная краска — и в самом деле получилось немного похоже».

Перелистываю подшивку «Дозора». В номере от 2 сентября краткое сообщение о походе и указ о награждении экипажа. Маринеско — орденом Ленина.

Вторая половина 1942 года богата событиями в жизни Маринеско. До конца навигации он сумел сходить еще в один поход со специальным разведывательным заданием, действовал решительно и получил хорошую оценку. Произведен в капитаны 3-го ранга. Принят

в кандидаты ВКП(б). А в перспективе — назначение командиром «С-13», большой подводной лодки, недавно вернувшейся из похода с крупным боевым успехом.

Назначение вызвало у Александра Ивановича противоречивые чувства. С одной стороны, он уже созрел (это отмечалось еще довоенной аттестацией) для командования более крупным кораблем, по его замыслам «малютка» становилась ему тесна. С другой — он только что доказал, на что способна его дорогая «малютка», и расставаться с ней было мучительно. На «М-96» он прослужил с 1938 года, приняв ее прямо из рук строителей, сроднился с командой, полюбил и знал, что и его любят. Расставаться было тяжело, но необходимо, и дело было совсем не в том, что быть командиром «эски» престижнее, чем командовать «малюткой», такого рода соображения для него не существовали, а в том, что новый этап подводной войны требовал прорыва в Балтику и свободного поиска противника на его дальних коммуникациях, а для этого «малютки» были слишком слабо вооружены и обладали недостаточной автономностью. Было еще одно обстоятельство, облегчавшее переход на «С-13»: Юнакова на дивизионе уже не было, а ближайший друг Маринеско, бывший командир «М-97», Александр Иванович Мыльников в 1942 году уже командовал «С-9» и вернулся из похода с боевым успехом. Теперь друзья вновь оказывались рядом.

Помимо ордена и звания Александра Ивановича ждала еще одна награда. В числе тридцати особо отличившихся в летнюю кампанию офицеров он получил право вылететь из осажденного Ленинграда в кратковременный отпуск и встретить новый, 1943 год с семьей.

Осуществить это право оказалось немногим легче, чем его получить. Тяжелый бомбардировщик «ТБ-3» с отпускниками на борту вылетал с флотского аэродрома, в воздухе к нему должна была присоединиться группа истребителей и эскортировать его до Новой Ладоги. На аэродроме счастливицы застряли надолго. Было несколько неудачных вылетов, всякий раз приходилось возвращаться обратно и коротать время в ожидании следующей попытки. Как и все его спутники, Александр Иванович огорчался задержкой, но мыслями непрестанно возвращался к новой лодке, которую ему предстояло принять, и к предстоящим походам. Таким его запомнил инженер-механик Виктор Емельянович

Корж, подружившийся с ним во время томительного прозябания на аэродроме:

«С Александром Ивановичем мы быстро сошлись и перешли на «ты», вернее — на «Ты» с большой буквы. Здесь нам повезло, на ночь мы устраивались в лен-уголке аэродрома. Там стояли мягкие диваны и было относительно тепло. Днем в ленуголке бывал всякий народ, иногда устраивались танцы, несколько старшин, сержантов, радисток и поварих топтались под звуки заезженной патефонной пластинки. С наступлением темноты электричество почему-то сразу вырубали, а керосина в лампе не было. Все расходились, наступала тишина и длинная-предлинная ночь. Ложились рано, но уснуть раньше полуночи ни разу не удавалось, мы подолгу разговаривали. Александр Иванович с жадностью впитывал мои рассказы о боевых походах «эсок», в частности о походах «С-7» и «С-12», в которых я участвовал. Его интересовали малейшие подробности, он расспрашивал о всех затруднениях, встретившихся нам при маневрировании, и я охотно делился с ним нашим опытом. В свою очередь Александр Иванович рассказывал мне о походах «М-96», так что время проводили мы не без пользы».

В конце концов «ТБ-3» все-таки вылетел. Новый год Александр Иванович встретил со своей семьей.

Это был самый тяжелый для балтийских подводников год — сорок третий. В масштабе всей страны год был переломный, почти на всех направлениях советские войска перешли в наступление. Ленинград и Балтфлот оставались по-прежнему в блокаде; правда, положение заметно упрочилось и снабжение улучшилось, но в памяти подводников этот год остался годом жестоких потерь и вынужденного бездействия. Немецкое командование, убедившись на опыте прошлого года, что установленные на выходе из Финского залива заграждения не так непроходимы, как утверждала фашистская пропаганда, приняло дополнительные меры. В начале кампании при форсировании заграждений подорвалось несколько первоклассных подводных лодок, посылать новые корабли на верную гибель наше командование не считало возможным, и в действиях подводных сил на Балтике возникла длительная пауза вплоть до осени 1944 года, когда вышла из войны Финляндия и наши корабли перешли на новые базы, поближе к выходу в Балтику.

К своему назначению на «С-13» Александр Иванович отнесся очень серьезно. «На сердце у меня было здорово беспокойно,— признался он мне в одной из наших бесед.— Не в том дело, что лодка большая, а в том, что все новое — и техника, и люди. Техника-то полбеда, на «малютке» я знал каждую гайку, а вот люди... Свою команду я воспитал сам, верил ей, и она мне верила, а эти уже ходили в море с другим командиром, как-то им новый покажется?»

Кое-какие основания для беспокойства у Александра Ивановича были. Пожалуй, ни в одном классе военных кораблей командир не обладает такой неограниченной властью, как на подводной лодке. Но это не значит, что он независим от мнения команды. От того, верит ли экипаж командиру, понимает ли его действия, зависит очень многое. На лодке дистанция между начальником и подчиненным сокращена до предела, в тесноте отсеков гаркать, козырять, обращаться друг к другу строго по уставу негде, да часто и некогда. Командир всегда на виду, и в течение первого месяца десятки матросских глаз фиксируют его с разных точек, в результате из множества деталей коллективными усилиями создается некоторый сводный портрет, как правило дающий довольно точное представление об оригинале. Если экипаж привязан к командиру, его уход всегда воспринимается тревожно, а появление нового — настороженно.

Приняли Маринеско на «С-13» хорошо. Отчасти потому, что его приходу уже предшествовала добрая слава, но еще больше потому, что он с первого знакомства произвел на команду неотразимое впечатление. Не внешностью, а внутренней свободой и естественностью — качеством, редко упоминаемым в официальных характеристиках, но высоко ценимым солдатами и матросами. Матрос, отзываясь о своем командире, не всегда скажет это слово, чаще он говорит «простой». Но мы ошибаемся, если поймем это слово только как «демократичный» или, что уж совсем мимо, как «простоватый». Простой в данном случае означает именно естественный, не позер и не ломака, то, за что себя выдает. Простой — это необязательно душа нараспашку, можно быть сдержанным, как Маринеско; важно чтоб у командира душа была и чтоб в критический момент он оказался именно таким, каким кажется в обычное время.

Ветеран «С-13» гидроакустик Иван Малафеевич Шнапцев так вспоминает первое появление Маринеско на лодке:

«Базировались мы тогда в Ленинграде. Наша плавбаза «Смольный» стояла на Неве у левого берега. Было уже известно, что у нас будет новый командир. Стороной о нем команда уже слыхала. Вскоре он появился. Внешне он большого впечатления не производил — небольшого росточка, говорит тихо, нет такой командирской солидности... Наш сдает дела, новый принимает, а команда, известное дело, присматривается. Потом он нас собрал и представился: «Я ваш новый командир, зовут меня Александр Иванович Маринеско, скоро мы пойдем в поход и будем вместе бить врага». Но по-настоящему понравился нам новый командир при очередной швартовке. Маланченко не умел швартоваться, у нас, как доходит до швартовки, сразу крик, суетня, вся команда наверху, редко когда с одного захода ставили корабль на место. А этот вышел, присел на рубку, тихо скомандовал и сразу поставил лодку впритирочку. Это все оценили: видно молодца по ухватке, сразу понятно — моряк.

Маринеско очень серьезно взялся за дело. Тренировал личный состав по-своему, проводил тут же, на Неве, пробные погружения. К началу навигации лодка была «на овсь!», дух у команды был боевой, но в 1943 году нас в море не выпустили. Тогда погибли многие: Осипов, Мыльников... Смерть своего друга Мыльникова командир пережил очень тяжело.

За время учений и тренировок мы узнали и полюбили Александра Ивановича. Как человек он был очень хороший. Держался по-товарищески, распекать не любил, но дисциплину держал крепко, такому на шею не сядешь, умел и на место поставить. Бывало, идет по лодке, смотрит, как люди работают, чистят, драят, если ему что не по душе, то иногда и не скажет, а только глянет и вздохнет, а матрос уже сам понимает, в чем у него непорядок. Во время учебных тревог и погружений был исключительно четок, собран. Когда мы ходили по Неве, мастерски провел лодку под неразведенным мостом, был слух, что его за это отругали, но лиха беда — начало, после него и другие стали ходить».

Пока экипаж изучал командира, командир не терял

времени — он изучал экипаж. Командиры боевых частей ему достались проверенные в бою — минер Константин Емельянович Василенко, инженер-механик Георгий Александрович Дубровский. Штурман Николай Яковлевич Редкобородов пришел на лодку недавно, но тоже производил надежное впечатление. Среди матросов и старшин много первоклассных специалистов. А вот со своими ближайшими помощниками, замполитом и старпомом, Александр Иванович общего языка не нашел, и потребовалось немало дипломатических усилий, чтобы, не доводя дело до конфликта, получить вместо них таких людей, с которыми у него установилось полное взаимопонимание. Вместо прежнего заместителя пришел Борис Никитич Крылов. Он немного не дождал до встречи ветеранов «С-13» 1978 года, и я искренне жалею, что не мог познакомиться с ним, о нем вспоминали с большим уважением. Говорят, уйдя в отставку, он писал воспоминания о походах «С-13», но след их затерялся.

Со старпомом было сложнее. Вместо ушедшего в морскую пехоту помощника прислали нового, с другого флота, и с ним у Маринеско отношения сразу же не заладились. Об этом мне забавно рассказывал Иван Малафеевич Шнапцев. У акустиков острый слух, а рубка акустика помещается в командирском отсеке, и он волей-неволей слышит больше, чем матросу положено.

«Новый взял очень жесткую линию, а Александр Иванович с ней не согласился, дисциплина у нас и так была хорошая. Командир людям доверял. Старпом был против того, что командир увольнял матросов в город: дескать, у нас, где я служил, и офицеров не пускают. А наш ему со смешком: «У вас там выпела до самой воды висят, а мы, бывает, и вовсе не вывешиваем». Мысль та, что мы — флот воюющий и нам не до формальностей. Похоже, что старпом ходил жаловаться на командира. Ну нет ни в чем согласия... А тут как раз по соседству, на «С-4», случилась какая-то авария, налетела комиссия, старпома сняли. Александр Иванович и воспользовался, стал расхваливать своего: на вашу бы лодку да моего старпома, он бы у вас порядок навел железный. И уговорил ведь, старпом ушел на «С-4», а на его место командир взял Ефременкова с «М-96»; с ним мы и ходили во все походы».

Вернувшись с Большой земли, Маринеско ощутил новый прилив энергии. В. Е. Корж вспоминает:

«В мае 1943 года я стал дивизионным механиком «эсок», мы стали чаще видаться, а наши отношения стали еще теснее и дружественнее. Как-то заговорили о литературе, и меня удивило, что Маринеско отнесся к этой теме без всякого интереса: «Мне сейчас не до стихов».

— Что же тебя сейчас интересует?

— Многое. За сколько секунд трюмно-дифференцирующая помпа сможет погасить положительную плавучесть подводной лодки типа «С» после двухторпедного залпа на трехузловом подводном ходу. То же на четырехузловом. То же на пятиузловом. Как командир корабля я обязан знать, за сколько секунд моя лодка уйдет на глубину, безопасную от таранного удара эскадренного миноносца».

Конечно, в ответе Маринеско был некоторый элемент бравады, литературу он любил. Но бравады совершенно искренней. В то время он считал себя не вправе думать ни о чем, кроме будущих походов. Он был стянут, как пружина, жаждал немедленного действия, и той весной ему даже в голову не приходило, как далеки его замыслы от осуществления.

Я хорошо помню, какое гнетущее впечатление произвели на всех нас тяжелые потери первого эшелона 1943 года. Лето было в разгаре, стало теплее и сытнее, но подводникам от этого легче не становилось: скорбь по погибшим товарищам, вынужденное бездействие — все это мучительно переживалось и командирами и матросами. Не надо понимать бездействие буквально, корабельная жизнь безделья не знает, служба, дежурства, текущий ремонт, политучеба, боевая подготовка занимают моряка от побудки до отбоя. Но боевая подготовка в военное время — не школьные занятия, накопленные силы требовали выхода, опыт — применения. Люди стали угрюмее и нервнее. Теперь они жили не только ленинградской ситуацией, до них все отчетливее доходили отзвуки гигантских битв на Большой земле. Советские армии наступали — не хотелось плестись в обозе. Вскрылись чудовищные преступления фашистов на оккупированных землях — они взывали к мести.

Почему «С-13» не попала в первый эшелон 1943 года и какова была бы ее судьба, если б ее выпустили

в море? Этого вопроса я Александру Ивановичу не задавал. Но я хорошо себе представляю Маринеско в эти томительные для его активной натуры летние и зимние месяцы. В той или иной мере одни и те же настроения владели тогда всеми. Боевой пыл не угас, но напряжение порождало усталость, полосы уныния сменялись полосами раздражительности, не находящего себе выхода нервного возбуждения. Прорывалось иногда и нечто болезненное. Выпивали в то время многие, и не для согревания, как в первую блокадную зиму, а чтоб развеять тоску. За лето и осень сорок третьего Маринеско дважды побывал на гауптвахте, а по партийной линии получил сперва предупреждение, а затем и выговор. Причиной взысканий была не выпивка сама по себе, пил в то время Александр Иванович не больше людей, а в одном случае самовольная отлучка, в другом — опоздание. Выдумывать уважительную причину для опоздания Александр Иванович не стал и честно признался — проспал. Дал обещание исправиться. И слово сдержал. В мае сорок четвертого заседавшая в Кронштадте парткомиссия бригады подводных лодок постановляет: «Выговор снять как с полностью искупившего свою вину перед партией честной работой и высокой дисциплиной».

Всеведущий акустик Шпанцев комментирует (конец 70-х годов): «Насчет того, что командир загуливает, мы не знали, выпившим на лодке не видели. Знали, что семья у него в эвакуации, и, если говорить честно, многие офицеры в то время были не без греха, ну мы догадывались, что и наш тоже. Но когда появилась возможность, первый, кто вызвал свою семью, был Александр Иванович. И вот еще черта — у прежнего командира после похода была нехватка продуктов, а Маринеско, возвращаясь из походов, аккуратно сдавал что положено, а вот те продукты, что команда недоела — вы ведь знаете, в походе едят мало, — приказывал разделить поровну и раздать. И не было случая, чтоб командир взял себе больше других».

Авторитет Маринеско среди команды стоял очень высоко, и прошедшие после войны десятилетия не смогли его поколебать. Во время встречи ветеранов «С-13» я успел поговорить почти со всеми, получил несколько писем от тех, кто почему-либо не мог приехать, — каждый из моих собеседников (или корреспондентов) вспоминал о своем командире с благодарным

чувством. Вспомнили не только боевые походы, но и этот предшествовавший походам год, полный повседневных забот и напряженного ожидания. Командир умел поддерживать в экипаже лодки бодрость и уверенность, что кораблю еще предстоят большие дела. О том, что боевой пыл подводников не угас, а к середине лета сорок четвертого года, в предвидении будущих походов, разгорелся с новой силой, свидетельствует характерный эпизод.

Лето 1944 года. Каюта А. Е. Орла на кронштадтской береговой базе. Александр Евстафьевич Орел, впоследствии адмирал и командующий Балтийским флотом, был тогда командиром дивизиона. Кроме хозяина в каюте еще три офицера: дивмех В. Е. Корж, командир гвардейской «Л-3» Владимир Константинович Коновалов и командир «С-13» Александр Иванович Маринеско. В. Е. Корж вспоминает:

«Выпили по стопочке — больше не хотелось. И сразу заговорили о том, что волновало всех. Начал Маринеско.

— Товарищ капитан первого ранга, — сказал он, обращаясь к комдиву почему-то по званию, вне службы это было не принято, — заявляю со всей ответственностью: мне чертовски надоело наше безделье. Честное слово, стыдно смотреть в глаза команде.

Его поддержал Коновалов:

— Верно. Драим механизмы, без конца повторяем одни и те же задачи, которые осточертели и личному составу, и нам самим.

Орел молчал и хмурился. Что он мог ответить? Я понимал его, но и у меня на душе тоже накипело. Недавно я узнал, что фашисты в Киеве расстреляли моего отца. И я тоже заговорил:

— Хочу отомстить за отца, за Бабий Яр... Готов идти на любой лодке.

И тут же получил предложение от Маринеско:

— Пойдем со мной на «С-13»? У меня Дубровского в Академию забирают, нужен механик.

— Нет, дивмех, пойдешь на «С-4», там ты нужнее, — вмешался Орел и, заметив, что уже начал распорядаться, улыбнулся. — Подождите немного. Я сам жду не дождусь, когда мне разрешат выйти в море. Теперь уж недолго ждать».

И кончился вечер в каюте комдива тем, что четверо не склонных к патетике офицеров дали друг другу

слово отдать все силы на разгром противника. Все четверо слово сдержали. Пошли в боевые походы и комдив и дивмех. По два успешных похода сделали Маринеско и Коновалов. Коновалов стал Героем Советского Союза.

Орел был прав — ждать действительно оставалось недолго. Обессиленная совместными ударами наземных войск и флота Финляндия капитулировала. Наступило время походов. Последние месяцы Александр Иванович упорно готовил к бою артиллерийские расчеты. На «С-13», помимо знакомой ему по «малютке» сорокапятимиллиметровой пушки, стояла «сотка», дальнобойное орудие 100-мм калибра, в бою его обслуживают семь человек, включая вестового. Маринеско отлично разработал взаимозаменяемость в обоих орудийных расчетах и был уверен, что в походе лодочная артиллерия покажет себя не только в обороне, но и в атаке.

Впрочем, он проверял все звенья. Флагманские и дивизионные специалисты были нечастыми гостями на «С-13». Александра Ивановича это и устраивало, и немножко обижало. С одной стороны, он не любил вмешательства в свои дела, а с другой — не терпел и пренебрежения. В. Е. Коржа Маринеско дружески попрекал за невнимание к «С-13», тот только отшучивался: «За твою лодку я спокоен. Ты своего механика не хуже меня проинструктируешь». Флагмех Е. А. Веселовский, помфлагмеха «по живучести» Б. Д. Андрюк, флагарт Н. В. Дутиков также были высокого мнения о состоянии механизмов и оружия на корабле.

Наступило время, которого так ждали балтийские подводники. Одновременно — холодная, дождливая балтийская осень. В море — шторм за штормом.

Конечно, выход Финляндии из войны облегчил передвижение по Финскому заливу, но залив был еще прочно перегорожен Найсар-Порккалаудской сетью и системой барражей. Балтика стала ближе, но выход на позицию по-прежнему грозил многими опасностями. И по данным разведки, и на собственном горьком опыте подводники знали, какие изощренные препятствия встретятся им на пути. Классическая мина, взрывающаяся от удара по заключенной в металлический стакан ампуле, столь ярко описанная М. М. Зощенко в рассказе «Рогулька», стала уже вчерашним, если не позавчерашним днем. Мины взрывались от прикосновения корпуса лодки к антеннам в виде иду-

щих от мины длинных металлических усиков; от сотрясения сетей; взрывные механизмы программировались так, чтобы сработать от шума винтов, от магнитного поля корабля...

Об осеннем походе 1944 года Александр Иванович рассказывал скупо. Ни он, ни я не знали, что это мне понадобится. А в тех публичных выступлениях, какие я слышал, он его почти не касался, всех интересовал в первую очередь январский поход 1945 года, когда были потоплены «Густлов» и «Штойбен». Восполняю его рассказ по свидетельствам других участников.

«С-13» вышла из Кронштадта 1 октября. Октябрь на Балтике — время осенних штормов. Болтало даже на перископной глубине. Командование назначило лодке выгодную позицию в районе Данцигской бухты.

9 октября «С-13» потопила вооруженный транспорт «Зигфрид» водоизмещением пять тысяч тонн. Название и тоннаж окончательно установлены после войны, а вот что транспорт вооружен, выяснилось немедленно.

Торпедная атака не получилась. Торпедный треугольник был рассчитан безупречно, транспорт непременно должен был прийти в ту точку, куда шли торпеды, но капитан транспорта вовремя застопорил ход, и все три торпеды прошли по носу. Неудача не обескуражила Александра Ивановича, он вновь атаковал, на этот раз — одной торпедой. Но торпеда была замечена, транспорт дал ход, и она прошла у него за кормой. Капитан был, как видно, толковый.

Казалось бы, все потеряно, транспорт упущен. Но у Маринеско была бульдожья хватка, отступать он не привык. И подал команду «артиллерийская тревога».

Недаром флагарт Дутиков нахваливал мне Маринеско и командира БЧ 2-3 Василенко. Третья боевая часть — это торпеды. Вторая — пушки. Василенко свое умение вести огонь уже показал в предыдущем походе «С-13». А Маринеско всегда восставал против недооценки лодочной артиллерии. Он признавался мне, что, хоть торпеды и главное оружие подводников, ему всегда больше по душе были пушки. Догадываюсь, что эта привязанность тянулась с юных лет, когда Саша Маринеско зачитывался книгами о путешествиях и морских сражениях. Корабли его детства еще не имели торпед. В своем воображении Саша Маринеско видел огонь и дым Наваринской битвы, наведенные на притихшую

Одессу длинные стволы главного калибра «Потемкина»... От этого остается след на всю жизнь.

С первых же выстрелов «сотки» обнаружилось, что транспорт способен огрызаться. Завязалась настоящая артиллерийская дуэль. Несмотря на качку и захлестывающие верхнюю палубу ледяные валы, подводники стреляли лучше. Наводчик 45-мм пушки Юров по-снайперски угодил в капитанский мостик, после чего перевес «С-13» стал решающим. Противник еще отстреливался, но командир «сотки» Пихур и стоявший у второй пушки Юров вцепились в судно мертвой хваткой, еще несколько метких попаданий — и «Зигфрид» пошел ко дну.

На отходе лодку преследовали миноносцы.

Возвращались не в Кронштадт, а в гавань Ханко. Там уже стояли наши плавбазы. После торжественной встречи, поздравлений и дружеских объятий наступили будни тем более суровые, что «берега» для подводников не существовало. Город был чужой, страна чужая, еще недавно воевавшая на стороне фашистской Германии. Опыта пребывания на территории недавнего врага еще ни у кого не было, нет ничего удивительного, что командование требовало от всех моряков повышенной бдительности. Будьте корректны, но осторожны. Поменьше контактов. И вообще без дела в город ходить незачем. Даже в советскую контрольную комиссию, вывесившую свой флаг в центре города.

О городах Финляндии — Ханко, Турку, о Хельсинки, где лодка ремонтировалась в ноябре — декабре 1944 года, Александр Иванович рассказывал мало — он их почти не видел. Жаловался на скуку, но хвалил порядки на финском судостроительном заводе:

«Не любят трепаться и разводить бюрократическую волюнку. Больше молчат. Но если кто что сказал — будет сделано. И никаких планов, смет, разнарядок... Идет инженер по лодке, за ним мастер с блокнотом. Инженеру покажешь, он посмотрит, буркнет что-то по-своему мастеру, мастер записывает. В конце декабря вернулись в Ханко. В Ханко еще тоскливее. Лодка в готовности, а на плавбазе скука смертная. Потравишь вечером в кают-компании, сыграешь партию в шахматы, иногда хлопнешь стопочку у кого-нибудь в каюте — вот и все наши развлечения. По вечерам девать себя некуда».

Обычно Маринеско был душой кают-компаний, но

в Финляндии на него все чаще нападала хандра. Казалось бы, должен быть счастлив: боевой успех, всеобщее уважение, орден Красного Знамени. А хандра не проходила. И походом он был не так уж доволен.

В Ханко офицеры жили не так, как до войны, — без семей. Многие скучали по семьям. Вероятно, Александр Иванович тоже. А впрочем, к 1944 году семья Маринеско, по существу, уже распалась.

Здесь мне придется сделать небольшое отступление, необходимое для правильного понимания многих дальнейших событий.

Печально, но правды не скроешь: в описываемое время отношения между супругами были уже нарушены, а вскоре после войны они окончательно разъехались. Кто в этом больше виноват — не мне судить. Когда я говорю о вине, я меньше всего имею в виду чьи-либо провинности, сегодня они никого не должны интересовать. Речь идет о вине за распад семьи. Об этом мы долго, грустно и по-дружески откровенно поговорили с Ниной Ильиничной на скамеечке около Медного всадника, и я понял: могло быть иначе. Но столкнулись два сильных характера, и никто не умел уступать. Меня восхитило мужество, с каким Нина Ильинична, преодолевая все обиды на Александра Ивановича, не снимала и с себя вины за разрыв:

«Сегодня я уже многое понимаю и прощаю. Понимаю: когда от человека требуется в бою нечеловеческое напряжение всех сил, трудно требовать, чтоб он в быту был паинькой. Теперь я, может быть, многое простила бы ему, но тогда я была моложе — и не смогла».

Это из того нашего разговора на скамеечке. Этот же разговор позволяет мне сегодня очень осторожно коснуться личной жизни Александра Ивановича, потому что правда всегда лучше двусмысленности и тумана.

Александр Иванович умер, не оформив развода с Ниной Ильиничной. Но не только поэтому она — единственная и законная вдова командира «С-13». Большинство команды знало и знает только ее, относится к ней и к Леоноре как к родным и считает их почетными членами экипажа. При всем при том невозможно, рассказывая о послевоенных событиях в жизни Маринеско, обойти тот факт, что он был женат трижды.

Я никогда не встречался с Валентиной Ивановной Громовой. Александр Иванович познакомился с ней после войны, плавая на судах Совторгфлота, и они прожили вместе несколько лет. Я знаком с их дочерью Татьяной Александровной, она носит фамилию Маринеско. Всего этого мне достаточно, чтобы не становиться на формальную точку зрения.

С Валентиной Александровной Филимоновой Александр Иванович прожил неполных три года. Из них около двух он проболел — и умер на ее руках. Как с женой он приезжал с ней в Кронштадт на сбор ветеранов-подводников, как жену представлял друзьям, и все, кто встречался с Александром Ивановичем в эти последние годы его жизни, не могут иначе как с восхищением говорить об ее бескорыстной и самоотверженной борьбе за жизнь Маринеско. Глубоким уважением полны письма к ней Ивана Степановича Исакова.

Теперь, сказавши все это, мне легче двигаться дальше, и читатель увидит, почему.

Ремонт закончился. Маринеско томился в ожидании боевого приказа. В город он не так уж и стремился. Тем более что языка он не знал, а финны почти не говорили по-русски. При деловых встречах приходилось пользоваться услугами переводчика — это был белоэмигрант, угодливый и прилипчивый. Когда Корж дружески предупредил: с этим господином надо быть поосторожнее, он наверняка работает в полиции и может подсунуть какую-нибудь сомнительную девицу, — Маринеско даже обиделся:

— За кого ты меня принимаешь?

И действительно был безупречен до новогодней ночи, когда он неожиданно для всех и для самого себя совершил тяжелейший, а в условиях военного времени граничащий с преступлением проступок — самовольно ушел с плавбазы, загулял в чужом городе и вернулся лишь к вечеру следующего дня. Больше того — вовлек в свое предприятие другого офицера.

Происшествие чрезвычайное и беспрецедентное. Может быть, сегодня кому-то оно покажется и не таким уж значительным, но надо помнить — тогда еще не кончилась война, еще сохраняли силу суровые законы военного времени, особенно на чужой, еще недавно вражеской, территории. А тут исчезает командир, который не сегодня завтра выйдет в море для выполнения важного задания. Как знать, не похищен ли он

вражеской разведкой и не старается ли притаившаяся в Финляндии гитлеровская агентура выжать из него какие-нибудь ценные сведения?

Что произошло с Александром Ивановичем во время его отлучки, я расскажу по некоторым соображениям в другой главе. Его исповедь, в искренности которой не сомневаюсь, я записал ночью в кронштадтской гостиничке почти дословно. Эту трагикомическую историю я до сих пор не считал возможным публиковать, хотя она многое объясняет в характере моего героя. Теперь, через много лет, с согласия близких людей я могу себе это позволить. Но это позже, потом, а сейчас я хочу заверить читателей, что нисколько не пытаюсь преуменьшить вину Александра Ивановича, как и не пытался преуменьшить ее и он сам. Единственное, против чего он гневно восставал, это подозрения. Подозревать его, Александра Маринеско, в том, что он может быть завербован или как-нибудь иначе использован врагами, — есть от чего прийти в бешенство. Но в конце концов подозрения отпали — Маринеско, слава богу, был не один, его откровенные показания полностью совпали с показаниями соучастника. Обоим грозил суд трибунала, но командование проявило здравый смысл: лодка готова к боевому походу, командир пользуется у экипажа безоговорочным доверием и стоит за него горой, пусть исправляет свои ошибки в бою.

9 января 1945 года «С-13» под командованием капитана 3-го ранга Маринеско вновь вышла на позицию в районе Данцигской бухты.

VII. «Атака века»

Об «атаке века», как нередко называют атаку «С-13» на гордость фашистского флота — гигантский лайнер «Вильгельм Густлов», написано уже много. В разных странах, разными людьми, с различными задачами.

Моя задача — особая. Я не военный историк. Атака меня интересует в первую очередь тем, что в ней наиболее ярко проявился характер моего друга. Поэтому главу о январском походе «С-13» я начну с попытки разобраться, с каким настроением выходил тогда в море Александр Иванович. С отчаянностью штрафника, рвущегося навстречу опасности, чтобы поскорее

«кровью» искупить свои прегрешения, или со своим обычным спокойствием? Повлияли ли предшествовавшие походу события на поведение командира в море и на боевые успехи корабля?

Судя по всему — никак не повлияли. Может быть, поначалу какие-то сторонние мысли и угнетали его, но, окунувшись в привычную атмосферу всеобщего доверия, вновь оказавшись на привычных для него местах — на мостике, в боевой рубке или у разложенной на штурманском столике карты, — вновь стал тем командиром, каким его знала команда: отважным и расчетливым, бодрым и даже веселым. В поход он шел не для того, чтоб вымаливать прощение, а для того, чтобы громить врага.

Читатель уже знает: о январском походе 1945 года Александр Иванович рассказывал при мне несколько раз. Его слушали затаив дыхание, но у меня все-таки оставалось ощущение неудовлетворенности. Рассказывал он даже неплохо: точно, деловито, называл пеленги и курсовые углы, но ни слова о том, что он при этом думал и чувствовал, как будто речь шла не о нем, а о каком-то другом командире, как будто говорил не зачинатель и вдохновитель атаки, а некто со стороны пересказывал уже опубликованные материалы, строго придерживаясь установившейся версии. Тогда мне казалось, что это только скромность, позже я понял, что не только, — сказывалась многолетняя привычка не говорить о себе. Гораздо больше я узнал о походе не от него, а от его соратников.

Зима восьмидесятого. Через тридцать пять лет после зимнего похода «С-13» мы с Николаем Яковлевичем Редкоборозовым сидим в квартире приютивших меня ленинградских друзей и неторопливо беседуем. «Микро-рекордер» лежит между нами на столе, и мы замечаем его, только когда приходит пора сменить кассету. Мы встречаемся уже не в первый раз, но нам всегда есть о чем поговорить, и с каждой встречей мы все лучше понимаем друг друга. Перед Николаем Яковлевичем лежит лист бумаги, время от времени он беглыми штрихами набрасывает схему маневра «С-13», очертания берега и расположения маяков, и хотя по роду моей профессии меня больше занимают характеры, чем курсовые углы, это необходимо нам обоим. Разными путями мы пришли к единому убеждению: чтобы понимать человека в бою, надо понимать его действия.

Характер реализуется прежде всего в поступках, в поведении.

— Поговаривали, что командиру просто везет на крупные корабли,— говорит Николай Яковлевич.— Какая чепуха! Везло потому, что он эти корабли искал. Мне, штурману, это виднее всего. Искал, потому что таков был боевой приказ. В приказе было недвусмысленно сказано: обнаруживать и уничтожать крупные и, прежде всего, боевые корабли противника. В памятную зиму наши наземные войска очищали от захватчиков советскую Прибалтику, гитлеровцы отчаянно цеплялись за эстонские острова, в особенности за свой укрепленный плацдарм на западной оконечности острова Сааремаа,— полуостров Сырве. Вы представляете себе, где находится Сырве? — Николай Яковлевич уже берется за карандаш.

— Представляю,— говорю я.— В конце ноября я был там на бронекатерах. Но к декабрю операция была уже закончена, немцев сбросили в море и их боевые корабли оттуда ушли.

— Именно потому их ожидали в районе Данцигской бухты. Но было, вероятно; уже поздно, начинался всеобщий драп из Прибалтики. Мы тринадцать дней маневрировали в средней части отведенного нам района действий, несколько раз приходили в соприкосновение с кораблями противника, несколько раз могли иметь успех, но Маринеско ни разу не вышел в атаку, берег торпеды для более крупной дичи. И наконец принял решение перейти в южную часть района, где в первую же ночь обнаружил достойную цель. Было ли это только удачей или каким-то необыкновенным наитием? Нет, в основе решения лежал точный расчет. По дошедшим до нас скудным радиосводкам, о фронтовой обстановке Александр Иванович ясно представлял себе, что происходило в эти дни в Мемеле и Данциге. Оборонять их становилось все труднее, перед фашистским командованием стала задача срочно вывезти оттуда боеспособные части для защиты жизненно важных центров рейха — столицы и крупнейших портов: Киля и Гамбурга. Как бывший торговый моряк — Маринеско догадывался о возможных маршрутах транспортных судов, как опытный подводник — предвидел, что крупные суда пойдут с сильным конвоем. Чем крупнее корабль, тем мощнее охрана, поэтому выбор крупной цели прямым образом связан с наибольшими трудно-

стями и риском. В ноябре, если помните, погода была еще сносная, но в январе на Балтике творилось черт знает что. Погода почти все время штормовая, видимость плохая, волны захлестывают палубу так, что брызги долетают до мостика. За какой-нибудь час обледеневаешь и промерзаешь до костей, налетают снежные заряды, от которых слепнут сигнальщики. В такую ночь, когда болтало даже на глубине, командир приказал мне проложить курс так, чтобы выйти к немецкому маяку Риксгефт в двенадцати милях к северу от западного входа в Данцигскую бухту, там всплыть и подзарядить аккумуляторные батареи. Шли на перископной глубине, систематически осматривая горизонт и воздух. Придя в назначенную точку, продули главный балласт, всплыли и заняли крейсерское положение. На мостик поднялись командир, помощник, штурман и сигнальщик — старший матрос Виноградов. В помощь ему вызвали еще двух наблюдателей — командиров орудий Пихура и Юрова. Пошли двенадцатиузловым ходом — одновременно поиск и зарядка. Примерно через час Виноградов доложил: пеленг 150° , вижу конвой. Какая-то группа кораблей выходила из Данцигской бухты и двигалась курсом на северо-запад. То, что видит в свой ночной бинокль Толя Виноградов, способен увидеть не всякий, для этого нужно острое зрение и особая, не ослабевающая за все время вахты сосредоточенность. Сообщение Виноградова настолько серьезно, что стоявший на вахте помощник просит командира подняться на мостик. Командир посмотрел и подтвердил: конвой. Объявил боевую тревогу, все заняли места по боевому расписанию. Начался первый этап атаки.

Определили курс и скорость цели, когда наша лодка, продолжая идти двенадцатиузловым ходом, лежала на курсе 240° , гидроакустик Шнапцев доложил на мостик, что слева 160° он слышит шум лопастей крупного двухвинтового корабля, идущего большим ходом. Вот смотрите...

Рука Николая Яковлевича быстро набрасывает на бумаге привычные ему линии и условные знаки. Затем наступает пауза, во время которой при наличии общей цели наши мысли текут в разных направлениях. Штурману «С-13» нужно, чтоб я все это понял и запомнил, мне же, чтобы запомнить, надо все это вообразить. Мысль штурмана рвется вперед, к завершающему тор-

педному залпу, моя же упрямо цепляется за прошлое. Мне необходимо вызвать в памяти всех участников похода, с кем я в разное время встречался и беседовал, мало того — представить их себе такими, какими они были тридцать пять лет назад, юными, полными сил и боевого задора, увидеть их глаза, жмурящиеся от летящих в лицо снежных зарядов, услышать грохот их обледеневших на ветру канадок, вспомнить запах соли и выхлопных газов на верхней палубе корабля и молочную муть впереди. Если всего этого в себе не оживить, то через несколько дней половину из рассказанного я забуду и на расчерченном рукой Николая Яковлевича листе бумаги увижу только паутину из не поддающихся расшифровке линий и знаков.

Как же это делается? Каким образом литератор, не будучи свидетелем события, начинает его видеть? Собрать информацию еще не все. Информация всегда двухмерна, третье измерение ей придает воображение, питаемое из кладовой опыта, где хранятся отложившиеся в образной памяти жизненные впечатления, начиная с самых ранних, с детских лет.

Насчет детских лет — не для красного словца. Несколько раз за время войны в моем сознании всплывал мимолетный, но не потускневший от времени образ проносящихся по нашему узкому московскому переулку пожарных линеек. Оконные рамы дребезжат, по потолку мечутся световые языки; сверкающие алым лаком тяжелые дроги с сидящими в них в два ряда сказочными богатырями в золотых шлемах увлекают за собой могучие битюги. Я слышу грохот колес, жесткое цоканье подков о неровные камни мостовой, непрерывный, вселяющий леденящий страх звон медного колокола, в те времена он заменял вой сирены, и даже улавливаю запах горящей смолы от раздуваемых ветром факелов. Это происходило, вероятно, не больше трех или четырех раз и продолжалось не более полминуты — трехлетний, я прятал голову в подушку или в колени матери, пятилетним я уже прилипал к окну, но образ несущейся на штурм огня пожарной команды навсегда врезался в мою память как образ стремительной атаки, и я понимаю мальчиков моего поколения, которые мечтали стать пожарными.

Что же общего с атакующей подводной лодкой? Как будто ничего. Все совсем наоборот: не звон и грохот, а тишина и скрытность, дизеля грохочут внутри.

Ничего, кроме какой-то заключенной в этом образе трудноопределимой сущности, которую можно условно обозначить как неудержимый порыв или как-нибудь иначе. Но не будем торопиться...

Осень сорок первого. Темная ночь. «Щука» идет из Кронштадта в Ленинград, и я впервые на мостике идущей полным ходом подводной лодки. Лодка идет в притопленном положении, над водой только рубка. Не для того, чтобы атаковать торпедами, — атаковать тут нечего; и не для того, чтоб быстрее погружаться, — здесь нет глубин. Только для большей скрытности. Весь южный берег — Петергоф, Лигово — в руках у немцев, весь фарватер под прицелом гитлеровской артиллерии, лучи мощных прожекторов его непрерывно ощупывают. Здесь не ходят, а прорываются. Сразу после выхода из Кронштадтской гавани командир объявил боевую тревогу, мне он милостиво разрешает остаться на мостике, и я, опять-таки на всю жизнь, запомнил, где стоял командир, и позу сигнальщика, черное, с ползающими по нему световыми щупальцами небо, легкое подрагивание корпуса и запах выхлопных газов...

Уже ближе, не правда ли? Но это начало осени, а не зима. И не боевой поход, а обычный для того времени переход, ничуть не более опасный, чем повседневный кронштадтский быт того времени с обстрелами и «звездными» налетами пикирующих бомбардировщиков на гавань и рейд. И услужливая память подбрасывает зимний эпизод. Сырве. Тот самый полуостров, западную оконечность которого в ноябре сорок четвертого еще удерживали фашисты. Я опять на мостике. На этот раз не подводной лодки, а бронекатера. Бронекатер — серьезный корабль, у него два башенных орудия. Мы идем вдоль берега, пересекаем по воде линию фронта — это видно по трассам наших «катюш». Волна, мокрый снег, видимость скверная. Силуэты вражеских кораблей я начинаю различать уже после того, как затрещали звонки боевой тревоги и наш катер — он головной, флагманский — подает сигнал к атаке и начинает маневр...

Одни ожившие в памяти впечатления накладываются на другие, они сплавляются в единый комок, и этот мгновенный сплав обладает для меня чудесным свойством — то, что мне рассказывают, становится зримым.

— Вот смотрите, — говорит Николай Яковлевич,

продолжая чертить по бумаге, и теперь я действительно не только слышу, но и вижу.— После доклада Шнапцева командир, не прерывая атаки на конвой, командует: «Право на борт, курс 350». Лодка повернула перпендикулярно к пеленгу и пошла на сближение. Непрерывно поступали доклады гидроакустика: шум винтов все сильнее, цель быстро приближается. На мостике в это время творилось нечто ужасное — штормовая качка и снежный буран, видимости никакой; и командир, понимая, что цель наверняка идет с охраной и какой-нибудь из конвойных кораблей может таранить лодку, скомандовал срочное погружение. Мы погрузились на глубину 20 метров, безопасную от таранного удара, но скорость снизилась, и по акустическому пеленгу командир понял: цель удаляется, угол упреждения, необходимый для стрельбы торпедами, упущен, скорость цели больше. Можно было стрелять вслепую, «по акустике», но, учитывая обстановку и несовершенство тогдашней аппаратуры, недолго было и промахнуться. И когда цель прошла по носу лодки — видите как? — командир принял решение всплыть. Всплыли. На мостик поднялись командир, штурман и сигнальщик Виноградов. Решение всплыть оказалось правильным не только из-за хода, но и потому, что к тому времени видимость стала лучше. Виноградов доложил, что цель перешла с нашего правого борта на левый — видите? — таким образом, мы оказались ближе к берегу, чем цель. Несколько позже он вновь доложил: вижу две движущиеся цели, впереди идет меньшая, а вслед за ней — громадина, похоже, малый корабль тянет за собой на буксире плавучий док. Командир взял у Виноградова бинокль посмотрел внимательно. «Штурман,— сказал он мне,— это не крейсер и не плавучий док. Это лайнер, тысяч на двадцать, не меньше. А впереди миноносец». Сразу в центральный пост было передано — идем атаковать лайнер. Легли на параллельный курс и понеслись вдогонку. Лодка, конечно, в позиционном положении — над водой только рубка...

— Но позвольте,— перебиваю я Николая Яковлевича.— Разве можно на такой волне идти полным ходом в позиционном положении?

— Можно. Конечно, умеючи. Делается так: цистерны главного балласта заполняются, а в носовые дается пузырь воздуха, и горизонтальные рули ставятся как на всплытие. Тогда лодка не зарывается. А на случай

непроизвольного погружения командир приказал задрать нижний рубочный люк. Понятно?

Я киваю. Все ясно: в таком случае смыло бы только тех, кто на мостике, включая самого командира. Лодка полностью сохраняет плавучесть и боеспособность. Командование принимает старпом.

— Каждые две минуты,— продолжает Николай Яковлевич,— я брал пеленг, и все же, несмотря на то что мы шли полным ходом, цель нас обгоняла и могла уйти. Тогда командир вызвал на мостик инженера-механика лодки Якова Спиридоновича Коваленко и приказал продуть главный балласт, привести лодку в крейсерское положение. Лодка подвсплыла, ход сразу стал 16 узлов, мы стали нагонять, во всяком случае пеленг остановился. Но нам этого было мало — для атаки носовыми торпедными аппаратами мы должны были не только догнать, но и обогнать. Погоня затянулась. Иногда командир вызывал на мостик помощника, а сам спускался в центральный пост, чтоб посмотреть на карту.

Мы шли с лайнером параллельным курсом, но ближе к берегу, и, несомненно, к тому времени в мозгу командира уже зрел, а может быть, уже и сложился план атаки со стороны берега. Всякому ясно, что такая атака таит в себе множество опасностей. Кораблям охранения легче прижать к берегу и отрезать все ходы и выходы подводной лодке, решившейся на такой безрассудный шаг. Глубины у берега меньше — лодка беззащитнее от нащупывающих ее пеленгаторов противника и от его глубинных бомб. Но есть одно решающее в данном случае преимущество — именно по этим самым соображениям удара со стороны берега меньше всего ждут.

— Взвешены были все «за» и «против». С одной стороны — стрелять торпедами в штормовую погоду труднее. С другой — волна и плохая видимость мешают обнаружить идущую в крейсерском положении подводную лодку. В печати промелькнула версия, будто бы сопровождавший лайнер миноносец заметил лодку и, приняв ее за один из кораблей эскорта, сигналом запросил ее код. И будто бы сигнальщик Виноградов вышел из положения, передав в ответ какую-то абракадабру. Эффектно, но неправда.

— Виноградова я спрашивал,— говорю я.— Он этого не подтверждает.

— Во время погони Виноградов почти все врем.

видел цель. В помощь ему командир вызвал на мостик командира отделения рулевых Волкова. Этот видел ночью, как сова, иногда он обнаруживал цель раньше акустика.

Соперничать в ходе с океанским лайнером — дело непростое. Погоня шла уже два часа, а нужного опережения все не получалось. И тогда командир принимает решение, быть может еще более рискованное, чем атака со стороны берега, — форсировать двигатели. Полный ход у «эсок» 18 узлов, с такой же скоростью шел лайнер. Максимум того, что можно выжать из наших дизелей, — 19,3, и то на короткое время. А ведь никто не мог сказать, сколько еще продлится погоня.

Вновь вызванный на мостик Коваленко, вероятно, в душе трепетал — предстояло подвергнуть дизели тяжкому испытанию. Но командир сказал «надо», и с колебаниями было покончено. Старшина мотористов Масенков получил указание — выжать все до предела.

Оставим временно мостик несущейся полным ходом вдогонку лайнеру подводной лодки и спустимся вниз, в центральный пост, в дизельный отсек. О том, что происходило в лодочных недрах, мне рассказывали и Я. С. Коваленко, и П. Г. Масенков, и В. И. Поспелов. С Яковом Спиридоновичем у нас давняя дружба, а неразлучные дружки Масенков и Поспелов пришли ко мне в 1978 году в гостиницу, и я записал их совместный рассказ о походе. Рассказ имел форму диалога не столько со мной, сколько друг с другом. Рассказывал больше Павел Гаврилович, но все время проверял себя: «Так, что ли, Вася?» — «Да, помнится, так, Паша»...

«В жизни не забудем этой погони, — говорит Масенков, но будем считать, что это и все дальнейшее говорят они оба. — Вначале мы шли в позиционном, притопленные, но дизелям от этого не легче, сопротивление воды больше, волна сбивает лодку с курса, нагрузка на машины колоссальная. Корпус дрожит, клапана дизелей грохочут, а тут еще акустик жалуется — потише, из-за вас ни черта не слышу... Акустик — он во втором отсеке, а грохочет в пятом, но трясется вся лодка, и на время приходилось снижать скорость, чтоб акустик не потерял цель. Смена режимов — это тоже для машины плохо. А когда подвсплыли и Яков Спиридонович передал нам приказание командира выжать из дизелей все, что возможно, тут уж начался ад кромешный. Знаем, на мостике тоже не сладко, люди обледееневают

на ветру, а у нас, наоборот,— пекло и дышать нечем. Предохранительные клапана стреляют оглушительно, а в ушах звон, стали подкладывать все, что было под рукой,— отвертки, куски проволоки; через клапана отсек наполнился дымом, дым ест глаза, грохот такой, что голова раскалывается... Но главное — тревога. Что будет с дизелями? Оба дизеля могут дать четыре тысячи лошадиных сил, от силы — четыре с хвостиком. Ну а мы выжимали больше. Это все понимали и боялись очень — не за себя, не оба же двигателя враз откажут, домой дочапать можно и на одном. Боялись, что сорвется атака. Вот сгорит какой-нибудь подшипник — и, конечно, цель ушла, все усилия прахом. В задымленный отсек набилось восемь человек, и все при деле, к каждой опасной точке приставили по наблюдателю. Задача — не спускать с нее глаз и вовремя подкладывать под клапаном амортизаторы. Боялись очень, но верили. Раз командир сказал «надо!», значит, надо».

Все это лишь малая часть рассказанного мне людьми, находившимися на мостике и внутри корабля во время этой беспримерной по напряжению погони. Но кто расскажет мне, что происходило в душе капитана 3-го ранга Маринеско на этом, втором, этапе атаки? Впрямую я этого вопроса Александру Ивановичу никогда не задавал. Да он и не любил копаться в себе, в своих переживаниях, вернее всего — отшутился бы. Но по наблюдениям людей, стоявших рядом, по его собственным брошенным в разное время беглым замечаниям представить себе состояние его духа все-таки можно.

Оно было сложным.

«Есть упоение в бою»... Конечно, было и упоение. Мне несколько раз приходилось близко наблюдать командиров, управляющих боем, и всегда — всегда по-разному, потому что нет двух одинаковых людей,— я видел на их лицах отсвет холодного вдохновения. Я называю его холодным, понимая всю неточность слова, холод — только оболочка, но оболочка необходимая. Упоение боем, азарт преследования, радость, которую приносит власть над событиями,— и наряду точнейший расчет, неослабевающее внимание к быстро меняющейся обстановке, требующей трезвой оценки и мгновенных решений. Так в плазменном генераторе бушует разогретая до немыслимых температур материя, но ее стискивают в тугую жгут и направляют

мощные магнитные поля, они не позволяют раскаляться корпусу генератора.

Была ли тревога за исход атаки? Конечно, была. Тревога, что противник может уйти. Но была и уверенность: ан нет, не уйдешь. А вот другой тревоги: что будет со мной, уже взятым на мушку начальством, в случае неудачи и мне придется отвечать разом и за срыв атаки, и за самовольный выбор позиции, за повреждение дизелей, может быть, за срыв всего похода, — такой тревоги, думаю, не было, а если и мелькала, то позже, когда все опасности были позади. Так бывает. Вдруг становится страшно задним числом, в сослагательном наклонении: ах, что было бы, если бы... В решающие моменты этому страху негде просочиться, в этот момент человек действует.

Но главным чувством стоявшего на мостике командира была все-таки уверенность. Не самоуверенность, а уверенность в себе, в своем знании корабля, его возможностей, в своем умении использовать их до предела. И, конечно, уверенность в людях. В старпومه и замполите. В командирах боевых частей. В том, что каждый боец на своем посту выполнит свой долг и не подведет. А постов много, столько, сколько людей. На лодке лишних нет. И если никто, даже сам командир, не может добиться успеха в одиночку, то испортить дело может почти каждый.

Уверенность покоится на доверии. Командир вообще привык доверять людям. Но его доверие к команде, можно сказать, выстрадано. И в предыдущем походе, и в повседневной кропотливой работе — ремонте, тренировках, в несении корабельных нарядов. Он знает каждого старшину, каждого матроса со всеми их достоинствами и слабостями, заботами и пристрастиями, верит им, как самому себе, и доверие это взаимно. Ему тоже верят, и, пожалуй, даже больше, чем самим себе. Когда командир говорит «надо!», делается то, что час назад казалось немыслимым, делается потому, что сказал это слово он, командир, батя.

Все, кто видел командира после того, как был отдан приказ форсировать дизели, помнят его совершенно спокойным. Спокойствие, быть может, самое трудное из всех человеческих состояний. Спокойными бывают и равнодушные, но сохранять спокойствие в часы наивысшего напряжения всех духовных сил — это уже величие.

Сумасшедшая гонка продолжалась еще около часа, и в течение всего этого часа командир не сходил с мостика. Видимость была по-прежнему плохая, временами налетали снежные заряды, и тогда все стоявшие наверху, включая сигнальщиков, переставали что-либо видеть. Но нет худа без добра — на лайнере и на кораблях конвоя идущую полным ходом в крейсерском положении лодку тоже не видели.

— И вот наконец,— продолжает свой рассказ Н. Я. Редкобородов,— наступил решающий момент. В 23. 02 курсовой угол достиг расчетного, командир скомандовал «право на борт!», и лодка легла на боевой курс. Начался заключительный этап атаки. Все продумано: угол встречи торпед с целью 90° — идеальный прямой угол. Далее следует команда «стоп дизеля!», включаются электромоторы, лодка вновь принимает позиционное положение, нос слегка притоплен, чтобы торпеды при выходе не шлепнулись на волну, затем «малый вперед!» и «торпедные аппараты товсь!». Помощника командир вызвал на мостик и поставил к ночному прицелу, с тем чтоб в момент, когда цель придет «на мушку», скомандовать «пли!». Сам он стоял у рубочного люка и отдавал команды на руль и на ход.

Внутри лодки грозное затишье, она уже не грохочет и не содрогается. Шум винтов едва слышен на фоне налетающих на рубку тяжелых январских волн, люди примолкли, чтоб не упустить слова команды. «На товсь» не только торпедисты, но и рулевые-горизонтальщики, их задача — мгновенно переложить рули в момент, когда лодка, выпустив торпеды и потеряв при этом более тонны своего веса, подвсплывает с дифферентом на корму. А следующей командой будет «срочное погружение», поэтому трюмные машинисты тоже «на товсь», им предстоит в считанные секунды принять в цистерны многие тонны морской воды...

Все эти согласованные действия должны произвести многие люди, и только безошибочное сложение всех усилий обещает успех. Но всю полноту ответственности за то, что все произойдет так, как надо, несет только один человек. Тот, наверху. И он, этот человек, спокоен, потому что убежден: все произойдет именно так. Для этого прожита вся его еще не слишком долгая, но многотрудная жизнь моряка, для этого изучались лоции и таблицы, штурманские приборы, двигатели и оружие.

накапливался опыт в дозорных и боевых походах, шли бесконечные утомительные тренировки, имевшие целью добиться от каждого члена экипажа двух, на первый взгляд противоречивых, качеств — быстроты соображения и автоматизма действий. Теперь все должно произойти так, как было задумано. Ну а если не произойдет? Нападающий имеет преимущество первого хода, но ведь существует еще и противник. Опытный, хорошо вооруженный противник, и невозможно заранее предусмотреть все его ходы. Как тут не вспомнить прошлогоднюю атаку, когда противник дважды уклонился от торпед и только артиллерийская дуэль решила исход боя...

Несколько последних длинейших секунд. Наконец форштевень цели пришел точно на визир ночного прицела.

— Пли!

Опять длинейшие секунды ожидания. Такие длинные, что, если доверять только своим ощущениям и не сверяться с хронометром, может показаться, что все потеряно и торпеды прошли мимо цели.

И вот в самую последнюю из этих неправдоподобно длинных секунд — грохот взрывов.

На этот раз торпедная атака была проведена идеально. Все три выпущенные веером торпеды попали в цель. И не просто попали, а поразили самые уязвимые места, разрушив попутно многократно рекламированную в фашистской печати версию о непотопляемой конструкции суперлайнера. Можно только удивляться точности, с какой стреляли подводники.

Не берусь описывать все обстоятельства гибели «Вильгельма Густлова». На Западе об этом существует целая литература, опубликовано множество свидетельств, в разной степени достоверных. Можно считать установленным, что лайнер затонул примерно через полчаса, что из находившихся на борту шести или семи тысяч удалось спастись примерно девятистам, включая капитана. Последнее обстоятельство не может не привлечь внимания, слишком прочно в нас укоренилось представление, что капитан — это человек, который сходит с гибнущего корабля последним. Но я пишу не о «Густлове», а о Маринеско. Будучи виновником гибели «Густлова», командир «С-13» не был ее свидетелем. Увидев и услышав взрывы, он сразу скомандовал срочное погружение. С этой минуты наступил

последний и самый опасный этап морского боя, потребовавший от командира выдержки и такого же высокого искусства в управлении кораблем, как преследование и атака.

Наше сознание консервативно. Когда мы произносим мысленно или вслух слова «морской бой», перед нами проносятся образы, навеянные литературой и живописью, нам привычнее представить себе этот бой как сражение если не однотипных, то соизмеримых между собой надводных кораблей, палящих по зримому противнику из пушек, а то сцепившихся вплотную в абордажной схватке. Но времена меняются. За четыре года войны на Балтике известен только один случай артиллерийского боя между крупными кораблями и ни одного случая, чтобы в торпедную атаку вышел крейсер или эскадренный миноносец. Несоизмеримо по сравнению с первой мировой войной возросло значение минных заградителей всех видов, морской авиации, «москитного» флота и подводных лодок. И хотя на примере осеннего похода 1944 года, когда «С-13» в открытом бою потопила вооруженное судно противника, мы видим, что артиллерийская дуэль между подводным и надводным кораблями возможна, она все-таки исключение, а не правило. Классической формой боя для подводной лодки остается торпедная атака. Но исторически сложившиеся стереотипы иногда оказываются сильнее логики фактов, и мне не раз приходилось слышать, что торпедная атака подводной лодки больше напоминает нападение из-за угла, чем честный поединок.

Есть и другой стереотип, мешающий неосведомленным людям правильно понимать и оценивать искусство и мужество подводников. С тех пор как войны приобрели глобальный характер, наряду с уничтожением войск и укреплений противника все большие усилия отдаются разгрому его промышленного потенциала. В отличие от прошлых веков исход войны решает не столько численность войск, сколько их техническая оснащенность. Поэтому объектами нападения становятся не только войска на линии фронта, но и тылы — прежде всего аэродромы, промышленные предприятия, коммуникации и жизненно важные центры, а в море помимо боевых кораблей — танкеры и транспортные суда. Во время войны мне не приходилось выслушивать сомнений в праве подводной лодки, речь идет, конечно, о мораль-

ном праве, топить любое судно, оказавшееся в отведенном ей командованием квадрате, но в мирное время, когда отошло былое ожесточение, приходится сталкиваться с людьми, чаще всего с молодыми, которые осторожно, в полувопросительной форме, ставят под сомнение это моральное право. Сталкивался с такими людьми и Маринеско, эта тема возникала и в наших беседах, вот почему я решаюсь, вместо того чтоб с чужих слов описывать гибель «Густлова», пересказать то немногое, что я слышал от него самого.

— Когда я слышу разговоры о моей везучести, меня они не сердят, а смешат. Я не Суворов, хотя тоже мог бы ответить по-суворовски: раз повезло, два повезло, положите что-нибудь и на умение... Но когда до меня доносится шепоток: а не варварство ли подкрадываться к беззащитным торговым судам и отправлять их на дно? — меня этот шепоток оскорбляет до глубины души. А еще говорят так: то ли дело гордые соколы, наши летчики, там честный поединок, побеждает сильнейший... Я летчиков уважаю, а в одном отношении даже завидую — они дерутся на глазах у всего народа, любой мальчишка понимает, что такое воздушный бой. Правда, насчет «честного поединка» обольщаться тоже не следует: случится троим напасть на одного, нападут за милую душу... Почему-то часто забывается, что основная ударная сила воздушного флота не истребители, а штурмовики и бомбардировщики, и что по сравнению с торпедой обычная авиабомба — оружие гораздо более опасное для мирного населения. В военное время море не место для прогулок, а театр военных действий. Всякий корабль, вышедший в море, выполняет военную задачу, даже если этот корабль не военный, а только военизированный. Всякий человек, ступивший на палубу такого корабля, понимает, что он может стать объектом атаки — и с воздуха, и из морских глубин. О каком невооруженном противнике может идти речь? Прежде чем добраться до противника, подводная лодка ежечасно подвергается смертельной опасности от мин, сетей, катеров — охотников за подводными лодками, самолетов, береговой артиллерии... Намечая цель для атаки, командир твердо знает: чем крупнее и значительнее цель, тем сильнее она будет защищена конвоем из боевых кораблей. Против них одна защита — скрытность, маневр. Я знаю, какие потери несла во время войны наша

авиация, но потери подводников не меньше, вспомните, что из всех «эсок» на Балтике дожила до Победы только одна — наша «тринадцатая». А насчет того, что на транспортах, бывает, гибнут непричастные к войне люди... Гораздо меньше, чем при обстреле или бомбежке городов. Во время войны суда не возят пассажиров, отходя от пирса, они решают определенную военно-стратегическую задачу — доставить войска, оружие, боеприпасы, сырье для военной промышленности. Всякий, кто ступил на палубу такой посудины, знает, на что он идет. Настоящий моряк это понимает и никогда не будет болтать про беззащитность. После демобилизации, в сорок шестом, я плавал помощником капитана на сухогрузном транспортном судне. Рейсы однообразные, Ленинград — Щецин и обратно. Грузы были разные, но обратным рейсом всегда брали уголь, грузили уголь пленные немцы, их тогда в Польше было много. За погрузкой я наблюдал сам. Ходил в рабочем кителе, но с орденом Ленина. Перед обедом подходит ко мне боцман и показывает мне на одного из грузчиков — будто бы этот немец меня знает и хочет поговорить. Это показалось мне странным — знакомых немцев, помнится, у меня никогда не было. А боцман твердит свое: встречался, говорит, с Маринеско и хочу сказать ему два слова. Ладно, говорю, пригласи его ко мне в каюту. Вошел ко мне человек среднего роста, белобрысый, лицо обветренное. Вытянулся по-военному, щелкнул каблуками. Представился: обер-лейтенант такой-то. «Это правда, что вы Маринеско?» — «Да, — говорю, — Маринеско». — «Тот самый «Густлов» капут?» — «Было дело», — говорю. «Можно пожать вашу руку?» Разговорились. Оказалось, что этот немец — обер-лейтенант, подводник. Фашистом никогда не был. Служил в учебном отряде подлодок в Пиллау, должен был идти со своим отрядом на «Густлове», но в последние минуты перед отплытием получил приказ перейти на сопровождавший «Густлова» миноносец, там заболел штурман. С мостика миноносца видел взрывы наших торпед, а затем участвовал в поиске и бомбежке «С-13».

— И много бомб на вас сбросил миноносец?

— Миноносцев было шесть. Сколько бомб? Не считал. Штук двести, не меньше...

Эта мирная встреча недавних противников произошла в сорок шестом, а 30 января сорок пятого на скрывшуюся в волнах подводную лодку обрушились

десятки глубинных бомб. Двести сорок, как уточняет Н. Я. Редкобородов. Конечно, слово «обрушились» не дано понимать буквально. Обрушья на корпус лодки одна-единственная бомба — и от лодки не осталось бы следа. Но и разрыв бомбы в непосредственной близости от корпуса грозит лодке смертельной опасностью. Летом сорок четвертого я видел, как происходит бомбежка притаившейся на глубине вражеской субмарины. Глубинная бомба — это внушительного объема и веса металлический бочонок, донья его устроены в виде мембраны. Мембрана настроена на определенную глубину, когда давление воды на глубине достигает заданной силы, срабатывает взрывное устройство. Сбрасывание происходит на полном ходу, за кормой встают гигантские водяные султаны, о силе взрывов можно было судить по тому, что султаны были черны от ила и гравия, а между тем глубины в этом районе немалые. К сказанному остается добавить, что миноносцы несут большой запас глубинных бомб, чем катера-охотники, да и бомбы эти, надо полагать, большей мощности.

Расчет Маринеско был верен — охранение никак не ожидало нападения со стороны берега и в первую минуту растерялось. Это дало лодке возможность оторваться от преследования и уйти на глубину. Но когда корабли охранения нащупали все-таки примерное местонахождение лодки, сказались трудные стороны принятого решения. На прибрежных глубинах, не превышающих сорока метров, легче обнаружить и обложить, как зверя в лесу, притаившуюся лодку. И вот тут Маринеско проявил все свое искусство маневрирования. Это было хождение по краю бездны — один неверный шаг, и гибель неизбежна. Приближаться к дну нельзя — там могут быть донные мины. Держаться близко к поверхности опять-таки нельзя, чтоб не попасть под таран. Оставалось вертеться в тесном водном пространстве, стараясь в меру возможного дезориентировать противника. Для этого, по существу, был только один способ — подставлять его акустическим приборам как можно меньшую, все время изменяющую свое положение площадь и таким образом искажать получаемые приборами сигналы. И если ни одна из двухсот сорока бомб, сброшенных на лодку в течение четырех часов, не повредила прочный корпус (мелочи вроде разбитых сотрясением лампочек и вышедших из строя приборов

не в счет), то всякому, даже непосвященному, должно быть ясно: секрет успеха не в удачливости, а в хладнокровии, мастерстве и интуиции командира.

Слава богу, сегодня это слово уже не вызывает кривых усмешек. Интуиция — это наш неосознанный опыт. Во всякой интуиции есть нечто общее с грацией — это умение в любой изменяющейся обстановке почти автоматически, как бы помимо расчета, находить наиболее точные и экономные решения. Грация есть интуиция тела, интуиция — инстинктивная грация ума. Основа их врожденная, но оттачивается и то, и другое мастерством. Четыре часа шел смертельный бой, похожий на игру в жмурки, преследователи не видели лодку, но и лодка не видела своих преследователей. Нужно было вдохновенное спокойствие, чтобы под грохот рвущихся то справа, то слева бомб, когда от мощных гидравлических ударов по корпусу гаснет свет, а в спертom воздухе отсеков еще не рассеялся чад недавней погони, безошибочно уклоняться от акустических щупальцев, а затем, чутко уловив момент, когда у преследователей иссяк запас глубинных бомб, дать полный ход и вырваться из опасного района.

В истории атаки на «Густлова» есть одна малозаметная, но немаловажная подробность. «С-13» стреляла по лайнеру не тремя, а четырьмя торпедами. Четвертая не вышла из торпедного аппарата, вернее сказать — вышла наполовину, не давая возможности захлопнуть крышку, закрывающую аппарат. В таком виде она представляла грозную опасность: достаточно торпеде сдетонировать от взрыва глубинной бомбы, и гибель неизбежна. Командир это знал. Но он знал также, что торпедисты в первом отсеке делают все, чтобы втянуть торпеду на место, был уверен в них и мог не отвлекаться от главного. Главным в тот момент был маневр.

На этом поход, как известно, не кончился, но я нарочно выделил «атаку века» в отдельную главу не столько даже потому, что атака на «Густлова» — наиболее известный подвиг «С-13», сколько потому, что проведенная Маринеско в том же походе блестящая атака на вспомогательный крейсер заслуживает особого разговора. Грохот торпедного залпа по «Густлову» настолько заглушил всякую информацию об атаке на «Штойбена», что в музейной экспозиции она даже не упоминается. И напрасно. Когда тонул «Штойбен»,

грохот был посильнее, рвались не только торпеды, но и боезапас на крейсере. Напомню также, что «Штойбен» был не только охраняемым, но и настоящим военным кораблем. В последние месяцы войны советское командование ставило перед подводными лодками отчетливую задачу — в первую очередь наносить удары по боевым кораблям, а также по кораблям, перевозящим войска. «Штойбен» был и тем, и другим. Наконец — и это, может быть, важнее всего — атака на «Штойбена», по мнению специалистов, была проведена с не меньшей отвагой и искусством, чем удар по «Густлову».

Человеческое внимание привычно поражает все «самое». Самое высокое, самое быстрое, самое сильное. Отсюда наше пристрастие к рекордам и рекордсменам. Восхищаясь человеком, пробежавшим стометровку в рекордные секунды, мы уже не помним имени того, кто прибежал на несколько сотых секунды позже и оказался пятым, хотя разница между ними почти неощутима и доступна лишь современным секундомерам. Нечто подобное проявилось в мировом резонансе на потопление «Густлова». «Густлов» был «самый». Самый большой, самый современный, самый непотопляемый... При этом далеко не всегда помнится, что во время войны он был самой большой плавучей базой школы подводного плавания, готовившей тысячи подводников для новых лодок. Перед этими лодками Гитлер ставил конкретную задачу, — удушить Англию. Не всегда вспоминают об этом даже англичане. Но я пишу не о гибели «Густлова», а о подвиге Маринеско.

О чем думал и что чувствовал командир «С-13», когда главные трудности и опасности были уже позади? Знал ли он, какой корабль он отправил на дно, и предвидел ли резонанс, который вызовет во всем мире торпедный залп «С-13»?

Нет, не знал и не предвидел. Выходя в атаку, подводники редко имеют исчерпывающее представление о цели. Уточнение данных происходит позже, во многих случаях когда война уже кончилась. Конечно, Маринеско понимал, что напал на крупного зверя («Тысяч на двадцать», — сказал он штурману перед атакой), и чувствовал удовлетворение, подобное тому, какое должен чувствовать полководец, выигравший сражение.

Кого-то может смутить сравнение командира лодки с полководцем и само слово «сражение». Меня оно

не смущает. Я знаю: полки водят генералы, а флоты — адмиралы, но когда скромный капитан третьего ранга самостоятельно, не рассчитывая на чью-либо помощь, вступает в бой с целым соединением, так ли уж важно, что у него в подчинении меньше полусотни бойцов? Важен тактический расчет, заставивший крейсировать ближе к выходу из Данцигской бухты, важно умение оценивать обстановку, определившее все дальнейшие решения. Атака подводной лодки — это настоящее морское сражение, и нас не должно сбивать с толку непривычное различие в средствах нападения и обороны, какими в этой битве располагают противники. Мне с детства памятно описание традиционной гладиаторской схватки. Вооруженный мечом и щитом секутор против ретиария с трезубцем и легкой сетью. Побеждал во всех случаях более искусный. Ассоциация отдаленная, но что-то она объясняет. Впрочем, на равенстве шансов сходство кончается и сразу же выступает различие. В бою гладиаторами владела слепая ярость, но для ненависти к противнику у них не было причин. Участникам «атаки века» придавала силу накопившаяся и искавшая выхода ненависть к палачам и поработителям, у каждого из них был своей личный счет к врагу. Так что в удовлетворении выигранным боем была и радость мщения.

Когда я впервые познакомился с участниками «атаки века», они были уже зрелыми людьми, занятыми мирным трудом, отцами взрослых детей. А ведь они были очень молоды тогда. Командиру едва перевалило за тридцать. Матросам по двадцати, старшинам чуть побольше. За плечами у всех опыт войны и блокады, груз тяжелых испытаний и потерь, пережито столько, что хватило бы на целую долгую жизнь, но, по существу, они только начинали жить, жили, не зная, сколько на их век отпущено дней, жили, как жила в то время вся молодежь, задачами дня, откладывая на будущее многие мечты и помыслы, но чересчур далеко не загадывая, используя редкие минуты передышки, чтоб дать выход нарастившей потребности размяться, пошутить, подначить товарища... Встречаясь с немолодыми, почтенного вида людьми, одетыми в добротные пиджачные пары с внушительным набором муаровых ленточек на груди, я всегда ловил себя на желании угадать, какими они были четверть века назад.

Бывший гидроакустик корабля Иван Малафеевич

Шнапцев и бывший сигнальщик Анатолий Яковлевич Виноградов — москвичи, и я познакомился с ними задолго до исторической встречи ветеранов «С-13». Оба мастера высокой квалификации. Шнапцев — специалист по приборам, Виноградов — по станкам. Иван Малафеевич сухощавый, узколицый, носит очки, отчего взгляд кажется строгим, похож на профессора. Анатолий Яковлевич — плотный, улыбчивый, выглядит моложе Шнапцева, но тоже человек солидный, как и подобает мастеру. И тот, и другой побывали у меня дома, и мы хорошо поговорили. Единственное, что мне мешало: я никак не мог их себе представить такими, какими они были в годы войны, фотокарточек военного времени они мне не показывали, да это бы и не помогло. Но был один день, вернее — вечер, когда я неожиданно для себя перенесся растревоженным воображением в давно прошедшие времена и на несколько мгновений увидел своих почтенных собеседников разом помолодевшими — быстрыми, смешливыми, заряженными веселой энергией. Это было 10 мая 1978 года на прощальном ужине ветеранов «С-13». На следующий день все приглашенные разъехались по домам.

Пользуюсь случаем сказать: эта незабываемая встреча боевых друзей состоялась благодаря инициативе и незаурядной энергии, проявленной Яковом Спиридоновичем Коваленко. Он же выбрал для заключительного банкета плавучий ресторанчик, стоявший на приколе на Петроградской стороне. Но даже Якову Спиридоновичу с его энергией и талантом убедить не удалось получить для подводников единственный банкетный зал. Вместо банкетного стола вдоль общего зала было поставлено (именно поставлено, а не составлено) пять обыкновенных ресторанных столиков на пять-шесть кувертов каждый. Столики стояли цугом, точно вдоль килевой линии, и, вместе взятые, отдаленно напоминали пять отсеков подводной лодки. Сходство еще усиливалось тем, что средний столик все сразу же восприняли как центральный пост, там заняли свои места старпом и инженер-механик, оттуда прозвучала первая команда: почтить память покойного командира.

Я в числе немногих гостей экипажа находился в кормовом отсеке, носовым считался ближайший к эстраде и танцплощадке, где уже громыхал джаз и отплясывали шейк какие-то трудно различимые издали люди. Магнитофон я с собой не захватил и не ошибся: здесь

он бы только мешал. Жалел я только, что не слышу, о чем говорят и почему смеются в центральном посту и носовых отсеках.

До поры до времени все шло заведенным порядком, а затем произошел чуть не испортивший весь праздник огорчительный инцидент. Поднялся сидевший за третьим столом Я. С. Коваленко и начал читать свои написанные специально для этой встречи, на сторонний взгляд, может быть, и недостаточно профессиональные, но проникнутые искренним чувством стихи. Не успел он дочитать до половины, как из ресторанных кулис возникла пышная блондинка с ярко-зеленой лентой в распущенных волосах и, прервав чтение посередине строфы, стала сердито выговаривать стихотворцу и его восторженным слушателям за неприличное поведение. Аргументация была примерно такова: здесь вам не митинг, а ресторан, люди пришли культурно отдохнуть, и потом учтите (голос понижается до шепота) — в зале иностранные гости, англичане...

Англичан я заметил давно. За одним из соседних столиков сидели две молодые пары. Вероятно, они даже не подозревали, что о них идет речь, они жили своей жизнью, чокались друг с другом, смеялись, а когда вступал оркестр, поднимались и шли на танцплощадку.

Никакие возражения не помогли. Отважные подводники отступили перед хозяйским апломбом блондинки с зеленой лентой. Настроение было испорчено. И впрямь после трех дней непрерывного триумфа, после церемониального марша в училище и митинга на площади Мартынова получить такой афронт во второразрядном ресторанном заведении было особенно обидно. А меня больше всего задела последняя сказанная с придыханием фразочка — насчет англичан. Вероятно, потому, что пришли на память слова бывшего флагмеха нашей бригады Е. А. Веселовского, сказанные мне в случайном разговоре на пути в Кронштадт: «Англичане должны были бы поставить Маринеско памятник. Хороши бы они были, если б семьдесят новеньких подводных лодок Гитлер бросил на блокаду Британских островов».

И вот теперь из-за этих ни в чем, впрочем, не повинных молодых англичан унизили соотечественников...

И все-таки есть правда на земле. Каким-то таинственным путем об инциденте стало известно всему ресторану, а главное, до всех дошло, что за пятью сто-

ликами в середине зала празднует свою встречу экипаж героического корабля. На нарушителей спокойствия стали поглядывать с явным сочувствием, и я сам видел, как некто в штатском костюме, но с какими-то впечатляющими знаками отличия, отозвав пышную блондинку в сторону, что-то негромко, но очень внушительно ей втолковывал. После чего произошли события неожиданные. Блондинка исчезла и через несколько минут появилась вновь. В руках она несла никелированную стойку с микрофоном, за микрофоном волочился длинный шнур.

Теперь Якова Спиридоновича слушал весь зал. Ему аплодировали. Хлопали даже англичане, хотя вряд ли что-нибудь поняли. Я смотрел на его разгоревшееся лицо и впервые за наше уже достаточно долгое знакомство видел его таким, каким он был в то давнее время. А ведь он был очень молод тогда, пришедший из морской пехоты после ранения юный лейтенант, новичок, в котором Маринеско угадал достойного преемника опытнейшему инженеру-механику лодки Дубровскому.

А затем к микрофону подошел Виноградов, и я, опять-таки впервые, увидел в нем не Анатолия Яковлевича, а Толика, проворного как белка, разбитного матросика, любимца команды, шутника и заводилу. Под общий хохот он вспоминал что-то из лодочного фольклора, стишки, частушки и розыгрыши военных лет. После Виноградова выступал еще кто-то, потом вернулись отдохавшие музыканты, грянул оркестр, на танцплощадке началось очередное радение, и к нашему столу разлетелся совершенно неузнаваемый, сбросивший свою профессорскую осанку Иван Малафеевич. Извинившись, что похищает мою даму, он склонился перед Леонорой Александровной Маринеско, и когда она, улыбаясь, встала из-за стола, наклонился к моему уху и восторженно хихикнул: «Обожаю танцевать!»

В этот вечер помолодели все. От дорогих сердцу воспоминаний, от вновь вспыхнувшего чувства заложенной еще в молодые годы неразрывной связи. И среди этих помолодевших людей незримо витал дух молодого командира. Я подумал, что, если б за нашими столами сидели английские моряки, они обставили бы все торжественнее, — например, поставили бы для отсутствующего командира прибор и оставили пустой стул — я слышал, так делают, — но это было бы не в духе

Маринеско, он не любил сидеть на месте, а предпочитал заглядывать во все отсеки корабля. Так было и в этот вечер, он присутствовал как бы за каждым столом. О нем говорили как о живом, с улыбкой вспоминали его шутки, любимые словечки, даже его суровые разносы...

Так о чем же думали эти люди в январе сорок пятого, когда, оторвавшись от преследования, легли на грунт, чтобы немного отдохнуть и навести порядок в своем хозяйстве? Только об одном. О Победе. О том, что война еще не кончилась и Победу надо добыть, завоевать. И, следовательно, надо действовать. Истрачено всего три торпеды, повреждения невелики, и лодка еще целый месяц может крейсировать на коммуникациях противника.

Маринеско готовил лодку к новым атакам.

VIII. И снова бой...

Известие о гибели «Вильгельма Густлова» распространилось по всему миру с быстротой звуковой волны. Балтийские подводники, ремонтировавшие свои корабли на финских верфях, узнали о подвиге «С-13» еще до возвращения лодки на базу. Вышедшая из войны Финляндия сохранила привычные контакты со своей соседкой — нейтральной Швецией, и шведские газеты первыми откликнулись на событие. Поэтому кажется маловероятным, что такое важное сообщение могло остаться незамеченным даже на фоне блистательных побед советских войск, перешедших к тому времени в решительное наступление на всех фронтах.

Повторяю, меньше всех знали сами участники «атаки века». Они не знали, что потопленный ими лайнер зовется «Вильгельм Густлов», не знали даже, что такой существовал. Знали одно: одержана крупная победа. Их ликование умерялось только смертельной усталостью после чудовищного напряжения погони, атаки, бомбежки. Однако успокаиваться было рано. Нужно было срочно произвести мелкий ремонт, сделать приборку, перезарядить торпедные аппараты, а главное, как любил говорить Александр Иванович, «не размагничиваться». Поэтому, приказав выдать всем по сто граммов и поздравив экипаж с успехом, он сразу же

предупредил: готовьтесь к новым атакам. В этом духе провели беседы по отсекам замполит Б. Н. Крылов и секретарь партийной организации В. И. Пospelов, а командиры боевых частей получили указания, не оставляющие сомнения в том, что командир корабля настроен воинственно.

«У меня было чувство огромного подъема, — вспоминал потом Александр Иванович. — Был такой прилив сил, что любая задача казалась по плечу и достигнутое уже не удовлетворяло...»

Когда война близится к концу, в душу самых отважных, много раз доказавших свою доблесть бойцов, бывает, закрадывается мысль: не лезть на рожон, не искушать судьбу, во что бы то ни стало дожить до Победы. Александр Иванович признавался мне, что в апреле — мае 1945 года в его душу такие мыслишки заползали. Думал он даже не столько о себе, сколько о команде. И все-таки он эти мысли гнал и рвался атаковать. Но в январе близость Победы только разжигала боевой азарт, и к новым атакам Маринеско стремился не для того, чтоб заслужить прощение, — у него были все основания считать, что вину свою он уже «искупил кровью». Это чье-то бестактное напутствие ему особенно запомнилось, оно и сердило его, и смешило. Он искал новых встреч с противником не ради искупления и даже не ради славы, а, как сказал близкий его сердцу поэт, «ради жизни на земле».

Поэтому, поразмыслив и посоветовавшись с ближайшими помощниками, Александр Иванович решил покинуть район Данцигской бухты и уйти севернее, ближе к середине отведенного ему квадрата. Обстановка на сухопутном фронте изменялась с каждым днем, и при всей скудости поступавшей на лодку информации верное понимание обстановки подсказывало командиру, что теперь встречи с крупными кораблями противника следует искать именно там.

По сравнению с недавно пережитым переход на новое место был для команды кратковременным отдыхом. Весьма, впрочем, относительным. На переходе нужно было зорко наблюдать за воздухом и горизонтом, подзаряжать аккумуляторные батареи — на подводной лодке работа находится всегда. Погода несколько улучшилась. Самолеты лодку не преследовали, но 6 февраля ее обстреляла из автоматической пушки находившаяся в дозоре немецкая подводная лодка, по всей

вероятности — «малютка». Маринеско от схватки уклонился, он искал противника покрупнее.

На этот раз отыскать крупную цель ему помогла балтийская авиация. Бывший однокашник Маринеско еще по дивизиону «малюток» П. А. Сидоренко был в то время прикомандирован к штабу балтийских ВВС и передал на «С-13» координаты обнаруженного воздушной разведкой движущегося корабля. Координаты, конечно, приблизительные: корабль в любую минуту может изменить и скорость, и курс, а подводная лодка выходит на связь лишь в строго определенное время. Тем не менее сведения представляли ценность. Установлено было, что крейсер типа «Эмден» в окружении шести эсминцев движется курсом 250° в сторону Германии. Это мог быть корабль, брошенный фашистским командованием на поддержку войск курляндской группировки или, еще вероятнее, для эвакуации и переброски этих войск на защиту жизненно важных центров в самой Германии. Александр Иванович приказал штурману рассчитать три варианта, учитывая возможности изменения курса цели и ошибок в определении этого курса воздушной разведкой. Все это осложняло задачу.

В 22 часа 15 минут 9 февраля цель была наконец обнаружена. Акустик доложил: слышен шум винтов большого корабля. Пошли на сближение, и вскоре сигнальщики увидели крейсер в сопровождении трех эсминцев; установить, сколько их было на самом деле, не позволяла плохая видимость.

«Когда цель стала доступна наблюдению,— говорит Н. Я. Редкобородов (я снова прижимаю к уху «микро-рекордер» и слышу его четкую, слегка скандирующую речь, такой же четкостью отличается его почерк, в этом есть что-то профессиональное, штурманское: четкость и точность — родные сестры),— нам сразу стало ясно, что оптимальнейший из задуманных вариантов — пересечь курс цели в 30 кабельтовых по носу — неосуществим. Цель была обнаружена в 20 кабельтовых, для выхода в атаку носовыми аппаратами времени не оставалось. Немедленно командир принял другое решение — пересечь курс цели за кормой. Это решение меняло весь план атаки, но имело и свои преимущества; в частности, оно давало возможность точнее определить курс цели. Александр Иванович скомандовал «лево на борт!», и с этого момента началась погоня, в чем-то

схожая с недавней погоней за лайнером. Опять полный ход в крейсерском положении, опять форсируем двигатели, чтобы выжать из них девятнадцать узлов. Только видимость лучше, чем в ту снежную ночь, и приходится помнить, что на близком расстоянии от цели движется сильное охранение. Как было потом установлено, шли новейшие эсминцы типа «Карл Галстер», снабженные всеми современными средствами наблюдения и обнаружения. Охранение очень затрудняло выбор способа атаки и расстояния, с какого следовало стрелять. Вы, конечно, знаете: подводные лодки стреляют торпедами с дистанции от четырех до восемнадцати кабельтовых. Подойти ближе — можно пострадать от взрыва самим, стрелять издалека — больше шансов промахнуться. Маринеско решил стрелять кормовыми. В этом тоже был известный риск: носовых аппаратов четыре, кормовых — два. Четыре больше двух; если по арифметике, то вдвое, в бою же таблица умножения подвергается существенным коррективам в зависимости от конкретной обстановки. Бесспорно, выпустить четыре торпеды вместо двух заманчиво — резко повышается вероятность попадания. Если же из двух торпед в цель попадет только одна — этого может оказаться недостаточно, чтобы потопить такой крупный корабль. И все-таки Маринеско решил стрелять кормовыми. На расстоянии четырех — шести кабельтовых от цели шел сильный конвой, и невероятно, чтобы он не сделал выводов из ошибок конвоя, сопровождавшего «Густлова». Конвой очень мешал лодке, невозможно было, оставаясь незамеченными, повернуть на боевой курс для стрельбы четыремя. Решаясь на двухторпедный залп, Маринеско рассчитывал на то, что стрельба будет снайперской. Было у атаки кормовыми аппаратами еще одно преимущество — она позволяла быстрее уйти в открытое море и, таким образом, оторваться от преследования. Повторить принесшие успех при атаке на «Густлове» хитроумные маневры было невозможно. К тому же командир отлично понимал: даже за несколько дней, прошедших после атаки на лайнер, немцы сделали свои выводы. Оперативный режим стал заметно жестче, усилена поисковая ударная авиация, в море высланы дозоры. Поэтому мы больше не ходили прямыми курсами, и командир даже в свежую погоду вел лодку противолодочным зигзагом».

Слушая Николая Яковлевича, отмечаю одну общую

для всех участников похода черту. О личной храбрости командира они не говорят. Она — вне обсуждения. Если же они хвалят его за смелость — то за смелость решений.

Храбрость бывает разная. Когда в дни моей молодости о ком-то говорили как о человеке безрассудно храбром, я воспринимал это как высшую похвалу. И лишь позже, в годы войны, стал понимать, что трезвый расчет не противоречит храбрости. Безрассудство предполагает забвение опасности, но не большее ли мужество проявляет командир-подводник, ни на минуту о ней не забывающий, но умеющий противопоставить ей свое хладнокровие и высокий профессионализм? Настоящие герои часто принимают опасные решения, но не потому, что они опасные, а потому, что они оптимальные. Все как в шахматах: тот, кто хочет выиграть у сильного партнера, должен рисковать. Чем крупнее цель, тем сильнее охранение. Беседуя с моряками, вернувшимися из боевого похода, я почти никогда не слышал, чтоб кто-нибудь объяснял свой успех храбростью. Всегда целесообразностью. Здесь нет противоречия, война показала: в большинстве случаев смелые решения оказываются и наиболее целесообразными.

«Залп, произведенный из кормовых аппаратов в 02 часа 50 минут, был исключительно метким. Попали в цель обе торпеды, взрыв был такой силы, что крейсер затонул в течение считанных минут. С мостика «С-13» были видны два высоких султана, а затем один за другим раздались еще три мощных взрыва, — вероятно, детонировал боезапас. На этот раз Маринеско предпочел не маневрировать в подводном положении, а, пользуясь замешательством в стане противника, резко оторваться от района атаки. Вместо срочного погружения он скомандовал «полный вперед!» и на полном крейсерском ходу под дизелями ушел в открытое море».

Маринеско еще не знал ни названия, ни класса потопленного им судна, но не сомневался, что это был крупный военный корабль. Таким образом, «С-13» точно выполнила боевой приказ: искать и уничтожать в первую очередь боевые корабли, и также корабли, перевозящие войска. Как стало впоследствии известно, на борту вспомогательного крейсера «Генерал Штойбен» водоизмещением 14 660 тонн находилось около четырех тысяч отборных фашистских войск.

У «С-13» еще оставались торпеды, но автономность лодки была полностью исчерпана и пришло время возвращаться на базу. У командира было легко на душе, он имел все основания рассчитывать на сердечную и даже торжественную встречу. Успех его окрылил, и он всячески давал понять экипажу, что этот поход не последний, до конца войны лодка успеет еще раз выйти в море.

Встретили вернувшихся с победой и впрямь хорошо. Рандеву обошлось без недоразумений. Командир дивизиона А. Е. Орел вышел на ледоколе встречать «С-13» и, сойдя на лед, крепко обнял Маринеско. Торжества были скромные, в чужом порту особенно не разгуляешься, но был и банкет с традиционными жареными поросятами, и дружеские объятия, и многозначительные намеки на предстоящие высокие награды. Подразумевалось, что все прошлые провинности Александра Ивановича забыты и в новый поход он пойдет приумножать славу «С-13», к тому времени уже единственной «эски» на Балтике.

За январский поход Александр Иванович был награжден орденом Красного Знамени. Орден прекрасный, но вспомним, что первый поход Маринеско на «М-96», несравнимый по результатам с январским походом «С-13», был оценен выше. Соответственно, снижены были награды другим участникам похода.

После войны я имел возможность поделиться своим недоумением почти со всеми прямыми начальниками Александра Ивановича, людьми заслуженными и авторитетными. Исчерпывающего ответа я не получил. Никто из них не ссылался на недостаточную осведомленность, не оспаривал заслуг героя. Говорилось о нетерпимых, порочащих честь советского офицера проступках капитана 3-го ранга Маринеско. Об этих поступках я знал, и мне нечего было возразить.

А ясность все не приходила.

В своей прекрасной статье «Атакует «С-13», опубликованной в 1968 году в журнале «Нева», бывший министр Военно-Морского Флота, Герой Советского Союза Н. Г. Кузнецов писал: «История знает немало случаев, когда геройские подвиги, совершенные на поле боя, долгое время остаются в тени и только потомки оценивают их по заслугам».

Мысль безусловно справедливая и имеющая прямое отношение к подвигу Маринеско.

«Бывает и так,— сказано в статье, что в годы войны крупным по масштабам событиям не придается должного значения, донесения о них подвергались сомнению и приводят людей в удивление и восхищение значительно позже».

И это совершенно верно. Смущает меня только одно: насколько я могу судить, донесения Маринеско о январском походе 1945 года сомнению не подвергались. О торпедных залпах «С-13» командование знало раньше, чем Маринеско и Крылов вернулись на базу и засели писать отчеты. «Вильгельм Густлов» — не иголка, о его судьбе тогда же стало известно из газет и радио. Даже у Гитлера не было сомнений. Он не только приказал расстрелять начальника конвоя, но и объявил Маринеско врагом рейха и своим личным врагом — аттестация, которой можно только гордиться.

В свое время, приступая к работе над книгой, И. С. Исаков завел для материалов о Маринеско специальную папку. Только из статьи Н. Г. Кузнецова я узнал, что незадолго до своей смерти он передал ее Николаю Герасимовичу и посоветовал «при случае вернуться к недостаточно освещенному крупному событию на морском театре войны и написать о необычайной судьбе героя, совершившего замечательный подвиг». То, что Иван Степанович передал папку не мне, своему соавтору, а одному из выдающихся флотоводцев Отечественной войны, было решением совершенно правильным. Николай Герасимович выполнил завет своего друга и соратника, его статья, на мой взгляд,— акт высокого гражданского мужества. Не надо искать в ней зеркального совпадения с оценками Исакова, ценно в ней основное — искреннее желание исправить историческую ошибку и готовность пересмотреть сложившиеся представления о личности героя.

Я не хочу приуменьшать немалые провинности Маринеско, как не отрицал их никогда и сам Александр Иванович. Настораживает меня вот что: самые тяжелые проступки Александра Ивановича, за которые он, бесспорно, заслуживал сурового наказания, были совершены после награждения и даже еще позже — по возвращении из последнего похода. Будь это не так, его бы не выпустили в море. Остается предположить, что на сниженную оценку подвига Маринеско повлияла его прежняя, не забытая и не прощенная вина — новогод-

ний загул в Турку. Так, во всяком случае, воспринял это Александр Иванович.

Не здесь ли надо искать истоки многих ошибок? Ошибок, так сказать, обоюдных, из коих одна тянула за собой другую. Не произошло ли тут своеобразного «вычитания»? Из подвига «вычли» провинность.

Никто не будет отрицать права административных и партийных органов учитывать при представлении к наградам не только профессиональные заслуги, но и бытовое поведение. В повседневной жизни так обычно и поступают: заслуги минус проступок. Все это в порядке вещей. Но стоит изменить масштабы — и подобная арифметика сразу обнаруживает свои слабые стороны. Из настоящего подвига ничего вычестъ нельзя. Он остается в памяти народной целиком.

Масштаб подвига «С-13» с годами становится все нагляднее. В названной уже статье Н. Г. Кузнецова мы читаем:

«Я помню, как на первом же заседании в Ливадийском дворце в Ялте Черчилль спросил Сталина, когда советские войска захватят Данциг, где сосредоточено большое количество строящихся и готовых немецких подводных лодок. (...) Данциг был одним из основных гнезд фашистских подводных пиратов. Здесь же находилась и Германская высшая школа подводного плавания, плавучей казармой для которой служил лайнер «Вильгельм Густлов».

Далее в статье говорится: «Половину пассажиров лайнера составляли высококвалифицированные специалисты — цвет фашистского подводного флота». Таков масштаб. Понятен интерес Черчилля. Если б Черчилль поинтересовался также, кто потопил «Густлов», спасая тем самым Великобританию от морской блокады, то среди советских моряков, награжденных высшими британскими орденами, мог быть и Александр Маринеско.

Легче всего предположить, что Александр Иванович обиделся за недооценку своих заслуг, а обидевшись, пустился во все тяжкие, стал выпивать, грубить и нарушать дисциплину. Понимать его так — значит очень упрощать этот сложный характер. Конечно, он был обижен, но не за то, что «мало дали», а за то, что припомнили старое. «И команде скостили, а она-то при чем?» — говорил он мне. Вины он с себя никогда не снимал, хотя и считал, что январский поход — доста-

точное искупление всех его прошлых провинностей. Он знал случаи, когда высшие награды получали настоящие штрафники, осужденные за тяжкие преступления, и недоумевал. Концы с концами не сходились, и ответа на свои недоуменные вопросы он ни у кого получить не смог.

Что же случилось с подводным асом, с подводником № 1 (этих званий у него никто отнять не может)? Попробую во всем этом разобраться, опираясь на признания самого Александра Ивановича и на свидетельства людей, его близко знавших. И начну, нарушая хронологию, с последнего похода «С-13».

«С-13» вышла в море 20 апреля, раньше никак нельзя было, потрепанные во время последнего похода механизмы требовали ремонта. На этот раз ремонт производился не своими силами, а на прекрасно оборудованных финских заводах «Валтион Лайва Теллака» и «Крейтон Вулкан», занял он около трех месяцев. Нельзя сказать, что все эти месяцы команда бездельничала, но свободного времени стало заметно больше. Александр Иванович, всегда следивший за тем, чтобы команда не болталась без дела, был лишен возможности проводить тренировки с прежним размахом и сам впервые за много лет был обречен на непривычную для себя праздность. А где праздность, там и скука. Он не работал и не отдыхал — для активных натур, подобных Маринеско, это состояние опасное. Появились деньги — и немалые, на эти деньги куплена автомашина, через несколько дней игрушка ему уже приелась, ездить было некуда и не к кому. За время подготовки к апрельскому походу Александр Иванович еще не давал серьезных поводов для недовольства. То, что в апрельском походе участвовал начальник подводных сил Балтфлота контр-адмирал А. М. Стеценко, вряд ли можно рассматривать как форму контроля, «обеспечивать» Маринеско не нужно было. Но сам Александр Иванович воспринял появление на лодке старшего начальника болезненно. Теперь ему всюду чудилось недоверие.

Выход в море совпал с награждением корабля орденом Красного Знамени, и экипаж был настроен побоевому. Мечтали в новом походе завоевать гвардейское звание. Но поход не оправдал надежд. Нельзя сказать, что надежд не оправдали подводники, поход этот не увеличил боевой счет «С-13», но принес свою пользу, даже после 9 мая лодка оставалась на позиции,

выполняя ту самую незаметную, но необходимую работу, какой в преддверии войны занимался Маринеско на «малютке». А по своей напряженности этот поход не уступал предыдущим. Лодка ни разу не вышла в торпедную атаку, но по количеству атак, которым подвергалась она сама, можно понять, что пришлось испытать экипажу. За десять дней, с 25 апреля по 5 мая, подводная лодка «С-13» уклонилась в общем и целом от четырнадцати выпущенных по ней торпед. Трудно предположить, что под конец войны немецкие подводники разучились стрелять: четырнадцатью торпедами можно потопить целую эскадру, и если ни одна из них не попала в «С-13», то этого никак не объяснить везением. Гораздо правдоподобнее самое простое объяснение — сказалась бдительность и отличная выучка экипажа.

Почему в этом последнем походе «С-13» ни разу не вышла в атаку? Об этом пусть судят специалисты. Сам Александр Иванович от ответа на этот вопрос уклонялся. Нетрудно понять, почему. Как сложились отношения между ним и ныне покойным контр-адмиралом, мы не знаем и никогда не узнаем, все споры, а они несомненно были, происходили с глазу на глаз в командирском отсеке, при задраенных переборках, и до экипажа доносились только слабые отзвуки. Пересказывать эти споры, даже в доверительной беседе, Александр Иванович считал некорректным. В случае настоящего конфликта у него было предусмотренное уставом право — записать в корабельный журнал, что он снимает с себя командование. С этого момента экипаж выполнял бы только указания старшего начальника. Такой записи сделано не было, а кивать на других, вышестоящих или нижестоящих, было не в правилах Маринеско, он привык всю ответственность брать на себя. У команды, а она, как известно, все видит и все примечает, осталось в памяти, что командир в первой половине похода был хмуроват и реже, чем обычно, появлялся в отсеках, это отражалось и на настроении команды, а затем все утонуло в объединившей всех, от адмирала до матроса, радости Победы, долгожданной Победы с большой буквы. Отпраздновали это великое событие, лежа на грунте, но с соблюдением всех правил и предосторожностей, обязательных в боевом походе; о том, чтобы покидать боевые посты и свободно передвигаться по лодке, не могло быть и речи, поздрав-

лять командира и друг друга ходили из отсека в отсек по очереди. Команде было выдано по сто граммов, но и без того настроение у всех было превосходное. Маринеско еще раз ощутил, как любит его и гордится им вся команда, но в такой день хочется большего. Хотелось замешаться в самую гущу победившего народа, все равно где, в Москве или, еще лучше, в Берлине, увидеть ее, эту долгожданную Победу, воочию, но Маринеско уже понимал, что возвращение лодки на базу будет не таким праздничным, как в феврале.

Впрочем, и самое возвращение затянулось. Несмотря на повсеместное прекращение военных действий, командование сочло нецелесообразным досрочно отзывать подводные лодки с занимаемых позиций, и Александр Иванович закончил войну так, как ее начал, — в дозоре.

После всплеска радости, вызванного донесшейся до морских глубин вестью о Победе, слишком рано наступили будни. Страна еще ликовала; те моряки, которым посчастливилось дойти до крупнейших германских портов, а с переброшенными на Шпрее кораблями Днепропетровской флотилии — до самого Берлина, ощутили это победное ликование особенно ярко. На их глазах догорал рейхстаг, очищались от фашистской нечисти подземные бункеры, рушился «тысячелетний рейх», шли на восток колонны освобожденных пленников и узников концлагерей, закладывались еще неясные основы будущей Германии и новых отношений между европейскими народами. Увидеть это своими глазами Александру Ивановичу не пришлось, хотя по складу характера, по живости заложенного еще в раннем детстве интереса к жизни других народов ему это было необходимо. Страстно хотелось какого-то праздника, который вознаградил бы его и весь экипаж за годы лишений, позволил бы хоть на время освободиться от ставшего уже привычным физического и нервного напряжения. «Завидую вам», — сказал мне Александр Иванович, когда в одну из наших встреч я поделился с ним своими впечатлениями о Берлине мая сорок пятого года. Это он, столько сделавший для разгрома врага, мне — рядовому газетному корреспонденту.

Будничным по сравнению с предыдущим походом было и возвращение на базу. Отчет командира был принят сдержанно. Вероятно, к нему не было серьезных претензий, но такова уж судьба человека, недавно

имевшего громкий успех: от него ждут еще большего. Первая неудача рассматривается как неуспех, а предшествовавший ей успех всего лишь как удача. Какую оценку действиям командира дал контр-адмирал, я не знаю,— вероятно, неплохую,— достоверно известно мне только одно: награды за этот поход получили лишь двое из участников, самый старший и самый младший. Контр-адмирал был награжден орденом Нахимова, а юнга Золотарев — Нахимовской медалью.

О том, каким образом на лодке появился Миша Золотарев, стоит рассказать хотя бы потому, что в этой истории ярко отразились некоторые черты характера Маринеско. На подводных лодках юнги вообще по штату не положены. Приключения юного Миши могли бы послужить материалом для большого очерка, но моя задача в другом, поэтому ограничусь сокращенной записью беседы с приехавшим на встречу ветеранов «С-13» инженером из города Норильска Михаилом Геннадиевичем Золотаревым:

«Война застала нашу семью на старой польской границе. Отец ушел добровольцем на фронт, а мать со мной и трехлетним братом перебралась в Ленинград, где нас захватила блокада. В декабре мать слегла, и я стал главой семьи. Весной матери стало совсем плохо, и ее увезли в больницу. В день своего рождения (мне исполнилось одиннадцать лет) я пошел ее навестить, но в палате уже не нашел. Пустили в морг — ищи. Три часа искал и нашел. Вынесли меня оттуда без сознания. Брата взяли в детсад, а мне повезло, встретил на набережной моряка, он привел меня к себе домой, накормил и отвел в порт на торговое судно. Но я всей душой стремился на военный корабль и добился своего: меня взяли юнгой на катер-охотник. На катере я делал самую грязную работу, а в свободное время учился сигнальному делу. С катерниками дошел до Финляндии. В Ханко впервые увидел вблизи подводные лодки — и влюбился. Набрался храбрости и пошел к Маринеско, о нем уже тогда шла слава как о замечательном командире. На мне была доходящая мне до колен канадка, а башмаки сорок второго размера. Узнав о моем желании служить на подводной лодке, Александр Иванович посмеялся: «А ты что-нибудь умеешь? — «Сигнальщик умею». Это все решило. Командир отдал меня под начало к сигнальщику Виноградову. Он меня многому научил, но по характеру оказался слишком мягок, и я

разболтался. Командир это заметил и передал меня в подчинение радисту Сергею Николаевичу Булаевскому, тот был построже и, бывало, сажал меня на два часа в подводный галюн, вроде как в карцер.

В январском походе я не был, не взяли, а в последний поход я увязался тайком: спрятался в этот самый галюн и вылез оттуда, когда лодка была уже в море. Ну конечно, кое-кто из команды знал, без этого бы ничего не вышло. Александр Иванович сперва очень рассердился, а потом простил — за отчаянность. Он «отчаянных» любил. Адмирал тоже не возражал.

В походе Александр Иванович относился ко мне с трогательной заботой. Давал поглядеть в перископ, разрешал даже подняться на мостик. В боевом походе на мостике не должно быть лишних людей, но я брался тащить наверх бурдюк из-под дистиллированной воды, служивший нам в подводном положении «парашей». Весил этот бурдюк килограммов до тридцати, и Виноградов по доброте душевной мне иногда помогал.

Глядя на командира и дружный экипаж корабля, я не испытывал страха, хотя поход был тяжелый, много раз я слышал скрежет минрепа, скользившего по корпусу лодки, знал, что вражеские подлодки стреляли в нас торпедами. В моменты смертельной опасности все видели хладнокровие и железную выдержку Александра Ивановича, а в более спокойное время — его человечность и внимание к людям. Александр Иванович остался для меня примером на всю жизнь, и если я не свихнулся и, несмотря на многие препятствия, чего-то достиг, то этим я больше всего обязан Александру Ивановичу, научившему меня не отступать перед трудностями».

Таким на десятилетия запечатлелся в памяти четырнадцатилетнего юнги командир «С-13». А между тем оставалось меньше года до того дня, когда капитан 3-го ранга Маринеско будет снижен в звании до старшего лейтенанта и отстранен от командования кораблем. Что же произошло за этот победный год, как могло случиться, что человек, вызывавший любовь и восхищение у большинства людей, близко с ним соприкасавшихся, оказался вне флота? Однозначного ответа на это нет и быть не может. Все произошло в результате сплетения множества различных обстоятельств. В ряде случаев ошибки делались даже людьми доброжелательными и высокопорядочными. Самые очевидные и,

быть может, самые непоправимые совершил сам Александр Иванович. Но идет время, и чем дальше, тем большему числу людей становятся видны реальные масштабы событий, а отсюда и желание в них пристальнее разобраться.

Можно оспорить вызванные неполной или неточной информированностью отдельные частности в упомянутой уже статье Н. Г. Кузнецова. Никогда Маринеско не воспитывался в детском доме; неверно, что он «не сумел найти себя в гражданских условиях», его многолетняя успешная работа на заводе «Мезон» опровергает такой вывод. Но все это несущественно. Даже не располагая исчерпывающими данными, Н. Г. Кузнецов, сам человек героического склада и моряк до мозга костей, не мог не угадать в Маринеско крупную личность. А угадав, не мог не признать, что судьба Маринеско вполне могла сложиться иначе. «Он попал в заколдованный круг,— сказано в статье.— А мы, нужно признаться, не помогли ему из него выбраться, хотя Маринеско этого заслуживал».

Дорогого стоит это «мы». Не всякий на него способен.

Проследим, как начал стягиваться заколдованный круг. Вернее, не начал, а продолжал.

До последнего похода кризис в настроении Александра Ивановича только назревал. Временами он скучал и томился, но впереди был выход в море, и это заставляло подтягиваться. После возвращения настроение у него не улучшилось. В физике известно такое явление, когда одна световая волна, накладываясь на другую, гасит ее. Называется это, кажется, интерференцией. Поход не только не прибавил славы кораблю и его отважному командиру, но, вопреки логике, отбросил тень и на его недавние подвиги. От «С-13» как от команды-фаворита болельщики ждали новых побед, первая ничья насторожила. Всегда находятся недоброжелатели и завистники. Они зашевелились. Ревнителю строгих нравов вспомнили старые грехи. Вновь возник шепоток: Маринеско подвержен буржуазным влияниям. Доказательство: тянется к финнам, восторженно говорил о порядках на финских верфях... Заглядываю в свой дневник и нахожу запись разговора с Александром Ивановичем:

«Идет, понимаете, по лодке инженер, а за ним мастер с блокнотом. Инженер смотрит, щупает, бурчит что-то

по-своему, мастер пишет. Ладно, говорит инженер, завтра начнем. Как, говорю, а ведомость, а смета? Этого, говорит, нам не нужно. Вы же хотите, чтоб скоро делать? Эх, прямо зависть берет...»

Вполне понимаю, что Маринеско с его обостренным неприятием всякой бумажной волокиты, с его привычкой доверять и пользоваться доверием не мог не оценить спокойной деловитости финских корабелов. Никаким низкопоклонством тут и не пахло. Да и откуда ему было взяться? Команде «С-13» приходилось под огнем противника решать задачи потруднее — и тоже без всяких смет и ведомостей.

Установленные для стоявших в финском порту плавбаз суровые казарменные порядки вызывали у него раздражение, и он своей властью, под свою личную ответственность отпускал небольшие группы моряков на берег. Это называлось «ходить на размагничивание». После чудовищного перенапряжения всех сил, после скованности и тесноты подводника неудержимо тянет погулять, почувствовать какую ни на есть свободу. Маринеско это понимал, а команда ценила доверие и старалась не подводить командира.

Но сам командир доверия командования не оправдал. Одна за другой следуют самовольные отлучки, выпивки в сомнительной компании, конфликты с начальством. Вряд ли есть нужда их все перечислять. В составе парткомиссии, дважды обсуждавшей проступки Маринеско, были его близкие друзья, например В. Е. Корж, в их объективности не приходится сомневаться. После перехода дивизиона на новую стоянку поведение Маринеско становится еще более скандальным, в одном из приказов того времени о нем говорится как о зачинщике пьяной драки. «Заколдованный круг» стягивался все туже, и попытки разомкнуть его если и делались, то явно не имели успеха.

Какая муха укусила в то время одного из лучших командиров Балтийского флота и почему он так упрямо шел навстречу надвигающемуся краху? Об этом мы много и откровенно говорили с Александром Ивановичем во время его ночной исповеди в Кронштадте. Он был беспощаден к себе и отрицал только явные нелепости. Не отрицал он и того, что все началось с обиды. Не столько за себя, сколько за команду. Обиды за то, что после январского похода не подвели черту под его старыми грехами. Александр Иванович не лгал, когда

писал мне, что не считает себя героем, трудно предположить, чтоб он так уж болезненно переживал отсутствие у него высшей награды. Конечно, обида была, и прав Н. Г. Кузнецов, говоря, что никакая обида не оправдывает недостойного поведения. Маринеско и не пытался себя оправдывать. Но справедливо ли все сводить к одной обиде? Была еще огромная усталость от непрерывной ответственности и нервного перенапряжения, одиночество (семья к тому времени распалась), душевное неустройство, желание хоть на короткое время отвлечься, отвести душу, кутнуть хорошенько...

Написал слово «кутнуть» и перепугался. Когда писал об одном прекрасном советском актере — не боялся, а тут одолели сомнения. Применим ли глагол «кутить» к нашему офицеру? В великой русской литературе прошлого века он применялся не всегда в осуждение. Кутили многие наши любимые герои, в том числе и офицеры. Покучивали, когда заводились деньги, и сами великие писатели. Я все понимаю: другая эпоха, другой классовый состав героев; но так ли уж мы правы, позволяя нашим героям быть в бою Болконскими, Ростовыми, Долоховыми и в то же время требуя от них, чтобы в быту они все превращались в капитанов Тушиных? Не забываем ли мы, что когда привычных к действию людей начинает одолевать хандра, то их энергия, не находя законного выхода, обращается в дурную сторону?

Не я первый выражаю вслух такие еретические мысли. В сорок втором году прибыл к нам на Балтику начальник Главного Политуправления ВМФ армейский комиссар 2-го ранга Иван Васильевич Рогов. С этим могущественным человеком я за время своей службы встречался дважды и сохранил о нем добрую память. Во флотских кругах его называли Иваном Грозным — и не без оснований. Он был действительно крутенок, но в нем привлекала оригинальность мысли, шаблонов он не терпел. Летняя кампания была в то время в разгаре, у подводников были успехи. Разобравшись в обстановке, Рогов выступил на совещании работников Пубалта с поразившей всех речью. «Снимите с людей, ежечасно глядящих в глаза смерти, лишнюю опеку, — говорил он. — Дайте вернувшемуся из похода командиру встряхнуться, пусть он погуляет в свое удовольствие, он это заслужил. Не шпыняйте его, а лучше со-

здайте ему для этого условия...» Речь армейского комиссара была воспринята с интересом, но и с недоверием. И даже, воспринятая как директива, больших последствий не имела.

Маринеско скучал и хандрил. Больше всего его угнетало, что его старая вина не прощена и не забыта, и из упрямства отвечал на это новыми нарушениями дисциплины и нелепыми выходками. Тяга к алкоголю, объясняемая раньше простой распушенностью, принимала уже болезненный характер. Появились первые признаки эпилепсии. Пил и безобразничал уже больной человек. Только этим я объясняю, что Маринеско, всегда верный данному слову, дважды давал командованию и парткомиссии слово исправиться и дважды его не сдержал.

Переход на новую стоянку мог внести свежий ветер в накалявшуюся вокруг Маринеско атмосферу. Александр Иванович очень тосковал по родине. Правда, освобожденная Прибалтика не была для него такой знакомой и родной, как Ленинград или Одесса, но все-таки это была своя, советская земля. Но, как на грех, возвращение на родину началось с происшествия, по тем временам чрезвычайного. Эпизод этот, рассказанный мне бывшим электриком «С-13» В. И. Величко, — свидетельство того, что помимо его собственных срывов Александру Ивановичу еще и «везло» на конфликты.

«Лодка пришла из Турку то ли в субботу, то ли в воскресенье и сразу же было объявлено: никаких увольнений. Разочарование* было всеобщее — всем осточертела жизнь на чужой земле, хотелось походить по своей. Уступая настойчивым просьбам, командир отпустил на берег троих мотористов — это была дружная компания. Александр Иванович знал — ребята его не подведут. А через некоторое время, надев парадную форму со всеми орденами, отправился в город и сам. В городском парке к нему привязался помощник коменданта города, известный всем самодур и грубиян, впоследствии разжалованный за различные злоупотребления. Маринеско был абсолютно трезв, помкоманданта — «на взводе» и хамил. Спокойствие и независимая манера нашего командира привели того в бешенство, он пытался задержать Александра Ивановича и даже схватил его за руку. Случайно это увидела прогуливавшаяся в парке дружная тройца мотористов:

«Нашего командира обижают!» В результате все пятеро оказались в комендатуре. Командира отпустили немедленно, но матросов тут же отправили на гауптвахту. Десять суток строгого ареста. Командир оказался в сложном положении. С одной стороны, ребята его здорово подвели, с другой — оставить их в беде было не в его правилах. На другой день он написал объяснение начальнику гарнизона, и хотя матросы были бесспорно виноваты, поведение помкоменданта бросало тень на всю комендатуру, там это поняли, и строгости кончились: еду арестованным носили с плавбазы, а вскорости и вовсе выпустили. Однако если ребята рассчитывали вернуться на лодку героями, то жестоко обманулись. Командир устроил им суровый разнос. Для обожавших командира матросов это было похуже гауптвахты».

В этом эпизоде все достоверно, потому что очень похоже на Александра Ивановича. Не сомневаюсь, он был трезв, иначе ему бы не выйти из комендатуры. Из-за чего же возник конфликт в парке? Вероятно, избалованный властью помкоменданта решил, что Маринеско отвечал ему дерзко.

Несколько слов о дерзости. Дерзость — понятие не однозначное. Все атаки Маринеско были дерзкими, и в этом их неоспоримое достоинство. В быту, в обиходе представление о дерзости более размыто. Я что-то не припомню ни одного взыскания, сформулированного так: за дерзость. Тем не менее — дерзость карается.

По моим наблюдениям, дерзость Маринеско заключалась прежде всего в органически присущем ему чувстве человеческого равенства. Он ценил людей не по занимаемому ими положению, а по их достоинствам. Применительно к нижестоящим это качество называется демократизмом, в отношениях с вышестоящими нередко оборачивается дерзостью. Всякому начальнику лестно, а не слишком уверенному в себе тем более, чтоб его хоть немного боялись. В глазах Александра Ивановича, даже когда он признавал свою вину, нельзя было увидеть ни тени страха или подобострастия. Верный обычаям своего детства, своей вины он никогда не отрицал, скорее мог взять на себя чужую, и в его нежелании выкручиваться тоже чудилась какая-то дерзость. Не утверждаю, что Маринеско был всегда прав. Его нередко бесило, когда кто-то из сверстников, получив повышение, заметно менялся и заговаривал

начальственным тоном. Самому Маринеско это было чуждо, и он не умел понять, что в некоторых случаях сие, увы, неизбежно, и, ставши прямым начальником, вчерашний дружок уже не может, а в некоторых случаях даже не имеет права оставаться для Саши Маринеско прежним Васей или Петей.

Но все это, так сказать, в скобках. Далеко не все чепе оканчивались так благополучно. Маринеско уже не владел собой, в течение нескольких месяцев он ухитрился совершить больше серьезных проступков, чем за всю свою многолетнюю службу. Последняя его пьяная выходка исчерпала терпение начальства: Маринеско явился на базу после самовольной отлучки в какой-то случайной компании, спьяна нагрубил исполнявшему обязанности комдива офицеру и отказался извиниться, — в общем, закусил удила. Комбриг докладывает командующему флотом. Решение: снизить в звании до старшего лейтенанта и направить на должность помощника на другую лодку. Решение было даже не чересчур суровым, выносившие его военачальники ценили Маринеско, хотели сохранить его для подводного флота и, вероятно, искренне считали, что у них нет другого выхода. Но для Александра Ивановича перспектива расстаться с «С-13» и попасть под начало к какому-то другому командиру корабля была непереносима. Свои многочисленные вины он признавал, мучился оттого, что доверие к его словам и клятвам подорвано. Как признавался мне впоследствии Александр Иванович, он сам с трудом разбирался в своих чувствах; ему казалось, что он может не вынести своего нового, унижительного, на его тогдашний взгляд, положения, сорваться и окончательно погубить свою репутацию. Чувство вины мешалось с обидой, вина не позволяла считать себя только обиженным, обида мешала чувствовать себя только виноватым. Изменился не характер Маринеско, произошел какой-то надлом в его физическом и душевном состоянии.

«Наказание в данном случае не исправило человека, — писал в своей статье Н. Г. Кузнецов. — Оно сломало его. Спасательный круг не был подан вовремя».

В статье не сказано, встречался ли Николай Герасимович с Маринеско. Тем не менее такая встреча была. Рассказывал мне об этой встрече и он сам, и Нина Ильинична, знали о ней и офицеры на лодке.

Узнав о своем разжаловании, Маринеско заметался. Выяснил, что Н. Г. Кузнецов в Ленинграде, и загорелся: еду к наркому! Зачем? Протестовать? Каяться? Он и сам это толком не знал. За рулем своего «форда» Маринеско помчался в Ленинград и сумел добиться приема.

Николай Герасимович разговаривал с Маринеско долго и по-отечески. Маринеско он не знал, но что-то в его характере угадал. И нашел промежуточное решение — назначить его не помощником, а командиром, но не на лодку, а на тральщик. «Послужите год,— сказал ему Николай Герасимович,— проявите себя с самой лучшей стороны, и мы вернем вас на лодку». Решение было мудрым во многих отношениях: с одной стороны, оно не отменяло приказа, с другой — сохраняло Александру Ивановичу привычную для него самостоятельность, притом, что немаловажно, в другой среде, в отрыве от сложившихся и запутанных отношений, от безоговорочно сочувствующих и столь же безоговорочно осуждающих взглядов. Как знать, не были ли это спасательный круг? Но Александр Иванович уперся: демобилизуйте.

Это была несомненная ошибка Маринеско. В состоянии упрямого ожесточения ему легко было убедить себя: все решается очень просто — он возвращается туда, откуда пришел, на гражданский флот, и наконец-то добьется исполнения своей мечты — станет капитаном дальнего плавания.

Потребовались годы, чтобы понять свою ошибку. Многие близкие и доброжелательные люди видели ее уже тогда. Но последовал новый приказ — и подводник № 1 оказался вне флота, одинокий, с пошатнувшимся здоровьем и с весьма неясными перспективами. Надломленный, но далеко не сломанный.

Предстояло начинать жизнь заново.

IX. Вне флота

О том, как сложилась жизнь Александра Ивановича Маринеско вне флота, я знаю по его рассказам. Правдивость их никогда не вызывала у меня сомнений. Но, приступив к работе над книгой, я счел себя обязанным дополнить хранящуюся у меня запись наших бесед и дру-

гими свидетельствами. Нужен был, выражаясь флотским языком, второй пеленг.

В Ленинградском пароходстве Александра Ивановича на работу приняли, но поручать ему судно не спешили. Пришлось поплавать помощником капитана. Кроме любопытной встречи с немецким подводником в Щецине, ничего интересного об этих рейсах Маринеско не рассказывал.

Уже в конце семидесятых я попросил бывшего командира прославленной подводной лодки «Лембит» А. М. Матиясевича, занимавшего до последнего времени ответственный пост в пароходстве, связать меня с людьми, когда-либо плававшими вместе с Маринеско на торговых судах. Обязательнейший и добросовестнейший Алексей Михайлович почти ничем помочь мне не смог. Прошло больше тридцати лет, никого из знавших Маринеско ни на судах, ни на берегу обнаружить не удалось. Пришлось удовлетвориться сухой справкой, составленной по материалам отдела кадров. Судя по справке, Маринеско А. И. в 1946—1948 годах плавал на нескольких судах в качестве помощника капитана, ходил и в заграничные рейсы, но капитаном так и не стал, а затем был уволен в связи с ослаблением зрения. Кривая его служебных успехов шла вниз.

Переход на гражданский флот ожидаемого душевного умиротворения не принес. Начиная военную службу, Маринеско еще тосковал по гражданскому флоту, мечты о дальних океанских дорогах не оставляли его. Гражданский флот еще долго оставался для него синонимом свободы. Теперь, когда свобода была возвращена, его все чаще одолевали воспоминания о флоте военном. О службе на подводных лодках, о боевых походах, о друзьях, вместе с которыми были пережиты все самые яркие, самые значительные события недавнего прошлого.

В жизни каждого человека непременно есть свой так называемый звездный час, своя вершина, необязательно совпадающая с высшей точкой карьеры или иным жизненным успехом. Час — обозначение условное, он может длиться и неделю, и месяц, и год. Звездный час — это время, когда все заложенные в человеке силы и способности находят наиболее полное выражение. Отнюдь не самое легкое, не всегда самое радостное время. Многие вспоминают как свой звездный час годы войны и блокады. Для Маринеско так же звездным

часом был январский поход, ни забыть, ни перечеркнуть свое прошлое он не мог. И с торговым флотом расстался без большого сожаления, хотя это было расставание с морем.

Надо было приспособляться к жизни на берегу.

Плавая на судах Ленинградского пароходства, Александр Иванович познакомился с судовой радисткой Валентиной Ивановной Громовой и женился на ней. Вслед за мужем перебралась на берег и жена, вскоре у них родилась дочь Таня.

Зная Маринеско как честного человека, секретарь Смольнинского райкома Никитин предложил ему пойти в Институт переливания крови заместителем директора по хозяйственной части. Хотел добра, а получилось плохо. Директору совсем не нужен был честный заместитель. Его вполне устраивал полуграмотный завхоз, помогавший ему строить дачу и заниматься самоснабжением. Дело прошлое, директора уже нет в живых, поэтому опускаю его фамилию. Пусть он будет К. Намеков этого К. Александр Иванович понять не захотел, и между ними сразу возникла вражда. Затаенная со стороны К., открытая со стороны Маринеско.

К. долго искал случая избавиться от Маринеско. Это было совсем не просто, в коллективе института Александру Ивановичу доверяли. Уважали за деловитость и внимание к нуждам сотрудников. На этом К. и подловил Маринеско. Была устроена провокация.

На дворе института лежали списанные за ненадобностью несколько тонн торфяных брикетов. Вместо свалки Маринеско, заручившись устным разрешением директора, развез эти брикеты по домам наиболее низкооплачиваемых сотрудников в виде предпраздничного подарка. (Напомню: время было послевоенное, Ленинград еще не полностью оправился от блокады, подарок пришелся кстати.) А затем директор быстренько отрекся от данного им разрешения, позвонил в ОБХСС, и Маринеско оказался расхитителем социалистической собственности.

Маринеско вступил в Коммунистическую партию в 1943 году «по боевой характеристике». Коммунистом он был не только по партийной принадлежности, но по самой своей человеческой сути. Был он человек общественный, открытый людям. Стяжательство было ему чуждо. Не будучи аскетом, всю свою сознательную жизнь прожил бесребреником.

Из партии его исключили. В последнюю инстанцию, чтобы не отдавать партбилета, Александр Иванович не явился. Партбилет, обернутый в непромокаемую ткань, он засунул в одному ему известную щель и аккуратно замазал свой тайник известкой.

Затем был суд. О заседаниях суда Александр Иванович рассказывал мне с глубоким волнением. Прошло двенадцать лет, а рана еще не зажила.

Прокурор, бывший фронтовик, с боевым орденом, видя, что дело не стоит выеденного яйца, от обвинения отказывается. Оба народных заседателя заявляют особое мнение. Но оставшийся в меньшинстве судья не сдается, он куда-то звонит и добивается своего — подсудимого берут под стражу. Дело разбирается в другом составе суда. Приговор — три года. Людей, осужденных на такие сравнительно небольшие сроки, обычно не высылают слишком далеко, но для Маринеско почему-то было сделано исключение — его отправили на Колыму.

«Посадили меня вместе с ворьем и полицаями, — рассказывал Александр Иванович. — Остригли, обрили, обращение как с козлом. Сразу же обокрали, кто — неизвестно: рюкзак, что собрала мне в дорогу жена, оказался пуст. Жена продала все шмотки, купленные нами в заграничных плаваниях, нанимала защитников, обегала весь город. Ничего не помогло...»

Не знаю, жалеть ли, что в шестьдесят первом году у меня еще не было портативного магнитофона? Пожалуй, не стоит жалеть. На магнитную ленту можно записывать допрос, интервью, но не исповедь. Она могла и не состояться. Пришлось мне после бессонной ночи что-то по свежей памяти торопливо записывать. У меня нет оснований сомневаться ни в моей памяти, ни в искренности Маринеско, и если за последние годы я предпринял некоторые попытки проверить рассказанное Александром Ивановичем, то не потому, что я усомнился в правдивости рассказа, а для большей точности и полноты.

Не все мои попытки были успешны. В архиве Ленгорсуда протокола первого судебного заседания не оказалось вовсе, а от второго осталась только копия приговора. Ничего удивительного в том нет — такие мелкие хозяйственные дела не хранят вечно, к тому же судимость с Маринеско была впоследствии снята автоматически, без всякого заявления с его стороны. Но самый приговор меня поначалу смутил. К известным мне тор-

фьяным брикетам было подверстано еще другое обвинение — в присвоении принадлежащей институту кровати стоимостью в 543 рубля. О кровати мне Александр Иванович ничего не говорил. Больше пятисот рублей? Давно не покупал кроватей, но сумма произвела на меня впечатление: по моим понятиям, такая кровать должна была быть по меньшей мере из красного дерева. Затем вспомнил, что судили Маринеско еще до денежной реформы, и успокоился: 54 рубля 30 копеек — это звучало уже не так страшно. Даже если вспомнить указные строгости, даже если поверить, что все эти ценности были похищены у государства с целью личного обогащения, в моем сознании как-то не укладывалось: за этот хлам — на Колыму? Да еще в одном вагоне с последними подонками, с разоблаченными карателями и профессиональными бандитами!

Первым моим побуждением было поговорить с кем-нибудь из участников суда. Или хотя бы с кем-то, кто на суде присутствовал. Но прошло двадцать лет. Одни умерли, след других затерялся. Общими усилиями моих друзей и помощников не удалось найти никого. Только судью, вынесшую суровый приговор, пожилую женщину, давно вышедшую на пенсию. И та со мной встретиться отказалась, объяснив что ни Маринеско, ни его дела совершенно не помнит. И добавила: «Если б я знала, что он такой герой, то, наверно, запомнила бы».

Остается предположить, что Александр Иванович не только не ссылался на суде на свои заслуги, но запретил это и своему защитнику. Предположение тем более основательное, что мы знаем: поступив после возвращения с Колымы на завод, Маринеско ни словом не обмолвился о своих военных подвигах. Как явствует из письма в «Литературную газету», об атаках на «Густлова» и «Штойбена» коммунисты завода впервые слышали только в 1960 году.

Вскоре после попытки поговорить с судьей мне сообщили: бывшая сотрудница Института переливания крови П. А. Михайлова присутствовала на суде над Маринеско и, несмотря на болезнь, готова со мной встретиться. Я поехал к ней домой, застал лежащей в постели, и мы поговорили. Поехал с несомненной пользой, хотя произошло недоразумение — Полина Антоновна на суде над Маринеско не была, а была годом позже, когда судили К., к тому времени окончательно запутавшегося в своих махинациях. К. был приговорен к году тюрьмы.

Никакого практического влияния на судьбу Маринеско этот приговор не имел, имя его на суде даже не упоминалось, но для меня рассказ Полины Антоновны лишний раз подтвердил то, что говорил мне о своем конфликте с К. Александр Иванович. А муж Полины Антоновны, Федор Иванович Ковшиков, до выхода на пенсию старший научный сотрудник того же института, сообщил мне нечто еще более интересное. Привожу его рассказ по магнитозаписи:

«В бытность мою членом партийного бюро я хорошо знал Александра Ивановича по общественной работе, и у нас были хорошие отношения. Однажды он попросил меня заехать к нему домой. Мы поехали вместе. Войдя в комнату, он показал мне обыкновенную железную койку и попросил ее запомнить: «Я взял ее во временное пользование, не на чем было спать. А теперь у меня из-за нее могут быть неприятности». После этого посещения я пошел к директору и сказал: «Я видел обыкновенную койку, даже если это институтское барахло, не вижу повода затевать дело», — и получил жесткий ответ: «Это тебя не касается. Я знаю, что делаю». Между Александром Ивановичем и директором шла борьба. Маринеско действовал открыто, директор все делал втихую. Мы, сотрудники, относились к Александру Ивановичу с глубоким уважением не за боевые заслуги, о них мы не знали, а за честность и деловые качества. Плохого о нем не знали и от него не видели».

Еще красочнее о злополучной койке рассказала мне сотрудница института Мария Николаевна Ильина. С Ильиной я встретился на квартире Марии Гавриловны Гречиной. Гречина и Ильина — соседки и подруги. Обе много лет работали в институте старшими медсестрами и хорошо знали Александра Ивановича. В оценке едины — честен, деловит, всегда шел навстречу; когда бывали трудности, ободрял: «Все будет в порядке»; всегда доброжелательно, с шуточкой. К нему было легко обращаться по любому делу. Ловкачом доставалой он не был, но к нему хорошо относились люди, он многого добивался, не прибегая ни к каким уловкам.

Случилось так, что Марии Николаевне пришлось участвовать в обыске на квартире Маринеско. Привожу ее рассказ по записи:

«Об аресте Александра Ивановича я ничего не знала. Меня вызвал директор и сказал: «Вы, Мария Нико-

лаевна, хорошо знаете хозяйство института. Вот с этим товарищем (в кабинете сидел незнакомый мужчина в штатском костюме) поедете в одно место и посмотрите, нет ли там чего-нибудь, принадлежащего институту». Мне не сказали, куда я поеду, мужчина мне не представился и всю дорогу молчал. Приехали на Петроградскую сторону, прошли двором, поднялись по лестнице на 4-й или 5-й этаж, вошли в бедно обставленную квартиру. Нас встретила пожилая женщина, о том, что она теща Александра Ивановича, я узнала только в конце обыска, когда решилась спросить, куда же меня все-таки занесло, и то мужчина на меня прикрикнул: «Не разговаривать!» Обыск был по форме, с ордером и двумя понятыми (дворник и соседка), но им ничего не предъявляли, и они ничего не подписывали.

Мужчина (вероятно, сотрудник ОБХСС) спросил меня: «Что вы здесь видите из вашего?» — «Ничего», — говорю. Показывает на детский столик из некрашенных досок: «Ваш?» — «У нас в институте таких нет». Теща, волнуясь, говорит: «Это Танюшин. Зять заказывал». — «Где?» — «Не знаю, на работе, наверное». Стоят две железные кровати, старые, побитые. Такие железные койки были у нас в институте до войны. Потом их снесли на чердак и после войны списали как негодные. К одной из коек прикручена проволокой жестяная бирка с нашим инвентарным номером. Если б Александр Иванович хотел эту койку присвоить, он бирку сорвал бы. Затем мне велено было пересмотреть всю посуду — посуды нашей не было. Под конец пошли смотреть сарай, искали какой-то уголь, может быть, эти самые брикеты. Сарай был пустой.

Уже на другой день в институте без понятых меня заставили подписать протокол. Я подписала про кровать, бирка была наша. Вчерашний мужчина настоял, чтоб я подписала и про столик, хотя неизвестно было, заказывал ли его Александр Иванович на работе, а если заказывал, то из какого материала. Я не удержалась, сказала тому сотруднику: «Зачем вы этим занимаетесь, все это гроша ломаного не стоит». Он ответил: «Мы с вами на службе».

На суде я не была, болела в то время. Не знаю, были ли кто из наших».

Мария Гавриловна (хозяйка квартиры) добавляет: «Хороший был человек. И работник хороший. Выпив-

шим я его никогда не видела. О своих заслугах никогда не говорил. Однажды я увидела его с орденом Ленина, попросила рассказать, за что он его получил. Отшутился: «А нечего рассказывать. Была война, тогда многие получали...» На суде я тоже не была. От сотрудников все держалось в тайне, даже от коммунистов. Узнала, когда суд уже состоялся. О конфликте Маринеско с директором узнала позже, после суда. Рассказывали мне, что однажды между ними произошла стычка на людях и Александр Иванович сказал директору: «Я тебе этого не прощу!» Ну а тот понял — пора принять встречные меры».

Я уезжал с Охты, где живут эти славные женщины, с ощущением, что прикоснулся еще к одному пласту людей, знавших и любивших Александра Ивановича, веривших в его человеческую чистоту. Людей, которые обрадуются, прочитав о нем доброе слово.

Но это семьдесят девятый. А в сорок девятом Александр Иванович Маринеско после неудачной попытки обжаловать приговор едет на Колыму в одном вагоне с заядлыми врагами родины.

В моем много раз печатавшемся очерке «Как я стал маринистом» об этом периоде в жизни Александра Ивановича я рассказал по необходимости бегло. Не рассказав, а конспективно пересказав. Сегодня я хочу представить слово самому Маринеско по сохранившейся у меня записи. Сделать это я считаю своей обязанностью не потому, что мне хочется сыпать соль на старые раны (кстати сказать, эту формулу придумали не раненые), а потому, что для Маринеско этот период был началом нового духовного подъема. В самые трудные для него годы вновь сказался героический склад его характера, вновь проявились присущие ему качества: стойкость в самых чрезвычайных, грозящих гибелью обстоятельствах и умение вести за собой людей.

Записано наспех авторучкой в клеенчатой тетради, но интонацию Александра Ивановича я все же улавливаю:

«Повезли нас на Дальний Восток. Ехали долго. Староста вагона — бывший полицай-каратель родом из Петергофа, здоровый мужик, зверь, похвалявшийся своими подвигами, настоящий эсэсовец. Вокруг него собрались матерые бандюги. Раздача пищи в их руках. Кормили один раз в день, бандюгам две миски погуще, остальным полмиски пожиже. Чую — не доедем. Стал

присматриваться к людям — не все же гады. Вижу: в основном болото, но всегда на стороне сильного. Потихоньку подобрал группу хороших ребят, все бывшие матросы. Один особенно хорош — двадцатитрехлетний силач, водолаз, получил срок за кражу банки консервов: очень хотел есть и не утерпел, взял при погрузке продуктов на судно. Сговорились бунтовать. При очередной раздаче водолаз надел на голову старосте миску с горячей баландой. Началась драка. Сознаюсь вам: я бил ногами по ребрам и был счастлив. Явилась охрана. Угрожая оружием, прекратили побоище. Мы потребовали начальника состава. Явился начальник, смекнул, что бунт не против охраны, никто бежать не собирается, и рассудил толково: назначил старостой нашего водолаза. Картина враз переменилась. Бандюги притихли, болото переметнулось на нашу сторону. Раздачу пищи мы взяли под контроль, всех одеяли поровну, прижимали только бандюг, и они молчали.

В порту Ванино уголовных с большими сроками стали грузить на Колыму, нас оставили. В тюрьме многоэтажные нары, верхние полки на пятиметровой высоте. Теснота, грязь, картежная игра, воровство. «Законники» жестоко правят, но с ними еще легче. «Суки» хуже — никаких принципов. Хозяин камеры «пахан» — старый вор, тюрьма для него дом и вотчина. Брал дань, но к нам, морякам, благоволил. Однажды я пожаловался ему: украли книгу, подарок жены. «Пахан» говорит: даю мое железное слово, через десять минут твоя книга будет у тебя. Но молодой карманник, тот, кто украл, приказа вернуть книгу уже не мог выполнить. Он ее разрезал, чтоб сделать из нее игральные карты. «Пахан» не смог сдержать слова и взбесился. По его приказу четверо урок взяли мальчишку за руки и за ноги, раскачали и несколько раз ударили оземь. Страже потом сказали: упал с нар. На меня этот случай произвел ужасное впечатление, до сих пор чувствую свою косвенную вину в смерти мальчика».

Случай этот не только потряс Маринеско, но и заставил его задуматься. Ведь у него тоже было «железное слово». У «пахана» культ слова обернулся бессмысленной жестокостью, у него самого — служил оправданием упрямства. Бывало, упрямился зря, только чтоб не уступить. Ужасна перспектива скатиться в покорное воле «пахана» жестокое и трусливое «болото». Но не лучше и другая — самому стать таким «паханом», воли

и умения властвовать над людьми у него бы хватило. И он решил, насколько хватит сил, оставаться самим собой и удерживать от падения тех, кто слабее.

Предположить, что несправедливый приговор и пребывание в исправительно-трудовом лагере благотворно подействовали на Маринеско, — значит, сказать нелепость. Исправлять трудом можно бездельников. Маринеско был труженик. Но, оказавшись в обстоятельствах, для многих непосильных, он стягивается, как стальная пружина. Перед ним есть цель — выстоять, сохраниться как личность, не потерять свое человеческое достоинство. Расслабиться — значит погибнуть если не физически, то нравственно. Поэтому никаких поблажек себе. И происходит чудо. Ни одного эпилептического припадка.

«Когда нас стали переводить на лагерное положение, мы, моряки, попросились, чтоб нас всех вместе послали на погрузочные работы в порту. Работа эта тяжелая. Вскоре я стал бригадиром над двадцатью пятью человеками, и наша бригада сразу стала выполнять более ста пятидесяти процентов плана, это давало зачет срока один к трем. Меня ценило начальство за то, что я, как бывший торговый моряк, умел распределять грузы по трюмам. В бригаде тоже меня уважали, звали «капитаном». Так я проработал несколько месяцев, а затем меня «выпросил» у начальства директор местного рыбозавода. Малограмотный мужик родом из Николаева, отбывший срок и осевший в Ванине. Ему нужен был дельный заместитель. С ним было работать легко, и скажу не хвастаясь: я ему так поставил дело, что, когда подошел срок, он очень переживал мой отъезд, соблазнял райской жизнью и большими деньгами, предлагал вызвать в Ванино мою семью, но я не согласился. На рыбозаводе я был почти на вольном положении и при деньгах, но держал себя в струне и капли в рот не брал, хотя временами было тоскливо. Очень скучал по семье».

Письма жене он писал бодрые, нежные и даже с юморком. Вот одно из последних:

«Живу и работаю по-старому, но нынче уже считаю не сутками, а часами. Часов осталось как максимум 1800, но если выбросить часы сна, то получается 1200 или: в баню сходить 8 раз, хлеба скушать 67,5 килограммов».

Дальше следует серьезный разговор о прочитанных

книгах и просмотренных фильмах. Жалуется он только на то, что подолгу не получает писем.

Это письмо сохранилось у Татьяны Александровны Маринеско как память о покойных родителях. Сейчас оно у меня, но я его непременно верну, когда придет время возвращать близким Александра Ивановича доверенные мне реликвии.

Мы сидим с Александром Ивановичем в тесном номеришке гостиницы. Он на табурете, я на своей койке. На столе недопитая бутылка. Сквозь зарешеченное окно угадывается поздний ноябрьский рассвет. Самое трудное уже рассказано. Вспоминать, рассказывать тоже бывает мучительно. Но иногда необходимо.

О своем возвращении в Ленинград Александр Иванович рассказывал спокойно, с добродушной усмешкой:

«До Москвы меня везли зачем-то под конвоем. В Москве выпустили, выдали паспорт. Я приоделся (деньги были, на рыбозаводе директор платил мне восемьсот чистыми) и махнул в Ленинград. Первым делом извлек из тайника свой партбилет, он оказался целехонек, явился в райком и предъявил. Восстановили меня сразу, без потери стажа. Следующий рейс — в институт. К. я уже не застал, и хорошо, что не застал, встреча могла кончиться плохо для нас обоих. Мне предлагали руководящую работу, но я попросился на завод».

Когда впервые после войны я встретился с Александром Ивановичем, он уже несколько лет работал на заводе «Мезон» и был уважаемым членом коллектива. О его достижениях писала заводская многотиражка, его портрет — на Доске почета, в числе передовиков производства. Завод свой Александр Иванович любил, жил его интересами и при встрече всегда что-нибудь рассказывал о заводских делах. Он умел и радоваться успехам, и негодовать по поводу любых беспорядков, и, главное, задумываться, как сделать лучше, как освободиться от наших традиционных болезней — штурмовщины, перебоев в снабжении деталями и некоторых других. На завод я пришел уже после смерти Маринеско и расскажу о встречах с людьми, хорошо его знавшими. Но сперва немного о наших встречах в 1960—1963 годах.

На первом сборе ветеранов-подводников в Кронштадте нас обоих не было. Меня — потому что тогда

еще не начали приглашать иногородних, Маринеско — не знаю почему. Но имя его прозвучало на этом сборе очень громко. Были опубликованы уточненные по последним данным сведения об успехах балтийских подводников. По всем этим данным выходило, что первое место, вне всякого спора, принадлежит Александру Маринеско, и я уже рассказывал об овации, какой встретили появление Маринеско на состоявшемся через год втором сборе все его участники, ветераны и молодежь. А на третий сбор в 1963 году, организованный Е. Г. Юнаковым с присущим ему размахом, ветераны были приглашены с семьями, и Маринеско чествовали особо: на пирсе учебного отряда ему был преподнесен живой поросенок — так встречали вернувшихся из похода победителей во время войны.

После нашей кронштадтской встречи в 1961 году я часто бывал в Ленинграде, и мы виделись. Александр Иванович продолжал работать на заводе. Всякий раз он интересовался, как идет моя работа, и меня всегда поражала его природная артистичность. Специальному консультанту мало обладать профессиональными знаниями, надо еще понимать, чем отличается художественная проза от служебной инструкции. Маринеско это понимал. И очень не хотел, чтобы я воспринял его интерес к моей работе как намек: дескать, опишите мою жизнь. Такая мысль появилась у него позже, когда он был уже тяжело болен. До этого он несколько раз пытался продолжить давно начатые им автобиографические записки, однако дальше одесского периода их не довел — отчасти по недостатку времени, но больше по недостатку опыта. Как-то пожаловался: «Получается сухо, вроде как бортовой журнал». Показать мне свои записи отказался, и я познакомился с ними много позже. Рассказывать он умел действительно много ярче и увлекательнее.

О заводе «Мезон», где он пустил глубокие корни, Александр Иванович рассказывал охотно. Там проходила его жизнь, не всегда безоблачно, бывали и небольшие бури.

«Я себе много позволяю,— сказал он мне однажды.— Пишу в заводской газете критические статьи, спорю с начальством. Ничего, сходит. Я им без всяких лимитов несколько домов выстроил. А с рабочими я умею ладить».

Александр Иванович работал тогда в отделе про-

мышленного снабжения. А до того был диспетчером — работа ответственная и нравившаяся ему. О том, что такое заводской диспетчер, рассказал мне инженер завода Н. И. Рамазанов, он и привел меня на завод в семьдесят восьмом году.

«На «Мезон» Александра Ивановича устроил мой покойный отец Ибрагим Рамазанов, инженер-механик, в войну дивмех, вы его, конечно, знали. Они с отцом дружили, и я встречался с Маринеско не только на заводе. Невероятно, но факт: о том, что совершил Александр Иванович, я узнал только из газет, сам он о своих подвигах никогда не говорил. На заводе знали, что Маринеско — моряк, чувствовалась морская косточка. Внешняя опрятность, четкость, вежливость, умение держать слово. Производство у нас грязноватое, чисто только в сборочных цехах, а в других есть и масляные брызги, и копоть. Александр Иванович всегда являлся на работу в белой рубашке с галстуком, в отглаженном костюмчике, а бывать ему приходилось всюду, и в штамповочном, и на складах. Работа диспетчера очень сложна, нужно, чтобы во все цехи заготовки попадали своевременно, нужно знать, что заказано на смежных предприятиях, и обеспечивать сборку деталями. Александру Ивановичу очень помогало отличное знание устройства корабля. На корабле, особенно на подводном, тоже все основано на взаимодействии частей, там слаженность — вопрос жизни и смерти. У нас на заводе старший диспетчер — это высокое положение. Вроде как вахтенный командир на корабле. Надо быть все время в напряжении, постоянно держать в памяти много разных дел. Александр Иванович был очень аккуратен, корректен, всегда готов прийти на помощь. У него была своя система и особая тетрадка, куда он заносил свои наблюдения, в затруднительных случаях я к ней прибегал, он охотно ее давал, она так и осталась у меня. Жалею, что не сохранил, вам было бы понятнее, почему у него всегда был порядок. Он был волевой человек и честности непреклонной, хитрить не умел совсем. А ведь на производстве есть свои хитрости. Есть работа выгодная и невыгодная. Это в руках мастеров. Есть такие рабочие, что, получив выгодную работу, припрятывают ее до удобного времени. А в это время завод выполняет срочный заказ, из-за них происходит задержка. Александра Ивановича это возмущало до глубины души, он говорил мне: «Нариман, на флоте мы таких людей не

терпели». Когда кто-нибудь из начальников цехов пускался в пустые отговорки, он шел проверять и, если находил обман, во всеуслышание стыдил по заводскому селектору. В отделе снабжения он тоже отлично работал. Почему он перестал быть диспетчером — не знаю».

Я — знаю. Временами на Александра Ивановича нападала тоска, и он по старой, надолго брошенной привычке «делал выход». Термин этот почерпнут из «Очарованного странника», прелестной лесковской повести, ее Александр Иванович очень любил. Внешнего сходства между ним и героем повести Иваном Северьяновичем не было ни малейшего, но в каком-то духовном сродстве они несомненно состояли. То же бесстрашие, та же беззлобность, и широта характера, и доброта, и граничащая с наивностью правдивость. И то же упрямство.

В положении диспетчера есть еще одна черта, сближающая его с положением вахтенного командира. Он должен быть всегда на посту. Был случай, когда «выход» пришелся на время дежурства. Диспетчер не вышел на работу. Пришлось срочно вызывать из дома сменщика.

Конечно, это была болезнь. Отступившая во время самых тяжелых испытаний и вновь подкрадываясь, когда напряжение спало.

Признаюсь, на завод я шел с душевным волнением, к которому примешивался страх. Чего я боялся? Боялся узнать нечто такое, что могло разрушить мои сложившиеся представления. Ведь я встречался с Александром Ивановичем в те годы, когда он уже работал на «Мезоне», привык верить всему, что он рассказывал о своей работе, и для меня было бы немалым разочарованием, если б открылись какие-то неизвестные мне и в таком случае наверняка печальные обстоятельства.

«Мезон» расположен в старой части Выборгской стороны. Старой, потому что выстроенные за последние годы новые микрорайоны, так называемая «Гражданка», имеют с этой частью мало общего. Они светлее, просторнее, но в чем-то и безличнее. «Мезон» плоть от плоти старой Выборгской стороны, многократно описанной и воспетой. Правда, он не дымит, как старые заводы, и с улицы мало заметен. Еще в первые послевоенные годы здесь была ткацкая фабрика и Александр

Иванович с восхищением рассказывал про талантливого самородка инженера Агеева, за несколько лет превратившего устаревшую фабрику в современный завод, способный выпускать продукцию высокой точности.

В отделе кадров завода меня встретили поначалу сдержанно. Завод избалован вниманием пишущей братии, и рабочие бывают недовольны, когда их отвлекают от дела. Так мне объяснили. Но когда я сказал, что меня интересуют люди, хорошо знавшие Александра Ивановича Маринеско, отношение круто переменялось. Я был водворен в кабинет отсутствовавшего начальника отдела, и в течение целого дня ко мне чередой шли люди, чтобы поговорить об Александре Ивановиче. Рассказать и расспросить.

В извлеченном из архива личном деле А. И. Маринеско я прочитал его собственноручную объяснительную записку. В ней Александр Иванович с присущей ему откровенностью писал о причинах прогула. После этого случая Александр Иванович стал на амбулаторное лечение в диспансере и, будучи переведен на работу в отдел снабжения, вновь показал себя с самой лучшей стороны. Он действительно выстроил для завода пионерлагерь и несколько жилых домов. Характеристику для военкомата завод дает отличную. Портрет Маринеско, снятый было с Доски почета, возвращается на прежнее место. Вплоть до своей кончины Маринеско в числе лучших людей завода.

Так говорили мне бумаги. Но бумаги интересовали меня во вторую очередь. А вот что скажут люди?

Я их не выбирал, этих людей. Не выбирал их и отдел кадров. Пришли те, кто знал, кто хотел прийти, кто мог урвать полчаса из своего рабочего времени. Среди пришедших были диспетчеры, и цеховые мастера, и станочники. Пришли Прасковья Макаровна Огаренко, Иван Тимофеевич Королев, Полина Ивановна Лысенко, Константин Александрович Красульников, Агнеса Михайловна Котлярова и тот самый Петр Семенович Калинин, кто в бытность свою секретарем цеховой парторганизации подписал опубликованное «Литгазетой» в 1961 году письмо коммунистов завода. Через восемнадцать лет в беседе со мной он вновь подтвердил все сказанное в письме. Все эти получасовые беседы с новыми для меня людьми так мало походили на интервью, что я тут же убрал свой «микрорекордер». Всех моих собеседни-

ков сближало со мной одно и то же — мы знали и помнили Маринеско. Рассказывали о нем охотно, не дожидаясь моих вопросов, вопросы чаще задавали мне. Об Александре Ивановиче все говорили с любовью, у каждого из моих собеседников было что вспомнить, иногда совершеннейшую мелочь, но и в этой мелочи можно было узнать Маринеско. Я записал телефоны ушедших на пенсию ветеранов завода. Некоторым я потом позвонил. Бывший начальник отдела Б. С. Гвильман позвонил мне сам и прислал свою статью об Александре Ивановиче, напечатанную в заводской газете.

Обеденный перерыв на заводе я использовал по прямому назначению — пообедал в заводской столовой, и за столом тоже шел разговор о Маринеско, а затем в сопровождении своих новых знакомых прошел по цехам, где приходилось бывать Александру Ивановичу, и там тоже со мной заговаривали. О Маринеско на заводе теперь знают все и говорят о нем с гордостью. Я. С. Коваленко рассказывал мне, что в семьдесят третьем или семьдесят четвертом году он выступал в цехах, рассказывал о Маринеско, затем его повели в столовую, но пообедать ему не пришлось, там оказались рабочие, его не слышавшие, и Якову Спиридоновичу пришлось повторить весь свой рассказ сначала. А после конца смены на трех машинах с венками и лентами рабочие и служащие завода поехали на могилу Маринеско.

Я ушел с завода, напутствуемый добрыми пожеланиями, унося в портфеле ценные подарки — блокнот с дарственной надписью от завода «Мезон», карандаши, резинки для стирания! Смысл этих подарков был мне ясен: только пиши! И я не шучу, называя их ценными, я их ценю и берегу. И до сих пор пользуюсь ими.

Такое отношение заводского коллектива к памяти Маринеско легко объяснить законной гордостью подвигами своего товарища. Побывав на заводе, я убедился: нет, не только. Его высоко ценили и тогда, когда об этих подвигах еще никто не знал. Его любили и берегли. В последние годы, когда в его жизнь вошла Валентина Александровна Филимонова, ни о каких «выходах» слышно не было, появилась надежда, что болезнь опять отступила. Быт его — всегда очень скромный — стал более упорядоченным. Впрочем, не сразу.

Уйдя из дома, он остался без жилья. Валентина Александровна тоже жила стесненно. Наконец в 1961 году Александр Иванович получил в Автове небольшую комнату.

«Обстановки никакой,— вспоминала Валентина Александровна.— Ни стола, ни стульев, первое время спали на фанере. Затем раздобыли тахту и были счастливы».

Перебираю фотографии, снятые летом 1963 года на третьем сборе ветеранов-подводников в Кронштадте, для Маринеско — последнем. Улыбающиеся Александр Иванович и Валентина Александровна в кругу друзей.

Х. Последний год

Счастье было недолгим.

«Незадолго до этого сбора Саша сказал: что-то побаливает горло. Пошел в поликлинику, там посмотрели и ничего не нашли. А он стал чувствовать себя все хуже и хуже».

Наступил год шестьдесят третий, последний в жизни Александра Маринеско. Родился он в тринадцатом.

В конце шестьдесят второго я дважды приезжал в Ленинград, и мы виделись. Работа над романом шла к концу, меня радовала возможность обсудить с Александром Ивановичем кое-какие частности, и, верный своему обещанию, он еще раз придирчивым командирским оком заглянул во все отсеки моей вымышленной «малютки». «В литературе я не судья,— сказал он мне в заключение.— Но за одно ручаюсь: грубых ошибок у вас не будет». Под грубыми ошибками он разумел не столько технические ляпсусы, сколько фальшь в изображении служебных отношений на корабле. В отличие от довольно распространенного типа консультантов, требующих, чтобы в литературном произведении все изображалось, как должно быть, он в своих замечаниях исходил из того, как фактически бывало или могло быть в реальной обстановке войны и блокады.

Когда живешь в другом городе и подолгу не видишься, трудно поручиться за надежность своих представлений. Оба раза я уезжал из Ленинграда с убеждением,

что с Александром Ивановичем все обстоит более или менее благополучно. Он был бодр, приветлив, Валентина Александровна заботлива и гостеприимна. На заводе его дела шли успешно, и он охотно про них рассказывал. Мгла над его именем к тому времени уже начала рассеиваться, его имя стало появляться в печати, а в среде подводников авторитет его стоял высоко и незыблемо.

Вероятно, уже тогда он был опасно болен. Наш общий друг М. Ф. Вайнштейн недавно напомнил мне: в декабре 1962 года мы с ним навестили Маринеско, он жил тогда на Васильевском острове у Валентины Александровны. За ужином Александр Иванович выпил рюмку коньяка и тяжело закашлялся. Отдышавшись, показал на горло. На шее были пятна, явные следы облучения.

По невежеству или по легкомыслию я тогда не обратил на это большого внимания и легко уговорил себя, будто серьезных оснований для тревоги нет. По-настоящему встревожился я только в феврале, получив от Маринеско письмо, где он впервые открыто заговорил о своей болезни.

Письмо это не сохранилось, но в оставшихся после кончины Александра Ивановича бумагах я нашел свое, ответное. По нему и по моей дневниковой записи нетрудно восстановить его содержание: инвалид, лечат облучением амбулаторно, материальные дела плохи. Просит позвонить подводнику адмиралу Н. И. Виноградову, взявшемуся похлопотать о персональной пенсии.

Адмиралу я дозвонился. По его словам, необходимые меры он уже предпринял. Однако скорого успеха не обещал.

Вновь перебираю фотографии, снятые в шестьдесят третьем году на очередном сборе ветеранов-подводников, и ищу на лице Маринеско следы болезни. Ищу и не нахожу. Эта последняя встреча с друзьями и соратниками была для него самой радостной, самой почетной. Во время выступления бывшего командующего флотом адмирала Трибуца, говорившего о подвиге подводной лодки «С-13», молодежь дружно скандировала: «Маринеско — герой, ге-рой!»... Александр Иванович был оживлен, весел. Но сегодня память подсказывает: временами оживление пропадало, и в эти минуты лицо его сразу старело. А когда ему предоставили

слово, вдруг потерял голос и договорить так и не смог.

Только ли от волнения?

Меня не оставляет убеждение, что, если б не страшная болезнь, за короткое время подорвавшая его силы, Маринеско был накануне какого-то нового подъема. В его жизни были подъемы, были и падения, но не было сонного прозябания. Еще в декабре шестьдесят второго он делился со мной планами широкой реорганизации подведомственного ему участка на заводе и был искренне увлечен.

Самое время написать банальнейшую фразу: «Но судьба решила иначе». Меня удерживает не столько банальность, сколько глубокое отвращение к мысли, что судьбе во всех случаях дано решать. Тогда ее надо писать с заглавной буквы — Судьба. Рок, фатум. А это уже пахнет мистицизмом, чуждым мне и ненавистным Александру Ивановичу. Он ведь даже суеверен не был, всегда подтрунивал над теми, кто придавал хоть какое-нибудь значение цифре «13» на борту его «эски». В основе его мировоззрения лежало убеждение, что человек должен быть творцом своей судьбы, а судьба корабля — в руках командира. Подобно ему, я не верю в слепую и всезнающую Судьбу, распоряжающуюся нашими жизнями, не верю, что жизнь Маринеско могла закончиться только так, а не иначе. На многих примерах я имел возможность убедиться: беда не только не приходит одна, она почти всегда имеет не одну причину, и достаточно выпасть одной, чтобы катастрофы не произошло. И все мое существо протестует против неизбежности ранней гибели героя, гибели не в бою, а на больничной койке. Как знать, не отступила бы страшная болезнь, если б воля Маринеско к сопротивлению была своевременно поддержана.

Если бы, если бы...

В том февральском письме Маринеско появилась новая для меня тема. Впервые Александр Иванович дал понять, что готов помочь тому, кто захочет описать его жизнь. Такое намерение было у С. С. Смирнова, но никаких полномочий я от него не имел и потому ответил неопределенно. У меня самого в то время еще никаких планов не было. Персональная пенсия казалась мне в то время проблемой более неотложной.

Летом от общих ленинградских друзей до меня стали доходить тревожные сигналы. Я написал Александру

Ивановичу. Ответа долго не было. И только во второй половине августа я получил от него письмо, из которого я наконец понял, как далеко зашла его болезнь и как остро необходима помощь.

«Здравствуйте, дорогой Александр Александрович,— писал Маринеско.— От души благодарю за Ваше внимание, но, к сожалению, я поступаю по-свински и вот только сегодня, 13/VIII, решил ответить на Ваше письмо».

По-свински поступил скорее я, чем он. Летом решалась судьба моей рукописи, и я очень мало думал о своем друге.

«Сейчас действительно мне сделали операцию, которая позволяет поддерживать мое существование кормлением, минуя пищевод; эта операция вспомогательная, а основное все впереди и неизвестно, через сколько времени. Врачи В. М. госпиталя, куда я попал, говорят, что для восстановления моего веса и здоровья, для подготовки к основной операции понадобится 6 — 8 месяцев, а выпишут они меня домой через 10 — 15 дней. Основная моя забота теперь — как жить? Мне ежедневно нужно заправляться определенными высококалорийными продуктами, это обойдется (скромно) 3 рубля в день.

Вам, конечно, известно, что я инвалид 2-й группы, получаю пенсию, из которой наличными мне остается 30—35 рублей. Вопрос — как жить дальше, что меня ожидает в будущем?»

Я опускаю некоторые содержащиеся в письмах горькие суждения Александра Ивановича. И потому что они не были рассчитаны на широкую аудиторию, и потому, что чувство безысходности вообще-то не было свойственно Маринеско, умевшему находить выход в любых, казалось бы, безвыходных обстоятельствах.

«Жена старается меня успокоить, но я знаю, что делается у нее на душе. Живу я более месяца в новой комнате 10,5 метров по тому же адресу, который говорил Вам: Ленинград, Л-96, ул. Строителей, дом 6, кв. 24.

Галина (дочь В. А. Филимоновой.— А. К.) успешно сдала экзамены в Театральный институт и начнет с сентября м-ца учебу.

Большой привет Вам и Вашей жене от меня, жены и Мих. Фил. (Вайнштейна.— А. К.), он был у меня в прошлое воскресенье. А. А., если сможете дать мне совет

или чем-нибудь помочь, буду век благодарен Вам. Жму крепко Вашу дружескую руку. А. Маринеско».

Получив письмо, а заметался. Решение было принято немедленно: лечу. Но, прежде чем вылететь, нужно было что-то предпринять. Нужна была помощь, в первую очередь материальная. Как у большинства литераторов, заканчивающих многолетнюю работу, карманы мои были пусты. Конечно, я сразу выслал Александру Ивановичу все, что смог наскрести, но это проблемы не решало. Можно было надеяться, что друзья не оставили товарища в беде и уже собирают какие-то рубли, но это могло лишь частично облегчить положение. Нужна была поддержка постоянная, весомая, причем не только материальная, а духовная, способная поднять дух больного, повысить его сопротивляемость. Нужна была помощь организационная. Я не сразу понял в письме Александра Ивановича фразу: «В. М. госпиталя, куда я попал». Она означала, что на лечение в военно-морском госпитале герой Отечественной войны как не выслуживший установленного срока права не имел и попал туда в порядке исключения, благодаря настойчивым хлопотам друзей.

Нужно было, чтобы в судьбу Маринеско вмешался человек во всех отношениях значительный, способный не только оценить подвиг командира «С-13», но и разобраться в его личности.

Такой человек существовал. Иван Степанович Исаков. Флотоводец, ученый, писатель.

Ивана Степановича до того я видел лишь однажды, но запомнил надолго. В 1939 году, за два года до начала войны, группа писателей разного возраста и воинского опыта была приглашена в Наркомат ВМФ, и Иван Степанович, в то время заместитель наркома, больше часа беседовал с нами. Сегодня, через сорок с лишним лет, мне уже не вспомнить многих подробностей, памятен результат — мы вышли из его служебного кабинета, очарованные широтой познаний, увлеченностью и тем непередаваемым изяществом манер и всего облика, которое нисколько не противоречит необходимой моряку твердости характера. После встречи с Исаковым многие прошли подготовку на курсах военно-морских корреспондентов при Военно-политической академии имени Ленина и, когда началась война, пришли на корабли, уже что-то понимая в их устройстве и организации службы. С той встречи я Ивана Степановича не видел

ни разу, но, конечно, был наслышан и о его боевой деятельности во время войны, и о его научных трудах. Читал появившиеся в начале шестидесятых годов на страницах толстых журналов его «Невыдуманные рассказы». Знал я также, что, несмотря на мучительные боли в ампутированной после ранения ноге, Иван Степанович много и напряженно работает, день у него расписан по часам и попасть к нему будет трудно.

К Исакову меня привел писатель Г. Н. Мунблит. Иван Степанович жил на Смоленской набережной (теперь на этом доме мемориальная доска). Дверь нам отворил сам хозяин. Опираясь на костыль, провел в свой кабинет.

— Сейчас мне сделают укол, и через пять минут я буду в вашем распоряжении,— сказал он.— Но, чтоб вы не скучали, я придумал, чем вас занять. Вы, Георгий Николаевич, найдете на столе давний номер «Знамени» с вашей статьей. Наверно, вам будет любопытно полистать написанное много лет назад. А вы,— обратился он ко мне,— найдете там же вашу книжку о походе в Индонезию и сочините мне дарственную надпись.

И опять, как в те довоенные времена, от этих полусутоливых слов возникло ощущение человеческого изящества. Не умею определить иначе это соединение простоты достоинства и уважительного отношения к людям. Какая это черта — аристократическая, демократическая? Не знаю. Аристократическая без высокомерия, демократическая без панибратства.

Ровно через пять минут он был за своим письменным столом. Перед ним лежала тоненькая папка, и я понял, что к нашему разговору Иван Степанович подготовился.

— Не скрою от вас, что я плохо отношусь к Маринеско,— сказал Исаков.— Я старый служака, и всякая распушенность мне ненавистна. Но я готов вас слушать.

Слушал он внимательно, не перебивая. Затем спросил:

— Скажите, вы знаете...— Он назвал фамилию известного подводника, занимавшего в то время высокий пост.— Вы доверяете ему?

Я ответил, что незнаком с контр-адмиралом, но сомневаться в его объективности у меня оснований нет.

— Вот послушайте, что он мне пишет.

Прочитанная Исаковым справка в самом деле производила впечатление полной объективности. Только документы. В основном выдержки из приказов по бригаде и решений парткомиссии. И, конечно, судебный приговор 1949 года, хотя в соответствии со статьей 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года Маринеско уже десять лет официально считался несудимым.

— Так это было?

Это было так. И в то же время совсем не так. Документы были подлинные, но за ними было невозможно хотя бы смутно разглядеть подлинного Сашу Маринеско, которого знали и любили балтийские подводники.

Я очутился в труднейшей ситуации. Объяснять адмиралу, ученому, историку флота значение атак Маринеско было бы нелепо. На всякий случай я захватил с собой дневник, ту самую клеенчатую тетрадку, где у меня по свежей памяти была записана ночная исповедь Маринеско. Александр Иванович рассказывал о себе не для печати, а по велению сердца, ничего не утаивая, с единственным желанием — быть понятым. Конечно, мои торопливые записи были лишь бледной тенью этой необычайной по красочности и беспощадной искренности исповеди, но даже эта бледная тень была больше похожа на живого Маринеско, чем собранные в досье выдержки из документов. Наиболее точно, стремясь хотя бы отчасти сохранить интонацию Александра Ивановича, воспроизвел его рассказ о пресловутом загуле в Турку, оставшемся, несмотря ни на что, несмываемым клеймом на репутации подводника № 1. Сегодня уже ничто не мешает мне включить в мое повествование эту трагикомическую новеллу, теперь, по прошествии многих лет, она уже не может никого задеть. Воспроизвожу эту запись в том виде, в каком я прочитал ее Ивану Степановичу, опушу только имена и смягчу некоторые выражения, не имеющие существенного значения. Грубоват Александр Иванович бывал, циничен — никогда.

«А насчет финки — не отрицаю. Был такой грех. Положим, она не финка, а шведка была. Все-таки нейтральная нация. Дело было в Турку под новый, сорок пятый год. Финляндия вышла из войны, мы стоим в порту, живем на плавбазе. Лодка полностью готова к

выходу в море, ждем приказа. Скука смертная, надоели все друг другу — дальше некуда. Мы с другом моим Петей Л., помните его, наверно, от тоски лезем на стенку. Решили пойти в город, там в гостинице жили знакомые ребята из советской контрольной комиссии, хотели встретиться с ними Новый год. Деньги у меня были. Приходим, никого нет. Где — неизвестно. Заходим в ресторан. Открыто, но в зале ни души, одни официантки. Как видно, финны — домоседы, любят Новый год встречать дома. Мы попросили девушек накрыть нам в кабинете столик на шестерых, хоть и было нас всего двое. Расчет был на то, что наши знакомые вернутся и подсядут. Однако никто не идет. Мы в меру выпили, закусили, стали петь потихоньку украинские песни. Девушки заходят, слушают, улыбаются нам, но к столу, как мы ни звали, присесть не решаются. Вдруг откуда ни возьмись хозяйка. Молодая, лет этак двадцати восьми, красивая, сразу видно — огонь-баба. Прогоняет девок, сама подсаживается к нам, заговаривает по-русски. У нас сразу контакт. Я ей мигаю: дескать, нельзя ли и моему другу составить компанию? Поняла, вызвала с этажа какую-то свою помощницу, тоже ничего, интересная собой. И гуляем уже вчетвером. А затем забрали со стола спиртное, еще кое-чего и поехали на пятый этаж, где у нее собственный апартамент <...>.

Откровенно скажу, мы друг дружке по вкусу пришлись. Она бедовая, веселая. Незамужняя, но есть жених. Инженер, работает в Хельсинки в фирме. Почему же, спрашиваю, он не с тобой встречается? Потому, говорит, что у них в фирме такой порядок — встречаться с хозяином. Из-за этого, говорит, я с ним даже поссорилась. Ну и правильно, говорю...

Утром раненько в дверь стучат. Что за шум? Докладывают: жених приехал из Хельсинки, ожидает внизу. А я как раз в самый задор вошел. «Прогони», — говорю. Она смеется. «Как так — прогони? Мне за него замуж идти. Ты ведь на мне не женишься?» Это уже вроде как без шуток спрашивает. А я тоже со смехом: «Пойдешь за меня?» — «Пойду», — говорит. — И гостиница твоя будет». Тут я совсем развеселился: «Сашка Маринеско — хозяин гостиницы! Нет, — говорю, — не женюсь, а ты этого, что внизу, все-таки прогони, пусть едет к своему хозяину».

И что же вы думаете — прогнала. Такая отчаянная

баба! Прошло сколько-то времени, не считал, признаться: опять стучат. Докладывают: военный. Ничего не слушает, требует командира. Выглядываю. Батюшки мои — доктор. Военфельдшер с лодки. Дознался и разыскал. «Отцы командиры,— говорит,— дуйте скорее на базу, там черт-те что творится... Наши уже заявили финским властям: пропали два офицера...» Возвращаюсь в апартамент, объясняю положение — что делать? Моя смотрит холодно, с усмешкой: «Что делать? Прогони его». Я аж рот разинул: «Как так — прогони?» — «А очень просто, прогони, и все. Я ради тебя жениха прогнала, а ты подчиненному приказывать не смеешь?» — «Так он же видел меня, он скажет...» — «А ты запрети. Он кто — офицер? Возьми с него слово. Или у ваших офицеров слова нет?» — «Ну это ты брось,— говорю.— У наших офицеров слово очень крепкое...» Вышел к доктору и говорю: «Ты меня не видел». — «Товарищ командир, опомнитесь...» — «Сделаешь, как я велел. Понял меня? Слово даешь?» — «Даю»,— говорит. И, конечно, сдержал.

Когда мы с повинной явились на базу, встретили нас сурово. Обоим грозил трибунал. Но потом обошлось. К комдиву пришла делегация от команды — с другим командиром в море идти не хотим. Комдив Орел — умный человек, понял настроение экипажа, а корабль в готовности, снимать командира, ставить нового — мороки не оберешься. И я ушел в поход — искупать вину...

А насчет шведки — не жалею, хороша была. Идеологии мы совершенно не касались. Она только посмеивалась: «Какие вы победители, с бабой переспать боитесь...» А я тоже смеюсь: «За твои капиталы твой жених тебе все простит. Небось помиритесь»...

И неужели кто мог подумать, что меня таким манером можно завербовать на службу фашизму? Это же смешно, честное слово. Только тогда мне было не до смеха...

Теперь почти через сорок лет после окончания войны, этот небольшой отрывок уже не вызывает священного ужаса и воспринимается скорее с юмором. Мне показалось, что и тогда, в шестьдесят третьем, Исаков, отнюдь не оправдывая самый проступок, угадал в участнике возмутительной эскапады какие-то симпатичные черты — своеобразную рыцарственность, простодушие,

яркий темперамент. Когда я поднял глаза от тетрадки, кивнул:

— Дальше.

Дальше я читал уже известное читателю — об аресте, жизни в порту Ванино, возвращении в Ленинград. И когда вновь поднял глаза на Исакова, увидел, что он стоит, опираясь на стол, и держит в руке телеграфный бланк.

— Хорошо, — сказал он после небольшой паузы. — Я меняю свою точку зрения. Что нужно делать?

Был вызван адъютант и тут же были отданы все распоряжения. Узнав о материальных трудностях Маринеско, Иван Степанович немедленно отправил ему денежный перевод, сопроводив его такой теплой, дружественной телеграммой, что Маринеско мог без ущерба для своего достоинства принять эти деньги. Но дорожке всяких денег была для больного Александра Ивановича моральная поддержка Исакова — письма, книги, дружеская забота.

Сегодня, через много лет после смерти этих замечательных людей (И. С. Исаков скончался в 1967 году), я перелистываю сохранившиеся у Валентины Александровны письма Исакова к Маринеско и не устаю восхищаться связавшей их заочной, недолгой, но истинной дружбой. Истинной — значит, равной. В дружбе у моряков есть свой особый счет, не всегда совпадающий со служебной иерархией. Не сомневаюсь, что переписка Исакова с Маринеско будет в свое время издана. А пока привожу одно из его писем с некоторыми сокращениями:

«Глубокоуважаемый Александр Иванович!

Не удивляйтесь этому письму.

1. Хотя я с Вами не служил вместе, но, конечно, знаю Вас по делам Вашим.

Еще не так давно, получив перевод из «Маринер Рундшау», вспомнил «Густлова». С подробностями, которых не знал раньше (...).

2. Т. к. писатель С. С. Смирнов решил писать о Вас повесть, то я ему отсылаю все, что нахожу в нашей литературе (напр., в книге Вл. Смирнова «Матросы защищают Родину», ГПИ, 1962 г.) или в иностранной (М. Рундшау).

В связи с этим еще в начале года запросил подводника из ГШ ВМФ Родионова А. И., и он сообщил, что

Ваши дела почти в порядке. Как с пенсией, так и с реабилитацией. Вот почему я Вас не беспокоил и не беспокоился.

3. Неожиданно появился А. А. Крон, буквально вчера, и рассказал далеко не такие утешительные сведения, как Родионов. Особенно относительно здоровья. В связи с этим решил завтра написать письмо Министру Обороны <...>.

4. Самое главное в данный момент, чтоб Вы ни в чем не нуждались для лечения и питания в предвидении возможной еще операции. Поэтому завтра или послезавтра я вышлю Вам 100 р. Прошу их принять не задумываясь, так как помимо большого оклада я получаю гонорары за свою писанину. Поэтому 100 р. меня абсолютно не стеснят. Чтобы Вы могли планировать свой бюджет, учтите, что через месяц, т. е. 12 — 13 октября, вышлю еще 100 р. <...>.

Чтоб не скучали, завтра пошлю Вам свою книгу рассказов <...> Следующий большой флотский рассказ выйдет в журнале «Москва» № 11 (ноябрь) — обязательно пришлю. Будет интересно получить Вашу оценку.

Если Вам не дали перевода из Рундшау о потоплении Вами «Густлова», то сообщите. Прикажу снять копию и пошлю Вам. Но думаю, что у Вас уже есть.

На всякий случай напишите, что из медикаментов Вам надо, но нет в Ленинграде...

А пока желаю Вам спокойного лечения и успехов в этом деле. Я сам пишу со своей невромой в культе, особенно во время плохой погоды. Так что хирургические дела немного знаю!

PS. Думаю, что не только материальные дела Ваши придут в благополучное состояние, но и моральный ущерб, нанесенный Вам, будет относительно возмещен, несмотря на то, что с Вами так много начудили (говорю деликатно), что вряд ли возможно смягчить несправедливость и грубость, проявленную некоторыми отдельными лицами. Привет. Поправляйтесь.

Ваш Исаков. 11.9.63».

На мой взгляд, это письмо не нуждается в комментариях. За время, прошедшее между первой телеграммой Исакова и этим письмом, я успел побывать в Ленинграде и повидаться с Маринеско.

Я застал Александра Ивановича еще в госпитале. Условия у него были хорошие. Небольшая, но отдельная палата. Валентина Александровна могла почти неотлучно быть рядом с больным и оставаться в палате на ночь.

Когда меня допустили в палату, Александр Иванович был на ногах.

Он заметно похудел и как будто уменьшился в росте, но глаза у него были прежние, живые. Даже голос, несмотря на хрипоту, показался мне почти таким, как прежде, со знакомыми добродушно-шутливыми интонациями. Меня встретил радостно и сразу стал расспрашивать про мои дела, как будто у нас не было тем более неотложных. Интерес был неподдельным. Дела мои в то время обстояли неважно, но посвящать больного во все сложности нашего профессионального бытия не имело смысла. О делах самого Маринеско я тоже не мог рассказать ничего существенного, хлопоты о персональной пенсии успеха не имели. Мы проговорили около двух часов, и меня поразила твердость духа Александра Ивановича, он не жаловался — ни на судьбу, ни на обстоятельства; поначалу было трудно понять, знает ли он все о своей болезни. Потом понял: знает. Знает, но не теряет надежды. В этом он оставался верен себе — не тешил себя иллюзиями и не падал духом. Обычно от тяжелых больных скрывают диагноз, и во многих случаях это удается. Даже если эти больные — врачи. Маринеско в медицине ничего не понимал, но он был слишком смел и наблюдателен, чтобы позволить себя заморочить. Он не «ушел в болезнь», как люди, привыкшие слишком часто к себе прислушиваться; наоборот, его живо интересовало все происходящее за стенами госпиталя. Конечно, он понимал: при самом благоприятном исходе лечения он останется инвалидом, — но мыслями он был с флотом, и самыми близкими друзьями для него оставались подводники. Свою дружбу они доказали делами. Передо мной лежит папка, переданная мне близким другом Александра Ивановича Б. Д. Андрюком, живущим теперь в Киеве. Чего там только нет — письма, ходатайства, подписные листы... А какие подписи! Цвет подводного флота, командиры лодок, Герои Советского Союза, адмиралы и матросы...

Когда Александр Иванович уставал, хрипы усиливались. На помощь приходила Валентина Александровна.

Она осторожно обмывала гортань. При всех процедурах, включая кормление, я выходил в коридор. Под конец нашей беседы зашел ненадолго сосед — капитан 2-го ранга Ветчинкин, в прошлом тоже командир лодки. Александр Иванович был с ним приветлив, но разговор перевел на более общие темы. Не хотел говорить о себе, о своих заботах.

Сдержанность была ему присуща всегда. И взрывчатость тоже. Противоречие здесь только кажущееся. Сдержанность — свойство людей, которым есть что сдерживать. Иначе это просто вялость.

Мне не удалось тогда поговорить с врачом. Недавно по моей просьбе откликнулся письмом доктор Кондрачук, хирург, оперировавший Маринеско:

«К сожалению, я увидел Александра Ивановича уже в трудном положении. У него была декомпенсированная дисфагия, обусловленная опухолью пищевода.

О мужестве этого человека, его подвигах и заслугах перед родиной я знал. И в госпитале Александр Иванович вел себя мужественно, ровно, терпеливо переносил мучения, был, как ребенок, доверчив и застенчив. Он ни разу не упомянул о своих заслугах, не пожаловался на свою судьбу, хотя со мной был откровенен. Он любил и хотел жить, верил, что для него делается все возможное. Ему была наложена гастростома (метастазы!), и впервые пусть таким путем он был накормлен и напоен. Любил он флотский борщ. Его просьбу ежедневно выполняли госпитальные повара».

Значит, я не ошибся в своем тогдашнем впечатлении. Все знал, но не терял веры и не сдавался. Болезнь была враг. Склонить голову перед врагом Маринеско не мог, не умел, не хотел.

Не надо, однако, обольщаться. Не всегда больному Маринеско удавалось сохранять бодрость, бывали у него приступы отчаяния, знала о них только Валентина Александровна. И если, по свидетельству всех близких к нему людей, Александр Иванович держался с великолепным мужеством, то немалую роль в этом сыграла завязавшаяся в последние месяцы его жизни увлекательная переписка с Иваном Степановичем Исаковым. Перечитывая письма Исакова к Маринеско, трудно поверить, что они адресованы человеку незнакомому. Так пишут, когда люди знакомы семьями, и не месяцы, а долгие годы. О своих хлопотах и щедрой материальной помощи Иван Степанович пишет как бы мимоходом,

пишет так, будто забота о здоровье и репутации Маринеско — это его, Исакова, общественный долг, нечто само собой разумеющееся и тем самым отходящее на второй план. А главное — это живое, заинтересованное общение товарищей по оружию, соратников и единомышленников.

23 сентября 1963 года (на бланке члена-корреспондента АН СССР):

«Дорогой Александр Иванович!

Я пишу на бланке не для того, чтобы похвастаться. А для того, чтобы Вы знали, что мне многое легче сделать, чем Вам. Поэтому если что нужно — пишите.

Вырезал выписку из Беккера у С. С. Смирнова, снял копию и шлю Вам. У него останется для работы свой экз.

Беккер хорош чем?

Скрывает, что погибли лучшие подводники, подготовленные на новые лодки.

Молчит о реакции Гитлера.

Но выпирает весь драматизм плохой организации, самоуправства нач. подплава и т. д. Поучительные ошибки. И не только для немцев.

Снимают копии с других переводов. По готовности — пришлю. Есть ли у Вас книги о подводниках? Может, случайно пропустили? (Следует перечень. — А. К.) О настоящих мемуаристах с ПЛ не спрашиваю. Наверное, имеете. Напишите — чего нет, пришлю.

Поправляйтесь. У нас наступили холода, и я, как южанин, начал скисать. Привет. Ваш *Исаков*.

PS. Когда-нибудь для смеха расскажу, как я был подводником. Приписали к «Рыси» и посадили учиться на курсах <...>. Был 1919 год. Меня арестовали как бывшего офицера и хотя выпустили через 2 недели, я обиделся и ушел воевать в Астрахань (вторично) на миноносцы. Так и не вышел из меня подводник».

К концу сентября Иван Степанович уже не заблуждается насчет состояния здоровья своего корреспондента. Тем ярче выступают его сердечность и такт. Так не пишут приговоренным. Все письмо, включая постскрипtum, имеет совершенно ясный подтекст: все силы на борьбу с болезнью, главное — не терять веры, не сосредоточиваться на прежних обидах, как видите, со мной тоже всякое бывало, надо ценить каждый отпущенный нам день, читать и размышлять о прочитанном.

Иван Степанович хлопочет о пенсии Маринеско, посылает ему книги и лекарства, снабжает С. С. Смирнова материалами для будущей повести. Но книгу надо ждать годы, а время не терпит. Существуют более оперативные жанры.

К тому времени С. С. Смирнов был уже признанным мастером еще только зарождавшегося искусства прямого разговора с телезрителями. Искусство это до сих пор не имеет точного названия, но существует и развивается. Это искусство не чтецкое, не лекторское, не ораторское. Оно не похоже ни на проповедь, ни на исповедь. Оно импровизационно и, как всякая импровизация,— серьезное испытание на искренность. Телеэкран беспощаден к фальши. Ей негде укрыться. В течение ряда лет из месяца в месяц Сергей Сергеевич вел созданный им вскоре после войны и существующий поныне телевизионный альманах «Подвиг». Одно из своих выступлений он целиком посвятил подвигу «С-13». В Ленинград приходит телеграмма:

«Смотрите передачу телевизора Москвы 4 октября первой программы двадцать сорок пятницу писателя Смирнова относительно героизма Исаков».

Я тоже был предупрежден, но передачи не видел. Не помню уже, почему. Видел и слышал ее Маринеско, отпущенный на побывку домой, и вместе с ним видели и слышали живой рассказ писателя миллионы телезрителей. Александр Иванович был счастлив.

Из беседы с В. А. Филимоновой:

«Саше становилось все хуже. Не мог есть, пришлось делать другую операцию, вывести пищевод, теперь у него в боку была трубка, через воронку туда вливалась жидкая пища. Другая трубка служила ему искусственным горлом. Каждые полчаса трубку надо было прочищать и промывать, она засорялась, и Саша начинал задыхаться и кашлять. Приходилось это делать и ночью. Саша день ото дня слабел. Надо было его мыть, на руках носить в туалет. Ему стало трудно говорить, писал записки. Держал себя с необыкновенным мужеством. Выпросился на несколько дней домой. Дома, лежа на кровати, смотрел и слушал передачу Смирнова. Был рад, разволновался, но глаза были сухие. А когда я везла его обратно в госпиталь, попросил провезти его по набережной. При виде кораблей заплакал: «Больше я их никогда не увижу».

Наконец-то о подвиге «С-13» было сказано в полном смысле слова во весь голос, так, что этот голос был слышен от Балтики до Тихого океана и это был голос человека, которого знала вся страна.

Выступление С. С. Смирнова по телевидению вызвало волну откликов. В маленькую квартирку на улице Строителей полетели письма со всех концов страны. Десятки, сотни, вскоре перевалило за тысячу. Не всякая книга вызывает такую лавину. Я видел эти перевязанные шпагатом толстые пачки, заполнившие все углы, нагроможденные на шкафы. Зачастили посетители — молодежь, пионеры. У Александра Ивановича уже не было сил прочитать все письма, встретиться со всеми, кто хотел его видеть. Дома он пробыл недолго. Надо было возвращаться в госпиталь.

Что было в этих письмах? Нетрудно догадаться. Слова благодарности и восхищения, недоуменные вопросы, горячие пожелания здоровья и долгих лет жизни. И нечто совсем неожиданное — деньги, трешки и пятерки рядовых советских тружеников. Сергей Сергеевич не скрыл от телезрителей, что герой тяжело болен, не утаил правды о материальных затруднениях, и самые разные люди немедленно откликнулись. Были и такие письма от совершенно посторонних людей: «Приезжайте к нам, мы Вас выходим...» Когда я рассказал об этом Сергею Сергеевичу, он был даже несколько испуган, он и не думал призывать на помощь. Из денег, присланных телезрителями и собранных моряками, образовалась порядочная сумма. Ее не успели истратить. Валентина Александровна от этих денег отказалась, и по решению друзей они были положены на сберкнижку до совершеннолетия младшей дочери Александра Ивановича — Тани.

Переписка с Исаковым продолжалась. Самому Александру Ивановичу писать было уже трудно, отвечала Валентина Александровна. Иван Степанович часто болел, но о Маринеско не забывал. Ему хотелось еще при жизни Маринеско написать о нем большую статью, и он просит Валентину Александровну записать со слов Александра Ивановича ответы на ряд вопросов. Из-за перегруженности основной работой и сильных болей в ампутированной ноге статью пришлось отложить. Она появилась только в 1965 году в журнале «Советский Союз». А в конце ноября 1963 года, за месяц до кончины Маринеско, он пишет:

«Глубокоуважаемые Александр Иванович и Валентина Александровна!

Спасибо за письмо.

Сам только что вернулся из санатория, чувствую себя лучше, но не особенно.

В свое время прошел через руки всех известных хирургов, почему знаю, какое у Вас состояние.

Будем надеяться на улучшение.

С. С. Смирнов еще в Китае. Скоро возвращается, и мы уговорились совместно написать Вам.

Пока посылаю 2 книги. На этот раз посылаю временно (можете держать сколько угодно, так как в ближайшие месяцы буду занят другой темой). Временно потому, что на обложке сделаны мои пометки и замечания, по которым собирался написать статью, да так и не собрался. Сейчас занят <...>, это поручение сверху и на долгое время.

На днях выходит мой рассказ об Вел. От. войне на Черном море в журнале «Москва» № 11. Я пришлю обязательно и буду ждать, как Вы оцените этот рассказ, на 95 % списанный из жизни.

Желаю я и Ольга Васильевна вам обоим здоровья и успехов в делах.

Ваш *Исаков*.

PS. Правильно ли написал адрес? Могу ли чем помочь?»

Помочь Александру Ивановичу уже нельзя было, и Иван Степанович это понимал. Но ему хотелось, чтобы больной поменьше про это думал и в то же время твердо знал, что и после смерти не будет забыт. Очень существенно упоминание о С. С. Смирнове. Желание взяться за эту тему самому и замысел будущей книги в том виде, как он изложен в «проекте», появились позже, когда ему стало ясно, что С. С. в обозримое время свою повесть не напишет.

Жить Александру Ивановичу оставалось недолго. Считанные дни. Свой конец он видел трезво и бесстрашно. В. А. Филимонова рассказывала:

«За несколько дней до смерти Саша решил отпраздновать свой день рождения. Пришли М. Ф. Вайнштейн и П. Н. Ветчинкин. Саша говорить уже не мог, но был веселый. Ему было разрешено все, и я сама лила коньяк в его воронку. Вскоре он умер».

Пишет доктор Кондратюк:

«С верой в улучшение он был выписан домой. Но спустя несколько месяцев поступил вновь и тихо, мужественно терпя боли, ушел».

«Несколько месяцев», вероятно, ошибка памяти. Несколько недель. Но образ Маринеско не изгладился в памяти старого хирурга, оперировавшего сотни, если не тысячи больных. Удивительно хорошо в письме сказано — ушел. Не «ушел из жизни», как пишется в официальных некрологах, а просто — ушел. Так лучше потому, что из нашей жизни он не ушел.

Почему Александр Иванович захотел отпраздновать свой день рождения в ноябре? Родился в феврале. Вероятно, не надеялся дожить до февраля. И чтоб не называть этот день днем прощания.

Исаковы были искренне опечалены смертью Александра Ивановича. Переписка с Валентиной Александровной не оборвалась.

«Прошу Вас помнить, что в лице моем и Ольги Васильевны Вы нашли друзей», — пишет Иван Степанович после похорон Маринеско. И через год вновь подтверждает: «...не ждите крайних случаев и пишите прямо мне. По всем вопросам. Я Ваш надежный друг. (23. 10. 64 г.)».

На похоронах Александра Ивановича я был и помню их хорошо. Но больше зрительно, как в немом кино. Помню полутемный клубный зал в здании флотского экипажа, где состоялась гражданская панихида. Помню, как сменялись в почетном карауле рабочие и моряки. А вот что говорилось у гроба — не помню. Не помню, был ли оркестр. Кажется, был. Народу набилось много.

Ехали на кладбище долго, в молчании. Шел мокрый снег. Запомнились на кладбище деревья, — вероятно, когда-то на этом месте была рощица. По территории кладбища несли гроб на руках, тоже долго, в самый конец, и тоже молча. У открытой могилы никто не говорил, опустили гроб молча. Заговорили только на поминках.

Это были необыкновенные поминки. Я бывал на всяких. Помню поминки в большом ресторанном зале с расставленными покоем, по-банкетному столами, с неким подобием президиума за центральным столом. О покойном вспоминали с микрофоном в руках. Помню и совсем тихие, приглушенно-семейные, где кроме

родственников только двое-трое старых друзей и какие-то пожилые женщины с заплаканными глазами и без речей... На Васильевском острове все было иначе. Стол был накрыт в самой большой и все-таки тесной комнате коммунальной квартиры, и собралось помянуть Александра Ивановича более ста человек.

Решение было найдено в духе Маринеско: хорош не тот командир, у которого ничего не случается, а тот, кто в любом положении найдет выход. Выход нашелся. Из комнаты пришлось вынести все лишнее. Стулья и посуду призанять у соседей. Стульев все равно не хватило, пошли в ход табуреты и гладильные доски. Поминки шли непрерывно до поздней ночи, в две или даже в три очереди. Одни приходили, другие уходили. Только приехавшая из Одессы Татьяна Михайловна, мать Маринеско, не трогалась с места весь вечер. Ожидавшие своей очереди толпились на лестничных площадках, курили, переговаривались. Препятствий им никто не чинил, все этажи знали, кого поминают в тридцатой квартире.

А за столом шел непрерывный разговор. Все сидели вперемежку — балтийские моряки и рабочие с Выборгской стороны. Не все знали друг друга, но Маринеско знали все. Я сидел между контр-адмиралом и бывшим радистом с «малютки». Никто ни у кого слова не просил, говорили негромко и неторопливо, как в матросских кубриках после отбоя или у среза на полубаке, никто никого не перебивал, но каждый мог вставить слово. Прощаясь, не сразу уходили домой, а сливались с теми, кто стоял на лестничной площадке, и опять находилось что сказать и что вспомнить.

Помню, постоял на лестнице и я. Трудно было оторваться. И расходились тоже не поодиночке, а по двое, по трое. И все говорили, вспоминали...

Запись в моем дневнике от 6 декабря 1963 года:

«Вернулся из Ленинграда совершенно больной. Похороны были 29. XI. Описывать их нет ни времени, ни сил, да и незачем. Забыть их нельзя. Завод дал деньги на надгробие, оплатил расходы по похоронам, даже поминки. Валентина Александровна, Татьяна Михайловна, друзья-подводники — все эти люди вызывают глубокое уважение и укрепляют мою веру в неистребимость доброго начала в человеке. И все-таки не могу

отделаться от чувства зияющей пустоты. И от чувства вины, хотя формально я как будто ни в чем не виноват. Но я знаю, оно еще долго не оставит меня».

XI. «Память сердца»

Эта небольшая глава возникла совершенно неожиданно, когда предыдущие десять были уже вчерне написаны.

В десятой главе мы проводили гроб с телом Александра Ивановича Маринеско к месту его последнего успокоения. Но его беспокойный дух не перестает меня тревожить.

Пришло время оглянуться. Перечитать составленный Иваном Степановичем Исаковым «проект». Сумел ли я хоть отчасти решить поставленную в нем задачу — «рассказать о героической жизни и судьбе Александра Ивановича Маринеско»?

Отчасти — на большее я не претендую. В «проекте» эта основная задача расчленялась надвое, и некоторые ее аспекты были по плечу только самому Ивану Степановичу. Дать развернутый стратегический анализ последнего периода войны на Балтике, создать на основе изучения всех имеющихся материалов наиболее точную и доказательную версию атак Маринеско и оценить их значение для окончательного разгрома врага мог только выдающийся флотоводец и ученый-историк, каким был Исаков. Сознывая это, утешаюсь мыслью, что моя повесть не единственная, а главное — не последняя книга, где читатель встретится с Александром Маринеско. Необъятный простор — от строго научного исследования до психологического романа. Но это дело будущего, а пока — несколько слов о том, почему у меня появилась потребность обсудить жизнь и судьбу моего друга с ученым-биологом, представителем науки, изучающей жизнь и поведение человека современными точными методами.

В числе наиболее спорных проблем, когда-либо стоявших перед человечеством, и поныне остается проблема свободы воли и вытекающие из нее вопросы о мере ответственности человека за свои деяния, о соотношении социальных и биологических факторов в поведении индивидуума. Мы сталкиваемся с этими вопросами по-

вседневно как в великом, так и в малом — и когда пытаемся проникнуть в судьбы цивилизации, и когда обсуждаем проступок маленького ребенка. Изменился бы ход истории, будь у Клеопатры другая форма носа, а у Цезаря или Марка Антония другой характер? В чем причина злобной выходки пятилетнего мальчугана — в наследственности или в воспитании, в физиологическом стрессе или в уже зреющей злой воле? Где пролегал граница между злостным асоциальным поведением, невротическим состоянием и психической невменяемостью? Нам свойственно искать на такие вопросы простые ответы, и в своем стремлении ответить однозначно мы часто скатываемся на крайние, полярные, взаимоисключающие позиции. Да или нет? Черное или белое? А ведь жизнь бесконечно многообразнее, в жизни все переплетено, и нет ничего, что существовало бы в беспримесном, химически чистом виде. Понимать, рассуждать, иметь суждение — означает взвешивать, и недаром древние изображали Правосудие с весами в руках.

Состязательность судебного процесса — одно из древнейших завоеваний человеческой культуры; там, где этот принцип нарушен, властвует произвол. Но состязательность присуща не только судилищу. Она вообще свойственна процессу мышления. За последние годы я прочитал несколько отличных книг о том, как рождались основополагающие идеи современной физики. Увлекательнейшее чтение. Истина рождается в непрерывных спорах. Спорят между собой ученые. Теория оспаривает эксперимент, эксперимент — теорию. И наконец, спорит ученый сам с собой, сегодняшний с собой вчерашним. Так приходят к открытиям или терпят крах.

Исторический парадокс: преступление зачастую взвешивается гораздо тщательнее, чем подвиг. Судьба преступника, как правило, решается судом, судьба героя — административным усмотрением. Научные методы гораздо чаще применяются при расследовании преступления, чем при анализе героического деяния. Криминология уже давно наука, и на нее работают почти все известные нам области точного знания. Героическими деяниями занимаются преимущественно науки гуманитарные, не менее почтенные, чем физика или химия, но неторопливые и более других подверженные субъективным веяниям.

Стало почти обязательным исследовать душевное состояние преступника до, во время и после совершения преступления. В наше время суд, прежде чем вынести приговор, редко обходится без технической или медицинской экспертизы. Попытка прибегнуть к специальной экспертизе для дополнительной характеристики героя непривычна и может показаться причудой. Мне такая попытка представляется не лишеной интереса.

С членом-корреспондентом АМН СССР Георгием Николаевичем Крыжановским мы знакомы много лет. В руководимой им лаборатории общей патологии нервной системы я в свое время часто бывал, и с немалой пользой для романа, над которым я тогда работал. Наши добрые отношения тянутся с тех пор, и вполне естественно, что в одну из наших недавних встреч я поделился с ним тем, что меня в последнее время больше всего занимает. Рассказал сначала в общих чертах, а затем, почувствовав неподдельный интерес, вопреки своему обычаю, дал прочитать незаконченную рукопись. Результат получился неожиданный — Георгий Николаевич увлекся. Помимо всегдашнего дружеского внимания к моей литературной работе у Георгия Николаевича был еще один немаловажный мотив, чтобы живо заинтересоваться личностью и судьбой Маринеско. Детские и юношеские годы ученого прошли в Одессе; оказалось, что и ему не чужд столь свойственный одесситам городской патриотизм и связанное с ним трогательно горделивое отношение к своим выдающимся землякам. Выезжая в Одессу с научными целями, Георгий Николаевич нашел время отправиться вместе с группой молодых сотрудников к зданию мореходного училища, осмотреть и сфотографировать мемориальную доску, а в другой раз навестить живущую в Одессе сестру героя Валентину Ивановну. Расспрашивая ее о брате, Крыжановский особенно интересовался годами, когда закладывались основы характера. Ну и, конечно, средой. Расспрашивал, вероятно, как-то по-своему, ученые наверняка задают вопросы несколько иначе, чем писатели.

И вот мы сидим друг против друга на террасе подмосковной дачи (мы к тому же дачные соседи), разделенные игрушечным столиком. На столике пепельница и блокнот. Для своих ученых степеней и званий Георгий Николаевич поразительно молод и легок на подъем.

Очки его не старят, а синий тренировочный костюм только подчеркивает спортивность фигуры. Я без большого усилия мог бы представить себе будущего членкора в дружной компании Саши Маринеско, если б не одно обстоятельство — когда Саше Маринеско было пятнадцать лет, Жоре Крыжановскому было пять.

Раньше чем ответить на мой первый вопрос, Крыжановский предупреждает:

— Вы обронили слово «экспертиза». К нашей беседе оно применимо лишь весьма условно. Ни заочно, ни постфактум настоящая экспертиза невозможна. Но я охотно поделюсь с вами некоторыми своими соображениями. Итак, с чего мы начнем?

— Поговорим о характере Маринеско. Что такое в вашем понимании героический характер?

— Здесь также необходима оговорка. Героический характер — понятие социально окрашенное. Героическим деянием, или, проще говоря, подвигом, мы с вами назовем только такой экстраординарный по своей смелости поступок, который служит нравственно близкой нам цели. Героический характер складывается под влиянием среды и в результате полученного воспитания. С точки зрения биологической, можно говорить только о предрасположении, о наличии определенных данных. Среда, в которой воспитывался Маринеско, была несомненно здоровой. Характер его с юных лет складывался как волевой, целеустремленный. При наличии общей одаренности такие характеры нередко реализуются как героические. Вообще же человеческие характеры бесконечно многообразны, никаких средних норм для них не существует.

— Как так не существует? А нормы общественного поведения?

— Это опять-таки область социальных отношений. А в плане биологическом — норм нет. Существуют средние нормы для артериального давления, для содержания сахара в крови, но не для характера и не для способностей. Наш знаменитый психиатр профессор Ганушкин говорил, что, если б такие нормы существовали, человечество погибло бы от застоя. Человек высокоодаренный, волевой нередко кажется нарушением нормы. Но вернемся к Маринеско. По своему характеру люди делятся на два основных психологических типа — на экстравертов и интровертов. Экстраверты — люди от-

крытые, общительные; интроверты — замкнутые в себе. Судя по тому, что мне удалось о нем узнать, Маринеско представлял собой не часто встречающееся соединение обоих этих типов. Он был экстравертом для тех, с кем был близок по духу и кому полностью доверял. Поэтому его так любили сверстники и команды кораблей. Для всех остальных он был интровертом. Вспомним его упрямое молчание о своих заслугах в течение ряда лет. Соединение этих качеств в одном лице — свидетельство незаурядности их обладателя, нелегкое прежде всего для него самого. Ему жилось бы легче, будь он только экстравертом или только интровертом.

— Попробуем представить себе жизнь человека в виде некой гомограммы вроде тех, какие вычерчивают на миллиметровой бумаге ваши самопишущие приборы. Правильно ли будет предположить, что гомограмма человека незаурядного будет отличаться от гомограммы человека посредственного бóльшим размахом колебаний?

— Ну, вы сами понимаете, что практически такая интегральная гомограмма невозможна. Наши самопишущие приборы способны фиксировать колебания только в ограниченных, заранее заданных параметрах. Но если вслед за вами вступить в область фантазии, то применительно к Маринеско я отчетливо вижу прерываемые спадами крутые подъемы, и в том числе три пика, три вершины, свидетельствующие о необычайной нравственной силе.

— Какие же?

— Объективно они несоизмеримы и неравноценны, но сейчас нас с вами больше занимает субъективная сторона. Первая вершина — добровольный отказ от мечты стать капитаном дальнего плавания. Мне кажется, вы недооцениваете глубину и страстность этой мечты. Мы, одесские мальчишки, были влюблены в Черное море, многие из нас мечтали стать моряками, но мечты Маринеско простирались гораздо дальше, его манили океанские просторы, далекие, неизведанные материки. Его сестра рассказывала мне: «Временами Саша пропадал из дому, и только я знала, где он: сидит, обхватив руками колени, на парапете там, где Торговая спускается к морю, и смотрит вдаль. Так он мог сидеть часами». Бесспорно, решение перейти из мира своих мечтаний в чуждый ему мир холодных глубин было осознанным, продиктованным сильным патриотическим чувст-

вом. Но легким оно быть не могло. Вот почему я считаю ломку сложившейся с самых ранних лет жизненной программы, жертву, которую молодой Маринеско принес во имя своих гражданских идеалов, одной из вершин в его биографии. Нужно было круто сменить то, что мы называем доминантой, подавить прежние стремления и открыть дорогу новым. Добровольность решения не исключает стресса; несомненно, это был стресс, и в преодолении этого стресса сказались выдающиеся волевые качества Маринеско. Но вот в чем сложность — наша нервная система так устроена, что в ней ничто полностью не стирается. Случайный пример: человек, много лет назад бывший в немецком плену и полностью забывший немецкий язык, заболев, в горячечном бреду начинает говорить по-немецки. Мечта об океанских походах продолжала подспудно жить в сознании Маринеско как некий фон, не мешавший в нормальных условиях полностью отдаваться новому призванию. Но он существовал, этот фон, и когда перед войной, пусть на короткое время, Маринеско был изгнан из подводного флота, травма оказалась особенно глубокой. Поставим себя на его место — мы приносим жертву, быть может самую большую из возможных: вы отказываетесь от литературы, я — от науки, и вдруг оказывается, что она, эта жертва, никому не нужна! Для Маринеско это был первый серьезный надлом. Появилась нужда в транквилизаторе. Самый близлежащий и доступный транквилизатор — водка. Вспомните, раньше ее в обиходе Маринеско не было. К счастью, ошибка была вскоре исправлена, и хотя нервная система ничего не забывает, душевное здоровье помогло Маринеско преодолеть все психологические трудности и подняться на новую высоту.

— Этой второй вершиной вы считаете январский поход?

— Не только. И предыдущие тоже. Все атаки Маринеско требовали от него высочайшего напряжения воли и ума. Не мое дело оценивать их объективную значимость, моя задача — напомнить, что нервная система Маринеско подвергалась чрезвычайным перегрузкам. Сегодня мы в своих лабораториях уже умеем моделировать на животных механизм порождаемых перегрузками неврозов. Постепенное усложнение поставленных задач и увеличение объема информации при сокращении сроков на ее переработку и повышение ответствен-

ности приводят к невротическим состояниям. Эта модель действительна и для человека. Мы живем в мирное время, и все-таки современная медицина разработала для подводного флота особые условия и целую фармакопею, смягчающую перегрузки и во время плавания, и после возвращения из длительного похода. В конце последней войны ничего такого и в помине не было. Этим отчасти объясняются и некоторые срывы. Опять парадокс: человек обычно срывается не в обстановке крайнего напряжения, а когда тормоза отпущены. В мою задачу не входит ни обвинять, ни оправдывать Маринеско за поразивший меня своей психологической достоверностью эпизод его загула в Турку, но причины его мне понятны — бессемейность, неприкаянность, скука, следы недавних перегрузок. Если б этот эпизод произошел не в чужой, недавно вышедшей из войны стране, весьма вероятно, он не сыграл бы такой роковой роли в дальнейшей судьбе Маринеско. И если бы успешный январский поход сорок пятого года принес ему полное прощение и признание, многое сложилось бы иначе. Невротическое состояние, вошедшее в привычку употребление алкоголя, первые признаки эпилепсии — все это, вместе взятое, привело к тяжелым срывам и ошибкам, главной из которых я считаю упрямое решение уйти из Военно-морского флота. Вот это самое упрямое «демобилизуйте!» понятно: перед ним еще маячила юношеская мечта о дальних походах и неведомых странах, но жизнь показала, что обратного хода у него уже не было. Он уже подводник до мозга костей; и разрыв с подводным флотом был для него трагедией.

— Что же вы считаете третьим пиком?

— Третьей вершиной я с полным убеждением считаю поведение Маринеско на суде, в пути на Дальний Восток и в порту Ванино. Больной, надломленный человек не рухнул ни физически, ни нравственно, не озлобился, а нашел в себе силы выйти победителем из тяжелейших испытаний, не только не теряя своего человеческого достоинства, но проявив выдающиеся качества вожака и организатора, доказав, какие неисчерпаемые возможности таятся в человеке волевого склада, когда он ставит перед собой достойную цель, в данном случае — сохранить себя как личность, добиться полной гражданской и партийной реабилитации. Какая победа над самим собой! За все время — ни капли алкоголя

(а возможности были), ни одного эпилептического припадка! Вот почему неверно рассматривать Маринеско как человека беззащитного от соблазнов и катившегося по наклонной плоскости. Если б не ранняя смерть, от него можно было ждать нового подъема.

— Тогда последний вопрос. В своей статье («Нева», 1967, № 7) Н. Г. Кузнецов признает, что Маринеско не был вовремя брошен спасательный круг. Каков он должен был быть, этот круг?

— На мой взгляд, нужны были два. Первый — чисто медицинский. Убежден, что при всем несовершенстве лечебных средств в послевоенный период Маринеско можно было полностью вылечить. Как показала жизнь, его воля не была сломлена, нужно было только дать ей направление, перспективу, создать соответствующую доминанту. Для этого был нужен второй спасательный круг — признание, доверие, которые помогли бы разомкнуть то, что мы называем *circulus viceosus* — порочным кругом. История жизни Александра Ивановича Маринеско кажется мне поучительной во многих отношениях. Она свидетельствует о том, какие огромные возможности заложены в человеческой личности, и одновременно напоминает о бережности, с какой следует относиться к натурам даровитым и волевым, полностью раскрывающимся в экстремальных ситуациях. Будем помнить, что даже некоторые их недостатки (к примеру, упрямство) — продолжение, или точнее сказать, «издержки» достоинств...

Читатель, вероятно, догадывается, что приведенная выше беседа — не единственная. Это — экстракт. Говорим мы с Георгием Николаевичем о Маринеско при каждой нашей встрече, и эти беседы доставляют мне особое удовольствие, потому что для нас Александр Иванович еще не литературный герой, а просто близкий нам обоим человек, и то, что Георгий Николаевич не был с ним знаком, не слишком нам мешает. Иван Степанович тоже ведь никогда не видел Маринеско. Наши беседы дороги для меня еще тем, что они как бы облегчают тот неизбежный, долгожданный, но всегда тревожный для автора процесс отчуждения, когда написанное мною перестает быть фактом моей личной биографии и становится общим достоянием.

Осталось досказать немного.

Почему я назвал эту главу «Память сердца»? Так называется поисковая группа, созданная по почину

старшеклассников 105-й средней школы города Одессы. Это та самая школа, где учился Саша Маринеско, и нет ничего удивительного, что землякам дорога память о герое. Недавно мне прислали вырезку из одесской газеты. В заметке, озаглавленной «Пам'ять сердца», рассказано о музее, собранном следопытами 105-й, и о хранящихся в нем ценных экспонатах. Причину успеха автор заметки видит не только в энтузиазме ребят, но и в том, что «ім'я Маринеско відкривало чарівним ключем всі двері та сердца».

Прекрасно сказано. Жаль только, что этот чудесный ключ еще до сих пор не подходит к иным заржавевшим замкам. Достойное увековечение памяти героя нужно не ему, оно нужно нам. Подвиг «С-13» еще жив в памяти воевавшего поколения и еще долго может служить примером воинского искусства и отваги для будущих командиров боевых кораблей. Это не пустые слова, десятки юношей выбрали военную профессию, вдохновленные той правдой, которую они узнали о Маринеско, и можно поручиться, что они выбрали свой путь не для того, чтоб повторять его ошибки. Не пришло ли время заново, с учетом всего накопившегося исторического опыта и общественного мнения, положить на чаши весов подвиги и прегрешения Александра Ивановича? И, может быть, пора многое простить? За большие заслуги перед Родиной советский народ прощал грехи более тяжкие. Преданность Александра Ивановича своей Советской Родине может вызывать сомнения только у его врагов, его заслуги — тоже. И не пора ли вспомнить мудрый афоризм, принадлежащий германскому мыслителю XIX века Георгу Лихтенбергу: «Для оправдания человека достаточно, чтобы он жил так, что своими добродетелями заслуживает прощения своих недостатков». Думаю, что Александр Иванович жил именно так. Добродетель — слово старинное, но не умершее, оно по-прежнему включает в себя ум, честность, отвагу и верность. А недостатки — были. За них он уже расплатился сполна, а пожалуй, что и с лихвой. Давайте взвесим еще раз.

И, наконец, последнее. Почему я назвал свою повесть «Капитан дальнего плавания»? Этот вопрос мне уже задавали. Как известно, Александр Маринеско окончил мореходное училище штурманом, затем командовал подводными лодками и, судя по его послужному списку, никогда не ходил в дальние походы.

В дальние действительно не ходил. А в боевые ходил. И повесть назвал так не я, а одесские моряки.

Перечитайте, пожалуйста, текст мемориальной доски на здании Одесского мореходного училища, послуживший мне эпиграфом. Училище это — учреждение гражданское, воинских званий оно не дает. Назвав своего воспитанника капитаном дальнего плавания, одесские моряки оказали ему высочайшую по своим понятиям честь. Стать капитаном дальнего плавания было заветной мечтой юного Саши Маринеско. Мечта сбылась, он им стал. И останется навеки в благодарной памяти земляков.

Имя Маринеско еще долго будет открывать чудесным ключом все двери и сердца.

Тьесы

Глубокая разведка

Комедия
в четырех актах

РОЛИ

АЛЕКСАНДР МАЙОРОВ.

АНДРЕЙ ГЕТМАНОВ — начальник нефтеразведки.

ГУЛАМ ВЕЗИРОВ — его первый заместитель.

МОРИС — геолог.

МЕХТИ АГА РУСТАМБЕЙЛИ — главный инженер.

ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ АНДРЕЯНОВ — буровой мастер.

ТЕЙМУР — инженер, его помощник.

ГАЗАНФАР — чернорабочий.

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ — комендант.

МАРГО — жена коменданта.

МАРИНА ГЕТМАНОВА.

ОЛЬГА ПЕТРОВНА АНДРЕЯНОВА.

КЛАВА АНДРЕЯНОВА — шофер.

ФАТЬМА-ХАНУМ — жена Гулама, радистка.

Отдаленный район Азербайджана.

Нефтяная разведка.

Акт первый — «ДЕНЬ».

Акт второй — «ВЕЧЕР».

Акт третий — «НОЧЬ».

Акт четвертый — «УТРО».

*Действие происходит незадолго
до Великой Отечественной войны.
Между третьим и четвертым актами
проходит полтора месяца.*

Акт первый

День

Квартира начальника разведки в деревянном бараке. Дошчатые не-струганные стены. На всей обстановке отпечаток случайности, временности, как будто здесь еще не начинали жить. На столе разбросанные полотнища диаграмм, рулоны чистой кальки. Старомодный телефон с ручкой. На табурете таз с мыльной водой.

В глубине дверь, ведущая на застекленную веранду. Боковые двери скрыты портьерами из выгоревшего ситца. Беспощадное азербайджанское солнце осаждает барак. Сквозь висящие на окнах влажные простыни, сквозь щели циновок и дыры москитных сеток оно врывается в полумрак комнаты десятками жарких зайчиков. В световых потоках плавают рои раскаленных пылинок. М а р г о в полузабытьи откинулась на спинку стула. Ей около сорока, она опустила и расплнела, но еще очень красива. Ее буйная крашеная шевелюра подхвачена бечевкой, пестрый сарафан расстегнулся на спине.

К о м е н д а н т приготовился диктовать. Пот катится по отполированной коже бритой головы. Он в наглухо застегнутой гимнастерке и высоких сапогах. Его мохнатые брови и литые челюсти имеют очень внушительный вид. М а р и н а вытирает только что вымытые волосы.

В своей белой майке она кажется по-девичьи юной.

Они изнемогают от жары.

К о м е н д а н т (помолчав). Ну, Маргарита! Не перетирай время. Поехали дальше. Так? (Пауза.) Ну-ну, Маргоша. Давай, нажми. (Пауза.) А ну — с новой строчки... Так?

М а р г о. От-стань.

К о м е н д а н т. А я тебе заявляю — есть установка повернуть в штурмовом порядке. Понятно, нет? По распоряжению лично Андрея Михайловича. Всё! Стало быть, кровь из носу, вопрос исчерпан. (Пауза.) Так?

М а р г о. От-стань.

К о м е н д а н т. Тебе же авторитетно разъясняют... Тьфу! Я, Марина Григорьевна, с детства на руководя-

щей работе. С подчиненным человеком я всегда могу толковать, и случая того не было, чтоб он меня не понял. А вот жена — так с ней я хуже затрудняюсь. Стараешься подойти со всей чуткостью, бьешь на то, чтоб человек осознал... Эффект, равный нулю. (*Взглянул на часы.*) Времени — тринадцать часов. Так? Вот и считайте. Сорок второй прибывает из Баку — десять пятьдесят две. Так? Шофер у меня с утра на станции. От станции, через Соленую балку, у нас считают — три часа. Так? Все! Шуточное дело — такая комиссия! Вы думаете, она это понимает? Она этого не понимает.

М а р и н а. Ох, я тоже что-то плохо вас понимаю. Вы извините... (*Смеется.*)

К о м е н д а н т. Не знаю, что вам смешно. Вот вы спите до полдня, а Андрей Михайлович с раннего утра носится — жáру поддает.

М а р и н а. Ну, хорошо, хорошо...

К о м е н д а н т. Вот именно, что ничего хорошего нет. Добро, была бы простая комиссия. Так? Обыкновенная комиссия для нас ничего не составляет. К этому мы привыкли — к обыкновенным.

М а р и н а. А эта — необыкновенная?

К о м е н д а н т. Как? Нет, похлеще. Высокоавторитетная. Имеет от треста все права. Постановят разведку прикрыть — всё! Никакая сила!

М а р и н а. Глупости.

К о м е н д а н т. Извините! Вполне. Пятый год сидим на земле, семь миллионов всадили, а нефти не видели. Теперь подходят очень строго. Маргарита! Воскреснешь, нет? Андрей Михайлович с меня требует. На разведке надо по-военному. Приказано — значит, хоть тут земля провалилась...

М а р г о. Ну и пусть.

К о м е н д а н т. Что — пусть?

М а р г о. Пусть провалится.

К о м е н д а н т. Маргарита! Я с тобой официально говорю.

М а р г о (*открыла глаза*). Да ты что — сбесился от жары? Официально! Очнись! Ты с кем говоришь? Кто я тебе — машинистка?

К о м е н д а н т. Вот это так! Ну-ну? А кто?

М а р г о. Кто? Никто. Жена здешнего коменданта. Все! Стучу одним пальцем, чтобы время убить, а надоест — наплюю и брошу. Официально!

Комендант. Обывательская установка.

Марго. Я и есть — обыватель. Не знал? И успокойся. Ты меня лучше не трогай. Я сейчас либо разревусь, либо начну ругаться, как... персидский амбал¹.

Марина. Ну нет, Марго. Пожалуйста.

Марго. А ну его! Вы подумайте, Мариночка. Он все злится, что я его долдоном зову. А разве не долдон? Вчера вечером захожу я к Морису. Он хороший старик, очень ласковый. Лежит больной, целый день один. Сажу на кровати, плету небылицы, просто так, для смеха. Он тоже про что-то мелет. Вдруг слышу — за окном сапоги поскрипывают. Знакомый такой скрип — что-то родное... Прихожу домой — скандал. Морис — то, Морис — се!.. Попал пальцем в небо! Ревновать тоже надо с толком, а фантазий я знать не хочу. Поймаешь — ну, твое счастье, тогда молчу. Кричи в голос, грози, называй шлюхой, но опять — говори настоящие слова. А о чем он горюет? Авторитет я ему, оказываюсь, подрываю.

Комендант. Маргарита! Ну, ладно... Всё!

Марго. Все равно скажу. Пристал, нет мочи: обещай, что прекратишь с ним всякие встречи. А мне лень спорить. Ладно, говорю, нужны-то вы мне оба. Гляжу, сует мне какую-то бумажку. Я сначала не поняла. Оказывается, он с меня расписку требует.

Марина (смеется). Семен Семеныч! И вам не стыдно?

Марго. Осрамила — так теперь стыдно.

Комендант. Дура — и больше нет ничего.

Марго. Дура? Скажи мне кто другой — я бы обиделась. А ты дурака от умного отличить можешь?

Марина. Марго!

Марго. Дура, дура. Мужики виноваты. На моей жизни умный мужик обязательно либо подлец, или же тряпка. При белых жила я в Ростове, у теток. Девчонкой была совсем. Ну познакомилась с одним. Черт его знает, кто он был. В общем — тип. Слов — полон рот. Называл меня — «белокурая королева Марго». Сволочь! Он-то знал, что я крашенная телка, и больше ничего, а я так весь век и прожила белокурой королевой.

Комендант. Это все — психология.

Марго (не слыша). Была помоложе — так мужики за мной стаями ходили. И от умных столько же проку,

¹ Грузчик, носильщик (азерб.).

что от дураков. Со мной глупели. Ни в чем отказу, — что ни совершь, все мило. Ангел, и тот сгниет. Второй мой муж — с высшим образованием, член и корреспондент каких-то там наук. А я знаю свое: захочу — будет у меня в ногах валяться и жалостные слова молоть. Теперь угомонилась и вижу — перехитрили меня умники. Никто от моей красоты не помер, у всех жизнь дальше катится, каждый при своем деле. Одна я какая-то... *(Неожиданно закрывает лицо руками и начинает громко всхлипывать.)*

Комендант *(спокойно)*. Истеричка.

Марина *(внимательно посмотрела на него, покачала головой)*. Удивительный вы человек. Каждый день вас вижу, а все не могу привыкнуть. Принесите воды. *(Наклонилась над Марго.)* Марго! Маргоша, не надо, милая! Успокойтесь. Все-то вы выдумали... Семен Семеныч, ну где же вы?

Комендант. Иду. *(Вернулся с веранды с кружкой воды в руках. Взял трубку загудевшего телефона.)* У аппарата — комендант поселка. Говорите. Как?.. Слушаю вас, Андрей Михайлович. Тсс! *(Вытянулся у аппарата, забыв про кружку.)* Как? Докладная? Сейчас будет готова. Есть, Андрей Михайлович, я отлично понимаю. Тут объективная причина — жена ревет. А? Разве у них поймешь?.. Как?

Марина *(возмущенно)*. Семен Семеныч!

Комендант. Тссс! Как?.. Машина с утра на станции. Вскоре ожидаю... Сейчас будете? Слушаюсь. *(Кладет трубку, вытирает лоб и механически отхлебывает из кружки. Затем, спохватившись, отдает ее Марине.)* Андрей Михайлович приказал воды горячей приготовить для бритья. Уж вы поимейте заботу. Рубашечку чистую...

Марина. Хорошо, хорошо. Выпейте, Марго. Теперь улыбнитесь. Прошло?

Марго *(улыбнулась)*. Не понимаю, что со мной делается. Жара, наверно. Мехти говорит — от здешней жары даже овцы шалеют. Кружатся, кружатся, а потом хлоп наземь. *(Пьет.)* Фу! Теплая, противная... Из-за тридевять земель возят, и такую дрянь. Весь поселок стонет от этого пойла, и ни одному дьяволу в лоб не вскочит позаботиться. Хамские порядки — только людей злить.

Комендант. Ну, этого мы здесь не будем обсуждать. Так? Надо будет — мне укажут.

Марго (засмеялась). А я разве про тебя, Семен? Тогда молчу. А пить все-таки хочется. (Пьет.)

Комендант (взглянул на часы, ужаснулся). Ты меня зарезала, Маргошка! Комиссия с меня спросит. Так?

Марго. Так, так, так. Не нуди. (Рванула каретку.) Ну, что там дальше?

Комендант. В результате глубокой разведки пластов...

Стук в дверь с веранды.

Кто? Что надо?

Газанфар (появился в дверях. Молодой геркулес с детски добродушным лицом. Одна рука забинтована). Салам! ¹ Начальник есть?

Комендант (важно). Как видишь. Ну, ну? Что надо?

Газанфар. Ты есть — я вижу, да. Елдаш ² Гетманов, Андрей Михайлович, — есть?

Комендант. Нет его. Сколько раз надо говорить, чтоб не шлялись к нему на квартиру?!

Газанфар. Зачем кричать? Ишак кричит — так он говорить не может. Подожду, да. (Вышел.)

Марина. Грубо, Семен Семеныч. Я у себя дома. Никто вас не просил распоряжаться.

Комендант (убежденно). Нельзя, Марина Григорьевна. Иначе вам жизни не будет. Большое дело — Газанфар! Обыкновенный, некультурный кочевник — и больше нет ничего...

Марина. Не кочевник, а кочевник.

Комендант. Это разницы не составляет. Все равно — чудак. Увидал буровую и давай канючить: возьми. Взяли его глину мешать, так он теперь и ест и спит на буровой, чуть ли не молится на эту вышку.

Марго. Не молится, а песни поет.

Комендант. Вчера на «Саре» обшивка загорелась. Ему бы тушитель взять — так? Куда! С голыми руками полез. Ну — спалил лапу. Дикий народ!

Марина. Сами-то вы дикий. Надо уважать людей — понимаете?

Комендант (вздыхнул). Слушаюсь.

¹ Привет (азерб.).

² Товарищ (азерб.).

Марго. Ничего не понял. Давай дальше, Семен.

Комендант. Запятая. Написала запятую? Вычеркни ее к шуту. Пиши: установлено...

Стук в дверь с веранды.

Кто? Что надо?

Голос Майорова. Могу я видеть товарища Гетманова?

Комендант. Нет его. Установлено... вот теперь запятая, что...

Опять стук.

Марина. Войдите.

Комендант *(вскочил)*. Сколько раз надо говорить!.. *(Сталкивается в дверях с незнакомым человеком и отступает.)* Вы откуда, гражданин? Ваши документы?

Майоров *(вошел. Ему лет тридцать шесть. Покрытое темным загаром лицо. Одет в засаленный комбинезон, белый от пыли. Неторопливо оглядел коменданта, потом увидел Марину.)* Марина?!

Марина *(вздрогнула)*. Сашка?! *(Подбежала, порывисто обняла и расцеловала.)* Сашенька!

Майоров *(радостный и слегка смущенный)*. погоди... Ты что здесь делаешь?

Марина *(расхохоталась)*. Что я здесь делаю? Я здесь живу.

Майоров. Постой-постой... Ага — понял. Ты с Андреем?

Марина молча кивнула головой. Пауза.

Комендант. Ваши документы, гражданин.

Майоров. Обождите. Ах, шут вас возьми! Я ничего не знал. Давно?

Марина. Пять лет! Или нет — больше.

Комендант. Ваши документы.

Майоров. Обождите. Я никуда не убегу. Вы же видели — мы целовались.

Марго. Да отстанешь ты, Семен?

Марина. Сашка! Черный, толстый, лобастый какой-то... А грязный! Ты меня всю выпачкал, а я-то намылась... Ты надолго? Вот Андрюшка удивится! Сейчас я тебя буду мыть. Вот тебе таз, вылей, сполосни. На тебе полотенце. Где твои вещи?

Майоров. Там. В этой... как ее... в конторе. *(Идет на веранду.)* Куда выливать?

М а р и н а. Прямо на улицу. Не беспокойся — высохнет. Возьми чайник с керосинки. Сашка! Ты встречал кого-нибудь с нашего курса?

Ответа нет.

Марго! Это Саша Майоров. Сразу поняли? Он чудный парень — я его обожаю. Мы с Сашкой в институте были первые тупицы, а Андрей нас тянул за уши. Ужасно рада. Даже не знала, что могу так обрадоваться. Сашка! Ты где? Иди сюда. Покажись.

М а й о р о в *(вернулся)*. На — смотри. Ну — как?

М а р и н а *(после паузы, медленно)*. Какой ты стал... удивительный. Совсем какой-то другой.

М а й о р о в. Я уже слышал: толстый, лысый...

М а р и н а. Не дури. Я помню, ты был всегда какой-то скованный, напряженный... Вот не могу найти точного слова.

М а й о р о в. Ну, скажем, дубоватый?

М а р и н а. Опять? А теперь ты как-то стал просторнее. Я не умею объяснить. Но ты понял?

М а й о р о в. Приблизительно. Это что — хорошо или плохо?

М а р и н а. Дурень, ну что с тобой говорить. Сашенька! Ты зачем сюда?

М а й о р о в. Работать.

М а р и н а. Честное слово? Андрей будет страшно рад. Ему так люди нужны.

М а й о р о в. Зачем? Толпа народу, а бурят один пятый номер.

К о м е н д а н т. Много, а работать не с кем.

М а р и н а. Познакомьтесь. Семен Семенович — наш комендант. Марго — моя подруга. Майоров Александр... Александр...

М а й о р о в. Гаврилович. *(Взглянул на облачение коменданта.)* Слушайте, зачем вы себя так мучаете? Жарко ведь.

К о м е н д а н т. Военная привычка.

М а й о р о в. Долго ли служили?

М а р г о. Вы меня спросите. В командирской столовой, завхозом, шесть месяцев. И то — выгнали.

К о м е н д а н т. Маргошка!.. Ну, хорошо. Мы поговорим... в другом месте.

М а р и н а *(тихо)*. Слушай, Сашка. У тебя какие-нибудь неприятности?

М а й о р о в. У меня? Нет. Откуда ты взяла?

М а р и н а. Ты извини, пожалуйста. Просто я подумала... зачем тебя — сюда?

М а й о р о в. Здравствуйте! Это говорит разведчик! Армия оказывает солдату честь, посылая его в разведку.

М а р и н а. Это очень красиво звучит. Все это, конечно, верно. Верно — вообще.

М а й о р о в. А что здесь — плохо?

М а р и н а. Сашенька, а что же хорошего? Живем у черта на рогах, ни воды, ни дорог. Джейраны кругом бегают — видел? Такие дикие, что даже машин не боятся. Пустыня. Дни, как стертые пятки, — один похож на другой. Как в ссылке. Что ты улыбаешься? Что-нибудь не так говорю? Ну, конечно. А жара! Такая, что кочевники — и те летом уходят на эти... ну как их... такие горные пастбища, вроде альпийских?

М а й о р о в. На эйлагы.

М а р и н а. Верно — эйлагы. Я забыла. Откуда ты знаешь?

М а й о р о в. Знаю, да.

М а р и н а. Ты говоришь совсем как настоящий бакинец. *(Передразнила.)* Знаю, да.

М а й о р о в. Я и есть настоящий бакинец.

М а р и н а. Ах, если б не Андрей, я бы пешком ушла отсюда. «Елу-тапе»! Мертвая долина. От одного названия можно затосковать. Кочевники говорят — долина несчастий. Легенда какая-то есть. Ты знаешь — похоже на правду.

М а й о р о в. Разведчик впал в мистику.

М а р и н а. Разведчик? *(Отвечая на молчаливый вопрос.)* Я не работаю, Саша. Ты же знаешь, я ушла с третьего курса. Андрей кончил институт, его сразу послали в Баку. И я тоже поехала. Ты не догадался?

М а й о р о в. Нет, постой. Ты мне говорила, что едешь на год. То ли в Сальск, то ли в Ейск? У тебя заболела мать...

М а р и н а. Я и думала — на год. А вышло — совсем. *(Нервно.)* Марго! Знаете что — переезжайте туда, ко мне. Здесь мы вам мешаем. Семен Семенович, помогите же ей.

Комендант и Марго переносят машинку в соседнюю комнату.

Не знаю, зачем я солгала тебе насчет матери. Глупо.

М а й о р о в. А здесь вы давно?

М а р и н а. Почти год. Ты знаешь — у Андрея выговор.

М а й о р о в. За что?

М а р и н а. Я не очень понимаю. Андрей тебе лучше объяснит. Для меня до сих пор все очень странно. Он работал в Баку начальником промысла. Был страшно увлечен, вдвое перевыполнял план, должен был получить повышение. Вдруг его снимают, записывают выговор — знаешь за что? За хищничество. Ты подумай! Смешно. Просто зависть, интриги. Теперь загнали в эту страшную дыру...

М а й о р о в. Андрей опротестовал выговор?

М а р и н а. Нет. Ты ведь знаешь, какой он. Признал себя виновным и даже мне грубит, когда я возмущаюсь. Ты что-нибудь понимаешь?

М а й о р о в. Так, может быть, он на самом деле был виноват?

М а р и н а. Андрюшка — хищник?!

М а й о р о в. Видишь ли... В нашем деле это слово имеет особый смысл. Бывает, что люди хотят блеснуть и начинают грабить недра. А природа халтуры не терпит. Нынче — двести процентов, а через полгода скважина истощена — и все к черту.

М а р и н а *(задумалась)*. Я понимаю. *(Быстро.)* Сашка! Чайник кипит, марш мыться, разговоры потом.

М а й о р о в *(бросился на веранду, слышен грохот таза, плеск воды и фыркание)*. Маринка!

М а р и н а. Что?

М а й о р о в. Хорр-ро-шо!

М а р и н а. Дурень. Слушай, Сашка. Скажи честно — ты что-то знаешь?

М а й о р о в. Ой!

М а р и н а. Что ты?

М а й о р о в. Мыло в глаза.

Г е т м а н о в *(стремительно вошел. Ему лет тридцать. Он очень четок и быстр)*. Приехали?

М а р и н а *(все еще задумавшись)*. Кто, Андрюша?

Г е т м а н о в. Как — кто? Комиссия. Мехти вернулся?

М а р и н а. Нет еще. Послушай, Андрюша...

Г е т м а н о в. Стоп, некогда. А чья машина стоит у конторы?

М а й о р о в *(с веранды)*. Моя.

Г е т м а н о в. Кто это?

М а р и н а. Не угадаешь. Саша Майоров.

Г е т м а н о в. Что ты говоришь?! Саша! Ты с поезда?

М а й о р о в. Здравствуй.

Гетманов. Что?

Майоров. Во-первых, здравствуй.

Гетманов. Извини, Саша. Тут голову потеряешь. Ты с поезда?

Майоров. Да нет же — на машине.

Гетманов. Прямо из Баку? Однако ты — героический мужчина. Один?

Майоров. Один.

Гетманов. Работать?

Майоров. Именно. (*Появился в дверях. На нем отличный светлый костюм.*)

Гетманов (*обнял его*). Ну, здравствуй. Очень рад. Скажи пожалуйста, какой костюм! А диплом у тебя есть? Инженер? Слышишь, Марина? Поздравляю. Ты мне нужен. Надоело тащить этот воз одному.

Майоров. Как — одному? А заместителя нет?

Гетманов. Три.

Майоров. Вчера один из твоих пытался вырвать у треста семьсот метров буровых труб сверх лимита. Крупный наглец.

Гетманов. А, Мехти! Как инженер — не горяч уголек, но это — может. Мехти — еще туда-сюда. Другой — геолог — тот просто сумасшедший.

Майоров. Весело. А кто первый заместитель?

Гетманов. Везиров Гулам. Мой выдвиженец. Азербайджанец, орденоносец, из буровых мастеров. Все качества.

Майоров. Толковый?

Гетманов. Что? Ты Мехти видел? Так вот, Мехти — Бисмарк против моего Гулама.

Майоров. Весело.

Гетманов. Увидишь, что здесь за публика. И всю эту банду нужно держать в руках. До меня здесь черт знает что делалось. Кладбище. (*Схватил чертеж.*) Вся надежда на «Сару».

Майоров. Кто это «Сара»?

Гетманов. Марина, есть вода? Рубашку — после. Я потный, как... как не знаю кто. Самому противно. Что ты говоришь, Саша? Кто такая «Сара»? Угадай. «Сара» — это буровая. Пятый номер. Заложена в день, когда у нашего Гулама родилась дочка. Тоже — Сара. Вот смотри. Когда я пришел сюда, было пробурено шестьдесят метров. А на сегодня пройдено около двух тысяч. Подходим к проектной глубине. Если все — тьфу, тьфу — будет в порядке, я ставлю рекорд скоростного

бурения в условиях глубокой разведки. Понимаешь, чем это пахнет? Семен Семеныч!

Комендант *(высунулся)*. Слушаю, Андрей Михайлович.

Гетманов. Докладная готова?

Комендант. Сейчас будет готова.

Гетманов. Копаются. Давайте пока приказ об увольнении этого пьяницы... как его... Курочкина. Марина! Срочно — бриться. Ты извини меня, Саша. Откровенно сказать — не до тебя. Ты меня поймешь.

Майоров. Уже понял. Пожалуйста, обо мне не беспокойся.

Гетманов. Располагайся как дома, отдохни, почитай что-нибудь. А насчет того, куда тебя определить, я что-нибудь придумаю.

Комендант приносит бумаги.

Так, так, так... Правильно. Курочкин — а пьет. Сухой закон на разведке еще никем не отменен. Стоп! Что сие значит?

Комендант. Как?

Гетманов. Почему вы изволите подписываться — начальник комендатуры? Что это за новости? И откуда у нас в поселке взялась комендатура?

Комендант *(смущен)*. Я полагал... так будет авторитетнее.

Майоров сдавленно фыркнул.

Гетманов. Вздор. Исправьте. Вы — прелестный комендант, но вам недостает юмора. *(Пауза.)* Ну, что вы надулись?

Комендант. Андрей Михайлович, если с моей стороны есть какие недостатки или упущения, — укажите. Так? А зачем же при посторонних?

Гетманов *(засмеялся)*. Это не ваше упущение, Семен Семенович. Юмор — это уж, так сказать, от бога. Не обижайтесь.

Комендант вышел.

Тоже — номер! *(Увидел входящего Газанфара.)*

Что тебе, Газанфар? Быстро.

Газанфар. Салам, елдаш начальник. *(Подает бумагу.)*

Гетманов. Салам. *(Просматривает бумагу.)* Стоит научить человека грамоте — первым делом он

пишет заявление. Шучу. Значит — в бурильщики? Понимаю. Вместо Курочкина? Не рано ли, Газанфар?

Г а з а н ф а р (*умоляюще*). Елдаш начальник... Менелюм¹.

Г е т м а н о в. Вижу — не терпится. Надо подумать. Черт! Момент-то уж очень ответственный. Последние дни. Ты не боишься, Газанфар?

Г а з а н ф а р. Меня Теймур учил. Зачем бояться? Могу тормоз держать лучше твой Курочкин. Ты свое дело знаешь — разве ты боишься?

Г е т м а н о в. Вот что — с этим к Гуламу. Его компетенция — пусть решает. Понял? До свидания.

Г а з а н ф а р. Вот Гулам пришел.

Г у л а м (*вошел. Он худ и невзрачен. Лет около сорока. Одет в рабочий комбинезон. Говорит тонким голосом*). Салам, Андрюша!

Г е т м а н о в. Салам! Знакомься, Саша. Гулам — моя правая рука. Один из лучших мастеров на Апшероне. Ты почему орден перестал носить? А, Гулам?

Г у л а м (*угрюмо*). Так.

Г е т м а н о в. Надень. Обязательно, слышишь? А почему тебя в конторе никогда нет? Вот все и лезут ко мне.

Г у л а м. Я на «Сару» ходил.

Г е т м а н о в. Зачем? Там без тебя люди есть. Говоришь ему, говоришь, а отвернешься — он контору запер и шашть... (*Передает бумагу.*) На, решай...

Г у л а м (*прочел, взглянул нерешительно на Гетманова*). Можно, Андрюша?

Г е т м а н о в. Вот ты и решай. В своей сфере — ты полный хозяин. (*Пауза.*) Если хочешь знать мое личное мнение... В общем — подумай.

Г у л а м (*поколебавшись, виновато взглянул на Газанфара*). Нельзя. Бери бумагу.

Г а з а н ф а р. Ай, Гулам! Зачем нельзя?

Г у л а м. Нельзя, да.

Г е т м а н о в. Стоп, Гулам! Разрешил — напиши. Отказал — тоже напиши. Это документ. Приучайся.

Г у л а м (*мрачно вздыхая, пишет резолюцию*). Нельзя, дорогой.

Газанфар молча уходит.

¹ Непереводимое. Вроде — умоляю (*азерб.*).

Гетманов. Как знаешь. Собственно говоря... Впрочем, тебе видней.

Гулам (решившись). Андрюша! Я пришел тебе сказать... Освободи меня. Не могу — даю честное слово.

Гетманов. Опять. Нашел время. Не болтай чепухи.

Гулам. Я опять ночь не спал — даю честное слово. Дай мне буровую, дай бригаду — я тебе рекорд сделаю. Что хочешь требуй — головой буду отвечать. А этого я не могу — бухгалтерии, канцелярии. Боюсь — я честно говорю. Так боюсь, как вот — маленький был — злого духа боялся.

Гетманов (Майорову). Видал? (Гуламу.) Чудак. Привыкнешь. Что, я тебе не помогаю?

Гулам (уклончиво). Я ничего не говорю. Конечно, помогаешь.

Гетманов. Советую?

Гулам. Советуешь, конечно...

Гетманов. Стоп! Поддерживаю?

Гулам. Я тебе очень благодарен.

Гетманов. Ну?

Гулам (упрямо). Менелюм, я тебя очень прошу, Андрюша.

Гетманов. О-ох! Ну, не приставай. (Поставил зеркало рядом с телефоном. Намылil лицо и взял трубку.) Контора? Это вы, Фатьма-ханум? Вернулась машина? Нет? Что?

Теймур (заглянул в дверь. Молодой парень, курчавый и быстроглазый. Он тянет за рукав упирающегося пожилого мастера. Мастер солиден. В его бритом, мягком лице и всей фигуре сквозит ощущение собственного достоинства). Иди, Иван Яковлевич! Маэстро! Я тебя прошу. Иди, пожалуйста.

Иван Яковлевич (упираясь, ворчит, по-ярославски окая). Оставь, Тимка. Сказал — оставь. Не буду я говорить. Все уже говорено. У меня тоже — са-молюбие.

Теймур. Э, не будь мальчиком, знаешь.

Иван Яковлевич. Отпусти рукав. У меня дети старше тебя. Кому я говорю? Мальчишка!

Теймур. Э-э! Давай будем уважать друг друга.

Гетманов (в телефон). Хорошо. Приедут — сразу же звоните. (Бросил трубку.) А! Ты мне нужен, Теймур.

М а й о р о в . (обернувшись). Теймур?!

Т е й м у р . Али! (Отпустил мастера и бросился обнимать Майорова). Здравствуй, отец.

М а й о р о в . Ты здесь? Слушай, где старик?

Т е й м у р . Старик тоже здесь. Мы с маэстро Иван Яковлевичем вместе при всех обстоятельствах жизни.

И в а н Я к о в л е в и ч (появился). Кто — старик? Я те дам старика! Здорово, сынок! Покажися. Вид у тебя очень прелестный. Конечно, не так чтоб молоденький...

Целуются.

Г е т м а н о в . Как? Ты его тоже знаешь?

М а й о р о в . Настоящие разведчики, как старые морские волки, все знают друг друга.

Т е й м у р . Пойдешь к нам на «Сару», Али? Вот это будет бригада: маэстро, ты, я, еще есть замечательный парень — Газанфар. Четыре поколения разведчиков. Между прочим, уважаемая дирекция, с Газанфаром будет конец? Ну, утвердили?

Пауза.

Г у л а м (мрачно). Нет.

Т е й м у р . Почему?

Г у л а м . Подождем, да.

Т е й м у р . Я поражаюсь — что такое с тобой стало, дорогой Гулам? Скажи — ты разведчик, большевик или чиновник? Что подождем? Кого подождем? Человек пришел с кочевки, вырос у тебя на глазах, работает как буйвол... Что тебе еще надо? Хочешь, чтоб обратно ушел — баранов гонять? (Рассердился.) Саол¹, не надо ничего. Сегодня ставлю Газанфара к тормозу, под свою личную ответственность.

Г е т м а н о в . Тихо, тихо. Только без самоуправства. Вырастить местные кадры надо — это дважды два, и никто с тобой не спорит. Возможно, в данном случае Гулам чего-то недодумал.

Г у л а м . Андрюша! Разве я...

Г е т м а н о в . Помолчи. И все-таки я обязан заступиться за Гулама. Гулам сам выдвиженец, он учится руководить. Я могу отменить его решение, но что тогда получится? Выходит: одной рукой я создаю ему авторитет, а другой его подрываю. Вот сдадим «Сару», через

¹ Хорошо (азерб.).

пару недель решится вопрос о новых скважинах — пусть подает заявление. Правильно, Гулам?

Гулам. Конечно.

Гетманов (*Теймуру*). Правильно я ставлю вопрос?

Теймур. С одной стороны — правильно...

Гетманов. Инцидент исчерпан. И прошу тебя проследить, чтобы в эти дни на «Саре» стояли у тормоза только опытные бурильщики. Ясно? (*Вытащил из стола папку.*) Теперь я тебя буду ругать. (*Майорову.*) Куда ты, Саша? Ты нам не мешаешь.

Марина (*уводя Майорова*). Зато вы нам мешаете.

Уходят.

Теймур. Ругать? Я думал — хвалить. Ты смотрел наш проект?

Гетманов. Очень внимательно.

Теймур. Мы с маэстро Иван Яковлевичем возлагаем большие надежды на твою поддержку.

Гетманов. Кажется, я их не оправдаю. Вредная затея, Теймур.

Пауза.

Иван Яковлевич (*махнул рукой*). Эх! Говорил я тебе...

Теймур. Ты не торопись. (*Гетманову.*) Можно узнать — почему?

Гетманов. Скажу. Я должен тебя предостеречь от серьезных ошибок. Ты молодой инженер, молодой парторг, горяч и можешь, не разобравшись, наломать дров. По поселку уже ходят слухи, что «Сара» под угрозой аварии, чуть ли не на краю гибели. Что Мехти-де загубил скважину, а я затираю проект, указывающий единственный путь к чудесному спасению. В ответственный момент, когда решается судьба разведки, кому-то нужно порочить Мехти, меня, Гулама и сеять обывательскую панику. Объективно — это вражеское дело.

Теймур. Э, только не надо пугать. Побеседуем спокойно. Скажи, есть на «Саре» кривизна? Я только хочу знать — есть или нет?

Гетманов. Я тебя вызвал не для того, чтобы ты мне задавал вопросы.

Теймур. Саол. Это правильно. А все-таки — есть?

Гетманов. При глубоком бурении незначительное искривление скважины неизбежно. И вообще — мне

надоела твоя демагогия! До нефти осталось пройти каких-нибудь полсотни метров. По-вашему, я должен остановить все работы, потерять триста метров проходки, потерять рекордные сроки. Для чего?

Теймур. Для чего? Здесь написано. Для того, чтоб выпрямить скважину, которую запорол твой дорогой Мехти.

Иван Яковлевич. Погоди, Тимка. Не лезь. Я, Андрей Михайлович, окончил двухклассное училище в городе Ярославле в одна тысяча восемьсот девяносто третьем году. В науке слаб. Но если трубы в забое трутся, я это прелестно вижу. Кривизна есть большая, и день ото дня хуже. Почему у Мехти Агеича на цифрах иначе выходит, — этого я не могу вам объяснить. Но — добра не жду. И трубы надо сменять — это хоть кого спросите.

Гетманов. Трубы будут. Мехти обещал достать. *(Прищурился.)* Трусите, мастер? Все аварии мерещатся?

Иван Яковлевич. Я не за себя боюсь, если желаете знать. Полста метров, с опаской, я и со старыми трубами пройду. Я вам так скажу — кривизна, она навсегда себя потом оказывает. Нынче вы скважину сбыли с рук — а через год обязательно она вам сюрприз поднесет. Самый пакостный.

Гетманов. Я не понимаю одного — вы-то чего хлопочете? За повторное бурение трест не заплатит вам ни копейки.

Иван Яковлевич *(приподнимаясь)*. Это вы без шуток говорите?

Гетманов. Кажется, вы приуныли, мастер? То-то и оно. Знаю я вас. Скажу больше, теряете рекорд — теряете премию. Устраивает?

Иван Яковлевич *(медленно)*. Вот из-за этого, Андрей Михайлович, я и не люблю с вами говорить. Я тридцать пять лет в разведке, и никто меня так не обижал. Меня нобельский приказчик грязной свиньей ругал — зло меня брало, а обиды не было. Безобразно вы о человеке судите. Теперь делайте, как знаете, — я вам слова не скажу.

Гетманов. Ну, хорошо, хорошо. Прекратим разговор.

Теймур. Пожалуйста.

Гетманов *(вдруг вспыхнул)*. Без угроз, пожалуйста. Ты вчера кончил институт и уже хочешь делать политику. Не выйдет!

Теймур. Э, давай будем уважать друг друга. Он — шкурник, я — карьерист, зачем так думать?

Гетманов. Я этого не говорил.

Теймур. А я никому не угрожал.

Иван Яковлевич. Ну, я пойду. *(Идет к двери.)*

В это время на веранде топот ног и возбужденный голос.

Морис. Эт-то возмутительно! Эт-то потрясающе! *(Ворвался в комнату. Широкоплечий, сутулый человек лет пятидесяти. Обветренное с резкими крупными чертами лицо, глаза разбойника из детской сказки и гудящий хриплый бас астматика.)* Это черт его знает что такое! Я бы подобных субъектов лично расстреливал пулеметными очередями! Без всякой жалости!

Гетманов. Начинается бедлам. Спокойно, Морис. То же самое, но в два раза тише. Что-нибудь случилось?

Морис. Да! Да! Вот именно. Эт-то невероятно!

Гетманов *(вздрогнул)*. Вы шутите.

Морис. Конечно — я шучу! Это гомерически смешно! Стоит мне свалиться, и все начинает идти вверх ногами. А Мехти Ага сидит в «Новой Европе» на крыше, пьет аперитив со льдом и плюет на все с девятого этажа.

Гетманов. Стоп, стоп, не надо бросаться словами. И не устраивайте паники. Можно подумать, что случилась авария.

Морис. Нет еще. Пока еще нет! Я хочу знать, какой грязный прохвост делал последний замер кривизны на «Саре»?

Гетманов. Тише, тише. Замер делал Мехти. Допустим, он не точен. Это еще не основание лезть на стену.

Морис *(вытаскивает смятые записки)*. Смотрите! Если вы разведчики, вы должны видеть. Куда вы, мастер? Я хочу, чтоб вы посмотрели.

Иван Яковлевич уходит.

Мехти Ага делает чудеса, кривизна не прогрессирует, а становится меньше. Это не лезет ни в какие ворота! Я берусь доказать любой комиссии из юных пионеров, что замер производил не инженер, а налетчик. Это чудовищное вранье! Если Мехти не умеет работать с аппаратурой, так я сам буду это делать. Он запретит мне скважину, этот ваш красавец. Я требую — слышите, требую — остановить на «Саре» все работы и сделать точный замер по Шлюмберже. Вы что хотите — аварию?

Гетманов. Я хочу, чтоб прекратилась склока. Не

проходит дня, чтоб вы не грызлись. Я не могу остановить буровую только потому, что у вас какие-то счета.

Морис. Эт-то чудовищно! Я шесть лет, как сукин сын, роюсь в этой земле. Я вижу ее насквозь с закрытыми глазами. И меня даже не спрашивают! Я здесь не нужен! К чертовой матери — я уеду отсюда. Дайте мне бумаги — я сейчас же могу написать заявление. (*Садится к столу и быстро пишет.*)

Гетманов (*улыбаясь*). Это, кажется, двенадцатое.

Морис. Последнее. Не думайте, пожалуйста, что Морис пошумит и отойдет. Нет! Я вам не игрушка. Мне пятьдесят лет! Если вы опять разорвете заявление, я напишу снова, я не выйду на работу — можете делать что хотите. (*Подает листок.*) Вот, пожалуйста.

Гетманов (*меняет тон*). Кажется, я теряю терпение, Морис. Раньше я относил все эти вопли и демонстрации исключительно за счет вашего анархического темперамента...

Морис. Да! Да! Я был анархо-синдикалистом! Был! Две недели в своей жизни. Это у меня болит до сих пор, хотя после этого я прожил еще тридцать лет. Зачем вам нужно каждый раз об этом вспоминать?

Гетманов. Вы сами об этом напоминаете. Но это к слову. Я вижу — вы сознательно ищете предлог, чтоб уйти.

Морис. Я?! Предлог?!

Гетманов. Да, предлог. А как еще прикажете вас понимать? Вы открыли «Елу-тапе». Вы первый сказали вслух, что здесь нефть.

Морис. Да! Да! Я это сказал!

Гетманов. Так платите по векселю. Вы прекрасно знаете, что, если «Сара» не даст нефти, никто не позволит вам закапывать в землю новые миллионы. «Сара» — ваша последняя ставка. А вдруг — пшик? Вот этого вы и боитесь.

Морис (*опешил*). Вы говорите чудовищные вещи!

Гетманов (*веско*). Подумайте над вашим заявлением. При создавшейся конъюнктуре оно очень скверно может выглядеть... политически.

Морис. Вы не имеете права так дурно меня понимать! Разведка — мое кровное дело! Я не наемник, а большевик, черт вас возьми! Я был бы в партии, если б не моя дурость, которая мне стоит много крови и без ваших намеков. (*Задохнулся, взмахнул руками и выро-*

нил принесенную с собой склянку. Из разбившейся склянки потекла глина.)

Теймур и Гулам молча усадили Мориса на стул.

Марина (выглянула на шум). Что случилось? Зачем вы встали, Морис? Вам надо лежать.

Гетманов (мягче). Идите домой, Матвей Леонтьевич. Будем считать, что ничего не произошло. Отдохнете — будем работать.

Морис. Хорошо. Я остаюсь. Вы правы. Вы всегда правы.

Марина. Хотите воды?

Морис. Спасибо, голубка. (Целует ей руку.) Спасибо. (Пьет.) Я, наверное, вас перепугал своими воплями. Вы знаете, раньше в каждом глухом местечке был свой городской сумасшедший. Так вот я — здешний сумасшедший. (Наклонился к осколкам.) Погибла свежая проба. (Озирается, увидел стеклянную банку.) Детка, вам нужна эта банка? Отдайте ее мне.

Марина (смеется). Там же еще компот.

Морис. Черт с ним — я доем. Отдаете? Чудная вы женщина. А я... я больше не буду шуметь.

Гетманов. Ну и отлично. Семен Семеныч! Готово?

Комендант (выглянул). Сейчас будет готово.

Гетманов (Морису). Ну, что говорит проба?

Морис. Проба говорит, что нужно менять буровые трубы. Вот, смотрите, это железные стружки. Да! Не забудьте включить в докладную, чтоб нам увеличили проектную глубину на двести метров.

Теймур. Двести метров!

Гетманов. Вы с ума сошли, Морис! Это невозможно.

Морис. Вздор! Если через двести метров мы не вскроем нефтеносного песка, значит, я старый болван и мне место в богадельне.

Автомобильный гудок.

Гетманов. Хорошо. Мы еще поговорим. Прошу товарищей меня извинить. Сейчас я буду занят.

Комендант (не выдержал). Граждане! Сколько раз надо говорить!..

Гетманов. Семен Семеныч, я здесь. Не увлекайтесь.

Клавва (вбегает. На ней шоферская куртка, штаны

и сапоги. Юная, растрепанная и злая как ведьма). Андрей Михайлович, я к вам! Это же чистое безобразие...

Гетманов. Кто приехал, Клава?

Клава. Мехти. Полюбуйтесь — рогатого привез.

Гетманов. Что за чепуха! Какого рогатого?

Клава. Мехти моду взял на машине за джейранами гонять. Говорю — запрещено, а он ржет. Для него законы не писаны.

Гетманов. Ничего не понимаю. А где комиссия?

Клава. Не знаю — не видала. Вы хоть увольняйте меня, а я так работать не буду. Обучила всех машину водить, так теперь житья нет. Кого ни повезешь, чуть отъехали — Клавку от руля долой. Все лето как дура катаюсь. Разговоры всякие, конфетами кормят. Что я — барышня для прогулок? Я — рабочая. Вы скажите Мехти, чтоб он ко мне не лез, а то у меня есть один человек, так он на него не посмотрит.

Хохот.

Теймур *(очень смущенный)*. Клава, прошу тебя. Ты уже не девочка.

Мехти *(появляется в дверях. У него вид стареющего красавца бонвивана. Седящие виски и черные усики. Яркий сиреневый костюм. За ним на палке внесли тушу убитого джейрана)*. Салам. *(Клаве.)* Ты все кричишь, малявка? *(Марине.)* Каюсь — я убил. Клянусь честью, было невозможно утерпеть. Повергаю этого джейрана к вашим ногам и молю о защите. Не смею взглянуть в глаза вашего уважаемого супруга.

Гетманов. Ты когда-нибудь нарвешься, Мехти. Я вовсе не намерен за тебя отвечать.

Мехти. Не кричи на меня. Подумаешь! Клянусь, я не понимаю, как можно видеть джейрана и держать в голове все эти обязательные постановления. Для пустыни они не годятся. В пустыне действует закон: что видят мои глаза — все мое. Мои предки были охотники. Это в крови.

Теймур. Первый раз слышу, чтоб феодалы охотились на казенных машинах.

Гулам. Безобразие, даю честное слово.

Мехти. Хорошо, я хищник, браконьер. Посадите меня в тюрьму. Сегодня вы все будете есть шашлык и пить за мое здоровье. Я привез дюжину рислинга. Сухой закон требует сухого вина. Вы глухие люди, клянусь

честью. Слава стучится в ваши двери, а вы поносите ее гонца. (*Потрясает в воздухе газетой.*) А это видели?

Гетманов. Есть статья, Мехти?

Мехти. Сто строк. Бронза и мрамор. О перспективах развития «Елу-тапе». О скоростном бурении на «Саре». И о тебе. «Нужно надеяться, что с приходом молодого и энергичного руководителя, смело выдвинувшего...» и всякие прочие подобающие слова. Это наша победа, клянусь честью!

Гетманов. Тихо, тихо! Не увлекайся. Дай сюда газету.

Все окружают Гетманова, просматривающего газету.

Мехти (*вошедшей Марго*). Зайдешь сегодня?

Марго (*тихо и зло*). Нет.

Мехти. Почему?

Марго. Потому что ты — дрянь. Пристаешь к Клавке, выкаблучиваешься перед Мариной. А меня ты стесняешься. Я для тебя — на всякий случай.

Мехти. Психологические разговоры. Это на тебя не похоже, Маргоша.

Марго. Пусть — не похоже.

Гетманов (*отдал газету*). Читайте. Отличная статья. Где же комиссия, Мехти?

Мехти. Не понимаю. Мы должны были выехать вместе. Можно тебя на минутку? (*Тихий разговор.*) Теперь что хочешь со мной делай. Можешь меня повесить.

Гетманов. За что?

Мехти. Ты наивный человек, клянусь небом. Я тебя настолько уважаю, что не посмею солгать. Пришлось повести восточную политику. Нашел своего парня, посидели мы с ним в «Европе» — наутро была статья.

Гетманов. Мерзавец твой парень.

Мехти. Клянусь тебе, я сам это глубоко ненавижу. Азия, мой друг. Иначе ничего не сделаешь.

Гетманов. Ладно. Я скажу Гуламу — он оплатит. Трубы достал?

Мехти. Нет.

Гетманов. Нет?

Мехти. Катастрофа, клянусь честью! Ты же знаешь Исаева. Он бы для меня все сделал. Сунулся к нему в кабинет, а на его месте сидит какой-то незнакомый субъект.

Гетманов. Кто такой?

Мехти. Не знаю... Хам исключительный. Его фамилия... *(Вспоминает. Его глаза остановились на Майорове, вошедшем с книгой в руках.)* Слушай, Андрей. Это он.

Гетманов. Кто?

Мехти. Он. Вот этот.

Гетманов. Ты что-то путаешь. Не может быть.

Мехти. Клянусь тебе честью.

Гетманов. Как глупо. *(Громко.)* Саша!

Майоров. Я — Саша.

Гетманов. Послушай, ты — главный инженер?

Майоров. Я главный инженер.

Гетманов. Что же ты молчал?

Майоров. А ты меня спрашивал?

Гетманов. Черт знает что такое! Марина! Ты знала?

Марина. О чем?

Майоров. Комендант был прав. Надо предъявлять документы.

Гетманов *(взглянув на бумаги, обращается к присутствующим почти торжественно)*. Товарищи! К нам приехал наш хозяин, главный инженер и заместитель управляющего трестом товарищ Майоров.

Клава *(тихонько)*. Ой! Дядя Саша!

Майоров. Объясните мне, почему у вас всех такой натянутый вид?

Пауза.

Понимаю. Ждали комиссию?

Гетманов. Откровенно говоря, да.

Майоров. Ладно же. Если я выгоню своего секретаря, не жалейте его. Он поставляет вам несвежую информацию. Комиссию я отменил еще вчера. *(Захохотал.)* А ты помолодел от бритья, Андрей. Такой же, как был раньше. Помнишь, как мы ночью перед зачетом варили вермишель в чайнике?

Гетманов *(улыбнулся)*. Да. Что-то такое было...

Майоров. У меня хорошая память, Андрей. Ты мне здорово помог тогда. Этого я никогда не забуду.

Мехти. Для нас ваше мнение будет исключительно ценно. Вы, конечно, обследовать?

Майоров. Работать. Здравствуйте, товарищ Рустамбейли. Мы с вами знакомы.

Мехти. Имели даже маленькое столкновение. Дол-

жен сказать, — вы человек с большим характером. Я уже трепещу.

М а й о р о в. А есть причина?

М е х т и. Нет — привычка. Здесь было десять комиссий, и каждая начинается с меня. Я, так сказать, здешний несменяемый классовый враг.

Г е т м а н о в. Вздор, Мехти.

М е х т и. Я не жалуюсь. Это справедливо. Сын бека, за границей дядю имеет, общественной работы не ведет — что за человек? Так, Теймур?

Теймур молчит.

Характер, к сожалению, тоже плохой, скандальный характер.

Г е т м а н о в. Ну, довольно, довольно, Мехти.

М е х т и. Молчи, пожалуйста. У тебя характер еще хуже моего. Клянусь честью — вот единственный человек, который меня умеет угнетать. Ругаюсь с ним, до крика дохожу, но... *(Разводит руками.)* Конечно, нужно признать — волевой человек. В Азии любят твердую руку.

Г е т м а н о в. Ну, Мехти. Я сказал — довольно.

М е х т и. Молчу. *(Майорову.)* Так что загляните в мое личное дело. Советую.

М а й о р о в. Для инженера личное дело — это его буровая. Клабочка! На тебе ключ — пригони сюда мой шарабан.

Клава выбегает.

Ты не возражаешь, Андрей?

Загудел телефон. Гетманов взял трубку. Пауза.

Г е т м а н о в *(хрипло)*. Да. Что? Что? Не слышу... *(Крутит ручку телефона.)* Дайте «Сару». Да-да... Испорчен? *(Выпускает из рук трубку.)*

М о р и с. Что на «Саре»? Авария? Обвал? Да? Да? Говорите — здесь же не истуканы, а живые люди! *(Бросается к трубке.)* Алло! Алло!

Г е т м а н о в. Вздор. Не может быть. *(Шатаясь, бежит к выходу и сталкивается с Газанфаром.)* Ты откуда? Что там? Говори.

Г а з а н ф а р *(умоляюще)*. Елдаш начальник! Менелюм, не сердись, пожалуйста... *(Протягивает ему заявление.)*

Г е т м а н о в. Говори! Авария?!

Газанфар (изменился в лице). Авария?! (Обводит глазами встревоженных людей и, вдруг поняв, что случилось недоброе, закрывает лицо руками.)

Гетманов (вне себя, трясет его за плечи). Это ты виноват, негодяй. Кто тебя допустил к тормозу? Я знал, чем это кончится. Ты хотел быть бурильщиком, тупая сила? А теперь ты пойдешь под суд. И не ты один. Все — старик, Теймур, вся банда!

Гулам. Оставь его, Андрюша. Ты за это ответишь, даю честное слово.

Теймур. Прекрати немедленно!

Марина. Успокойся.

Марго (истерически). Не трогайте его — он раненый. Андрей Михайлович!

Мехти. Газанфар тут ни при чем. Ты погорячился.

Гетманов (отрезвел). Так что же ты дрожишь? Что ты ревешь, я тебя спрашиваю?

Газанфар. Жалко, да.

Гетманов (с удивлением воззрится на Газанфара). Идиот, что ли? (Бросается к телефону.)

Сирена автомобиля.

Майоров. Едем на «Сару».

Мехти, Морис, Гулам и Теймур выходят.

Товарищ Газанфар, хочешь ехать со мной? Мы тебя ждем, Андрей.

Гетманов (бросает трубку). Иду.

Майоров, Гетманов и Газанфар выбегают. Хлопает дверь. От удара обрушиваются занавеси на окнах. В комнату врывается солнце. Сквозь стекла веранды виден залитый горячими лучами величественный и строгий пейзаж пустыни и туманные от непереносимого блеска очертания стальной вышки.

Марина (смотрит вдаль). Гиблое место. Можно сойти с ума от этой пустыни, от этого осатаневшего солнца.

Комендант (помолчав). Ну, Маргарита. Не перетирай время. Поехали дальше. Тьфу! Забыл спросить, за чьей подписью пойдет докладная записка.

Конец первого акта

Акт второй

Вечер

Огромная дымно-оранжевая луна встает над поселком. Песчаная площадка перед жилым баракom. Сбоку — застекленная веранда Гетмановых, в центре — широкое крыльцо. У крыльца врыты в землю дощатый стол, узкая скамейка и столб с электрическим фонарем. Фонарь мигает: то светит вполнакала, то чуть брезжит. На крыльцо вышла Ольга Петровна — пожилая, сурового вида женщина, речью и повадкой очень похожая на Ивана Яковлевича. От Гетмановых вышел комендант с пишущей машинкой в руках.

Ольга Петровна. Эй, начальник! Ты опять нас без света морить будешь?

Комендант скрылся.

Ишь, долдон. Уж до того раздулся, что и ответить тяжело.

Марина (*выглянула. В руках книжка*). Ольга Петровна, наши не вернулись?

Ольга Петровна. Жду. Третий раз самовар греется. Миленькая, покрутите им на «Сару». Ведь это что же — с утра не евши.

Марина. Я звонила. Говорят, уехали.

Ольга Петровна. Сашка-то хорош! Вернется — уши оборву. Еще ко мне не являлся, а уж всюду поспел.

Марина. А вы давно Сашу знаете?

Ольга Петровна. Не так давно. Хотя лет, наверное, двадцать. Еще Клавки на свете не было.

Марина. Он очень изменился. Очень.

Ольга Петровна. Ну, измениться он не смеет. Мы с Иваном ему как родные были. Будет нос драть — выгоню.

Марина. Что вы, Ольга Петровна. Вы меня не поняли.

Ольга Петровна. А не поняла — так слава богу. Миленькая, ну что там на «Саре»? Выходит, со-слепу в набат ударили?

Марина. Да, кажется.

Ольга Петровна. Ну скажи на милость, только зря народ перебулгачили. Андрей Михайлович как ош-паренный выскочил.

Марина. Да. Он очень нервный стал.

Ольга Петровна. Нервный, нервный. Заботы одолели. Мой Иван отродясь нервный не был, а тут тоже заблажил. *(Скрылась в доме.)*

Марина вернулась на веранду. Где-то рядом остановилась подъехав-шая машина. Свет ее фар достигает площадки. Хлопнула дверца. Появились Гетманов, Иван Яковлевич и Теймур.

Гетманов *(дойдя до своей двери, обернулся)*. Я вас предупредил. Докладывать ваш проект Майорову через мою голову — запрещаю. И вообще, если вам дорога разведка — болтовню о кривизне, авариях и прочих ужасах надо прекратить. Ясно? Продолжайте работать.

Теймур. Но, позволь...

Гетманов. Я знаю, что ты хочешь сказать. Воз-можно, я сам доложу ваш проект Майорову. Но сначала я должен разобраться в позиции треста. Майоров — мой товарищ, и не мешайте мне говорить с ним так, как я считаю нужным.

Иван Яковлевич. Саша нам тоже не чужой.

Гетманов. Саша, Саша!.. Вы все воображаете, что Майоров — это Саша.

Теймур. Разве нет?

Гетманов. Нет. Майоров — это трест. А тресту до смерти надоело с нами возиться.

Теймур. Это он говорит?

Гетманов. Нет, это я говорю. Ты что, притворя-ешься чудаком или в самом деле ничего не понимаешь? Новая метла чисто метет. Саша — хороший парень, но себе не враг. Он десять раз подумает, прежде чем ве-шать себе на шею такое наследство. Тем более что встает вопрос об увеличении проектной глубины. Если это непонятно, я ничем помочь не могу. *(Вошел на ве-ранду, хлопнул дверью.)*

Теймур. Э, слышал?

Иван Яковлевич. А, пропади все пропадом! *(Пошел.)*

Теймур. Иван Яковлевич! Маэстро! Я тебя прошу. Зачем ты себя расстраиваешь? Али зайдет, посидим, все спокойно обсудим.

Иван Яковлевич (*остановился*). Зайдет — милости прошу. А о деле говорить не стану. И тебе не советую. Видно, спелись. Теперь как Андрей Михайлович рассудит, так и делать будем. Он — голова, а мы руки. Зарок себе положил — не соваться.

Теймур. Так разведчик не может говорить.

Иван Яковлевич. Извините, что не так сказал. Куда нам! Вот вы — вы всегда все преотлично знаете.

Теймур. Э, давай будем уважать друг друга.

Иван Яковлевич. Тимка! Не зли меня. Не задевай. Я тебе, мальчишке, неслыханную над собой волю дал. Мне шестой десяток идет, а я, как сопляк малолетний, за книжку сел. На собраниях речи говорю, до того дошел, что на самодельном вечере публично на бала-лайке играл! А тут не трогай. Заело.

Теймур. Ты Клавке хоть не говори. Она смеяться будет.

Иван Яковлевич. О Клавке ты лучше молчи. Молчи. Тихоню-то не строй. Очень мне понятно. (*Ушел, оставив Теймура в недоумении.*)

Фары потухли. Усталой походкой идет домой Клава.

Теймур. Клавочка! (*Подошел, хочет обнять.*) Не пущу.

Клава (*вяло высвобождаясь*). Пусти, Тима. Ну тебя.

Теймур. Злая?

Клава. Будешь злая, когда опять целый день ката-лась. То Гулам за руль возьмется, то Мехти. Морис на ровном месте чуть рессору не сломал.

Теймур. А я виноват?

Клава. Да нет... Просто так — на душе паршиво.

Теймур. Из-за этого?

Клава. Из-за всего. Отец тут еще тоже...

Теймур. Что, что отец?

Клава. Сказать? Косится он, ворчит... насчет нас с тобой. Прямо не говорит, а...

Теймур. Ну, ну? Как думаешь — почему?

Клава. Заметил? Ну — почему?

Теймур. Я не знаю.

Клава. И я не знаю. Я только думаю, Тима, он не хочет, чтобы мы женились, потому...

Теймур. Почему?

Клава. А почему — потому... даже говорить неохота. Наверно, потому, что ты не русский. Вот.

Теймур. Ты что?.. Э, подумай — о ком говоришь!

Клава. Я думала, Тима. Приятно мне, что ли, так говорить. Ну, а еще почему? Скажи, если знаешь. Отец все-таки старый. У старых людей очень чудные понятия. Он ведь тебя любит, Тима. Очень любит, ну и не хочет сказать.

Теймур. Значит, он меня обманул. Клава, ведь я его в партию готовил. Когда старик анкету взял, я танцевать хотел. Как же теперь? Надо наверное знать. Я привык ему верить, Клава. Мне нельзя его сразу разлюбить.

Клава. Не знаю, не знаю, Тимочка. Если я верно думаю, так и не посмотрю на него. Уйду к тебе — и все. А все-таки горько. *(Всхлипнула.)*

Теймур *(рванулсЯ с места)*. Я с ним поговорю.

Клава. Тимка, не смей!

Теймур. Я ему скажу...

Клава. Не смей, говорю! Распетушитесь вы оба, а что толку? Сядь.

Теймур садится.

Вот что — ты пока ко мне не очень лезь. Гляди на меня равнодушно. Можешь? У, глазища черные! Если отец что выведать захочет — увиливай. Будто ничего и нет. А уж я его размотаю. Упрямства во мне не меньше, а что до хитрости — так я все-таки баба.

Теймур смеется.

Рассмешила? Ну, прощай, жених! *(Быстро целует его и взбегает на крыльцо.)*

На площадку упали лучи автомобильных фар. Хлопнула дверца. Появились Морис, Мехти, Майоров.

Морис. Да! Да! Приходите в час, в два, в три — когда хотите. Вы должны видеть мою коллекцию. Две тысячи проб — это красноречиво. Я не хочу вас уговаривать. Вы разведчик — вы поймете. «Елу-тапе» — сокровище! Это жемчужина, феномен. Молчу! Вы увидите. *(Берет Майорова за пуговицу.)* Нефть здесь — у нас под ногами. Ее нужно уметь взять — вы понимаете?

Ольга Петровна *(с крыльца)*. Матвей Леонтьевич! Тима! Идите поживей — щи простынут.

М о р и с. А, ты здесь, Теймур? Идем. Я голоден. Я способен сожрать целого джейрана.

Т е й м у р. Джейрана сегодня будет кушать кто-то другой. Жирная пища и нечистая совесть — источник дурных сновидений. Так говорит народная мудрость. Спокойной ночи, Мехти Ага. *(Уходит с Морисом.)*

М е х т и *(тихо)*. Свинья! *(Майорову.)* Александр Гаврилович! Одну минуту. Будет справедливо, если вы посетите и меня. Мы бы с вами в тесной компании посидели, побеседовали. Для меня ваше мнение будет исключительно ценно.

М а й о р о в. К сожалению, не смогу. Иду к геологу осматривать пробы.

М е х т и. У меня будет наш общий друг. Трудная разведка, тяжелые условия. Вы должны ему помочь.

М а й о р о в. Я для этого приехал.

М е х т и. По-настоящему, по-дружески...

М а й о р о в. Знаете что, уважаемый товарищ Рустамбейли? Давайте упрощать отношения. Мы с вами друг другу не нравимся. Зачем нам дружить? Давайте говорить прямо. Вам нужно знать, что я думаю о положении на разведке? Вы и спросите.

М е х т и. Я считал неудобным...

М а й о р о в. Напрасно. Могу ответить... Нужно ли продолжать разведку? Не знаю. Хочу разобраться. Похоже на то, что на проектной глубине мы нефти не обнаружим. Как вы думаете?

М е х т и. Мне трудно судить.

М а й о р о в. Вот видите. Ваш геолог требует продолжать бурение. Но вам мало моего благословения, вам нужны деньги и материалы. Поэтому я и не тороплюсь решать. Завтра мне придется уехать, но у нас еще много времени. Сделайте милость — дайте мне вашу докладную записку сегодня же.

М е х т и. Я в восторге от нашей беседы, Александр Гаврилович. Признаю — я был глубоко не прав в нашем печальном столкновении из-за этих несчастных труб. Клянусь, я могу оценить данный вами урок, несмотря на его, признаться, довольно резкую форму...

М а й о р о в. О форме сожалею. Не в трубах дело. Если нужно — дадим трубы. Попросту говоря — не люблю арапства. Извините. Пока не закрылась контора, я хочу съездить за своим чемоданом. *(Быстро уходит.)*

Зашумел включенный мотор. Машина отъехала.

Мехти. Страшный человек.

Гетманов (*вышел с папкой в руках и сел на крыльцо своей веранды. Он жует, запивая еду чаем из кружки*). Хочешь есть, Мехти? Отличный джирим — как семга.

Мехти. Сердечно благодарен. Не люблю сухомятки. Брось эту дрянь, — сегодня у меня шашлык. Звал твоего друга, он он не удостоил.

Гетманов. Ты говорил с ним?

Мехти. Да. Он большой дипломат. Не могу понять его линии.

Гетманов. Мне он раньше казался туповатым. А парень он неплохой.

Мехти. Хорошего я пока мало вижу. А что он не глуп — могу тебя уверить. Ты подписал докладную?

Гетманов. Я хотел с тобой посоветоваться. Морис хочет бурить еще двести метров.

Мехти (*после паузы*). Клянусь небом, у меня все-таки неплохая голова. Я был прав, как пророк Магомет.

Гетманов. Не понимаю.

Мехти. Здесь нечего понимать. В «Елу-тапе» нефти нет. Нобель тут разведывал еще в двенадцатом году и только потерял время. Морис — этот психопат — вообразил здесь черт знает что, а теперь боится сознаться, что это блеф. Сегодня он требует бурить еще двести метров, завтра захочет пятьсот...

Гетманов. Ты этого раньше не говорил.

Мехти. Не говорил, пока имел хоть на волос надежды... Клянусь, ты меня удивляешь. Неужели не ясно, что такое Морис? Человек до семнадцатого года работал где-то в Мексике. Бывший анархо-синдикалист...

Гетманов. Ну-ну! Оба вы хороши. Будем говорить объективно. В Мексику он попал не от хорошей жизни и вернулся сразу после Октября. И какой он анархист? Мальчишкой две недели ходил на какие-то сходки...

Мехти. Однако ты сам...

Гетманов. Знаю. Иногда полезно наступать на любимые мозоли. Но Морис — честный человек.

Мехти. Не хочу спорить. А зачем он вопит, что еще в прошлом году дал бы нефть, если б ему не загубили скважину? Ты не думал? Он хочет заставить нас отвечать за свою ошибку. Он готов взвалить вину на нас за то, что разведка не дает нефти.

Гетманов. Это другое дело. По человечеству даже можно понять. В таких делах — все люди дрянь. Ну, ладно. Что ты предлагаешь?

Мехти (помолчав). Отсюда надо уходить.

Гетманов. Как?!

Мехти. Как уходить? Немедленно. Мы подошли к проектной глубине. Нефти нет — и нечего валять дурака. Каждый день стоит тысячи рублей. Надо срочно переделать докладную и дать ее Майорову. Он поддержит, потому что идти против всех и вешать себе на шею камень ему так же нужно, как мне, например, жениться на Марго.

Гетманов. Скажи, Мехти, ты убежден, что нефти нет? У тебя нет других соображений?

Мехти. Я поражаюсь тому, как ты угадываешь мои мысли. Я только что задавал себе такой вопрос. Конечно, я только человек. Как знать — думаешь так, потому что так думаешь или потому, что хочется так думать?

Гетманов. Не напускай туману, Мехти. Я этого не люблю. Да или нет?

Мехти. Я разве не сказал — да? Не смотри на меня такими страшными глазами. Моя совесть чиста, как ручеек.

Гетманов. Не из этого ли ручейка наш комендант берет воду? (*Резко выплеснул чай из кружки и поднялся.*) Ты за кого меня принимаешь — за дурака или за прохвоста?

Мехти. Ты меня оскорбляешь.

Гетманов. Оскорбляю. Почему ты не хочешь бурить дальше? Страшно?

Мехти. Я тебя прошу...

Гетманов. Не вовремя стал обижаться. Ты что же воображаешь, я слеп и глух? Я не понимаю, что кривизна втрое больше, чем ты показываешь, и каждый день, каждый метр приближает аварию? Видел бы ты свое лицо, когда сегодня поднялась эта идиотская паника.

Мехти. Зачем? Я видел твое.

Гетманов. Ага! Значит, я прав?

Мехти. Абсолютно.

Гетманов. Почему же ты молчал?

Мехти. Из-за тебя. Тебе удобнее было не знать.

Гетманов. Служебный такт?

Мехти. Нет, дружба. Меня рекорды не интересуют.

Для твоего успеха я рискнул бы пройти еще полсотни метров. Но это — предел.

Гетманов. Дорогой Мехти Ага. Я очень советую не забывать, что ты говоришь не с проходимцем, а с коммунистом. Ни на какие темные махинации я не пойду.

Мехти. Я редко прощаю такие слова. Объясняю их твоим исключительно нервным состоянием. Где ты видишь махинации? В «Елу-тапе» нефти нет. Я повторяю это еще раз. Бурить дальше бессмысленно.

Гетманов. Как? Ты действительно считаешь?..

Мехти. Это мое глубокое убеждение. А раз так — абсолютно безразлично, есть ли на «Саре» кривизна и что было бы, если бы... Область «бы» никого не интересует. И лучше, если об этом никто не будет знать.

Гетманов. Для кого?

Мехти. Для тебя. Ты волен поступать как хочешь. Можешь принести меня в жертву и броситься в объятия к Теймуру с его проектом. А ты уверен, что он сумеет исправить кривизну? Я не умею. А ты сам-то знаешь, как это делается? Ты сломаешь себе шею, и я уже не в силах буду тебе помочь. (Пауза.) Ты умный человек, но не знаешь Востока. У нас есть такое слово «менелюм». Это непереводаемо. Если друг сказал другу «менелюм» — ему не смеют отказать. С этим словом можно сделать многое. Мне некому его сказать. Я растерял свои связи. Кругом новые люди. Один ты пропадаешь. У тебя выговор. Поставь ты завтра рекорд на «Саре», дай первую тонну нефти — тебя ждет слава и отпущение грехов. Но судьба против нас. Если нельзя уйти со славой, надо уходить с честью.

Гетманов. Невелика честь. (Задумывается.)

Комендант (появился). Андрей Михайлович, для товарища Майорова квартира готова.

Гетманов. Где?

Комендант. Во втором бараке. Там в угловой холостые мужчины живут. Так? Ну, я их попросил оттуда. Заругались было, ну да ничего. Я враз урегулировал. Все! Пусть вас не беспокоит.

Гетманов. Что за хамство! Кто вам позволил?

Комендант. Я полагал, так будет удобнее. Как хотите. Это не составляет. Сейчас все обратно покидаем — и больше нет ничего.

Гетманов. Да нет, теперь уже не стоит.

Мехти. Марго дома?

Комендант. Дома. Скучает.

Мехти. Очень хорошо. Пришли ее ко мне.

Гетманов. Что ты хочешь?

Мехти. Ничего особенного. Хочу продиктовать несколько страничек. Наши выводы. Потом ты просмотришь и, если согласишься, подпишешь. Впрочем, лучше, если подпишет Гулам.

Гетманов. Гулам-то подпишет. Но Морис?

Мехти. Подпишет. Это я беру на себя. В его шатком положении лучше уйти с миром. Он пошумит, но в драку не полезет.

Гетманов. Прошу тебя быть с ним очень корректным.

Мехти. Клянусь тебе. Я приду к нему с оливковой веткой в руках.

Гетманов *(отдает ему докладную)*. На, возьми.

Мехти и комендант уходят.

Марина *(выглянула)*. Кто приходил, Андрюша? Ты что молчишь? Расстроен чем-нибудь?

Гетманов. Нет. Устал.

Марина *(гладит его по голове)*. Можно тебя пожалеть? Дурень, замучился, задержался... Как ты меня сегодня перепугал.

Гетманов. Пожалуйста, не жалея меня. Терпеть этого не могу.

Марина. Андрюшка, мне обидно. Почему, когда тебе плохо, ты всегда от меня прячешься? Точно ты боишься показать себя слабым. Разве это стыдно, когда жалеют?

Гетманов *(мягче)*. Пустяки, Маринка. Выдумываешь.

Марина. Нет, не выдумываю. Ты никогда мне ничего не рассказываешь такого...

Гетманов. Что значит — такого?

Марина. Такого, где ты слаб, неуверен, не прав... Я не умею сказать. Ну почему ты скрыл от меня, за что тебе дали выговор?

Гетманов. Не говори вздора. Ты не знаешь, за что? Сколько было разговоров из-за того, что я признал свою вину. Вспомни.

Марина. Андрюша. Значит, ты был виноват? Это правда?

Гетманов. Нелепый разговор. Что же, по-твоему, я каялся так, здорово живешь? Из христианского чув-

ства смирения? Другой вопрос, что многие делали так же, как я, и им сходило с рук. Мне не сошло.

Марина. Знаешь, ты так себя вел, что я тебе не верила. Я думала, ты просто оскорблен и не хочешь оправдываться.

Гетманов. Я не знаю, что ты думала... Я тебе не лгал.

Марина. Да, ты прав. Я не могу возразить.

Гетманов (вскипел). Черт возьми, наконец! Я не понимаю, почему все говорят мне, что я прав, таким тоном, будто уличили меня в преступлении. Что ты от меня хочешь? Хватит с меня того, что я с утра до ночи должен драться, лавировать, нападать и защищаться, видеть подозрительные взгляды людей, готовых в любую минуту подставить ногу, стоит только мне покачнуться. Неужели я не могу требовать, чтобы, когда я приползаю в свою конуру, мне не учиняли домашнего следствия, чтобы я был прав, не представляя никому доказательств?

Марина. Как ты странно говоришь, Андрюша. Никому! Как будто меня не существует.

Гетманов. Вот именно — ты существуешь. Очень правильное слово. Ничего не делаешь и проводишь время с этой... дурой Марго.

Марина. Ну, знаешь, Андрей. Не тебе об этом говорить.

Гетманов. Ах, даже так? Ну-ну? Интересно.

Марина. Потому что ты в этом виноват. Нет, что я говорю — виноват! Ты прав, во всем прав, у тебя передовые взгляды, наши отношения основаны на равенстве и доверии, а вот я прожила с тобой пять лет и чувствую себя ограбленной. Ни профессии, ни друзей, ни ребенка. (Всхлипнула.) Я готова украсть у Фатьмы-ханум ее Сару.

Гетманов. Фу! Мы же решили, что как только вернемся в Баку...

Марина. Молчи, молчи. Сейчас ты начнешь говорить, и я опять буду не права... Но я чувствую... это хищничество, Андрей, — вот что. Так нельзя. Почему у Фатьмы-ханум есть Гулам, Сара, работа — всё. А у меня — ничего. Я — как бесплодная земля. Разве я всегда была такая? Когда Саша меня увидел здесь, я сгорела со стыда.

Гетманов. Судя по вашей встрече, это не было заметно. По-моему, ты висела у него на шее.

М а р и н а. Как тебе не стыдно! Ты ругаешь Марго, а сам дружишь с ее мужем, которого она выше в тысячу раз. Ты выслушиваешь от него донесения о поведении твоей жены. Просто — позор!

Г е т м а н о в. Я с ним дружу? Я выслушиваю?

М а р и н а. Ты сам себя сейчас выдал. Сколько раз я тебе говорила, что комендант — хам и непроходимый дурак. Ты смеешься над ним, но он тебе нужен. Он избавляет тебя от труда быть грубым. Это черная работа, а ты любишь быть чистым. Разве тебе нужны люди? Ты же никого не любишь, кроме себя. *(Рыдает.)*

Г е т м а н о в. Женщина может наговорить черт знает что, но стоит ей заплакать — ее же нужно утешать. *(Помолчав.)* Ну, успокойся. *(Притягивает ее к себе. Марина вырывается.)*

Яркие лучи фар подошедшей машины падают на них. Хлопнула дверца. Появился М а й о р о в с чемоданом.

М а й о р о в. Ну, мои дорогие... Не помешал?

Марина скрывается в доме.

Куда ты, Маринка?

Г е т м а н о в. Она что-то скисла. Плохо переносит жару. Обедал?

М а й о р о в. Спасибо. Я сейчас должен явиться к Ольге Петровне. Буду безропотно есть все подряд и при этом хвалить и ахать. Иначе — двадцатилетней дружбе конец. Там же меня уложат спать.

Г е т м а н о в. Зачем? Тебе приготовили комнату.

М а й о р о в. Да, я знаю. Не люблю никого стеснять. Я уже сказал этому твоему... *(Заметил папку.)* Что читаешь?

Г е т м а н о в. Ничего. Какой черт, тут одичаешь. Когда приходится управлять людьми — не до беллетристики.

М а й о р о в. Мне показалось, что ты вообще... как бы тебе сказать..

Г е т м а н о в. Да ты не тани. Отстал, что ли? Конечно. Что, ты не знаешь административной работы?

М а й о р о в. Я не очень верю в существование самостоятельного искусства администрации. Не помню где я видел объявление: «Ищу работу в качестве директора». Смешно? Начальник — это не профессия.

Г е т м а н о в. Все это, конечно, верно. Верно —

вообще. Извини, не хочется сейчас об этом говорить. Дай руку.

Майоров (*протягивает руку*). За что?

Гетманов. Просто так. Я мало верю в дружбу, благодарность и прочее, но мне приятно.

Майоров. Здравствуйте!

Гетманов. А ты — веришь? Тебе, например, не приходило в голову, что тогда, в институте, я занимался с тобой... наполовину из-за Марины.

Майоров. Пусть даже на три четверти. Если тебе когда-нибудь будет нужна моя помощь...

Гетманов. Когда-нибудь? Послушай, Саша. Мне бы надо с тобой поговорить... (*Нерешительно вглядывается в лицо Майорова.*)

Фонарь замигал, бросая колеблющийся свет.

Н-нет, как-нибудь в другой раз.

Наступила темнота.

Чертов долдон! Ну, вкачу же я ему завтра выговор.

Майоров. Как знаешь.

Возникает звон струн и высокий фальцет певца.

Кто это поет?

Гетманов. Это Газанфар. Он всегда...

Майоров (*прислушивается*). Ты знаешь, о чем он поет?

Гетманов. Нет. Всегда одно и то же.

Майоров. Не думаю. Он поет о «Саре».

Гетманов. Любопытно.

Майоров. Он поет о мертвой долине, которая расцветет и будет прекрасней всех долин юга. Ты можешь гордиться, Андрей, — в «Елу-тапе» уже есть свой ашуг.

Гетманов. Я не знал...

Песня замолкает.

Майоров. Ну, что ж, отложим. Ладно, я пошел. Сейчас перепугаю стариков. (*Подхватывает чемодан, крадучись поднимается на крыльцо и исчезает в темноте.*)

Пауза. Затем раздается шум, хохот, голоса, визг Клавы. Гетманов уходит домой. Через несколько секунд на крыльцо выходит Иван Яковлевич. За ним — Майоров, Морис, Теймур, Клава; Ольга Петровна выносит посуду.

Иван Яковлевич. Можешь себе представить — как вечер, навсегда нам комендант египетскую тьму устраивает. Я уже тем доволен, что луна от него не зависит.

Подходят Газанфар и Гулам.

Милости прошу. Присаживайтесь.

Майоров. Ты лучше скажи, о чем давеча со мной хотел говорить? Потолкуем?

Иван Яковлевич. Нет — забастовал. Хватит. Стар я воевать. Так что объявляю — нынче о делах я не разговорщик. Прошу себе заметить.

Теймур. Маэстро!..

Иван Яковлевич. Тимка, молчать! Кому говорю! Тащи-ка музыку — играть будем.

Теймур идет в барак.

И вообще — хватит. Уеду я вот — на родину.

Ольга Петровна. Ты что, Иван? Захворал?

Морис. Эт-то потрясающе! Какую еще тебе надо родину? Что здесь — Мексика? Разве ты не на родине?

Иван Яковлевич. Не спеши, Матвей Леонтьевич! Я прелестно понимаю. Есть, брат, большая Родина — советская земля. Родина всех трудящихся. И, опять же, есть малая. Где ты, так сказать, родился. К примеру — город Ярославль.

Теймур приносит балалайку и гитару. Иван Яковлевич пробует строй.

Вот мы с Ольгой Петровной из наших мест молодыми ушли, вроде как в свадебное путешествие. Голод выгнал. А всё память храним. Всякую речь слышали, а так уж, видно, до смерти окать будем.

Ольга Петровна. И песни у нас свои. Не забываем. Я всякую песню уважаю, а только нигде не поют, как в наших местах. Иван был молодой — ловко песни играл.

Гулам. Ай, Иван! Тебе не нравится у нас?

Иван Яковлевич. Нет, почему? Нравится. Край хороший. И люди здешние — очень приличные люди. Даже к солнцу привык. Здешнее солнце — огонь.

Газанфар. Горячее солнце. Быстрое. *(Вполголоса напевает.)*

Морис. Хорошо. А слова, Гулам?

Гулам. «Под пламенным солнцем быстрее созревает здоровая лоза, быстрее гниет пораженная недугом». Так, Газанфар?

Газанфар смущенно улыбается.

Иван Яковлевич. Вот-вот. Это правильно. Нет, помирать надо на родине.

Морис. Эт-то чудовищно! Куда ты торопишься, Иван? Вот у меня — астма, печень, эндокардит — все на свете. И то — буду жить. И очень долго.

Иван Яковлевич. Ну, уж похоронили! Я поживу! Клаву с собой возьму — учиться будет.

Теймур *(встрепенулся)*. Кого? Куда?

Клава *(делает холодные глаза)*. Ти-ма!

Теймур умолкает.

Иван Яковлевич. Тридцать шесть лет в разведке. И детей раскидал. Антон — в Балаханах, Яков — на Эмбе, Варвара с мужем — в разведке. С меня получено сполна. Клавку возьму — обязательно.

Клава. Меня-то спросил?

Теймур *(тихо)*. Кла-ва!

Клава умолкает.

Гулам. В Ярославле — нефти нет. Скучно.

Иван Яковлевич. Это верно. А может, найдут. Теперь она всюду. Я, Гулам, немногого хочу. Хибарка чтоб была. И — огород. Огурцы буду сажать. Цветочков под окнами разведу, каких подуховитее.

Майоров. А здесь нельзя?

Иван Яковлевич. Пробовал. Да тут такая земля — ничего не родит. Без воды-то и лопух не растет. *(Наигрывает на балалайке. Теймур и Газанфар ему вторят.)*

Майоров *(вытащил записную книжку и углубился в нее)*. Вода — вздор. Воду взять можно.

Иван Яковлевич. Сказать все легко. Где?

Майоров. Отсюда до реки — далеко ли?

Клава. Сорок.

Майоров. Точно. Дорогой по спидометру глядел. Даже прикинул на глазок, сколько и чего тут потребуется. Объем земляных работ. Можно поднять.

Иван Яковлевич *(почтительно)*. Задание имеешь?

Майоров. Нет, так.

Иван Яковлевич. Как это — так?

Майоров. Так. Гимнастика для души. Люблю помечтать с карандашом в руках.

Иван Яковлевич. Хо-хо! Мечтатель. Значит, воображаешь?

Майоров. Точно. В нашем деле человек без воображения только зря будет штаны протирать. Что ты на меня уставился?

Иван Яковлевич. Ничего. Богатая мысль. Вали дальше.

Появляются Мехти и Марго. Мехти с бумагами в руках быстро проходит к Гетманову. Марго неслышно подходит к столу и присаживается на скамейку.

Майоров. Не воображают суслики. А человек — всегда. Даже если знает, что мечте его не бывать. А мы можем мечтать по-хозяйски, с карандашиком, облечь мечту в план и диктовать ей сроки.

Морис. Именно! Не можем, а должны. Да! Да! Обязаны.

Майоров. Сколько лет эта долина называется «Елу-тапе»? Может быть, тысячу лет. А вот нынче Газанфар в песне назвал ее «Саба-тапе». Цветущая долина. Вот он — разведчик! У него есть воображение. И, может быть, через десяток лет мы впишем это название во все географические карты. Вы что-то хотели сказать, товарищ Марго?

Марго (испуганно). Нет-нет. Говорите, пожалуйста.

Майоров. Теймур, ты читал Саади? «Утренний ветер и земля Шираза — огонь. Кого он охватит — тот уж не знает покоя». Ты знаешь, где Шираз, старик? Я тебе покажу на карте. Это в здешних широтах. Сотни лет тому назад там цвели в феврале розы и гиацинты, а славу ширазских плодов поэты разнесли по всему миру. А ты тоскуешь по лопуху. За водой дело! Так неужели я не дам тебе воду?

Иван Яковлевич. Позволь. Как это ты разговариваешь? Ты кто, депутат?

Майоров. Нет. Обыкновенный разведчик.

Иван Яковлевич. Ну вот, депутатом будешь — тогда и говори. А дразнить — не следует.

Майоров. Надо. А то вы тут засохнете. Мечтать — так уж крупно, как государственные люди. Здесь, старик, мы построим город. Утопающий в листве.

Последним кочевкам придет конец, и вокруг города зазеленеют виноградники. Это будет город разведчиков. Вот от этого города я хотел бы быть депутатом.

Иван Яковлевич (*плюнул*). Шут тебя совсем раздери! Как ты все прелестно объясняешь, будь тебе неладно. Уж и город построил и реку отвел. А что для этого надо? Ай? Ты подумал?

Майоров. Что для этого надо? Нефть.

Морис. Нефть! До нефти двести метров. Я залью вас нефтью. Вы поставите здесь тысячу вышек и крекинг-завод. «Елу-тапе» — сокровище! Молчу. Я дал себе слово, что не буду вас уговаривать. Вы увидите. Это жемчужина, феномен.

Гулам. Нефть есть. Много.

Майоров. Где же она? Вы — командиры армии разведчиков. Действующей армии. Давайте говорить по-военному. В Европе пахнет порохом. Я не пророк, но я обязан думать о том, что, может быть, скоро наши корабли, танки и самолеты двинутся в бой. Им нужна нефть. Вы готовы?

Молчание.

Гулам (*хмуро*). Нефть есть. Взять надо.

Майоров. Можно взять?

Теймур. Конечно, можно! Э, отец, поверь, прямо зло берет смотреть... Это каменное сердце нужно иметь...

Иван Яковлевич (*предостерегающе*). Тимка!

Теймур. Саол, не буду... (*Оглядывается на Марго.*) Э, хотел я сказать... Ладно, потом поговорим.

Марго (*встает, дрожа*). Я уйду. Уйду.

Майоров. Пойдите. Куда?

Марго. Они думают, что я нарочно слушаю, а потом пойду к Мехти доносить. Ну и пусть думают. Я уйду. Говорите.

Ольга Петровна. Маргошка, не дури!

Морис. Сядьте, Марго. При чем тут Мехти? Вы ничего не поняли.

Марго. Поняла. Я не вовсе дура. А зачем Иван Яковлевич Тимке мигал — осторожней, мол.

Майоров. Правильно, осторожней. Только не с вами.

Марго. А с кем же?

Майоров (*спокойно*). Со мной. (*Пауза.*) Верно, старик?

Иван Яковлевич. Ну-ну, это ты брось...

Ольга Петровна. Ох, уж не ври, Иван. Смолоду не врал — теперь поздно.

Майоров. Короче, как взять нефть? Что там у тебя за проект? Слушаю.

Иван Яковлевич. Ох, ты хитер! Ишь, куда подвел. Нет, насчет дела разговору не будет. Отказ.

Майоров. Отказ?

Иван Яковлевич. Отказ.

Майоров. Ну, так прощай.

Ольга Петровна. Куда ты, Сашенька? А я щи разогрела.

Иван Яковлевич. Постой. Так не годится.

Майоров. А по-твоему годится? Двадцать лет дружили — пришло время ссориться. У дезертира в доме есть не желаю. И ночевать я тоже место найду. *(Берется за чемодан.)*

Пауза.

Газанфар *(встает)*. Мастер, слышишь, да? Если он уйдет, я тоже уйду.

Марго *(горестно вскрикивает)*. Ой!

Неожиданно вспыхивает свет. Теймур, Гулам и Морис тоже приподнимаются вслед за Газанфаром.

Иван Яковлевич *(удивленно оглядывает всех. Пауза)*. Ну, ладно. Всех не переспоришь. Вон фонарь зажегся — комендант знамение подает. Идем в комнаты — есть разговор.

Со смехом все поднимаются на крыльцо. Последними идут Гулам и Марго.

Мехти *(вышел)*. Гулам! Одну минуту! Маргоша, ты меня подожди. Андрей! Он здесь.

Гетманов *(вышел с бумагами)*. А, Гулам! Я тебя не задержу. Тут надо кое-что подписать.

Гулам *(подошел, нерешительно взял бумаги)*. Что это, Андрюша?

Гетманов. Мехти привез счета. Я просматривал.

Гулам, не глядя, подписывает.

А это — докладная о состоянии разведки. Стоп! Да ты хоть посмотри, что ты подписываешь, чудак!

Гулам *(берет записку и долго читает, не обращая внимания на нетерпеливые жесты Мехти. Затем возвращает записку)*. Нет.

Гетманов. Ты что?

Гулам. Извини меня, Андрюша. Не могу, даю честное слово.

Мехти. Ты обалдел, Гулам?

Гетманов. Оставь, Мехти. Слушай, Гулам. Ты, конечно, можешь не подписывать. Твое право. Но тогда уж действуй на свой страх и риск, не рассчитывая на мои советы и поддержку.

Гулам (*прикладывает руку к сердцу*). Андрюша! Зачем говорить — «страх»? Мне и так повторить страшно, что я тебе сказал. Разве ты когда-нибудь слышал от меня «нет»? Только я не могу подписать. Даже не проси.

Гетманов. Объясни почему.

Гулам. Почему? У меня дочка Сара есть. Знаешь, да? И это тоже «Сара», да? Для меня одинаково. Могу я подписать, чтоб их совсем уничтожить?

Мехти. Клянусь, он — идиот! Ты понимаешь, какую ты чепуху говоришь?

Гулам. Может быть, я плохо выражаюсь. Ты не ругайся, Мехти. Мне только решиться было страшно, а теперь я никого не боюсь. Андрюша! Зачем ты меня снял с буровой? Я думал, ты учить будешь, а ты из меня игрушку сделал. Кабинет имею, бумаги подписываю, а что подписываю, зачем подписываю? Я не понимаю ничего. Раньше я ходил гордо, люди говорили: вот идет Гулам, орден имеет — он хороший мастер. А теперь я кто? Орден не смею надеть, людей стесняюсь, даю честное слово. Вот, гляди. (*Вытаскивает из кармана бережно свернутый платок.*) Вот — всё здесь. Орден, книжка, партийный билет. Пойду в Центральный Комитет, положу все на стол и скажу: я виноват, но сам не знаю, сколько виноват и в чем виноват. Надо — возьмите орден, отнимите партийный билет. Мало — судите меня, дайте лопату — буду землю копать. Я не чужой, я — азербайджанский рабочий. Может быть, когда-нибудь вы захотите мне вернуть и билет и орден.

Конец второго акта

Акт третий

Ночь

Комната Мориса в одном из бараков. Просторная, она кажется тесной из-за огромных полок во всю высоту стен. Полки заставлены рядами стеклянных банок. На полу стоят ведра и мешки с породой, среди которых приютились узкая железная кровать, продавленное кресло и фанерный ящик, служащий Морису рабочим столом. Морис склонился над пробой. Его душит кашель. Он высыпает на жестянку щепоть порошка, поджигает его и с отвращением вдыхает густой дым. За стеной топот, смех, музыка. Патефон играет «Персидский базар» — излюбленный мотив бакинских ресторанов.

Морис (*свирепо стучит в переборку*). Послушайте! Прекратите базар! Да! Да! Третий час ночи. Что? Ах, это «Персидский базар»? Так вот, прекратите этот персидский базар — у меня от него будет припадок! Что? Почему я не сплю? Эт-то потрясающе! Идите к черту! Что? Пожалуйста. Только не надолго. Через десять минут я буду занят.

Мехти (*входит. В одной руке у него бутылка, в другой — железный шампур с насаженным на него куском жареного мяса*). Салам. Фу! Ну и начадили же вы, Морис.

Морис. Не нравится — уходите. Это астматол. Ужасная мерзость. Рекомендую на случай, если вас хватит кондрашка. А как называется та дрянь, которую вы давали курить Марго? Как вам не стыдно, зачем вы ее портите?

Мехти. Хо-хо! Ко всем моим порокам я еще обвиняюсь в развращении малолетних. За что вы меня так ненавидите, Морис?

Морис. Уберите подальше от бумаг эту вашу штуку. С нее каплет сало. Можно подумать, вы зашли в клетку к медведю. Что вам надо?

Мехти. Не рычите. Я пришел с вами мириться. (*Снимает мясо с шампура и разливает вино в стаканы.*)

Морис. Мы с вами не ссорились. Напрасно мне наливают. Я на диете.

Мехти. А я думал, вас кормят сырым мясом. Вы кидаетесь на людей как зверь. Клянусь честью, вы удивительный тип. Слушайте, Морис. Хотите — мир? Мы оба старые разведчики, старые холостяки с пятнышком, — что нам делить? Марго? Берите.

Морис. Вы болван. У вас в голове черт знает какие помои. Марго — мой друг.

Мехти. Осторожнее, Морис. Выбирайте выражения.

Морис. Я не хочу выбирать выражения. Я у себя дома. Не трогайте банок — вы мне все перепутаете.

Мехти. Мир не меняется. Извечная война профессий. Во все времена, на всех разведках мира инженер и геолог живут, как скорпион и фаланга, которых посадили в одну банку. *(Зевает.)* Будьте человеком, Морис. В два часа ночи можно перестать быть геологом.

Морис. Я всегда геолог.

Мехти. И никогда не бываете человеком?

Морис. Я всегда человек. Именно профессия отличает человека от свиньи. Люди — это геологи, инженеры, пахари, каменщики, артисты. Они изменяют мир. Человек вне профессии — только позвоночное, после которого не остается ничего, кроме продуктов распада. *(Сердито ткнул ногой в мешок с землей.)* Вообще философия — не ваша область. Мир не меняется! Это чудовищно! Если вы не умеете видеть нового, то не лезьте в разведку, а поступите в банщики. Вы — да! Вы не меняетесь. Вы живете только для себя.

Мехти. Справедливо. Я живу для себя. А вы? Только, менелюм, не надо митинговать, мы здесь одни.

Морис. Ну, знаете!.. Не нахожу слов...

Мехти. И не найдете. Вы очень хороший геолог, Морис. Вы ищете нефть. Вы ищете ее для себя. Вы никому не уступите чести открытия. Все мы — от начальника разведки до последнего амбала — для вас только орудия. Вы очень честолюбивый человек, Морис, и это заслуживает уважения.

Морис молчит. Мехти продолжает, фехтуя шампуром.

Я средний инженер, но человек я очень умелый. Я мог бы сделать карьеру шутя, не надрываясь, как вы. Клянусь, если б я захотел, десять лет тому назад я был

бы главным инженером треста. У меня были связи, меня тянули. И вот я, рядовой специалист, двадцать два года болтаюсь по разведкам, где меня жрут москиты. Во имя чего? Я делаю это для себя. Я охотно уступаю другим опасные лавры. Я веселый человек, который ценит свой выходной день. Я люблю командировки в международных вагонах и бархатный сезон на побережье. У меня никогда не будет своего дома, своей жены и обеда, пахнувшего керосином. Мне нравится ресторанная еда, подкрахмаленные простыни в отелях и деклассированные девчонки, которые всегда стоят дешево, ибо покой дороже денег. Клянусь вам, мы оба — прекрасные люди, но, понятно, нас нельзя оставлять без присмотра. И вот появляется третий человек. Человек-контроль. Если наши интересы начнут слишком явно расходиться с видами государства, он возьмет нас за шиворот. Он сделает это для себя. Он будет счастлив изловить нас на ошибке, ибо наши грехи — его подножный корм. Такова его профессия. Все мы работаем на себя, наши дела работают на историю, а история, как доказано наукой, работает на коммунизм. Истина рождается в муках противоречий. Клянусь честью, я тоже кое-что понимаю в диалектике.

М о р и с (тихо). Не помню кто — кажется, Гёте — сказал Гегелю после его лекции: «Ваша диалектика — прекрасное и острое оружие. Бойтесь только, чтоб оно не попало в недобросовестные руки».

М е х т и. Неплохо! Смотрите, он парирует! На вас это не похоже, Морис. Вы всегда ужасно кричите.

М о р и с. Я не имею права на вас кричать. Вы говорили со мной очень откровенно.

М е х т и. Конечно.

М о р и с. Это печально. Неужели я чем-нибудь заслужил вашу откровенность. Мехти Ага? Над этим стоит задуматься. Да! Да! Я обязательно подумаю об этом, когда вы уйдете.

М е х т и. Я вижу, вы плохо понимаете шутки.

М о р и с. О, вы не шутили. Я слишком вас знаю, чтоб вам не поверить.

М е х т и. Психология — не ваша область, дорогой Морис. Ваше дело — ископаемые.

М о р и с. Допустим. Для того чтоб постигнуть вас, достаточно геологии. У меня есть карта, по которой я читаю ваши мысли.

Мехти. Хотел бы я видеть вашу магическую карту.

Морис. Хотите? Пожалуйста. (*Широким жестом показывает на стену.*) Вот.

Мехти. Я ничего не вижу.

Морис. Естественно. Зато я вижу. Это моя подземная карта. Вон в тех банках, под самым потолком, собраны отложения современного Каспия. Ниже — древний Каспий. Вот глины Акчагильского яруса. Пока я не имею к вам претензий, Мехти Ага. Впрочем, вы не следите за промывкой скважины и изнашиваете трубы — я нахожу в пробах стружки металла. Вот вы вступаете в пески продуктивной толщи. Вступаете с мыслью вырвать рекорд любыми средствами. Это видно по тому, как вы жмете на забой, не считаясь с грунтом. Вы надеялись дойти до проектной глубины прежде, чем кривизна приведет к катастрофе. Но сегодня я увеличиваю проектную глубину еще на двести метров, и карта мне говорит, что в данную минуту вы думаете о том, как выпутаться из этого положения.

Мехти. Ну, договаривайте. Кто же я, по-вашему? Диверсант? Вредитель?

Морис. Нет. Только плохой инженер. А плохому инженеру нужно быть особенно честным, чтоб не приносить вреда.

Мехти. Благодарю вас.

Морис. Пожалуйста.

Пауза.

Мехти. Что вы хотите, Морис?

Морис. Я хочу нефть.

Мехти. Что вы хотите от меня?

Морис. Я хочу нефть. Я хочу, чтоб вы не прятали кривизну на «Саре», а исправили ее. Я знаю, вы не умеете. Не мешайте другим.

Мехти. Римляне говорили: «Нападая, защищаюсь». Впрочем, теперь все это не имеет никакого значения. Икс равен нулю.

Морис. Что вы городите? Какой икс?

Мехти (*вынул докладную записку*). Иксом в математике обозначается искомая величина. В данном случае она равна нулю, ибо нефти нет. Вы это знаете так же, как я. Мы можем сколько угодно обманывать друг друга. Но обманывать государство опасно, а природу бессмысленно. Надо покориться, Морис. Мой искренний совет.

М о р и с. Эт-то чудовищно! Вы смеее утверждать...

М е х т и. Тсс! Менелюм, не надо шуметь. Бурение идет своим порядком еще три-четыре дня. На указанной вами проектной глубине мы опробуем скважину. Если мы получим нефть, я первый с радостью покаюсь в своем неверии.

М о р и с. Проектная глубина будет увеличена.

М е х т и. Это исключено. Прочтите.

М о р и с (*выхватил записку, читает*). Эт-то невероятно! Эт-то потрясающе! Черт знает какое варварство! Чья это работа? Ваша?

М е х т и. Вопрос чисто академический. Все уже согласовано.

М о р и с. С кем? С Майоровым?

М е х т и. Не знаю. Может быть, да. Я не умею читать в мыслях. Я знаю одно: Майоров — близкий друг Андрея Михайловича. Андрей Михайлович подписал. Для меня достаточно.

М о р и с. Я этого не подпишу.

М е х т и. Подпишете. Не бойтесь, к вам не будут придирааться. В нашем деле ошибки неизбежны. Андрей Михайлович обещал вас крепко поддержать. Но если вы начнете борьбу, он вас уничтожит. Взвесьте свои силы.

М о р и с. Вы врете. Он этого не говорил.

М е х т и. Я не собираюсь вас убеждать.

М о р и с. Я сам поговорю с ним. И, уверяю вас, он скажет, что вы лжете.

М е х т и. Несомненно.

М о р и с. Вот видите!

М е х т и. Может быть, вы хотите, чтобы он повторил свои слова на общем собрании? Или опубликовал в стенгазете? Редкая наивность в столь зрелом возрасте.

М о р и с. А вы будете молчать?

М е х т и. Я скажу, что вы меня не поняли. Только и всего.

М о р и с. Но это нечестно!

М е х т и. А разве честно выдавать меня — человека, который оказывает вам услугу? Я не собираюсь ссориться с хозяином.

М о р и с. Это какая-то западня! Я не хочу участвовать в вашей темной игре, слышите? Я плюю на его угрозы, понимаете вы? Если он смеет ставить мне такие условия, я знать его не хочу. Он для меня не начальник, не коммунист, не разведчик — никто! Видите ли,

он меня уничтожит, этот гангстер! Эт-то чудовищно! Я перестану себя уважать, если не дам ему по морде!

Мехти. Как вы любите громкие фразы. Вам надо остыть, Морис. Вы невменяемы.

Морис. Нет! Нет! Ложь! Мне надоело быть по-смешисцем. Мне пятьдесят лет — я не бросаю слов на ветер. Пустите меня! Я не сумасшедший, черт вас возьми! Пустите меня, или я вас ударю! (*Выбегает из комнаты.*)

Мехти делает движение, чтобы его остановить, потом, раздумав, не торопясь, возвращается к столу, берёт свой шампур. Взмахивает им в воздухе, делает фехтовальный выпад и уходит очень довольный.

Майоров (*постучал и, не получив ответа, заглянул в комнату*). Все в порядке — я договорился. Они за нами заедут. (*Вошел и, осмотревшись, пожал плечами.*) Теперь этот куда-то сгинул. (*Понюхал бутылку.*) Кхм! Что ж это — для анализа?

За переборкой движение, повышенные голоса.

Какого черта они так галдят?

Шум усилился. Теперь нет сомнения — это скандал. Звякнула упавшая тарелка, взвизгнул женский голос, загрохотали доски под ногами бегущих людей. Затем все стихло. Майоров двинулся к выходу и столкнулся в дверях с возбужденной, тяжело дышащей

Мариной.

Марина. Мехти! Ну, что же вы! (*Увидела Майорова и схватила его за руку.*) Саша? Почему ты здесь? Пойдем сейчас же... Ох, как это все омерзительно...

Майоров. Что случилось?

Марина. Ничего. Сейчас скажу. Пусти, я хочу сесть.

Майоров (*довел ее до кресла и усадил*). Что случилось, Марина?

Марина. Не знаю. Укрой меня чем-нибудь. Мне вдруг стало холодно. Ты видел Мориса?

Майоров. Полчаса тому назад. А что?

Марина. Ничего не понимаю! Мы сидели у Мехти и немножко кутили. Ты не думай — совсем чуточку, у нас это очень редко. Потом пришел Андрей. Мехти пошел звать Мориса. И пропал. Вдруг вбегает Морис и набрасывается на Андрея с кулаками. Если б Семен Семеныч его не удержал, не знаю, наверно, произошло бы что-то непоправимое. Мы все знаем Мориса, но та-

ким я его никогда не видела. У него было такое бешеное лицо, он ругал Андрея такими ужасными словами, что мне вдруг стало страшно. Ты слышал, как я закричала?

М а й о р о в. Морис там?

М а р и н а. Нет, он вырвался и выскочил на улицу. Мужчины побежали за ним. Морис способен разбудить весь поселок.

М а й о р о в. Я пойду разыщу его. Как бы старика не хватил удар.

М а р и н а. Нет-нет, не уходи. Посиди со мной. Слышишь?

М а й о р о в. Ладно, Маринка. Ты только не волнуйся.

М а р и н а. Я не волнуюсь. Просто у меня отвратительное ощущение... Не хочу никого видеть, ни с кем говорить.

М а й о р о в. Здравствуйте! И со мной?

М а р и н а. Сядь. Вот тут, чтоб я тебя видела. Дай мне папиросу. И помолчи.

Марина закуривает папиросу, не сводя глаз с Майорова. Майоров, покорный и несколько смущенный, молчит, искоса поглядывая на нее.

М а й о р о в (после паузы). Ну, чево?

М а р и н а (вдруг расхохоталась). Ой, Сашка! Наконец-то!

М а й о р о в. Ну, что там еще!

М а р и н а. Наконец я тебя узнала. Вот сейчас ты тот, прежний. Я вдруг ясно себе представила, как ты заходишь в комнату девчат на Пироговке и стараешься смотреть мимо меня. А я злилась и нарочно таращила на тебя глаза. Тогда ты милостиво обращал на меня внимание и бурчал: «Ну, чево?» Вроде тут и суровость и ирония, а глаза все равно ласковые-ласковые... Сашенька-ка!

М а й о р о в. Чево?

М а р и н а. Ничего.

М а й о р о в. Ну, повеселела?

М а р и н а. Нет. Я сегодня первый раз за весь год выпила чуточку вина. Полстакана, даже меньше. И как-то оживилась. Почувствовала себя ясной, легкой, совсем как тогда... Как будто я студентка, Андрей не мой муж, а просто студент, и ты тоже... В общем, вздор. А потом — опять. Хорошо, что ты не пошел к Мехти. Кстати, ты как смел не прийти? Я тебя ждала.

Хотя понимаю — тебе неудобно. Ты теперь такой важный.

М а й о р о в. Нет, просто — ни к чему. Не нравится мне этот ваш Мехти.

М а р и н а. Ага! Я так и знала, что ты поймешь. Знаешь, ты очень хороший парень, Саша. Очень настоящий.

М а й о р о в. На такие слова никогда не знаешь что отвечать. Одинаково глупо и соглашаться и спорить.

М а р и н а. Раньше тебя не хватило бы и на такой ответ. Сашка! Ты очень меня любил тогда?

М а й о р о в. Ну, это не твое дело.

М а р и н а. Я тебя не спрашиваю, любил ли ты меня или нет. Я спрашиваю — очень?

Майоров молчит.

Если ты скажешь правду, я тоже скажу тебе кое-что... Очень?

М а й о р о в *(тихо)*. Очень.

М а р и н а *(так же)*. Я знала. И я тебя тоже. Очень.

М а й о р о в. Это неправда.

М а р и н а. Правда.

М а й о р о в. Как? А Андрей?

М а р и н а. Андрей? Андрей мне нравился.

М а й о р о в. Прости, у меня на языке вертится глупый вопрос. Почему же ты... с ним?

М а р и н а. Ну вот, почему. Так получилось. Выходят же замуж по расчету.

М а й о р о в. Мне не хочется шутить, Маринка.

М а р и н а. Я не шучу. Разве расчет — это обязательно значит деньги? Я тебя любила и боялась мысли, что мы можем быть вместе. Мне стыдно сознаться, но я думала, что никогда не привыкну к твоим ужасным словечкам, ситцевым галстукам и тысяче мелочей, которых уже не могу вспомнить. А когда ты пускался в рассуждения об искусстве, я тебя просто ненавидела.

М а й о р о в. Могу себе представить.

М а р и н а. Все это, конечно, чепуха. Не думай, что я уж такая пошлая индюшка. Главное, что я не могла угадать нашего будущего. Я знала, что с тобой будет трудно и беспокойно. И потом, в тебе была какая-то пугавшая меня нетерпимость. Я могла измываться над тобой в пустяках, но всегда понимала, что если тебе придется выбирать между мной и тем, что ты внутренне будешь считать для себя... Ну, залезла в дебри и не

знаю, как вылезть. Ты понимаешь. А я бы этого не простила.

М а й о р о в. А разве Андрей...

М а р и н а. Опять Андрей! Андрей — это совсем другое. Он принимал меня такой, какая я есть. С ним было легко. По крайней мере мне так казалось.

М а й о р о в. Ты счастлива?

М а р и н а. Не знаю. Нет. Разве ты не видишь? *(Сквозь слезы.)* Мне очень худо, Сашка.

М а й о р о в. Что ты, Маринка? *(Подошел, гладит ее волосы.)* Ну, поди сюда. Расскажи. Пожалуйся.

М а р и н а. Молчи, молчи, молчи... Мне не на что жаловаться. Я сама во всем виновата. А все оттого, что ничего по-настоящему не умею хотеть... и много рассуждаю.

Пауза.

М а й о р о в. Нет, это я виноват. Сейчас я с удовольствием бы высек себя, если б это только помогло.

М а р и н а. Почему ты молчал?

М а й о р о в. Я растерялся. Появился Андрей, и ты очень изменилась ко мне. Я не мог понять, откуда этот холод, враждебность. За что? Потом понял: третий — лишний.

М а р и н а. Много ты понял!

М а й о р о в. А тут еще Андрей стал поверять мне свои сердечные тайны и связал меня по рукам и ногам. Когда перед отъездом ты прощалась со мной, я хотел сказать тебе все. Но ты пришла вся в слезах, я видел, что у тебя свое горе, — и я не посмел.

М а р и н а. Боже мой, какой дурень! Молчи, молчи, молчи...

Они сидят молча очень близко друг к другу.

М а й о р о в. Я хотел забыть тебя. Я был на Колыме. Искал нефть в башкирской степи и за Полярным кругом. И, как видишь, не смог.

М а р и н а. Я тебе верю. Но, знаешь, я как-то не представляю тебя несчастным.

М а й о р о в. Я был бы неблагодарной скотиной, если б считал себя несчастным. Я очень тосковал по тебе, понимаешь. Тосковал — и все же бывали дни, когда мне не доставало тебя, чтоб поделиться своим счастьем. Все-таки лучшая в мире профессия — это разведчик.

М а р и н а *(улыбается)*. Лучшая?

М а й о р о в. Лучшая в мире.

М а р и н а. Нефть?

М а й о р о в. При чем тут нефть. Разведчиком можно быть везде. По существу, вся наша жизнь — разведка. Разведка в будущее.

М а р и н а. Не знаю. Я боюсь таких слов. Мне они кажутся немного трескучими. Иногда меня охватывает такая тоска...

М а й о р о в. Это все от безделья, Маринка. Ты не живешь, а прозябаешь. Надо вставать на рассвете и заниматься делом. Тогда появляются друзья и враги, желания и поступки. Жизнь сурова к праздным наблюдателям — она казнит их скукой... Они разглядывают ее с унылым высокомерием богатых туристов, им кажется, что их обокрали. Но это вздор. Они просто нищие.

М а р и н а. Ох! *(Закрывает лицо руками.)*

М а й о р о в. Прости. Я не хотел тебя обидеть.

М а р и н а. Верю. Это-то и обидно. Я вдруг почувствовала, что ты считаешь меня таким ничтожеством... Со мной никогда в жизни никто еще так не говорил. Ты меня просто зачеркнул. Как же можно любить женщину, которая так никчемна, эгоистична, я уж не знаю, что еще... Ведь это так, по-твоему? Да полно, проверь себя, может быть, тебе просто показалось? Ну, немножко нравилась, немножко ревности, упрямство, задетое самолюбие? Но тогда это оскорбительно. Зачем же я тебе нужна такая? *(Пауза.)* Ну что ты молчишь?

М а й о р о в. А что говорить? Оправдываться? Не буду.

М а р и н а. Прекрасно. Значит, ты еще подтверждаешь?

М а й о р о в. Я не хочу ни подтверждать, ни отрицать. Ты сама знаешь, что наговорила чепухи. Набор слов, который означает, что ты обижена и хочешь обидеть.

М а р и н а. Сашка! Мы сейчас поссоримся!

М а й о р о в. Может быть. Если мы поссоримся, — значит, нас действительно ничего не связывает, кроме пустяков.

М а р и н а. Ты говоришь таким тоном, как будто у тебя появились какие-то права на меня.

М а й о р о в. Только одно. Право не лгать. Но я могу замолчать.

М а р и н а (*жалобно*). Ты знаешь, что я тебе верю, и пользуешься. Нет, пожалуйста, говори мне всегда только правду. Я, кажется, не очень умею ее слушать, но ты должен это понять и не быть таким резким. Надо бережнее.

М а й о р о в. Совсем не надо. Я и так переложил сахару.

М а р и н а. Ух, проклятый упрямец! (*Она смотрит на него почти с восхищением.*) Почему ты не женился, Саша?

М а й о р о в. Правду?

М а р и н а (*сердито*). Правду, правду.

М а й о р о в. Ты знаешь.

М а р и н а. И ты никого не любил после меня?

М а й о р о в. Любил? Нет. Никого.

М а р и н а. Мой дорогой! (*Она обнимает его и крепко целует.*)

Майоров подхватил ее на руки и легко поднял в воздух. Зазвонил телефон. Марина выскользнула из рук Майорова, отскочила, поправляя волосы.

М а й о р о в (*взял трубку*). Да. Это ты, Андрей? Нет, его нет... Марина здесь... Что?.. Очень хорошо. (*Кладет трубку.*)

М а р и н а. Он сейчас сюда придет?

М а й о р о в. Да.

М а р и н а (*подходит к Майорову и кладет ему руки на плечи*). Сашка! Скажи мне, только честно. Когда Андрей, в институтские времена, откровенничал с тобой, он не сказал тебе... Словом, он говорил тебе, что мы с ним... что я уже его жена?

М а й о р о в. Нет. Не говорил. Все равно — я знал.

М а р и н а. Ты не мог знать.

М а й о р о в. Я знал, что он недоговаривает. Но для меня было ясно.

М а р и н а (*задумалась, ее лицо стало жестким*). Да, это Андрей. Он всегда полулжет.

М а й о р о в. Ну, будь справедливой. Я бы его не уважал, если б он проболтался. В чем ты видишь ложь?

М а р и н а. Он тебя обманул, не сказав ни слова лжи. За три года в институте он меня поцеловал один раз. А ты... Ох, теперь я понимаю. Нет, нет, не будем ворошить старье. Сашка! (*Прижалась к нему.*) Ты чудная, нелепая зверюга. Такой суровый, прожженный разведчик — и наивный, как девочка. Я хочу, чтоб

ты сегодня повез меня в степь. Слышишь? И мы будем вместе до самого утра.

М а й о р о в. Вместе? В степь?

М а р и н а (*быстро*). Ну да. Может быть, завтра я буду жалеть, но сегодня меня тянет созорничать.

М а й о р о в. Это невозможно, Маринка.

М а р и н а. Ты не хочешь?

М а й о р о в. Я должен работать всю ночь. Завтра я уезжаю. И потом — вообще невозможно.

М а р и н а (*вздрыгнула*). Да, конечно, это дикость. Я говорю глупости. Все-таки мне обидно, что ты так благоразумен. Хочешь, я приеду к тебе в Баку? Ага! Ты рад?

М а й о р о в (*радостно растерянный*). Но... ты решила? Ты уверена, что сможешь?

М а р и н а (*шепотом*). Я постараюсь. (*Пауза.*) Почему ты стал такой мрачный?

М а й о р о в (*он действительно потемнел*). Видишь ли... Боюсь, что я все-таки не смогу обмануть Андрея. Нет, даже не то. Пожалуй, я бы смог. Понимаешь, я, кажется, слишком сильно тебя люблю, чтоб теперь завести с тобой интрижку.

М а р и н а. Понимаю. Я напрасно унижалась. Ты просто трус. (*Пытается его оттолкнуть.*)

М а й о р о в (*вспыхнул*). Трус? Хорошо. Ты слышишь на улице шаги? Это идет Андрей. Сейчас он войдет. Не вырывайся, я тебя никуда не пущу, пока не откроется дверь. Нам придется объясниться и порешить все разом. Так лучше. Мы товарищи и сумеем поговорить, не наворотив грязи. Андрею будет тяжело, но он поймет. Хочешь так?

М а р и н а (*испуганно*). Ты с ума сошел! Пусти немедленно! Сию минуту, слышишь? Я требую...

М а й о р о в (*несколько секунд смотрит ей в глаза и потом сразу отпускает руки*). Я пошутил. Конечно, я бы этого не сделал.

М а р и н а (*пытается улыбнуться*). Нельзя же быть таким отчаянным.

М а й о р о в. Да? (*С горечью.*) Если б ты видела, какие у тебя сейчас были злые глаза.

Вошел Г е т м а н о в.

Хорошо, что ты зашел, Андрей. Есть вопрос, который мы должны разрешить втроем.

Г е т м а н о в. Втроем?

М а й о р о в. Именно. Я хочу сказать — вместе с геологом.

М а р и н а. Я ухожу. Ты надолго, Андрей?

Г е т м а н о в. Не знаю. Ложись спать — у тебя зеленое лицо.

М а р и н а. Да. Я очень устала. *(Уходит.)*

Г е т м а н о в. Я захватил с собой нашу докладную записку. Ты можешь уделить мне несколько минут?

М а й о р о в. Ага! Наконец. *(Перелистывает.)* Постой! Чья это подпись?

Г е т м а н о в. Где?

М а й о р о в. Вот, вторая. Какой-то древнеиранский иероглиф.

Г е т м а н о в. А! Это — Рустамбейли. Ему временно поручен геологический надзор.

М а й о р о в. Обожди... А куда девался Морис?

Г е т м а н о в *(помолчав)*. Морис у нас больше не работает.

М а й о р о в. Здравствуйте! Как так — не работает?

Г е т м а н о в. Сегодня утром он подал заявление об уходе.

М а й о р о в. Ты не имел права его отпустить.

Г е т м а н о в. Я не имел права задерживать его ни минуты. Морис очень больной человек. Если он продолжал работать, на то была его добрая воля.

М а й о р о в. Пусть возьмет обратно свое заявление. Корми его сливками и черной икрой, зимой мы пошлем его лечиться. А сейчас он нужен.

Г е т м а н о в. Ты меня ставишь в очень трудное положение. Я сам рассчитывал удержать его, несмотря на то, что последнее время он способен вывести из терпения ангела. Но после того, как он позволил себе... Тебе говорила Марина?

М а й о р о в. Да.

Г е т м а н о в. Ты бы послушал. Он назвал меня негодяем, шантажистом и грозил разоблачить перед всем светом. Черт знает что! У меня нет ни малейшего желания сводить личные счеты, но как-то оградить себя от подобного рода наскоков я обязан.

М а й о р о в. Очень странная история. Нет, ты прав. Морис должен взять свои слова обратно и извиниться. Он так и сделает.

Г е т м а н о в. Хорошо. У него есть время до десяти часов утра. В пять минут одиннадцатого будет вывешен приказ. Но должен тебя откровенно предупре-

дить — ты не знаешь его характера. Морис упрям как бык.

М а й о р о в. Ничего. Это я беру на себя.

Г е т м а н о в. Как знаешь. (Пауза.) Послушай, Саша. Нам надо поговорить вполне откровенно.

М а й о р о в. По-моему, это единственный метод разговора, который чего-нибудь стоит. Слушаю.

Г е т м а н о в. Я считаю разведку безнадёжной. (Пауза.) Думаю, это ясно не мне одному, но и кое-кому в тресте. Если у Мориса нет необходимого мужества признать свою ошибку, то моя прямая обязанность заговорить об этом открыто. Ты что-то хотел сказать?

М а й о р о в. Нет. Я слушаю.

Г е т м а н о в. Подумай и рассуди сам. Четвёртый номер стоил около двух миллионов рублей и оказался трупом. Теперь через несколько дней будет закончена «Сара». Я положил на нее много труда, еще больше нервов, но судьба ее предрешена. Когда я припер Мориса к стенке, ему пришлось сознаться, что на проектной глубине мы нефти не получим. Сегодня ты сказал, что если когда-нибудь мне понадобится твоя помощь... Только пойми меня правильно. Мне очень неловко, что я с места в карьер начинаю эксплуатировать твое обещание, но...

М а й о р о в. Ладно. Не занимайся пустяками. Я затем и приехал, чтоб тебе помочь.

Г е т м а н о в. Я тебе очень благодарен, тем более что мне в самом деле нелегко. Я отлично понимаю, что меня запихнули в эту окаянную дыру не случайно. Есть люди, которым мало убрать меня с промысла, где я намозолил им глаза. Им хотелось бы добить меня до конца, да так, чтоб я лег и не встал. К счастью, это не так просто. Моя работа отмечена в печати. «Сара» держит переходящее знамя. И если мои усилия идут прахом, я в этом нисколько не виноват.

М а й о р о в. Так. Значит — крест?

Г е т м а н о в. Я не вижу другого выхода.

М а й о р о в. Тогда чем же я могу тебе помочь?

Г е т м а н о в. Сейчас скажу. Вероятно, до тебя уже дошли слухи о том, что на «Саре» кривизна несколько выше нормы.

М а й о р о в. Да. Это — правда?

Г е т м а н о в. Правда.

М а й о р о в. Хорошо, что ты мне сказал. Если б

это выяснилось при контрольном замере, я бы чувствовал себя в больших дураках. Это Мехти?

Г е т м а н о в. Неважно. Я начальник разведки и отвечаю за все. Единственное мое оправдание — вернее, не оправдание, а смягчающий довод, — что моя ошибка на сегодня не имеет никакого практического значения. Конечно, если вовремя не пресечь демагогии вокруг этого дела, его раздуют до невероятных размеров, и тут я не соберу костей. Теперь моя совесть перед тобой чиста; буде же ты сочтешь возможным своей властью предотвратить поток грязи, готовящийся излиться на мою голову, ты сделаешь доброе дело, которого я тебе не позабуду, как говорится, по гроб моей жизни. Вот все, о чем я тебя прошу.

М а й о р о в. Не многого ты просишь. (*Задумывается.*)

Г е т м а н о в. Учти, что я отнюдь не имею в виду предложить тебе что-либо идущее вразрез с твоей совестью. Поскольку все равно предстоит ликвидация разведки, достаточно этого вопроса не уточнять.

М а й о р о в. погоди! Я сейчас думаю совсем о другом... Андрюша! Скажи мне по чести: не завелось какой-нибудь кривизны в тебе самом? Ты чего-нибудь недоговариваешь?

Г е т м а н о в. Почему ты спрашиваешь?

М а й о р о в. Потому, что мне действительно хочется помочь. А как, я не знаю.

Г е т м а н о в. Ты мне не доверяешь?

М а й о р о в. Нет, я верю. Но не все понимаю.

Г е т м а н о в. Например?

М а й о р о в. Например, почему ты так худо живешь с людьми?

Г е т м а н о в. А! С какими там еще людьми?

М а й о р о в. С хорошими. Конечно, у них есть недостатки, как у всех смертных.

Г е т м а н о в. Все, что ты говоришь, очень хорошо в теории. Теоретически я тоже горжусь, что Гулам, мой ученик, выдвинут на ответственный пост, и все такое прочее. А на практике — это нуль, человек, за которого все вынужден делать я сам. Мне бы тоже очень хотелось, чтоб геолог и главный инженер заключили между собой договор о социалистическом соревновании и мирно паслись рядом. А в действительности они бегают по очереди ко мне с доносами; и это еще хорошо, потому что я по крайней мере в курсе их замыслов. Конечно,

ты понимаешь, что это разговор, который могут позволить себе два коммуниста...

М а й о р о в. Нет.

Г е т м а н о в. Что — нет?

М а й о р о в. Не могут себе позволить. Обывательский разговор.

Г е т м а н о в. Знаешь что, скажи лучше прямо, что ты не хочешь мне помочь. Когда моральные обязательства в отношении другого человека становятся в тягость, начинаешь изыскивать в нем недостатки. Так легче отказаться. Скажи. Я не обижусь.

М а й о р о в. Зато если б мне был бы нужен повод обидеться, то лучшего не подберешь. Андрюша! Ты мне друг, и я хочу тебе помочь. У меня есть предложение.

Г е т м а н о в. Да?

М а й о р о в (*берет записку*). Давай порвем к свиньям эту филькину грамоту и будем бурить дальше. Вместе.

Г е т м а н о в (*поражен*). Ты хочешь продолжать разведку?

М а й о р о в. Да. Я немного разобрался в этом посудном магазине. (*Жест в сторону полки*.) Получается убедительно.

Г е т м а н о в. Что же; ты думаешь, что я...

М а й о р о в. Я ничего не думаю. Я думаю, что тебе стоило посоветоваться со мной, прежде чем ставить свою подпись. Ну?

Г е т м а н о в (*поколебавшись*). Моя точка зрения тебе известна.

М а й о р о в. Андрюшка, плюнь. Это фраза для истории, а я с тобой попросту.

Гетманов молчит.

Ну, что ж. Придется мне решать единолично.

Г е т м а н о в. Как знаешь. Подумай, Саша. Риск большой.

М а й о р о в. Без риска в нашей профессии не ступишь. Продолжать, конечно, хлопотно. Можно нажать неприятности. Бросить — рискуешь заморозить резервы. Мы, разведчики, — люди почти что военные. Будем рисковать!

Г е т м а н о в (*встает, нервничая, собирает бумаги*). Я пойду. Ты извини — я нынче не в себе. Не сердись. Пойми, когда взрослый человек подписывает документ,

где все сказано черным по белому, нельзя требовать, чтобы он вдруг изменил свой взгляд на вещи.

М а й о р о в. Ничего не бывает вдруг. Вот видишь — статья? Сегодня утром она мне казалась целиком правильной. А сейчас я вижу, что во многом ошибся.

Г е т м а н о в. Понимаю. В мой огород камень. Слабая аналогия. Какое тебе дело до этой статьи?

М а й о р о в. Здравствуйте! Вот так — какое дело! Моя статья.

Г е т м а н о в (*изменился в лице*). Твоя?

М а й о р о в. Моя. Что ты на меня так воззрился?

Г е т м а н о в. Но Мехти...

М а й о р о в. Что — Мехти?

Г е т м а н о в. Нет, ничего. До завтра, Саша. Спасибо. (*Вышел.*)

М а й о р о в. Н-да! Грустно.

Стук в окно.

Кто?

И в а н Я к о в л е в и ч (*в окне*). Свои. Ну что, Матвей Леонтьев объявился ай нет?

М а й о р о в. Нет. Заходи.

И в а н Я к о в л е в и ч (*вошел*). Обыскались. Ничего, придет. Он навсегда так: развоюется и убежит. Побегает свое время, отведет душу — и назад. Потом — ничего.

М а й о р о в. А где Гулам? Теймур?

И в а н Я к о в л е в и ч. Ищут. А я покуда к тебе.

Пауза.

М а й о р о в. Что это ты какой... Словно тебя воздухом накачали. Ну?

И в а н Я к о в л е в и ч (*торжественно*). Сашка! Слушай внимательно. Сейчас я с тобой буду вести разговор. Официальный.

М а й о р о в. Я весь — внимание.

И в а н Я к о в л е в и ч. Ты не балуй. Я с тобой серьезно. Отвечай мне откровенно.

М а й о р о в. О-ох!

И в а н Я к о в л е в и ч. Как на духу — ты мне доверяешь?

М а й о р о в. Здравствуйте! Что так поздно спохватился?

И в а н Я к о в л е в и ч. Сашка, не верти. Отвечай твердо. Доверяешь или же не доверяешь?

М а й о р о в. Доверяю. Дальше?

И в а н Я к о в л е в и ч. Теперь такой вопрос: ты мне рекомендацию можешь написать?

М а й о р о в. Вот оно что! А в Ярославль поедешь?

И в а н Я к о в л е в и ч. Да шут его дери-то совсем! Куда я поеду? Тут у меня вторая родина — сорок вышек моих стоит. Труд моих рук вложен. Я еще в городе поживу.

М а й о р о в. В каком городе?

И в а н Я к о в л е в и ч. А вот в этом, твоём... который будет.

М а й о р о в. Ладно, напишем. Кто еще рекомендует?

И в а н Я к о в л е в и ч. Гулам. Еще Григорьян — механик.

М а й о р о в. Как? А Теймур?

Иван Яковлевич молчит.

Что так вдруг?

И в а н Я к о в л е в и ч. Да ну! Раз такое отношение... Не хочу.

М а й о р о в. Поссорились?

И в а н Я к о в л е в и ч. Не поссорились, а нехорошо.

М а й о р о в. Рассказывай.

И в а н Я к о в л е в и ч. А и рассказывать-то нечего. Не хочет жениться — вот те и все.

М а й о р о в. На ком?

И в а н Я к о в л е в и ч. На ком? На Клавке. Не на мне же.

М а й о р о в. Почему же не хочет?

И в а н Я к о в л е в и ч. А вот поди — спроси. С малолетства вместе, а как выучился на инженера, то и забурел. Наめкаешь — он в сторону. Я ему нынче прямо заявил: недостойно поступаешь, и это мне очень неприятно видеть.

М а й о р о в. Ну? А он?

И в а н Я к о в л е в и ч. Окрысился, глазами засверкал и заявляет, да этак-то грубо, нетактично: «Ты мне не указ, захочу — так на тебя и не посмотрю, а ты идейно отсталый». Отсталый! Сам-то давно ли стал больно учен.

С улицы доносится сигнал подъехавшего автомобиля.

Ну, молчок.

М а й о р о в. Чепуха какая-то.

И в а н Я к о в л е в и ч. Как это чепуха?

М а й о р о в. Потому что муть. Дребедень. *(В окно.)* Теймур?

Т е й м у р *(с улицы)*. Али! Едем?

М а й о р о в. Обождать. Мориса ищут.

Т е й м у р. Есть обождать. А маэстро с тобой?

М а й о р о в. Нет.

И в а н Я к о в л е в и ч *(шепотом)*. Сашка! Ты брось... Что я тебе, для комедии дался?

М а й о р о в. Тш-ш... *(В окно.)* Теймур!

Т е й м у р. Ты что, отец?

М а й о р о в. Поди сюда. Ты чего на Клавье не женишься?

И в а н Я к о в л е в и ч. Сашка!

М а й о р о в *(с ожесточением)*. Тш-ш! *(В окно.)* Ну?

Т е й м у р. Э, зачем кричишь? Скажу. Это долгий разговор.

И в а н Я к о в л е в и ч *(шипит)*. Вот... Слыхал? Долгий!..

М а й о р о в. Да ты говори прямо — не хочешь, что ли?

Т е й м у р. Отец, не кричи, умоляю. Какой верблюд тебе сказал, что не хочу?

М а й о р о в *(бросает торжествующий взгляд на Ивана Яковлевича)*. Что у вас там за возня? Отвечай, за чем дело стало?

За окном тихий спор, шушуканье, выделяется голос Клавьи.

К л а в а. Пусти, я сама скажу. *(Ее голова показывается в окне.)* А за тем, что отец мешает. Потому он — шовинист. Вот. *(Видит отца и застывает от ужаса.)*

И в а н Я к о в л е в и ч *(в гневе)*. Позволь! Я это слово проходил! Я его понимаю! Как же ты смеешь, малявка, отца бесчестить?

Майоров садится в кресло и хохочет всласть, захлебываясь и дрыгая ногами. Он смеется все время, пока сконфуженная Клава и Теймур влезают в окно.

Нет, пусть теперь она объяснит свои слова! Это обидное слово. Откуда у нее на отца такой материал, что он именно является шовинист?! В каком смысле?

Т е й м у р *(горячо)*. В каком смысле? В том смысле, что очень стыдно на сегодняшний день допускать в сознании такой пережиток!..

И в а н Я к о в л е в и ч. Ах, оставьте. Конечно, если я отец и не желаю глядеть на твои безобразные поступ-

ки,— это пережиток. А как девку в разгул совращать — это прелестно. Благодарю вас от всей души. Тебе, Тимка, стыдно! Ты у нас в доме как сын, на глазах наших рос. Конечно, мы институтов не кончали...

Теймур. Э, какой разгул, какой институт?.. (*Кричит.*) Пойми — я жениться хочу!

Иван Яковлевич (*кричит*). Тимка, не ври! Хотел бы, так давно женился. Никто тебе не помеха!

Пауза.

Теймур. Видишь, Клава. Говорил тебе, надо быть несколько выдержаннее.

Иван Яковлевич (*Теймуру, сурово*). А ну, иди сюда.

Теймур. Зачем?

Иван Яковлевич. Иди. Прощать буду.

Обнимаются.

Майоров. По такому случаю полагается... Эге!

Все взгляды обращены на бутылку.

М-да. С одной стороны...

Теймур. Сухой закон.

Майоров. Ладно. В мою голову! (*Разливает вино.*) Прошу.

Чокаются.

Ну, чтоб было хорошо. (*Смотрит на Клаву, и его опять разбирает смех.*) Небось обидно?

Клава. Что, дядя Саша?

Майоров. Хотелось пострадать. И — не вышло. Будьте здоровы!

Пьют.

Теймур (*прислушался*). Морис!

Распахивается дверь, и в нее вихрем влетает Марго. Захлебываясь от рыданий, она падает на кровать Мориса и прячет лицо в подушку. Все молча переглянулись.

Майоров (*шепотом*). Я буду ждать Мориса. По-езжайте, я приеду на своей. (*Выпроваживает всех и подходит к Марго.*) Кхм! Может быть, вам воды?.. (*Дотронулся до ее плеча.*) Послушайте.

Марго молчит.

Вы скажите, может быть, я могу вам помочь?

Марго (*перестала всхлипывать*). Кто это? (*Приподнялась, разглядывая Майорова, пытается улыбнуться.*) А, это вы? (*Опять разрыдалась.*)

Майоров. Нет, в самом деле, скажите, не могу ли я вам помочь?

Марго (*вытерла глаза, лицо ее стало сосредоточенно мрачным.*) Мне помочь нельзя.

Майоров. Помочь нельзя только покойнику. С вами что-нибудь случилось?

Марго. А зачем я буду говорить? Я вас первый день знаю.

Майоров. Ничего. Это даже лучше. Тем более завтра я уеду. А сегодня я вроде попа. Исповедую, благословляю, соединяю. Только вот еще анафему объявлять не пробовал.

Марго. Вы симпатичный. Все равно не поможете.

Майоров. Ну-ну, выкладывайте, что там у вас?

Марго (*с трудом*). У меня муж. И... любовник... (*Испуганно взглянула на Майорова.*) Вам противно, да?

Майоров. Мне-то что! Вам, наверно, противно.

Марго. Вы не подумайте, что Морис. Я его очень уважаю. (*Расстроилась.*) Что мне теперь делать?

Майоров. Бросить надо.

Марго. Я и бросила.

Майоров. Кого?

Марго. Обоих.

Майоров. Здравствуйте! Это почему?

Марго. Потому что — сволочи! Я дрянь, но такой пакости еще свет не видел. Я-то, дура, думаю: повинюсь мужу, жить — так по-чистому. А он — знает. И тот — тоже знает.

Майоров. Тот — это Мехти?

Марго (*с ужасом*). И вы знаете?

Майоров. Нет, что вы! Просто так, похоже.

Марго (*всхлипывает*). Что же делать? Что мне делать? Скоро я буду старухой, одинокой старухой... Страшно. (*Плачет.*)

Майоров. Ну, это вы напрасно. Я, конечно, не авторитет, но, на мой взгляд, вы, знаете, очень красивая женщина. Очень — это точно. И потом, мне известно, что блондинки очень долго не стареют. Это я вам точно говорю. Ну вот, вы и смеетесь.

Марго. Вы комик. Какая же я блондинка? Я крашенная.

М а й о р о в. Неважно. То есть, наверно, очень важно, но я не то хотел сказать. Я хочу сказать: все не так страшно. Будете работать. Поверьте моему слову — ото всех скорбей.

М а р г о. Работать! Вам хорошо говорить, раз вы инженер или там геолог. А если я не умею?

М а й о р о в. Я тоже раньше не умел. Научитесь.

М а р г о. Мне поздно. Мне мой первый муж всегда говорил: «Ты, Маргарет, предмет роскоши». Факт, между прочим. Сносила вагон тряпок — вот и все мои труды. И не знаю, как это — работать.

М а й о р о в. Отец работал?

М а р г о. Отец — всю жизнь. Он был водолаз. *(Вздыхнула.)* К чему вы спрашиваете? О происхождении беспокоитесь? Или наследственность какую ищете? Научно?

М а й о р о в. Видите ли, наука вообще утверждает, что способность к труду у человека в крови. Ходят слухи, что, когда наш древний обезьяноподобный предок перестал валять дурака, слез с дерева и начал заниматься делом, — именно тогда он и приобрел человеческий облик.

М а р г о. Вы очень хорошо объясняете. Эх! Мне наши давно толкуют — надо работать. Только я им не верю.

М а й о р о в. Что так?

М а р г о. Потому что все это один разговор. Вы, может быть, с душой работаете, а они? Что Семен, что тот же Мехти. С утра орали «бурить», а чуть вы приехали — сразу на попятный. Не так глупа — понимаю. *(Выбрасывает из кармана черновики.)* Да вот, глядите сами.

М а й о р о в *(быстро просмотрел черновики)*. Н-да. Грустно, грустно... Вы можете отдать мне черновики, Марго?

М а р г о. Берите.

М а й о р о в. И не болтайте. Ладно?

М а р г о. Какое мое дело?

В дверях фигура М о р и с а. Вид у него мрачный и растерзанный, к брюкам пристали колючки, в руках подобранная где-то грязная банка. За его спиной улыбающийся Г у л а м.

Г у л а м. Вот, привел. Первый раз встречаю такой нервный характер, даю честное слово.

М а й о р о в. Ну, здравствуйте. Наконец-то. Надо

ехать на «Сару», а геолог разыгрывает короля Лира и бегают по степи. Поздравляю вас — вы уволены.

Морис. Как?

Майоров. По собственному желанию.

Морис. Уже? Ну что ж, хорошо. Прекрасно. Тем лучше. (*Устало садится на кровать.*)

Марго. Матвей Леонтьевич! Бедненький!

Майоров. Совсем он не бедненький. Извольте немедленно пойти к Гетманову, пока он еще не спит, извиниться и потребовать обратно свое заявление.

Морис. Эт-то потрясающе! Я еще должен извиняться. Молчите, вы ничего не знаете.

Майоров. Не пойдете?

Морис. Нет. Всему есть мера. Да! Да! С меня довольно.

Майоров. Хорошо. Обойдемся без вас.

Пауза.

Морис. Вы будете бурить дальше?

Майоров. А вам какое дело?

Морис. Как вы смее! (*Просительно.*) Всего двести метров.

Майоров. Не знаю. Наверяд ли.

Морис. Эт-то чудовищно! Вы надо мной издеваетесь.

Майоров. Нисколько. Мы сначала исправим кривизну. Вероятно, этого будет достаточно. Ну ладно, не устраивайте советской власти семейных сцен. Это очень пустое занятие. Идете?

Морис (*поколебавшись*). Нет! Нет! Это исключено.

Майоров. Ну, конечно. Мы готовы пожертвовать жизнью для общего блага, а вот когда надо поступиться копеечной амбицией, тут-то нас и нет.

Морис. Вы нехорошо со мной говорите. Я старше вас. Поймите, я не могу. Это выше моих сил. Да!

Стук в дверь.

Комендант (*появляется в дверях*). Маргарита! Пошли.

Марго. Я не пойду.

Комендант. Пошли, Маргарита. Понятно, нет?

Марго. Сказала, что не пойду. Матвей Леонтьевич, скажите ему — пусть он уйдет.

Морис. Позвольте! Почему вы вламываетесь в дом среди ночи? Кажется, вы еще собираетесь здесь скандалить?

Комендант. А вы, гражданин бывший геолог, полегче. Полегче. Так? Ваша роль нам довольно понятна. Всё!

Морис (вскипел). Как вы смеете, бандит вы этакий...

Комендант. Тише, тише. Не надо хулиганить. И не встревайте. Так? Вы теперь у нас не работаете, я вам не подчиняюсь и знать вас не желаю. Вы для меня нуль без палочки. Ясно? Все! Пошли, Маргарита.

Морис. Я требую, чтоб вы ушли. Слышите?

Комендант. Не кричите. Я по делу пришел. Нахожусь при исполнении. Так?

Морис. Что такое? Какие дела в три часа ночи?

Комендант. А вот. (Показывает на полки.) Этот инвентарь, лично вам не принадлежащий. Так? Потрудитесь сдать. Я в поселке отвечаю за каждую вещь, и, ежели что пропадет, с меня первого спросят.

Морис. Вы с ума сошли. Что вы хотите делать?

Комендант. Не беспокойтесь. Сейчас покладем в мешки и — под замок. Целее будет.

Морис. Эт-то чудовищно! Да я разобью вам череп, если вы прикоснетесь хоть к одной пробе. Товарищи! Объясните ему, Ведь это дикость!

Гулам. Неправильно делаешь, Семен! Разве можно? Уходи, пожалуйста.

Комендант. А вы мне не указывайте. Пусть мне Андрей Михайлович скажет, что я за этот участок не отвечаю, — тогда так. И больше нет ничего.

Морис. Я, кажется, в самом деле сойду с ума. Вы знаете, кто это перед вами? Это товарищ Майоров. Александр Гаврилович, почему вы молчите?

Майоров (спокойно). Со своей точки зрения этот человек прав. У вас есть выход — пойти и взять обратно свое заявление. (Коменданту.) Надеюсь, вы подождете?

Морис (заметался). Хорошо. Сейчас я иду. Я сделаю все, что хотите, как хотите и когда хотите. Я только прошу вас, последите, чтоб, пока я не вернусь, он не смел ничего трогать. (Выскочил на улицу.)

Комендант *(после паузы)*. Вот вы правильно сказали — со своей точки зрения...

Майоров *(резко повернувшись к нему)*. Да. С точки зрения кретина. И вообще, почему вы здесь? Вон отсюда!

Опешивший комендант ретируется.

К чертовой матери, чтоб духу твоего здесь не было... анафема. *(Запирает дверь и набрасывается на Гулама.)* Ну? Нечего на меня глядеть как на морское диво. Это вы должны были сделать, а не я. Вы первый заместитель. И бросьте ходить за мной и хныкать. Под суд я вас все равно не отдам, а за поездки этого вашего ферта в Баку вычту из жалованья. Обязательно. Надо глядеть, что подписываешь. Будете работать, а если будете работать плохо, вот тогда я позабочусь, чтоб вам припаяли как следует.

Гулам. Товарищ Майоров! Поверьте мне — не могу. Боюсь бумаги. Даю слово — ночами не сплю.

Майоров. Чепуха. Ночью надо спать. А не спится — лучше займитесь деломпроизводством. Механика не хитрая — можно изучить. Будет трудно — приходите ко мне.

Гулам. Куда приходите? Вы завтра уедете.

Майоров. Разве? Нет. Никуда я не поеду. *(Снимает пиджак, вешает его на гвоздь. Засучивая рукава, ворчит.)* Разве тут уедешь? Тут никак не уедешь. Товарищ Марго!

Марго. Вы меня?

Майоров. Да. Как вас по батюшке?

Марго. Маргарита Феофановна.

Майоров. Так вот, Маргарита Феофановна, я вас беру на работу. Мне нужен на время секретарь. Потрудитесь соединить меня с рацией.

Марго идет к телефону.

И поживее. Пусть дадут радиограмму, что я остаюсь.

Конец третьего акта

Акт четвертый

Утро

Контора разведки. Простые столы и табуреты, только массивный, раскрашенный под красное дерево несгораемый шкаф и распластанное по стене полотнище знамени придают обстановке некоторую официальность. В глубине — дверь, ведущая на крыльцо, сбоку — маленькая дверца поселковой рации. В незанавешенном окне — кусок осеннего неба и далекий силуэт буровой вышки.

Утро. Неяркий рассеянный свет.

У окна — Гула м. На нем выутюженная пиджачная пара, твердый воротничок и галстук. На лацкане — «Знак Почета». Он напряженно вслушивается в доносящийся издали неясный гул. Гул то замирает, то возникает с новой силой. В приоткрывшуюся дверь рации выглянула Ф а т ь м а - х а н у м с бланком радиogramмы в руках.

Это маленькая женщина, миловидная и застенчивая.

Ф а т ь м а (*невуче*). Гулам! К тебе можно, Гулам?

Гула м. Молчи, да. Слушай.

Ф а т ь м а (*поднимает кверху улыбающиеся глаза и прислушивается*). Сегодня Сара проснулась и тоже слушает долго-долго. Смотрит на меня, смеется и говорит: гу-гу-гу-гу... Э, ты не слушаешь, Гулам?

Гула м. Ай, женщина! Не можешь молчать, да?

Ф а т ь м а (*помолчав*). Гулам! Послушай — товарищу Али опять радиogramма. Трест сердится, спрашивает, когда будет выезжать?

Гула м. А! Положи вон туда. Пускай себе сердится. Менелюм, помолчи, пожалуйста. (*Прислушивается.*)

Гул обрывается. Тишина.

Ф а т ь м а (*робко*). Что это, Гулам?

Гула м (*схватил трубку телефона*). «Сару» дайте. «Сара»?.. Везиров говорит. Теймура позовите там... Не может подойти? Кто это говорит?... Товарищ Майоров?... Э, погоди, что ты от меня хочешь, Фатьма? Товарищ Майоров! Умоляю, одно слово скажи, больше ничего не хочу... Не слышу... Закрыли фонтан? Ай, саол!

Задвижка держит?.. Не вырвется, говоришь? Ай, молодцы, даю честное слово! погоди, дорогой. Ты что, Фатма? Слушай, Али, тебе опять радиограмма... Эге, трест, трест. Э? Зачем по телефону читать, я могу лично привезти... Кто хитрый? Я хитрый? Ты меня обижаешь. Нет, кроме шуток, дорогой, разреши, пожалуйста. Менелюм, одним глазком! Э?.. Как, почему бригада голодная? Не может быть... Ничего нет? Возмутительное безобразие, даю честное слово! Конечно, конечно. *(Положил трубку.)* Подожди, Фатма. *(Опять схватил трубку.)* Склад дайте!.. Семен? Что такое — люди шестнадцать часов в степи, не имеют горячей пищи?.. Э? Что значит — не ресторан? Не хочу ничего слушать. Зайди. Как — кто говорит? Везиров говорит!!! *(Швыряет трубку.)*

Ф а т ь м а. Я уйду, Гулам?

Г у л а м. Сиди.

Ф а т ь м а. Ты не будешь кричать?

Г у л а м. Сиди, да. Не беспокойся.

К о м е н д а н т *(вошел)*. Звал?

Г у л а м. Звал.

К о м е н д а н т. Ну?

Г у л а м. Сдавай дела, Семен.

К о м е н д а н т. Как это так — сдавай?

Г у л а м. Сдавай все дела. Склад сдавай, столовую, гараж. Уходи.

К о м е н д а н т. Та-ак. Ну, это вы зря горячитесь. Согласуйте сначала. Так? Вот если будет от руководства указание, официально, я сдам. И больше нет ничего. *(Хмыкнул.)* Как я могу уйти? Смешно.

Г у л а м *(указывает ему пальцем на дверь)*. Вот тебе мое указание! Понял? *(Грохнул кулаком по столу.)* Я здесь хозяин! Официально тебе говорю, ты мне надоел! Сколько можно терпеть? Довольно, да. Сдавай дела. Уходи.

К о м е н д а н т *(начинает понимать)*. Та-ак. Это что же, согласовано?

Г у л а м *(спокойнее)*. Я тебя предупреждал, Семен. Говорил — будь человеком. Ты не человек, Семен. Ты какой-то бесчувственный долдон, даю честное слово. Извини, пожалуйста.

К о м е н д а н т. Согласовано, значит. *(Вздыхает.)* Та-ак.

Пауза.

Г у л а м. Можешь идти.

Комендант (*хрипло*). Гулам!

Г у л а м. Что тебе?

Комендант. Дай строгий.

Г у л а м. Давал. Не помогает.

Комендант. Дай с предупреждением. Ежели какие ошибки, то я осознаю. Перестроюсь. Теперь я на тебя ориентироваться буду.

Г у л а м (*озадачен*). Извини, как ты говоришь?

Комендант. А вот когда я на разведку пришел, мне Мехти говорит: «Семен, ориентируйся на меня. Не пропадешь».

Г у л а м. Якши. А я при чем?

Комендант. Так вот, я теперь на тебя ориентироваться буду.

Г у л а м (*смеется*). Не надо, Семен.

Комендант. Так. Значит, всё?

Г у л а м. Всё.

Комендант (*не уходит*). Могу «по собственному желанию»?

Г у л а м. А ты желаешь?

Комендант. Я?!

Г у л а м. Тогда нельзя.

Комендант. Так как же будет?

Г у л а м. Выгоню.

Комендант понурясь идет к двери.

Ф а т ь м а (*потрясена*). Ой, Гулам!

Г у л а м. Фатьма! Ориентируйся на меня. Не пропадешь. (*Взял трубку.*) Квартире начальника... Марина-ханум? Извините, пожалуйста. Да-да, Гулам. Менелюм, покричите там Андреянову, пожалуйста. Пусть в контору зайдет.

М а р г о (*заглядывает в окно*). Ушел Семен? Здравствуй. Зачем Андреянову звал?

Г у л а м. Какое твое дело — зачем?

М а р г о. Значит, есть дело, коли спрашиваю. (*Зовет.*) Ольга Петровна! (*Вошла, постройневшая и посвежевшая, в мужском комбинезоне.*) Вот что, хозяин. Скажи Семену, чтоб не артачился. Чтоб сию минуту мне машина была.

Г у л а м. Зачем?

М а р г о. На «Сару» хлебово повезем. Вон Ольга Петровна настряпала.

Ольга Петровна (вошла). Давай машину, не разговаривай.

Гулам. Марго-ханум! Ольга Петровна! (Прижимает руку к сердцу и кланяется.) Я вас так уважаю, как свою мать.

Марго. Ладно, ладно. Какая я тебе мать? Пиши записку.

Гулам. Не надо записки. Скажи, Везиров приказал.

Ольга Петровна. Вона! Ну, орел! (Пошли к двери.) Ежели не даст, я опять к тебе приду.

Гулам. Даст. Не беспокойся.

Ольга Петровна. А то нынче прихожу к нему, говорю: «Семен! Повар в лихорадке, дай я состряпаю». И-и, нипочем! Как так можно выдать казенные продукты частному лицу. Это я-то частное лицо! (Вышла.)

Гулам. Ай, Семен, Семен! Марго-ханум, садись, пожалуйста. Фатьма, иди себе, нам поговорить нужно.

Фатьма уходит.

Марго. Спасибо. (Садится.) Закрыли фонтан?

Гулам. Эге.

Пауза.

Марго. Что ты на меня смотришь? Не видал раньше?

Гулам (улыбается). Не видел.

Марго. Смотри, смотри. Прощайся. Уезжаю нынче.

Гулам. Куда?

Марго. Совсем от вас. Сначала в Баку, а там видно будет.

Гулам. Зачем, Марго-ханум? Здесь теперь самая жизнь начинается.

Марго. А мне какая радость? Сегодня Майоров уедет — моей службе конец. Ты мне даром денег платить не станешь. И от Семена проходу нет. Нам двоим тесно тут. И ни к чему.

Гулам. Понимаю. Ко мне работать пойдешь?

Марго. Кем?

Гулам. Комендантом поселка. (Пауза.) Ну, по рукам?

Марго (не сразу). Ты что, Гулам, шутишь, что ли?

Гулам. Когда я с тобой шутил?

Марго. А я могу?

Г у л а м. Можешь. Что это — наука, геология? Душу надо иметь.

М а р г о. Стой! А Семен?

Г у л а м. Ай, не люблю десять раз повторять. Комендантом будешь, да. Комендантом.

М а р г о (встала). Ладно. Только смотри, Гулам. Если где хоть раз, на собрании или в стенгазете, шум подымут: была такая, стала сякая, мы воспитали, она воспиталась, — убегу. И не сыщешь меня. Мне сейчас тихо надо пожить, строго. Всю себя продумать. Понял? Работаю — и всё. Деньги нужны. Уговор?

Г у л а м. Уговор. (Протягивает руку.)

М а р г о. Спасибо, Гуламчик.

Г у л а м (с ужасом смотрит на ее лицо). Маргоханум! Что с тобой?

М а р г о (подносит к лицу платок и сразу отнимает. На нем большое черное пятно). Ох, какая я дура!

Г у л а м. Что такое?

М а р г о (с нервным смешком). Ресницы с утра намазала.

Гудок автомобиля.

Оленька Петровна, иду-у! Прощай, Гуламчик! (Выбегает.)

Слышен лязг тормозов отъезжающей машины и истошный крик Газанфара: «Стой, стой! Возьмите меня обратно!»

Г а з а н ф а р (врывается в контору. Он в трансе, руки и лицо блестят от нефти). Кушать повезли — зря бежал. Здравствуй, начальник! Видал нефть, да? Смотри, да. Нюхай.

Г у л а м. Саол! Иди помойся.

Г а з а н ф а р (танцует). Не хочу. Целый день так буду ходить! (Вихрем вылетает на улицу.)

В ту же минуту подъехавшая машина резко тормозит у крыльца. Раздается треск ломающейся доски и хриплый рев Мориса: «Эт-то возмутительно! Эт-то потрясающе!»

М о р и с (в бешенстве). Эт-то черт знает что такое! Почему еще не повесили этого болвана? Тридцать разведчиков работают всю ночь без передышки, и это никого не беспокоит. Люди хотят жрать! Что? Это непонятно?! Что ты молчишь, Гулам? Кому я говорю — тебе или этому шкафу?

Г у л а м (улыбаясь, протянул ему лист бумаги). Пиши, да.

М о р и с (схватил бумагу, повертел, швырнул и завопил как ужаленный). Что такое? Зачем? Что это — издевательство?

Г у л а м (смирненно). Извини, пожалуйста. Я думал, ты хочешь писать заявление.

М о р и с (дико воззрился на Гулама, затем захохотал). Шалишь! Не поймаешь! Ты стал большой шутник, Гулам. (Хлопает его по плечу.) Нет, серьезно, послали что-нибудь на «Сару»?

Г у л а м. Не беспокойся.

М о р и с. Так бы и сказал сразу. Из-за чего такой крик? (Увидел на столе банку.) Тебе нужна эта банка? Будем считать, что она моя. Слушай, Гулам. Спаси меня от Клавы. Я увел у нее машину. Машина цела — это бесспорно, но, кажется, я сломал здесь перила...

К крыльцу подкатила машина. Морис бросается к окну.

Нет, аллах велик — это не она. Так ты понял меня, Гулам?

Г у л а м. Якши. Ориентируйся на меня. Я сам тебя оштрафую.

Хлопнула дверца машины. Вошли Майоров, Гетманов, Мехти. Из двери рации выглянула Фатма-ханум.

М а й о р о в. Здравствуйте, кого не видел. Это мне? (Распечатывает радиogramму.) Прямо спасу нет — надо ехать.

Г у л а м. Поздравляю тебя, дорогой.

М а й о р о в. Чего там — поздравляю. Теймура поздравь. Ты скажи лучше, бригаду будешь кормить?

Г у л а м. Уже.

М а й о р о в. То-то. Ты этого долдона, будь он трижды проклят, гони отсюда к лешему.

Г у л а м. Уже, дорогой.

М а й о р о в (с любопытством взглянул на Гулама). И вот еще что. Оставляю на твое попечение Маргариту Феофановну. Последи, чтоб к ней не приставали со всякой дрянью разные... любители. Она женщина одинокая. А главное, дай ей работу. Ты не смейся — она очень толковая.

Г у л а м. Уже, да.

М а й о р о в. Опять — уже? Товарищ Везиров, если вы в ближайшее время не зазнаетесь, предсказываю

вам блестящую будущность. Фатьма-ханум! Пожалуйста сюда. Записывайте: «Выезжаем в Баку для отчета. Майоров, Гетманов, Рустамбейли». Передайте немедленно.

Фатьма скрывается за дверь.

Мехти (изумлен). Александр Гаврилович!

Майоров. Обождите минутку. (Гуламу.) Скажи, пожалуйста, чтоб мне налили полный бак бензина и воды в радиатор. Вода чистая?

Гулам. Ты меня обижаешь. (Идет к выходу.)

Майоров. Теперь, чтоб не забыть. Матвей Леонтьевич, вы мне подобрали коллекцию?

Морис. Да! Да! Вы останетесь довольны. Вы поставите ее дома — и все ваши друзья будут любоваться. Сейчас. (Выбегает.)

Майоров (прикрыл дверь за ушедшими и вернулся обратно). Ну-с, давайте подводить баланс.

Пауза.

Ты молчишь, Андрей?

Гетманов. Да.

Майоров. Тебе нечего сказать?

Гетманов. Не нечего, а очень трудно. Я еще не вполне понимаю, что произошло. Я все тот же, но мне кажется, что внутри меня что-то обрушилось, и я, как мешок, набит осколками. Я еще не знаю, какой счет мне будет предъявлен. Знаю только, что я твердо решил заплатить по нему до последнего гроша.

Мехти. Клянусь небом, я тебя не понимаю.

Гетманов. Не бойся, Мехти. Я не собираюсь валить на тебя свои грехи. У тебя хватит своих собственных.

Мехти. Клянусь, меня поражает твое настроение. В такой торжественный день...

Гетманов. Я был бы большим наглецом, если бы пытался торжествовать. На разведке праздник, но на нем все отлично обходятся без меня. Я здесь лишний. Если ты захочешь посмотреть правде в глаза, то тебе остается сказать то же самое.

Мехти. Говорят, русский человек любит каяться. Исключительно верно! Кто тебя просит устраивать шахсей-вахсей и бить себя по голове? А если уж не можешь удержаться, говори, пожалуйста, лично о себе. Я не вижу основания, чтобы плакать и терзать свою

грудь скорпионами. Не отрицаю — мы много ошибались. Надо особенно благодарить Александра Гавриловича за то, что он исключительно вовремя помог нам заметить нашу ошибку...

Гетманов. Ты, кажется, хотел говорить только о себе.

Мехти. Хорошо. У меня была неправильная точка зрения. У меня. В конце концов, я не геолог. Я заблуждался. Назовите меня маловером. Нужно, чтоб я это признал? Хорошо. Я маловер, отсталый человек. Мне очень жаль, это мое несчастье, но все-таки — не преступление. В конце концов мы победили. Мы дали нефть. Победителей не судят.

Майоров. Вы очень заблуждаетесь, Мехти Ага.

Мехти. Именно?

Майоров. Судят.

Мехти. Вот как? Может быть, я должен сдать дела?

Майоров. Зачем? Вы давно уже не у дел.

Мехти. Вот как? *(Обводит глазами обоих.)* Вопросов не имею. Следите за газетами. Там может появиться интересная статья. Могу даже сообщить заглавие.

Майоров. Ну?

Мехти. «Травля азербайджанского специалиста».

Гетманов. Замолчи, Мехти. Ты говоришь вздор.

Мехти. Мне не нравится, когда со мной говорят таким тоном. Когда ты в следующий раз захочешь обратиться ко мне, потрудись тщательно выбирать выражения. И не вмешивайся. Я отвечаю за свои слова.

Гетманов. Ну, знаешь ли...

Майоров. Обожди, Андрей. Не кипятись. Как раз тебе не следует переоценивать влияние инженера Рустамбейли на советскую прессу. *(Мехти.)* Значит, у вас нет вопросов? А у меня есть.

Мехти. Пожалуйста.

Майоров. Вам их все равно зададут в Баку, но у меня есть сильное подозрение, что вы будете врать. А здесь в поселке есть люди, которых в случае чего можно поставить на очную ставку.

Мехти. Это что же, допрос?

Майоров. А вы назовите, как вам нравится.

Мехти *(высокомерно)*. Если это допрос, я требую, чтоб его вели на моем родном языке. Вам известно, что это мое право?

М а й о р о в. Несомненно. (*Вынимает из кармана газету.*) Сиз карадан билирсиныз бу магалани? Ты не понимаешь, Андрей? Я спрашиваю его, какое он имел отношение к появлению этой статьи? (*К Мехти.*) Билинизки Гетманов бурададур, нан бу насала илан азча танышам ¹.

М е х т и (*бросает злобный взгляд на Гетманова*). Хечбиршей ².

М а й о р о в. Я тоже думаю, что никакого. Магалани нан язмышан ³. Ну, это так, к слову. Сиз геологи гор-худмишдинизчи о аризая голчасын агяр голчакмаса Андрей ону нахв едабиляр? ⁴

М е х т и (*неуверенно*). Нан бу насалами баша душмадим ⁵.

М а й о р о в. Чего тут не понимать. Просто, как палец. Димишдиниз я иок? ⁶

М е х т и. Ну, довольно. Я вижу, вам трудно. Хорошо, я не буду настаивать. Давайте говорить по-русски.

М а й о р о в. Нет, зачем же. Мне совершенно безразлично. Во избежание недоразумений я хотел бы все-таки выполнить ваше требование до конца. Димишдиниз я иок?

М е х т и. Довольно. Я настаиваю, чтоб вопросы задавались по-русски. Я снимаю свое требование.

М а й о р о в. Настаиваете? Почему?

М е х т и. Почему?

М а й о р о в. Да, почему?

М е х т и. Да что вы, черт возьми, не видите... что я не понимаю по-азербайджански?

М а й о р о в (*после паузы*). Вы — азербайджанец?

М е х т и. Да, я родился в Баку. Но у нас в семье говорили только по-русски и по-французски.

Г е т м а н о в. «Травля азербайджанского специалиста»!

М а й о р о в. Я все-таки хочу вернуться к своему вопросу. Так и быть, я вам переведу. Я спрашивал вас, говорили ли вы Морису, что, если он не подпишет докладную записку, Андрей его уничтожит?

¹ Учтите, Гетманов здесь, и сам я кое-что знаю (*азерб.*).

² Никакого.

³ Статью я написал.

⁴ Говорили вы геологу, что, если он не подпишет записку, Андрей его уничтожит?

⁵ Не понимаю вопроса.

⁶ Говорили или нет?

Гетманов. Что?

Майоров. Говорили или нет? Может быть, позвать Мориса?

Мехти. Не нужно. Да, говорил.

Гетманов. Это шантаж!

Майоров. Молчи, Андрей. (К Мехти.) Вы лгали?

Мехти. Нет. Я говорил правду.

Гетманов. Повтори, что ты сказал?!

Мехти. Я передал Морису твои подлинные слова.

Гетманов (вскочил). Он лжет! Мерзавец!

Мехти. Молчать! (Он тоже вскочил, сжимая в руке палку.)

Майоров. Отставить.

*Дверь с грохотом распахивается. На пороге — Газанфар.
Все обернулись.*

Что тебе, Газанфар?

Газанфар. Прости, товарищ начальник. Я думал, здесь кто-нибудь с тобой хочет некрасиво, грубо поступать. Прости, пожалуйста.

Майоров. Что ты, Газанфар! Иди, иди.

Газанфар. Саол! А то — позови, да. (Исчезает.)

Майоров. У меня остался один последний вопрос. Вы утверждаете, что искренне заблуждались в оценке перспектив разведки?

Мехти. Да.

Майоров. Вот два черновика докладной записки. Какому верить? Ваша рука?

Мехти молчит.

Гетманов. Да не тяни же!

Майоров. Позвать Марго?

Мехти молчит.

Вы не хотите разговаривать?

Мехти. Нет. Я вижу, что мне шьют дело. Для полноты картины нужен классовый враг. Клянусь, я отлично вас понимаю. Завтра вы скажете, что я состою в контрреволюционной организации? Или сознательно хотел заморозить район, чтоб сохранить в целости для бывших хозяев?

Майоров. Нет, не скажу. Чего не знаю, того не знаю. Я не чекист, а инженер. Для меня — вы враг. Вы мешаете мне работать. И я для вас также враг, потому что мешаю вам жить. За это вы меня и ненавидите.

Мехти. Неправда.

Майоров. Неправда? Жалко, в конторе нет зеркала, вы бы взглянули сейчас на свое лицо.

Мехти отводит глаза.

Если вам нужно зайти домой, в вашем распоряжении примерно пять минут.

Мехти. Хорошо. Побеседуем в Баку. Спасибо, Андрюша. Помни, я редко прощаю обиды и никогда ничего не забываю. *(Уходит.)*

Майоров. Обожди, Андрей. Я узнаю, как дела с машиной. *(Вышел.)*

Гетманов секунду стоит неподвижно. Затем отпирает шкаф, вынимает револьвер, ставит на боевой взвод и, видя, что Майоров вернулся, прячет его за спину.

Майоров *(показывает на стол)*. Положи на стол. Ну? *(Взял револьвер, разрядил и бросил на стол.)* Что это значит?

У Гетманова дрожат губы, он не может ответить.

Что с тобой?

Гетманов. Ничего. У меня вдруг промелькнула страшная мысль... Мне показалось, что я схожу с ума.

Майоров. Не валяй дурака. Какая мысль?

Гетманов. Мне на секунду показалось... Ведь теперь ты вправе думать обо мне что угодно. Как о Мехти... может быть, хуже. Мне показалось, что ты можешь подумать... а вдруг?... Нет, конечно, чепуха.

Майоров. Ничего не понял. Говори прямо.

Гетманов *(с трудом)*. Одним словом, что ты можешь подумать... что я хотел выстрелить в тебя.

Майоров. Ты очумел? *(Вздрогнул.)* Черт, действительно страшная мысль. Нет, мне показалось другое, не собрался ли ты пустить себе пулю в лоб?

Гетманов опускает глаза.

Да?

Пауза.

Хорош!

Гетманов. Саша!

Майоров. Хорош! Карьера дала трещину бац из пистолета! Как проигравшийся купчик. За это одно стоит гнать из партии.

Гетманов. Саша! Ты тысячу раз прав, но пойми же и меня. Я конченный человек. Меня уже нет. Завтра от меня отвернутся все. Я не могу доказать, что я не преступник, не шантажист. Теперь мне никто не поверит, даже ты, а ведь ты знаешь меня много лет...

Майоров. Обожди, не спеши. Слушай, Андрей. Только сначала дай мне слово, что это (*показывает на револьвер*) не повторится.

Гетманов. Зачем тебе? И разве для тебя что-нибудь значит мое слово?

Майоров. Ну, только без истерики. Кредит подорван, но я тебе еще верю. Верю, что ты не шантажировал Мориса. Я не так прост и вижу, где Мехти врет.

Гетманов. Саша!..

Майоров. погоди, я тебя не оправдываю. Ты умыл руки. Это тоже погано. Я даже верю, что в день, когда ты предлагал закрыть разведку, тебе казалось, что ты поступаешь честно. Ты врал самому себе. В народе это имеет точное название — кривить душой. Пожалуй, самая опасная порода лжецов — лжецы, верящие в свою правоту.

Гетманов. Я не знаю, зачем ты требуешь от меня слова. Я потерял единственного человека, который хотел быть мне другом. Я говорю о тебе. Конечно, я потерял Марину. У нас и раньше было неладно, а теперь...

Майоров. Как ты все-таки скверно думаешь о людях. (*Пауза.*) Теперь слушай, Андрей! Я не знаю, как решится твоя партийная судьба. Если у тебя отберут партийный билет, это будет справедливо. Я предлагаю тебе вот что: возвращайся в «Елу-тапе». Будешь работать помощником мастера. Исправляй кривизну.

Гетманов. Какую?

Майоров. Свою. Слово? (*Прячет в карман револьвер.*)

Гетманов (*тихо*). Слово.

Марина (*заглянула в контору*). Можно? (*Вошла. На ней дорожное пальто.*) Ты едешь, Андрей?

Гетманов. Да.

Марина. Иди домой. Выпей чаю и съешь чего-нибудь. Иначе тебя укачает в машине.

Гетманов. Спасибо.

Марина. Я сейчас приду.

Гетманов вышел.

Саша, у меня к тебе просьба. Скажи, у тебя есть место в машине?

М а й о р о в. Ты хочешь ехать?

М а р и н а. Да. Андрюшке плохо. Я хочу быть все время с ним.

М а й о р о в. Конечно, конечно.

М а р и н а. Ты прости, что я с тобой не поздоровалась. Я давно тебе хотела сказать, но с тех пор нам ни разу не пришлось поговорить наедине... Я тебе очень благодарна, Саша...

М а й о р о в. Я тебя не очень обидел?

М а р и н а. Положим, очень. Все равно. Я тогда могла натворить такого, что не простила бы себе всю жизнь.

М а й о р о в *(с усилием)*. Как у тебя с Андреем?

М а р и н а. Тебе покажется странным — он мне сейчас гораздо ближе. Раньше мне казалось, что я ему совсем не нужна. *(Пауза.)* Я, наверное, скоро поеду в Москву. Может быть, меня примут на второй курс.

М а й о р о в *(рассеянно)*. Да-да...

М а р и н а. Ты меня совсем не слушаешь. Ну, прощай.

М а й о р о в. Почему — прощай? Мы едем вместе.

М а р и н а. В Баку мы не будем видеться, Саша. *(На молчаливый вопрос.)* Так лучше. Прощай. *(Крепко целует его.)* Ты заедешь за нами? *(Не дожидаясь ответа, идет к двери и сталкивается на пороге с сияющим, возбужденным Теймуром.)*

Т е й м у р. Здесь! Маэстро, Клава, сюда! Отец, дорогой. Поедем!

М а й о р о в. Куда?

Т е й м у р. На «Сару». Сейчас будет митинг. Как можно, чтоб ты не выступил? Едем?

М а й о р о в. Не могу. И некогда. Я хочу попасть в трест до конца занятий.

К л а в а *(вошла, за ней Иван Яковлевич)*. Дядя Саша! Прокачу! Скажешь нам речь, знаешь какую? Чтоб — ух!

И в а н Я к о в л е в и ч. Про город, про город им расскажи.

М а й о р о в. Нет, не могу. Сегодня Теймур лучше расскажет. И вообще, меньше митингуйте, больше работайте. Следите за арматурой. Давление очень высокое.

Т е й м у р. Можете надеяться. Мы с маэстро...

М а й о р о в. Вам понятно, товарищ главный инженер?

Т е й м у р. Ты мне, отец, таких слов лучше не говори. Я могу лопнуть. Я сейчас такой счастливый человек, что места себе не нахожу. Клава! Скажи, что ты хочешь? Я все могу. Хочешь, я тебе корзину цветов подарю?

К л а в а. Хочу.

Т е й м у р. К сожалению, нету. Пока еще здесь не растут. Знаешь что, хочешь, я тебя... на машине пока-таю?

К л а в а. Тимка! Я тебе сейчас все волосы выдеру.

Возня. В дверях появляется Г у л а м. За ним — М о р и с, задыхающийся от тяжелой ноши. Г а з а н ф а р, с таром¹ в руках, и Ф а т ь - м а - х а н у м.

Г у л а м. Можно ехать.

М а й о р о в. Спасибо, Матвей Леонтьевич! (Обнимает Мориса.) До скорого свидания. (Гуламу.) Будь здоров, хозяин!

Г у л а м (кланяется). Всегда рады видеть. Как самого дорогого гостя, даю честное слово. Извини, чуть не позабыл. (Протягивает листок.) Подпиши, пожалуйста.

М а й о р о в. Пстой! Это за что же?

Г у л а м. Бензин брал, да?

М а й о р о в. Да я же ведь... (Махнул рукой, подписывает.) Ах, какой жмот! Ну, прощай! (Обнимаются. Ивану Яковлевичу.) Прощай, старик! погоди, что ты мне суешь?

И в а н Я к о в л е в и ч (с узелком). А я почем знаю. Это Ольга Петровна. Велено передать.

М а й о р о в. Ну, давай поцелуемся. (Целуются.) Клавочка! (Целует Клаву.) Прощайте, Фатма-ханум. Привет Саре. Прощай, Газанфар. Петь будешь?

Г а з а н ф а р. На митинге, да.

М а й о р о в. Ну, пошли.

Все выходят.

Погоди, Теймур. Ты возьмешь мой чемодан, а я поволоку коллекцию. (Вытягивает из-под стола чемодан и застегивает ремни.)

Т е й м у р. Али, дорогой. У меня сердце болит. Почему ты немного грустный?

¹ Т а р — струнный инструмент.

М а й о р о в. Я? Тебе показалось.

Т е й м у р. Али, скажи. Мне можно сказать. Ты ее любишь, да?

М а й о р о в (*внимательно поглядел на Теймура*) Люблю.

Т е й м у р. Э! А она тебя, а?

М а й о р о в. Не знаю. Кажется, тоже.

Т е й м у р. Ну?

М а й о р о в. Больше ничего.

Т е й м у р. Как же так может быть?

М а й о р о в. Тебе сколько лет, Теймур?

Т е й м у р. Уже двадцать пять.

М а й о р о в. Двадцать пять. С кем я разговариваю! Что ты вообще понимаешь, щенок?

Т е й м у р. Э, давай будем уважать друг друга!

М а й о р о в (*пробует ремень*). На, держи. Поехали. (*Выходит, за ним Теймур.*)

Слышно, как рычит заведенный мотор. Шум голосов, звон струн и ликующий фальцет Газанфара. Затем все стихает. В комнату вваливается комендант. Он пьян. Бессмысленно поводя глазами, тычется среди столов. Вслед за ним вбегает Теймур. Снимает со стены знамя и идет к выходу.

К о м е н д а н т (*хватает его за руку и преграждает дорогу*). Стой. Нет, ты скажи. Ты скажи мне одно. Это правильно, а? Это правильно? Нет, ты скажи!

Т е й м у р. Я тебе скажу, что говорит народ: «Мудрый человек грудью встречает врага и только от дурака бежит без оглядки». (*Выбегает.*)

Издалека доносится ликующая песнь Газанфара.

Конец

Офицер флота

Драма
в четырех действиях,
восемью картинами

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Военные моряки:

ГОРБУНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ — капитан-лейтенант,
командир подводной лодки.

ТУРОВЦЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ — лейтенант,
штурман и помощник командира.

ЖДАНОВСКИЙ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ — инженер-
капитан-лейтенант.

КАЮРОВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ — лейтенант, минер.

ДОКТОР — военфельдшер на лодке.

ТУЛЯКОВ — главный старшина, моторист.

ХАЛЕЦКИЙ — боцман.

СОЛОВЦОВ — старший краснофлотец, рулевой.

ГРАНИЦА
ГЛАЗЫЧЕВ
ДЖУЛАЯ } краснофлотцы.

КОНДРАТЬЕВ БОРИС ПЕТРОВИЧ — капитан третьего
ранга, командир дивизиона подводных лодок.

БЕЛОБРОВ — контр-адмирал.

ВЕРЕТЕННИКОВ — старший лейтенант.

СЕЛЯНИН — военинженер третьего ранга.

СОКОЛОВ — связной Селянина.

Граждане Ленинграда:

ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ — художник.

КАТЕРИНА ИВАНОВНА — его дочь.

ПАВЕЛ АНКУДИНОВИЧ — строитель.

ЮЛИЯ АНТОНОВНА — вдова моряка.

НИКОЛАЙ ЭРАСТОВИЧ.
ТАМАРА — его жена.
МАРИША.
НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА.
СТОРОЖИХА.
ШОФЕР.

*Краснофлотцы на подводной лодке,
жители дома на Набережной.*

*Действие происходит в Ленинграде и на Балтике
в 1941—1942 годах.*

Действие первое

Картина первая

Двор каменного дома на Набережной. В полуовале арки ворот — заснеженная мостовая, ограда реки, силуэт рубки подводной лодки, стоящей на приколе у Набережной. Снизу, из приоткрытого рубочного люка, пробивается желтый электрический луч. На фоне серо-лилового, сумрачного неба неясно вырисовываются очертания городских зданий за рекой. Красноватые отсветы на облаках. Отдаленный гул канонады. Над застывшей рекой плывет симфония Чайковского — расстояние смягчает простудный хрип рупоров, и музыка звучит приглушенно, но чисто.

На переднем плане — крыльцо черного хода. Лестничное окно над крыльцом разбито, и с подоконника свешивается огромная сосулька, похожая на сивую нечесаную бороду. В подворотне стоит медный кипятильник. Под ним еще тлеют угли. Около кипятильника выстроились в очередь жители дома. Они жмутся к огню, чтобы согреться. Здесь же двое моряков: главный старшина Туляков — солидный, неторопливый, манера мягко-повелительная, и совсем молодой краснофлотец Граница — сильный, по-мальчишески грубоватый. Они чинят кран.

Туляков. Так. По идее теперь не должен брызгать. *(Пускает воду.)* Все нормально. Граница!

Граница. Есть.

Туляков. Наберете ведро и давайте живо на лодку.

Граница. Есть, старшина.

Туляков. Теперь — граждане население! Кто желает кипятку, — подставляйте тару. Только нормально, соблюдая порядочек, и проход чтоб не загораживать...

Граница. Эй, гражданин! Вы, вы! С ведрами — отставить! На речку, что ли, пришли?

Туляков. Ладно, товарищ Граница. Лишнего не говорите. Извиняюсь, гражданин, поменьше-то лагунка у вас не найдется?

Голоса. Безобразие!

— Не давать ему!

— Да этот известный, что вы с ним разговариваете!

— И как только совести хватает!..

Николай Эрастович (*тонкое, еще недавно холеное лицо, блеющий голос*). Да, у меня хватает. Представьте себе — у меня хватает. Вы, гражданка, здоровы как бык и можете брать воду из проруби, а я... а я физически не могу. У меня общее депрессивное состояние.

Голоса. Работать — так он больной!

— А еще интеллигентный человек!

— Стыдно!

Николай Эрастович. Нет, мне ни капельки не стыдно. Ни чуточки. Какой вздор! Почему мне должно быть стыдно? Мой организм получает недостаточное питание... Я биологически вынужден к борьбе за существование! Товарищ краснофлотец, позвольте пожилому человеку... Я вам заплачу.

Граница. Здесь не лавочка, кажется. (*Яростно.*) Куда?! Отработай назад, депрессивный...

Туляков. Граница, повоздержитесь!

Граница. Есть.

Туляков. Задевать не надо. Объясните спокойно, нормально, деликатно...

Граница. Есть, деликатно... (*Николаю Эрастовичу, шепотом.*) Отойди, а то ошпарю.

Голоса. Бригадирша идет!

— Сейчас она его возьмет в шоры!..

Юлия Антоновна (*седая, величественного вида женщина в пенсне. Противогаз, на руке повязка бригадира*). Что такое? Ну, конечно. Раз тут Николай Эрастович, то и спрашивать нечего. Здравствуйте, голубчик! Вы почему вчера не явились на пост по тревоге? Только не врите.

Николай Эрастович. Во-первых...

Юлия Антоновна. Во-первых, надо здороваться. Еще недавно вы лезли целовать ручку. Быстро же вы линяете! Посмотрите на себя. Какой-то бабий платок, кацавейка, перьями оброс...

Николай Эрастович. Юлия Антоновна!

Юлия Антоновна. Что — Юлия Антоновна? Вы — скверный трусишка. (*Пошла и остановилась.*) И передайте своей Тамаре: мне на нее жалуются соседи. В три часа ночи патефон, какие-то гусарские пирушки. Что ей так весело?

Николай Эрастович. Это меня не касается. Мы с ней разошлись — это все отлично знают.

Юлия Антоновна. Скажите ей, чтоб уgomонилась, а то будет иметь дело со мной.

Художник (*везет на саночках ведро. Высокий, прямой, очень красивый старик в дохе. Шея повязана башлыком*). Здравствуйте, Юлия Антоновна. Милая женщина, все воюете?

Юлия Антоновна. Здравствуйте, гений! Как это вы решились спуститься с высот духа на нашу грешную землю? (*Мягче.*) Ну? Как ваше здоровье, сокровище?

Художник. Да вот, как видите... Отлично. Путешествовал на Иордань и... очень удачно. И я почти не утомлен. Вообще, давайте условимся: я совершенно здоровый человек.

Юлия Антоновна. Двадцать лет это говорю.

Художник. Теперь мне самому кажется, что мое существование до сих пор было каким-то... удивительно нелепым. Почему меня не пускали гулять? Плохая погода. Допустим. Плохая погода не бывает круглый год. Ко мне не пускали людей, которые мне нравились. Теперь я живу, как все: хожу по улицам, встречаюсь с людьми... Наконец, я работаю! Раньше мне разрешали писать только два часа в день. Какая чепуха! Так нельзя работать. Ничего нельзя сделать порядочного.

Юлия Антоновна. Я и говорю — божество. Здорового мужика посадили под стеклянный колпак. Натоплено, как в бане, кругом гомеопаты, приживалки, избранные, преданные... Ах, Иван Константинович, сквозняк! Ах, Ивана Константиновича нельзя волновать... Тьфу! Не могу вам выразить, до чего вы мне были противны.

Художник. Ну, вот уж и резкости. Прошу прощения... (*Поднял кверху глаза, прислушивается.*)

Музыка замолкла. Женский голос, приглушенный расстоянием, произносит несколько фраз: вероятно, объявляет об окончании концерта и анонсирует следующую передачу.

Юлия Антоновна. Что такое? Вам нехорошо?

Художник (*улыбается*). Напротив. Я очень рад. Катя сегодня свободна и ночует дома. Отлично.

Юлия Антоновна. Откуда вы знаете?

Художник (*хитро*). О, это моя маленькая тайна. Я всегда знаю, когда она придет.

Ю л и я А н т о н о в н а. Начинается! Тень на ясный день. Терпеть не могу мистики.

Х у д о ж н и к. Не сердитесь, милая женщина. Я вам сознаюсь. Теперь у нас нет телефона, и мы с Катюшей составили маленький заговор. Вы слышали, она сказала: «Передача окончена». Достаточно — я знаю: она придет. Тут вся штука в интонации. Ловко? Только вы, пожалуйста, нас не выдавайте. У них на Радио ужасные строгости — еще нагорит нам... *(Заторопился.)*

Т у л я к о в. Товарищ художник!

Х у д о ж н и к. Вы — меня?

Т у л я к о в *(приблизился)*. Так точно. Разрешите к вам обратиться.

Х у д о ж н и к. То есть, как это?.. А-а! Вы хотите со мной поговорить? Ну да, конечно, пожалуйста...

Т у л я к о в *(смущаясь)*. Такой вопрос: вы, значит, по специальности являетесь художник?

Х у д о ж н и к. Совершенно верно.

Т у л я к о в. Ясно. Так вот у нас на лодке такой спор вышел: одни говорят, что вы якобы однофамилец...

Х у д о ж н и к. Позвольте?..

Т у л я к о в. Минуточку... А вот я им как раз и заявляю, что вы именно есть тот самый... ну, знаменитый... вот, что в Русском музее...

Х у д о ж н и к. В Русском музее? Да, там есть мое... Много моих гуашей, масло...

Т у л я к о в *(радостно)*. Факт, значит? Разрешите... *(Отнял у художника чайник, выплеснул воду и поставил под кран кипятильника.)* Вот, пожалуйста. Может, чайку попьете. И еще разрешите узнать: вы давно здесь проживаете?

Х у д о ж н и к. Да, много лет. Пожалуй, больше сорока.

Т у л я к о в. Так. И еще, извиняюсь, такой вопрос: почему вы не эвакуированный?

Х у д о ж н и к. Почему? Видите ли, это не так легко объяснить. Когда сживаешься с этой цветовой гаммой, сорок лет пишешь эти восходы и закаты, становишься почти неотделимым от пейзажа. Вы меня не совсем понимаете? Короче говоря, вероятно, я слишком петербуржец.

Т у л я к о в. Как? Ну да, ну да, ленинградец. Ясен, ясен вопрос. *(Пауза.)* А на рояле это вы играете? У нас с мостика хорошо слышать. Ребята выйдут покурить — слушают.

Художник. Нет. Это не я. Это дочь. Теперь уже она не играет. Холодно. Струны лопаются.

Туляков. А вы обратитесь к нашему командиру. Разрешит — так я зайду. Туляков моя фамилия. Главный старшина.

Художник. Ну, это неудобно. А вы разве умеете настраивать фортепиано?

Туляков. Не знаю, не пробовал.

Художник (смеется). Так как же вы...

Туляков. Как-нибудь разберемся. Играть — это действительно артистом надо быть, а самый этот рояль, он ничего такого особенного из себя не представляет. Механизм.

Юлия Антоновна. Тише! Сводка!

Очередь у кипяильника замерла. Журчит радио.

Туляков (шепотом). Наши на юге дают жизни...

Художник. Как вы сказали?

Туляков. Наши, говорю, дают немцу жизни.

Художник. А! Да-да. Великолечно!

Николай Эрастович (громко). Возмутительно! Я решительно протестую. В чем дело, я беру на двоих: на себя и на жену...

Голоса. Тише, черт бы вас!..

— Заткните ему глотку!

Художник. Не расслышал. Что, что на Ленинградском?

Юлия Антоновна. Ничего. Все то же. «Три пулемета, два миномета...».

Туляков. Окопался, дьявол. Измором хочет взять.

По набережной мечется какая-то женщина в платке. Подбегает к лодочному трапу.

Женщина (кричит). Моряки, дайте хлеба!

Глазычев (у трапа). Пройдите, гражданка. Нельзя. Не разрешается.

Женщина. Морячок, дорогой! Молодой человек! Сын у меня ваших лет. Флотский. Вот глядите — полевая почта номер тысяча один... ох, в глазах темно...

Глазычев (мягче). Проходите, мамаша. Сами жмемся, животы подводит.

Команда «Смирно!». По трапу спускается Горбунов. Ему лет тридцать, выглядит он, впрочем, как многие подводники, старше своих лет. Он суховатый, очень подтянутый. С ним инженер-механик Ждановский, человек лет тридцати пяти со скуластым, зажмуренным лицом.

Горбунов. Прекратить разговоры! *(Женщине.)* Что вам нужно?

Женщина. Товарищ военный, не вмоготу. Хлебушка бы кусочек.

Горбунов. Отойдите от трапа. *(Идет к кипяtilьнику.)*

Женщина *(следует за ним)*. Товарищ командир! Деточка ты моя! Не сердись на старуху. Карточки потеряла, а может, украли... Хожу, как в тумане, никакой памяти нет. Что ж мне теперь, погибать, значит?

Горбунов. Это правда? *(Пауза.)* Держите. Прячьтесь скорей. Теперь идите и больше не приходите...

Женщина. Дал! От себя, последнее дал. Как вас звать, скажите, я за вас молиться буду. Я на колени встану...

Горбунов. Это еще что такое? Марш отсюда! Быстро! *(Отворачивается и раскуривает трубку.)*

Женщина уходит бормоча. Пауза.

Пропадет старуха. Этой не вытянуть... Галету дал — это пустяки. А помочь нечем. Что молчите, Федор Михайлыч?

Ждановский. А что говорить?

Горбунов *(идет к кипяtilьнику, греет руки)*. Как дела, Туляков?

Туляков. Все нормально. Поршневые кольца сменили, нынче соберем. С праздником вас, товарищ капитан-лейтенант. С корабельной годовщиной.

Горбунов. Спасибо. И вас также.

Кто-то подъехал к дому на мотоцикле.

А помните... *(Быстро.)* Вернитесь, товарищ краснофлотец!

Соколов *(оставил мотоцикл под аркой и хотел прошмыгнуть мимо Горбунова.)* В чем дело?

Горбунов. Подойдите ближе. Разве на флоте отменены приветствия?

Соколов. Я вас не видел.

Горбунов. Неправда. Почему вы в таком виде? Где ваш ремень?

Соколов. Уж очень вы требуете, товарищ капитан-лейтенант. Не такое нынче время...

Горбунов. А что такое? Светопреставление? Встаньте как следует. Фамилия? Какой части?

Соколов. Старший краснофлотец Соколов. От военинженера третьего ранга Селянина.

Горбунов. Селянина? *(Нахмурился вспоминая, но ничего не вспомнил и пожал плечами.)* Ко мне?

Соколов. Да нет, тут во дворе гражданочка живет — Тамара...

Горбунов. Я вас о ней не спрашивал. Так вот, отправляйтесь назад и доложите своему командиру, что капитан-лейтенант Горбунов просит его наложить на вас взыскание. Ясно? Вот так.

Соколов. Так как же я...

Горбунов. Выполняйте приказание.

Соколов ретируется.

Безобразие!..

Туляков. Что вы, товарищ командир?

Горбунов. Ничего... Так к субботе переборку дизелей закончим?

Туляков. Все будет нормально, товарищ командир.

Горбунов *(подошел к Ждановскому)*. Холодина, а?

Тот молча кивнул.

Я ночью на лодке так продрог, что, кажется, вовек не согреюсь.

Туровцев *(подошел. Молодой крепыш, задорный и щеголеватый)*. Товарищ командир корабля...

Горбунов. Слушайте, товарищ помощник. Когда вы шли к нам на лодку, вас предупреждали, что у меня скверный характер?

Туровцев *(замялся)*. Н-не знаю...

Горбунов. Что — не знаю? Говорили — Горбунов-де тяжелый человек: сухарь, упрямый, мелочный... А? Говорили?

Туровцев. Точно.

Горбунов. Так вот имейте в виду: все это — чистая правда. Со мной служить трудно. А мне про вас тоже говорили, что вы очень симпатичный товарищ, но лентяй. Вам, стало быть, будет еще трудней. Давал я вам указание подыскать на берегу помещение для команды? Давал. Что сделано? Ничего. Хотите ссориться — давайте.

Туровцев. Товарищ командир, ведь насчет помещения вы это так, вскользь сказали...

Горбунов. На ветер, значит? Так вот: сегодня в

двадцать один час доложить. И прошу помнить: у нас на лодке двадцать один час — это значит двадцать один ноль-ноль, а не ноль одна и не ноль две. Дальше. Что у вас произошло с Границей?

Туровцев (*неохотно*). Ничего особенного. Он мне нагрубил.

Горбунов. Вот так ничего особенного! Что же он сказал?

Туровцев. Я просил его дать мне вперед пачку галет...

Горбунов. Нечего просить, надо было приказать. Что же он?

Туровцев. Разворчался, что у нас-де так не водится, в кают-компании хлеб не делят, все, что есть, то и на столе, нечего, мол, традицию портить...

Горбунов. Не его дело указывать, но в общем правильно. В грубом тоне?

Туровцев. Да.

Горбунов. Ну?

Туровцев. Десять суток.

Горбунов. Порядочно! Видно, очень рассердился?

Туровцев. Погорячился, товарищ командир.

Горбунов. Что же... Придется завтра отправить.

Туровцев. А не отставить ли это дело?

Горбунов. Э, нет... Раньше надо было думать. Власть, дорогой товарищ, — это как нож в руках хирурга. Очень острая штука — к ней надо ясную голову. Нет, уж теперь извольте. Мне не нужен помощник, у которого слова расходятся с делом.

Туровцев мнется.

А теперь скажите, зачем вам нужны галеты?

Туровцев молчит.

Говорят, здесь во дворе живет особа, у которой происходят какие-то вечеринки. Вы бываете там?

Туровцев. Я думаю, это мое личное дело.

Горбунов. Не совсем. Вы служите у меня на лодке. Мне это не нравится. И вы носите форму. Вы — офицер.

Туровцев (*усмехнулся*). Офицер?

Горбунов. Так точно. Что вас так поражает? Слова «генерал» вы уже не пугаетесь, потому что оно напечатано в газетах. А тут ничего не известно, надо са-

мому решать: хорошо я сказал или плохо. (*Смотрит на часы.*) Проверьте все к торжественному подъему флага. Потом уборка, ремонт. Смотра не будет.

Туровцев. Почему, товарищ командир корабля?

Горбунов. Потому что и так видно, что грязь. Замазали ржавчину масляной краской — и довольны. А колупнешь ногтем — гниль. Этак у нас на лодке скоро змеи заведутся...

Туровцев. Товарищ командир! Если я вам не гожусь, отпустите меня. Вам у меня все не нравится...

Горбунов. Скажите, как просто! Ничего, я из вас сделаю настоящего помощника. А если нам все-таки придется расстаться, я вам об этом скажу. Идите.

Туровцев поворачивается и уходит. Пауза. Горбунов и Ждановский прислушиваются к журчанию радио. Оба улыбнулись.

Ждановский. Верно — хорош.

Горбунов. Да. (*Встрепенулся.*) Вы о чем?

Ждановский. Голос.

Горбунов. Удивительный, а? В душу просится. Черт его знает, что в нем такое... Не будете смеяться? По-моему, женщина с таким голосом не может лгать. А мне в жизни много лгали, и я не очень доверчив.

Ждановский. Бросьте об этом думать. Не сто́ит.

Горбунов. Да нет, я так только... Слушайте, механик, вы о чем говорите?

Ждановский. О вашей жене. Выкиньте из головы. Не стоит.

Горбунов. У меня нет жены. Нет и не было. Ясно? (*Пауза.*) Знаете, я давно хотел вас спросить, почему вы всегда угадываете мои мысли? Иной раз я еще не успеваю задать вопроса, как вы уже отвечаете. Что это?

Ждановский. Не знаю. Наверное, привычка.

С улицы появляется боцман Халецкий, огромный, похожий на негра, но рыжий. За ним Джулая, с автоматом на шее, ведет прихрамывающего мужчину в штатском пальто и с палкой в руках.

Немолодое бритое лицо в резких морщинах.

Халецкий. Разрешите?..

Горбунов. В чем дело, боцман?

Халецкий. Подозрительный. Стоит и смотрит.

Джулая. Сигнальщики говорят — уж который раз он здесь ходит...

Строитель (*спокойно*). Здорóво, Виктор.

Горбунов. Павел Анкудинович?

Строитель. Он. Здорóво, механик. (*Обнимается*

с обоими.) Тише, черт, ногу... Ну, чего глядите? Зачем пришел? Потянуло. Годовщину вспомнил. Поздравлю и уйду.

Халецкий. Ясно. Разрешите идти?

Горбунов. Погодите. Боцман!

Халецкий. Есть.

Горбунов. Видите этого человека? Он построил нашу лодку. Любить и почитать!

Строитель. Ну, здорово, боцман. Что ты такой рыжий? *(Горбунову.)* Жинка где?

Горбунов. Не знаю. Я был в море, когда наши оставили Либаву. Ничего не знаю, не спрашивай. Что делаешь?

Строитель. Ничего.

Горбунов. Как?

Строитель. Вот так — ничего. Кто же теперь в Питере корабли строит? Первый раз в жизни этакая муть. Я сроду не отдыхал. Веришь ли, в тридцать седьмом, как из Америки вернулся, меня нарком в санаторий силком загнал. Дворец, пальмы, икрой кормят, кругом бабы в трусах — рай земной! Четыре дня вытерпел — сбежал. А теперь прозябаю. Не умею сложа руки сидеть, по мне, лучше не жрать.

Горбунов. А у меня как раз ремонт большой. Что раньше не пришел?

Строитель. Трудно мне ходить. Далеко.

Ждановский. Врет.

Горбунов. Почему — врет?

Ждановский. Не знаю почему. Так ему нравится.

Горбунов. А ведь верно — врешь. Тебя сигнальщики с лодки видели.

Строитель. Ребята, я пойду.

Ждановский. Ты где харчишь, инженер?

Строитель. А что тебе? Дома.

Ждановский. Вчера обедал?

Строитель. Ну, к чему это? Ну, обедал.

Ждановский. Что было на обед? Быстро!

Строитель молчит.

Не умеешь врать — не берись.

Горбунов. Так? Ну, спасибо. В жизни тебе этого не прощу.

Строитель. Ну, ладно, ты на меня не ори. Понятно? К тебе бы я пришел. А тут командир...

Горбунов. Хватился! Борис Петрович теперь командир дивизиона. Ты брось... Что-что, а куском хлеба он бы тебя не попрекнул.

Граница, радостно оживленный, ведет, обнимая за плечи, высокого парня в армейской шинели и с мешком за плечами. У парня светлые дерзкие глаза. Он, улыбаясь, глядит на командира.

Строитель. Это кто ж теперь командиром на лодке? Уж не ты ли?

Горбунов. Ты молчи. Задержали, как подозрительного, ну и молчи. Граница!

Граница (*подбежал*). Есть, Граница!

Горбунов. Леша, проводи инженера на лодку. Чаю быстро.

Граница. Есть. Только хлеба нет ничего, товарищ капитан-лейтенант.

Горбунов. Найти.

Граница. Есть, найти. Пожалуйста, товарищ инженер. (*Уходит вместе со строителем.*)

Горбунов заметил парня в армейской шинели. Тот приветствует его.

Горбунов. Вам что? Ко мне?

Соловцов. Не узнаете, товарищ командир?

Горбунов. Соловцов?

Соловцов. Старший краснофлотец Соловцов, сын собственных родителей. Разрешите поздравить вас с торжественным днем корабельного праздника.

Горбунов (*Ждановскому*). Помнит, а? Ведь помнит! (*Обнял Соловцова.*) Откуда?

Соловцов. С Ханко.

Горбунов. Как вы туда попали?

Соловцов. С Даго.

Горбунов. А на Даго?

Соловцов. С Таллинна. А туда с Либавы. Разрешите закурить, товарищ командир? Ежели рассказывать — жизнь, как в кино. В окружении два раза был, в Мухувейне тонул, взводом разведки командовал.

Горбунов. Цел?

Соловцов. Две дырки. Вот и вот. Вот здесь пуля. Все вынуть некогда. Ничего, матрос — зверь живучий. Я про себя, если желаете, потом подробно, в лицах доложу. Вы про свою жену слыхали что, товарищ командир?

Горбунов. Нет.

Соловцов. Погибла, товарищ командир.

Горбунов (хрипло). Как?

Соловцов. Геройской смертью. На моих глазах.

Горбунов. Говорите. Все. Все, что знаете.

Соловцов. Есть. Не помню уж которого числа...

Сижу я на губе...

Горбунов (нервно). Не понимаю. Где? Почему?

Соловцов. А в Либаве. Еще как вы посадили.

Сижу. Аж пищу от злости. Что посадили — ладно.

Было за что. А вот что лодка в море, а меня не взяли...

Сижу. Город бомбят, слышу канонаду. Ближе, ближе.

Что за черт, думаю, забыли про Соловцова, что ли?

Ночью вызывают к коменданту. Сразу винтовку в руки:

«Поедете с грузовой машиной охранять имущество».

Я заикнулся было про лодку, как, мол, и что... «Не раз-

говаривать!» Ладно. Погрузились мы с шофером.

Ждем. Потом вижу: подходит к машине ваша супруга,

чемоданчик у ней маленький и мальчишку за руку

тянет.

Горбунов (тихо). Вовка!

Соловцов. Точно — Вовка. А ведет ее командир, такой представительный...

Горбунов. Фамилия?

Соловцов. То-то и печаль, что не спросил. Вы

слушайте. Обращается ко мне: «Соловцов?» — «Точно

так». — «В мое распоряжение». — «Есть». Тронулись,

значит.

Горбунов. Дальше.

Соловцов. Сейчас. Отъезжаем таким манером

километров тридцать. Слышим, за нами мотоциклы

шпарят. Сначала думаем: свои. Потом трéхнулись —

немцы. Шофер газанул, однако видим — не уйти. Стоп,

машина! Командир молчит, ничего не говорит. Мы с

шофером выскочили с винтовками, гранаты за ремень

и залегли в канаву. Решили — отобьемся. Тут Елена

Васильевна тоже из кабины выходит. А тот — ни с ме-

ста, ровно окаменел. Она ему: «Что же вы, слезайте!..»

А он только губами шевелит, бормочет: «Не могу, не

имею права, ценный груз по акту...» Вдруг она как раз-

вернется и р-раз ему: «Сволочь ты, говорит, был трус,

таким и остался...» Отняла у него автомат — и к нам.

Горбунов. Ну, ну?

Соловцов. Отбились. Пять машин сбили. Кореша

моего ранило, а с ней — ничего. Поднялась было, вдруг,

черт его не знает, откуда он взялся — шестой. И про-

строчил. Зло меня взяло, — я его тут же гранатой.

В дым! Подбегаю к ней, а она уже и говорить не может. Сказала только: передайте мужу... а дальше — все.

Горбунов. Ну, ну?

Соловцов. Все. Подняли мы ее, положили на бушлат. Сунулись к машине. А машины нет. Утекла! Ну, думаю... Ладно, не хочу говорить. Выкопали ножами могилку, похоронили честью, как бойца. Перевязались, подобрали мотоцикл исправный, и — ходу... Вырвались.

Горбунов. А Вовка в кабине остался?

Соловцов. В кабине. Спал.

Горбунов. Где вы теперь? Как вас найти?

Соловцов. В экипаже. Возьмите меня обратно на лодку, товарищ командир.

Горбунов. Зачем? Чтоб опять на гауптвахту сажать?

Соловцов *(торжественно)*. Товарищ капитан-лейтенант! Возьмите с меня какую желаете клятву. Если с моей стороны хоть какое нарушение, ставьте прямо к стенке. Вы только враз не отказывайте. Разрешите покуда к бойцам на лодку? С праздником поздравить. *(Сбрасывает с плеч мешок.)*

Горбунов. Хитер. *(Показал на мешок.)* Это что?

Соловцов. Консервы. С Ханко. Двадцать банок — еле допер... Не сомневайтесь: все законным порядком. Разрешите Границе сдать?

Горбунов. Хорошо. Идите. Я подумаю...

Соловцов делает «кругом» и, радостный, уходит.

Механик, что же это? Скажите что-нибудь.

Ждановский. Я утешать не умею. Если могу помочь, командуйте. Ничего мне можете не объяснять, скажите только, что нужно делать. Будет сделано. Расшибуй.

Горбунов. Спасибо. *(Пауза.)* Механик, я сказал: у меня нет жены. Как я мог это сказать? Неправда, есть, была! Она могла меня мучить и обманывать, у нас были свои счеты, но все равно — она моя, моя жена, Лелька. Вот я стою здесь, услышал голос в трубе, раскис, черт бы меня драл, фантазии строю, а мою жену... *(Сморщился, как от физической боли, рванул ворот.)* Федор Михайлович, дорогой, я ни единому человеку никогда словом не обмолвился, но вы-то видели, что она со мной делала! Ведь держишься-держишься, да и взвоешь волком от тоски, от обиды. Как я хотел сына, механик! Ждал, волновался... Помните, мы ходили на

стрельбы, вернулись на базу под вечер, уж стемнело, а меня на пирсе встречают, поздравляют, руки жмут. Я, как был, — в машину, прилетаю в больницу, доктора тоже поздравляют... Иду пешком домой, как дурак, счастливый. А на столе письмо. Видно, когда увозили ее, растерялась, так на столе и бросила. Я бы не стал читать, никогда бы себе не позволил, а тут реле не отработало — думал, мне. Прочел и чуть о косяк не хлопнулся. Не мой ребенок — ясно? И пишет она ему, не знаю, кто он такой, имени даже не знаю... И что меня тогда особенно резануло — обо мне, как о чужом, как о помехе, холодно, с насмешкой: «он!», «супруг!»

Халецкий (*подошел*). Товарищ командир корабля, разрешите? До подъема флага осталось пять минут.

Горбунов. Что-о? Что вам нужно, боцман?!

Халецкий. Виноват... Докладываю, до подъема флага пять минут, товарищ капитан-лейтенант.

Горбунов. А! Извините. Хорошо Да-да. Идите.

Халецкий уходит.

Я ее возненавидел. Страшно сознаваться — были у меня минуты, хотел, чтобы она умерла. Ненависть! Черта с два я тогда понимал, что это такое, если горькую обиду свою, злую ревность, боль сердца называл таким словом. А вот сейчас это все куда-то ушло, и я знаю одно: Лельку убили! Фашист, сволочь, убил мою Лельку! Он давно сгнил, но разве мне легче от этого, когда они ходят по нашей земле, душат мой город, а я торчу здесь в подворотне, на заднем дворе у помойной ямы... Что делать, механик?

Ждановский. Ждать. Весной пойдем в море. Я живу только этим. У меня больше ничего нет. Жду и считаю дни.

Горбунов. Весной. Это далеко — весна.

Ждановский. Не перегревайтесь вхолостую, командир.

Горбунов. А этот, этот, как его?.. Лелька говорит: «Передайте мужу...» Я знаю что. Она хотела сказать: пусть возьмет Вовку, воспитает его, чтобы он никогда не знал своего отца, труса, предателя... У таких не должно быть детей. Ведь он боялся меня! Спрашивал же я Лельку: «Ну, кто отец, скажи? Выходи за него, если любишь». Не сказала. А? Он боялся меня. Что

делать, механик? Где найти его, чтоб взять за горло и сказать: отдай сына, гадина!

Ждановский. Человек — не иголка. Найдем. Я найду.

Горбунов. Спасибо, друг. Помните, я спросил вас, откуда вы знаете мои мысли? Вы сказали: привычка. Нет, механик, это — дружба. Это не важно, что мы мало говорим, что за столько лет не сказали друг другу «ты». Сегодня мы выпьем с вами свои сто грамм на... есть такое слово... а черт с ним, просто выпьем, по-братски. Люди часто говорят много лишних слов, и за ними темно, а между нами их нет — и лучше. Ясно? Вот так, всё! Пошли.

Они проходят под аркой, поднимаются по трапу. На палубе лодки выстроена команда.

— На флаг — смирно!

Строй замер.

— Вольно!

В воздухе свистит снаряд. Разрыв далеко, где-то за рекой. Второй — ближе. Резкие звонки боевой тревоги на лодке.

Юлия Антоновна (выбежала, смотрит на часы). Немецкая точность.

Тамара (идет за ней; красивая женщина со злым и усталым лицом). Куда бросает?

Юлия Антоновна. Близко. На Выборгскую.

Короткий свист и сильный разрыв. Арку заволокло дымом и паром.

Николай Эрастович (выбегает). Тамара, идем в котельную. Ужасно! Вот ведь ставят к самому дому военные корабли!

Тамара. Замолчи! Замолчи!

Граница и доктор, тоже очень молодой, почти мальчик, ведут под руки раненого лейтенанта Каюрова.

Юлия Антоновна. Что случилось, доктор?

Доктор. Минера — осколком.

Юлия Антоновна. Несите ко мне. Николай Эрастович, вам ближе, принесите с поста носилки.

Николай Эрастович. Но почему именно я?

Тамара. Ух! Ну и дрянь же ты, Колька! (Убежала.)

Каюров (открыл глаза). Что? Почему? Кто это?

Доктор. Минуточку. Сейчас носилки будут.

Каюров. Нет, к чертям. Тащи меня обратно. На лодку тащи.

Доктор. Нельзя.

Каюров. А я говорю — на лодку! Граница! Выполняйте приказание.

Горбунов (*побежал*). Куда? Василий Никитич, не дурить! Я вас прошу. Куда вы его тащите?

Граница. Приказано.

Горбунов. Отменяю. Выполнять приказания доктора.

Каюров. Пробоина! Пробоина есть?..

Горбунов. Без вас заделают. Не шевелиться!

Каюров. Есть. Командир... Я вернусь. Скоро. На мое место — никого. Я скоро... (*Потерял сознание.*)

Тамара и художник вносят носилки. Каюрова кладут на них.

Художник. Я полагаю — ко мне? У меня первый этаж. (*Берется за ручки носилок.*)

Юлия Антоновна. Вам будет тяжело. Зачем? Есть молодые люди.

Художник. Только, пожалуйста, без опеки...

Тамара и художник уносят носилки. Юлия Антоновна следует за ними.

Туляков (*подбежал*). Товарищ капитан-лейтенант, вас помощник просит.

Горбунов. Сейчас иду. Туляков, как голова?

Туляков (*отирая рукой окровавленный лоб*). Все нормально. Разрешите идти?

Горбунов. Да. Так что же я... (*Щелкает пальцами.*) Мне тоже надо идти. Праздничек выдался, ч-черт... (*Сдержался.*) Эх, Граница, душа болит...

Граница. Товарищ командир, а вы же объясняли, что души вроде нет.

Горбунов. Чудак! Болит — значит, есть.

Конец первого действия

Действие второе

Картина вторая

Запущенная комната в квартире художника. Видно по всему, что здесь долго никто не жил. Теперь ее приводят в порядок. Вечер. Пылает камин. У огня, на тахте, укрывшись с головой, спит строитель. Тут же художник; он склонился над секретером и что-то пишет при свете коптилки. Юлия Антоновна обметает пыль с картин. Соловцов прилаживает светомаскировку. У раскрытого рояля возятся Туляков и Граница. Граница с гитарой.

Туляков (*пробуя пальцем клавиши*). Граница! Граница. Есть.

Туляков. А ну дайте «ля». Отставить. Еще раз. Попротяжнее. (*Строго.*) Ля? Это точно — ля? (*Пробует клавишу.*) Нормально?

Граница. Точно.

Туляков. Куда это я тросик забельшил? Хороший такой был тросик, подходящий, в аккурат для басов... Товарищ художник! Не мешаем вам?

Художник (*поднял глаза*). Простите?

Туляков. Не мешаем, говорю?

Художник. Нет-нет. Напротив. Я устал от тишины. Еще недавно мне мог помешать самый невинный шорох, а теперь я рад, когда слышу шум и человеческие голоса. (*Подходит к камину, греет руки.*) Великолепная вещь — огонь. Сегодня утром город был необыкновенно хорош. Какой-то совершенно новой красотой...

Юлия Антоновна. Не знаю, где вы ухитрились увидеть эту самую красоту! Помните, угловой дом напротив Спаса на Крови? Я сегодня проходила мимо. Страшно посмотреть!

Художник. Не спорю, не спорю... И все-таки это только шрамы на теле бойца. Они только подчеркивают великолепную пластику его мышц. Пусть только станет

немножко теплее на дворе, обязательно начну работать маслом.

Ю л и я А н т о н о в н а. Ну, ну, не увлекайтесь. У вас все-таки слабые легкие...

Х у д о ж н и к. Чепуха... Я хочу вести жизнь, достойную человека. Я давно не жил так полно, как сейчас. Если придется умереть, я умру стоя.

С о л о в ц о в. Готово. *(Закончив светомаскировку, хочет прыгнуть и обрушивается вместе с подоконником.)*

Ю л и я А н т о н о в н а. Медведь! Ну, больно?

С о л о в ц о в. Обойдется. Домишко вовсе ветхий. Неужто такому человеку лучше квартиры не положено?

Х у д о ж н и к. Не знаю, как-то не приходило в голову. Я люблю этот дом. В нем искони жили художники. Здесь бывали Некрасов и Достоевский. Жил целую зиму Крамской. Уже в мое время захаживал Репин, бывал наездами Алексей Максимович, читал Блок. На этом рояле проигрывал отрывки из «Прометея» Скрябин...

Т у л я к о в *(с уважением)*. Этакая сила! Граница! Полегче там, это вам не заклепки ставить.

Стук в дверь.

Х у д о ж н и к. Пожалуйста.

Н и к о л а й Э р а с т о в и ч *(с порога)*. Можно? Иван Константинович, я на одну минутку. *(Вошел.)* Добрый вечер. Простите, я не знал. Тогда, может быть, в другой раз?..

Ю л и я А н т о н о в н а. Это он меня испугался. Идите уж, не трону!

Н и к о л а й Э р а с т о в и ч. Заходите, Мариша.

Вошла здоровенная молодая женщина, в полушубке и высоких сапогах.

Иван Константинович, я прошу вас подтвердить... Мне бы не хотелось, чтобы у товарищей, которые меня не знают, создалось впечатление, что я в какой-то мере лично заинтересован...

Ю л и я А н т о н о в н а. Ладно, ладно. Работать надо, голубчик, тогда не будет впечатления.

Н и к о л а й Э р а с т о в и ч *(вынимая записную книжку)*. Если вы припомните, Иван Константинович, Маришей — я имею в виду даму, которая стоит перед

вами, — было, через мое посредство, передано вам раз-
новременно около четырех килограммов хлеба...

Х у д о ж н и к. Да-да, конечно. Отлично. Я готов.
Пожалуйста, смотрите...

М а р и ш а (сурово). Эти? Посветить-то нечем?

Художник освещает картины.

Что-то больно нехороши? Улицы да вода, будто одной
серой краской малевано. Скукота! Я тут от одной ин-
женерши обстановку взяла: спальня лаковая, покой с
балдахинном — персиковый шелк. А эти мне не в масть.
Цветы бы я взяла. Маки или сирень. А то еще фрукты
в вазоне и птица битая висит — я в комиссионке виде-
ла. Нет таких?

Х у д о ж н и к. Нет.

М а р и ш а. Вон тот, черный, кто?

Х у д о ж н и к. Это эскиз к «Николаю Мирликий-
скому». Голова палача.

М а р и ш а. Здоровущий. Беру. Много ли просишь?

*Вошли, постучавшись, Горбунов и Ждановский; на ходу
сбрасывая регланы, устремились к огню.*

Х у д о ж н и к. Видите ли, эту картину мне бы не хо-
телось отдавать.

Ю л и я А н т о н о в н а. Глупости! Конечно, не от-
давайте.

Х у д о ж н и к. Это подарок Ильи Ефимовича Репи-
на, а у нас в семье с ней связано много воспоминаний.

М а р и ш а. Цену набиваешь? Ладно, говори свою
цену. Я девица широкая — долго не торгуюсь.

Х у д о ж н и к. Николай Эрастович, я в затруднении.
Насколько я вас понимал, речь шла о каком-нибудь
из моих этюдов...

М а р и ш а. Вот на! А это нешто краденая?

Х у д о ж н и к. Вы меня, видимо, не поняли. Моих,
то есть...

Н и к о л а й Э р а с т о в и ч. Мариша, Иван Констан-
тинович — художник. Знаменитый художник.

М а р и ш а. Толкуй. Мне оценщик в скупке объяс-
нял: настоящий художник, который знаменитый, так
его уже лет двести как след простыл. Такой стоит
цены. Еще не помер, а уж знаменитый! За дуру счи-
таешь?

Х у д о ж н и к. Николай Эрастович, я не совсем по-
нимаю, что она от меня хочет, эта женщина?

М а р и ш а. Ладно, не обижайся. (*Остановилась перед одной из картин.*) Твоя?

Х у д о ж н и к. Да. «Туман на Неве».

Ю л и я А н т о н о в н а. И вы продадите ее этой бабе? Делайте, как знаете. В конце концов, это не мое дело.

М а р и ш а. Раскудахталась! Сама не возьму. На кой мне этот туман — сырость разводить? Того, черного, хоть сейчас беру. Понравился.

Х у д о ж н и к. Что же вы мне за него дадите?

М а р и ш а. Сколько ты у меня буханок перебрал? Три? Чтоб недолго толковать, — еще две набавлю и квит. По рукам?

Х у д о ж н и к. Как? И это все? Послушайте, это даже забавно.

М а р и ш а. Ишь ты, дьявол! Забавно ему. Хлеб ему дешев стал. Хлеба не хочет! Вот погодите, посадят вас всех на осьмушку в день, не то запоете.

Г о р б у н о в (*встал*). Вы что, с ума сошли? На кого вы кричите?

М а р и ш а. А ты кто таков?

Г о р б у н о в. А вы не видите? Кто вы такая? Откуда у вас хлеб?

М а р и ш а. А тебе что, завидно?

Г о р б у н о в. Откуда у вас хлеб? Ни у одного человека в городе не может быть столько хлеба, если он не крадет.

М а р и ш а. Но-но, не пугай! Пуганая. (*Николаю Эрастовичу.*) Куда ты меня заманил? (*Озирается.*) А ну вас... Отдайте мне мое, я уйду.

Х у д о ж н и к. Да, но как же я отдам? (*Выбрасывает из секретера деньги.*) Вот, возьмите. Здесь, кажется, около двух тысяч. Если этого не хватит...

Мариша протягивает руку к деньгам.

С о л о в ц о в. Не торопись, тетка. Деньги счет любят. Разрешите, товарищ командир? Мы с ней поладим. (*Наложил руку на деньги.*) За сколько тебе, говоришь? За четыре кило? Значит, по восемь гривен... три двадцать. (*Отсчитал и положил на край стола.*) В расчете. Бери.

М а р и ш а. Ты что, окосел?

С о л о в ц о в. Говорю, бери.

М а р и ш а. Да я лучше... Подавись ты ими!

Соловцов. Матросом черт подавился. Бери, тет-ка. Пока не поздно.

Юлия Антоновна. Молодец!

Горбунов (*переглянулся со Ждановским*). Как? Ждановский. Эге!

Горбунов. Вот я тоже так думаю. Соловцов!

Мариша (*взяла деньги и метнулась к выходу*). А ну вас всех к дьяволу!..

Соловцов. Отставить, тетка. Никак опоздала. Есть, Соловцов!

Горбунов. Проводите гражданку к дежурному. Ясно?

Соловцов. Ясно.

Горбунов. Вот так. Действуйте.

Соловцов. Есть. Туляков, дай-ка пушку. Шагай, тетка.

Выходит, пропустив вперед Маришу. Пауза. Николай Эрастович деланно захихикал, но, видя, что никто не поддерживает, смутился и умолк.

Горбунов (*художнику*). Прошу прощения за самоуправство.

Юлия Антоновна. Глупости. Вы прекрасно поступили.

Горбунов. Понимаете, если б эта тетка унесла вашу картину — черт! — тогда, значит, вы не художник, а я не командир.

Молчание.

Вы сердитесь?

Художник. Сержусь? Нет, конечно. Напротив. Не скрою, я несколько аффраппирован... Должен сознаться, что я уже почти решил отдать картину. Видите ли, скоро должна прийти моя дочь...

Горбунов. Ясно. А у нас сегодня корабельная годовщина. Короче говоря, вы окажете нам честь, разделив с нами наш скромный ужин.

Николай Эрастович. Блестяще! Вот это великодушно!

Горбунов. Решено?

Художник. Нет-нет. Я вам бесконечно благодарен, но — нет. Я совсем не в том смысле... Ах ты, боже мой! Жалею, что начал этот разговор.

Горбунов. Повторяю, кают-компания нашего корабля просит вас и вашу дочь оказать нам честь — как

это говорится? — своим присутствием на нашем скромном торжестве. (*Юлии Антоновне.*) Вас тоже покорнейше прошу.

Художник. Но...

Горбунов. Мы приняли ваше гостеприимство. Почему вы пренебрегаете нашим?

Художник. Но...

Горбунов. Может быть, вас почему-нибудь не устраивает наше общество? Тогда, будьте добры, объяснитесь.

Художник. Ну, а это уже совсем... так нельзя. Как вам это могло прийти в голову? Напротив, я очень рад...

Горбунов. Ясно. Совершенно удовлетворен вашим объяснением. Теперь технический вопрос: у вас есть тарелки?

Художник. Тарелки? Простите, о каких тарелках вы говорите?

Горбунов. О мелких. Есть?

Художник. Да, конечно.

Юлия Антоновна. А у вас нет? Как же вы живете без тарелок?

Горбунов. Видите ли, от глубинных бомб очень портится посуда.

Юлия Антоновна (*разглядывая стопку тарелок*). Это все? А рюмки?

Горбунов. Ну вот, рюмки! Есть стаканы.

Юлия Антоновна. И вы предполагаете, что я сяду за стол, где водку хлещут из стаканов? Нет, это все никуда не годится. Пусть кто-нибудь пойдет со мной за посудой, и я организую вам стол так, чтоб это было хоть на что-то похоже.

Горбунов. Леша!

Граница. Есть.

Горбунов. В распоряжение Юлии Антоновны. (*Вернувшемуся Соловцову.*) В распоряжение Юлии Антоновны.

Соловцов. Есть.

Юлия Антоновна. Пойдемте. (*Николаю Эрастовичу.*) Пойдемте, голубчик, я вам по дороге кое-что объясню.

Уходят.

Горбунов (*вскочил*). Ладно. Праздновать так праздновать. Все побоку. Туляков, кончайте вашу музыку. Свет будет?

Туляков. Все будет нормально, товарищ командир.

Горбунов. Механик, у вас с собой тужурка? Надеваем крахмальные воротнички и галстуки. Полный парад. Куда вы, Иван Константинович?

Художник. Не могу же я один оставаться в таком виде. Через пять минут я буду готов. *(Уходит.)*

Горбунов *(сбрасывает китель)*. Праздник так праздник. Наперекор стихиям. Сегодня должно быть весело. Хочу, чтоб было светло, музыки хочу. Танцевать буду, черт возьми!

Ждановский. Авария! Петля лопнула. И запонку потерял.

Стук в дверь.

Да!

Катя. Папа, отопри. *(Открыла дверь. Она в платке и в валенках, замерзшая, но веселая, смеющаяся.)* Боже мой, камин! *(Отступая.)* Простите, я не знала...

Горбунов. Вы нас простите...

Катя. Вы, наверное, к папе?

Горбунов. Иван Константинович пригласил нас к себе жить.

Катя. Не может быть!

Ждановский. Вы не верите?

Катя. Я очень рада. Но это невероятно: папа пригласил! Вы с ним давно знакомы?

Горбунов. С самого утра.

Катя. По нынешним временам порядочно. Давайте знакомиться. Катерина. *(Развязывает платок.)* Ивановна, как вы догадываетесь. Первое время, пока я не разберусь, что вы за люди, вам придется звать меня по имени-отчеству. А вас я знаю — вы с нашей лодки. Как вас зовут?

Горбунов. Капитан-лейтенант Горбунов.

Катя. Этого я не понимаю.

Горбунов. Виктор Иванович.

Катя. Вот. *(Ждановскому.)* А вас?

Ждановский. Федор Михайлович.

Туляков. Главный старшина Туляков. Лаврентий Ефимович.

Катя. Вы хотите починить наш рояль? Нет, серьезно? Господи, какое счастье! Неужели это возможно?

Туляков *(собирая инструменты)*. Невозможного,

Катерина Ивановна, нет ничего на свете. Пожалуйста. Может, сыграете что?

К а т я (*подсела к роялю, берет несколько аккордов*). Нет не могу. Замерзла как собачонка. Потом А «ля» второй октавы? (*Пробует.*) Звучит! Даже не верится.

Г о р б у н о в. Идите сюда, к огню.

К а т я. С удовольствием. Ой, кто тут на тахте? Это человек?

Г о р б у н о в. Не будите его. Пусть спит, сколько может.

К а т я. Да, но ваш друг может загореться. (*Раздевается, греет руки.*) На улице черным-черно и такие сугробы... Я, кажется, набрала снега в валенки. Что вы на меня так смотрите?

Г о р б у н о в. Не могу вспомнить. Мне кажется, что мы с вами когда-то были знакомы.

К а т я. Нет, не были. Слушайте, это нехорошо — так пристают на улицах: «Скажите, где мы могли с вами встречаться?» Сейчас на дворе встретила каких-то моряков — они приехали на мотоцикле, — и один из них решил со мной познакомиться... А где папа?

Г о р б у н о в. Иван Константинович сейчас выйдет. Он переодевается.

Туляков вышел.

К а т я (*Ждановскому*). Не мучайтесь, дайте я вам зашью петлю. (*Горбунову.*) А ваши краснофлотцы — они тоже будут жить в нашем доме? Подумать только, что когда-то можно было топить камин каждый день. Скажите, вам очень надоела война?

Ж д а н о в с к и й. Война не дождик.

К а т я. Вы так говорите — можно подумать, что все это вам очень нравится.

Г о р б у н о в. Нравится — не то слово. Я люблю воевать.

К а т я. Послушайте, вы шутите?

Г о р б у н о в. Почему? Воевать — моя профессия.

К а т я. Не знаю. Война грязна и бесчеловечна. Я понимаю, когда на страну нападает враг, — каждый становится солдатом. Иначе не может быть. Но делать из этого профессию... Простите меня, мне кажется, что в мирное время военную профессию избирают чаще всего люди, которые не сумели найти себя ни в какой другой области. (*Пауза.*) Я сказала глупость?

Горбун о в. Объясните мне, откуда у вас это такое странное высокомерие? Ведь если, скажем, выяснится, что я никогда не слышал про Мадонну Рафаэля или кто-нибудь из нас, грешных, вылезет со своим корявым суждением о симфониях Шостаковича, — вы нас подымете на смех. А сами вы запросто беретесь судить о предметах не менее важных, хотя не имеете о них никакого понятия. *(Пауза.)* Грубо?

К а т я. Грубовато. Но довольно справедливо, так что стоит терпеть.

Горбун о в. Человек, спящий на тахте, — инженер. Он всю жизнь строил корабли, и вы склонны считать это настоящим делом. А вот этот неразговорчивый товарищ всю жизнь плавает на этих кораблях. Он тоже инженер высокой квалификации. Но, кроме того, он носит золотые нашивки, а это значит, что он обязан — обязан, понимаете? — быть честным и храбрым. Это входит в его ремесло. Куда, Федор Михайлович?

Ждановский. Ничего, ничего, я здесь.

Горбун о в. Тем, кто в юности не мечтал о подвигах, в нашей профессии нечего делать. Она требует знаний, воли, упорного труда. Вот если командир растерял свои юношеские мечты, если он забыл, что рано или поздно придет время, когда от него потребуются сполна заплатить по этому векселю *(показывает на свои нашивки)*, тогда я с вами согласен. Если командир стал смотреть на свой корабль, как на департамент, где ему платят жалованье, если он угасил свою мечту, творческую мысль, жажду подвига, тогда он пустоцвет. Хуже, он — самозванец, обманщик.

К а т я *(задумчиво)*. Профессия, обязывающая к мужеству. Это хорошо. Скажите, а вы очень храбрый?

Горбун о в. *(улыбнулся)*. Я? Нет, не очень. Нормально, как говорит Туляков. Есть люди куда смелее.

Ждановский. Кто?

Горбун о в. Кто? Хотя бы Борис Петрович. *(Кате.)* Бывший командир нашей лодки. По-моему, он даже не понимает, что такое страх.

К а т я. Мне нравятся такие люди. А вы знаете, что такое страх?

Горбун о в. Знаю. Как большинство простых смертных. Но я знаю и другое. Когда придет время держать экзамен на мужество, то во мне найдется нечто такое, что поможет стать выше инстинкта.

К а т я. Что же это такое?

Г о р б у н о в. Не берусь определить. Вероятно, то самое чувство, которое заставляет умирающих ленинградцев смеяться над немецкими листовками. То самое, что не позволяет голодному бойцу украсть у товарища. То самое, почему женщина не продается. Оно может проявляться в великих подвигах и в любой мелочи. Назовите его как хотите. Но либо оно есть, либо его нет.

К а т я *(тихо)*. Понимаю. *(Вскочив.)* Но, однако, что же папа? *(Толкнула дверь — она заперта.)*

Ю л и я А н т о н о в н а *(оттуда)*. Нельзя.

К а т я. Это я, Юлия Антоновна.

Ю л и я А н т о н о в н а. Вот тебе-то и нельзя.

К а т я. Что такое?

Постучали. Голос: «Можно?»

Да, конечно. Здравствуй, Тамара.

Т а м а р а *(она в штанах, на плечи накинута шинель)*. Катька, идем, быстро.

К а т я. Куда?

Т а м а р а. Сейчас ввалился ко мне Семка Селянин и с ним еще какой-то моряк. Интересный. Литр вина и много харча. Собирайся, живо!

К а т я. Ты с ума сошла, Тамара! Зачем я туда пойду? Я неделю дома не была. И потом я их совсем не знаю.

Т а м а р а. Подумаешь! Семка жаждет с тобой познакомиться.

К а т я. Почему именно со мной? Я этого человека в глаза не видела.

Т а м а р а. А он тебя видел. Даже говорил с тобой.

К а т я. Тамара, ну на что это похоже? Теперь я понимаю. По-твоему, я должна идти и пить с человеком, который приставал ко мне на улице?

Т а м а р а. Ну, как хочешь. Извини. Навязываться не собираюсь. Впрочем, я вижу, ты тут не скучаешь. *(Вызывающе оглядывает Горбунова.)*

К а т я *(встала)*. Тамарка, уходи! Это невыносимо...

Т а м а р а. Уйду, не волнуйся. Только напрасно ты строишь из себя гордячку. Я не хуже тебя. Вот Николай тоже кричит, что я ему не жена, у меня — притон. Всем жильцам раззвонил, что мы разошлись. А сам лезет в компанию, жрет и пьет. Я хоть не вру. Прямо говорю — хочу жить. И наплевать мне... *(Вышла, хлопнув дверью.)*

К а т я. Тамара! (*Опустилась на стул у рояля и положила голову на руки.*)

Г о р б у н о в. Кто это?

К а т я. Подруга. (*Встала.*) Не понимаю, что там происходит. (*Стучит в дверь.*) Папа, я обижена.

Х у д о ж н и к (*оттуда*). Сейчас, Катюша.

К а т я. Я ухожу.

Х у д о ж н и к (*вышел; он в смокинге*). Катюша! Здравствуй, дружок. (*Целует ее.*)

К а т я. Спасибо. Какой ты нарядный, папа! И почему у тебя такой лукавый вид?

Х у д о ж н и к. Извини, Катюша. Виктор Иванович, вы готовы? Катюша, ты помнишь марш из «Синей птицы»? Трам-та-рам-там-там...

К а т я. Конечно. (*Играет.*)

Распахнулись двери. Появляется Юлия Антоновна с «летучей мышью» в руках. За ней шествуют Соловцов и Граница. Они вносят стол. Камин бросает блики на грани хрустала. Наконец вспыхивает яркий свет от аккумулятора. Его встречают аплодисментами.

С т р о и т е л ь (*вскочил*). Полундра! (*Озирается.*) Витька, ты? Я сплю?

Смех.

К а т я. Я не могу больше играть. Объясните же мне наконец... Это похоже на «Синюю птицу». А Юлия Антоновна на фею Берилюну.

Ю л и я А н т о н о в н а (*Горбунову*). Дайте я вас обниму, дружок. Мой покойный муж отдал морю всю свою жизнь и вырастил сотни таких, как вы, так что я вправе обращаться с вами, как с сыном. (*Обнимает его. Ждановскому.*) И вам тоже желаю счастья. За сегодняшний день я так привыкла к вам, точно знала обоих с детства, и горжусь вами так, как будто по крайней мере сама вас родила. Собиралась сказать что-то очень умное, но забыла. Все равно. Катюшка, иди сюда, я тебя тоже поцелую.

Г о р б у н о в. Спасибо. Спасибо. Кудиныч, вылезай... Знакомься. Где же штурман?

Туровцев, очень веселый, появляется в дверях. За ним — мрачный фельдшер.

Т у р о в ц е в. Есть, штурман. (*Хватается за голову.*) Доктор, держи меня — я падаю в обморок. Прошу прощения, товарищ командир. Разрешите?

Горбунов. Проверьте ваш хронометр, штурман.

Туровцев. А что, товарищ командир?

Горбунов. Опаздываете.

Строитель. Митрий, ты когда серьезным человеком станешь?

Туровцев. Никогда. Ты что смеешься, Соловцов?

Соловцов. Ничего, товарищ лейтенант. Просто так. Хорошо.

Ждановский. Что — «хорошо»?

Соловцов. Не знаю. Только чудно. Мотался, мотался... И вдруг — дома. (Горбунову.) Так разрешите идти? (Уходит.)

Горбунов. Помощник, приглашайте к столу. Доктор! На минутку.

Пока все рассаживаются, доктор шепотом что-то сообщил Горбунову. Оба взволнованы. Горбунов жестом приказывает молчать. Затем они занимают свои места.

Юлия Антоновна. Мужчины, наливайте водку.

Туровцев. Есть. (Художнику.) Разрешите?

Художник. Нет-нет, благодарю. Я не пью водки.

Юлия Антоновна. Ему нельзя.

Туровцев. А это мы сейчас узнаем. Доктор, можно?

Доктор. Можно.

Туровцев. Вот видите. (Кате.) А вам?

Катя. Пожалуйста. Только я буду пьяная. Не боитесь? Напьюсь и начну куролесить.

Художник. Катюша!

Катя. Папа, не смотри на меня так строго, а то я не выдержу. (Хохочет.)

Юлия Антоновна (смеясь). Ну что ты, дуреха?

Катя. Юлия Антоновна, миленькая, не сердитесь. Я еще не пила ничего, а мне уже весело. Я вот сейчас, сию минуту, почувствовала: нам еще будет хорошо. Будет еще голодно, холодно, будут рваться бомбы и снаряды, но я знаю — фашисты не войдут. Никогда. Вот я это знаю, поверьте мне! И знаю, что мы победим, и вот тогда, как после грозы, мы вздохнем полной грудью и наступит необычайная, ослепительная жизнь. Может быть, она и не сразу наступит, но мы будем так жадно к ней тянуться, так ценить каждую маленькую радость... И мне уже сейчас хочется смеяться. (Ждановскому.) А вы разве никогда не улыбаетесь?

Ждановский (медленно улыбнулся). Нет, почему? Бывает.

Доктор. По большим праздникам.

Туровцев. И о каждом случае заносится в вахтенный журнал.

Катя. Ну и что же — сегодня праздник. Вот и извольте улыбаться, вам очень идет. (*Горбунову.*) А вы почему молчите?

Художник. Ты не даешь никому слова сказать.

Катя. Нет, серьезно. О чем вы думаете?

Горбунов. Так. Ни о чем. (*Быстро встает.*)

Туровцев. Внимание! Командир говорит.

Горбунов. У всех налито? Выпьем. Давайте без парадных тостов. Выпьем просто — за боевую дружбу. Не за ту дружбу, что держится на лести и взаимных амнистиях. Грош ей цена. Настоящая дружба требовательна. Кто, как не друг, скажет тебе в глаза жестокую правду? Так вот я спрашиваю вас, командиры-подводники, спрашиваю самого себя, вот здесь, в присутствии людей, перед которыми мы в долгу, — как мы воевали? (*Молчание.*) Плохо. Неужто так силен в нас дух самодовольства, что мы этого не видим? За всю осень грохнули дрянную немецкую коробку, которая вся-то не стоит торпедного залпа. Плохо воевали. А мы должны воевать хорошо. Иначе нас побьют. А я не хочу, чтоб меня били. Это оскорбляет мою гордость русского моряка, советского офицера. Мы должны воевать превосходно. Мы можем так воевать. Можем и будем! (*Стукнул кулаком по столу, посуда зазвенела.*)

Юлия Антоновна. Тише вы, сумасшедший...

Горбунов (*спокойнее*). Весной мы пойдем в море. Я не обольщаюсь, будет трудно, еще трудней, чем было осенью. Мы воюем с умным и сильным врагом. Не знаю, кому нужно изображать его придурковатым и жалким. Я в этом не нуждаюсь. Я твердо знаю, что враг сделает все, чтоб запереть нас в заливе. На нашем пути будут мины и сети, катера и самолеты. Но мы пройдем. Впереди зима. Будем готовиться. Будем учиться. Я обещаю вам нелегкую жизнь. Буду жать и требовать. И у вас будет образцовый порядок, штурман. Пусть все знают: я не помирюсь на малом. Мы должны стать гвардией, лучшими из лучших. И пока этого не будет, я всегда буду недоволен. Тот, кто помогает мне, — друг. Мешает — враг. Вот так. Ясно? Выпьем.

Строитель. Крепко сказано.

Чокаются, пьют.

К а т я. Папа, почему ты грустный?

Х у д о ж н и к. Нет-нет, мне очень хорошо. Мне стало грустно только на секунду. Я подумал: неужели нужна была война, чтоб в эти стены проникла настоящая, живая жизнь?

К а т я. Я не хочу больше пить. (*Вскочила из-за стола.*) Я хочу петь. (*Присела у рояля; вступительные аккорды.*)

Где бы ты ни был, моряк, в этот час,
Знай — тебя ожидает подруга, дыханья верней.
С моря не сводит влюбленных, тоскующих глаз,
Радуюсь волнам и солнцу — помни о ней!

Где бы ты ни был, моряк, в этот час,
Знай — тебя ожидают друзья боевые твои,
Ловят молву о тебе, как мужчины мужчиной гордясь.
Гибели глядя в глаза — помни о них!

Где бы ты ни был, моряк, в этот час,
Знай — на земле и друзья, и подруга, и дом.
Милый отеческий край, где весна пролетает сейчас.
Каждым биением сердца — помни о нем¹.

Ждановский встал и отошел к окну.

Г о р б у н о в (*двинулся за ним*). Ты что, Федя?

Ж д а н о в с к и й. Ничего. Не обращай внимания.

Т у л я к о в (*просунул голову в дверь*). Разрешите? Говарищ капитан-лейтенант, прибыл командир дивизиона.

К о н д р а т ь е в. Куда? Сюда, что ли? (*Появился. Он высокий, размашистый в движениях, не старше тридцати пяти лет.*) Сидите, сидите. Здорово, орлы! Вот вы где окопались? Пьянствуете? Здравствуй, командир. Богато живешь. (*Кате.*) Прошу прощенья. Кондратьев.

К а т я (*вызывающе*). Скажите, где мы могли с вами встречаться?

К о н д р а т ь е в. Ах, это вы? Еще раз — извините великодушно. Ну что мне с ним было делать? Пьяный дурак.

К а т я. Зачем вы так говорите? Он ваш приятель!

К о н д р а т ь е в. Какой там к бесу приятель! (*Здоровается с Юлией Антоновной и художником.*) Кондратьев. (*Строителю.*) А, старый воробей! Прыгаешь?

¹ Слова Ольги Берггольц.

Горбунов. Это кто же пьяный дурак?

Кондратьев. Селянин. Подвез меня сюда на мотоцикле. Не знаешь Селянина? Он что-то там по технической части. Дрянный мужик. Но — полезный. Это из таких — все может. Поехал я с ним и сам не рад. Пьяный, а лезет править. Потом затащил меня к какой-то своей мадаме...

Катя. Поосторожней. Это моя подруга.

Кондратьев. Опять не слава богу! Девушка, не сердитесь на меня. Я человек простой, грубый...

Художник. Ну что ты, дружок, в самом деле? К нам пришел гость, а ты — сразу в штыки.

Катя. А пусть он не говорит... Ну, хорошо — мир. *(Протягивает руку.)* Как вас зовут?

Кондратьев. Борис Петрович.

Катя. Борис Петрович? Тогда я вас знаю. Вы очень храбрый.

Кондратьев. Кто же это вам сказал? Да, говорят — не трус. Других талантов не водится; ну уж, а это как-нибудь... *(Туровцеву.)* Что смотришь, лейтенант? Нет того, чтобы сказать: «Что вы, товарищ капитан третьего ранга... Вы, так сказать, у нас во всех отношениях вполне, и так далее...» Службы не знаешь. *(Горбунову.)* Так по какому же случаю?

Горбунов. Корабельный праздник.

Кондратьев. А ведь забыл. Забыл! Вот глупость какая! Дела! Вам хорошо: знаете свою лодку и больше никаких хлопот. А я за всех отвечаю. Ну, поздравляю. Так что же, чокнемся? *(Заглядывает в графин.)*

Туровцев. Опоздали, товарищ капитан третьего ранга.

Кондратьев. Начальство никогда не опаздывает, запомни. Оно задерживается. Понимать надо. Давай водки, командир. Хотя я тебя знаю, ты — жила, от тебя сверх положенного... *(Махнул рукой.)*

Стук в дверь.

Горбунов. Да!

Халецкий *(в праздничном настроении)*. Разрешите?

За ним — Туляков и Джулая.

(Увидев комдива, вытянулся.) Товарищ капитан третьего ранга, разрешите обратиться к командиру корабля.

Кондратьев. Ну-ну, обращайтесь.

Халецкий. Товарищ капитан-лейтенант, от лица команды...

Горбунов. Отчего вы такой красный, боцман?

Халецкий (*укоризненно*). Товарищ капитан-лейтенант! Выходите хоть сейчас в торпедную атаку — буду вам держать заданную глубину... как по ниточке. Конечно, не будем отрицать, есть такие непьющие бойцы, что имеют уважение к боцману. Так они понимают, что потомственному одесскому грузчику те сто грамм все одно что слону дробина...

Горбунов. Ясно. (*Смеется.*) Слушаю вас.

Халецкий. Команда просит вас и всех товарищей командиров в кубрик. Будут выступления талантов и разное.

Кондратьев. Вот орлы! Не унывают. А танцы будут?

Халецкий. Команда имеет большое желание. Команда не имеет с кем танцевать.

Джулая. Можно танцы. (*Кате.*) Пожалуйста! Хоруми знаете?

Катя. Хоруми?

Джулая. Наш танец. Одни мужчины танцуют. Воины. (*Обнимает Тулякова и Халецкого за плечи и пританцовывает.*) Неужели не знаете?

Катя. Пойдите. Я, кажется, видела в Мариинке. Так? (*Наигрывает.*)

Железный ритм военного танца.

Джулая. Замечательно!

Горбунов. Пошли, товарищи?

Вся компания поднялась с мест.

Голоса. Иван Константинович, наденьте шарф. Слышите?

— Граница, держи меня крепче, а то я вовсе без ноги останусь.

— У кого есть «пигмей»? На лестнице темнотища...

Все выходят.

Кондратьев (*задержал у двери Горбунова*). Пойдите. Потолкуем.

Они вернулись.

Как минер?

Горбунов. Полчаса назад. Не приходя в сознание.

Кондратьев. Жалко. Хороший был парень. Еще никто не знает?

Пауза.

Что не заходишь?

Горбунов. Вы меня не вызывали, товарищ капитан третьего ранга.

Кондратьев. Это еще что такое? Брось! Я по-дружески спрашиваю. Садись, чего стоим. Ты что — сердишься?

Горбунов. Нет.

Кондратьев. Ну, так в чем же дело?

Горбунов. Не знаю. С тех пор как ты стал большим начальством, в нашей дружбе что-то поломалось. То, да не то.

Кондратьев. Все это муть. Мнительность. Ты знаешь, как я к тебе расположен.

Горбунов. Вот-вот, «расположен». Ты теперь совсем иначе со мной говоришь. Не замечаешь? Очень этак благосклонно-покровительственно. А я не хочу. Разве я за эти два месяца стал глупее? А если ты боишься, что я сяду тебе на шею или позволю себе афишировать...

Кондратьев. Ничего я не боюсь. Насчет службы и всякой субординации вы — педант, это нам известно. Выдумываешь ты все, Виктор. Не люблю я этих всяких сложностей. Я — человек простой, бесхитростный...

Горбунов. Не так-то уж ты прост. Становишься помаленьку дипломатом. Помнишь, тебе прислали с Большой земли бутылку трофейного коньяку? Как душу изливать, так Горбунову, а как коньяк пить, так с начальником штаба? Я коньяк терпеть не могу, не в коньяке суть. Так вот, если хочешь со мной дружить по дешевке — не надо!

Кондратьев (засмеялся). А ведь верно. Даже ничего не скажешь. Как-то так получилось... Ладно! У меня на тебя тоже зуб есть. Ты что же это наш поход охаиваешь? И то не так, и это не так... Меня как командира дискредитируешь.

Горбунов. Я не дискредитирую, а изучаю боевой опыт. Критиковал я прежде всего себя.

Кондратьев. С чем же ты теперь не согласен?

Горбунов. Со многим. Странное дело: шли в поход — немцев не боялись, мин не боялись, бомб не боялись. Чего боялись? Отчетности. Вынь да положь

боевой успех. А то вдруг нам не поверят, еще скажут, что трусили, уклонялись от атак. Вот и кинулись на эту ветхую посудину — истратили торпеды. А выжди мы, голову даю на отсечение, трахнули бы на другой день тот танкер... тысяч на десять, помнишь, на траверзе Фрисланда?

Кондратьев. Если бы да кабы... А я считаю, мы были обязаны атаковать.

Горбунов. Обязаны? Хорошо. А пушка на что? Корабль явно шел без охранения. Всплывай и бей.

Кондратьев. Что ж ты сейчас такой умный? Почему тогда не предложил?

Горбунов. Вот я за это себя и ругаю.

Кондратьев. Ну-ну, не дури. Дело такого рода. Командование, кажется, за этот поход собирается кой-кого представить. Есть такой слух. Тебя, меня, механика, из старшин кого-нибудь...

Горбунов. Механика можно. Тулякова, Границу и боцмана — обязательно. А нас с тобой не за что.

Кондратьев. Ну, этого мы обсуждать не можем. Ордена дает правительство — ему виднее. Эх, не люблю, когда ханжат. Тебя это не интересует? Рассказывай тем, кто тебя не знает. Сам честолюбив как дьявол.

Горбунов. А я не говорю, что не честолюбив. Только откуда ты знаешь — может, я большего хочу?

Кондратьев. Трудный ты человек. Словно ерш колючий. И вечно у тебя заскоки. Ведь это я тебя защищаю, а то ведь на вашу милость многие зубы точат. С дивизионными спецами ругаешься, изо всякой мелочи принцип строишь, рапорта пишешь... Дался тебе этот шофер селянинский...

Горбунов. Не знаешь, наложил на него этот твой Селянин взыскание?

Кондратьев. Не знаю. Непохоже. (*Махнул рукой.*) Как же, жди! Так он тебе его и посадил. А возить его кто будет? Бензин доставать? Нет, ты прав, конечно, я не к тому, чтобы спорить... Только охота тебе из-за мелочей...

Горбунов. Это не мелочь. Из-за мелочей, бывает, корабли тонут.

Кондратьев. Учти, взысканий у тебя много на лодке. Вот мне дали сведения: за одну неделю — двадцать процентов.

Горбунов. Зарежьте меня — не понимаю. На всей лодке полтора десятка человек, а у меня проценты

подсчитывают. Не двадцать процентов, а три матроса. С фамилиями, с ногами, с ушами... Надо было дать, я и дал. Выходит, недооценка воспитательных методов. А на будущей неделе у меня окажется ноль процентов, тогда, значит, я либерал?.. Что смеешься?

Кондратьев. Чую, что пятьдесят процентов из присутствующих здесь обязательно наживут себе хлопот. И единственно по причине длинного языка. (Захохотал.)

Горбунов тоже засмеялся.

Да! Что за разговоры ты ведешь в кают-компании?

Горбунов. А что?

Кондратьев. С очень, знаешь, таким нехорошим душком. Насчет офицерской чести, всяких там гвардейских традиций. И именно в таком положительном духе, даже восторгаешься. Факт?

Горбунов. Факт.

Кондратьев. И бывают с твоей стороны высказывания, как бы тебе сказать... Ну, да я человек такой — прямо скажу — пораженческого порядка.

Горбунов. Даже так?

Кондратьев. То-то и есть. Запугиваешь командный состав, рисуешь им всякие страхи. Чепуха все это! Красная Армия наступает, к весне расчистим берега, вытралим залив и пойдем Таллинн брать.

Горбунов. Возьмем ли, нет ли, а подводный флот будет летом воевать. И я готовлю лодку, чтоб она могла воевать в любых условиях. Запугиваю командный состав! Тоже — маленькие дети! Да если у меня кто-нибудь от одних слов запугается, я его с лодки погоню. Что он в походе делать будет? Это всё?

Кондратьев. Мало?

Горбунов. Порядочно. Кто это тебе все наговорил?

Кондратьев. Неважно кто. Говорили люди.

Горбунов. И ты не выгнал к черту этого человека?

Кондратьев. Постой, какого человека? И почему я должен его выгонять?

Горбунов. Обязан был выгнать. Человек ест со мной за одним столом, и у него не хватает мужества сказать мне в глаза, что я говорю вредные вещи. Спорить со мной, если я ошибаюсь. Это офицер? Обязан был выгнать.

Кондратьев. Ну вот что — ты меня не учи! Лишнего на себя не бери. Как-нибудь я не хуже твоего знаю, что я обязан, чего не обязан.

Горбунов (*встал*). Слушаю, товарищ капитан третьего ранга.

Кондратьев. Ну вот — готово! Шерсть дыбом.

Горбунов. Дружба дружбой, а служба службой. Начальник мне сделал замечание. Разрешите узнать, какие будут указания?

Кондратьев. Указания вот какие: лодку будем консервировать.

Горбунов (*изменился в лице*). Не понимаю.

Кондратьев. Нечего понимать. Лодка повреждена, требуется сложный ремонт. На завод не надейся: завод сейчас ничего не может. Оставим на лодке самую малость народу, остальных распишем. Пушку и исправные приборы у тебя возьмем — облегчится ремонт на других лодках. На мой взгляд, тебе тут тоже делать нечего. Впрочем, это еще не решено. Ваше мнение?

Горбунов. У меня двух мнений быть не может. Это мой корабль. Я командир, я присягал. Пока корабль на плаву и хоть одна палка торчит над водой, я держу мой флаг.

Кондратьев. Любите вы красиво выражаться. Ну, а если ближе к делу?

Горбунов. Морской устав гласит, что на всякое предложение о сдаче я обязан ответить отказом.

Кондратьев. О какой сдаче? Что вы мне, ей-богу, голову морочите? Давайте проще!

Горбунов. Отступить перед блокадой, вывести из строя боевой корабль равносильно сдаче. Я берусь отремонтировать лодку полностью и не попрошу у вас ни одной гайки.

Кондратьев. Я берусь!.. Я командир!.. Я держу мой флаг!.. Всё «я»! Подумаешь, какой флагман. Скромности больше, товарищ капитан-лейтенант! Ладно. Подготовьте список людей, кого считаете необходимым оставить. Человек десять, не больше. Ну и так далее. Два дня сроку.

Горбунов. Есть готовить. Прошу разрешения одновременно обратиться к командованию с рапортом.

Кондратьев. Разрешаю, пишите. Но не советую. Заработаете фитиль, и этим кончится. Как раз вам-то

и не следует лезть. Сидите тихо. Чего вы так держитесь за лодку? Ведь будете сидеть при ней сторожем до окончания века. Плавать она не будет. Отсидеться хотите?

Горбунов. Товарищ капитан третьего ранга. Я бы десять раз подумал, прежде чем бросить такое тяжелое обвинение.

Кондратьев *(примирительно)*. Да я шучу, не понимаешь, что ли?

Горбунов. Этим не шутят.

Сверху явственно доносятся звуки музыки и ритмический топот. Танцуют «хоруми».

Кондратьев. Что там такое?

Горбунов. Матросы танцуют. Голодные, усталые, а вот сегодня сунул им по полбанки консервов — они и ожили. Эти ребята не будут отсиживаться. Они хотят воевать. Слышите, как они танцуют?

Оба несколько секунд стоят, прислушиваясь к железному ритму военного танца.

Кондратьев *(одеваясь)*. Ладно. Пошел. Будь здоров, командир.

Горбунов. Не зайдете наверх?

Кондратьев. Да нет, уж поздно. Пойду на базу. Дел непроворот. Не провожай — не надо. *(Вышел.)*

Горбунов *(проводил комдива до двери, прошелся несколько раз по комнате)*. Нда. Навалилось. Все в один день. Многовато для одного человека. *(Потушил свет, поднял штору. Приник к стеклу.)*

В зарешеченном окне первого этажа — освещенная луной замерзшая Нева, силуэт лодки. По небу бродят лучи прожекторов. Шорох в соседней комнате.

Горбунов *(обернулся)*. Кто там?

Граница. Я, товарищ командир. Граница.

Горбунов. Леша? А ну, иди сюда. Ты что здесь делаешь?

Граница *(вошел)*. Я ничего, товарищ командир. Посуду хотел прибрать.

Горбунов. Посуду? А чего сопишь? Носом хлюпаешь?

Граница. Я не хлюпаю.

Горбунов. Ты что? Плачешь, матрос?

Г р а н и ц а (*всхлипнул*). Вы меня спишете.

Г о р б у н о в. С чего ты взял? Ты что же — подслушивал?

Г р а н и ц а. Товарищ командир, честное даю вам слово... Честное комсомольское, как на бюро. Я не нарочно слушал. Зашел, а капитан третьего ранга и говорит... Теперь вы меня спишете.

Г о р б у н о в. Почему же обязательно тебя?

Г р а н и ц а. Потому что я самый последний человек на лодке. Недисциплинированный. Только я не желаю с лодки... (*Всхлипывает.*)

Г о р б у н о в. Ну-ну, будет! Да не кисни ты, парень, без тебя тошно! Слушать меня. Обо всем, что слышал, — молчок. Тебя не отдам. Ясно? И дружка твоего Соловцова тоже постараюсь отстоять. Надоели вы мне, но, видно, уж такая моя судьба — возиться с вами. Вот так. Переварил? Кругом — арш!

Г р а н и ц а. Спасибо... (*Поплелся к выходу.*)

Г о р б у н о в. Отставить. Как команду выполняете? Кругом — арш!.. Вот так.

Граница уходит.

К а т я (*заглянула*). Виктор Иванович! Вы здесь? Что ж вы не идете? Там так весело!

Г о р б у н о в. Сейчас.

К а т я (*подошла ближе*). Я вам не мешаю? Если мешаю, скажите мне «кругом — арш»! Я уйду.

Г о р б у н о в. Нечего издеваться. Садитесь. Сейчас пойдем вместе.

К а т я (*присела у окна*). Ушел ваш начальник? Он мне не понравился.

Г о р б у н о в. Не спешите судить.

К а т я. Вы не сердитесь на те глупости, что я вам наговорила? Сознаюсь, это было очень по-дамски. (*Пауза.*) И все-таки я мечтаю о времени, когда навсегда прекратятся войны и ваша профессия перестанет существовать.

Г о р б у н о в. Я тоже. Так и будет. Но это будущее приходится брать с бою. В этой войне мы не только защищаем свою землю. Мы с вами воюем за будущее всего человечества.

К а т я. Вы — да. А я, к сожалению...

Г о р б у н о в. А разве вы не воюете? Вы кто? Певца?

К а т я. Была. Но в студии такой мороз, что петь со-

всем нельзя. Граммофонные пластинки — и те трескаются. Теперь у меня очень смешная профессия.

Горбунов. Какая?

Катя. Я — диктор.

Пауза.

Вы чем-то удивлены?

Горбунов *(улыбнулся)*. Нет, ничего.

Катя. А я люблю свою работу. Это интереснее, чем может показаться. Знаете, мне пишут письма. На днях получила даже предложение руки и сердца. Вот.

Горбунов. Вы замужем?

Катя. Была. Мой муж умер. А вы женаты?

Горбунов. Да. *(Встал.)* Пойдем?

Катя. Пойдем. Я обещала петь.

Стук.

Кто там?

Туляков *(в дверях)*. Разрешите? Это вы, товарищ капитан-лейтенант? Не придете к нам? Команда очень просит.

Горбунов. Сейчас придем. Туляков!

Туляков. Есть!

Горбунов. Как вы думаете, весь ремонт вытянем на себе? Без завода? Может быть, даже с половиной команды? Как? Возможно?

Туляков. По идее — ничего такого невозможного в этом нет. Вот с материалами придется трудновато. Доставать надо. Нда... *(Подумав.)* Ничего. Все будет нормально.

Горбунов. Нормально? Ну, раз нормально, тогда пошли. *(Кате.)* Так вот, чтоб закончить наш спор: в будущем моя профессия, как известно, отомрет. Но на мой век мне работы хватит.

Конец второго действия

Действие третье

Картина третья

Февраль. Утро. Оттепель. Двор завода на берегу Невы. В центре — обитая железом, запертая на железный висячий замок дверь склада. Над дверью полустертый лозунг: «Кто не помогает всецело и беззаветно Красной Армии... тот предатель и изменник» (Ленин). У двери гора полузасыпанного снегом железного лома. Огромная ржавая лопасть гребного винта. На лопасти сидит сторожиха — средних лет женщина в овчинном тулупе до пят и валенках с галошами. Между колен немецкая винтовка без штыка. Рядом с нею в прибитом к стене ящике телефонный аппарат.

Сторожиха (*привстала, вскинув винтовку*). Эй! Эй! Стой! Кто идет?

Голос. Свои!

Сторожиха. А ктой-то — свои?

Голос. Один матрос.

Сторожиха. Нельзя! Давай назад!

Голос. Почему нельзя?

Сторожиха. Нельзя по льду ходить. С реки никого теперь не допускаю. Давай кругом, через проходную!

Голос. Больно далеко, мать. Ноженьки болят.

Сторожиха. Я кому сказала — назад?! (*Щелкнула затвором.*) Стой, я тебе приказываю!

Соловцов (*въезжает на лыжах пятками вперед и резко тормозит около сторожихи*). Стою. Чего шумишь, мать? Не видишь — свой?

Сторожиха. А я почем знаю? Может, ты фриц.

Соловцов. А ты гляди на меня лучше: где ж это фрицы такие бывают?

Сторожиха (*разглядывая широко улыбающееся лицо Соловцова*). Ты чей?

Соловцов. Сын собственных родителей. Лыжная разведка, в авангарде главных сил. Понятно вам?

Сторожи́ха (*ее опять взяло сомнение*). Вот, вот. В аккурат третьего дни одного такого голубчика словили. Тоже на лыжах. И говорил тоже по-нашему. Ох, и били же его!

Соловцов. Кто?

Сторожи́ха. Наши девочки. Здешние, заводские. Бойцы охраны порядка.

Соловцов. А ты, стало быть, тоже боец?

Сторожи́ха. А то кто же? Ну, зубы не скалить! Пропуск есть?

Соловцов. Нету.

Сторожи́ха. А нету — значит, я тебя теперь задерживаю.

Соловцов. Давно бы так. (*Ставит лыжи к стене.*)

Сторожи́ха (*покрутила ручку телефона*). Ктой-то?.. Тоська?.. Штаб мне давай. А где начальница?.. Ась? Ну, поищи... По восемнадцатому нет? Может, по докам пошла? А ну, звякни туда... Опять провода порваны? Чего же не чините? Ну да, так вот тебе сейчас брошу пост, кошки надену, да и полезу по столбам. (*Бросила трубку.*) Сядь, обожди. Да смотри, удрать не вздумай.

Соловцов. Еще чего. Я теперь хоть гони, никуда не уйду.

Сторожи́ха. Вот и сиди. Курить есть?

Соловцов (*вынул жестянку с табаком*). Прошу. (*Кивнул на винтовку.*) Заряжена или так?

Сторожи́ха. А тебе зачем знать?

Соловцов. Значит, не заряжена. Эх, боец!

Сторожи́ха. Раз не хватает. Ночью тут мужчина стоит — у того справная, с пулями, все как следует...

Соловцов. Понятно. Значит, ночью надо приходить? Теперь будем знать. На будущее.

Сторожи́ха. Может, я зря тебе это говорю, а?

Соловцов. Зря. Определенно зря. Не надо говорить. (*Пауза.*) Как табачок?

Сторожи́ха. Крепкий. (*Закашлялась.*)

Соловцов. Мать?..

Сторожи́ха. Ну?

Соловцов. А известно тебе, что по уставу караульной службы от посторонних лиц, а тем более от задержанных вам принимать ничего не полагается?

Сторожи́ха. Ну да? И табаку нельзя?

Соловцов. Вот именно — нельзя. А вдруг я тебе

чего подсыпал? (*Видя ее испуг.*) Кури, кури. Уж если подсыпал, так теперь поздно, все пропало. Эх, учить вас надо. (*Вдруг захохотал.*)

Сторожи х а. Ну, чего ты еще? Чему смеешься?

Соловцов. Так. Смешно — до чего в меня, оказывается, дисциплина въелась! Вот ведь я матрос, а ты — баба, у меня наган, а у тебя помело, и все ж я при тебе сижу, как арестант, и — ничего. А почему? Законность! (*Хохочет.*)

Сторожи х а. Ты, я вижу, нахал здоровый...

Соловцов (*серьезно*). Это есть. Теперь-то ничего, раньше больше было.

Сторожи х а. Да уж куда больше-то?

Соловцов. А что — плохо?

Сторожи х а. Да ничего хорошего-то нет.

Соловцов. Не говори, мать. Это смотря по обстановке. Вот позапрошлый месяц вызывает меня командир корабля: — Соловцов! — Есть, Соловцов. — Как у вас, Соловцов, насчет нахальства? — Изживаю, товарищ капитан-лейтенант. — Ну так вот, покуда не вовсе изжили, поручаю вам обеспечение ремонта материалами. Ясно? — Ясно, товарищ капитан-лейтенант. — Давайте разворачивайтесь! — Ну вот второй месяц и разворачиваюсь. Канцелярии эти береговые насквозь изучил, через все рифы и банки прошел, лоцманом быть могу.

Сторожи х а. Ой, трудно небось?

Соловцов. Спрашиваешь. (*Подумав.*) Воевать легче.

Сторожи х а. А сюда зачем пришел?

Соловцов. Трубки мне нужны. Красномедные, на разный диаметр.

Сторожи х а. А есть они у нас?

Соловцов. Должны быть. Кладовщик тут у вас есть, старичок такой. У него по журналу значатся.

Сторожи х а. Старичок? Прокофьич, что ли? Убило.

Соловцов. Что ты, мать? Когда?

Сторожи х а. Третьего дни, в обстрел. Насмерть. Вот тут за углом. И стену в складе разворотило — дыра теперь. А журналы те теперь ищут — и не могут найти.

Соловцов. Кто ищет?

Сторожи х а. Военные какие-то понаехали. Один начальник теперь при нас и поселился. Печку поставил и живет.

Соловцов (встал, двинулся). А ну, покажи дыру-то?

Сторожиha. Чего глядеть? Дыра и дыра.

Соловцов. Покажи, мать. Мне только одним глазом. Не бойся, ничего не украду.

Сторожиha. Чего ж там украдешь? Кабы пища, а то одно железо. Зубы обломаешь. (Уходят.)

Лязг и грохот грузовика. Завизжали тормоза, хлопнули дверцы. Появился Горбунов. Он осунулся, но по-прежнему аккуратен и подтянут. Его сопровождает шофер в гражданской одежде и рваной ушанке. Шофер грязен, небрит, ожесточен и груб до последней степени.

Горбунов. Спокойнее, товарищ шофер. Спокойнее...

Шофер. Вот я вам сказал. А там как знаете. Машину больше нельзя грузить. У меня рессора не держит. Сдаст среди дороги, куда я денусь? Видите, скользь какая? Я машину не дам ломать.

Горбунов. Тише, тише. Я вам повторяю: груз небольшой. А людей обратно не повезете — пойдем пешком. Ясно?

Появляются Ждановский, строитель, Туляков, Граница.

Шофер. Только я ждать долго не буду. Пять минут вам. А там как знаете. Я по вашей милости без обеда не должен оставаться. Пять минут. Не погрузите — уеду, а там как знаете.

Горбунов. А я вам говорю — тише. Никуда вы без меня не уедете.

Шофер. Вы на меня рукой не машите. Я вас не боюсь. Мне все равно, кто вы такой — военный или какой другой... Для меня все одинаковы. У меня наряд есть до одиннадцати часов, я больше ничего не знаю. И вы меня на испуг не берите. Пять минут, а там как знаете. Мне дела нет.

Горбунов (оглядывается). Где же Соловцов?

Соловцов (выглянул из-за угла). Есть, Соловцов. Выручайте, товарищ командир. Арестовали.

Сторожиha (появилась). Пропуска имеются, граждане?

Горбунов. Да. (Предъявляет.) Эти все со мной.

Сторожиha (показывая на Соловцова). Этот тоже ваш? Пожалуйста, можете следовать.

Строитель. Что, попался, разведчик? А хва-
лился...

Соловцов. Напрасно смеетесь, товарищ инженер.
Полный порядок.

Ждановский. Что? Есть?

Соловцов. Так точно, товарищ инженер-капитан-
лейтенант. Задание ваше выполнено. Желаете взгля-
нуть?

Ждановский. Тулякову покажите. Он знает.

Горбунов (*подошел*). Ну что, Соловцов? Раз-
вернулся?

Соловцов. Соловцов да не развернется! Оформ-
ляйте покуда документы, товарищ командир. Я сейчас.
Леша! Старшина! За мной!

Все трое скрываются за углом.

Горбунов. У кого же тут оформляться? Ты не
знаешь, Кудиныч?

Строитель. Раньше знал, а теперь откуда же?
(*Сторожихе.*) Скоро отпирать будут?

Сторожиха. Не скажу, милый, не знаю. Кладов-
щика теперь нет, а я ничего не знаю.

Шофер. Ну что, долго еще? Ей-богу, я ждать не
буду. Делайте что хотите. Я из-за вас голодный сидеть
не должен.

Ждановский. Поменьше говорите, шофер. Бы-
стрей дело пойдет.

Горбунов. Товарищ краснофлотец!

Соколов (*появился, он в шлеме с шоферскими
очками, в руках автомобильный насос*). Старшина вто-
рой статьи, к вашему сведению.

Горбунов. Подите сюда.

Соколов (*нехотя приблизился*). В чем дело? (*Па-
уза.*) Говорите скорее — мне некогда.

Горбунов. Может быть, вы сначала вынете па-
пиросу изо рта? Ну-ка, ну-ка? Старый знакомый?

Соколов. Может быть, и так.

Горбунов. Видно, не пошла вам впрок наука.
(*Резко.*) Встать как следует! Где ваш начальник?

Голос Селянина. Соколов! Что там у вас?

Соколов. Товарищ начальник! Вот командир тут
один, не знаю чего, придирается...

Селянин (*появился. Плотный сорокалетний че-
ловек, держится самоуверенно и строго. На нем отлич-*

ная драповая шинель и светлые фетровые бурки). Что вы от него хотите?

Горбунов. Ваш боец?

Селянин. Позвольте... Занимайтесь, прошу вас, воспитанием своих бойцов, а моих оставьте в покое. Что вам нужно?

Горбунов. Имейте в виду, я этого дела так не оставляю.

Селянин. Я вас спрашиваю, что вы хотите? Я тороплюсь.

Горбунов (вынимает бумаги). Вот, пожалуйста.

Селянин (просмотрел). Ничего не могу сделать.

Горбунов. Почему? Разве трубок нет?

Селянин. Может быть, и есть, но в ближайшее время я вам ничего ответить не могу. Склад нашей организацией еще не принят. Если не отыщем журналов, придется составлять опись, потом акт о фактическом наличии...

Ждановский. Когда же это будет?

Селянин. Обещать ничего не хочу. Недельки две-три.

Горбунов. Я столько ждать не могу. У меня срочный ремонт.

Селянин. Это, извините, меня не касается. Вы сами должны понимать, в какой обстановке работаем. Простую комиссию неделю созываешь.

Строитель (вскипел). Да вы что, смеетесь над нами, в самом-то деле? Десять матросов под огнем, на морозе голыми руками корабль ремонтируют, а вы нам про комиссии толкуете! Ну так дайте без комиссии, матери вашей черт! Все равно же сгниет тут у вас...

Горбунов. Не горячись, Кудиныч...

Селянин (строителю). А с вами я вообще не разговариваю. Кто вы такой? Я вас не знаю.

Строитель. Откуда ж вам меня знать! У меня на этом заводе дед и отец работали. Я за этот завод орденом Ленина награжден. Откуда ж вам меня знать!

Шофер (вяло). Ну скоро, что ли? Будь я проклят, если хоть минуту жду. Вот уеду, а там как знаете...

Горбунов. Кому вы подчинены?

Селянин. Рыжову. Только вряд ли он вам разрешит.

Горбунов. Откуда здесь можно позвонить?

Селянин. Откуда хотите. Но имейте в виду, мне

вас ждать некогда. Соколов! Вы чего стоите? Выводите машину.

Сторожи́ха (*у телефона*). Ктой-то?.. Тоська? Город мне давай... Занято? Отключи, будто ненароком. Дело спешное. Ну?.. Сейчас? (*Горбунову.*) Давай звони, что ли...

Горбунов. Группа Б. Пять ноль семь восемьдесят семь. Прошу брига́нтенданта товарища Рыжова. Хорошо, жду.

Шофер (*поманил Соколова*). Поди-ка сюда, водитель.

Соколов (*подошел*). В чем дело?

Шофер (*тихо*). Вот что, товарищ дорогой. Машину тебе прогреть надо.

Соколов. Чего прогревать? Оттепель.

Шофер. Ну, стало быть, свечу сменить. Либо карбюратор прочистить. Ничего, обождет твой начальник. Уразумел?

Соколов. А твое какое дело?

Шофер. Ты со старым шофером не спорь. Понял? Не послушаешь — пожалеешь. Попадешься мне — без колеса оставлю и отвечать не буду.

Горбунов (*у телефона*). Товарищ брига́нтендант. Обращается капитан-лейтенант Горбунов. Прошу вашего разрешения на немедленный отпуск материалов со склада девяносто. Да, еще не заактировано. Срочная надобность... Благодарю вас. Разрешите передать трубку?

Селянин. Не нужно.

Горбунов. Уже все в порядке. Еще раз благодарю. Извините за беспокойство. (*Кладет трубку.*) Вопрос исчерпан?

Селянин. Хорошо. Приезжайте завтра с письменным разрешением. Если есть, получите.

Горбунов. То есть как «приезжайте»? Я еле машину достал, бензин по всему городу по литрам собирали... Что вы — издеваетесь надо мной?

Селянин. Я вам все сказал. Соколов!

Соколов (*издали*). Есть. Минутку.

Горбунов. Бумажку, если это необходимо, я сегодня же вечером пришлю вам с краснофлотцем.

Селянин. Это вы сейчас говорите. А как получите, что вам надо, и думать об этом перестанете.

Горбунов. Я даю вам слово: не позже завтрашнего утра бумажка будет здесь.

Селянин. А почему я должен вам верить?

Горбунов. Обязаны верить. Я не с улицы пришел. Я — командир флота.

Селянин. Так-то оно так. Только, извините, есть старый большевистский принцип: доверяй, да проверяй. Вот мы по нему и живем. Соколов!

Соколов (*издали*). Минутку, товарищ начальник. Подкачаю только.

Туляков (*появился*). Товарищ капитан-лейтенант. Разрешите доложить: все нормально. Калибр чуть-чуть не тот — так это приспособить можно. Уже погрузились. (*Селянину.*) Посмотрите, товарищ военинженер. Все как есть по наряду, гайки лишней не взято.

Сторожиха ахнула, побежала, шофер бросился за ней.

Горбунов. Погрузились? Как — погрузились?

Туляков. Все нормально, товарищ командир. Да там дырища шире всяких дверей. Разрешите идти?

Горбунов. Идите.

Туляков уходит.

Вы тут навешали печатей, а у вас с заднего двора можно весь склад вывезти — вы и не заметите. Последний раз вас спрашиваю: будете оформлять документы?

Селянин. Я с вами торговаться не собираюсь. Вы не на базаре. Потрудитесь приказать вашим людям вернуть все на свои места. Теперь я принципиально ничего не буду делать. А повезете без оформления — будете отвечать за самоуправство. Хотите? Можете везти.

Горбунов. Ах вы, негодяй! Люди воюют, а вы... Ух, изменник, предатель!.. Таким, как вы, мало морду бить. Стрелять надо, как бешеных собак! (*Хватается за пистолет.*)

Селянин пятится.

Строитель (*удерживает*). Виктор, Виктор...

Соловцов (*появился*). Разрешите, товарищ командир... (*Увидев Селянина, онемел.*)

Ждановский (*заметил, схватил Соловцова за руку*). Он?

Соловцов. Точно.

Ждановский (*сквозь зубы*). Если любите командира, — молчать. Убьет.

Соловцов (*тяжело дыша*). Есть.

С е л я н и н (оправившись от испуга). Так? Хорошо! Разбой? Ну погодите... Я до Военного совета дойду. Соколов! Соколов! (Выбегает.)

Г р а н и ц а (выглянул). Товарищ командир! Какие будут приказания? Шофер бунтуется.

Ш о ф е р (появился). Ну, скоро ли, что ли, ехать? Погрузили уж! Да что вы в самом деле? У меня рацион пропадает, дома дети голодные сидят. Вот брошу все к дьяволу!

Г о р б у н о в. Хорошо. Поехали. Кудиныч, садись в кабину. Все остальные пешком.

Ш о ф е р. Ладно, садитесь все, сколько есть. Довезу. Эх, пропадай моя рессора! (Соловцову.) А ты куда, матрос?

С о л о в ц о в. Я — на лыжах.

Ш о ф е р. Куда, к черту, на лыжах! Что у тебя, запасные ноги, что ли, есть? Садись. Садись, говорю! (Диким голосом.) Да не задерживай ты, матрос, чтоб ты пропал!

Картина четвертая

Февраль. Солнечный день. Комната в квартире Юлии Антоновны. Простое, почти аскетическое убранство. На стене спасательный круг с надписью «Новик», модель корабля на подставке. На полу и на стульях в беспорядке сложены картины, холсты на подрамниках, чемоданы и узлы. В углу приютился мольберт. Одно из окон разбито. Через него виден знакомый двор. Арка с кипятильником уцелела, но дом, выходящий на Набережную, превращен в руины. Бомба срезала стену квартиры Ивана Константиновича. Снег лежит на крышке рояля. Со двора доносятся шипение и скрежет: идет электросварка.

У окна Ю л и я А н т о н о в н а и строитель.

Ю л и я А н т о н о в н а. Это комната покойного мужа. Я здесь ничего не трогала — все как было. Сюда я хочу поселить Виктора Ивановича. Тут вещи мужа, его книги — Виктору Ивановичу будет приятно. Вас с Федором Михайловичем и Диму — в столовую. Ивана Константиновича придется устроить у меня...

С т р о и т е л ь. А вы куда же?

Ю л и я А н т о н о в н а. Как — куда? На кухню. По крайней мере мне будет тепло.

Стук в дверь. Г р а н и ц а вносит чемодан, за ним идет Т у л я к о в.

Г р а н и ц а. Вот теперь — всё. А окна придется фанерой зашивать — стекло нет ничего.

Строитель. Как дела, Лаврентий?

Туляков. Все нормально. Сегодня сварку провожу... По вашему способу пробуем.

Строитель. Получается?

Туляков. По идее — должно быть хорошо. (Юлии Антоновне.) Лазили сейчас рояль смотреть. Целехонек. Ну, конечно, настройка наша вся насмарку.

Юлия Антоновна. Можно его оттуда снять?

Туляков. Отчего же невозможно? Ничего такого невозможного нет. Тали покрепче подвести — и всё. Боцману скажите, Мирону Осиповичу. Это боцманское дело.

Граница. Эва, кувшин-то как стоит! Глядите. На самом краешке. Вот-вот сдует.

Юлия Антоновна. Вещи — что! Бог с ними. Людей жалко. Даже Николая Эрастовича жалко...

Строитель. Помер?

Юлия Антоновна. Не помер, так завтра умрет. Вот судьба! Как он жить хотел... Ногтями и зубами цеплялся. Последнее время ни о чем не мог говорить — только о еде. Ужасно он меня этим злил. А как он радовался, когда через Ладогу хлеб пошел и объявили новую норму. Прибежал, чуть не пляшет: прибавили, прибавили! Бедняга.

Туляков. Нда... Пошли, товарищ Граница. В обед зайдете.

Выходя, сталкивается в дверях с Тамарой, которую ведут под руки Туровцев и доктор. Увидя молчаливый вопрос в глазах Юлии Антоновны, доктор сумрачно кивнул головой. Тамару усаживают в кресло.

Тамара. Вот и всё. Вот и всё.

Туровцев. Тамара...

Юлия Антоновна. Помолчите, Дима. Не трогайте ее.

Доктор. Так я пойду. Надо к дворничихе зайти. Мальчишку помяло. (Выходит.)

Тамара. Вот и всё.

С улицы доносится звук разбившегося стекла.

(С криком вскакивает, вцепившись в руку Туровцева.)
Что? Что это?

Строитель (смотря в окно). Кувшин. Сверзился-таки.

Тамара. Где? Какой кувшин? Что вы говорите,

я ничего не понимаю. (*Опустилась в кресло и разрыдалась.*)

Туровцев. Тамара, ну что ты... Перестань.

Тамара. Димка, уйди! Зачем вы меня сюда привели? Я сейчас уйду. Пустите.

Юлия Антоновна. Не глупи. Куда ты пойдешь?

Тамара. Туда, к нему... Нет, не могу... Не знаю куда... Куда глаза глядят... (*Хочет встать и опять падает в кресло.*)

Туровцев. Тамара, погоди. Послушай. Слышишь меня? Ну что ж теперь поделаешь? Кругом столько народу гибнет...

Тамара. Ах, какое мне дело!..

Туровцев. Ты же мне сама говорила, что он для тебя чужой человек, посторонний...

Тамара (*резко повернулась к Туровцеву*). Кто чужой? Он муж мне. Понимаешь — муж! Я все знаю: Колька старый, трусливый, болтливый, но он мой муж, родной человек. Я сама такая, как он. И он меня любил — понимаешь ты это? Любил, все понимал и не судил строго. Он прощал. И если у меня было горе, я шла к нему. Я знала — не поможет, так хоть пожалеет. Поплачем вместе. А теперь к кому я пойду? К Семке Селянину? Очень я ему нужна. Нынче бабы дешевы. За две банки консервов он себе другую найдет... вроде меня.

Туровцев (*в ужасе*). Тамара, зачем ты так говоришь? Что ж, по-твоему, и я на тебя так смотрю? Я тебе не друг?

Тамара. А! Ты — мальчишка. Хороший... А станешь старше, будешь как Семка. Все вы одинаковы.

Туровцев. Тамара...

Тамара. Все. Вам бы только без хлопот. На одного только человека я удивляюсь. Уж не знаю, дурак он или святой. Как его? Ну, командир-то твой? Виктор. Молится на Катьку, но чтоб лезть — ни-ни! Чистая дружба, как в романах. Я сначала не верила, думала, Катька врет. Смешно, а хорошо. Даже завидно. Катьке везет. Всегда везло. Хотя, что ж это я? Нашла кому говорить. Ты ведь его ругаешь. Ну так радуйся: погонят его скоро. Зашлют куда-нибудь подальше. Я бы за таким — на край света...

Юлия Антоновна. Что ты болтаешь! Ну что ты болтаешь?

Тамара. Снимут. Уж я знаю. Семка чуть не пля

шет... (*Пауза.*) А о Николае не смейте мне плохо говорить. Никто не смейте. Вы его не знаете. Он был талантливый. Химик он, научную работу писал. И все умел. Когда спичек не стали давать, он сам спички делал. Настоящие. Вот вы видели, вы знаете. И он совсем не жадный. Он эти спички всем жильцам давал, без денег. А зимой — это он не выдержал. Сломался, совсем другой человек стал. Я его сама не узнавала. А потом он не так за себя — за меня очень боялся. Очень меня любил. Я девочкой за Колю вышла, он старше меня, много старше, и мы хорошо жили, никогда я ни с кем... Он и теперь знал, что я не проститутка, что я не из-за интереса, а оттого, что страшно мне, чтоб заглушить, чтоб весело было... Ну что ж мне делать, если я не умею терпеть, если я привыкла, чтоб было легко? Кто же виноват, что я такая? Тетя Юля! Вот вы старшая, вы меня маленькой знали, и вы и дядя Володя... Почему никто из вас не сказал мне, что жизнь не всегда будет легка и проста, что жизнь бывает трудной, страшной, непонятной? Где ж вы тогда были? (*Невесело усмехнулась и пошла к двери.*)

Юлия Антоновна. Куда, Тамара?

Тамара (*дрожит*). Холодно.

Юлия Антоновна. Пойдем на кухню. Пойдем, девочка. (*Мужчинам.*) Вы погодите. Не суйтесь.

Выходят.

Строитель. Да, брат Митрий. Дела!..

Вошел Горбунов, за ним — Ждановский.

Горбунов. Юлии Антоновны нет? Надо гнать Ивана Константиновича со двора — простудится. Третий час сидит на ветру. (*Туровцеву.*) А вы чем заняты? Подите на лодку, там сейчас сварку начнут.

Туровцев. Виктор Иванович! Я прошу вас уделить мне одну минуту.

Горбунов. Очень это срочно?

Туровцев. Да.

Горбунов. По личному поводу?

Туровцев. Да.

Горбунов. Хорошо, говорите. Только покороче. Прошу извинить, очень устал. Еле на ногах стою.

Туровцев. Только я хотел бы наедине.

Горбунов. А обязательно это?

Туровцев. Хорошо. Пусть. Так даже лучше. Я

хотел вам сказать... Простите меня, Виктор Иванович.

Горбунов. За что?

Туровцев. За все. Я считал, что вы ко мне несправедливы. Придираетесь. Я не понимал. Теперь мне очень совестно, Виктор Иванович, что я мог о вас плохо думать.

Горбунов. И только?

Туровцев. Нет-нет. Я скажу. Я плохо говорил о вас, Виктор Иванович. Комдиву говорил. И не только комдиву. Если бы я вам в глаза сказал — другое дело. А за глаза — это подлость. Я не клеветал на вас нарочно, а вышло хуже клеветы. Говорил, что вы с загибами. И еще говорил, что вы для других только мораль разводите, а сами... (Запнулся.)

Строитель. Ну, Митрий! Не ожидал.

Горбунов. Всё?

Туровцев. Да.

Горбунов (после паузы). Ну что же... Я это знал.

Туровцев. Знали?

Горбунов. Знал.

Туровцев. И не сказали?

Горбунов. Зачем? Я ждал, что вы мне сами об этом скажете.

Туровцев. Вы думали, скажу?

Горбунов. Так мне думалось. Как раз недавно мы с Федором Михайловичем перекинулись: как, мол, скажет — не скажет? Решили — скажет. Парень молодой, хороший, способный. Так, Федя?

Ждановский. Правильно.

Туровцев (тихо). Спасибо.

Горбунов. Ну что ж — хорошо. Вопрос исчерпан. А в поход сходим вместе — совсем будет ладно. Ну, конечно, если...

Туровцев. Что — если?

Горбунов. Ну, да мало ли что. До весны далеко. Могут быть всякие перемещения, назначения...

Туровцев. Виктор Иванович! Как мне теперь загладить... нет, не загладить, а как мне исправить...

Горбунов. Не знаю. Дело ваше. В общем вопрос исчерпан. Мир. Как, коллегия?

Ждановский. Быть по сему. А я с ним еще потом поговорю. Без свидетелей.

Строитель. Ладно. Быть по сему. Но смотри у меня, Митрий...

Горбунов. Мир. *(Протягивает руку.)* Кто там? Вы, Халецкий?

Халецкий *(вошел)*. Разрешите доложить, товарищ капитан-лейтенант. Прибыл командир дивизиона. Разрешите быть свободным?

Горбунов. Да.

Халецкий вышел.

Строитель *(Ждановскому и Туровцеву)*. Пошли-ка, братцы, на сварку смотреть.

Выходят. Слышно, как они здороваются в передней с входящим командиром дивизиона. Горбунов двинулся к двери встретить Кондратьева.

Кондратьев. Сюда, что ли? Вижу, вижу. *(Вошел.)* Здравствуй, командир. Все квартиры меняешь? *(Подошел к окну.)* Здорово разворотило. Ах, сволочи! *(Прошелся по комнате, разглядывая стены, портреты, затем остановился перед Горбуновым.)* Ну? Допрыгался?

Горбунов молчит.

(Опять заходил по комнате.) А все ваш роскошный характер. И в кого ты уродился такой леший? Нашел с кем связываться — с Селяниным. Самый кляузный мужик.

Горбунов. Ух, прохвост!

Кондратьев. Вот потому-то мне и обидно. А ведь теперь дело поворачивается так, что прохвост-то — ты, а он — невинная жертва. Ну ладно. Хоть ты на меня и фыркаешь, а я тебе все-таки друг. Давай сюда документы.

Горбунов. Какие?

Кондратьев. Ну, эти самые... насчет материалов. Сейчас свезу их Селянину. Он примет, оформит. Точка.

Горбунов. Что это он вдруг? Совесть зазрила?

Кондратьев. Кой черт, совесть! Я его припугнул. Пришел ко мне жаловаться, а я и намекнул, что ему за это дело тоже может быть фитиль. Вы-то чего смотрели? И вообще говорю: не связывайтесь с Горбуновым, у него, знаете, поддержка есть, то да се. Навел туману. Так что он теперь и сам шуму не хочет. Боится чего-то. *(Засмеялся.)* Что смотришь? Кланяйся, благодари.

Горбунов. погоди, я что-то не соображаю. Как же так? Ведь не это же главное?

Кондратьев. А что?

Горбунов. Я его оскорбил.

Кондратьев. Ты?

Горбунов. Я назвал его изменником и предателем.

Кондратьев. Первый раз слышу. Мне Селянин ничего не сказал.

Горбунов. Не говорил? *(Пауза.)* Хорошо. Были свидетели. Они подтвердят, что я его оскорбил.

Кондратьев. Опять не слава богу! Что ты на рожон лезешь, не понимаю. Оскорбил, оскорбил! А он не оскорбился! Что ты от него хочешь? На дуэль чтоб он тебя вызвал?

Горбунов. Дуэль? *(Улыбнулся.)* Ты, кажется, меня уже совсем за чудака считаешь. А все-таки жаль, что ничего вместо этого не выдумано.

Кондратьев. Вот-вот. Поговори, поговори. Пофантазируй. Теорию какую-нибудь изобрази. Изложи литературно и подай. Самое время. Мало на тебя материала. Ты добавь.

Горбунов. А много?

Кондратьев. Хватит. Теперь тебе всякое лыко в строку. Раз у вас такой характер, что любите людей задевать, так надо, чтоб вы сами были, как говорится, без сучка-задоринки. Вот теперь оступился — вся муть кверху.

Горбунов. Знаю, слышал. Семь смертных грехов. Завиральные идеи, критиканство, деморализация, дезориентация. Бытовое разложение. Был нынче у меня один ученый товарищ. Учинял допрос с пристрастием.

Кондратьев. А ты и его обругал?

Горбунов. Обругал. Сначала держался, а как он начал про Катерину Ивановну расспрашивать — не стерпел.

Кондратьев. Ну, а строго между нами — что там у вас?

Горбунов. Ты же все равно не согласишься.

Кондратьев. Пожалуй, не поверю. А! Дело не мое! Ладно. Давай документы — это раз. А во-вторых, пиши мне рапорт.

Горбунов. О чем?

Кондратьев. Кайся!

Горбунов. В чем?

Кондратьев. В этом... ну, что допускал со своей стороны... Тебе видней. В чем находишь нужным. Может, тогда не снимут, обойдется как-нибудь. Ну по пар-

тийной линии, конечно, тебя будут драить. Где одно, там и другое.

Горбунов. Ну уж извините! Я уважаю партийное собрание и не желаю ломать перед ним комедию. Хорошенькая будет картинка: «Товарищи! Предоставим слово Горбунову. Покороче, товарищ Горбунов». Вылезает Витка Горбунов с постной рожей: «Товарищи, я допустил ошибку!» Голос с места (это ученый товарищ): «Грубую ошибку!» «Правильно, товарищи, мне сейчас вот здесь подсказывают — грубую ошибку. Я не хочу себя оправдывать...» Засим следуют оправдания. И честные люди, мои же товарищи коммунисты, сидящие на собрании, сразу увидят, что я вру, и будут меня презирать. И я первый не буду себя уважать. А не уважая себя, нельзя командовать кораблем. Нельзя.

Кондратьев. Ну, а будешь упрячиться — снимут. Уж будто тебе не в чем покаяться. Безгрешных ангелов не бывает. Ладно. Подумай до завтра. А завтра в десять ноль-ноль быть у меня. Контр-адмирал вызывает.

Горбунов. Какой контр-адмирал?

Кондратьев. Контр-адмирал Белобров. Обследует нашу бригаду. Грозный мужчина. Как начнет чистить — держись. Так что — учти. Поосторожней с ним. Понял? Всё. У тебя есть что ко мне?

Горбунов. Есть. Я хочу, чтоб вернули на лодку пушку и приборы. И списанных бойцов. Пока я еще командир.

Кондратьев. Опять за старое? Не знаю уж, кто ты такой, а вот я — ангел. Ангельское у меня терпение. И почему я такой хороший — сам понять не могу. Ведь по-настоящему за один твой доклад о нашем походе я с тебя должен голову снять... А с награждением теперь заглохло. Это неспроста.

Горбунов (улыбнулся). Ордена дает правительство. Ему видней.

Кондратьев. Запомнил! Нет, ты объясни, почему я все это терплю?

Горбунов. Потому что я правду говорил.

Кондратьев. Правду! Мало ли что правду! Просто я тебя люблю. Уж не знаю за что. Я человек простой, открытый... (Заметив прищуренный взгляд Горбунова, засмеялся.) Ну, ладно. На! (Протягивает руку.)

Катя (вбежала, запыхавшись). Вы здесь? Живы? Боже, как я переволновалась.

Кондратьев. Здравствуйте, Катерина Ивановна. И до свидания.

Катя. До свидания.

Кондратьев выходит.

Катя. Очень рада, что он ушел. Что с вами? Вы больны?

Горбунов. Не знаю. Может быть, немного простудился ночью...

Катя. Так что же вы стоите здесь, на холоду? Подите сюда. *(Дотрагивается до его лба.)* Не могу понять. Жара как будто нет. А глаза нехорошие. Неприятности? *(Пауза.)* Терпеть не могу вашего Бориса Петровича.

Горбунов. За что вы его так невзлюбили?

Катя. Оставьте, не смейте его защищать. И никакой он вам не друг. И вы сами на него сердитесь, но почему-то всегда защищаете.

Горбунов. Значит, друг, если сержусь. На чужих что проку сердиться?

Катя. А на меня вы сердитесь когда-нибудь? Впрочем, можете не отвечать. Конечно, нет. Со мной вы всегда удивительно любезны. *(Быстро обернулась.)* Папа? Замерз?

Художник *(входит)*. Нет-нет. Только немного пальцы... Я обязательно должен еще сегодня поработать. Мне кажется, что я увидел правильно. Но надо закрепить увиденное...

Горбунов. Картину пишете?

Художник. Нет. Я пишу обвинительный акт. Если это будет только картина, я брошу ее в огонь. Я хочу, чтобы у людей сжимались кулаки, когда они будут смотреть на этот кусок холста.

Горбунов. Можно взглянуть?

Художник *(нерешительно)*. Пожалуйста... Только ведь это не вполне закончено. А женская фигура на переднем плане. . ее уж придется потом как-нибудь по памяти. *(Поворачивает холст к свету.)*

Горбунов *(после очень длинной паузы)*. Да...

Опять молчание.

Художник. Вы даже не знаете, Виктор Иванович, какую роль вы сыграли в моей жизни. Не будь вас...

Горбунов. Не надо. Это вам так кажется. Лучше дайте мне совет. Вы — старый, мудрый человек, вы знаете человеческое средце. Скажите... *(С усилием.)*

Вот если бы вам пришлось выбирать — сказать правду, рискуя потерять что-то очень для вас дорогое, или... Всегда ли человек должен говорить все, что у него на душе, или иногда он может... Нет, так вы не поймете. Мне нужно для себя решить... К сожалению, я не имею права рассказывать.

Х у д о ж н и к. Мне кажется, что я все-таки улавливаю, о чем вы говорите. Друг мой, я, вероятно, недостаточно разбираюсь в практической жизни. Но в искусстве я кое-что смыслю. Так позвольте, я буду говорить сейчас как художник. Ну, несомненно, когда имеешь дело с врагом, искренность может быть весьма неуместна. Не мне вас учить, тут вам и книги в руки. Но своему народу можно говорить только правду. Призвание художника в том, чтоб изображать мир так, как он его видит. Можно учиться у жизни видеть по-новому, но нельзя писать то, чего не увидел твой глаз художника, нельзя смотреть на мир глазами соседа. Правда не всегда легка. Но творения, созданные честной рукой, живут, они будят мысли и страсти, а все, порожденное модой, холодным расчетом, умирает быстро, и народ отворачивается от художника-дельца и проходит мимо его поблекших творений. И будь вы моим учеником, я сказал бы вам так: «Лучше ошибись, но не лги».

Горбунов молча кивнул головой. Пауза.

К а т я. Папа, зачем ты с ним говоришь? Он тебя даже не слышит. Он совсем болен.

Г о р б у н о в. Нет, я слышу. И я совершенно здоров. Только я устал. Очень устал.

Картина пятая

Февраль. Просторная, комфортабельная каюта на плавбазе. Это — кабинет. Спальня находится рядом и отделена тяжелой портьерой. Сквозь замерзшие иллюминаторы льется яркий дневной свет. За письменным столом сидит контр-адмирал Б е л о б р о в — пожилой грузный человек сурового вида. Он глуховат на одно ухо, говорит рокоchущим басом. Перед ним лежит толстая кipa бумаг. Здесь же

К о н д р а т ь е в — хозяин каюты.

К о н д р а т ь е в. Селянина звать, товарищ контр-адмирал?

Б е л о б р о в. А где он?

К о н д р а т ь е в. Ожидает в кают-компании.

Белобров. Ну и пусть подождет. Горбунов вызван?

Кондратьев. Приказано явиться в десять ноль-ноль, товарищ контр-адмирал.

Белобров. Интересно хоть взглянуть, что за зверь такой. Какой породы? Хорошо его знаете?

Кондратьев. Товарищи. Плавали вместе.

Белобров. Раз плавали — должны хорошо знать. Ну, и как ваше просвещенное мнение?.. Стоящий человек? А?

Кондратьев. Парень-то он вообще хороший...

Белобров. Хороший — это понятие растяжимое. Хороших людей у нас много. Хороший, а безобразничает. Как же так?

Кондратьев. Есть загибы — это безусловно. Указывал я ему.

Белобров. Ага, есть? Ну, а в чем же именно? А? Вы — конкретнее. По-русски, чтоб мне понятно было.

Кондратьев. Товарищ контр-адмирал. Вы же знакомились с материалами. Там есть все.

Белобров. Читал. Все читал. Глаза себе сломал читавши. Бумаги тут исписано пропасть, благо она, сердешная, все терпит. Я вас про человека спрашиваю, про вашего товарища, а вы меня опять в бумагу носом.

Кондратьев. Товарищ контр-адмирал...

Белобров. Да что вы мне рассказываете, что я контр-адмирал! Это я знаю очень хорошо. Мне это даже в зеркало видно. Вы мне расскажите такое, чего я не знаю. Бумага бумагой, но ведь человека-то сквозь нее не угадаешь. Бывает, что посмотришь на человека, потолкуешь с ним минут десяток, и то больше поймешь. А вы с ним, наверно, и водку не раз пили. *(Надел очки.)* Ну и пишут тоже: «распространял среди командного состава клеветнические факты о трудностях обстановки на Балтике». Как это понимать? А? Что это такое: «клеветнические факты»? А? Если это действительно факты, то при чем здесь, спрашивается, клевета? А если клевета, то о каких фактах тут мне толкуют? И на что клевета? На обстановку? На Балтику? На немцев, что вам мины ставят? Или на Советскую власть? А? Вот не понимаю. Объясните!

Кондратьев. Я лично понимал в том смысле, что... Как бы это лучше выразить?.. Что Горбунов го-

ворил, якобы обстановка весной будет много сложнее, немцы применяют новые средства... Ну и так далее.

Белобров. Это и я понимаю. А для чего он это говорил? Запугать хотел? Значит, он враг? Я так понимаю. А может быть, для того говорил, чтоб людей научить, как лучше все эти трудности преодолеть. Тогда — молодец. *(Пауза.)* Воевать-то он хочет? Может? Умеет? Вот что вы мне расскажите. И второй вопрос: если он разлагал командиров, то почему же они у него не разложились? А если не разложились, то почему они все за него горой стоят?

Кондратьев. Не все. Помощник, например...

Белобров. Э, плохо знаете. Отстали от жизни. А я с помощником вчера битый час толковал. А нынче чуть свет ввалился ко мне старый приятель. Инженер на березовой клюке. Мы с ним вместе в Америку ходили. Серьезный товарищ. И такую речь произнес, что твой адвокат. А с другой стороны — скандал, распушенность. Факт налицо. Вот ведь какие противоречия! *(Посмотрел на часы.)* Десять ровно. Ну пусть он только мне опоздает, я ему пропишу... перцу.

Кондратьев звонит, появляется вестовой.

Кондратьев. Капитан-лейтенант Горбунов здесь?

Вестовой. Так точно, здесь, товарищ капитан третьего ранга.

Кондратьев. Просите. *(Контр-адмиралу.)* Мне присутствовать?

Белобров. Да нет, это не обязательно. Идите к себе, занимайтесь своим делом. Я позову.

Стук в дверь.

Да!

Горбунов *(вошел)*. Разрешите? Товарищ контр-адмирал, капитан-лейтенант Горбунов по вашему приказанию прибыл.

Кондратьев уходит на свою половину, сделав жест, одновременно ободряющий и предостерегающий

Белобров. Прибыл? Очень приятно, что прибыл. Давно хочу посмотреть, что за скандалист тут на дивизионе завелся. Ты что же это, молодой человек? Головка закружилась? Навоевал на три копейки и думаешь, что тебе все можно? На людей уже кидаться стал? Ходишь в форме, рукава в золоте, а налеты

устраиваешь, как махновец какой-нибудь? Где, тебя этому учили? Самовольство какое! Так ведь крылышки-то можно и подрезать. Так настагаю по мягким-то частям, что живо в голове просветление настанет. Ну? Объясняй свои поступки. Говори, если есть что сказать. Что ты на меня уставился?

Горбунов (*очень бледен, говорит негромко и медленно*). Товарищ контр-адмирал! Вам даны по отношению ко мне огромные права. Вы можете отправить меня под арест, отдать под суд и разжаловать. Но права говорить со мной в неуважительном тоне вам никто не давал.

Белобров (*скорее изумлен, чем рассержен*). Скажите на милость! Какой петушок! Сам честит людей как хочет, а ему деликатное обращение подавай. Очень вы нежный! А если я в самом деле деликатным манером вас под суд отдам — что, лучше будет?

Горбунов. Так точно, товарищ контр-адмирал. Лучше.

Белобров (*с интересом разглядывает Горбунова*). Вот вы какой, оказывается... норовистый. Ну, поглядим. Как же вас прикажете понимать: может, мы вас зря и побеспокоили?

Горбунов. По существу того, что мне предъявлено, я несколько раз давал объяснения. Ничего нового я не скажу. В инциденте, возникшем на складе девяносто, я проявил невыдержанность. В этом я виноват и должен понести ответственность. Что касается остального, прошу меня выслушать...

Белобров. Не надо мне объяснений. Читал, знаю. Вот что вы мне скажите: вы этого Селянина давно знаете? Встречались раньше?

Горбунов. Никогда.

Белобров. Личных счетов тут нет? Правду отвечайте.

Горбунов. Я никогда не говорю неправды. Личных счетов у нас нет. Какие могут быть личные счета с человеком, которого видишь в первый раз в жизни?

Белобров. Ну, не всегда это так. Могли что-нибудь знать о нем. Вас касающееся. Так? Какой-нибудь случай. Вот вы назвали его изменником, предателем. Спроста ли? Русский язык богат. Почему именно — предателем?

Горбунов молчит.

Владимир Ильич говорил: «Кто не помогает всецело и беззаветно Красной Армии... тот предатель и изменник, того надо истреблять беспощадно».

Г о р б у н о в. Точно. Я согласен с Лениным.

Б е л о б р о в. Звучит гордо. Ну, хорошо. Как же теперь прикажете поступить с этим Селяниным? Вот вы сами, как видно, очень щепетильны, вас, видите ли, не тронь, а сами оскорбили человека, командира. Что ж мне теперь с ним делать? А?

Г о р б у н о в. Не мне вам указывать. В прошлые времена офицер, будучи оскорблен, должен был восстановить свое честное имя или покинуть полк. Селянин — человек без чести. Пусть уходит. Флот не много потеряет.

Б е л о б р о в. Интересно. Ловко рассудил. Прошлые времена! Вы, говорят, что-то очень уж увлекаетесь прошлым?

Г о р б у н о в. Нет. Я увлекаюсь будущим. Будущим нашего флота. Поэтому меня интересует прошлое, история, традиции. Я много думал о том, каким должен стать флот нашей страны. Меня занимает балтийский театр, проблемы современной подводной войны, мне хочется отчетливее представить себе противника, с которым я воюю, особенности его психологии, тактики. Возможно, я иногда ошибаюсь. Но у меня всегда есть свое мнение. Так я воспитываю и своих подчиненных. Я предпочитаю командовать сильными людьми, которые подчиняются мне потому, что на моей стороне власть, знания и авторитет, а не потому, что они сами не способны думать. Я им верю. И хочу, чтоб верили мне. Я готов выполнить любое приказание. Но если приказ еще не отдан и у меня спрашивают мое мнение, я не хочу гадать, попаду ли я в точку. Я солдат и обязан говорить прежде всего правду. Так, как вижу, так, как понимаю. А свой долг я от этого выполняю не хуже. Это моя Балтика, мой флот, здесь моя жизнь, за это я готов умереть. (Остановился.) Простите, что я...

Б е л о б р о в. Ничего, ничего, говорите. Все сказали? Вот что, дорогой товарищ. Много на себя берете. (Пауза.) Это неплохо. Раз вы много на себя берете, следовательно, с вас и спрашивать можно много. Я так понимаю.

Г о р б у н о в. Спрашивайте, товарищ контр-адмирал

Белобров. Вот что. Я в вашем грязном белье рыться не собираюсь. Это мне вовсе не любопытно. Разговор будет матросский, короткий. Море любишь? Флот любишь?

Горбунов. Люблю.

Белобров. Родину любишь? Партии нашей предан? Фашистов топить будешь? Первым пошлю в Балтику пролагать путь на Запад — пойдешь?

Горбунов. Корабль к выполнению боевого приказа готов.

Белобров. Ну, ну, ну! Говорил дело и вдруг начал языком трещать. Где же он готов?

Горбунов. Ремонт закончен сегодня утром. Если завтра мне вернут оружие, приборы и моих людей, лодка может стать в трехсуточную готовность. Я не задержу — погода держит.

Белобров (*после паузы*). Спасибо вам, мой дорогой. От всего сердца — спасибо. (*Пожал ему руку.*)

Горбунов хотел что-то сказать, но пошатнулся.

Что с вами? Что с тобой, дорогой? А ну, садись. (*Усадил Горбунова.*) Ишь, побелел совсем. Болен, что ли? А?

Горбунов. Нет. (*С усилием поднялся.*) Прошло. Извините, товарищ контр-адмирал. Не спал три ночи.

Белобров. Куда же это годится! Ну, хватит, поговорили. Иди спи! Даю тебе своей властью за все твои беззакония трое суток ареста...

Горбунов. Есть, товарищ контр-адмирал.

Белобров. Домашнего. Спи без просыпу. Потом поговорим. Марш! Прямо на трап — и домой! А что пошумел на тебя — не сердись. Я постарше годами. Старый матрос, могу иной раз и совсем непечатное ляпнуть. Вот вы, молодые, — вы уж поглянцевитее нас будете. А закваску мы вам дали все же неплохую. Как видно, не выветрилась. Прощай. (*Обнял его и оттолкнул.*) Уходи.

Горбунов. Разрешите идти?

Белобров. Вот человек! Не разрешаю, а гоню. Проваливай. (*Захлопывает за ним дверь.*) Комдив!

Кондратьев (*вошел*). Слушаю, товарищ контр-адмирал.

Белобров. Слушаете, да мало чего слышите. Я вот глуховат немного, а и то побольше вашего услы-

шал. Ладно уж. А видно, пушку-то придется этому озорнику отдать. А?

Кондратьев. Есть.

Белобров. То-то же, «есть»... И знаете, что я вам скажу? Будь этот парень моим другом, я бы его не так защищал, как вы. Я бы уж постарался. *(Пауза.)* А как вы думаете, комдив? Может, этот парень правду врет? Будем называться офицерами, будут у нас гвардейские части. Может быть, даже и погоны наденем? А? Как, по-вашему?

Кондратьев. Не знаю, товарищ контр-адмирал.

Белобров. Ну вот — не знаю. Я тоже не знаю. Но — возможно. К тому идет.

Кондратьев. Селянина вызывать?

Белобров. Да-да. Давайте. Я с ним недолго.

Кондратьев звонит. Появляется вестовой.

Кондратьев. Из нижней кают-компании военинженера Селянина. Живо!

Вестовой. Он здесь, товарищ капитан третьего ранга.

Белобров. Пусть войдет.

Вестовой исчезает. Затем стук

Да!

Селянин *(вошел)*. Разрешите? Товарищ контр-адмирал, военинженер третьего ранга Селянин по вашему приказанию прибыл.

Белобров. Это вы — гражданин Селянин? У меня к вам есть только один вопрос.

Селянин. Слушаю вас, товарищ контр-адмирал

Белобров *(приподнялся из-за стола. В этот момент он страшен)*. Что вы делаете у нас на флоте?

Конец третьего действия

Действие четвертое

Картина шестая

Знакомый каждому ленинградцу памятник «Стерегающему» на Петроградской стороне. Бронзовая вода хлещет в иллюминатор, бронзовые матросы погибают, но не сдаются. Весна. Голубое небо. Где-то чирикает птица. Прозвенел трамвай. У памятника — Катя. Она ждет, вполголоса напевая: «Где бы ты ни был, моряк, в этот час...»

Катя. Наконец! Почему так долго?

Горбунов (в плаще, с портфелем и небольшим чемоданчиком). Прошу прощения. Задержали в штабе...

Катя. Вы хорошо выглядите. Посвежели. И глаза веселые. Я видела, вы шли и улыбались. Совсем по-детски. Как мальчишка, которому подарили игрушку.

Горбунов. Так оно и есть. Я ехал на трамвае. На самой обыкновенной «тройке». Сегодня у всех людей в трамвае были такие лица, как будто они катаются на карусели. И потом — солнце.

Катя. Как я давно вас не видела! Почти три недели.

Горбунов. Девятнадцать суток и девять часов. (Пауза.) Что у вас слышно?

Катя. У меня есть для вас замечательная новость. Сядем.

Они садятся.

Вот, читайте.

Горбунов (взял открытку). «Сообщается, что Горбунов Владимир Викторович...» Не понимаю... «...Владимир Викторович, двух с половиной лет...» Вовка!

Катя. Вы счастливы?

Горбунов. Минуточку. Бугурусланский район, ясли номер два. Так. Бугуруслан, где это?

К а т я. Где-то под Чкаловом.

Г о р б у н о в. Вовка! (Смеется.)

К а т я. Открытка пришла еще третьего дня. Я хотела дать вам телеграмму, но не знала кронштадтского адреса.

Г о р б у н о в. Как мне вас благодарить!

К а т я. Не меня. Федора Михайловича. А я только дала наш адрес.

Г о р б у н о в. Вовка! Хотел бы я на него сейчас посмотреть. (Пауза.) Что у вас нового?

К а т я. Папа здоров. Картина его висит в Доме флота, и скоро ее повезут в Москву. По-моему, это его лучшая вещь. Живет по-прежнему у Юлии Антоновны. Павел Анкудинович хочет переезжать к себе, но папа его не пускает. Да! Тамара теперь тоже живет с нами.

Г о р б у н о в (нахмурился). А что этот... Селянин?

К а т я. Разве вы не знаете? Его судил Трибунал как дезертира с поля боя. Из-за него погибла ваша жена. Зачем вы спрашиваете? Вы все знали значительно раньше меня.

Г о р б у н о в. Даю вам слово, ничего не знал. Механик молчал как рыба до вчерашнего дня. И то каждое слово надо было вытягивать клещами. А у контр-адмирала я хлопал глазами и не мог взять в толк, о чем он меня спрашивает. Никогда этого Федору не прощу. Всю жизнь буду пилить.

К а т я. Не надо. Он — прелесть. Я бы хотела иметь такого друга, как он. А у него ведь, кроме вас, нет никого на свете. Он вас очень любит.

Г о р б у н о в. Это я сам знаю. Все равно буду пилить.

К а т я. Что у вас скверный характер, — это всем достаточно известно. Последнее время, кажется, стал немножко мягче. Тьфу, тьфу, не сглазить бы! А у меня характер портится. Я бываю теперь очень злая и противная. Юлия Антоновна говорит, что я стала шипеть на всех, как кошка. А на вас я очень, по-настоящему, глубоко обижена.

Г о р б у н о в. За что?

К а т я. Не хотела говорить, но придется, а то буду продолжать злиться. Скажите, зачем вы мне сказали неправду?

Г о р б у н о в. Когда?

К а т я. Тогда, в первый наш вечер — помните? Вы сказали, что у вас есть жена. Ведь вы уже тогда зна-

ли, что Лели нет. Зачем же? Ну, хорошо, тогда вы могли сказать мне все что угодно, мы только что познакомились. Почему потом вы не сказали правды? У вас было горе, которого я не знала. Зачем вам это было нужно? Неужели вы думали, что я хочу — мне даже стыдно сказать — женить вас на себе? Вы чего-то боялись? Боже мой, если бы вы только знали, до чего мне это все равно. Мне все равно кем быть — вашей женой или любовницей, другом или сестрой, — мне нужны только вы и ничего от вас. Вы мне нужны такой, какой вы есть — злой и нежный, в радости и в печали, здоровый или больной. Даже если б вы стали калекой, в моем чувстве ничего бы не изменилось. Все остальное меня не касается. Я могу кричать на улице, что вы мне дороги, а могу сделать так, что об этом никто никогда не догадается, даже папа и тетя Юля. Зачем вы меня обидели? Зачем?

Г о р б у н о в. Не знаю, смогу ли я вам объяснить... Понимаете, когда Соловцов рассказал мне, как погибла Леля, я вдруг почувствовал, — не знаю, поймете ли вы, — что ее смерть опять связала нас, что не может, не должно быть у меня ни любви, ни своего дома, пока я не отомстил за нее, за свою жену, которую не сумел защитить. Вы этого не поймете.

К а т я. Нет, я понимаю.

Г о р б у н о в. Может быть, все это совсем неправильно, но что же с собой поделаешь!

К а т я. Я догадывалась. Да нет, знала. И зачем я теряю дорогие минуты и спрашиваю вас обо всех этих вещах? Я же все, все знаю. Только очень хотелось знать наверное.

Г о р б у н о в. А сколько времени я потерял! Страшно подумать. А теперь, когда мне так много надо вам сказать, — время расставаться.

К а т я. И не говорите. Помолчим. Я хочу, чтоб у нас было так, как у вас с Федором Михайловичем.

Г о р б у н о в (улыбнулся). Без лишних слов?

К а т я. Угу. (Пауза.) Слышите? Это анданте из скрипичного концерта. Когда я его слушаю, я всегда думаю, что это про нас.

Радио доносит напряженно-страстный напев скрипки, сопровождаемый оркестром. Они слушают молча, не шелохнувшись. И когда с последним фермато руки их соединяются, им остается договорить немного.

Когда ты уходишь?

Горбунов. Лодка стоит в готовности. Может быть, сегодня, может быть, через три дня. Об этом не спрашивают.

Катя. Ты будешь помнить меня?

Горбунов. Всегда.

Катя. Ты будешь слышать мой голос?

Горбунов. Изредка. Только рано утром, перед погружением.

Катя. Я буду часто читать шестичасовую сводку. И ты должен знать, что я думаю о тебе и говорю с тобой.

Горбунов. Да.

Катя. Передай привет всем своим. Скажи им, что я их очень люблю.

Горбунов. А меня?

Катя. Не смей шутить. Я не хочу.

Горбунов. Я не шучу. Просто мне хочется еще раз услышать, что ты меня любишь. Мне еще не верится.

Катя. Я тебя очень люблю. Очень сильно. И не понимаю, как тебя можно не любить.

Горбунов. Я хочу, чтоб ты поехала к моей матери. Познакомься с ней. Назовись ей... как захочешь, как тебе подскажет сердце. Я должен был раньше подумать об этом. Она живет в Кронштадте. Казарменная, восемь.

Катя. Я буду очень рада. Но как я попаду в Кронштадт?

Горбунов. Тебе поможет Борис Петрович. И вообще, если тебе что-нибудь нужно — к нему.

Катя. Я его не люблю.

Горбунов. Ты его не знаешь. А мы плавали вместе. Теперь насчет Вовки. Когда отгоним немцев от города, заберем его сюда? У меня на тебя большие надежды. Ваш покорнейший слуга, как видите, весьма далек от совершенства. Пусть мой сын будет настоящим офицером флота. Вернусь — еще поговорим. Ну, а если — сама понимаешь, война, — если что случится, пусть он знает, что его родной отец был моряком и погиб в бою за Балтику. И больше ничего. Вот так.

Катя. Постой. Что ты сказал? И почему я тебя так спокойно слушаю? Виктор! Подожди. Я не хочу.

Горбунов. Успокойся. Я совершенно уверен в себе и в нашем успехе. Но надо же трезво смотреть на вещи. Случайности бывают и на Невском.

К а т я. Я не хочу ничего знать. Но почему все так несправедливо? Почему именно теперь, когда ты стал мне таким близким, тебя от меня забирают? И почему первыми идти в море, навстречу всем опасностям должны самые лучшие, самые смелые и честные, а другие, как твой Борис, могут ходить по Набережной с самодовольным видом, когда ты, ты...

Г о р б у н о в (мягко). Катя, перестань!

К а т я. Нет, не хочу. Я имею право говорить так, как я чувствую. Мне страшно, и я не хочу, чтоб ты уходил. Почему именно ты? Почему раньше, чем все? Я не могу смотреть на этот памятник, он поставлен здесь, чтобы свести меня с ума.

Г о р б у н о в. Катя, возьми себя в руки. (Пауза.) Этот памятник поставлен здесь для того, чтобы напоминать людям, что такое долг и честь. Я хочу, чтоб ты разлюбила и отреклась, чтоб ты прокляла меня и самую память обо мне, если я, командир советского корабля, окажусь слабее духом, чем матрос со «Стерегающего».

К а т я. Я не разлюблю тебя никогда.

Г о р б у н о в. Неправда. Ты сказала, что любишь меня таким, как я есть. Если б я не хотел идти в поход, если б я вдруг захотел спрятаться за твою юбку, — это был бы уже не я. И завтра я стал бы для тебя ничтожеством, падалью, ты прошла бы мимо меня не оглянувшись.

К а т я (плача). Может быть. И все-таки я не могу. Не могу...

Г о р б у н о в. Катя! Ты помнишь наш тост в декабре?

К а т я (сквозь слезы). Помню. Кто помогает воевать — друг. Мешает — враг. Помню.

Г о р б у н о в (жестко). Ты мне мешаешь, Катя.

К а т я. Прости. Сейчас. Ты должен понять. Ну, сейчас. Одну, одну минуточку. Вот видишь, я уже улыбаюсь. Я слушаю тебя. Что ты хотел сказать? Я все помню. Не беспокойся ни о чем. Все будет хорошо. Иначе быть не может. И Вова будет моим сыном. (Засмеялась.) Видишь, я даже смеюсь.

Г о р б у н о в. Почему?

К а т я. Так. Я еще не была твоей женой, а уже стала матерью. Тебе пора? Иди.

Г о р б у н о в. Да. Меня ждут. Прощай, любимая! До встречи.

К а т я. До скорой встречи. Ты вернешься с побе-

дой. Я буду тебя встречать на пристани. Жаль, что ты не услышишь, как я пою. Иди. (*Целует его.*) Иди. Видишь, я улыбаюсь. Иди. Возвращайся скорей.

Г о р б у н о в (*уходя*). Всем на берегу, кто меня помнит, привет!

К а т я. Всем уходящим в море — привет! Иди. Будь бодр и весел. Ты видишь, я улыбаюсь тебе.

Картина седьмая

Светлая ночь. Крытая веранда, прилегающая к кают-компании береговой базы подводных лодок в Кронштадте. С веранды виден затемненный рейд: отблеск луны на черной поверхности моря, сигнальные огоньки, движущаяся светящаяся точка — идет катер. Изредка доносится негромкое завывание сирены. Совсем вдали — на южном берегу — вспышки ракет, медленные потоки трассирующих снарядов. Сквозь застекленную дверь доносятся звуки музыки. Там идет концерт. Слышен голос Кати. Она поет ту песню, что пела на корабельной годовщине. На перилах веранды сидит молодой командир-подводник В е р е т е н н и к о в. Он курит. Огонек папиросы все время путешествует, ибо командир ни секунды не остается в покое. Он меняет позы, размахивает руками, подпрыгивает. Заслышав шум аплодисментов, он тоже аплодирует. Аплодисменты повторяются раза три, затем на веранду выходит К а т я и устало опускается на скамью.

В е р е т е н н и к о в (*встает и, пошатываясь, аплодирует*). Bravo! Bravo! С большим чувством. Не считите за лесть. Исключено! От души. Разрешите представиться — старший лейтенант Веретенников, командир энской подводной лодки. Энской!

Катя слегка кивает головой и отворачивается.

Белые ночи, а? Описано Достоевским и так далее. Очень красиво, нэ сэ па? А я вам говорю, ничего не может быть хуже. Брр! Не дают носу высунуть. Как хочешь, так и заряжайся. Катеришки бродят маленькие, паршивцы такие, чуть вылезешь подышать — они тут как тут. Только успеешь бултыхнуться: бу-бух, бу-бух! И так штук двадцать. До сих пор в ушах звенит. Но шалишь! Аусгешлоссен! Сашку Веретенникова голыми руками не возьмешь. Самый малый вперед, так держать!.. Ауфвидерзейн. Ищи-свищи. Может быть, думаете, я хвастаюсь? Жамэ! Никогда. Может быть, я бы и мог, но пока — псс. Исключено! Спросите кого хотите, и вам скажут: Сашка Веретенников не хвастун. Но дело понимает.

Катя упорно молчит.

Может быть, вы обиделись, что я из зала вышел? В таком случае — миль пардон. Ай эм вэри сори! Я отсюда слушал. Там душно. Как в лодке. И — тесно. А я не могу сидеть на месте. Ходить хочу: топ, топ, топ. (*Прошелся по веранде.*) Хорошо! Палуба ровная, никаких тебе кренов и дифферентов. Немножко качает. Это — меня. Два балла. А вчера нас в заливе потрянуло. Штор-мяга. Восемь баллов. Брр! Послушайте! Вы, наверное, думаете, что моряки только море любят, а на земле нам скучно? Так в книжках пишут. Не верьте. Вранье! (*Пробежался.*) Топ, топ, топ. Землю нельзя не любить. Кто плавал, тот хорошо понимает. (*Вздыхает.*) Уф, до чего здорово! А я все отсюда слышал. Знаете, что у вас замечательнее всего? Эта... как ее? Сцена пьянки из «Периколы». «Я просто готова. Ха-ха!» (*Заливается счастливым смехом.*)

К а т я. Вы не обидитесь на меня? Если можно, оставьте меня одну. Уйдите.

В е р е т е н н и к о в. Слушаюсь. Только — минуточку. Может быть, вы думаете, что я пьян и пристаю? Никогда! Исключено! Я не пьяный. Я — веселый. Сто грамм кагора. Всё. А развезло, потому что воздух. С двух рюмок — полная потеря квалификации. И насчет приставания — тоже исключено. Все — олл кор-рект, как говорят наши уважаемые союзники. Хай лайф! Спик инглиш? Советский командир по отношению к женщине должен быть рыцарем. Так говорил Витька Горбунов — золотой дружок, герой, бесценной души человек. Витьку жалко... (*Закрыв глаза кулаками.*) За Витьку я им... горло перегрызу.

К а т я. Умоляю вас, уходите.

В е р е т е н н и к о в. Ухожу. Ваше желание — закон. Только я не пьяный. Я рыцарь. Не пес-рыцарь, а русский моряк тире подводник. (*Прикладывает руку к козырьку.*) Старший лейтенант Веретенников к выполнению новых заданий командования готов. (*Покачнулся, спускаясь со ступеньки.*) Нет, сегодня к выполнению не готов. Вот он выпится — и пожалуйста! Куда угодно. На край света. А сегодня он просто готов: «Я просто готова. Ха-ха». Гуд найт! (*Пошел и остановился.*) А все-таки фюрер от Сашки Веретенникова имеет крепкую зарубку на память. Это — пока. Для начала. Продолжение следует. А что такое, трезво рассуждая, этот самый Сашка? Ярославский мужик, колхозник, обыкновенный пахарь. Ноль целых, молекула.

А нас — двести миллионов. Около. Что ж это будет, когда мы всей артелью навалимся? Ой, и худо же тебе будет, фюрер! (*Зажмурился и захохотал.*) Ой, худо! (*Исчезает.*)

Кондратьев (*выглянул из двери*). Веретенников! Саша! (*Оглянулся.*) Катерина Ивановна? Вы? Что такое? Плачете?

Катя. Оставьте меня, Борис Петрович. Мне никого сейчас не хочется видеть. И меньше всего вас.

Кондратьев. Есть. Ухожу.

Катя. Подождите. Слушайте. Я хочу, чтобы вы мне сказали правду. Я взрослая женщина, и играть со мной в прятки нелепо. Виктор погиб?

Кондратьев. Ну вот, опять все сначала. Я вам, Катерина Ивановна, докладывал, какое положение. Больше я ничего не знаю.

Катя. Ну, повторите.

Кондратьев. Да тут повторяй не повторяй — все одно и то же. Успешно форсировал залив, вышел в Балтику. Есть данные о крупном боевом успехе, для этого типа лодок неслыханном. Торпед у него больше нет, так что он вот-вот должен вернуться:

Катя. Как вы это все равнодушно говорите!

Кондратьев. Знаете что, уважаемая Катерина Ивановна! Легче на поворотах. Вы меня своей дружбой не удостоили, разрешите и мне вам не докладывать, что у меня в душе делается. У вас, быть может, с Виктором высокая любовь, недоступная моему пониманию, я все это очень уважаю, но, между прочим, знаете вы его без году неделю, надолго ли вас хватит — неизвестно, а я с Витькой, хорошо ли, худо ли, пять лет дружу. Вместе воевали и мокли, и сохли, и тонули, и я нашей мужской дружбы ниже ваших замечательных чувств не поставлю. «Равнодушно»! А что мне делать прикажете? Плакать? Не обучен. Да я за Витьку с радостью бы голову отдал, чтобы он только здравствовал. И не потому только, что он друг, а потому, что он — талант, умница, гордость наша. Кто я такой по сравнению с ним? Серый человек, самый обыкновенный, каких на сто — сто двадцать. Корабль водить могу, стрелять умею, хлеб свой не даром ем. Точка. Ну может, дослужусь опять до комдива, если цел останусь. А Виктор — это надежда наша, может быть, адмирал будущий. «Равнодушно»!.. А! Что с вами говорить...

Катя. Извините меня, Борис Петрович. Я нехо-

рошо сказала. Мне очень тяжело, и я становлюсь несправедливой.

Кондратьев. Вы меня извините...

Катя. Вы сейчас сказали: дослужусь до комдива. Разве вы не комдив?

Кондратьев. Никак нет. Сняли.

Катя. За что?

Кондратьев. Да если формально подходить, то и не снимали даже. Все чинно, благородно — перевели на большую лодку. Лодка у меня — красotka: огромная, новенькая, последнее слово техники. Ну, а по существу... так я знаю, за что.

Катя. За что же?

Кондратьев. За трусость.

Катя. Вас?

Кондратьев. Смешно? Это только на первый взгляд. Видите, какой камуфлет может с человеком произойти. В море ничего не боялся, а на берегу сплывал. Сначала занесся выше меры, а потом испугался. Ну, а раз испугался — точка. Потерял себя. Значит, чего-то не хватает.

Катя. Вы не обидитесь, если я вам скажу?

Кондратьев. Да я сам знаю чего. Кругозора. Вам легко говорить. Вы все-таки, извините меня, у судьбы любимая дочка. Отец у вас выдающийся старик, жили вы среди картин, чуть подросли — пожалуйста в консерваторию. А у меня отец был зверь. Мать забил до смерти, да и меня бы пришиб, не догадайся я из дому сбежать. На флот я пришел не из кадетского корпуса, а с завода. Подготовочка так себе, а требования большие. Теперь не парусный флот, техника шагает. Ну и крутишься, как бес перед заутреней, по неделям на берег не сходишь, людей не видишь. Морская служба трудная, а нашему поколению подводников еще и вдвойне досталось. Нас пекли да приговаривали: «Жми, братцы, на специальность, давай боевую подготовку — война на носу!» И хорошо, что так. Видите — воюем. И неплохо. А ведь когда я на флот пришел, ничего у нас не было. Голые. Ни лодок, ни кадров, ни тактики. Все — сами. Теперь-то мы — сила. Нас немец боится. Вот погодите, Катерина Ивановна, отвоюем, полегче станет — приходите тогда к нам в офицерское собрание. Я к тому времени обучусь манерам и танцам, и разрешите тогда вас на тур вальса. И заодно поговорим. *(Смотрит на часы.)* А сейчас, прошу извинить, — мне пора.

К а т я. Подождите минутку, Борис Петрович! Скажите, вы верите, что Виктор вернется?

К он д р а т ь е в. Верю. А главное — хочу. И чем больше хочу, тем больше верю. Без веры воевать нельзя. Кто верит — выиграет. А кто отчаялся — тот уже, считайте, проиграл. Такие-то дела.

К а т я. Вернется?

К он д р а т ь е в. Обязательно. И с большой победой... Ну и мы постараемся не отстать.

К а т я. Скоро в поход?

К он д р а т ь е в. Совсем скоро.

К а т я. Когда? Или это нельзя говорить?

К он д р а т ь е в. Не полагается. Скоро, чего вам еще!

К а т я (*внимательно оглядывает Кондратьева, висющую через плечо сумку*). Куда вы шли?

К он д р а т ь е в. На лодку. Затеял сегодня маленькое учение. Задачку будем сдавать.

К а т я. Мы уезжаем в Ленинград завтра утром. Я вас еще увижу?

К он д р а т ь е в. Да нет, навряд ли. Может, отойдем от стенки, будем тут на рейде крутиться. Так что давайте уж прощаемся. До свидания, Катерина Ивановна, не поминайте лихом.

К а т я. Конечно, вы сейчас мне говорите неправду. Не возражайте — я не в претензии. Но как же я сразу не догадалась? Даже в голову не пришло. Вы так спокойно...

К он д р а т ь е в. А что же мне беспокоиться? Рано. Вот выйду за маяк, тогда буду беспокоиться.

К а т я. Хотите идти в море?

К он д р а т ь е в. Хочу. Плавать — это по мне. Моя стихия. Одно меня гложет: нет у меня такого человека на берегу, который бы меня ждал, вот как вы Виктора. Чтобы выйти ночью на мостик, курнуть вот этак (*показывает, как курят на мостике*) и знать, что вот сейчас и она обо мне думает. Вот как в песне поется... (*Насвистывает.*)

К а т я. У вас нет жены?

К он д р а т ь е в. Нету. Холостяк. Настоящая любовь, какая бывает раз в жизни, меня еще не посетила: видит, что занят товарищ, ну и проходит мимо. Вот Виктору — счастье. Даже зависть берет. Нехорошее это чувство зависть, темное. А я Витьке не раз завидовал. Дружба дружбой, а вдруг какой-то бес взыграет,

ну и прижмешь его: знай, мол, свое место. Вот теперь признался — легче стало. До свидания, Катерина Ивановна. Вспоминайте иногда.

К а т я. Я буду вас вспоминать каждый день. И буду ждать вашего возвращения. Вы теперь для меня, как брат — Виктора или мой — это все равно. Дайте я вас поцелую на прощанье. *(Обнимает его и целует.)* Желаю вам удачи.

К о н д р а т ь е в. Знаете что? Напойте мне еще разок эту вашу песню. Запомнить хочу. *(Напевает.)*

Где бы ты ни был, моряк, в этот час...

К а т я. Нет, не так. Полтона выше. *(Напевает.)*

К о н д р а т ь е в. Опять не слава богу! Есть, полтона выше. *(Целует руку.)* Желаю вам скорее увидеть Виктора целым и невредимым. До свидания, сестричка. *(Спускается с лестницы напевая.)*

Где бы ты ни был, моряк, в этот час...

К а т я *(с веранды ему вторит, затем всплескивает руками и кричит)*. Борис Петрович! Не так. *(Напевает.)*

К о н д р а т ь е в *(из темноты)*. Знаю, что не так. Что же делать? Медведь на ухо наступил.

*Слышен его смех и удаляющиеся шаги.
Завывает сирена.*

Картина восьмая

Белая ночь. Штиль. Мостик подводной лодки. Лодка неподвижна и слегка накрена. Берегов не видно. Море на горизонте сливается с небом. На мостике — Г о р б у н о в. Он загорел и исхудал, в остальном неизменен. Вахтенный командир Т у р о в ц е в, боцман Х а л е ц к и й и С о л о в ц о в просматривают горизонт. Г р а н и ц а, перевязанный бинтами, наблюдает за воздухом. Люди неподвижны. Все глаза устремлены вдаль.

С о л о в ц о в *(встрепенулся)*. Правый борт, курсовой десять — огонь.

Х а л е ц к и й. Где? *(Смотрит в указанном направлении.)* Протри очки. Какой огонь? Обыкновенная звезда.

С о л о в ц о в *(смущенно)*. Верно.

Х а л е ц к и й. Что тебя спортили, что ли, на суше? Какие теперь огни на море? Где это видано? Босьяк.

Горбунов. Разговоры! *(Туровцеву.)* Какая звезда, штурман?

Туровцев. Сейчас. Альфа из созвездия Скорпиона.

Горбунов. То-то. Где же механик? *(Наклонился над рубочным люком.)* Внизу!

Приглушенный ответ.

Инженер-капитан-лейтенанта Ждановского — на мостик. Граница!

Граница. Есть, Граница!

Горбунов. Глаза не устали? Дать смену?

Граница. Нет, товарищ командир. Ясно вижу.

Горбунов. А что видишь?

Граница. Покуда, кроме звезд, ничего, товарищ командир.

Ждановский *(поднялся на мостик)*. Слушаю, товарищ командир.

Горбунов. Почему крен?

Ждановский. Выравниваем. Откачка идет вручную.

Горбунов *(взял за локоть Ждановского и отвел)*. Ну, а вообще — как?

Ждановский *(слегка пожал плечами)*. Все всмятку. Ничего сделать нельзя.

Горбунов. Это мне ясно. Команда?

Ждановский. Спокойна. Всё понимают, конечно. Не дети.

Горбунов. Раненые?

Ждановский. Глазычеву хуже. Начались галлюцинации. Остальные работают.

Горбунов *(кивнул головой. После паузы)*. Знаешь, о чем я сейчас думаю, Федя?

Ждановский. Знаю.

Горбунов. Теперь можешь сказать.

Ждановский. Все правильно. Я тоже считал, что нужно всплывать и открывать огонь. Нет торпед, но есть пушка — значит, надо атаковать. Ты утопил еще один корабль и уже поэтому прав. Это святое дело. А что мы сами заработали пару пробоин — в бою от этого никто не застрахован.

Горбунов. Ну что ж, очень приятно, что партийное руководство меня поддерживает. *(Улыбнулся.)* А ты стал разговорчивее, механик. Я впервые слышу от тебя такую длинную речь.

Ждановский. Да. У меня последние дни как-то отлегло от сердца.

Горбунов. Лодка дала все, что она может дать. Мы ни разу не промахнулись торпедой и расстреляли почти все снаряды. И надо же после всего этого попасть в такой дурацкий переплет! Сейчас мы могли бы уже быть в точке встречи. Дома, понимаешь, механик?

Ждановский. Ты считаешь положение безнадежным?

Горбунов. Надежды я не теряю. Если я потеряю надежду, что будет с командой? Но шансы наши невелики. Если противник нас обнаружит, мы примем бой. При попытке захватить нас я взорву лодку. Вот так.

Ждановский. Я никогда не видел тебя таким спокойным. И команде это передается. Тут Глазычев что-то заблажил: «Что с нами будет?» А старшина Сидоренко ему: «Мовчи! Подывись на командира. Як Ежик каже, так воно и буде!»

Горбунов. Ежик — это я? Не знал. Безобразие. (Пауза.) Я часто думал о том, что этот день может наступить. Ты понимаешь, о чем я говорю? День генеральной проверки, испытания на прочность. Иногда я его боялся. Не смерти боялся, а самого себя. Сумею ли я вести себя так, как считаю должным. Сейчас об этом я уже не думаю. Все очень просто, и выбирать не из чего. Будем драться, и если нам суждено погибнуть, то умрем как солдаты и большевики. Это почетная смерть, и, чтобы так умереть, стоило жить. Штурман!

Туровцев. Есть!

Горбунов. Главстаршину Тулякова — ко мне.

Туровцев. Есть вызвать Тулякова. (Кричит.) Внизу! Главстаршину Тулякова — на мостик.

Горбунов. Я не говорю, что мне не хочется жить. Хочется. Хочется увидеть Вовку, Катю. Вчера я слышал ее голос. Она очень волнуется, я это понял с первых слов. И вообще я люблю жизнь. Интересно. Интересно увидеть, как наши корабли пойдут на Запад. Интересно взглянуть на наш флот через десять — пятнадцать лет. Я люблю этот мир — небо и звезды, море, землю, людей. Видеть, ощущать его — радость. И все-таки для меня остается непостижимым, как можно даже помыслить о сдаче! Жить и знать, что твоя жизнь куплена ценой свободы и чести. Что может быть страшнее!

Туляков *(появился)*. Товарищ капитан-лейтенант, главный старшина Туляков по вашему приказанию явился.

Горбунов. Как дела, Туляков?

Туляков. Ничего сделать не возможно, товарищ командир. По идее-то оно, конечно, ясно, чего надо делать, да вот энергетика подкачала. Нам бы только дочапать до базы, а там-то мы быстро...

Горбунов *(улыбнулся)*. Ну, уж если Туляков говорит «невозможно»... Вот что, Туляков. Серьезное дело.

Туляков. Слушаю, товарищ командир.

Горбунов. Подготовить все к взрыву корабля. Это на крайний случай — ясно? Быстро, тихо, не привлекая внимания. Надеюсь на вас.

Туляков. Будьте покойны, товарищ командир. Все будет нормально.

Горбунов. Вот так. Действуйте.

Туляков. Есть. *(Спускается вниз.)*

Горбунов. Помощник!

Туровцев. Есть.

Горбунов. Я буду говорить с командой.

Туровцев. Есть. *(Кричит.)* Внизу! Центральный пост — слушать командира! Передавать по отсекам.

Горбунов. Друзья! Мы честно дрались. Год войны не прошел для нас даром. Мы научились бить врага наверняка. От лица службы благодарю весь личный состав за мужественное и умелое выполнение своего воинского долга перед Родиной. Передано?

Туровцев. Репетуют. *(Наклоняется над люком, затем выпрямляется и прикладывает руку к пилотке.)* Товарищ командир! Из носовых отсеков отвечают: «Служим Советскому Союзу!» Корма отвечает: «Служим Советскому Союзу!»

Соловцов. Правый борт, курсовой тридцать, двести метров — перископ!

Горбунов. К бою!

Команда мгновенно принимается.

По перископу!.. Отставить. Наши опознавательные?.. Отвечать. Передайте по ЗПС: предлагаю немедленно всплыть.

Соловцов. Скрылся.

Халецкий. Опять показался. Курсовой прежний.

Г р а н и ц а. Вижу!

Г о р б у н о в. Граница! Куда смотрите? Наблюдать за воздухом.

Г р а н и ц а. Есть!

С о л о в ц о в. Всплывает!

Г о р б у н о в. Внимание! Слушать мою команду...

С о л о в ц о в. Рубка показалась...

Напряженная пауза. Затем истошный крик и топот.

Г о р б у н о в. Что такое? Кто смел? (Схватился за пистолет.)

К р а с н о ф л о т е ц с окровавленной повязкой на голове вырвался на палубу. Он с криком подбегает к лееру и хочет броситься в воду. Выбежавший доктор хватает его за руки.

Д о к т о р. Глазычев. Вырвался...

Г л а з ы ч е в. Пустите! Лучше разом!.. (Рвется.)

Г о р б у н о в. Глазычев! Ко мне! Слышите?

Услышав голос командира, Глазычев перестал рваться. Его за руки подводят к мостику.

Глазычев! Посмотрите мне в глаза. Так. Успокойтесь. Это я. Успокойтесь. Вот так. Знаю, знаю, вы не виноваты. Это рана. Идите. Доктор, следите неотрывно.

Глазычева уводят.

Х а л е ц к и й. Ограждение показалось! Большая лодка!

С о л о в ц о в. Наша!

Г о р б у н о в. Почему?

С о л о в ц о в. По обводам. Головой отвечаю — наша, товарищ командир!

Т у р о в ц е в. Кто внизу крикнул — наша? Отставить! Командир еще ничего не сказал.

Х а л е ц к и й. Палуба показалась!

Пауза. Все глаза устремлены вдаль.

Г о р б у н о в. Наша.

Радостное оживление.

Ж д а н о в с к и й. Стоит или идет?

Х а л е ц к и й. Идет под моторами. Малым. На сближение.

С о л о в ц о в. Люди на мостике. Наши!

Горбунов. Отставить! Просматривать весь горизонт. Следить за воздухом. Помощник!

Туровцев. Есть!

Горбунов. Швартовую команду наверх!

Туровцев. Есть, наверх. Внизу! Швартовую команду наверх!

Халецкий. Заходит с правого борта.

Туровцев. Комдив на мостике!

Горбунов. Боцман! Приготовиться играть захождение. Проверить внешний вид. Соловцов, застегнуться!

Соловцов. Есть.

Халецкий. По местам стоять!

Параллельно лодке Горбунова вползает гигантское тело кондратьевской лодки. Шуршат моторы, плещет вода.

Горбунов. Захождение!

Играет боцманская дудка.

Халецкий. А ну, давай!.. Несчастливая та женщина, что за тебя замуж выйдет!.. Кто так конец бросает? Закрепляй, чтоб тебя...

Горбунов. Тихо, боцман!

Лодки постепенно сближаются так, что рубки оказываются почти рядом.

Кондратьев (с мостика). Здорово, орлы! Виктор, ты? Здорово, командир! Захождение играешь, а небось уже нацелился дырку во мне сверлить? Ну что у тебя? Докладывай.

Горбунов. Товарищ капитан третьего ранга! Боевой приказ командования выполнен. В артиллерийском бою с кораблем противника получили повреждение. Хода не имею. Убитых пятеро, раненных тяжело один.

Кондратьев. Тяжелый случай. В какой помощи нуждаетесь?

Горбунов. Лодка сохранила плавучесть, может следовать до ближней базы на буксире. В случае угрозы со стороны противника рубите концы и погружайтесь. Мы не сдадимся. У нас все готово.

Кондратьев. Узнаю командира. Трудные задачи задаешь. Добро! Попробуем. Отдать швартовы! Помощник, командуйте...

Краснофлотцы разбежались по местам.

Соловцов. Левый борт, курсовой двадцать, силуэт корабля!

Голос с лодки Кондратьева. Левый борт, курсовой двадцать, силуэт корабля!

Горбунов. Где? Эх, дьявол!

Кондратьев. Всё отставить! Перебросить сходни. На мостике! Слушать мою команду. Личному составу перейти ко мне на борт. Лодку затопить.

Горбунов. Есть. Личному составу покинуть корабль. Командирам боевых частей взять секретные документы. Личных вещей не брать. Сохранять полный порядок. Механик, открыть кингстоны!

Из люка поодиночке выходят краснофлотцы. Приближаются к сходням.

В чем дело? Почему задержка?

Соловцов *(рывком отстраняется, уступая дорогу)*. Иди, кто хочет, первый. Почему я?

Горбунов. Без разговоров!

Вереница двинулась по сходням.

Кондратьев. На лодке! Быстрее. Все сошли?

Горбунов. Где вы, механик? Готово? Сходите! Клапана вентиляции я сам открою.

Ждановский. Я не сойду без тебя.

Горбунов. Я вам приказываю!

Механик сходит.

Голос. Курсовой двадцать — миноносец!

Кондратьев. Командир, сходите.

Горбунов. Я корабля не покину.

Кондратьев. Как старший по званию, как командир дивизиона, приказываю вам сойти.

Горбунов. Лодка не должна достаться врагу.

Кондратьев. Я за это отвечаю. Капитан-лейтенант Горбунов! Если вы немедленно не подчинитесь, — погибнете бесславно. Услышу еще хоть слово, кроме слова «есть», — застрелю на месте.

Горбунов. Есть. *(Целует край флага, срывает полотнище с древка и сходит с корабля, пряча флаг на груди.)* Прощай, мой корабль.

Загремели сходни.

Кондратьев. К погружению! Виктор, иди сюда, дружище. Плачешь? Не плачь.

Г о р б у н о в. Прощай, мой корабль! (*Снимает фуражку.*)

К о н д р а т ь е в. Твою старуху сами затопим, врагу не достанется. А этого голубчика мы сейчас с тобой на пару трахнем. Счет пополам. Носовые торпедные аппараты — товсь! А затем не возвращаться же? Виктор, а? Вперед пойдём.

Г о р б у н о в. Да. Только вперед. В Балтику!

Лодка шумно вздохнула. Зашипел выходящий из цистерн воздух. Взвыл ревун — корабль готовится к атаке.

Конец

Второе дыхание

Комедия
В четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

БАКЛАНОВ СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ — гвардии капитан третьего ранга, командир отдельного дивизиона тральщиков.

ВОЛЧОК МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ — гвардии капитан-лейтенант, заместитель командира дивизиона по политической части.

СТОЛЯРОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ — гвардии старший лейтенант, дивизионный минер.

ВЕРЕВКИН }
КОЛОДУБ } командиры гвардейских тральщиков.
МИРЗАЯН }

МАЛИКОВ — гвардии старшина первой статьи.

ЕРШОВА — гвардии краснофлотец.

БЫСТРОВ ВОЛОДЯ — юнга.

ЛЕБЕДЕВА ВАРВАРА МИХАЙЛОВНА — капитан медицинской службы, хирург.

РАДУЖНЫЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — капитан первого ранга, начальник политотдела военно-морской базы.

ЛЕВИН АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ — подполковник, работник разведотдела.

ТАИСИЯ ИВАНОВНА — санитарка.

МАЙОР ОДНОРУКОВ — лицо действующее, но на сцене не появляющееся.

НЕМЕЦКИЙ ЛЕТЧИК.

Действие первое

происходящее весной 1945 года, когда части Красной Армии и корабли Балтийского флота, освободив Советскую Прибалтику, устремились на запад. Керосиновая лампа освещает небольшую комнату под крышей двухэтажного деревянного домика, расположенного, как это выяснится впоследствии, на самом берегу одного из островков в Балтийском море. Близость моря ощутима — оно шумит где-то у самых стен дома.

Еще недавно домик принадлежал какому-то мелкому немецкому чиновнику (вероятно, смотрителю маяка или служащему пакгауза), а комната служила спальней супружеской чете. Об этом свидетельствуют следы разрушенного уюта — две низкие орехового дерева кровати с перинами, шкаф, туалетный столик с зеркалом, вышитые гобеленчики с нравоучительными изречениями и несколько дешевых хромолитографий, изображающих улыбающихся красоток в купальных костюмах. Новые хозяева внесли в этот мещанский уют свои поправки. Кровати раздвинули и поставили вдоль стен, шкаф положили плашмя и таким образом соорудили третье ложе, на туалетный столик поставили тяжелые ящики с телефонными аппаратами, нравоучительные гобеленчики нашли себе достойное применение — о них входящие вытирают ноги. Посреди комнаты установлена чугунная печурка. На стенах развешаны кителя, кортики, автоматы, гитара. У телефонов расположился оперативный дежурный по дивизиону старший лейтенант Столяров. Он углубился в книгу. О том, что эта книга — самоучитель немецкого языка, можно догадаться по вырывающимся у него отрывочным фразам: «Ди мине — мина. Ди позицион — позиция. Заген зи мир, битте — скажите вы мне, пожалуйста».

Загудел зуммер.

Столяров (взял трубку). «Русалка» слушает. Так точно — я. Слушаю вас, товарищ два-ноль-два. Я вас — хорошо, а вы? (Дует в мембрану.) Как вы сказали? Хозяина нашего? Нету. Так точно, в море. (Приоткрыл штору.)

За стеклом — дождь, темнота.

Минуточку обождите... (Покрутил ручку другого аппарата, взял трубку.) Дайте пирс. Решетов? Оперативный говорит. Кто сейчас к пирсу подошел? Какой катер?

Ага, что за доктором ходил? Прибыл доктор? Надо сразу докладывать, что прибыл. Ну, добро! Проверь у него документы и веди прямо в лазарет. Погоди, я запишу. Как? Капитан медицинской службы Лебедев? Ясно. Слушай, Решетов, комдива нет еще? Не видать пока? *(Положил трубку, взял другую.)* Слушаете? Теперь уже скоро должен подойти. Время темное, да и засвежело. Чтоб сразу же звонил? Есть. Как? Все в порядке. Спасибо, хватает. Личный состав очень доволен. Вот в части удовлетворения запросов высшего, так сказать, интеллектуального порядка — положение аварийное. Грубо говоря — ни кино, ни газет, ни табаку. Будьте так добры... Что? Жена в Таллинне. Скоро полгода. Как? *(Смеется.)* Это мне беспокоиться следует, а у нас тут не согрешишь. Монастырь? Хуже. *(Смеется.)* Спасибо. Есть. *(Положил трубку, вынул из кармана жестянку с остатками табака и начал скручивать папиросу.)*

Веревкин *(вошел. Это совсем юный лейтенант, быстроглазый и задиристый. Одет в канадскую куртку с капюшоном и резиновые сапоги)*. Привет оперативному.

Столяров. Привет.

Веревкин. Разрешите доложить — командир тральщика сто восемь гвардии лейтенант Веревкин с задания вернулся.

Столяров. Очень приятно. Вытирайте ноги.

Веревкин. Комдива нет?

Столяров. Как видите.

Веревкин. Все плавает?

Столяров. Именно. *(Затягивается папиросой.)* Еще вопросы есть?

Веревкин *(жадными глазами следит за кольцами дыма)*. Так. Значит, не приходил еще?

Столяров. У вас железная логика. Впрочем, посмотрите под кроватью — может быть, он и здесь.

Веревкин. Смеяться?

Столяров. Советую.

Веревкин. Почему?

Столяров. Когда человек приходит с единственной целью — стрельнуть на закрутку, ему не следует быть излишне взыскательным.

Веревкин. Прошу прощения. Я всегда высоко ценил ваш изящный юмор.

Столяров. Продолжайте, я вас слушаю.

Веревкин. И глубокое понимание человеческой природы. *(Протянул руку лодочкой.)*

Столяров. То-то же. На, закуривай. Только — чур! *(Приложил палец к губам.)* Понимаешь, как налетят все скопом — раскурят в момент. А я отказывать не могу. У меня характер слабый.

Веревкин *(с наслаждением закуривает)*. Комдив с кем сегодня пошел? С Колодубом?

Столяров. С Мирзаяном.

Веревкин. Слушай, это правда, что мне Решетов сейчас травил? Будто наши «юнkersа» сбили и летчика подобрали?..

Столяров. Точно. Доставлен на катере и находится в лазарете. *(Заметив движение Веревкина.)* Отставить. Комдив приказал никого из празднотствующих в лазарет не допускать.

Веревкин. Ох, и везучий же, дьявол!

Колодуб *(вошел. Немолодой, медлительный, лицо обветренное. Одет так же, как Веревкин. Явно из бывших матросов или запасников)*. Привет, оперативный.

Столяров. Взаимно. Вытирайте ноги.

Колодуб. Командир «ТЩ-105» гвардии лейтенант Колодуб с задания прибыл.

Столяров. Что скажешь, старина?

Колодуб. Комдива нема?

Столяров *(переглянулся с Веревкиным)*. Вопрос становится традиционным. Нету комдива.

Колодуб *(как замороженный смотрит на клубы табачного дыма)*. Эге! Стало быть, в море еще?

Столяров. Что меня поражает — так это бедность приемов. Скажи что-нибудь поновее.

Колодуб. Могу поновее.

Столяров. Например?

Колодуб. Например — прибыл доктор.

Столяров. Информация запоздалая. Доложено.

Колодуб. А ты його бачив?

Столяров. А зачем?

Колодуб. Заслуживает внимания.

Столяров. Именно?

Колодуб. Весьма интеллигентная особа. Приятной наружности.

Веревкин. Подумаешь. Я сам интеллигентный. И тоже приятной наружности.

Колодуб. Так ты ж хлопец. *(Пауза.)* А вин — дама.

Столяров. Кто — вин?

Колодуб. Так доктор же.

Веревкин и Столяров вскочили.

Веревкин. Ты врешь, старик!

Столяров. Поклянись!

Колодуб *(спокойно)*. Чтоб мне на mine подорваться.

Столяров. Докладывай. Все, что тебе известно.

Колодуб. Закурим?

Столяров *(вытащил заветную жестянку)*. На, шут с тобой. Полегче, старина, оставь хоть комдиву... Ну, ну?

Колодуб. Огоньку дашь? *(Неторопливо прикуривает от предупредительно поданного уголька.)*

Веревкин. Не тяни, старик. Играешь на нервах.

Колодуб. Обожди, не горит. *(Со вкусом затянулся.)* Ну что вы ко мне пристали? Сказано: весьма интеллигентная особа. *(Подумал.)* В звании капитана

Столяров. Это нам уже известно.

Веревкин. Интересная женщина?

Колодуб *(задумался)*. Ничего. *(Еще подумал.)* Ничего. Заслуживает внимания.

Веревкин. Ах, чтоб тебя!.. *(В нетерпении прошелся по комнате.)* Да, Егор!.. Между прочим, дай мне, пожалуйста, бритву.

Столяров. Между прочим, зачем?

Веревкин. Странный вопрос. Пришла фантазия побриться. Есть возражения?

Столяров. Никаких. Наоборот, сам собираюсь бриться. Фантазия, понимаешь? Так что, между прочим, обожди.

Веревкин. Собственник проклятый. Стыдись. Женатый человек. Зачем тебе бриться? *(Поймав смеющийся взгляд Колодуба.)* Ты тут еще!.. Старик, ты сам ее видел?

Колодуб. Эге!

Веревкин. А раз видел — не мычи, а говори толком. Опиши наружность.

Колодуб. Наружность? *(Задумался, вспомнил.)* Как бы тебе это лучше передать... *(Повертел в воздухе пальцами и даже выразил на лице мечтательность.)*

Веревкин. Ну, ну, ну?

Колодуб. Вроде, понимаешь, такая... (*Покрутил головой и вздохнул.*) Я бы сказал: приятная наружность.

Веревкин. Тьфу! Нет, так от него толку не добьешься. Отвечай точно на заданные вопросы. Возраст?

Колодуб. Возраст? (*Погрузился в размышления.*) А бес его знает. Что-нибудь в районе тридцати.

Веревкин. Блондинка, брюнетка?

Колодуб (*еще глубже задумывается*). Затрудняюсь сказать. Темно, моросит, плащ с капюшоном — разве разберешь? Вот голосок у ней — да, действительно...

Веревкин. Ну, ну?

Колодуб. Очень такой... с таким, знаешь...

Веревкин. Ну, ну?

Колодуб (*вздыхая*). Очень приятный голос.

Веревкин. Ну спасибо. По твоему описанию ее можно узнать среди тысячи женщин. Стоит перед глазами как живая. Ты разговаривал с ней?

Колодуб. Я? Нет. (*Подумал.*) Нет, не говорил.

Веревкин. Откуда же ты знаешь, какой у нее голос? Она сказала что-нибудь?

Колодуб. Эге.

Веревкин. Он меня выведет из терпения. Что же она сказала? Проснись, старик.

Колодуб. Что сказала? «Черт бы побрал, — говорит, — эту собачью погоду, ваш трясучий катер...»

Столяров (*обернулся*). Что ты там болтаешь?

Колодуб. Слово даю. «Катер, — говорит, — ваш дурацкий остров и всех вас вместе с вашим болваном начальником».

Столяров. Кому же это она сказала? Тебе?

Колодуб. Ни. (*Подумал.*) Вроде про себя. Но очень явственно.

*Стук в дверь и голос: «Разрешите, товарищ старший лейтенант?»
Вошла Ершова. В руках у нее китель с тремя золотыми нашивками на рукавах, нашивками «за ранение», гвардейским значком и орденскими ленточками на груди.*

Ершова. Посмотрите, товарищ старший лейтенант. Не знаю — хорошо ли будет?

Столяров (*взглянул*). Ну что же — лучше и требовать нельзя. Молодец, Маруся.

Ершова (*быстро, шепотом*). Ой, товарищ старший лейтенант, я так боюсь — вдруг Сергею Романовичу не понравится? Среднего галуна, ну, совсем нету,

ни кусочка, так я узенький вдвое сшила, и шов такой аккуратный получился, только видите, золото здесь потемней, а здесь посветлей — заметно, пожалуй, будет? Ой, я прямо не знаю, что делать...

Столяров. Ничего, ничего. Добро!

Веревкин. Что? Присвоили капитана третьего ранга?

Столяров. Так точно. И выговор сняли Начальник политотдела звонил.

Веревкин. Вот шагает человек! Давно ли в младших лейтенантах ходил?

Колодуб. Стоит — потому и дают.

Ершова. Ой, я так рада, так рада...

Столяров погрозил ей пальцем.

Что вы, товарищ старший лейтенант?

Столяров. Ничего.

Ершова. Ой, ума не приложу, что с фуражкой делать. Теперь Сергею Романовичу положено, чтоб по козырьку был ободочек золотенький, из дубовых листочков, а где же его взять?

Столяров опять грозит ей пальцем.

Да что вы, на самом деле, товарищ старший лейтенант? Даже странно.

Столяров. Смотрите, Ершова, спишет вас Сергей Романович с нашего острова обратно на материк. У него все быстро делается.

Ершова. За что же, товарищ старший лейтенант? Уж я, кажется, так стараюсь.

Столяров. Вот за это самое. Ну, добро! Спасибо, Маруся. *(Кивком отпустил ее.)* Видали? И эта — тоже. Неотразим!

Веревкин. Черт! Везет же человеку!

Колодуб. А тебе что — завидно?

Веревкин. Сказал! Будь у меня его положение — мы бы еще посмотрели... Женщин привлекает — что? Власть. Слава. Скажешь, неверно?

Мирзаян *(вошел. Крепыш лет тридцати. Очень черный, очень подвижной. Одет так же, как все командиры тральщиков)*. Что он тут травит, этот юноша?.. Оперативному пламенный привет!

Столяров. А, герой дня! Здорово, Гурген.

Мирзаян. Командир «ТЩ-119» гвардии старший лейтенант Мирзаян с задания возвратился.

Столяров (без знаков препинания). Честь и место вытирайте ноги комдива нет.

Мирзаян (опешил). Что?

Столяров. Ты, вероятно, хотел спросить — где комдив?

Мирзаян. Действительно хотел. Сам не понимаю — зачем? Комдив у меня на корабле.

Столяров. Что делает?

Мирзаян. Бреется.

Все переглянулись. Колодуб выразительно хмыкнул.

Столяров (кончил бритье). Готово! Илья! Будешь?

Веревкин вяло отмахнулся.

Что же ты?

Веревкин. Ленъ. И вообще — считаю ниже своего достоинства.

Колодуб. Что? Бриться?

Веревкин. Вообще, весь этот ажиотаж.

Мирзаян. А что случилось? (Столярову.) Нет, ты вот что мне скажи. Человек, который за сегодняшний день вытралил шесть мин, сбил немецкий самолет и захватил в плен летчика — имеет он право на поощрение?

Столяров (уклончиво). Орден получишь, Гурген.

Мирзаян. Орден — это в перспективе. Разреши, я расскажу тебе одну древнюю восточную легенду.

Столяров. Я, кажется, ее уже слышал.

Мирзаян. Клянусь, что нет. Понимаешь — у одного отца было два сына. Оба были храбрые воины, очень любили друг друга и всем всегда делились. Но однажды...

Столяров. Знаю. Один брат попросил у другого закурить?

Мирзаян. Верно. Послушай, как ты угадал?

Столяров. Подсознательный процесс. Шут с тобой — на! (Вытаскивает жестянку.) И — баста. Больше никому. Комдиву не хватит.

Мирзаян (дрожащими руками сворачивает папиросу). Поверишь, с утра ни одной затяжки. (Увидел китель комдива.) Э, что же вы молчите? Можно поздравить?

Стук в дверь. Вошел Володя. Ему лет тринадцать, но фронтовая жизнь придала ему черты ранней зрелости и даже суровости. Голос у него ломается — матросская зычность сменяется совершенно детскими интонациями. Он по-ребячьи увлечен строевой обрядностью.

Володя. Товарищ гвардии старший лейтенант, разрешите обратиться?

Столяров. Обращайтесь, юнга Быстров.

Володя. Вас спрашивает капитан медицинской службы Лебедева.

Столяров. Просите. Всё?

Володя (*совсем другим тоном*). Дядя Юра, дай закурить...

Столяров. Что-о-о-о? Вон отсюда! (*Шутя замахивается на него сапогом.*)

В этот момент вошла Лебедева. При ее появлении все офицеры встали. Лебедевой лет тридцать, может быть, немного больше. Можно не признавать ее красивой, но в ней видны ум, характер, женственность, а это важнее. Ее манеры представляют смесь изящества и некоторой грубоватости, свойственной женщинам, которым приходится вести вполне мужской образ жизни. Одета в обычную, хорошо сшитую морскую форму, поверх которой наброшена мокрая плащ-палатка.

Лебедева. Я могу войти?

Столяров (*пряча сапог, смущенно*). Да, пожалуйста. (*Володе.*) Вы свободны, юнга Быстров.

И когда за Володей закрывается дверь:

Оперативный дежурный гвардии старший лейтенант Столяров к вашим услугам.

Лебедева. Здравствуйте. Лебедева.

Столяров. Разрешите вам представить моих товарищей — командиров гвардейских кораблей.

Все здороваются очень почтительно.

Присаживайтесь, пожалуйста. Отдохните.

Лебедева села.

Ну как, доктор? Заштопали нашего немца?

Лебедева. Там нечего штопать. Несколько легких ожогов и ссадин. Простейшая перевязка. Не понимаю, зачем я вам понадобилась?

Столяров. Приказание комдива. Немец может дать очень ценные показания.

Лебедева. Мне бы не хотелось задерживаться. Я могу получить катер?

Столяров. Благоволите немного обождать. Комдив приказал задержать вас до его возвращения.

Лебедева. Вот как — он приказал? Вероятно, он забыл, что я у него не служу.

Столяров (*мягко*). Это точно. Но мы — служим.

Лебедева. И долго мне придется ждать?

Мирзаян. Комдив уже здесь. Мы вас очень просим — посидите с нами пять минут, побеседуйте.

Веревкин. Снимите плащ. Разрешите я вам помогу...

Колодуб. Дозвольте мне. Я просушить повешу.

Столяров *(после некоторого колебания достает заветную жестянку)*. Вы курите?

Лебедева. Спасибо. Что это у вас? Выбросьте немедленно эту мерзость. *(Вынула из чемоданчика завернутую в газету сотню папирос.)* Курите, пожалуйста, товарищи.

Общее оживление.

Колодуб. Дозвольте взглянуть на газетку?

Лебедева. Старая.

Колодуб. Это ничего.

Мирзаян. Разрешите от лица офицеров гвардейского дивизиона принести вам глубочайшую и искреннюю благодарность.

Лебедева. Как торжественно!

Мирзаян. Вы поймите нас. Мы, так сказать, островные жители, скромные пахари моря, пасынки в нашей славной морской профессии...

Столяров. Я попросил бы вас...

Мирзаян. Хорошо, скажем мягче: чернорабочие флота, незаметные труженики. В течение длительного периода времени мы были лишены печатного слова и курева, что, как известно, ожесточает нравы и подвергает мыслящую личность опасности духовного одичания. Но дороже всего для нас не эти щедрые дары, а ваша беседа. Ничто не действует столь облагораживающе на эти загрубелые, но чистые души, как общество женщины. И вот явились вы и сразу, как добрая фея...

Лебедева. Я совсем не добрая фея. Я очень зла. *(Взглянув на часы.)* Вы милые люди, и в другое время я с удовольствием поболтала бы с вами. А сейчас — вы извините меня — я с трудом сдерживаюсь, чтобы не сказать какую-нибудь грубость.

Столяров. Понимаю. Чаю хотите?

Мирзаян. Может быть, стакан вина?

Лебедева. Благодарю, ничего не хочу. *(Оглядывает комнату.)* Почему в комнатах, где живут одни мужчины, всегда так неуютно?

Веревкин. Какой там уют! Мы народ бродячий — сегодня здесь, а завтра высадим десант на какой-нибудь остров Эн и — готово дело — перебазировались.

Столяров. Нам обрастать нельзя — мы в Берлин торопимся.

Колодуб (*углубившись в газету*) Эге!

Веревкин. Что «эге»?

Колодуб. Про нашего комдива.

Веревкин. Дай сюда.

Колодуб. Дочитаю — дам.

Столяров. Скажи хоть, что пишут?

Колодуб. Пишут — правильно.

Мирзаян. Дай — вслух прочитаю. С выражением

Колодуб. Отстань.

Лебедева. У меня такое впечатление, что вы все влюблены в вашего комдива. Что он, действительно так хорош?

Мирзаян. Старик, отвечай. К тебе женщина обращается.

Колодуб (*поднял глаза от газеты*). Комдив? (*Подумал.*) Ничего. (*Еще подумал.*) Ничего. Заслуживает внимания.

Лебедева. Любопытно. Теперь уже мне самой хочется дождаться вашего командира. Кстати, я хочу его спросить...

Бакланов. О чем?

При появлении Бакланова все офицеры поднялись со своих мест. Комдиву немного за тридцать, у него мужественное лицо со шрамом, который его не портит. Глаза глубокосидящие, дерзкие, легко загорающиеся и так же быстро гаснущие. Манера говорить властная, но не резкая, а, пожалуй, даже вяловатая, с ленцой, вполголоса. Манера, конечно, обманчивая, свойственная многим людям, привыкшим часто находиться в состоянии большого напряжения. Одет, как и все командиры, в куртку с капюшоном и сапоги. Вместе с ним вошел и остановился в дверях Маликов.

Столяров. Товарищ капитан третьего ранга...

Бакланов. Все в академию готовитесь, товарищ начальник штаба? Уж заговариваться начали?

Столяров. Никак нет. Разрешите продолжать?

Бакланов. Да.

Столяров. Товарищ капитан третьего ранга. Разрешите доложить, что за время вашего отсутствия во вверенной вам части особых происшествий не было. Звонил начальник политотдела и приказал передать

капитан-лейтенанту Бакланову, что ему присвоено воинское звание капитана третьего ранга.

Б а к л а н о в *(поднял обе руки)*. Сдаюсь.

Гул поздравлений. Рукопожатия.

С т о л я р о в. Разрешите представить. Капитан Лебедева.

Л е б е д е в а. Мы знакомы. Здравствуйте, Бакланов.

Б а к л а н о в. Здравствуйте, Варвара Михайловна. Вот мы и свиделись...

Л е б е д е в а. Скажите...

Б а к л а н о в. Прошу извинить. Маликов!

М а л и к о в. Есть Маликов!

Б а к л а н о в. Что вы прячетесь? Подите сюда. Вот, Варвара Михайловна, какие бывают на свете люди. Гвардии старшина первой статьи Маликов Василий Степанович. Кавалер трех медалей. Не орденосец. Но — будет. Сегодня «юнкерса» срубил. *(Маликову.)* Нечего ежиться, будто я тебя ругаю. Молодец. *(Вынул из шкафа бутылку, явно трофейного вида, и два стакана, налил оба и протянул один Маликову.)* Будь здоров. Спасибо. Ах, как ты меня разодолжил! Такой подарок сделал.

Чокнулись, выпили.

Пьет что воду.

В е р е в к и н. Ты хоть знаешь — что пил? Это вермут. Настоящий «Чинцано». Повтори.

М а л и к о в. Вермут?

Б а к л а н о в. Правильно. Ну как? Хорошо?

М а л и к о в *(вежливо)*. Ничего. Не особо крепкое.

Б а к л а н о в. Я не я буду — быть тебе с орденом. *(Заметил недоверчивую улыбку на лице матроса и нахмурился.)* Вот что, товарищ Маликов: не берите себе за обыкновение в разговоре со старшими ухмыляться во всю пасть, будто вы не матрос, а красная девица. Смирно!

Все вздрогнули и подтянулись.

Гвардии старшина первой статьи Маликов!

М а л и к о в. Есть!

Б а к л а н о в *(снял со своей груди орден и протянул его Маликову)*. Поздравляю вас с заслуженной вами высокой наградой. Носите ее с честью, как подобает моряку-гвардейцу. *(Пауза.)* Что надо отвечать?

М а л и к о в. Служу Советскому Союзу!

Б а к л а н о в. Вольно. Можете идти.

Ошеломленный Маликов сделал поворот «кругом» и вышел.

Что вы на меня так смотрите, товарищ Столяров? Давно не виделись? Докладывайте.

С т о л я р о в. Все ваши приказания выполнены. Охрана к лазарету выставлена, медицинская помощь оказана.

Б а к л а н о в. Сегодня же допросить.

С т о л я р о в. Есть. Два-ноль-два приказал, чтоб вы немедленно позвонили. Соединить?

Б а к л а н о в. Да. Да. Варвара Михайловна, минутку терпения. Разрешите мне только сперва разобраться, что к чему. У меня это — быстро. *(Снял куртку и фуражку, остался в кителе, увешанном орденами и медалями.)* Дайте закурить комдиву. Побираетесь, гвардейцы? Что — газет опять нет? *(Взял протянутую Колодубом газету, бегло просматривает.)* Так, так. Бакланов опять нынче в моде. «Вот мы на мостике прославленного корабля...» Братцы, да это Одноруков пишет!

Общее оживление.

«Немало вражеских мин вытралил этот невзрачный на вид корабль, не раз под ураганным огнем...» «Мы ничего особенного не сделали,— скромно говорит капитан-лейтенант Бакланов, и застенчивая улыбка на минуту озаряет его открытое лицо,— мы только честно исполнили свой долг...» Ох-хо-хо...

С т о л я р о в *(у аппарата)*. «Парус»? Дайте два-ноль-два. Товарищ два-ноль-два? Куда выехал? Через полчаса? А кто это говорит? *(Бакланову шепотом.)* Одноруков.

Б а к л а н о в. Легок на помине. *(Взял трубку.)* Здравствуй. Попался, голубчик? Узнаёшь? Спасибо, спасибо, знаю. Ты вот что мне лучше скажи: как я, на твой взгляд, воюю? Хорошо? Даже очень хорошо? Заслуживаю? Приятно слышать. А закурить у тебя есть? Вполне серьезно спрашиваю. «Пальмиру» куришь? А я — филичевый табак. Вот именно. «Сказки венского леса», он же «Осенний листопад». Не пробовал? Советую — очень прочищает мозги. Так вот передай, что есть, мол, товарищ, который, стоя на мостике прославленного, незаметного на вид корабля, честно выполняет

свой долг и хотел бы, чтоб некоторые другие, стоя на твердой земле, тоже своего долга не забывали. Да, да. Я нахал? Не смею спорить. То-то ты всё мою скромность расписываешь. Так бы и написал: «И нахальная усмешка на минуту озарила его рябоватую рожу». Оно и к истине было бы ближе. Почему нельзя так написать? Что, что? *(Смеется.)*

Столяров. Что он сказал?

Бакланов. Не типично, говорит. *(В трубку.)* Ну, и не пиши про меня, если я не типичный. Ладно, брось мне мораль-то читать, я тебя не дурее. А ну тебя, прощай. Скучный ты человек. Что? Ждать звонка? Ясно. С гвардейским приветом. *(Бросил трубку, ворчит.)* Не типично!

Ершова *(постучала, затем просунула голову)*. Товарищи офицеры, кушать, пожалуйста.

Бакланов. Ершова! Подите сюда. Товарищи офицеры сейчас в одну душу будут требовать вина. Они рады случаю. Не давать. Завтра. Ясно? А сейчас принесите мне сюда ужин на двоих, для меня и для капитана. Чтоб все, как положено.

Лебедева. Благодарю. Я не собираюсь ужинать.

Бакланов. Так вы поняли, Ершова? На двоих. Все свободны.

Офицеры выходят. Пауза.

Вот мы и встретились, Варвара Михайловна. Говорил я вам, что мы еще свидимся?

Лебедева. Да. Вы упрямы.

Бакланов. Вы хотели о чем-то меня спросить? Спрашивайте.

Лебедева. Мой вопрос уже устарел. Мне было не совсем ясно, зачем по такому пустяковому случаю нужно было вызывать главного хирурга госпиталя.

Бакланов. А теперь вам все ясно?

Лебедева. Абсолютно. И у меня остался один-единственный вопрос: когда катер пойдет обратно?

Бакланов. Почему вы так торопитесь?

Лебедева. Меня ждут раненые.

Бакланов. Врете.

Лебедева. Грубо.

Бакланов. Виноват. Скажем — лжете. Вам легче от этого? Могу вам дать официальную справку: в настоящее время во всем вашем госпитале находится на излечении один раненый — капитан-лейтенант Вол-

чок, мой заместитель по политчасти. И тому пора на выписку. Точно?

Лебедева (*улыбнулась*). Верно. В самом деле, это унинительно: зачем я солгала? Ну, хорошо, хотите правду? Ко мне должен приехать мой близкий друг. (*Взглянула на часы.*) Вероятно, уже приехал. И, кроме того, я не люблю самоуправства.

Бакланов. Друг? Не больше?

Лебедева. Послушайте!..

Бакланов. Не обижайтесь. Только друг?

Лебедева. Да. Только.

Бакланов. В таком разе — подождет. Приедет в другой раз. Друзья не обижаются.

Лебедева. Ошибаетесь. Их-то обидеть легче всего.

Бакланов. Короче говоря — катера нет.

Лебедева. Вы шутите?

Бакланов. Какие шутки? В море пять баллов, и барометр падает. Утонет катер и вы вместе с ним, а отвечать — мне.

Лебедева. Что же делать?

Бакланов. Поужинаете, переночуете у нас, а завтра, если погода будет, отправим вас честь-честью на моем полуглиссере. (*Взял трубку загудевшего телефона.*) Бакланов слушает. Что, Решетов? Нет оперативного, я за него. Разрешаю. Скажите только, чтоб не задерживались зря. К утру чтоб обратно. Да. Нет. Ну, да. Да, да. Я уже сказал. Угу. Ладно — всё. (*Бросил трубку.*)

Лебедева (*в упор*). Сейчас отходит катер?

Бакланов. С чего вы взяли?

Лебедева. Не лгите. Я отлично поняла. (*Быстро схватила свой плащ и чемоданчик.*) Бегу. Прощайте.

Бакланов. Стоп!

Лебедева (*обернулась*). Что такое?

Бакланов. Видите эту кнопку?

Лебедева. Вижу. Что дальше?

Бакланов. Сделаете еще шаг — я ее нажму. Будет боевая тревога по всему острову, и ни одна по судина не отойдет от пирса. Хотите?

Лебедева. Вы этого не сделаете.

Бакланов. Сделаю. У меня, как вам известно, слово с делом не расходится.

Лебедева. У меня тоже не часто. Рискуете?

Бакланов. Рискую. (*Кладет палец на кнопку.*)

Я вам больше скажу. Если вы сию же минуту не отойдете от двери и не сядете на этот стул — нажимаю.

Лебедева. Вы с ума сошли...

Бакланов. Счет идет до трех. Раз. Два...

Лебедева (*порывисто идет назад и садится*). Черт бы вас взял. Вы еще в самом деле...

Бакланов. Грубо.

Лебедева. Не до нежностей тут. (*Пауза.*) Фу мерзость какая! Сижу. Как вам это нравится? Но вы — хороши... Из-за бабы устроить переполох на весь остров, поднять усталых людей... Как только в голову может прийти? Неужели вы могли бы?.. (*Покосилась на кнопку.*)

Бакланов. А вот теперь это неизвестно. Может быть, да, а может быть, и нет.

Лебедева. Неужели я сделала ошибку? Но все равно — я играю честно. (*Смотрит на часы.*) Делать чего — остаюсь. Все равно поздно. Но я вам этого не прощу.

Бакланов. Чего?

Лебедева. Вот этого. А главное — самодовольного вида, с которым вы на меня смотрите. Терпеть не могу. (*Разглядывает его, ища, к чему бы придраться.*) Зачем вы носите в будний день все свои ордена? Хоть бы уж ленточки носили, что ли... Если весь этот блеск рассчитан на меня, то должна вас огорчить — я к нему почти нечувствительна.

Бакланов (*суховато*). Прошу прощения. По традициям нашего дивизиона, офицеры выходят в боевой поход всегда в кителях первого срока и при всех орденах. Я как раз хотел просить у вас разрешения переодеться. (*Только теперь он замечает новые погоны и нашивки на кителе, висящем у изголовья кровати. Переодеваясь, он растроганно бормочет.*) Смотрите-ка. Готово дело. Золотые у меня ребята.

Лебедева. Ребята? Они умеют шить?

Стук.

Бакланов. Кто? Войдите.

Вошла Ершова с подносом.

Ставьте сюда. Вот так — спасибо. Не надо, идите, мы сами управимся.

Лебедева (*когда за Ершовой закрылась дверь*). Почему вы так с ней неприветливы? По-моему, она в вас влюблена и... ревнует.

Б а к л а н о в. Что? Пусть только попробует — сразу спишу на материк. У меня их раньше шестеро было: санитарки, радистки — всех разогнал. Эту держу, и то потому, что уж очень неказиста, никто на нее не заглядывается. Не при вас будь сказано — не терплю матросов в юбке. Вообще-то говоря, они старательные, есть даже очень смелые, не хуже любого парня, но при нашей островной жизни — это самый яд. Народ, знаете, все молодой... До меня тут был один случай, так следственное дело завели.

Л е б е д е в а. Какое?

Б а к л а н о в. «О целовании часового на посту».

Л е б е д е в а (*рассмеялась*). Меня, вы стало быть, тоже не признаете?

Б а к л а н о в. Вы — другое дело. Да тоже, правду сказать, солдатское сукно вас не красит.

Л е б е д е в а (*снимает китель и остается в шелковой блузке с открытыми до локтя руками*). Так лучше?

Б а к л а н о в. Еще бы. Гораздо больше к вам идет. Я ведь вас всегда только в белом халате видел.

Л е б е д е в а. А в халате я вам не нравилась?

Б а к л а н о в. Не играйте с огнем, Варвара Михайловна.

Л е б е д е в а (*пожала плечами*). Страх божий! Чего мне бояться! Я совершенно спокойна за себя... и за вас.

Б а к л а н о в. А я за себя не очень.

Л е б е д е в а. Ладно, бросим это. Выяснилось, что я проголодалась. Положить вам?

Б а к л а н о в. Не хочу кушать.

Л е б е д е в а. Есть.

Б а к л а н о в. Что?

Л е б е д е в а. Когда говорите о себе, лучше сказать «я ем» — лучше звучит.

Б а к л а н о в. Пожалуй, верно. А почему?

Л е б е д е в а. Никогда об этом не думала. Но всегда, когда человек говорит про себя «я кушаю», я не могу удержать улыбки. В этом есть какая-то забавная важность.

Б а к л а н о в. А быть важным — плохо?

Л е б е д е в а. Плохо. Человек должен быть гордым. А важными бывают только лакеи.

Б а к л а н о в (*подумал и вдруг рассмеялся*). А верно! Очень верно! (*Вынул бутылку и стаканы.*) Налить?

Л е б е д е в а. Налейте. На фронте я научилась пить.

Говорят — неженственно. Вот кончится война, выпью на радостях и брошу.

Бакланов. Не будете служить?

Лебедева. Нет. Хватит. И так совсем мужиком стала. Да, кстати. Где вы меня собираетесь устроить на ночь?

Бакланов. Вон, на кровати комиссара. А больше у нас негде.

Лебедева (*оглянулась*). Это кровать Максима Федоровича? Ну, конечно — вот и гитара висит. Он прелестный парень, мы с ним очень подружились.

Бакланов. Максим? Душа-человек. Скучаю без него. И он тоже пишет: скучаю. Сбежать от вас грозит.

Лебедева. Пусть только попробует. (*Показывает на перевернутый шкаф.*) А здесь кто спит?

Бакланов. Столяров. Тоже, между прочим, мужик с головой.

Лебедева. Он скоро придет?

Бакланов. Навряд ли. Я ему приказал немца допросить. Да вы не беспокойтесь — он себе место найдет.

Лебедева (*встала*). Вот что, Бакланов... Или вы немедленно его позовете...

Бакланов. Опять? Никуда вы не уйдете.

Лебедева. Бакланов!

Бакланов. Меня зовут Сергей Романович. Я вам говорю — уходить вам некуда. Уйду я. А вы останетесь здесь.

Лебедева (*сядась*). Ну, к чему это? Вдвоем вы мне ничуть не помешали бы. Когда я была в морской пехоте, мне приходилось по несколько суток подряд спать не раздеваясь вместе с бойцами, и меня это ничуть не смущало. А теперь вам действительно придется уйти.

Бакланов. И уйду. Только, если разрешите, дождусь звонка от начальника политотдела. Он обещал позвонить через полчаса.

Лебедева. Не больше? Я устала и хочу спать.

Бакланов. Полчаса. Теперь даже меньше.

Лебедева. Хорошо. Посмотрим. ○

Бакланов. Все еще сердитесь?

Лебедева. Сержусь. Никогда не прощаю бесцеремонности. Я совсем не хотела вас видеть сегодня.

Бакланов. Сегодня?

Лебедева. Нет, вообще.

Бакланов. Неправда.

Лебедева. Ну, знаете... Вы наглец.

Бакланов. Ладно, пусть. А все-таки — неправда.

Лебедева. Нет, правда. И вы не должны создавать себе иллюзий из того, что я несколько необдуманно вела себя там, в госпитале. И если вас тогда поцеловала, то это потому, что была ужасно довольна... собой. Когда с вашего лица сняли впервые повязку и вдруг до меня дошло, что я молодец, умница, настоящий хирург — я не смогла удержаться. В эти дни я вас почти любила... как свое произведение. Я очень гордилась вами. Вот и всё. *(Пауза.)* Скажите, это правда, что вам позвонят? Если вы возлагаете какие-нибудь надежды на эти полчаса, то лучше сразу уходите спать. Я понимаю, гвардейцы привыкли побеждать, но полчаса — это все-таки очень мало.

Бакланов. Бывает, что и достаточно.

Лебедева. В самом деле? В таком случае, я не завидую вашим успехам. Вообще, вы глупо себя ведете и начинаете говорить пошлости. Сядьте, пожалуйста. Ну, какой смысл пытаться обнять женщину, которая этого не хочет.

Бакланов. Точно. Никакого.

Лебедева *(смягчилась)*. Я считаю, что вы могли бы ко мне относиться лучше. Хотя бы с бóльшим уважением. Смотрите, как я вас отлично починила. Шрам на щеке почти не виден. Цените. Благодаря мне вы по-прежнему можете одерживать легкие победы над женщинами... более неприхотливыми, чем я.

Бакланов. Вы что — нарочно меня злите?

Лебедева. Вы вольны не слушать. Я не злю, а злюсь. Издали вы мне больше нравились. Иногда я с удовольствием вспоминаю наши прогулки по саду, какие-то обрывки разговоров... На вас был серый халат, из-под которого всегда торчали белые тесемки, но тогда вы казались мне милее. В вас есть нечто... ну, ладно, это не ваше дело — вы и так достаточно самонадеянны. Вы ведь живете в ощущении, что для вас никаких преград не существует.

Бакланов. Приблизительно так.

Лебедева. Очень мило. А главное — скромно.

Бакланов. Не пойму, что ко мне все привязались с этой скромностью? Что от нее — польза государству? А если мне так легче жить?

Лебедева. Как?

Бакланов. Верить, что я все могу.

Лебедева. А вы все можете?

Бакланов. Я вам так скажу: всякий человек все может. Если очень хочет.

Лебедева. Откуда вы это знаете?

Бакланов. Знаю. Я четвертый год воюю и вижу. На войне человек ежели чего-нибудь очень захочет — он или погибнет, или добьется.

Лебедева. Однако может и погибнуть?

Бакланов. На даровщинку большие дела не делаются. Мне — везет.

Лебедева. Пока.

Бакланов. И дальше будет везти. Я счастливый.

Лебедева. Почему вы так в этом убеждены?

Бакланов. Да что вам — жалко, что ли?

Лебедева. Нет, не жалко. Но, по-моему, это поза.

Бакланов. Пусть будет, как вы говорите, поза. А если я за нее отвечаю?

Лебедева. Чем же?

Бакланов. Всем своим достоянием. Честным именем и почти целой шкурой. Мало?

Лебедева. Молодец! Ответил с достоинством. Нет, Сергей Романович, это не мало. И я искренне верю, что вы прекрасный командир, герой и за каждым вашим орденом стоят настоящие боевые дела. Не понимаю только, почему на этом единственном основании вы считаете, что всякая женщина должна по первому вашему знаку броситься вам на шею? Разве ваши несомненные заслуги дают вам право разговаривать со мной тоном завоевателя?

Бакланов (*почесал в затылке и рассмеялся*). Крепко! Сдаюсь. Ладно, тогда объясните мне такую загадку природы: а почему женщина, если она красива, чувствует себя рожденной повелевать? Я-то хоть воевал, а тут что? Наследственность и хорошее питание в детстве. Разве красота — заслуга, чтоб ею так гордиться?

Лебедева. Справедливо. Но при чем тут я? Разве я красивая женщина?

Бакланов (*убежденно*). Ну, конечно. Вы — красавица.

Лебедева внимательно вглядывается в лицо Бакланова и вдруг разражается искренним смехом.

(*Недовольно.*) Опять что-нибудь не так сказал?

Лебедева (*сквозь смех*). Милый вы мой, какая же я красавица? Вы посмотрите на меня получше. Слов нет, я вам очень благодарна, но нельзя же так... Я совсем не красивая и даже не очень молодая...

Бакланов. Не может быть, чтоб вы так думали.

Лебедева. Почему? Я совсем не плохого мнения о себе. Но заблуждаться на свой счет — это значит быть смешной.

Бакланов. Что же в вас такое есть, что мне кажется... (*Запнулся.*) Ну, почему вы мне так нравитесь?

Лебедева. А, милый мой! Во мне действительно кое-что есть. Я — человек и, если приглядеться, не очень скучный, со мной можно дружить, и, может быть, я даже способна сделать кого-то счастливым. Но вам лень и некогда разбираться во всем этом. Ну, хватит. Пью последнюю и то потому, что очень продрогла. Будьте здоровы, Сергей Романович, и не сердитесь, если я говорю не то, что вам хочется. Вы милый парень, и я о вас всегда очень тепло вспоминаю. А видеться нам все-таки не надо.

Бакланов (*приближается*). Почему?

Лебедева. Потому что ни к чему.

Бакланов (*взял ее за руку*). Нет, скажите.

Лебедева. А хорошо срослось у вас здесь, над бровью. Рубец почти не виден. Можно потрогать? (*Она пытается освободить руку, но ей это не удается. Быстро и безмолвно он обнимает ее. Она тихо вскрикивает и пытается оттолкнуть, но затем сдается и прижимается к нему. Это длится секунду. Затем она резко вырывается и отступает назад. Они молча смотрят друг на друга. Он хочет что-то сказать, но она останавливает его жестом, на несколько секунд закрывает ладонью глаза и лоб. Теперь она опять внешне спокойна, и только в голосе ее слышится нечто похожее на ожесточение.*) Слушайте меня, Бакланов. Я женщина безмужняя, фронтовая, обета вести святую жизнь никому не давала, и никто меня не осудит, если я разрешу вам здесь остаться. Никто, кроме меня самой. Я знаю, что буду об этом жалеть. Оставайтесь. Но это значит, что вы меня видите в последний раз. Если же вы хотите встречаться со мной и дальше — вы сейчас сядете вон туда, и мы до звонка будем мирно разговаривать. Вот. Выбирайте. Все в ваших руках.

Бакланов (*недоверчиво всматривается в лицо женщины*). Рискуете?

Лебедева. Рискую.

Бакланов (заходил по комнате. Пауза кажется бесконечной. Наконец он остановился, выдавил хрипло). Давайте разговаривать.

Лебедева (вздых счастья). Вот и хорошо. Садитесь к себе на кровать, а я сяду тут, у печки. И расскажите мне о себе. Ведь я знаю вас ничтожно мало. Никак не могу угадать, каким вы были до войны. Вы ведь не кадровый?

Бакланов. Нет. Я речник, торгаш. Плавал по Белой, по Каме. Спортом немного баловался: летом — греблей, зимой — лыжами. До войны я бы вам больше понравился.

Лебедева. Почему?

Бакланов. Никакой во мне самоуверенности не было. Иной раз вспоминаю себя прежнего — и смешно, и вроде как холодок по спине... Ни дураком, ни трусом не был, но скажи мне кто-нибудь тогда, что я дивизионом буду командовать, я бы, кажется, от одного страху помер. Сережка Бакланов, провинциал, тихоня!.. У нас на камских пристанях девчата шустрые, дразнилки, как начнут заводить — эй, тихоня! Если бы не крестный...

Лебедева. Какой крестный?

Бакланов. Радужный Василий Васильевич. Начальник политотдела. Знаете?

Лебедева. Немножко.

Бакланов. А я — как себя. К нему приглядеться надо, он сразу до себя не допускает. Старого закала матрос, Зимний дворец брал. Он меня в партию принимал и командовать благословил. Помню, уходил я в первый поход — провожать приехал. Хромой, однако лезет на мостик. Сунул лапу, только два слова и сказал: «Верю — можешь». Оказалось — могу. И тут у меня словно второе дыхание открылось.

Лебедева. Не поняла. Дыхание?

Бакланов. Эх вы, доктор, а не знаете. Вот когда на лыжах идешь на большую дистанцию, несколько километров пройдешь, устанешь сразу, ноги что каменные, во рту сухота, в пот ударяет, хоть бросай палки да ложись. Мертвая точка. Как подумаешь, что еще километров двадцать переть — оторопь берет. А все-таки посылаешь себя — иди! Перемогнешься, перемучаешься километр-другой, глядишь и открылось у тебя второе дыхание. Не берусь в точности объяснить вам,

что за явление, но только чувствует человек — прибывают в нем силы, будто резервы подошли, и идет он все ходче, легче, откуда что берется, и уж он знает теперь, что не двадцать, а все пятьдесят отхватит, и мороз-то его только веселит... Словами не расскажешь, это испытать надо. *(Пауза.)* Не надоел я вам? Что же Радужный не звонит?

Лебедева. А зачем он должен звонить?

Бакланов. Дела какие-нибудь. Ну, и поздравить, наверное, хочет. Сказать, что выговор снял.

Лебедева. А у вас был выговор? За что?

Бакланов. За врага моего. За майора Однорукова. Есть у нас такой гусь в политотделе. Парень на все руки — и лектор, и инспектор, и редактор, но скучный, как тележный скрип. Всех поучает, а сам до сих пор носа от кормы отличить не может. Прислали его к нам на праздник с докладом. Гвардейцы мои ворчат. Опять, говорят, будет мочалу жевать, весь праздник испортит. А у меня характер: люблю, чтоб все было первый сорт. Подумал я: эх, была не была — не допущу и всё! Посадил его на катер — и назад. Сам доклад сделал. Не хочу хвалиться, но все были довольны. Ну, конечно, на другой день скандал. Одноруков — рапорт. Радужный психанул, звонит: «Такой, сякой, как ты смел моего представителя... Объявляю выговор». Но, между прочим, Однорукова с лекторов снял. Однако, глядите-ка, жив курилка, очерки теперь про меня пишет. *(Поморщился.)* О-ох!

Лебедева. Что с вами?

Бакланов. В колене заныло. К перемене погоды.

Лебедева. Как вы думаете — к утру стихнет море?

Бакланов. Надо надеяться. А вон за вами на стене барометр — взгляните.

Лебедева *(встает и идет к барометру)*. Не могу разобрать. Нет, вижу — семьсот сорок пять. Это хорошо?

Бакланов. Да. Поднимается.

Лебедева. Что это за красотки развешаны у вас на стенах? Вам они очень нравятся?

Бакланов *(голос его звучит сонно)*. Ребята повесили. Нехорошо? Ну, так сорвите их и бросьте куда-нибудь. Завтра Ершова уберет.

Лебедева. Разрешаете? *(Она снимает картинки одну за другой, и, когда подходит к кровати Бакланова)*

снять последнюю, он уже спит полулежа, запрокинув голову.) Сергей Романович! Вы спите? (Она слегка тормошит его.) Сергей Романович! Проснитесь. (Пауза.) Что же делать? (Она долго смотрит на него смягчившимся взглядом.) Устал. Но как же теперь?.. (Наконец она принимает решение. Быстро и умело стаскивает с него сапоги, с некоторым усилием поднимает его ноги на кровать, поправляя подушку, еле заметно погладила его по волосам. Затем, тихо ступая, отошла.)

Загудел зуммер.

(Поколебавшись, снимает трубку.) «Русалка» слушает. Говорит два-ноль-два? Ага, понимаю. Слушаю вас. Я врач. Да, врач. Нет, не ранен. Спит, сейчас я его разбужу. Да нет, здоров вполне. Просто очень утомлен. Не надо будить? Я тоже так думаю. Переключить на оперативного? А как это делается? Ага, понимаю. Есть. Спокойной ночи. (Она щелкает рычажком переключателя, кладет трубку, затем сбрасывает сапоги и, не раздеваясь, ложится на отведенную ей кровать. Бросает последний взгляд на Бакланова и укрывается с головой шинелью.)

Слышен только шум моря и треск догорающих в печке углей.

Занавес

Действие второе

происходящее на следующее утро в палисаднике перед домиком. Домик крошечный, типично немецкой постройки, с остроугольной крышей, расположен на высоком берегу острова. Отсюда открывается вид на спокойное, чуть подернутое рябью море. На горизонте угадываются окутанные утренней дымкой силуэты маленьких гористых островков. Прямо против крыльца — калитка. За калиткой деревянный помост и лестница, ведущая вниз к пристани. Ни пирсов, ни кораблей не видно. Торчат только верхушки мачт с антеннами и вымпелами.

Палисадник сильно поврежден обстрелом и вытоптан, но еще хранит следы педантической заботы бывших хозяев. Аккуратные клумбочки, ровно подстриженные кустики вдоль изгороди, старательно обмазанный известью ствол хилой яблони. К нему гвоздем прибит жестяной умывальник. Тут же стоит кадка. Одно из окон первого этажа раскрыто настежь, виден угол стола и стоящий на нем телефонный аппарат. Это «дежурка». На переднем плане дощатый круглый стол на одной врытой в землю ноге и несколько табуретов. На табурете сидит М а л и к о в. Он курит. В о л о д я, с автоматом на шее, прохаживается около калитки. Неподалеку от калитки установлена большая стереотруба на треноге.

В о л о д я. Старшина! Покурить оставь.

М а л и к о в. На посту не курят.

В о л о д я. Так ведь затянуться только.

М а л и к о в. Детям — вредно.

В о л о д я. Не вредней бомбежки. Оставь, а?

М а л и к о в. Отвяжись. (Пауза.)

В о л о д я. Слушай, старшина...

М а л и к о в. Сказал — не дам.

В о л о д я. Не надо. Я спросить хочу. За что тебе орден?

М а л и к о в. «Юнкерса» сбил.

В о л о д я. Неужто из пулемета жахнул? Сам?

М а л и к о в. Ясно.

В о л о д я. Лихо! Вот бы мне этакое счастье привалило.

М а л и к о в. Счастье тут ни при чем.

В о л о д я. Подготовка?

М а л и к о в. Безусловно. Человек рождается — только жрать умеет, больше ничего. Ходить — и то учат.

В о л о д я. Покуда выучишься — и войну кончат. Нет, от счастья тоже много зависит. Случай должен быть.

М а л и к о в. Отчасти верно.

В о л о д я. А знаешь, что про тебя матросы говорят? Говорят, тебе оттого случай в руки идет, что ты в любви несчастливый.

М а л и к о в. Глупости не выдумывай.

В о л о д я. Я — что? Матросы говорят.

Появилась Ершова с ведром. Наливает воду в рукомойник.

Марррусся! *(Та обернулась.)* Я люблю тебя, Марррусся!

Е р ш о в а. Ты! Щенок. Надеру вот уши.

В о л о д я. На-ка попробуй. По уставу не имеете права.

М а л и к о в *(мрачно)*. Мария, поди сюда.

Е р ш о в а. Некогда мне.

М а л и к о в *(подошел)*. Ты что от меня бегаешь?

Е р ш о в а. Ладно, Василий. Не ко времени разговор.

М а л и к о в. Какие такие у тебя особенные дела?

Е р ш о в а. Мало ли дела? Комдив еще не умывался, не завтракал.

М а л и к о в. Успеешь.

Е р ш о в а. Отойди, Василий. Смотрят.

М а л и к о в. Наплевать.

Е р ш о в а. Тебе наплевать, а увидит Сергей Романыч, что я с парнем лясы точу, — значит, собирай укладочку, прощайся с островом.

М а л и к о в. Ревнует, скажешь?

Е р ш о в а. Умнее ничего не выдумал? Не ревнует, а не положено. И так на ниточке держусь. Он нашу сестру не очень-то жалует.

М а л и к о в. Смотря кого.

Е р ш о в а. Что ты этим сказать хочешь?

М а л и к о в. Ни много, ни мало. То, что вижу.

Е р ш о в а. Скажи.

М а л и к о в. На комдива заглядываешься? Брось, не надейся. Комдив — парень хват, времени не теряет.

Е р ш о в а *(вспыхнула)*. Ну, Васька!.. Вот не думала. Ух ты!.. *(Она не находит слов от гнева.)*

Столяров (выглянул из окна дежурной комнаты). Ершова!! Комдив зовет.

Ершова. Иду! (Маликову.) Ух ты!.. Бывают же такие... грязные людишки. (В слезах убежала.)

Маликов смущен.

Володя (презрительно). Баба.

Маликов. А ты — молчи. Рассуждает. Сам-то не от бабы родился? (Заметил, как мгновенно потемнело лицо Володи, и спохватился.) Ладно, брат, не прокисай. К слову пришлось. (Расстроился сам.) Да что это сегодня — сдурели все?

Из дома вышли на крыльцо Веревкин, Колодуб и Мирзаян, по-видимому, только что позавтракавшие. Все зевают.

Колодуб. Погодка ничего.

Мирзаян. Тралить можно.

Веревкин. Егор! Какая сводка?

Столяров (в окне). С вашего разрешения — продолжаются бои в районе Науэна.

Мирзаян. Там сейчас жарко.

Веревкин. Фюреру полундра. Месяц сроку.

Мирзаян. Две недели.

Веревкин. Хватил!

Столяров. К лету кончится.

Мирзаян. Только не для нас.

Колодуб. Н-да. Замусорили Балтику.

Мирзаян. Дурацкий сон видел. Будто я турецкий султан.

Веревкин. Ты и похож.

Мирзаян. Не перебивай. И будто возлежу я на ковровых подушках. А предо мной под звуки сазандари танцуют роскошные баядерки.

Веревкин. Одалиски, может быть?

Мирзаян. Не скажу — не специалист. В общем какие-то гурии. Страшная муть. По идее, что-то вроде половецких плясок.

Веревкин. Ну, ну? А дальше?

Мирзаян. Потом появился откуда-то майор Одноруков, что-то говорил. Дальше неинтересно.

Веревкин. Старик, а что тебе снилось?

Колодуб. Не помню. (Задумался.) Эге! Сходственно, як у Гургена. Тильки не отчетливо. Проснулся — голова болит.

Веревкин и Мирзаян смеются.

Столяров. Тише, дьяволы.

Веревкин. Проснулся комдив?

Столяров. Встает.

Веревкин (*таинственно*). Слушай, Егор. Ну, как там?

Столяров. Где?

Веревкин. Интересно, все академики такие бес-толковые? «Где?» Наверху. Она — там?

Столяров. Кто?

Веревкин. Ты что, Егор, — нарочно?

Столяров. Вас что, собственно говоря, интере-сует?

Веревкин. Иди к лешему.

Столяров. Данке шён. Еще вопросы есть?

Пауза.

Мирзаян. Интересная женщина.

Веревкин. Не мой секс.

Мирзаян. Ка-ак? Зекс?

Колодуб. Это по-каковски же?

Столяров. По-жеребьячи.

Веревкин. А, что с вами разговаривать? Деревня.

Столяров. Где уж нам до Европы.

Пауза.

Мирзаян. В высшей степени культурная женщи-на. С такой женщиной приятно побеседовать.

Колодуб. Н-да. Заслуживает внимания.

Веревкин (*с неожиданной злостью*). А, бросьте. Побеседовать! Ставь пол-литра — вернее будет.

Мирзаян. Почему сердишься?

Веревкин. Потому что противно: подумаешь — герцогиня Монпасье! Вешается на шею первому встречному.

Мирзаян. Тебе, например?

Веревкин. Брось, Гурген. Мы с тобой для нее слишком мелкая сошка. Субординация — она всюду.

Мирзаян (*вдруг вспыхнул, рывкнул свирепо*). Перестань!

Веревкин. Видали? Ты что — спятил, Гурген?

Мирзаян (*кричит*). Прекрати немедленно!

Веревкин (*изменился в лице*). Ну вот что: ты на меня не ори! Я тебе не мальчишка.

Мирзаян (*яростно*). Нет, ты именно мальчишка! И я тебя в категорической форме спрашиваю: на ка-

ком основании вы, лейтенант Веревкин, позволяете себе безответственно судить о женщине, которую вы не знаете?

Веревкин. Совсем очумел. Влюбился.

Мирзаян. Нет, я не влюбился! Голословное утверждение. Не имею привычки влюбляться с первого взгляда. Но я не желаю слышать пошлых намеков...

С треском распахнулось окно второго этажа. Взвилась маскировочная штора. В окне появился Бакланов. Он хмуро оглядел притихших командиров, бросил привычный взгляд на небо. Затем стащил с себя фуфайку и остался в белой майке. Взял с подоконника мыльницу и исчез в глубине.

Столяров. Говорил вам — тише.

Веревкин. Это все Гурген.

Столяров. Ты — молчи. Гурген прав.

Колодуб. Точно. *(Подумал.)* Правильно заостряет вопрос.

Веревкин. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Пожалуйста.

Столяров. Изъяснитесь точнее.

Веревкин. «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты...» А Пушкин с ней жил. Документально установлено.

Мирзаян. Какое глубокое знание литературы!

Веревкин. А, идите вы к богу в рай! Плохо знаете Бакланова. Как говорится: «Платон мне друг, но истина дороже».

Колодуб. Силён!

Столяров. Европа!

Веревкин. Брось, Егор. Дешевая ирония. Ответь мне только на один вопрос...

Столяров. Ни на какие вопросы я тебе отвечать не буду.

Веревкин. Почему же так?

Столяров. Не по адресу... Обратитесь непосредственно к комдиву.

Колодуб. Точно. Он тебя шуганет.

Веревкин. А вы думаете — побоюсь, что ли?

На крыльце появляется Бакланов. Он в майке. На шее висит полотенце. Кивнул головой в ответ на приветствия.

Бакланов. Лясы точите, гвардейцы? Что у вас на кораблях дела нет? Смотрите — я найду. *(Двинулся к умывальнику.)* Столяров!

Столяров *(приблизился)*. Слушаю вас!

Бакланов. Почему меня не разбудили?

Столяров. Я полагал...

Бакланов. Вы бы поменьше полагали, а выполняли, что приказано.

Столяров. Будить — такого приказа не было.

Бакланов *(мягче)*. Это, положим, верно. Допрашивал?

Столяров. Так точно. До рассвета бился.

Бакланов. Результаты?

Столяров. Один-ноль в его пользу.

Бакланов *(махнул рукой)*. Академики! Да, вот еще что: катера какие-нибудь от пирса отходили?

Столяров *(удивлен)*. Сегодня? Нет, товарищ капитан третьего ранга.

Веревкин *(тихо)*. С левой ноги...

Володя *(у калитки)*. К пирсу подходит катер.

Бакланов *(встрепенулся)*. Чей?

Володя. Флагманский лимузин.

Бакланов. Полундра! Два-ноль-два, собственной персоной. Столяров, встречайте! *(На ходу утираясь, бежит одеваться.)*

Володя. Точно, капитан первого ранга! И с ним еще какой-то.

Столяров. Может быть, сам командующий?

Володя. Что я командующего не знаю? Какой-то подполковник.

Веревкин. Кто же это может быть?

Столяров двинулся навстречу Радужному и Левину. Радужный — тучный человек, лет пятидесяти. Он слегка прихрамывает. Лицо скуластое, глаза твердые, умные, с юмором. Левину тоже около пятидесяти, впрочем, возраст его определить трудно. Он суховат, элегантен. Лицо холодное, правильное, скупое отражающее душевные движения и обычно хранящее выражение вежливого безучастия. Говорит он медленно, тягучим голосом, немного слишком правильно, как говорят люди одиозово владеющие несколькими языками.

Столяров. Смирно! Товарищ капитан первого ранга...

Радужный *(отмахнулся)*. Не надо рапорта. Знаю — умеете. *(Поздоровались.)* Хозяин ваш дома?

Столяров. Так точно.

Радужный. Вижу — сам идет. Батюшки, в новых нашивках! *(Подошедшему Бакланову.)* Ну, здравствуй, крестник. Не ожидал? Вот этак-то лучше — врасплох. Сразу найдешь непорядки.

Б а к л а н о в. Нашли уже?

Р а д у ж н ы й. А как ты думал? Для первого раза делаю тебе замечание. Почему не по форме одет? (*Ткнул его пальцем в фуражку, затем снял свою с золотыми листьями по козырьку.*) Вот. Видал? Это, брат, не галантерея, а символ власти. Заслужил — носи.

Б а к л а н о в (*хмуро*). Откуда же мне на острове взять?

Р а д у ж н ы й. Молчи. Знаю — неоткуда. Гитлера за хохол держим, а военторга одолеть не можем. Что ж с тобой делать? Головы у нас с тобой одинаковые?

Б а к л а н о в. Что вы, товарищ начальник! Как это возможно?

Р а д у ж н ы й. Не дерзи. (*Протянул ему свою фуражку.*) На, примерь. Хороша? Давай сюда твою ве-тошь.

Б а к л а н о в. Спасибо. А как же вы не по форме пойдете?

Р а д у ж н ы й. Не твоя печаль. Здесь на двадцать миль в округе ни одного адмирала нет — разыскать некому. (*Посмеялся собственной шутке.*) Виноват, Александр Осипыч, знакомься. Вот этот — он самый Бакланов и есть.

Л е в и н (*протягивая руку*). Левин.

Р а д у ж н ы й. Рекомендую — начальник разведотдела. На три аршина в землю видит. Фрица твоего хочет исповедовать.

Б а к л а н о в. Пожалуйста.

Л е в и н. Скажите, товарищ Бакланов, вы уже допрашивали пленного?

Б а к л а н о в. Пробовали. Вчера Столяров с ним до рассвета бился.

Л е в и н. Отобрано что-нибудь при обыске?

С то л я р о в. Есть кое-что. Показать вам, товарищ подполковник?

Л е в и н. Буду очень признателен.

Уходят.

Р а д у ж н ы й (*подошел к стереотрубе, навел на горизонт*). Где эти чертовы батареи?

Б а к л а н о в. Левее возьмите. Мысок видите?

Р а д у ж н ы й. Ага. Серьезно придумано. Молчат?

Б а к л а н о в. Если не дразнить. Пока с ними не покончим — нам дальше ходу нет. Так и будем топтаться.

Радужный. Это я и без тебя знаю. Готовим десант.

Бакланов. Чур, первый бросок я высаживаю.

Радужный. На своих-то тральцах? Чтоб вас всех перетопили? Думай сначала.

Бакланов. Продумано. *(Вынул из нагрудного кармана сложенную бумагу.)* Вот, глядите, какая получается картина. Наши тральщики в этом районе уже примелькались, береговые батареи на них почти не реагируют. А если вы раньше времени подтянете сюда другие корабли — будет переполох.

Радужный *(рассматривая бумагу)*. Внезапность нужна, быстрота — понимаешь? А вы черепахи.

Бакланов. Так мы тоже не без понятия. Если выжмем из пленного минную обстановку, мне тралы не нужны, а без тралов я вам такие хода разовью, что вы за моими черепахами не угонитесь.

Радужный *(с любопытством взглянул на Бакланова)*. А ведь соображаешь. Даже удивительно. Ладно, оставь-ка мне свой колдунчик. Доложу. *(Пауза.)* Знаешь, зачем я к тебе?

Бакланов. Поздравить?

Радужный. Не воображай. Много чести. Ругать.

Бакланов. Вот хорошо-то.

Радужный. Это почему?

Бакланов. Люблю, когда вы ругаетесь.

Радужный. Не шути. Я нынче зол. Казню и расточаю аки царь Иван. Вчера до тылов добрался — и по сейчас еще там пух по воздуху летает.

Появляется Маликов. За ним следуют два матроса с флагманского катера. Маликов несет ящик с папиросами, у одного матроса в руках тюки с газетами, у другого — цинковые коробки с кинолентами.

Радужный. Видал? Начальника снабжения на парткомиссию вызываю. Начальнику почты — трое суток. Начальника кинобазы с работы снял. Очень помогает. Я теперь решил в корне свой характер переменить.

Бакланов. Чем же он плох?

Радужный. Свирепости настоящей нет. Доброта одолевает. А вы этого не цените. Почему ты моих указаний не выполняешь? Опять всю неделю с кораблей не слазил? Месяц как из госпиталя — обратно захотел? Молчи, не возражай. Сгноишь ногу, так ведь

отпилят, с палочкой будешь ходить. И что тебе не сидится на берегу, скажи ты мне на милость?

Б а к л а н о в *(улыбнулся)*. Пополнеть боюсь.

Р а д у ж н ы й. Не дерзи. Поплавай с мое. И вообще дерзостей твоих терпеть не желаю. Вчера опять на тебя майор Одноруков жаловался. Ну, за что ты его облаял?

Б а к л а н о в. За дело.

Р а д у ж н ы й. Все равно — не лезь. Доложи мне. Сочту нужным — сам обругаю.

Б а к л а н о в. Гнать его надо.

Р а д у ж н ы й. Не твоего ума дело. Гнать! Легко сказать. Сам не чаю, как избавиться, да ключей не подберу. Ух, кабы он где струсил или искривление какое-нибудь допустил — я бы его в порошок истер. Не могу. Мужик непьющий, выдержанный, что ни прикажу — все выполняет. И все плохо. *(Шепотом.)* Ну, бездарный человек — что ты хочешь? Нет такого закона, чтоб за это казнить.

Б а к л а н о в. Стало быть, нет выхода?

Р а д у ж н ы й. Все перепробовал. С газеты пришлось снять, теперь в госпиталь сватаю. Заместителем по хозяйству. По крайней мере не украдет. *(Спохватился.)* Погоди, за что я тебя еще ругать хотел?

Б а к л а н о в. Вот и не знаете, за что надо.

Р а д у ж н ы й. А есть за что?

Б а к л а н о в. Есть.

Р а д у ж н ы й. Час от часу не легче. Выкладывай.

Б а к л а н о в. Я матроса... наградил.

Р а д у ж н ы й. Как так — наградил?

Б а к л а н о в. Обыкновенно. Орденом.

Р а д у ж н ы й. Не понимаю. Представил, что ли?

Б а к л а н о в. Чего представлять? Три раза уже представлял. Говорю вам — наградил.

Р а д у ж н ы й. Какие же у тебя на это права?

Б а к л а н о в. Кабы были права, я бы вам и докладывать не стал.

Р а д у ж н ы й *(сел, вытер платком лоб и шею)*. И кого же этак... наградил?

Б а к л а н о в. Маликова. Четвертый год воюет. Лучший пулеметчик. «Юнкерса» вчера сбил и немца из воды вытащил. Неужели не заслужил?

Р а д у ж н ы й. Оно конечно, заслужил, но... Ну, поблагодари, скажи, что, мол, буду ходатайствовать...

Б а к л а н о в. Так ему и говорю. И вижу, по глазам

вижу — не верит. Мне не верит! Ах так, думаю. Скомандовал «смирно!», сорвал с груди боевой орден и от имени партии и правительства — на!

Радужный. Пьян, что ли, был?

Бакланов. Ничего не пьян. Погорячился.

Радужный. Очумел. Да за это — под суд.

Бакланов. Это точно.

Радужный. Ну, не бандит ли ты? Моду какую взял! Ишь, Суворов новый прорезался! И как только тебе в башку этакое влетело? Нет, брат, я терпеть этого не желаю. В трибунал пошлю — пусть там разбираются. (Пауза.) Что молчишь?

Бакланов. Что же говорить, когда правильно. Посылайте.

Радужный (после паузы). Возьми обратно орден.

Бакланов. Не могу.

Радужный. Что значит — не могу?

Бакланов. Срам. Тогда мне не командовать.

Радужный. Ну, и пойдешь в трибунал.

Бакланов. Это в вашей воле.

Радужный. Ах, каторжная твоя душа... (Помолчал, вздохнул.) Какой орден-то отдал? «Звезду»?

Бакланов. «Звезду».

Радужный (бурчит). Дело поправимое.

Бакланов. Выручайте, крестный.

Радужный. Придется. Хорошо еще, что ты шире не размахнулся. Шальной, а ума хватило. Ладно — пиши наградной. Доложу.

Бакланов. Спасибо, крестный.

Радужный. Пошел! Срамить тебя перед людьми неохота, а то бы ты у меня, голубок, подраил палубу.

Бакланов. Понимаю.

Радужный. Ох хитер! Скажи — отчего меня все боятся, а ты нет?

Бакланов. А я никого не боюсь.

Радужный. Будто?

Бакланов. Вас-то еще больше всех.

Радужный. Слабость у меня к тебе. Молодость мою напоминаешь. А почитать меня ты все-таки обязан. Я тебя старше и умней. Был и буду. В адмиралы выйдешь, флотом станешь командовать, а я на пенсию уйду — и все едино в минуту жизни трудную ведь ко мне придешь.

Вернулись Левин и Столяров.

Столяров. Разрешите? Товарищ капитан первого ранга...

Радужный. Александр Осипович, ты видел немца?

Левин. Видел.

Радужный. Молчит?

Левин. А я его ни о чем не спрашивал.

Столяров. И не скажет ничего.

Бакланов. Вы уж молчите, товарищ начальник штаба. Не срамитесь...

Столяров. Вот увидите.

Радужный. Почему же так?

Столяров *(с сердцем)*. А потому, товарищ капитан первого ранга, что мы все, сам черт нас не поймет, какие-то ненормальные гуманисты. Что у нас за допрос? Сплошной либерализм. «Заген зи мир, битте». Они этого не понимают. Вот если бы для разгона въехать ему как следует в рыло...

Радужный. Фу! Академик!

Столяров. С ним, товарищ капитан первого ранга, не то что академик — ангел взбесится. Мне знаете что обидно? Обидно, что у подлеца всегда есть козырь против порядочных людей. Подлецу все дозволено, ему совесть ничего не запрещает, а мы, чудаки, все оглядываемся. Ведь попадись я к нему, разве бы он так допрашивать меня стал? Дым бы от меня пошел.

Радужный *(Бакланову)*. Начнем? Командующий придает допросу большое значение.

Бакланов. Маликов!

Маликов. Есть Маликов!

Бакланов. Немца — сюда. Быстро, на полусогнутых...

Маликов козырнул, убежал.

Веревкин *(подбежал)*. Товарищ капитан первого ранга, командующий просит вас к аппарату.

Бакланов. Столяров, проводите капитана первого ранга. Веревкин!

Веревкин. Есть!

Бакланов. На минутку. *(Обождal, пока Радужный и Столяров скрылись за дверью.)* Вы что сейчас делаете?

Веревкин. Столярова подменяю.

Бакланов. Добро! Вам задание: обзвоните все посты и разыщите мне капитана. Доктора — понятно?

Веревкин. Есть. *(Он невольно взглянул на окно второго этажа, на его лице написано плохо скрываемое лукавое недоумение, и это смущает Бакланова.)*

Бакланов. Не могу понять, куда она подевалась. Звонил в лазарет — нету. Вы что улыбаетесь?

Веревкин. Просто так. Неужто и вы, Сергей Романович, «аз» получили?

Бакланов. «Аз»? В каком смысле?

Веревкин. В смысле, предусмотренном сводом морских сигналов: отрицание, отпор, отказ.

Бакланов. Что? Плохо знаете Бакланова.

Веревкин. Значит — с победой?

Бакланов. Да вам-то что за дело?

Веревкин. Да я просто так, Сергей Романович. По-дружески.

Бакланов. По-дружески? Что-то не пойму я вашей дружбы — чего в ней больше: любви или зависти. Разберусь как-нибудь на свободе. *(И когда Веревкин сделал первый шаг.)* Подождите.

Веревкин. Есть!

Бакланов. Отставить.

Тот не понимает.

Не надо звонить. Я сам. *(Быстро пошел к дому и взбежал на крыльцо, опередив озадаченного Веревкина.)*

Левин, до сих пор с безучастным видом рассматривавший разложенную на столе карту, поднял глаза. Трудно понять, слышал ли он разговор. Он проводил Бакланова взглядом, затем оглянулся и увидел входящую в калитку Лебедеву. В руках у нее полотенце и охапка зелени. Секунду, пока их глаза не встретились, лицо Левина выражает радость и даже нежность. Встречает же он ее в своей обычной суховато-иронической манере.

Левин. Вот это мило!

Лебедева. Санечка!

Левин. Очень мило. Я весь вечер, как последний кретин, жду ее в госпитале...

Лебедева. Левин, милый, я тебе сейчас все объясню.

Левин. Нет, ты просто дрянь. Больше я к тебе не приеду.

Лебедева. Умоляю, не злись. Я все тебе расска-

жу, и ты увидишь, что я не очень виновата. Ты почему здесь?

Левин. Я-то, положим, по долгу службы. Вот ты зачем?

Лебедева. Я тоже.

Левин. Варька, не лги.

Лебедева. Клянусь тебе. Я лечу фрица.

Левин. Нет, серьезно? Жалкая работенка.

Лебедева. Ты что же — не хочешь со мной здороваться?

Левин. Что ты? Здравствуй, миленький. (*Целует ей руку.*) Почему волосы мокрые?

Лебедева. Молчи. Я пошла бродить по берегу. И выкупалась.

Левин. Ты дура. Сумасшедшая. Вода ледяная. А выглядишь ты отлично. Глаза блестят. Ну-ка, покажись. (*Посмотрел на нее прищурясь.*) Блудишь, Варвара?

Лебедева (*быстро*). Ты что, с ума сошел?

Левин. А почему краснеешь?

Лебедева. Ты же знаешь, я всегда краснею, когда говорят всякий вздор. Клянусь тебе.

Левин. Варька!

Лебедева. Ну, право же нет, Санечка. И потом с какой стати я стала бы тебе лгать?

Левин. Положим, это верно. Незачем. Тогда тем более я хочу тебя предупредить.

Лебедева. Что такое?

Левин. Не волнуйся — ничего серьезного. Дело в том, что хозяин острова изволит хвастаться твоей благосклонностью. И в форме не слишком уважительной.

Лебедева. Не может быть. Кто тебе это сказал?

Левин. Я слышал.

Лебедева. Какой вздор. Не могу себе представить. Ты нарочно это говоришь?

Левин. Какой смысл?

Лебедева. Я тебе верю. (*Задумавшись.*) Это ужасно.

Левин. Только ты не преувеличивай...

Лебедева. Для меня ужасно. Не спорь, ты не знаешь. Фу! Конечно, я дура и, вероятно, так душой и умру. (*Опять задумалась.*) Прекрасно.

Левин. Что — прекрасно?

Лебедева. Я набью ему морду.

Левин. Очень мило. А главное — женственно. Пожалуйста, не дури. Ты ни звука ему не скажешь.

Лебедева. Почему?

Левин. Потому что я прошу этого не делать. Не хочу скандала.

Лебедева. Боишься испортить отношения?

Левин (*внимательно посмотрел на нее*). Стыдно?

Лебедева (*упрямо мотнула головой, но затем сдалась*). Стыдно. Больше не буду. Простил?

Левин. Простил.

Лебедева. Да, ты прав. Я просто уеду.

Вернулся Радужный. За ним идут Бакланов и Столяров.

Радужный. А я-то все собираюсь спросить — кто это вчера со мной таким приятным голоском по телефону разговаривал?

Лебедева. Здравствуйте, Василий Васильевич.

Радужный. Здравствуйте, здравствуйте. А не будет ли нескромно любопытствовать: какими судьбами?

Бакланов. Это я, товарищ капитан первого ранга, позволил себе обратиться по случаю...

Лебедева. Разрешите мне самой ответить. Мы с Сергеем Романовичем большие друзья, и я приехала, чтоб его навестить. А задержалась из-за погоды — так, кажется?

Бакланов молчит, хотя вопрос явно относится к нему.

Столяров. Так точно.

Радужный. Милости прошу ко мне на катер — подкинем вас до госпиталя. Только сперва нам с подполковником предстоит выслушать исповедь одной грешной души. Можете присутствовать. Поучительно.

Левин. Товарищ Столяров, вы обратили внимание, как реагировал пленный, когда, уходя, мы заговорили между собой?

Столяров. Мне показалось, что он прислушивается, товарищ подполковник.

Левин. Очень внимательно. Вы хорошо знаете немецкий?

Столяров. Плохо, товарищ подполковник.

Левин. Очень плохо?

Столяров. Очень.

Левин. Прекрасно. Условились: допрос начинаете вы.

Столяров. Я?

Левин. Тсс!

Маликов вводит пленного. Это высокий худощавый юнец в форме немецкого летчика. Лицо свежее, правильное, но незначительное, из тех, что принято называть смазливymi. Обе руки забинтованы до локтя, на ногах шлепанцы. Он старается держаться чопорно, «под Кейтеля».

Радужный. Присаживайтесь, товарищи офицеры. *(Взглянул на пленного.)* Дешево отделался. Шут с тобой — зецен зи зих.

Немец не двинулся.

Немен зи пляц — понял?

Левин. Я бы не настаивал. Пожалуйста, товарищ старший лейтенант.

Столяров *(тяжело вздыхает. Его немецкий язык действительно ужасен)*. Их фраге инен нох эйнмаль: волен зи анвортен одер нейн?

Немец не шелохнулся.

Ну что? Не видите, что он дурака валяет? *(Яростно.)* Ин летцтен маль их шпрехе дих, сукин ты сын, не выводи меня из терпения! Ванн их бин зеер безе, их канн дих зеер шлехт махен. Ферштейн?

Бакланов *(фыркнув, шепотом)*. Слышь, академик. Сдается мне, что он тебя за турку принимает.

Столяров. Хаст ду этвас ин дайне копф? Ду бист кейне фиш, ду бист менш унд мусс шпрехен ви ейн менш! Ферштейн?

Летчик. Ist hier ein Dolmetscher? Переводчик? *(Несколько секунд он ожидает ответа.)* Я говорю по-русски.

Все изумленно переглянулись, кроме Левина, на лице которого играет слабое подобие улыбки.

Я удовлетворен, что мой вопрос имеет быть в присутствии старших офицеров *(он слегка кланяется Радужному)*. Герр фрегаттен-капитан? *(Кивок Левину.)* Герр оберст?

Левин. Вы дадите показания?

Летчик. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я имею заявить два требования.

Бакланов. Ну, знаете, видал я нахалов...

Левин *(знаком останавливает Бакланова)*. В чем они заключаются?

Летчик. Я требую, чтобы мне была выдана справка.
Радужный. Что он за вздор городит? Какая справка?

Летчик. Справка, что я не сдавался в плен. Вы должны подтвердить, что я трижды оттолкнул весло, которое протянул матрос со спасательной шлюпки, и сохранил жизнь против своей воли.

Он остается невозмутимым, несмотря на общий смех.

Левин (Бакланову). Так это было?

Бакланов. Приблизительно. Три раза оттолкнул, а потом так вцепился, что не отодрать.

Левин. Любопытно, кому вы собираетесь предъявить эту справку? Вам известно, что наши войска в пятнадцати километрах от Берлина?

Летчик. Мне это неизвестно.

Левин. А Гитлеру известно. Хорошо. Я обещаю вам справку. А теперь я требую, чтобы вы назвали мне ваше имя, звание и часть, в которой вы служите. (Пауза.) Вы что же — хотите получить справку на предъявителя?

Летчик. Вольф Виземанн. Лейтенант, двести восьмой минно-торпедный.

Левин. Как вы сказали? Виземанн?

Летчик. Мое полное имя — Вольфганг-Алоиз Виземанн.

Левин. Откуда вы родом?

Летчик. Из Штеттина.

Левин. Там и родились?

Летчик. Это одно и то же.

Левин. Нет, не одно и то же. Вы родились в Штеттине?

Летчик (не сразу). Да.

Левин. Откуда вы знаете русский язык? Вы жили в России?

Летчик. Нет. Никогда.

Левин. Вы изучали язык специально? Вы разведчик?

Летчик. Нет, я только летчик. Штурман.

Левин. Для простого штурмана знание русского языка — излишняя роскошь. Зачем вы лжете?

Летчик. Я могу молчать, но не лгать.

Левин. Такие принципы делают честь вашим родителям. Они живы?

Летчик. Это не имеет отношения к делу.

Левин. Об этом могу судить только я. Как звали вашего отца?

Летчик молчит.

Радужный *(взглянул на часы, шепотом)*. Александр Осипович, шут с ней, с анкетой. Подходи ближе к самой сути.

Левин. Еще один, последний вопрос. *(Летчику.)* Ваш отец никогда не играл на виолончели?

Вопрос показался нелепым всем, кроме немца. В его глазах впервые мелькнул испуг.

Хорошо. Можете не отвечать. Действительно, пора переходить к сути дела. А суть вот в чем *(раскрывает карту)*: вы должны сообщить нам все, что вам известно о минной обстановке в островном районе, и расшифровать все условные знаки.

Летчик. Я сказал все, что имел право сказать.

Радужный. Слушай, красавец! С тобой не шутят.

Летчик. Вы не посмеете меня расстрелять. Красные не расстреливают пленных.

Столяров *(яростно)*. Вот! Слышите?

Левин. Он прав, товарищ старший лейтенант. Мы пленных не расстреливаем. Но когда тонущий враг отказывается сдаться и трижды отталкивает протянутое ему весло, мы можем потерять терпение и не протянуть его в четвертый раз...

Летчик. Я солдат. Я не боюсь смерти.

Левин. Бойтесь. Будете хорохориться еще день, два, а потом нервы сдадут. Надолго вас не хватит. Для того чтобы не бояться смерти, одной солдатской дрессировки мало. А у вас ничего за душой нет. Вы спросите себя: во имя чего? И, не найдя ответа,— испугаетесь.

Летчик. Во имя фюрера.

Левин. Не говорите ерунды. Мы взрослые люди.

Летчик. Я дал присягу. Никакой немец не должен сказать: «Вольф Виземанн нарушил данную клятву».

Левин. Ничего, ничего. Нарушите клятву. Это не единственная заповедь, которую вы нарушили. И, помоему, вы уже поняли, что если я не поленюсь, то смогу это доказать. Теперь слушайте внимательно. Я предлагаю вам дать показания и обещаю за это смягчить вашу участь. А участь вас ждет невеселая. Вас будет судить суд свободной демократической Германии. И вы очень хорошо знаете за что. Вы меня поняли?

Летчик. Да.

Левин. Мне кажется, что и я вас понял. Засим вы имеете на размышления десять минут.

Веревкин (*подбежал*). Товарищ капитан первого ранга, вас опять командующий...

Радужный. Иду. (*Быстро проходит в дом, сопровождаемый Веревкиным. Окно «дежурки» захлопнулось.*)

Левин (*летчику*). Вы можете сесть.

Тот молча садится. Затем окно «дежурки» с треском растворилось. Радужный, держа трубку около уха, помахал свободной рукой. Левин, Бакланов и Столяров устремились на его зов. Окно вновь захлопнулось.

Бакланов (*появился на крыльце*). Варвара Михайловна!

Лебедева (*подошла*). Что случилось? Срочно вызывают?

Бакланов. Командующий хочет видеть пленного. Оставайтесь. Через два часа пойдет другой катер.

Лебедева. Нет. Я и так слишком долго задержалась у вас. (*Идет к двери.*)

Бакланов. Куда вы?

Лебедева. За своим саквояжем. (*Скрывается в доме. Бакланов следует за ней.*)

Володя, до сих пор державшийся поодаль, приблизился к летчику. Обошел его со всех сторон. Затем остановился и стал рассматривать его в упор. Летчик, сначала сидевший безучастно, пошевелился, почувствовав на себе недружелюбный взгляд. Глаза их встретились.

Володя (*тихо*). Ты что задаешься, зараза?

Летчик. Что тебе, мальчик?

Володя. Делай, что тебе велят, слышишь? Делай, что тебе велят! Не то дождешься, поведу обратно, да как вмажу очередь между лопаток — не возрадуешься.

Летчик. Не смеешь! Тебя накажут.

Володя. Ни черта. Я маленький — мне простят. Скажу: за мамку посчитался.

Столяров (*вошел в сопровождении Маликова*). Юнга, разговоры?

Володя. Никак нет, товарищ старший лейтенант!

Столяров (*летчику*). Вставайте!

Летчик. Но время еще не истекло!

Столяров. Встать! (*Володе.*) Отведешь его на флагманский катер.

Летчик (*увидел подошедшего вслед за Столяровым Левина*). Герр оберст! Вы дали мне десять минут. Герр оберст, не позволяйте этому мальчику меня отводить. Я решил. Я согласен дать показания.

Левин. Отлично. Вы будете иметь честь дать их в присутствии контр-адмирала. (*И он заканчивает немецкой фразой, длинной, быстрой, щегольски картавой, чем повергает немца в полную растерянность.*)

Володя. Есть отвести на флагманский катер! (*Летчику.*) Топай. Не бойся — не трону...

Летчика увели. С крыльца сходят Радужный и Бакланов.

Радужный. Понял? Значит, сегодня выход в море отменяешь. Ждать дальнейших указаний. Доволен? Прощай. Пошли, Александр Осипович.

Володя (*у калитки*). Смирно!

Радужный и Левин вышли, сопровождаемые Столяровым.

Лебедева (*выбежала на крыльцо*). Ушли? Бегу. Прощайте.

Бакланов (*загородил ей дорогу*). До свиданья. Скоро увидимся?

Лебедева. Не знаю. Пустите, я опоздаю на катер.

Бакланов. На днях ждите. Прикачу.

Лебедева. Нет, нет, пожалуйста.

Бакланов. Но вы обещали...

Лебедева. Обещала. А потом передумала. (*Хочет идти.*)

Бакланов. Погодите. Я вас обидел?

Лебедева. Вы? Меня? Нисколько.

Бакланов. Какая же причина?

Лебедева. Никакой. Подумала, и вдруг мне стало... неинтересно. Теперь вы меня пустите? (*Убегает.*)

Бакланов остается на месте. Он настолько поражен, что не слышит, как подошла Ершова.

Ершова. Товарищ капитан третьего ранга...

Бакланов (*очнулся*). Вы что, Ершова?

Ершова. Завтракать идите.

Бакланов. Не пойду.

Ершова. Что же — совсем кушать не будете?

Бакланов. Не буду.

Ершова. Я сюда принесу. Хотите ешьте, хотите нет.

Бакланов. А что там у вас?

Ершова. Омлет.

Бакланов. К черту омлет. стакан водки и хвост селедки. *(Пауза.)* Ну! Быстро!

Ершова. Водки не дам.

Бакланов. Ершова! В своем уме? *(Он даже оглянулся, не слышит ли кто-нибудь.)*

Ершова. Не дам с утра. Что хотите делайте.

Бакланов. Посажу.

Ершова. Сажайте.

Бакланов. Выполняйте приказание!

Ершова не двигается.

Собирайте барахло и скажите Столярову, пусть выпишет вам документы. Чтоб сегодня же...

Ершова. Так? Ну, хорошо. Пейте. Литр вам сейчас принесу.

Бакланов. Осатанела. *(Махнул рукой.)* Природа — она всегда скажется.

Столяров *(вернулся.)* Какая природа?

Бакланов. Женская. Уж это точно. Женщина может хоть целый год притворяться матросом, а в один прекрасный день ее все-таки прорвет. Только ахнешь. Ну, скажи — за что она меня обидела?

Столяров *(засмеялся.)* Кто? Ершова?

Бакланов. Кой черт Ершова! Доктор. За что, а?

Столяров *(уклончиво.)* Откуда же я про это могу знать?

Бакланов. Ни черта не понимаю. Вчера сидели допоздна, толковали по душам, вот как сейчас с тобой. За разговором-то, признаться тебе, я и задремал. Уморился за день, ну и развезло в тепле. Может, оно и невежливо, так она же не кисейная барышня, свой брат балтиец, по человечеству-то можно понять? Наутро — будто норд-ост подул. Не смотрит, не говорит. А на прощанье так отрезала, что до сих пор во мне все горит, будто меня кто при целом флоте за уши оттащала. За что?

Столяров. И впрямь, выходит, не за что.

Бакланов. Ты что же — не веришь мне? Больше, хоть убей, ничего такого не вспомню. Ну, как, по-твоему, могу я так, здорово живешь, хорошего человека обидеть?

Столяров. Можешь.

Бакланов. Что?

Столяров. Ты спросил, я и ответил.

Б а к л а н о в. Вот как мы заговорили? (*Погрозил ему пальцем.*) Я знаю, откуда у тебя это самое. Слышал, поговаривают уже — занесся, мол, Бакланов, зазнался... Врете. По себе судите. Я каков был, таков и есть.

С то л я р о в. Точно.

Б а к л а н о в. Ты это словно в укор говоришь.

С то л я р о в. Ты-то прежний, да спрос с тебя не прежний. И власть большая дана. Ушибешь — не заметишь.

Б а к л а н о в. Что же я, по-твоему, — хуже стал?

С то л я р о в. Нет, не хуже. Просто ты сам себя никак догнать не можешь.

Б а к л а н о в. Постой, как ты сказал? Нет, не понял. Больно мудрено. А иди ты к богу в рай. Поучать меня захотел?

С то л я р о в. И в мыслях не было. (*Встал.*) Разрешите быть свободным?

Б а к л а н о в. Егор, не зли меня. Не выводите из себя. Почему это — как с людьми по-хорошему, они же над тобой смеются? И она надо мной посмеялась... Погодите, вы еще у меня попляшете. Ершова!!!

С то л я р о в. Я пошел.

Б а к л а н о в. И уйди к черту. Не вводи в грех.

Столяров отошел, оставив Бакланова в мрачном раздумье. Он не замечает, как подошла Ершова, молча поставила перед ним поднос с селедочницей и неполным стаканом водки и так же неслышно ушла. Пауза. Бакланов заметил стакан, взял в руки, с отвращением понюхал и поставил обратно. Затем оглянулся на Столярова, сидящего с деланно безразличным видом на подоконнике дежурной комнаты, и поманил его к себе.

С то л я р о в (*подошел*). Слушаю, товарищ капитан третьего...

Б а к л а н о в (*обнял Столярова за плечи, пристально посмотрел в глаза, прижал к себе и поцеловал. Затем сразу повеселел. Завопил радостно*). Ершова! (*И когда та появилась на крыльце.*) Заберите это все. Давайте сюда свой омлет. Быстро.

Е р ш о в а (*ее голос дрожит*). Да уж он простыл, наверно. Подогреть?

Б а к л а н о в. Не надо. Стойте. Что я вам еще хотел сказать? Да! Это вы нашивки мне перешили? Ясно. Очень красиво. Прямо замечательно. Спасибо, Маруся.

Занавес

Действие третье

Вечер того же дня. Просторная скупобставленная комната в строении дачного типа. Стол, пара стульев, кожаная кушетка, стеклянная горка с хирургическими инструментами. Это кабинет главного врача. Только кресло-качалка и изящные занавески несколько нарушают этот суровый стандарт и говорят о стремлении создать некоторый уют.

Окна и стеклянная дверь выходят на открытую террасу. Другая дверь, маленькая, выкрашенная в белую краску, соединяет кабинет с приемным покоем. За столом — Лебедева. Она в белом халате и такой же косынке. Левин слегка покачивается в кресле. На нем белоснежная рубашка, твердый воротничок и черный шелковый галстук. Его тужурка висит на спинке стула.

Сумерки. Снаружи доносятся звуки гитары и приятный мужской голос. Затем раздается треск, переходящий в пыхтение, и дрожащим светом вспыхивает настольная лампа.

Лебедева (*быстро выключила лампу*). Придется опустить шторы.

Левин. Обидно. Хороший вечер.

Лебедева. Можно не зажигать.

Левин. Делай как хочешь, дружок. Я тебя и так вижу. (*Пауза.*) Ты никого не ждешь?

Лебедева. Может быть, зайдет Одноруков.

Левин. Кто это?

Лебедева. Новый заместитель по хозяйству. Мы с ним уже поругались.

Левин. Варвара, ты становишься сварливой.

Лебедева. Я была совершенно права. Стоило адских трудов наладить здесь электролечение. Сегодня он чуть не сорвал мне процедуры.

Левин. Почему?

Лебедева. Потому что — вот... (*Постучала по столу.*) Заявил, что преступно из-за одного раненого запускать днем двигатель и жечь горючее, которое нуж-

но фронту. Поражаюсь, что еще есть люди, которым нужно доказывать, что человек стоит дороже, чем ведро трофейного мазута. Конечно, я устроила скандал, и ток дали.

Левин. Нагрубила, наверное.

Лебедева. Да уж отвела душу. Теперь самой жалко. Он ведь не злой человек. Даже не очень глупый. Только думает как-то по-особому. Словами, а не мыслями.

Левин. У тебя сейчас немного раненых?

Лебедева. Один. И того скоро выпишу.

Левин. Отдыхаешь?

Лебедева. Это не надолго. Скоро опять негде будет ставить койки. *(Вздохнула.)* Ты извини, что я такая скучная сегодня.

Левин. Пожалуйста. Я сам не очень веселый.

Лебедева. Почему?

Левин. Не знаю. Утомительный день.

Лебедева. Как твой немец?

Левин. Дал очень ценные показания.

Лебедева. Ты очень странно говорил с ним там, на острове. Мне показалось даже, что вы встречаетесь не первый раз.

Левин. Угадала.

Лебедева. Безумно интересно. Но ты, как всегда, ничего не расскажешь?

Левин. Нет, почему же... Могу.

Лебедева. Ты знал его раньше?

Левин. И ты.

Лебедева. Я?

Левин. Ты помнишь доктора Виземана?

Лебедева. Виземан, Виземан... Он жил на Загородном? Его звали... погоди, я сейчас скажу...

Левин. Генрих Федорович.

Лебедева. Постой, я сама... Верно — Генрих Федорович. Небольшого роста, с пышными седыми усами, в золотых очках...

Левин. Попробуй вызвать в своей памяти одну идиллическую картинку прошлого, и тогда ты все поймешь. Гостиная. Зеленый бисерный абажур. Гипсовая маска Бетховена над шредеровским роялем...

Лебедева. Это было очень давно. Я была девчонкой.

Левин. В течение многих лет трое пожилых людей, все трое — врачи, регулярно, раз в неделю, собирались

под зеленым абажуром и музицировали. Играли Гайд-на, Мендельсона, Чайковского. На рояле играл твой покойный отец Михаил Петрович, на скрипке мой старик Иосиф Самойлович, которого теперь тоже нет в живых. На виолончели играл хозяин дома. Затем переходили в столовую, где Елена Густавовна поила чаем с очень вкусным штруделем. Помнишь?

Лебедева. Помню.

Левин. В двадцать пятом году Елена Густавовна умерла от родов. Родился мальчик, которому было дано имя в честь великого немецкого поэта — Вольфганг.

Лебедева. Помню мальчика. Я держала его на руках. Слушай, Левин... Это — он?

Левин. Да.

Лебедева. Ты уверен?

Левин. Слушай дальше. В тридцатом году старик Виземан получил небольшое наследство и уехал в Германию. Его отговаривали, но старик, помнится, сказал: «Мальчик должен знать свою родину, а порядочным человеком можно быть везде». Мальчику было тогда пять лет. Перед войной, будучи в Штеттине, я разыскал дом доктора Виземана.

Лебедева. Ты был в Штеттине?

Левин. Не задавай лишних вопросов. Конечно, я навел справки. Оказалось, старика увезли в гестапо. Этого можно было ожидать: двенадцать лет он дышал одним воздухом с нами. То, что творилось в Германии, казалось ему варварством. Он был осторожен, но на него все-таки донесли. Теперь я знаю кто.

Лебедева. Сын?

Левин. Фашистами не рождаются. Их делают.

Лебедева. А потом сын доносит на отца. Ужасно. *(Вздрыгнула, как от брезгливого чувства.)*

Левин. Рядовой случай.

Лебедева. Я тоже давно перестала удивляться. Но меня убивает наглядность. Тот самый мальчик! *(Пожала плечами.)* Фашист, родившийся в Штеттине, — это еще как-то укладывается в сознании. Даже в Лондоне или Чикаго. Но фашист, родившийся в Ленинграде, — в этом есть что-то бесконечно оскорбительное.

Левин. Жизнь полна парадоксов.

Лебедева *(тряхнула головой)*. Ладно, к черту! Хочешь чаю?

Левин. Хочу.

Лебедева (*встала, включает электрочайник*). Ты извини, что я тебе сразу не предложила. Сегодня я очень невнимательна.

Левин. В таком случае проверь, есть ли в чайнике вода.

Лебедева (*заглянула в чайник*). Конечно, нет. Что такое — почему у меня все из рук валится?

Левин. Забыл спросить. Как ты рассталась с Баклановым?

Лебедева. Можешь быть спокоен — я не стала с ним вступать в объяснения. И — прошу тебя — не будем больше говорить о нем. Меня во всяком случае эта тема не волнует. (*Звонит в колокольчик.*)

Таисия Ивановна (*приоткрыла дверь. Это пожилая квадратная женщина с голосом ворчливого ребенка. Одета в халат и чепчик. Она вольнонаемная и поэтому не слишком разбирается в вопросах субординации*). Ты что, Варя?

Левин. Здравствуйте, Таисия Ивановна.

Таисия Ивановна. Здравствуй. Опять приехал? (*Лебедевой.*) А вчера-то... Уж он так тебя ждал, так ждал...

Лебедева. Ладно, нянька. Принеси-ка водички. Полчайника.

Таисия Ивановна. Максимушка к тебе просится. Душу вытянул. Я не пускаю.

Левин. Кто это — Максимушка?

Лебедева. Капитан-лейтенант Волчок, мой единственный пациент.

Таисия Ивановна. Замучился совсем. И меня замучил. Конечно, скучно одному. Сегодня пристал: «Расскажи, нянька, сказку. Раз ты нянька, должна уметь сказки говорить». А я их и не помню совсем.

Волчок (*деликатно постучал, затем приоткрыл дверь*). Разрешите?

Таисия Ивановна (*уходя*). Пусти уж его. На минуточку.

Волчок (*вошел. Он в сером халате, на голове морская фуражка. У него веселые глаза очень общительного человека. В руках огромная пачка книг*). Здравствуйте, Варвара Михайловна. Здравия желаю, товарищ подполковник.

Лебедева. Мы уже здоровались сегодня. Вам что, Максим Федорович?

Волчок. А вы сами велели вечером зайти.

Лебедева. Не помню.

Волчок. Точно. Утром, на электризации. Я вам про нашего комдива начал рассказывать, да майор Одноруков помешал. Вы и сказали: «Заходите, Максим Федорович, вечером и все мне тогда про него подробно расскажете».

Левин отвернулся, чтоб скрыть улыбку.

Лебедева (смущена). Да, что-то припоминаю. Простите, сейчас я занята.

Волчок (со вздохом). Жалко. Очень поговорить хочется.

Лебедева. Вы почитайте. Неужели все прочли?

Волчок (обрушивает книги на стол). Все, подчистую. Апулея. Хемингуэя. «Тихий Дон». Тарле — «Наполеон». Стихотворения Блока. Теперь «Общую патологию» одолеваю. Со скрипом идет, не очень понятно. Вот, например, такой вопрос...

Лебедева. Потом, потом.

Волчок. Вот тут сказано... Прошу прощения, товарищ подполковник, один только вопросик. (Читает.) «Если процесс заживления протекает нормально, на восьмой — десятый день после снятия швов допускается изменение стационарного режима...» Ага! Вот! А вы меня держите.

Лебедева. А контузия? Ничего, ничего. Потерпите.

Волчок. Потерпите! Этак война кончится. Золотое время уходит.

Левин. Скучаете?

Волчок. Сил моих нет, товарищ подполковник. Неделю целую один как перст. Третьего дня привезли одного чесоточного — лихо в шашки играл. Вчера — готово дело — выписали. Это жизнь?

Тайсия Ивановна (вернулась с чайником). Все жалуешься? Капризный стал, не приведи бог. Как маленький.

Лебедева. Что же мне с вами делать? Ну, хотите, грех на душу возьму, портвейна лечебного пропишу?

Тайсия Ивановна. Сколько ему? Сто?

Лебедева. Двести. Каждый день к ужину. И — марш!

Волчок (обиженно.) Что я вам, алкоголик какой-

нибудь, чтоб в одиночку, не чокнувшись с хорошим человеком, вино потягивать? В компании — давайте, я вам литр уберу...

Т а и с и я И в а н о в н а. Иди, иди. Покоя от тебя нет.
(Выпроваживает его и уходит.)

Пауза.

Лебедева. Не понимаю, чему ты радуешься?

Левин. Я? Ничуть.

Лебедева. Как будто я не вижу. (Вызывающе.)
Следователь! Воображает, что поймал меня с поличным. А я и не думаю отрицать. Да, да, да. Все верно. Он его заместитель. Я говорила с ним о нем. Это еще ровно ничего не значит.

Левин. Прежде всего — уточним. Кто чей заместитель? О ком — о нем?

Лебедева. Не притворяйся бестолковым. Волчок — заместитель Бакланова.

Левин. Ага! Теперь я понял. И ты говорила с ним.. о ком?

Лебедева. О Бакланове.

Левин. Ага! Ну вот, теперь я хоть понимаю, о ком идет речь. Так что ты хотела сказать?

Лебедева. Я ничего не хотела. Это ты что-то собирался сказать.

Левин. Разве? Не помню.

Лебедева. Санька, я тебя сейчас ударю.

Левин. За что?

Лебедева. Ты отлично понимаешь. Нет, серьезно. Ты глуп, если придаешь этому хоть какое-нибудь значение. Мне этот человек совершенно безразличен, даже неприятен.

Левин. Какой человек? Волчок?

Лебедева. Бакланов. Не смей меня дразнить. И если я разговаривала о нем с Максимом Федоровичем, то это еще не дает тебе права издеваться. Я всегда считала, что не так уж плохо разбираюсь в людях, и, естественно, мне хочется понять, как я могла так глупо ошибиться. В госпитале он выглядел совсем иначе. Мне казалось, что он умен, талантлив, смел, независим.. Этаким самородок.

Левин. Он и есть самородок. В хороших руках он отшлифуется, и в нем заблестят новые грани. Вообще, он мне нравится.

Лебедева. Перестань. Не говори вздора. Отвраща-

тительно самодовольный пошляк. Абсолютно примитивный.

Левин тихонько свистнул.

Не свисти. Где ты воспитывался? *(Пауза.)* Что ты этим хочешь сказать?

Левин. Варвара, ты влюблена.

Лебедева. Я привыкла думать, что вы умнее.

Левин. Ты влюблена по уши. Противно глядеть, до чего ты влюблена.

Лебедева. Если ты еще хоть раз скажешь это слово — я уйду. Оставайся один. Как ты смеешь мне не верить? Если ты не веришь мне в таких пустяках, это значит... значит, что ты меня совсем не уважаешь. *(Вдруг расплакалась.)*

Левин *(вскочил.)* Варюша, что ты? Ну, прости. Что с тобой?

Лебедева *(быстро справилась со слезами)*. Ничего. Нервы. Ты не забывай — скоро четыре года... А я все-таки не мужик. Я устала, понимаешь?

Левин *(гладит ее по голове)*. Держись, Варька. Ты же сильная.

Лебедева. Я устала. Ты попал в случайное за-тишье, а то ведь каждый день, каждый день... Кругом кровь, грязь, ругань, страдание... С утра до ночи режешь, как мясник, пока не отупеешь и не свалишься. Я огрубела, стала бесчувственной — и рада. Так легче...

Левин. Это пройдет. Ты отдохнешь и будешь опять прежней. Нет, прежней ты уже не будешь. Ты будешь лучше.

Лебедева. Ужасно хочется покоя... и счастья. Женщине трудно одной. *(Улыбнулась.)* Вот выйду за тебя замуж...

Левин. Меня уже не спрашивают.

Лебедева *(удивленно подняла на него глаза)*. Ты не хочешь?

Левин. Не уверен.

Лебедева. Постой! Как ты смеешь так разговари-вать? Ты, что же, не женился бы на мне, если бы я со-гласилась?

Левин. Думаю, что нет.

Лебедева. Вот это мило! Я тебе уже не нрав-люсь?

Левин. Нравишься.

Лебедева. Я тебя отказываюсь понимать. Может

быть, я тебе вообще не нужна? Не пойми, что я навязываюсь. Мне просто любопытно.

Левин. Видишь ли... Мне скоро пятьдесят лет, и я никогда не был женат. Всю жизнь меня носило из города в город, из страны в страну, и я никогда не принадлежал самому себе. Теперь, как никогда, мне хочется, чтоб у меня была семья, хочется личного счастья. Я люблю тебя уже десять лет. Но к пятидесяти годам становишься мудрее. Начинаешь понимать, что жить с женщиной, которая тебя не любит, в общем ничуть не радостней, чем с женщиной, которую ты не любишь.

Лебедева. Почему же ты не ушел от меня? Значит, ты ждал чего-то? На что-то надеялся?

Левин. Всякому, кто любит, свойственно надеяться на чудо. Но чуда не произошло. Ты просто устала. Это пройдет.

Лебедева. Вероятно, ты прав. Иногда я становлюсь страшной эгоисткой. Простил?

Левин. На правах дружбы я разрешаю тебе эгоизм. Все влюбленные — эгоисты.

Лебедева. Опять? Зачем ты хочешь убедить меня в том, чего нет? *(Пауза.)* Жаль, ты не видел, как я его отделала на прощанье. Он будет обегать меня за версту

Левин. А если он все-таки появится?

Лебедева. Выгоню.

Стук в дверь.

Тайсия *(вошла)*. Майор пришел.

Лебедева. Вот уж некстати. *(Левину.)* Я тебе говорила — Одноруков.

Тайсия. Одноруков-то еще из городу не ворочался. Незнакомый какой-то.

Лебедева *(вздрогнула)*. Незнакомый?

Тайсия. А может, и видела где...

Лебедева. Майор?

Тайсия. А может, и не майор. Морской.

Лебедева. Левин, милый... Это он. *(Тайсии.)* Меня нет.

Тайсия. Вот еще! Говорила бы раньше.

Лебедева. Все равно. Не пускай.

Тайсия. Еще чего? Не пускай! Такой мужчина! Да он меня пальцем...

Лебедева. Иди, иди. Не разговаривай.

Тайсия, качая головой, ушла.

Левин (встал, надел тужурку). Я думаю, мне лучше уйти.

Лебедева. Если ты мне хоть немножко друг, ты никуда не уйдешь. И поможешь от него избавиться.

Левин (садится). Каким образом?

Лебедева. Неужели я должна учить подполковника, как защитить женщину?

Левин. Хорошо, хорошо. Успокойся.

Из-за стены отчетливо слышно: «Отстань, говорю, старая. Отцепись».
Затем дверь распахнулась.

Бакланов (в дверях). Ага, вы здесь? Мне нужно с вами говорить.

Левин (вяло). Товарищ капитан третьего ранга, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы находитесь в присутствии подполковника.

Бакланов (удивлен). Разрешите обратиться к капитану Лебедевой, товарищ подполковник?

Левин. Нет. Не разрешу. (Пауза.) Уходя, прикройте, пожалуйста, как следует дверь. Очень сквозит.

Бакланов вспыхнул, но вовремя сдержался. В бешенстве выскочил из кабинета, хлопнув дверью.

Лебедева. Левин, ты прелесть.

Левин. Ты заставляешь меня делать глупости.

Лебедева. Как ты думаешь — ушел он?

Левин. Сомнительно.

За стеной грохот, звон разбитого стекла и испуганный вскрик Таисии.

Лебедева. Господи!

Левин. Он еще здесь. Это несомненно.

Таисия (вошла). Ну вот... Говорила я.

Лебедева. Что случилось, нянька?

Таисия. Майор поранился. Перевязывай теперь.

Лебедева. Ничего не понимаю.

Таисия. Выскочил, сел на стол и сидит. Я говорю — уходи, здесь прием на покой, а ожидальни нет. Вдруг он кулачищем по столу как треснет — стекло зеркальное вдре�г. И руку себе раскровянил.

Лебедева (вскочила). Идиот! Еще подхватит инфекцию. (Выбежала.)

Таисия заковыляла за ней. Левин, улыбаясь, неторопливо встал, вынул портсигар и вышел курить на террасу. На секунду комната пуста. Затем Лебедева возвращается, таща за собой Бакланова. Его левая рука окровавлена, но это его, по-видимому, не слишком расстраивает.

Бакланов. Осторожно, часы раздавите.

Лебедева (*отпустила его руку*). Ну-с? Что это за дикие фокусы! Отвечайте. (*В отчаянии.*) Он еще смеется!

Бакланов. Так, может быть, все-таки поговорим?

Лебедева. Не желаю я с вами разговаривать.

Бакланов. Как хотите. Я один говорить буду.

Лебедева. А я не стану слушать. (*Спустила шторы, включила верхний свет, схватила чайник и подошла к тазу.*) Идите сюда. Снимите часы. Засучите рукав. Держите руку над тазом.

Бакланов. Ой! Горячо.

Лебедева. Терпите. Нельзя быть таким нетерпеливым. (*Рассматривает руку.*) Кажется, благополучно, осколков нет. Нечего улыбаться. Ведете себя отвратительно. За такие глупости в военное время по головке не гладят. В сорок первом году у нас в морской пехоте на моих глазах расстреляли перед строем одного такого умника. Уверяю вас, никто о нем не пожалел.

Бакланов. Еще скажите: «Ваша кровь принадлежит народу».

Лебедева. И скажу. Кстати, совсем не глупая мысль.

Бакланов. Всякая умная мысль хороша на своем месте. Я, Варвара Михайловна, за свою родину отдал крови без малого ведра полтора. И если довелось пролить десять грамм по собственной дурости, то, разрешите, уж как-нибудь без нравоучений.

Лебедева. Вы зачем сюда явились? Грубить? (*Вынула из горки баночки с йодом и коллодием.*) Держите руку. Вот так, а то мне не видно. (*Щедро мазнула йодом.*) Что? Разве больно?

Бакланов (*сморщился*). Еще бы не больно.

Лебедева. Вот и хорошо, что больно. Очень рада. (*Мазнула еще.*) Женщины гораздо лучше переносят боль. Подождите, я еще коллодием залью.

Бакланов. Щипать будет?

Лебедева. Обязательно.

Бакланов. За что вы на меня так сердитесь?

Лебедева. Вы меня об этом уже спрашивали. Я совсем не сержусь на вас.

Бакланов. Нет, сердитесь. Только не пойму, за что.

Лебедева (*мазнула коллодием*). Щиплет?

Бакланов (*не очень искренне*). Н-нет

Лебедева. Удивительно. Должно щипать.

Бакланов. Сначала-то я подумал... Ну да ладно. Не стоит.

Лебедева. Нет уж, говорите, если начали.

Бакланов. Откровенно сказать, подумал, что вы от меня вчера другого ждали, а я, как теленок, уши развесил. Ну, а женщине это обидно бывает.

Лебедева. Какая гадость. Уж не сознавались бы.

Бакланов. А вот теперь только посмотрел на вас и сам чувствую, что нехорошо. А что — врать лучше?

Лебедева. А вы никогда не лжете?

Бакланов. Редко.

Лебедева. Можете вы мне совершенно честно ответить? Помните, я собралась уходить, а вы сказали, что нажмете кнопку... Вы бы нажали?

Бакланов кивнул головой.

Послушайте, вы чудовищно рисковали.

Бакланов. А я так считал, что риск самый ничтожный.

Лебедева. Значит, все это неправда про боевую тревогу?

Бакланов. Почему неправда? Все точно.

Лебедева. До сих пор не понимаю, на что вы рассчитывали?

Бакланов. Расчет самый простой. Приходит ко мне женщина, не с ветру откуда-нибудь, а капитан Балтийского флота, советский офицер, значит, сообщает, что к чему. Сама она такого хамства нипочем не сделает, стало быть, и меня удержит.

Лебедева *(смеется)*. Выходит, я должна благодарить вас за доверие? Впрочем, мы квиты.

Бакланов. Почему?

Лебедева. Я вам тогда же отплатила доверием за доверие. Когда я предложила вам выбор — вы помните?

Бакланов. Еще бы.

Лебедева. Я тоже верила в то, что вы меня не подведете.

Бакланов. Правда?

Лебедева. По крайней мере мне так казалось.

Бакланов. Спасибо.

Лебедева. Не благодарите. С меня хватит экспериментов. Еще раз я бы не рискнула. Не трогайте ранку грязными пальцами. Сейчас я вам забинтую.

Б а к л а н о в. Почему вы так ко мне переменялись?

Л е б е д е в а. Я? Нет. Вы, Сергей Романович, недавно хорошую фразу сказали. Не знаю, помните ли вы, а мне она запала. «Люблю, чтоб все было первый сорт». Вот и у меня такой же характер. В жизни не хотела ничего ни чужого, ни лишнего. А хорошего — хочу. Красоты — хочу. И любви хочу — настоящей. И мне не хочется прожить свою жизнь кое-как. Мне кажется, что я могла бы очень сильно любить и быть для любимого еще долго интересной и всегда новой, такой, какой я умею быть для своих друзей, только еще в тысячу раз ближе. И мне горько думать, что человек, которого я люблю, может пройти мимо всего, чем жаждет одарить его мое сердце, и увидит во мне только не первой свежести бабу. Вместо того чтоб расцвести, я завяну, буду скучна, и он будет прав, если бросит меня через неделю. Сейчас у меня есть работа, которую я обожаю, хотя она выматывает у меня все силы, есть несколько друзей, я спокойна и почти счастлива. И когда в мою жизнь вторгается что-то третьесортное, ненастоящее — я защищаюсь. Я не мирюсь на малом, Сергей Романович, и никогда не помирюсь. Я хирург не только по ремеслу, но и по убеждению. Если вижу, что гнило, — режу.

Б а к л а н о в. Понимаю.

Л е б е д е в а (*вздыхнула*). Ничего-то вы не понимаете. Давайте я забинтую вам руку.

Б а к л а н о в. Это вы хорошо сказали. Очень хорошо. Только напрасно вы думаете, что я вас не понимаю. Я и гвардейцам своим про то же толкую. Рассказывал я вам, как я вместо Однорукова доклад делал? Так я этим и закончил: «Что значит быть гвардейцем? Это значит, на малом не мирись, с судьбой не торгуйся, все отдай, ничего не проси, а за народом ничего не пропадет, позора не простят, добра не забудут». Ужасно мне хлопали. Эх, есть у меня одна мечта... Только вы не смейтесь.

Л е б е д е в а (*делая перевязку*). Постараюсь.

Б а к л а н о в. Вот кончим войну, сыграем победу — демобилизуюсь. И буду проситься на работу в район. Самый захудалый выберу, такой, от которого на всю область срамота. Условие — ребят своих беру человек пять. Максима — в райком, сам на исполком сяду, Павло Колодуба — в земагдел, Гургена — в райторг. Взял бы Егора на просвещение, да не пойдет — кадровик,

военная косточка. А месяцев через восемь или, для верности, через годик — милости прошу. Посмотрите.

Лебедева. На что?

Бакланов. На гвардейский район. Меньше не мирюсь.

Лебедева *(улыбается)*. Ужасный вы все-таки ребенок. А разве бывают гвардейские районы?

Бакланов. Нет — так будет. Зачем спорить — увидите. Как въедете — по дороге узнаете. Вымощу, только газуй. В земле обязательно пороюсь, может, залежи какие открою. А уж порядок наведу, как у себя на дивизионе — ни баловства, ни воровства... И вообще — **выходите-ка** за меня замуж.

Лебедева. Что?

Бакланов. То, что слышите. Больницу вам выстрою — командуйте. А года через два, чем черт не шутит, мы еще с вами в краевом масштабе заворачивать будем.

Лебедева. Шутите, надеюсь.

Бакланов. Зачем же шутить. Уж если я что сказал, то от слов своих не прячусь. Идет?

Лебедева. Не болтайте вздора. Держите руку как следует.

Бакланов. Сами же говорите — настоящего хочу. Так чего же вам лучше? А шутить у меня нисколько охоты нет, потому что женатый человек не свободный, а я за свою свободу не на шутку держусь.

Лебедева. Великолечно. Командир принял решение. А меня уже не спрашивают? Почему вы так уверены, что мне нужна ваша свобода, которой вы так дорожите? Нет, дорогой Сергей Романович, замуж я за вас не пойду.

Бакланов. Пойдете.

Лебедева. Послушайте...

Бакланов. А я говорю — пойдете. Голову себе сломаю, а будет по-моему. И никуда вы от меня не денетесь.

Лебедева. Ну, хватит! Сыта по горло. *(Звонит.)* Нянька!

Бакланов. Прикажете метлой гнать?

Лебедева. Нет, зачем же. Разговор перестал быть занимательным, и я вспомнила, что у меня есть еще другие обязанности. *(Вошедшей Таисии.)* Вот. Перевяжи товарища. Я буду в рентгеновском. Если вернется майор Одноруков — постучи ко мне. *(Ушла.)*

Пауза.

Т а и с и я. Ну? Зачем стекло разбил? Хорошо это? Стекло казенное — денег стоит.

Б а к л а н о в. Не вяжись, старая. Тоже — денег стоит! *(Выбросил из кармана несколько бумажек.)* Хватит, что ли?

Т а и с и я. Эва! Размахался! На кой же этакую про-рву? И не мне это надо, а майору, под квитанцию. Товарищу Однорукову.

Б а к л а н о в *(в ужасе)*. И тут Одноруков? По пятам ходит.

Л е в и н *(вернулся с террасы)*. Варвары Михайловны нет?

Т а и с и я. Вышла.

Л е в и н. Спасибо.

Пауза.

Б а к л а н о в. Некрасиво, товарищ подполковник.

Л е в и н *(обернулся)*. Некрасиво? А точнее — что именно?

Б а к л а н о в. Ладно, нянька. Спасибо.

Таисия вышла.

Не по-хорошему вы со мной обошлись. Конечно, вы по званию старше, ваших законных прав от вас никто не отнимает. Но в личном вопросе я свое старшинство всегда в карман спрячу. Перед женщиной мы все равны. Нехорошо. Я ведь не мальчик. Вот *(показывает на грудь)*. Заслужите-ка.

Л е в и н. Я готов признать, что вел себя неудачно. Действительно, есть случаи, когда не следует считаться званиями. Только если уж хотите быть до конца справедливым, согласитесь — орденами тоже. Кстати, орденов у меня не меньше, разница лишь в том, что вы получили свои в четыре года, а я — за двадцать семь.

Б а к л а н о в. И не носите?

Л е в и н. Разные профессии — разные традиции. На вашем дивизионе есть обычай идти в бой обязательно в парадном кителе и при всех орденах. Прекрасный обычай. А когда получает орден разведчик, об этом не всегда бывает в газетах.

Б а к л а н о в. Прошу прощения.

Л е в и н. И вас прошу извинить меня. Вообще, нам пора покончить с недоразумением. Вам угодно видеть во мне соперника. К моему глубочайшему сожалению, дело обстоит не так. Я не обязан посвящать вас в свои

отношения с Варварой Михайловной, но считаю не лишним, чтобы вы знали о нашей давней и прочной дружбе. Варвара Михайловна, по моему глубокому убеждению, человек незаурядный, чистой души и большого сердца...

Б а к л а н о в. Зачем вы мне об этом говорите?

Л е в и н. А вот зачем: если вы любите Варвару Михайловну, я даже, если бы хотел, не могу вам в этом помешать. Но всякий человек, который попытался бы причинить ей незаслуженную боль или отнестись без должного уважения, немедленно наживает во мне злейшего врага.

Б а к л а н о в. Зачем вы все это мне говорите?

Л е в и н. Значит, есть основания.

Б а к л а н о в. Что? Когда же я хоть единым словом?..

Л е в и н. Достаточно одной буквы — и вы все поймете.

Б а к л а н о в. Говорите.

Л е в и н. «Аз». *(Пауза.)* Я вижу, вы вспомнили.

Б а к л а н о в *(опустил голову)*. Ах, черт... Вы... слышали?

Л е в и н. Да.

Б а к л а н о в. Она... знает?

Л е в и н. Конечно.

Б а к л а н о в. Откуда?

Л е в и н. Я ей сказал.

Б а к л а н о в. Так. И промолчала.

Л е в и н. Я просил ее не говорить.

Б а к л а н о в. А теперь решили сами сказать?

Л е в и н. Да. Мне подумалось, что лучше, если вы будете знать.

Б а к л а н о в. Для кого лучше?

Л е в и н. Для вас.

Б а к л а н о в *(опускаясь на стул)*. Вот несчастье-то! Сорвется этакая глупость с языка и ходи замаранный... Ну, что я могу ей объяснить, когда я и себе-то объяснить не могу? Ну, зачем сказал? *(Бьет себя по лбу.)* Зачем?

Л е в и н *(улыбнулся)*. Именно. Самый существенный вопрос — зачем? Зачем вам, взрослому человеку, заслуженному бойцу, было унижать себя перед мальчишкой, которого вы обязаны воспитывать? В эту минуту он был сильнее вас, он диктовал, а вы подчинились.

Б а к л а н о в. Не простит. И права будет.

Л е в и н. Не отчаивайтесь. Случай сам по себе пустяковый. Но подумать стоит. *(Пауза.)* Теперь скажите,

разве ваш дивизион не назначен в операцию? По моим сведениям, выход кораблей назначен на один час ноль-ноль.

Б а к л а н о в. Точно. Успею. У меня все рассчитано. Катер дожидается. Три часа ходу, в ноль часов буду на корабле.

Л е в и н (взглянул на часы). Тогда вам пора.

Дверь приоткрылась.

В о л ч о к (высунулся, озираясь). Сергей! Время. Б а к л а н о в. Иду.

Волчок скрылся.

Да. Время. Спасибо, товарищ подполковник. Передайте Варваре Михайловне мой привет и скажите, что прощения у нее не прошу. Сам себе не прощаю. Живы будем — еще встретимся. И с вами тоже.

Л е в и н. Вероятно, не дальше, чем завтра. Ну, желаю успеха.

Б а к л а н о в. Будьте здоровы.

Рукопожатие.

Смотрю я на вас и думаю: прекрасной души человек. Либо уж до того хитер... Извините за такую откровенность.

Л е в и н. В самом деле? Так вот: до той поры, пока вы не решите окончательно для себя эту дилемму, я ничего не буду иметь против, если вы будете со мной менее откровенны.

Б а к л а н о в. Разрешите идти, товарищ подполковник?

Л е в и н. Да, пожалуйста.

Когда Бакланов вышел, Левин опять садится в качалку. Он тихо насвистывает какой-то мотив.

Л е б е д е в а (вошла со стороны террасы). Он давно ушел?

Л е в и н. Только что.

Л е б е д е в а. Слава богу. (Пауза.) Вы разговаривали о чем-нибудь?

Л е в и н. Так, немножко.

Л е б е д е в а. Интересно, о чем вы могли говорить?

Л е в и н. О разных разностях. Больше о службе.

Л е б е д е в а. О службе?

Левин. Да. Выясняли некоторые тонкости субординации. Ты знаешь, он — настоящий парень.

Лебедева. Перестань.

Левин. Ты очень милая, Варька. Только очень бестолковая.

Лебедева. Ты уже забыл...

Левин. Нет, не забыл. Он еще не умеет управлять собой. Катером управлять легче. Но это тоже придет. У него хорошая голова.

Лебедева. Которая начинает кружиться.

Левин. Он переживает опасный период. Если не остановится, то далеко пойдет. Остановится — я ему не завидую.

Лебедева. Он меня вывел из терпения, и я опять была с ним очень резка.

Левин. Напрасно. Для того чтобы повидать тебя пятнадцать минут, человек сорок миль гнал катер в свежую погоду. Сегодня в ночь он идет высаживать десант. Первый бросок. Из таких операций не всегда возвращаются.

Лебедева (тихо). Я не знала.

Левин. Впрочем, тебе видней. Может быть, ты и была права.

Лебедева (вскочила). Конечно, я вела себя нелепо. Удивительно, до чего я бываю иногда груба и зла. И зачем? Теперь он ушел. Представляю, в каком состоянии.

Левин. Смотри — он забыл часы. Может быть, он еще вернется.

Лебедева. Нет, уж теперь он не вернется. Я постаралась. И потом он, наверное, спешит. Станет он опаздывать на корабль. Он этого не сделает даже из-за меня. Санечка, ну почему я такая дрянь? Ведь он сегодня меня ничем не обидел. Наоборот, мне показалось...

Стук в дверь.

Что тебе, нянька?

Тайсия (вошла). Ну вот. Майор-то твой...

Лебедева. Что случилось?

Тайсия. Что? Максимушку украл.

Лебедева. Что за вздор ты болтаешь? Как украл?

Тайсия. Увез. Посадил вперед себя на самокат, да как чесанет. Вот теперь тебе будет!

Лебедева (охнула). Негодяй.

Тайсия. Теперь уж небось не догонишь.

Лебедева. Какой негодяй. Он приезжал за ним. Ты слышишь, Левин,— за ним! А я-то думала... (*Выбегает.*)

Таисия тащится за ней.

Левин. Молодец!

Лебедева (*вернулась*). Левин! Дай мне твой «виллис».

Левин. Варвара, покорись. Ты пойми — его и след простыл.

Лебедева (*бессильно опустила руки*). Что же делать?

Левин. Трезво оценить факты. Птичка улетела. Должен тебе сознаться, что, когда твой пациент только заглянул сюда, я уже по его носу видел, что не сегодня-завтра он обязательно удерет.

Лебедева. Почему же ты молчал?

Левин. У меня не было юридических доказательств.

Лебедева. Все вы заодно... Но Бакланов! Ненавижу! Пусть только попробует показаться мне на глаза. Не смей больше произносить при мне это имя.

Левин. Слушаюсь.

Таисия (*в дверях*). Ну вот. Майор вернулся.

Лебедева (*радостно вскрикивает*). Вернулся? Нянька, зови. Сейчас же.

Таисия. Во! Зови! Да ты думаешь—тот? Наш вернулся. Одноруков. Сейчас зайдет.

Лебедева (*без сил опускается на стул*). Будь ты проклят!

Занавес

Действие четвертое

происходящее уже на другом острове, через двенадцать часов после высадки десанта.

Послеполуденное солнце освещает временный КП (командный пункт) десантных кораблей. КП состоит из обычной палатки и деревянной вышки с площадкой для сигнальщика. У подножия вышки стоит знакомая стереотруба на треноге. Она обращена к заштилевшему морю. На горизонте отчетливо видны соседние острова.

Еще на рассвете здесь шел бой, следы его еще свежи — повсюду разбросаны стреляные гильзы, патронные пачки, автоматные обоймы. На пороге палатки расположились Столяров и Волчок. Оба пишут положив на колени планшетки. Володя смотрит в стереотрубу.

Загудел зуммер полевого телефона.

Столяров (взял трубку). «Русалка» слушает. Так точно — я. Слушаю вас, товарищ два-ноль-два. (Пауза.) Есть. Спасибо. И вас также. (Пауза.) Кто? Одноруков? Н-нет, не появлялся. Понятия не имею. Есть. Волчок? Здесь. Передаю трубку.

Волчок (берет трубку, съехившись, но говорит даже преувеличенно бодро). Волчок слушает. Здравия желаю, товарищ два-ноль-два. Жалобы? На меня? Ничего не знаю. Как так — сбежал? Я не сбежал, а убыл. Почему в халате убыл? Кхм... В целях быстроты, товарищ два... Ранен? (Инстинктивно прячет за спину забинтованную руку.) Ничего подобного. Заверяю вас... Слово коммуниста? (Колебание.) Даю. Даю, но уточняю в том смысле, что, так сказать, царапина есть, а ранения, конечно, не было. Есть. Слушаюсь. (Положил трубку.) Ругается.

Столяров. Быстров! Передайте на корабли: «Операция по освобождению острова закончена. Командование высоко оценивает действия тральщиков, благодарит образцовую высадку десанта».

Володя. Есть. *(Взбирается на площадку и сигнализирует флагами.)*

Появляется Бакланов. Он задумчив и мрачен. Молча читает семафор. Затем подходит к палатке.

Бакланов. Отгремели пушки, заскрипели перья.

Волчок. Это уж как водится.

Бакланов. Пошла писанина. *(Расстилает куртку, садится.)* Жарко. Не выходит у меня Маликов из головы. Такой скромняга парень... Сам погиб, а корабль спас. Герой — и слов других нет.

Волчок. Тсс!

Ершова *(подходит с корзиной в руках. Ее глаза распухли от слез)*. Товарищи офицеры, кушать желаете?

Бакланов. Омлет?

Ершова. Колбаса жареная.

Бакланов. Пойдет. Спасибо, Маруся.

Ершова ушла. Все трое жуют. Волчок и Столяров продолжают работать.

Столяров. Молодцом держится.

Волчок. Но — переживает.

Бакланов. Вот, братцы, любовь! Кончается уж совсем, а все глазами кругом ищет. И шепчет — Мария...

Столяров. А мы и не замечали даже.

Волчок. Настоящая любовь шума не терпит.

Бакланов. Вот это верно.

Волчок. Георгий Иванович, проверь, пожалуйста, высадку мы начали — четыре пятьдесят две?

Столяров. Если вы не против точности — в четыре пятьдесят семь.

Бакланов. Егор, ты с какого года женатый?

Столяров. С тридцать восьмого.

Бакланов. Давно уж.

Столяров. Да еще до свадьбы два года вокруг да около ходил.

Бакланов. Два года! И о чем же вы между собой толковали?

Столяров. Ты лучше спроси, о чем мы не толковали.

Бакланов. Стихи, наверно, читал?

Столяров. Даже сам писать пробовал.

Бакланов. Ну и как?

Столяров (сдержанно). Для печати не подошли. Жене — нравятся.

Волчок. Минуточку. Как лучше сказать: «прямым попаданием снаряда» или «в результате прямого попадания».

Бакланов. Один черт. И так и этак пробоина.

Столяров. Веревкина надо отметить. Отлично действовал.

Бакланов. Пиши как знаешь. Видеть я его не могу.

Волчок. Почему?

Бакланов. Так. Большую я из-за него промашку в жизни сделал.

Волчок. А что такое?

Бакланов. Петуха пустил. И всю песню испортил.

Столяров. Туманно.

Бакланов. А тебе все на свете ясно?

Волчок. Задумался комдив.

Бакланов. А я как, по-вашему, не задумываясь живу?

Столяров. Не пойму, что ты на людей кидаешься. Чем ты недоволен?

Бакланов. Собой. Можешь ты это понять? Что? Удивительно?

Где-то рядом затормозил «виллис».

Столяров. Два-ноль-два приехал.

Бакланов. Ну, держись, Максим. (*Идет навстречу Радужному.*) Смирно!

Радужный. Вольно, вольно... Здравствуйте. Как здоровье, товарищ Волчок?

Волчок. Спасибо, товарищ капитан первого ранга.

Радужный. Ответ, что и говорить, дипломатический. (*Протягивает руку.*) Ты разве левша? Вот не знал. (*Бакланову.*) Раненых доставили?

Бакланов. Каких раненых, товарищ капитан первого ранга?

Радужный. На отправку в госпиталь. Не доставили? (*Взглянул на часы и разъярился.*) Ну, всё. Кончилось мое долготерпение. Пусть эта баба прощается с погонами. Не пощажу.

Бакланов. Какая баба, товарищ капитан первого ранга?

Радужный. Твой друг сердечный. Одноруков, индюк, чтоб его черти съели. (*Заметив, что Бакланов вздохнул с облегчением.*) Ты-то чего перепугался?

Бакланов. Нет, я ничего.

Радужный. Как так ничего — побледнел даже. *(Подумал.)* Как появится — гони его ко мне на расправу, а раненых срочно грузи на свою посуду...

Бакланов. Товарищ капи...

Радужный. Молчи, знаю. Ты слушай, что тебе говорят. На один корабль погрузишь, остальные держи в готовности. Собери-ка пока командиров.

Бакланов. Есть! *(Володе.)* Эй, юнга! Пиши на корабли: «Всем командирам срочно явиться к комдиву».

Володя *(с вышки)*. Есть!

Радужный *(осмотрелся)*. Не расстаешься с трубой своей? Пойдем, покажешь. *(Двинулся к трубе, сопровождаемый Баклановым.)* У меня для тебя новость.

Бакланов. Хорошая?

Радужный. Зависит от взгляда. Умному — радость, дурню — слезы.

Бакланов. Так. Кто же я, по-вашему?

Радужный. А вот сейчас видеть будем. *(Вскарабкался с помощью Бакланова на возвышение, мельком взглянул в окуляры.)* Ага! Растревожили муравейник. Ты подумай только. Давно ли ты на этот островишко только в окуляры поглядывал, а нынче вот — обеими ногами топчешь. А завтра перетащишь свою трубу вон на ту высотку, и опять перед тобой горизонт подвинется. Вот так и вся жизнь наша...

Бакланов. Идея ясна. Режьте сразу.

Радужный. Сдавай Столярову дивизион. Учиться поедешь.

Бакланов *(после паузы)*. Что так вдруг?

Радужный. Вот именно, что не вдруг. Еще третьего дня думал, что не к спеху, а вчера поглядел на тебя и встревожился. Подумал, посоветовался с умными людьми и решил, что ехать тебе самое время.

Бакланов. Не поеду.

Радужный. Это еще почему?

Бакланов. Поздновато мне за парту садиться. Четвертый десяток живу.

Радужный. А я шестой. Учусь, однако. Ишь ты, поздновато! Что ж ты, когда звания получал, не спорил? Не говорил, что рановато? *(Ткнул пальцем в украшенный золотым ободком козырек баклановской фуражки.)* Это тебе аванс выдан. Проживешь — чем жить будешь?

Бакланов молчит.

Рассказать? Сперва хвастаться начнешь. Потом загрустишь и попить станешь. Потом виноватых искать. Всех переберешь, а про себя забудешь. Потом жаловаться: измелечал-де народ, в наше время лучше было... Видел я таких, картина знакомая.

Б а к л а н о в. И довоевать не даете? Я четыре года по минам хожу, на мне живого места нет, так я одного дня в тылу не был, часа лишнего в госпитале не лежал. А теперь, победа близко — в тыл? Несправедливо.

Р а д у ж н ы й. Ничего, ничего. А повоевать мы с тобой еще успеем.

Б а к л а н о в. Как это так?

Р а д у ж н ы й. Умей вперед заглядывать. (*С широким жестом.*) Видишь — море?

Б а к л а н о в. Вижу.

Р а д у ж н ы й. Благодать, а? Не шелохнется. Это на поверхности. А загляни-ка поглубже. Смерть сторожит. Лежит этакая зараза на донышке, обросла для приличия всякой ракушкой и ждет своего часа. Девятнадцать раз она тебя не тронет, а на двадцатый, ежели ты ее вовремя с пути не убережешь, она тебе такое поднесет, что небу будет жарко. Эта пакость никаких капитуляций не признает и мирных договоров не читает. Теперь посчитай, сколько ее, этой пакости, еще на свете осталось. Не опоздаешь.

Б а к л а н о в. Все это правильно, крестный. Только я после войны служить не буду.

Р а д у ж н ы й. Это ты сам придумал? Или помогал кто?

Б а к л а н о в. Сам.

Р а д у ж н ы й. Оно и видно. Да кто тебя отпустит?

Б а к л а н о в. Отпустят. В случае чего — на комиссию. Худо-бедно — шесть ранений.

Р а д у ж н ы й. Такой разговор? Раны считать начал? А ты мои посчитай. Раз так — уходи. Уходи хоть в трубочисты, знать тебя не хочу. Был у тебя крестный, хотел, старый пень, из тебя большого человека сделать. Так вот забудь, что был. И дорогу ко мне забудь.

Б а к л а н о в. Зря вы на меня кидаетесь, Василий Васильевич. Добро бы я отдыхать собрался. Я дела по себе ищу. У меня планы.

Р а д у ж н ы й. Знаю я твои планы. Что ж ты думаешь, в гражданке все дурее тебя, ждут не дождутся, чтобы ты, как Магомет, им свой закон установил? Да ты

кто — агроном, инженер? Без науки и там пропадешь. А ты моряк, дура, прирожденный моряк. Я тебе много прощал, такое прощал, чего никому бы не спустил. За что? — пойми. Противно мне это тебе сейчас говорить, но долг велит, — за то, что у тебя талант. К морю талант. А ты его в землю зарыть хочешь. Ладно, уходи, брось дивизион, брось товарищей. Друзья пусть ходят по минам, после войны на этом много орденов не заслужишь.

Б а к л а н о в. Не понимаете вы меня.

Р а д у ж н ы й. Понимаю. Сам себя пойми.

В о л о д я (*подбежал*). Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться к капитану третьего ранга...

Р а д у ж н ы й. Знаем: «Приказание выполнено». Как тебя звать, молодец?

В о л о д я. Юнга Быстров, товарищ капитан первого ранга.

Р а д у ж н ы й. Учиться хочешь, Быстров?

В о л о д я. Ой! (*Задохнулся от счастья.*) Так точно.

Р а д у ж н ы й. А зачем тебе учиться?

В о л о д я. А как же без ученья? Человек рождается — только жрать умеет, больше ничего. Ходить — и то учат.

Р а д у ж н ы й (*хохочет*). Слыхал?

Б а к л а н о в (*Володе*). Ты, что ж, это сам выдумал?

В о л о д я (*потупился*). Нет. Не я. Старшина.

Р а д у ж н ы й. Какой старшина?

Б а к л а н о в. Маликов.

Р а д у ж н ы й. Из памяти вон. Присылай его за орденом. Наградили.

Бакланов молча показывает на орден Красной Звезды, вернувшийся на свое место у него на груди.

(*Ахнул.*) Убит?

Б а к л а н о в. Погиб геройской смертью.

Р а д у ж н ы й. Вечная ему память. (*Помолчал.*) Ругал я тебя, а теперь понимаю. Эй, словно сердце твое чуяло... Ладно. Вот тебе мое последнее слово — думай. Надумаешь — скажешь. Насильно держать не буду.

Шум подъезжающих грузовиков. Вбежала Лебедева. При виде Лебедевой Волчок в ужасе прячется в палатку.

Л е б е д е в а. Товарищ Столяров, вы не видели капитана первого ранга?

С т о л я р о в. Вон с комдивом стоит.

Лебедева. Не иронизируйте. (*Бежит к Радужному.*) Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться?

Радужный. Где раненые?

Лебедева. Привезла. Товарищ начальник, пусть от меня уберут Однорукова, иначе я не отвечаю за последствия.

Радужный. Что? Опять отличился?

Лебедева. Прихожу на эвакуопункт, машины стоят, раненые ждут, а товарищ Одноруков изволит составлять какие-то списки. Задержал на час отправку. Поражаюсь, как еще его никто не застрелил.

Радужный. Где он? Здесь?

Лебедева. Нет. Я приказала санитарам немедленно поднять всех раненых на машины и скомандовала старт. А его бросила там.

Радужный. Молодец! (*Двинулся.*) Об отправке договаривайтесь с Баклановым. Ему даны указания.

Бакланов. Провожу, товарищ капитан первого ранга?

Радужный. Сам, сам. Еще ноги держат. (*Спустился вниз и скрылся в палатке.*)

Бакланов. Сейчас здесь будет командир «ТЩ-108», лейтенант Веревкин. Пойдете с ним.

Лебедева. Отлично. Благодарю. (*Хочет идти.*)

Бакланов. Подождите.

Лебедева. Я вас слушаю.

Бакланов. И разговаривать со мной не хотите?

Лебедева. Наоборот, я хотела сказать... Я еще вчера поняла, что должна просить у вас извинения. Я была очень груба. Извините.

Бакланов. Не за что.

Лебедева. Я не сделала этого сразу, потому что... В общем, от неожиданности. Да, чтоб не забыть. (*Сняла с руки браслет.*) Возьмите ваши часы.

Бакланов. Спасибо. (*Поднес часы к уху.*) Идут.

Лебедева. Я их завела и поставила по своим.

Бакланов. Почему вы мне не сказали, что уходите в операцию?

Лебедева. Это выяснилось позже. А вы знали, что идете, и не сказали.

Бакланов. Такое правило.

Лебедева. Прощайте. (*Хочет идти.*)

Бакланов. Подождите.

Лебедева. Я вас слушаю.

Бакланов. Зачем вы так?..

Лебедева. Вы недовольны? Я уж, кажется, так кротка...

Бакланов. Вот именно. Лучше бы вы меня обругали или ударили.

Лебедева. Зачем?

Бакланов. Не устаиваете? Конечно, разве я ровня вам? Я человек грубый, необразованный...

Лебедева. Перестаньте говорить вздор. Я встречала людей, которые имели всевозможные дипломы, но в том, что касается чувства, были безграмотны, как дикари.

Бакланов. И здесь, оказывается, наука нужна?

Лебедева. Не иронизируйте. Да, существует культура чувств. И я убеждена, что без нее так же нет офицера, как без баллистики и прочих премудростей.

Бакланов. Где же этому научиться?

Лебедева. Учит жизнь.

Бакланов. Шутите! Разве можно научиться любить? А впрочем... (Улыбнулся.) Ходить — и то учат.

Помолчали.

Лебедева. Слушайте, Бакланов. Мне сказали, что вы без всякого повода с моей стороны говорили обо мне грубо и неуважительно. Не важно, откуда я это знаю. Для меня это было большим ударом. Мне хочется верить, что это неправда. Скажите, и я вам поверю.

Бакланов. Поверите?

Лебедева (опустив глаза). Поверю.

Бакланов. Здорово! Отопрусь — и, стало быть, чист? А подполковника куда мы денем? На поверку-то выходит — подлец? Задешево же вы своих друзей продаете.

Лебедева. Он мог ошибиться.

Бакланов. Кого вы обмануть хотите? Мог, да не ошибся же... Нет, Варвара Михайловна, плюньте мне в глаза, если я против него хоть слово скажу. Мне он не сват, не брат, но валить с больной головы да на здоровую — такого у меня обычая нет.

Лебедева. Простите меня. Я не имела права вас так испытывать.

Бакланов. Да и не будь его — все равно не стал бы врать. Ну, поверите вы, объявите мне полное про-

щение, все едино мне покоя не будет. От себя правды не скроешь.

Лебедева. Сергей Романович...

Бакланов. Погодите. Выслушайте. Мне эта моя брехня дорого далась. Из-за нее я вас потерял. И вообще неспроста это все. Сигнал, звоночек. Помните, как я перед вами хвост веером распускал, дескать, бью в цель без промаха — я все могу. Оказывается, не все. Простого не смог — доверие ваше сберечь. Я оправдывать себя не буду. Сдаюсь. Об одном прошу — не гоните. Поверьте мне еще самую малость, а я вам за эту малость душу положу. А о любви вы от меня больше не услышите.

Лебедева. Знаете, я только теперь начинаю верить в то, что вы все можете. Даже самое трудное. *(Улыбнулась.)* Как жаль, что я больше ничего не услышу от вас о любви. Вы ведь никогда о любви не говорили. Впрочем, простите, вчера вы мне сделали формальное предложение — руки и сердца...

Бакланов. Простите меня. Вчера для меня все так просто было, а сегодня я об этом и подумать не смею. Подай вы мне сейчас хоть самую малую надежду, я бы вас годы ждал и тем бы счастлив был. Только зачем я вам? Вы женщина питерская, балованная... А мне уж, видно, на роду написано до самой смерти море пахать. На Неве тралить нечего, значит, быть мне в какой-нибудь дыре. Мне-то ничего, не скучно, я к столицам не привык.

Лебедева. Вы остаетесь на флоте?

Бакланов. Решил не оставаться, да, видно, некрепко решил. С крестным поругался, а сам знаю — не уйду. Сроднился, привык. Здесь я нужнее. В такое время живем: во всей стране порядок, что на корабле, — только сыграют отбой тревоги, опять готовность номер раз. *(Робко.)* Варвара Михайловна...

Лебедева. Не спрашивайте меня ни о чем, я все равно вам ничего не отвечу. Не время и не место. Подождем. Пусть кончится война. Тогда нам легче будет понять, не обманывают ли нас наши чувства. Очень возможно, что нам окажется не по пути. Но не думайте, что вы меня испугались. Мы с вами очень разные и все-таки очень похожи. Я могу жить где угодно и не боюсь никакой работы. Эти дни я ужасно расклеилась — от безделья. А когда я ощущаю цель и смысл своей жизни — силы прибывают. Я не устала. Не устала жить

и работать. Не устала любить и ненавидеть. (*Покачнулась.*) Вот только сейчас немножко устала. Я ведь почти не спала. Могу заснуть вдруг, как ты... как вы тогда. (*Смеется.*) Фу, какой вздор я говорю. Все гораздо проще. Я тебя люблю. Когда выплусь, то обязательно скажу все наоборот. А ты не верь. Это я тоже зря сказала. Но мне так лень притворяться. И не будем сейчас больше ни о чем говорить.

Голос: «Товарищ Бакланов?»

Левин.

Это действительно он. Быстро подошел, поздоровался.

Бакланов. Я вам нужен, товарищ подполковник?

Левин. Очень. Говорят, от вас пойдет оказия. А мне необходимо переправить в штаб эсэсовского генерала. Могу отдать только в надежные руки. Возьмете?

Бакланов. Пожалуйста. Вы Веревкина не знаете?

Левин. Как же, знаю.

Бакланов (*поежился, вспомнив*). Он пойдет на базу. Вот и Варвара Михайловна с ним. А вы остаетесь?

Левин. Пока да.

Бакланов. Милости прошу в палатку. Может быть, закусите чего-нибудь?

Левин. Не откажусь. (*С улыбкой.*) Товарищ капитан третьего ранга. Разрешите обратиться к капитану Лебедевой?

Бакланов (*засмеялся*). Пожалуйста. (*Спускаясь вниз.*) Заходите. Жду.

Левин (*целует руку Лебедевой*). Здравствуй, Варя.

Лебедева. Здравствуй, милый. Я знала, что ты здесь, но не надеялась тебя увидеть.

Левин. Ты мне очень нужна. Понимаешь, мои разведчики задержали в лесу очень странного человека. Утверждает, что он заместитель начальника госпиталя, а по документам — работник газеты. Обнаружены при нем списки военнослужащих непонятного назначения. Ни на врача, ни на журналиста не похож, ведет себя нелепо, явно притворяется дураком... Что ты смеешься?

Лебедева. Не притворяется. Это Одноруков. Я тебе о нем говорила... Умоляю — скажи, чтоб его отпустили, а то у меня будут неприятности...

Левин (*смеется*). Теперь слушай дальше. Взят Штеттин. Приказа еще нет. Вероятно, будет сегодня. Завтра я туда лечу.

Лебедева. Так скоро? Не знаю, что мне делать, — радоваться ли Штеттину, огорчаться ли тому, что ты опять исчезнешь. Но ты, кажется, рад?

Левин. Еще бы. Я знаю в Штеттине каждую улицу, но всегда ходил по городу как тень, оглядываясь на каждом перекрестке. Теперь я пройду по Принцрегентштрассе в военной форме и при всех орденах. Ну-ка покажись. (*Посмотрел на нее, прищурился.*) Кажется, я все понял?

Лебедева. Как всегда. Мне даже стыдно, что я так откровенно счастлива. И стыдно перед тобой.

Левин. За что?

Лебедева. Уж я знаю, за что. Простил?

Левин. Простил. А за что все-таки?

Лебедева. Потом как-нибудь скажу. Ты скоро вернешься?

Левин. Не знаю.

Лебедева. Начинается! Всегда — «не знаю». Я не могу понять — ты грустный или веселый?

Левин. Я и грустный и веселый. Пойдем. Кажется, подошел катер.

Они спускаются под руку.

Радужный (*вышел из палатки, за ним Бакланов и Волчок*). Растолкуй своим орлам, чтоб осторожнее на минных полях. Немцев не обрадуйте.

Бакланов. Я сам поведу.

Радужный. Это мы еще посмотрим. Разговор наш не кончен.

Появились командиры тральщиков, в том числе Мирзаян, Веревкин, Колодуб.

Мирзаян. Товарищ капитан первого ранга. Разрешите обратиться к командиру дивизиона? Товарищ капитан третьего ранга, командиры кораблей по вашему приказанию прибыли.

Бакланов. Слушать меня, гвардейцы. Объясняю задачу. Сто второму, сто пятому, сто шестому, сто девятнадцатому приказываю выйти на траверз маяка и навязать бой кораблям противника, обеспечивающим эвакуацию островов. Сигнал — ракета. Вопросы есть?

Колодуб. Нет, товарищ командир дивизиона.

Веревкин (Бакланову). Товарищ командир, а как же я?

Бакланов. А вы примете на борт раненых — и потихоньку, своим ходом чапайте до базы. С вами пойдет капитан Лебедева.

Веревкин. Я полагал...

Бакланов. Вы полагали, что я вас с пробоиной в самое пекло пошлю? Марш домой. Зализывай раны. (Протянул руку.) А действовал отлично. Спасибо.

Веревкин (просветлел). Я думал, вы на меня сердитесь.

Бакланов. Было. Не на вас. На себя.

Веревкин. Правда?

Бакланов. А когда я вам неправду говорил? Впрочем, был один случай — соврал. Догадываетесь?

Веревкин. Кажется.

Мирзаян (подошел, обнял за плечи Веревкина). Илюша, бедный! Кэмэл души моей! Не берут на войну? «Аз» получил?

Веревкин. Уйди, Гурген! Убью!

Володя. Товарищ гвардии капитан третьего ранга, разрешите обратиться?

Бакланов. Обращайтесь, юнга.

Володя. Разрешите мне тоже идти?

Бакланов. Куда?

Володя. С гвардии лейтенантом Колодубом.

Бакланов. Очень хочется? Ну, что ж с тобой делать, — иди. (Радужному.) Товарищ капитан первого ранга, разрешите с дивизионом в бою попрощаться?

Радужный. Стало быть, решил? Ну, что ж с тобой делать, — иди. (Командирам.) Товарищи! Взят Штеттин. Победа близка. Пусть же враг почувствует сокрушающую силу гвардейского удара. Счастливо, гвардейцы!

Бакланов. По кораблям!

Лебедева и Бакланов прощаются с Левиным. Рукопожатия, прощальные улыбки. Уходят Бакланов, Волчок, Лебедева, Володя и командиры кораблей.

Столяров. Ершова, возьмите флаги. Пишите на корабли. «Взят Штеттин. Счастливого плавания».

Ершова. Есть! (Вбегает на возвышение и сигнализирует флагами.)

Р а д у ж н ы й (*проводя глазами уходящих*). Люблю. Все про них знаю — и хорошее и худое. Ни на кого не променяю. Сейчас им цены нет, а ведь у них еще все впереди. Не зря мы с тобой воевали.

Л е в и н (*обернулся*). Когда?

Р а д у ж н ы й (*его глаза лукаво улыбаются, а рука показывает куда-то далеко назад и вверх*). Тогда. В семнадцатом.

Занавес

1945—1956

*Из балтийских
дневников*



Вряд ли есть хоть один литератор — участник Великой Отечественной войны, который не вел в свое время каких-то дневниковых записей. Конечно, каждый вел их по-своему — разные характеры, разные задачи, разные условия. Вел дневник и я. В зимние блокадные месяцы мои заметки были подробнее, летом — более беглыми. В том, что писалось в обороне, — больше личного, больше раздумья, в наступлении записи становятся почти стенографическими и требуют расшифровки.

За послевоенные годы было опубликовано много писательских дневников. Перечитав свой, я отказался от мысли опубликовать его целиком. Он сослужил мне службу, многое из записанного пригодилось в работе над пьесами и прозой. Но многое устарело, требует проверки и непонятно без комментариев. Поэтому я пользуюсь им выборочно, краткая дневниковая запись служит для меня отправной точкой, чтоб сегодня рассказать о людях и целых коллективах, с которыми меня свела судьба в разные периоды войны на Балтике.

1. Знамя театра

Бывают встречи, которые запоминаются на всю жизнь. Такой встречей было для меня первое знакомство с театром Краснознаменного Балтфлота. С того дня прошло почти четверть века, и, вероятно, я не смог бы

воспроизвести его со всеми подробностями, не будь у меня под рукой дневника.

Вот эта запись, сделанная 5 января 1942 года. Привожу ее почти полностью, чтобы отчетливее показать обстановку, в которой происходила эта памятная для меня встреча. Сразу же, чтоб избежать сносок, даю вводную ремарку: действие происходит в осажденном Ленинграде. Помещение, занимаемое оперативной группой писателей на третьем этаже дома по набережной Красного Флота. После окончания осенней кампании эта группа объединила большую часть разбросанных по кораблям и частям флотских литераторов. Группа просуществовала до конца 1943 года, когда изменившаяся обстановка вновь потребовала рассредоточить литературные силы. В помещении лопнули трубы и выбита часть стекол. Температура в кубрике ниже нуля. На улице — минус тридцать. Трамваи не ходят уже десять дней. Начальник опергруппы Всеволод Вишневский в госпитале — дистрофия. У его заместителя Г. Мирошниченко в канун Нового года умер отец, а третьего января он уже вылетел с Всеволодом Азаровым в командировку, и хороним отца мы — товарищи по опергруппе.

Вчера все утро прождали Смирнова (связной опергруппы, краснофлотец), ушедшего с вечера в Пубалт. У Смирнова отморожены пальцы на ногах, и он еле ходит. В ожидании его возвращения метили белье — есть возможность сдать по два кило в прачечную флотского экипажа. После обеда (суп из соленой трески) появился Смирнов. Он привез гроб на автобусе (!). Зонин и Михайловский не поехали, и мы отправились втроем: Толя Тарасенков, Смирнов и я. Заехали на канал Грибоедова за покойником, познакомились с вдовой. Передали ей сверточек с едой и бутылку вина, усадили в автобус рядом с шофером. Шофер зверино груб, кроет матом и вдову и покойника, мы с Толей с трудом сохраняем самообладание, ехать-то надо! Покойник — красивый, рослый старый казак. Когда мы подняли его, чтоб положить в гроб, он показался легок даже для наших ослабевших рук. Гроб с пятого этажа волокли вчетвером — шофер ругался, но помогал. Ксения Тарасовна — образец стойкости и выдержки. Рассказывала нам о муже, о его бодрости, вере в победу. Старик работал сорок лет, последние годы на Охтенском заводе, и просил похоронить его на Охтенском

кладбище. Поехали. Проехали замаскированный Смольный, Охтенский мост и подкатили к кладбищу. О том, чтоб подъехать вплотную к могилам, нечего и мечтать — дорога изуродована глубокими обледеневшими рытвинами. Метель, морозище, очереди из покойников; десятки трупов в одеялах, коврах, шкафах, диванных крышках — настоящие гробы очень редки. Могильщики не соглашаются копать за деньги, требуют хлеба. Наконец сторговали готовую яму за 250 рублей. Яма оказалась короткой, на детский рост, и мы провозились около часа — удлиняли. Земля промерзшая, звенит под лопатой. Толя купил по случаю елку, украшенную цветами из стружек. Опустили гроб на поясах, зарыли. От креста Ксения Тарасовна отказалась, и мы поставили в качестве вешки ручку от лопаты, потом закажем столбик. Шофер все время ругался и грозил уехать, однако же не уехал, и мы вернулись в группу на автобусе. По приезде отогревались, как могли, — жгли в камине старые газеты и допили остатки выданного к Новому году клопомора «типа портвейн». Затем на полтора часа зажегся электрический свет, мы засели за работу, но только вошли во вкус, как свет погас. Смирнов смастерил из лыжной мази некое подобие свечи. Поздно вечером пошли всем обществом на ледокол «Ермак», где нам по дружбе организовали баню. Разделись, посмотрели друг на друга и не смогли удержаться от смеха. Все худы, как щепки, ноги кажутся кривыми, как у рахитичных детей, а на животах похожие на шнурочки мышцы, которые до блокады были не видны. Помывшись, вернулись к себе и легли спать при t° ниже нуля. Спали хорошо. Ночью в течение часа горел свет, но никто не встал.

Проснулся рано — пришла Таня М. (свояченица Азарова). Она пыталась эвакуироваться со своим учреждением — и вернулась обратно. Рассказывает жуткие подробности. Их довезли только до Борисовой Гривы, дальше ехать невозможно, несколько машин ушло под лед... Десять дней ужасающего голода, после чего обессилевших людей привезли обратно. Мы поделились с Таней, чем могли.

Днем начался сильный обстрел. Ходил в Пубалт. По мосту бегом, затем нырнул в переулочек. На обратном пути все то же самое.

О. М. (машинистка опергруппы) киснет, плачет, ни черта не делает, говорит «погибаю». А мы знаем, что

она в лучшем положении, чем многие, ее поддерживает дочь, работающая официанткой в военной столовой. У нас много срочных заданий, и пришлось поговорить сурово. Подействовало.

Возился с очерком. Затем—пока светло—стирал носки на подоконнике. В окно видно, как народ бежит врассыпную под обстрелом. Выстирал четыре пары. Потом чистил обувь—опускаться нельзя. В 16.30, когда стало совсем темно, Смирнов доложил, что меня желают видеть старший политрук Пергамент и какой-то лейтенант. Оказалось, что это художественный руководитель театра КБФ и его новый завлит, лейтенант морской пехоты, недавно прибывший из госпиталя. Пришли они заказывать пьесу (!). Разговор наш происходил в полной темноте, посетители сидели у меня на койке, не снимая шинелей, в которых ползли по мосту лейтенанта Шмидта. Перед тем как попрощаться, я попросил на минуту зажечь свечу, чтобы взглянуть на моих гостей. А то ведь встретишься и не узнаешь.

Самый разговор в дневнике не записан, но я его хорошо помню. Помню, что меня удивила и даже насмешила самая мысль, что в осажденном городе можно писать и ставить пьесы. МХАТ прервал на неопределенное время репетиции «Глубокой разведки», и мне казалось, что до конца войны никакая нормальная театральная жизнь в стране невозможна. Я бы еще понял, если б от меня требовали скетч или сатирическую сценку, нечто подобное я уже писал для возглавляемого А. Д. Бениаминовым Театра фронтовой миниатюры. А то — многоактную пьесу! В ответ на высказанные мною сомнения голос, принадлежавший, как я понял, Александру Викторовичу Пергаменту, спокойно возразил, что для сорок первого года мои соображения были верны — еще совсем недавно театр был разбит на множество мелких групп — бригад и вооруженных «пятерок», выступавших в блиндажах действующих частей и в кубриках боевых кораблей, добиравшихся до своего зрителя на грузовиках и велосипедах, в теплушках и в трюмах барж, на самолетах, а кое-где пешком и даже ползком, в белых маскировочных халатах. У театра есть потери, и немалые,— были названы имена (Николая Ануфриева, Матвея Белова, Василия Дмитриева, Василия Панкова, Романа Цейтлина, Виктора Шпринга...). После ухода из Таллинна продолжали свою работу ак-

терские бригады на островах Эзель и Даго. Больше двух месяцев выступала бригада театра среди героических защитников Ханко, но теперь вернулась и она. Наступает новый период. Театр располагает труппой, способной исполнять любой классический и современный репертуар, и мощными резервами в виде ансамбля песни и пляски и эстрадного коллектива. Нужна современная военная флотская пьеса. Театр уже работает с драматургом Матвеем Тевелевым над пьесой «Навстречу эскадре». Ведутся переговоры с Александром Штейном. Есть прицел на некоторых молодых авторов...

Я спросил — не без некоторого ехидства — о теме и материале моей будущей пьесы. На это другой голос (завлита) сказал, что ответ на мой вопрос не представляет затруднений: писать надо на материале, который лучше всего знаешь, и о том, что кажется тебе самым важным. Сраженный этой формулой, я вскоре сдался. Я не знал тогда, что лейтенант из морской пехоты еще до войны был завлитом московского Театра имени Ленинского комсомола и немало способствовал привлечению в драматургию ряда писателей, в том числе поэта Константина Симонова. И тем более не мог знать, что пройдут годы, и Захар Аграненко станет известным драматургом, чьи пьесы, пережив своего создателя, и поныне идут на сцене советского театра.

Так началась моя дружба с Александром Викторовичем Пергаментом, с Захаром Аграненко, с театром КБФ. Вскоре после нашей встречи начались регулярные спектакли, и я пересмотрел почти весь репертуар театра. Спектакли игрались на различных площадках — в клубах и Домах культуры, но постоянной базой театра, где актеры были на казарменном положении, оставалась на протяжении всех девятисот дней блокады выходящая на площадь Труда часть флотского экипажа. В ту пору театр был самой настоящей воинской частью, с подъемом по сигналу, с дежурствами и дневальствами, со строевой субординацией (большинство актеров были матросами или старшинами срочной службы), что несколько не мешало созданию творческой атмосферы на репетициях. Что же касается начальственного произвола, то его было гораздо меньше, чем в некоторых вполне гражданских коллективах мирного времени. Постоянными гостями и друзьями театра КБФ были все

балтийские литераторы, журналисты, художники, композиторы.

Из-за постоянных разъездов я так и не увидел «Навстречу эскадре». Зато все последующие премьеры года — «Фронт» А. Корнейчука и «Русские люди» К. Симонова, поставленные сразу же после опубликования этих пьес в «Правде», я помню очень хорошо. Впоследствии я не раз видел эти пьесы в других театрах, и это не ослабило моих первых впечатлений. Оно и не удивительно, если вспомнить, что военных людей в театре КБФ играли настоящие фронтовики, до тонкости понимавшие фронтовую обстановку и психологию. К этому следует добавить, что в военные годы театр КБФ обладал актерским составом, каким может похвалиться далеко не всякая столичная труппа.

Сезон 1943/44 года непреложно доказал правильность взятого театром курса на создание собственного репертуара. В сентябре 1943 года состоялась премьера пьесы З. Аграненко и А. Штейна «Добро пожаловать!». Это была самая настоящая комедия, почти водевиль, и несмотря на то, что сюжет комедии развивался в обстоятельствах суровых и даже трагических, очень смешная.

За комедией последовала драма «Земля подтверждает», написанная молодым флотским литератором Ильей Бару в содружестве с Захаром Аграненко. Опять: морские летчики, но на этот раз не в доме отдыха, а на аэродроме. Как большинство пьес, написанных по горячим следам событий, «Земля» грешила некоторым эмпиризмом, но в ту пору этот недостаток с лихвой искупался великолепным знанием описываемой среды, точным языком и тем, что на театральном языке называется «атмосферой».

В конце 1943 года мне при активном содействии театра удалось получить от своего прямого начальства «добро» на работу над пьесой. О нашей дружной совместной работе я когда-нибудь напишу подробнее, а пока ограничусь тем, что скажу: балтийский спектакль «Офицер флота» считаю лучшим из виденных мной, а В. И. Честнокова — лучшим исполнителем центральной роли. Работа над спектаклем протекала не гладко, поначалу пьеса вызвала серьезные возражения, но театр стойко боролся за своего автора и добился безоговорочной поддержки Главного Политуправления ВМФ.

Были у нас и внутренние сложности, мы спорили

и даже ссорились, но на всех этапах нашей совместной работы коллектив и руководство театра ни разу не отреклись от пьесы и автора. Столь же дружеским и принципиальным было отношение театра к Всеволоду Вишневскому. Пьеса рождалась в муках. Пергамент и Аграненко делали все, чтобы получить пьесу, и, наконец, прибегли к крайним методам воздействия: на одном из эстрадных концертов в присутствии Всеволода был разыгран скетч, Пергамент играл себя, Аграненко — Вишневского. В первом явлении молодой и жизнерадостный старший политрук Пергамент приходит к писателю, бригадному комиссару Всеволоду Вишневскому за новой пьесой. Вишневский увлекается, фантазирует, дает широкие обещания. Затем сцена повторяется несколько раз. Текст остается прежний, меняются только возраст и звания. В последнем явлении согбенный, седобородый, шамкающий Пергамент падал к ногам Вишневского. Сидевший в первом ряду настоящий Вишневский хохотал до слез, и в конце концов театр получил пьесу.

При объединении двух существовавших на Балтике флотов театр КБФ был расформирован. Балтийский флот и сейчас имеет свой театр, но это другой коллектив, у него своя история. Что ж, театры — живые организмы и, как все живое, не могут жить вечно. Но память о театре КБФ должна жить. Он был настоящей боевой воинской частью, и жалко, что у него не было знамени. Когда по случаю торжественных дат на сцену выносят боевые знамена ныне уже несуществующих частей и кораблей, я всегда думаю, что среди них могло быть и знамя театра КБФ. А когда мне говорят, что театрам нечего ставить, и жалуются на репертуарный кризис, я, откровенно говоря, не очень в это верю. На опыте театра КБФ я усвоил — созданию собственного репертуара не может помешать ни осада, ни холод, ни бомбардировка с воздуха, ни артиллерийский обстрел. Только равнодушие.

2. Любимый корабль

29 декабря 1941 года во флотской печати было опубликовано обращение эсминца «Н» к личному составу Краснознаменного Балтийского флота:

Обстановка настоятельно требует от каждого из нас принять меры к тому, чтобы к началу навигации все корабли вошли в строй и были готовы к активным боевым операциям на море. Для этого нам необходимо провести образцово и в срок зимний ремонт кораблей, решить эту задачу, как главную, как боевую. Мы сами, своими руками, должны отремонтировать и проверить каждый механизм, каждый агрегат.

На своем примере мы твердо убедились, что каждый корабль, имея в своем личном составе высококвалифицированных и преданных делу людей, при настойчивости и упорстве может преодолеть все трудности и выполнить любую работу...

В тот же день обращение обсуждали на десятках кораблей. Призыв был услышан и горячо поддержан. За резолюциями последовали дела. Блокадная зима 1941/42 года вошла в историю Балтийского флота как героический период, наравне с боями и походами. Ремонтировать корабли приходилось в невиданно тяжелых условиях. Нехватка топлива, электроэнергии и самых необходимых материалов, голод, холод и почти непрерывный артиллерийский обстрел. Всем этим трудностям балтийские моряки противопоставили железную волю, отличное знание техники, изобретательность и массовую инициативу.

Теперь уже нет нужды зашифровывать название эсминца. Инициатором движения был эскадренный миноносец «Сильный» — корабль, отлично воевавший в летнюю кампанию, а в зимний период поддерживавший своим огнем действия наших наземных частей. В середине января 1942 года я был командирован Политуправлением флота на «Сильный» для оказания помощи в политработе и освещения в печати боевого и производственного опыта.

Вот некоторые записи из моего дневника.

18.I.42.

Утром прощался с подплавом. Командир «С-9» Мыльников сегодня «смотрит» лодку, пригласил меня. Был настроен «драить», но, против ожидания, нашел лодку в относительном порядке. Люди поработали. М. «смотрит», как настоящий хозяин, очень опытным и нацеленным глазом. Лазит всюду, не жалея щегольского реглана. Требует, чтобы по службе обращались друг

к другу на «вы», пресекает лишние разговоры во время смотра. Взгрел за то, что, воспользовавшись случаем, сменили резину, которая еще могла служить. Сердился, что закрашивают грязь и ржавчину «серебрянкой» («Краска дорогая, зачем же тратить без толку?»). Свирепо колупнул краску ногтем («Эдак у нас скоро змеи заведутся!..»), но в общем остался доволен.

Затем начался обстрел. Били по Балтийскому заводу, где стоит «Сильный». Зашел в опергруппу за командировкой и до «Сильного» добрался только к 17 часам. Дежурный провел меня к старшему капитан-лейтенанту Горовому. Славный человек, бывалый и уже немолодой. Вскоре подошел военком, батальонный комиссар Трифонов. Резкое, нервное лицо, добродушен, но вспыльчив, легко переходит от официальности к интимности. Обрадовались свежему человеку, разговорились. Выяснилось, что Горовой близко знал Алексея Лебедева, незадолго до гибели Лебедев написал ему письмо. Трифонов с горечью говорил о потерях эсминцев. Больше всего кораблей погибло на минах. Ни один эсминец так и не вышел в торпедную атаку, и только два (в том числе «Сильный») участвовали в настоящем морском сражении. Рассказал, что во время боя в Ирбенском проливе два матроса делали беглые зарисовки и теперь по этим эскизам пишут большие картины акварелью. Ремонт идет полным ходом, настроение на корабле бодрое, есть только несколько «солеедов» — так называют тех, кто, несмотря на запрет, пьют много воды и от этого опухают. Порт недодает норму, но дистрофии нет.

19. I. Ночевал в ленкаюте. До двух часов ночи грохотала железная дверь, кто-то зажигал и тушил свет. Зато тепло. Утром пил чай в кают-компании, познакомился с командирами. До обеда разговаривал с бывшим краснофлотцем «Сильного» Подчуфаровым, вернувшимся из 7-й морской бригады после ранения. Теперь он младший лейтенант, и ему не могут найти вакансии. А он говорит: мне не нужна вакансия, я хочу на свой корабль.

К обеду вернулся с берега командир корабля — кап. 3-го ранга Шомраков. Во время обеда сильный обстрел. После обеда Ш. пригласил к себе в каюту. У него сидел командир «Грозящего» Черемхин. Они одного выпуска и

друзжат. Помогают друг другу в ремонте и делятся дефицитными материалами. Разговор о положении на флоте и перспективах будущей кампании. Ш. говорит: надо перестраиваться, отвыкать от многих довоенных представлений. Умен, но несколько позирует. О недостатках и ошибках оба командира говорят резко, без обиняков. Затем Ш. повел меня и Черемхина в ленкаюту смотреть, как работают художники. Ребята, действительно, способные. Визирщику Темереву больше удаются люди, Черемушкин сильнее в пейзаже. На акварели Темерева три могучие фигуры краснофлотцев. Выбрасывают за борт горящую мину. Это подлинный эпизод. Все трое — Уложенко, В. Александров и старшина 2-й статьи Карпов — и сейчас служат на корабле. Награждены орденами Красного Знамени. На рисунке Черемушкина изображена шхерная операция. Командир делает несколько толковых замечаний о высоте всплесков и т. д.

Во время боя они оставались художниками, но сегодня художники не забывают, что они бойцы. Звонки боевой тревоги — и, побросав кисти, они бегут к своим боевым постам. Командир говорит, что он хочет создать большой художественный альбом, посвященный боевой истории корабля. «Помогите написать хороший текст, такой, чтоб брало за душу». Я промолчал.

Вечером был на комсом. собрании. Все собрание — 1 ч. 20 м. Военком сделал дельный доклад. Три неразрывные задачи: зимняя оборона — судоремонт — боевая подготовка. Знать не только свои боевые посты, но и соседние, весь корабль. Отработать взаимозаменяемость, постоянно тренировать аварийные партии. Учесть опыт кораблей, которые, подорвавшись на минах, одновременно отражали атаки подводной лодки, авиацию и огонь береговых батарей. В прениях выступил комсомолец Петяев. Призывал достигнуть полного автоматизма в том, что не требует размышления («Ты еще не проснулся, а руки сами делают»), и крепко держать данное слово («Обещал помочь — умри, а выполни»). Про этого Петяева мне сказали, что во время боя его дважды выбрасывало за борт и он вновь лез в огонь.

Ночью, проходя мимо галюна, слышал, как матросы ругали своего товарища, не вышедшего на пост по тревоге. Тот ссылался на врачебное освобождение. Ему сказали: «Врач от данного слова освободить не может.

Раз ты ноги таскаешь, должен быть на посту. Слышал, как сегодня говорили, — умри, а сделай».

Приятно, что в гальюне говорят то же самое, что на собраниях.

В кают-компании в 2 ч. ночи горел свет. Там сидит командир БЧ-2 Гребенчук и работает. В шесть его разбудят.

26.1. Сильнейший мороз. Даже в ленкаюте холодно. Спал не раздеваясь, под двумя одеялами и шинелью, — и все-таки замерз. Закончил несколько очерков для «Красного Флота». Очень помогли беседы с командиром БЧ-5 Боровлевым и с передовиками ремонта. Самый интересный — трюмный машинист Снырев. Ума палата, умеет найти выход из любого положения. Знает корабль как свои пять пальцев, у него есть свое мнение о его конструкции, тактико-технических данных и т. д.

Работать все труднее, очень слабеет память. Рассеянность угрожающая: за январь потерял авторучку и любимый карандаш, мундштук, перчатки и уж не помню, что еще. Хорошо, что целы партбилет, оружие, часы и огниво. За этим слежу — проверяю себя непрерывно.

На корабле освоился вполне. Несколько раз выступал в кубриках. Лучше всего слушают смешное. Провел несколько бесед и даже делал доклад всему личному составу на тему «Противоречия в стане врага». По этому случаю подавали команду «смирно», но ничего, я уже привык.

Перед тем, как нести очерки в опергруппу, показал их командиру. Когда я сидел у него в каюте, вошел Снырев. Он пришел, чтоб взять обратно рапорт, в котором просил командование прибавить ему лишнюю тарелку супа, т. е. при большом объеме работы у него развилось малокровие. После недавнего партсобрания он пришел к убеждению, что коммунисту такие рапорты подавать неудобно, и просит командира рапорт считать недоразумением и не думать, что Снырев морально ослаб. Это было трогательно до слез. Затем зашел прощаться лейтенант Потапов. Его эвакуируют в тыл, т. к. раны не закрываются и рука не действует. Умолял командира взять его после возвращения обратно на корабль.

Когда Потапов ушел, командир напомнил мне о

тексте для альбома. «Альбом назовем «Любимый корабль». Что — разве плохо?

У меня было много других заданий, но название, действительно, было хорошее, и в конце концов он меня уговорил. Я привлек в качестве художественного консультанта С. К. Вишневецкую¹ и написал текст. К весне альбом был готов. Акварели балтийских художников были переплетены в роскошный синий плюш (помнится, в одной из кают была такая портьера), а каждая буква в названии альбома являла собой чудо ювелирного искусства. Мой текст, переписанный с монашеским тщанием, начинался так:

Для постороннего глаза все эсминцы похожи один на другой.

Специалисты различают типы, серии, варианты проектов.

Для краснофлотца, пришедшего на корабль в дни его постройки, сроднившегося с ним за годы службы и закрепившего это родство своей кровью в боях с фашистами, его корабль всегда единственный и неповторимый...

Прошло двадцать лет, и я забыл про этот альбом. И вдруг — телефонный звонок. Говорит капитан-лейтенант Колесников — начальник матросского клуба в городе Балтийске и по совместительству хранитель музея балтийской эскадры. Хочет повидаться.

Уславливаемся о встрече, и я вижу молодого офицера, чем-то похожего на доцента, в очках без оправы, с вузовским значком.

— Скажите, пожалуйста, не вы ли писали текст к альбому «Любимый корабль»?

Я подтверждаю. Лицо моего нового знакомого освещается улыбкой. Довольной улыбкой ученого, получившего подтверждение своей давней гипотезы.

— Ага! Так мы и думали...

Я тоже начинаю улыбаться. Забавно чувствовать себя объектом археологического исследования. Затем спрашиваю:

— А «Сильный» существует?

— «Сильный» давно уже не существует, а вот альбом цел и передан нам в музей. Мы превратили его в могучее орудие воспитания. Огромный успех у молодежи. И не только флотской. Мы делаем доклады, вы-

¹ С. К. Вишневецкая — художница, жена Вс. Вишневого.

ступаем в печати, недавно показывали альбом по телевидению. Я тут привез вам кое-какие материалы и заодно хочу спросить — не сохранилось ли у вас чего-нибудь о балтийской эскадре? Для нас каждое свидетельство драгоценно...

Кое-что у меня, действительно, сохранилось. Но не много. Тогда мы об этом как-то не думали.

3. «Раскинулось море широко...»

...Всеволода мы в Пубалте не нашли. Оказывается, его вызвал член Военного Совета Вербицкий и спросил, не хочет ли он пойти с ним в оперетку (?!).

Эта загадочная запись появилась в моем дневнике 31. VII 1942 года. Не обнаружив Вишневого, мы с Азаровым не стали его дожидаться и в тот же день укатили на Лисий Нос, а оттуда катером в Кронштадт. Однако в середине августа мы были срочно отозваны в Ленинград, и 18. VIII в моем дневнике появляется новая запись:

...Всеволод сообщил нам о новом задании Военного Совета — написать оперетту для спектакля к XXV годовщине Октября (!!). Всеволод изложил нам задание в своей обычной манере, но вид у него был, по-моему, несколько растерянный. Ни он, ни я оперетт никогда не писали, да и самый жанр нам не близок. Азаров тоже мало приспособлен для писания куплетов. Не знаю, что из всего этого получится.

19. VIII. ...Утром писал статью для «Красного Флота». Затем под обстрелом поперся в оперетту. Там был Всеволод, затем появился Азаров.

Разговор с Янетом (худрук). Мне показалось, что и он не очень верит в это предприятие. Обещал дать «на образец» несколько опереточных либретто. Вечером выступали в Доме Военно-Морского Флота.

22. VIII. ...Замучила проклятая цинга. В Ленинграде цены на овощи: огурец — 30—35 р. штука, редиска — 15 р. пучок, грибы — 300 р. за кг, молодая картошка — тоже. Днем мылся и чистился на «Иртыше», затем в 17.30 вместе с Вишневым и Азаровым смотрел «Свадьбу в Малиновке». Из театра зашли в «Асторию», к при-

летевшему из Москвы Славину. Славин говорит, что о Зап., Брянск. и Калининск. фронтах не разрешено писать — там есть некоторые успехи. Погиб Джек Алтаузен. Вечером совещались у Всеволода. Вс. говорит, что пора кончать хаханьки и фронду, до годовщины остались считанные недели, а за это время надо написать не только пьесу, но и музыку, а театр должен иметь время разучить, поставить и сделать оформление. Мы и так уже потеряли три дня на юмор. Приказы не обсуждаются, а выполняются, и с завтрашнего дня объявляется аврал.

23. VIII по 17. IX записи в дневнике прекращаются. Это были дни напряженной работы над пьесой.

18. IX. Итак, свершилось. 12-го Всеволод читал в театре наш опус. Были Смирнов, Вербицкий, Лебедев, Маханов¹. Очень торжественная обстановка. Принимали хорошо. Обсуждение перенесли на 15-е. На обсуждении — полный успех. Театр настроен по-боевому. У нас содом: Янет, Круц, Минх, Витлин. Композиторы играют новые муз. номера. Чистка 3-го акта, беглая корректура, и печатный текст сдается Янету.

Сейчас уже трудно представить, что три недели назад никакой пьесы не было. А тогда мы очень сомневались, что она вообще будет. 23-го, 25-го и 31-го мы еще смотрели спектакли. Видели «Роз-Мари», «Лесную быль» и «Любовь моряка». Всеволод очень переживал за Роз-Мари, но от этого ни ему, ни нам не стало яснее, как надо писать оперетту о воюющей Балтике. Янет прислал связку суфлерских экземпляров. Мне досталась «Баядера», и три дня мы хором распевали: «Мечтать я бу-у-ду об этой пупочке в ее короткой ажурной юбочке...» 31-го я перебрался с «Иртыша» на Песочную, к О. К. Матюшиной², где уже поселились Всеволод и С. К.³ 2-го перевезли сюда Севу⁴. У него нога в гипсе, повредил, прыгая с трамвая. С. К. уехала на форты, и стало совсем тихо. Мы поставили в одной комнате три койки, три письменных стола, и началась настоящая

¹ Смирнов и Вербицкий — члены Военного Совета КБФ; Лебедев — начальник Пубалта; Маханов — секретарь ГК ВКПБ(б).

² О. К. Матюшина — ленинградская писательница.

³ С. К. Вишневецкая.

⁴ В. Б. Азаров.

работа. Работа коллективная на всех этапах: сюжет, характеры, текст.

Сюжетную схему мы разработали настолько четко, что смогли «рассредоточиться»: я засел писать 1-й акт, Всеволод — 2-й, а Сева — стихотворные тексты. Я — редактор юмористического «Боевого листка 3-х авторов», Сева — главный художник. Юмор юмором, но листок оказался неплохой погонялкой. Ежедневно публиковались данные о выполнении плана, отдельно по 1-му и по 2-му акту и по стихам. Поначалу больше всех доставалось Севе, который никак не мог уловить «специфику». Затем вошел во вкус и стал писать лихие куплеты. Однако, когда понадобилось сочинить стихи за поэта-самоучку, у него ничего не вышло, стихи получались плохие, но профессиональные. Пришлось выручать... Мы с Всеволодом все время консультировались, а затем «прошлись перышком» — он по первому акту, а я по второму — для единства стиля и устранения неизбежных «ляпов». 3-й акт слепили все вместе, очень быстро. Работали зверски, но дружно, весело. Мы почти сыты, большое подспорье овощи из огорода О. К. Матюшиной. Янет, познакомившись с сюжетной наметкой, полностью в нас уверовал. Директор театра прислал подарок: бутылку водки, три сигары и 200 гр. кетовой икры. Заходили покалякать Вечтомова, Инбер, Тихонов, а 9-го или 10-го поздно вечером приехал член Военного Совета Смирнов. День был тяжелый для всех, мы кончили вчерне первые два акта и рухнули. У меня все утро шла носом кровь, пришлось писать, задрав голову к потолку и прижимая к носу ватный тампон. Это неудобно, и я здорово испачкал рукопись. Когда приехал Смирнов, мы все трое лежали в полной темноте на своих койках, одетые, и вяло трепались. Узнав о прибытии корпусного комиссара, вскочили, зажгли коптилку. Смирнов очень дружелюбен, расспрашивал, как идут дела. Затем взял в руку коптилку и подошел к стене, где был приколот кнопками очередной «боевой листок». Мы вздрогнули, ибо в листке далеко не все было предназначено для глаз начальства. К счастью, Смирнов не углядел никаких вольностей, а только пересекающий весь листок по диагонали вопль души: МЯСА!!! Он тут же вызвал своего шофера, и, пока тот (довольно долго) ездил по его поручению, мы сидели и разговаривали на военнолитературные темы. Наконец шофер вернулся и привез три чекушки спирта, одну маленькую баночку мясных

консервов и три подошвенной твердости солено-копченых языка. Эти языки помогли нам довести работу до конца. Мы отрезали от них матросскими ножами маленькие кусочки и подолгу жевали. Совместная работа нас очень сдружила, мы почти не спорили, а только дополняли друг друга. Сейчас уже трудно разобрать, что кому принадлежит. Сюжет носился в воздухе: существует некий балтийский корабль, который рвется в бой. Мы перебрали все классы кораблей начиная с линкора и остановились на маленьком связном катере с командой в четыре человека. Это сразу дало юмористическую интонацию. Команду мы комплектовали общими силами: Сева придумал одессита Жору, поэта-самоучку Мишу предложил я, Всеволод — старого боцмана Силыча (в честь Новикова-Прибоя). Командира катера и придумывать не пришлось, Янет сразу объявил, что он должен быть лирическим баритоном и петь его будет артист Кедров. Так родился лейтенант Кедров. Многое увидено и схвачено с натуры, получился любопытный сплав патетики («Раскинулось море...») и буффонады, откровенных штампов и чего-то принципиально нового, во всяком случае для этого жанра...

На премьере я не был — летал в Москву по вызову Художественного театра, возобновившего работу над «Глубокой разведкой». Но на банкет по поводу премьеры все-таки успел. Во время блокады был в ходу такой анекдот. После концерта в воинской части к артистам подбегает адъютант и вежливо козыряет: «Разрешите узнать, банкет здесь кушать будете или прикажете в газетку завернуть?» Так вот, несмотря на 1942 год, это был почти настоящий банкет, и происходил он на квартире у Н. Я. Янета и его жены, балерины Н. В. Пельцер. Надо отдать должное Николаю Яковлевичу, художнице спектакля Софье Касьяновне Вишневецкой и всему коллективу театра музкомедии — они своротили гору. Нам и композиторам было все-таки легче — мы имели дело только с бумагой и напрягали лишь свое воображение. Тем, кто создавал спектакль, пришлось помимо святого искусства бороться за каждый гвоздь и напрягаться физически. Никогда не забуду, как играли пьесу зимой. Спектакли начинались в 3 часа дня. Немцы это знали и обычно в это время начинали обстреливать Невский проспект. В зрительном зале старой Александринки,

на обитых красным бархатом креслах партера, сидят люди в ватниках и шинелях, в ушанках и с противогазами, у многих оружие. Здание построено на совесть и как бомбоубежище не знает себе равных. Если воздушная или артиллерийская тревога затягивались допоздна, зрителям предлагалось прийти досматривать спектакль на следующий день. Из директорской ложи хорошо видно, как Нина Васильевна Пельцер готовится к своему номеру. Она стоит в кулисе, завернутая в овчинный тулуп, вроде тех, какие носят ночные сторожа. На сцену она вылетает одетая по-балетному, то есть весьма налегке, танцует с довоенным блеском и после эффектной концовки под гром аплодисментов убегает за кулисы, где уже кто-то держит наготове распахнутый тулуп.

Во время работы все мы были глубоко убеждены, что наш спектакль не выйдет за пределы осажденного города и останется чисто блокадным явлением, неинтересным и непонятым людям с Большой земли. В Москве мне несколько человек говорили, что наша затея чуть ли не кощунство: «Есть вещи, над которыми нельзя смеяться». Единственным моим возражением было, что ленинградцам виднее — можно или нельзя. Человек, способный смеяться, — не побежден, поверженные не смеются. Мы хорошо понимали несовершенство нашего детища и были немало удивлены, когда пьесой заинтересовался А. Я. Таиров, а затем и другие театры страны.

Я давно не перечитывал пьесу. Думаю, что сегодня она уже умерла. Сделала свое дело и умерла, как рядовой.

4. Командир «сто пятого»

После снятия блокады и выхода Финляндии из войны Финский залив ожил. Там, где раньше с невероятными трудностями прорывались в Балтику отдельные подводные лодки, снуют десятки кораблей. Царит «москитный флот». Соответственно перестроились и мы — балтийские литераторы. Пухлые тетрадочки дневников покоятся на дне чемоданов, и на смену им пришел корреспондентский блокнот — портативный, непромокаемый, куда заносятся — на ходу, на тычке — по-

чти стенографические заметки о виденном и слышанном. Названия, фамилии, даты. Только то, что завтра может стать очерком, корреспонденцией, телеграммой.

30. VIII. 44 г. Восточная часть Финского залива.

Я в Койвисто. Залитый солнцем и заляпанный мазутом пирс. Небо безоблачное, синее, почти южное. Где-то очень высоко рокочут наши самолеты. Солнце движется к зениту, и я парюсь в своем суконном кителе. Ситуация такова: утром нашими кораблями и самолетами обнаружена немецкая подводная лодка. В 9 ч. 30 м. ее безуспешно атаковал глубинными бомбами один из «морских охотников» в районе Шепелевского маяка. Лодку ищут самолеты балтийской авиации по всему заливу, предполагается послать на поиск катера МО. «Добрò» на выход с одним из катеров получено, и я маюсь в ожидании...

— Писатель? Будем знакомы. Командир «сто пятого».

Очень крепкое рукопожатие. На меня смотрят глаза, полные такого дружелюбного веселья, что я тоже начинаю улыбаться.

— Я тебя выпросил. Понял меня? У нас никогда не было писателя. А ребята интересуются. Расскажешь нам, как и что. Пошли?

Парень совсем молодой и ниже меня по званию, но меня нисколько не задевает «тыкание» и обращение «писатель». Так у нас и пошло: он меня — «писатель», а я его — «командир».

Ступаю на раскаленную солнцем корму, заставленную мирного вида железными бочонками. Это глубинные бомбы. Командир «сто пятого» деликатно поддерживает меня за локоть.

— Технику нашу объяснять не надо? В курсе? Тогда снимай китель и ложись загорать.

Я замялся.

— А что? Сейчас отойдем — я тоже сниму. И ребятам велю. У нас дисциплина исключительно сознательная. И если мы в такой тесноте начнем тянуться да гаркать — и воевать будет некогда. Мы воюем весело. Знакомься, Митя, с писателем. А это — помощник.

Помощник такой же загорелый и веселый. Около нас останавливаются краснофлотцы и прислушиваются к разговору. На всех лицах улыбки. Похоже, что мы отправляемся на увеселительную прогулку или на рыбалку.

— По местам стоять, со швартовов сниматься!

Отходим от пирса, и сразу становится легче. Ветерок. Командир доверительно сообщает: идем в район Бьеркэ-Зунд.

Район островной. Мы много раз меняем хода и курсы. Немецких самолетов не видно. Надо бы, пользуясь моментом, кое о чем порасспросить людей, но я откладываю это на вечер. Тем более кто катерники больше настроены спрашивать, чем отвечать. Они хотят знать, на каком фронте Шолохов и когда Соболев напишет вторую часть «Капитального ремонта», знаком ли я с Новиковым-Прибоем и правильно ли изобразил Толстой подвиг народа в «Войне и мире». А затем в какой-то момент: оглушительные звонки тревоги, «полный вперед», и за борт летит первая глубинная бомба. За кормой встает высокий столб воды. Я смотрю на командира «сто пятого» и вижу перед собой человека в состоянии упоения. Он похож на дирижера, выжимающего форте в финале симфонии. Летят водяные брызги, горизонт несется приплясывая, циркуляции становятся все круче. Где-то здесь, в центре описываемого нами круга, невидимо притаилась вражеская подводная лодка. Я не очень задумываюсь над тем, что чувствуют господа фашисты на дне залива, слишком много моих друзей погибло таким образом. Единственное, что меня расхолаживает, это роль пассивного наблюдателя и еще — ощущение полной безопасности того, что мы делаем. Как-никак бой — понятие обоюдное.

Сбрасывается последняя бомба, и катер резко снижает обороты. По-видимому, бомбежка результатов не дала. Было бы масляное пятно.

Командир еще возбужден:

— А я говорю — он здесь. (Немец всегда «он», даже если это лодка.) И никуда не уйдет. Я вызвал «каэмку», чтоб сторожила выход из пролива...

Мы оставляем в дрейфе маленький катерок и возвращаемся в Койвисто за боезапасом. На пирсе меня ждет неприятность: пришел приказ начальника Пубалта срочно, с первой оказией, возвратиться в Кронштадт.

И, как назло, через несколько минут туда уходит торпедный катер. Командир пытается уговорить дежурного офицера сделать вид, будто он меня не нашел, но тот непреклонен. На прощание мы с командиром обнимаемся, как лучшие друзья, и я ухожу в Кронштадт, так и не спросив его фамилии.

Дальше события развернулись совсем неожиданно.

Я уходил из Койвисто злой как черт. Во-первых, у меня срывался хороший репортаж. Нельзя же писать об операции, не зная, чем она закончилась, и не собрав элементарных сведений о людях. Во-вторых, мне не хотелось расставаться с командиром «сто пятого» и его командой — они мне понравились. А в-третьих, у меня были довольно натянутые отношения с новым начальником Пубалта и от встречи с ним я не ждал ничего хорошего.

Начальник меня не принял, и я пошел к его заместителю Г. М. Рыбакову. Григорий Михайлович некогда учился живописи и к литераторам благоволил. От него я узнал причину вызова: оказалось, что я, в числе других работников Пубалта, награжден орденом Красной Звезды. Церемония вручения состоялась через час или два тут же в кабинете.

Приободрившись, я стал проситься обратно в Койвисто. Но меня непустили, а на следующее утро огорошили страшной новостью:

— А вы знаете, что ваш «сто пятый» погиб?

— Как?!

Судя по полученным сообщениям, произошло почти невероятное. «МО-105» вернулся в Бьеркэ-Зунд и был поражен торпедой, выпущенной лодкой противника из подводного положения, по всей вероятности вслепую, «по акустике». Погибла большая часть команды во главе с командиром катера старшим лейтенантом Швалюком Георгием Алексеевичем и его помощником лейтенантом Гнилоквасом Дмитрием Тимофеевичем.

Я был потрясен. До той поры мне не приходилось слышать, чтобы по катерам стреляли торпедами. Но, как видно, немцам выбирать не приходилось, это был единственный шанс вырваться. От возмездия они не ушли. Ровно через семь часов катер «МО-103» под командованием гвардии старшего лейтенанта А. П. Коленко настиг в северной части Бьеркэ-Зунд и утопил глубинными бомбами подводную лодку «У-250» и взял в

плен шестерых немецких подводников, в том числе командира лодки.

А еще позже мне рассказал мой друг подводник Петр Грищенко, работавший в 1944 году в разведотделе флота, что он допрашивал командира «У-250» капитан-лейтенанта Вернера Шмидта. Шмидт показал, что он атаковал наш катер, когда тот лежал в дрейфе, находясь в дозоре. Стояла жара, и вся команда обедала на верхней палубе. Можно предположить, что несение боевой вахты было недостаточно тщательным...

Я никогда не забуду командира «сто пятого». И каждый раз, вспоминая его сияющие глаза, его добрую и чуточку шалую улыбку, я ощущаю колющую боль. Какой был парень! Душа-человек.

А впрочем, как знать? Может, было бы лучше, если б он был немножко посуше?

5. На бронекатерах

А вот еще запись:

*21 X.44. 11.35. Вых. на зад. Мыс Кав. МБК — 5, 13, 15,
18 брейд-вымпел к/д Макс. Колесн.*

Строчки неровные, бледные. Дальше еще хуже:

*Миноносец? СКР? (сигн. Зайцев)
п/ход. Разв. на л/б. о/ог. по пр-ку!
Море кипит. 16. 30. 3 больших силуэта.
к/о Шулико, Яковлев, Орлов...*

Чернильный карандаш расплылся, буквы скачут. Конечно, это записано на мостике корабля. В свежую погоду и на полном ходу. Общепринятые сокращения расшифровываются легко. МБК — это морской бронекатер, а СКР — сторожевой корабль. Пр-к — это противник. А вот что значит о/ог?

Я вчитываюсь в тусклые строчки, и подобно тому, как постепенно проступает изображение на проявляемой фотопластинке, в моей памяти возникают люди, корабли, пейзаж. Сначала только контуры, очертания, затем светотень... 21 ноября... Это был день, когда я впервые увидел морской бой.

За три года войны я много раз видел, как стреляют наши корабли. И как стреляют по нашим кораблям. Но эти затяжные артиллерийские дуэли не имели ничего общего с настоящим морским сражением, ожесточенным и скоротечным, сочетающим огонь и маневр. И кто же читавший о Синопе и Наварине, Трафальгаре и Цусиме не знает, что битва в открытом море — главное назначение надводного корабля и высший экзамен для моряка? С выходом флота из заблокированного и густо заминированного Финского залива на просторы Балтики боевая активность наших кораблей резко возросла. Десантные суда и катера оказали большую помощь сухопутным частям в освобождении Советской Эстонии, и к середине ноября 1944 года фашистские войска держались только на полуострове Сырве — юго-западной оконечности острова Сааремаа. 18-го начались совместные операции армии и флота по ликвидации немецкого плацдарма на Сырве.

Путь на Сааремаа лежит через маленький островок Муху. На Муху мы с Всеволодом Азаровым добрались на тендере (так назывались маленькие самоходные десантные баржи), а оттуда по трехкилометровой дамбе до отвоеванной столицы острова — Курессаре. В Курессаре нам повезло — встретили офицеров из той самой части, куда мы направлялись, и они подвезли нас на своей грузовой машине до самого пирса. По пути прихватили отчаянно «голосовавшего» паренька в солдатской шинели. Парень оказался матросом-штрафником. В самом начале наступления он был легко ранен, вывезен в Курессаре, провел в госпитале одну ночь и теперь возвращался в свою часть. Возвращался, кстати сказать, по собственному желанию, чтоб поскорее снять судимость. Кто-то спросил, за что он угодил в штрафбат. Выяснилось, что за дело, — пьянка и поножовщина. У парня была совсем детская рожица, и было удивительно, что он вообще пьет. Затем я спросил его, как идут дела на сухопутье, и парень, захлебываясь и матерясь, стал рассказывать про свой первый бой. Сидевший против меня молчаливый офицер слушал и морщился. Затем постучал по кабине водителя. Машина затормозила.

— Слезай.

Парень оторопел:

— За что, товарищ капитан третьего ранга?

— Нам матерщинников не надо. Свои надоели.

Пауза.

— Извините, товарищ капитан третьего ранга. Учту ваше замечание...

Офицер постучал вторично. Машина тронулась. Рассказ о ратных подвигах штрафбата продолжался, но уже без украшений. На развилке дорог парень сошел, вежливо попрощавшись, а мы, почему-то немножко смущенные, покатали дальше. Офицер проворчал:

— Ох, попал бы этот щенок ко мне в руки...

У совершенно голого пирса стояли в несколько рядов катера. Тяжелые зимние волны ударяли в дощатый настил и в борта кораблей. Катерники в теплых куртках с поднятыми капюшонами: ветер швыряет в лицо ледяные брызги и мокрый снег. Вид у всех утомленный. Отдыхать некогда, да и негде. Уходя, немцы разрушили все строения, уцелел только крошечный домик рядом с пирсом, нечто вроде сторожки. Там и штаб, и буфет, и лазарет. У начальника штаба старшего лейтенанта Лупача воспаленные глаза и трехдневная борода, он не спит третью ночь, и разговаривать с нами ему решительно некогда.

— Держитесь поближе ко мне, смотрите и слушайте. Насчет выхода в море — доложу.

Проходит день, и мы незаметно для самих себя входим в курс событий и вживаемся в напряженный ритм, которому подчинено все на пирсе. Из очень кратких докладов возвратившихся с задания командиров узнаем об успехах морских бронекатеров. Произведена демонстративная высадка десанта. Поддавшись панике, фашисты стали подрывать пирсы и потопили два своих катера. Огнем с моря уничтожено много автомашин, взорван склад с боезапасом, потоплено несколько вооруженных десантных барж. Мы торопливо записываем цифры, даты, фамилии. Но есть в том, что нас окружает, нечто с трудом поддающееся фиксации. Это нечто можно определить как стиль части, стиль руководства. Очень хороший стиль — спокойный, немногословный, деловитый, без крика и ругани. И это несмотря на усталость, напряжение, мерзкую погоду.

А еще через день мы получаем возможность наблюдать этот стиль там, где он всего дороже, — в море.

Я иду с Колесником. Азаров — с Кожевниковым.

Колесник моложе Кожевникова, но уже достаточно опытен. Юношеский романтизм уживается в нем с трезвым расчетом. В бой он идет непременно в кителе первого срока и при всех орденах. (Эту характерную деталь я впоследствии использовал в пьесе «Второе дыхание».) Бронекатер Колесника головной, флагманский, с ним идет командир дивизиона Максименков, тот самый капитан 3-го ранга, с которым мы ехали из Курессаре.

Чтобы попасть в свои корабли, приходится скакать с борта на борт, и я немножко побаиваюсь за Севу. Прыжки не самая сильная его сторона. Во всех прочих отношениях он товарищ вполне надежный.

Бронекатера называют катерными линкорами. Действительно, при небольших размерах они солидно вооружены. Два башенных орудия.

К моменту нашего выхода линия фронта еще несколько передвинулась к югу. Это видно даже с моря — по вспышкам выстрелов и трассам «катюш». Погода свежая, видимость плохая, и Максименков требует усилить наблюдение. Через несколько минут сигнальщик головного катера докладывает: «С левого борта плавающая мина». Немедленно дается оповещение.

Бронекатера идут кильватерной колонной. Они уже пересекли «линию фронта» и находятся во вражеских водах. Можно начать обстрел берега, но из-за тумана плохо просматриваются ориентиры, и комдив приказывает лечь в дрейф.

— Не стоит попусту расходовать боезапас. Подождем, пока улучшится видимость.

Туман расходится медленно. Ни Максименков, ни Колесник ни на минуту не покидают мостика. Они почти не разговаривают. Их внимание полностью занято берегом и горизонтом. Сигнальщики смотрят во все глаза, но, как говорит Колесник, «свой глаз — алмаз».

Силуэты вражеских кораблей я начал различать уже после того, как затрещали звонки боевой тревоги. Взревели моторы, винты взвихрили воду, орудия развернуты на левый борт, и по команде флагмана колонна начинает маневр. Все происходит четко и согласованно, как на учении. Взвился сигнальный флажок — «открыть огонь по противнику». Залп, другой, третий... Проходит несколько секунд, и над нами свистит ответный снаряд. Перелет.

И закипел морской бой. В этом штампованном определении есть зерно истины. Море действительно кипит. Во время крутых циркуляций тяжелые брызги долетают до мостика. Два встречных потока трассирующих снарядов стелются над водой; задевая за волну, снаряды рикошетируют. Когда смотришь на приближающийся снаряд, кажется, что он летит очень медленно, но прямо на тебя. Дым, острый запах пороховой гари.

Все это продолжается считанные минуты. Но восприятие так обострено, что минуты сильно растягиваются в длину и успеваешь видеть все. И как исполняются сигналы флагмана на других катерах, и лица сигнальщиков, и фигуру артиллериста младшего лейтенанта Глебова. Опершись локтем о кормовую башню, он спокойно корректирует огонь.

Под огнем бронекатеров корабли противника (вероятно, сторожевики) начинают отходить. Похоже на бегство. Но комдив не спешит с сигналом о преследовании.

— А если провокация? Хотят завлечь на минное поле или поставить под удар более крупных кораблей?

Несколько минут выжидания, и правота Максименкова обнаруживается полностью. Сторожевики возвращаются и вновь открывают огонь. Но на сближение не идут. С нашего мостика отлично видно мелькание ратьера на одном из кораблей. Немецкий флагман что-то «пишет».

— Вызывает поддержку, — говорит комдив.

И опять оказывается прав. Тяжелый снаряд рвется у нас по носу. Это вступили в бой миноносцы.

Море вновь вскипает. Третий раунд — самый ожесточенный — длится шесть минут. И у нас, и на других катерах есть раненные осколками. Один комендор — тяжело. Наши снаряды ложатся точно, комдив уверен, что есть прямые попадания. И несмотря на превосходство в силах, гитлеровцы отступают.

Стемнело, и мы возвращаемся на базу. В конце дня узнаем оценку командования: «Дрались хорошо. Связали вражеские корабли, лишили их возможности поддерживать огнем фланг немецкой обороны на полуострове».

В этот день наши сухопутные части продвинулись вперед, а еще через два дня немцы с огромными потерями были сброшены в море.

На обратном пути в Таллинн мы застряли на переправе. Ждем, когда рассосется пробка, и клюем носами. И вдруг я слышу ликующий, захлебывающийся голос:

— Эй, капитан!

Голос чем-то знаком, я оглядываюсь и вижу, что с другого грузовика мне машет рукой какой-то парень. Голова парня до такой степени замотана бинтами, что торчит только нос.

— Слышь, капитан,— всё! Порядок! Искупил кровью. Начинаю новую жизнь!

Кругом все хохочут, и больше всех парень. Я тоже смеюсь и машу рукой. И, конечно, вспоминаю Максимова: «Попал бы этот щенок ко мне в руки...»

Ах, как это важно — вовремя попасть в хорошие руки.

1966

Статьи о театре

A decorative flourish consisting of a horizontal line with a large, stylized, swirling element below it, resembling a calligraphic 'S' or a scroll.

Режиссер Федор Каверин

Книги и картины всегда переживают своих авторов — одни на годы, другие на века. Автор спектакля в худшем положении. Даже великие спектакли недолговечны. Они оставляют глубокий, но незримый след в культуре народа. Видимые же следы — эскизы декораций и костюмов, фотографии актеров и мизансцен, рецензии и режиссерские партитуры — в большей мере достояние музея, причем музея, рассчитанного на ограниченный круг специалистов. Их хранят, как реликвии, изучают, как древние письма, но ими не наслаждаются. Они не способны возбудить и сотой доли тех чувств, которые владели зрителями премьеры. Лишь в самые последние годы появились фильмы-спектакли, фиксирующие на киноплёнке выдающиеся явления театра. Но и они не равноценны настоящему спектаклю, чаще всего это художественный компромисс — уже не театр и еще не кинематограф.

Спектакли, поставленные Федором Кавериним, не увековечены на пленке. Даже на магнитной. Созданный им театр, где прошла значительная часть его творческой жизни, ныне не существует. Ни о театре, ни о его создателе нет монографии, да и вообще написано очень мало. А ведь Каверин был яркой звездой на нашем театральном небе, талант имел редкий, многие его спектакли пользовались огромным успехом. Даже в истории советского театра — самого массового в мире — я не помню другого случая, чтоб спектакль прошел около двух тысяч раз, как поставленный Ф. Н. Кавериним «Кино-роман».

Недавно вышла в свет книга Каверина «Воспоминания и театральные рассказы». Конечно, эти незавер-

шенные воспоминания не могут дать сколько-нибудь полного представления о Каверине-режиссере, но, когда человек добр, честен и талантлив, эти его качества сказываются во всем, что бы он ни делал. О литературных опытах Федора Николаевича знали немногие; насколько мне известно, он никогда не пытался печатать свои рассказы. Не думаю, чтоб его всерьез манили лавры беллетриста; писание рассказов было для него еще одной формой служения тому искусству, которому он был безраздельно предан и без которого себя не мыслил, — искусству театра. Каверин был театральный режиссер, театральный педагог, театральный литератор. Он говорил шутя, что режиссеры бывают двух родов: из актеров — показывающие и из театроведов — объясняющие. «Я ни то и ни другое. Я режиссер из помрежей, человек с колокольчиком...»

В этой шутке есть много верного. Каверин был режиссером из режиссеров, его стихией были кулисы, он не столько показывал и разбирал, сколько организовывал и увлекал. Он напоминал тех режиссеров старинного театра, которые могли быть реформаторами и первооткрывателями — и сами звонили в колокольчик, созывая актеров на сцену. Не было такой вещи на сцене и за кулисами, которая оставляла бы его равнодушным. Он был знатоком театральной машинерии и театрального освещения; среди взлетающих к колосникам полотнищ, кренящихся фанерных колонн и извивающихся по пыльным доскам кабелей он чувствовал себя как рыба в воде. Машины, при помощи которых на театре изображаются ветер, дождь и пулеметная стрельба, вызывали у него нежность, пиротехника его веселила. Он любил работать с художником и композитором, редкий каверинский спектакль обходился без неожиданностей в планировке и освещении, без органически включенной в ткань спектакля оркестровой музыки. Он любил магию театра, его способность превращать подозрительные тряпки и дешевые побрякушки в сказочные наряды и сверкающие уборы, его пьянил стук деревянных мечей и оклеенных золотой бумагой кубков. Он любил в театре театральность, тянулся к трагедии и фарсу, но не брезговал и мелодрамой; не помню, чтоб он называл себя романтиком, но все его отношение к искусству было романтическим или я не понимаю, что значит это слово.

До знакомства с Федором Николаевичем я, как мно-

гие москвичи, знал и любил спектакли Нового театра, выросшего из созданной Кавериним Студии Малого театра.

В студиях вообще есть необыкновенное очарование. В ту пору студий было много. Одни возникали прямо из небытия, другие вырастали, как молодые побеги, из старых театров. У Московского Художественного театра было одно время четыре студии, не считая национальных. Мне всегда казалось, что в центробежной силе, заставляющей молодого актера покидать налаженное существование в стенах маститого театра и пускаться на риск студийных поисков, есть нечто более привлекательное, чем в центростремительной, толкающей юношу, чей талант впервые проявился в маленьком театре, на любую, лишь бы академическую сцену. Студия Малого театра была, как все студии, в чем-то оппозиционна к своей метрополии, в чем-то родственна. Старики Малого театра ворчали, но связей не порывали и на спектакли ходили... «Кино-роман», «Без вины виноватые», «Конец — делу венец», комедии Шкваркина и мелодрамы Щеглова гремели на всю Москву. Молодые актеры и актрисы театра — К. М. Половикова, Н. С. Цветкова, В. А. Царева, С. М. Вечеслов, П. А. Оленев, Н. К. Свободин, А. П. Шатов и другие — быстро завоевали общее признание.

Мы познакомились и сблизились с Федором Николаевичем во время работы над «Трусом» — пьесой, которую я робко называл «опыт трагедии». Я был юнец, автор второй пьесы, Каверин — известный режиссер. Больше мы не встретились на совместной работе, но отношения сохранились на всю жизнь. Я навсегда сохранил чувство восхищения и любви к Федору Николаевичу и с благодарностью вспоминаю о нашем сотрудничестве. Я участвовал в выпуске многих премьер — среди них были и грустные и радостные. Но такого радостного, ничем не замутненного ощущения творческой дружбы и взаимной увлеченности, какое сохранилось во мне от ежедневного общения с Федором Николаевичем, у меня больше никогда не было и, вероятно, не будет. Наши отношения не были безмятежными. Мы ссорились и мирились, как юные влюбленные. Его способность отдаваться делу поражала и покоряла. Бесконечно мягкий, он становился тираном. С необыкновенной легкостью забывая об обеде, он удивлялся, когда о нем вспоминали другие. «Кто же это обедает за три дня до премье

ры?» — сказал он однажды Н. К. Свободину, которому после многочасовой репетиции предстояло играть главную роль в спектакле с пением и танцами. Он готов был работать всегда — весь день, вечером во время спектакля, если нужно, ночью. Никакие посторонние соображения для него не существовали. Это был веселый аскет, жизнерадостный подвижник, нормальный одержимый. Успех его интересовал постольку, поскольку без него невозможен театр. Успех входил как составная часть в празднество, которым, по мысли Федора Николаевича, должен был быть всякий спектакль. Каверин бывал задорно самонадеян, зачиная спектакль, и редко оставался доволен собой, подводя итоги. Кокетства в нем не было, если не считать невинной страсти — удивлять, заинтриговывать. Он любил поиграть в таинственность.

Невозможно забыть его походку, его улыбку, его нежный хриловатый голос.

Федор Николаевич ходил удивительно — держа руки по швам, осторожно ступая на носки и раскачиваясь в такт шагам, как будто все время кланяясь.

Походка сухово-кобылинского чиновника, идущего на доклад к Его Превосходительству.

Откуда сие у кроткого, но независимого человека, для которого не существовало превосходительств, знавшего только одного владыку — Его Величество Театр?

Случайно я постиг эту загадку в первый же день нашего знакомства. Состоялось оно в театре, во время утреннего спектакля. Меня попросили подождать в пустом фойе и побежали искать Федора Николаевича. На месте он никогда не сидел. Не помню, был ли у него кабинет.

Я просидел минут десять, прислушиваясь к доносившимся из зрительного зала взрывам смеха и аплодисментам. Вдруг из маленькой дверцы выскользнул человек в темном костюме и темной рубашке с вязаным галстуком. Он шел прямо на меня кланяющейся походкой. На губах его блуждала улыбка, трепетная, сияющая, лукавая улыбка человека, которому открыта какая-то веселая тайна. Человек подошел ко мне вплотную, взял за локти обеими руками, слегка потряс, и нежный хриловатый голос произнес:

— Я очень рад.

И я, не совсем новичок в театре, уже знавший, что такое актерский «вольтаж», и умевший делать поправку на присущую деятелям театра некоторую преувели-

ченность в выражении своих чувств, вдруг безоговорочно и сразу поверил, что он рад мне. Каверин был из тех людей, которых надо понимать буквально. Когда он говорил «будьте здоровы», это значило, что он действительно желает вам здоровья.

Затем он взял меня за руку и повел. Передо мной открылась маленькая дверца. Мы протиснулись между известковой стеной и шипящей пятисоткой и пошли сзади какого-то интерьера... И тут до меня дошло, что моя походка не отличима от каверинской. Каверин привычно, всегда и всюду ходил так, как ходят за кулисами во время действия, стараясь не шуметь, не зацепить ногой кабель, не наткнуться на декорацию, всем своим видом говоря: тише, идет спектакль...

Ни одна фотография не передает улыбки Федора Николаевича. В применении к Каверину слова «на его губах играла улыбка» — не штамп. Она действительно играла, все время меняя оттенки, как бы настраиваясь на разные волны. Когда Каверина понимали, улыбка становилась радостной. Когда не понимали — грустной и сочувственной. Не понимавших его он искренне жалел. Сердился он редко, страстность и непримиримость уживались в нем с удивительной деликатностью. «О чепухе говорите!» — говорил он вздыхая. Даже в раздражении не умел сказать: «Вы говорите чепуху».

Разговаривать с ним было всегда интересно. Он был вечно чем-то увлечен, причем не просто увлечен, а до предела, до восторга, до самозабвения. Пьеса, которую он в данный момент репетировал, всегда казалась ему великолепной. Я не слышал, чтоб он говорил о драматургии свысока. Кроме основного увлечения у него бывало несколько сопутствующих. Идеи и замыслы буквально одолевали его. Большие и мелкие, реальные и фантастические...

— Вот поставлю вашу пьесу и возьмусь за «Фауста».

— Гуно?

— Зачем Гуно? Гёте.

— А это можно ставить?

— По-моему — необходимо.

— И вторую часть тоже?

— Вы напрасно думаете, что состригли...

И начнет рассказывать, как он думает смонтировать текст. Обстоятельства помешали Федору Николаевичу осуществить этот смелый замысел. Я вспомнил о нем,

увидев расклеенные на московских улицах афиши немецкого театра. Мы могли бы быть первыми...

Вспоминаю нашу встречу вскоре после закрытия Нового театра. Легко себе представить, что Каверин пережил. Но внешне он неизменен. Та же сияющая улыбка.

— Что вы сейчас делаете, Федор Николаевич?

— Ставлю эстрадные номера. Послушайте, это совершеннейшая целина и страшно интересно. Грандиозные возможности и очень нужное, воистину народное дело. У меня будет целая мастерская. Вот только с драматургией трудно, серьезные люди почему-то сторонятся эстрады. Вы обязательно должны для нас писать...

— Я же не умею.

— Вот это-то и великолепно!

И никаких разговоров на номенклатурные темы, о должностях и ставках, никаких жалоб на потерю положения главного режиссера. В его сознании режиссеры делились не на главных и очередных, а на интересных и неинтересных.

Я знал многих руководителей театров. Все они были по-своему импозантны и обладали властными манерами. Импозантности в Каверине не было ни на грош. Властности тоже. В быту он был человеком не сильного характера. А при этом умел покорять и властвовать. По праву убежденности, по праву вдохновения. Глядя на него, вспоминалось, что в истории человечества армии вели не только украшенные всеми атрибутами власти генералы, но и босоногие проповедники.

Каверин был прирожденным педагогом и вдохновенным оратором. Он не всегда находил точные слова для понятий, но речь его была образной и увлекательной. В увлечении он иногда говорил на репетициях невозможные вещи. Мог сказать что-нибудь вроде: ты быстро проходишь мимо него очень медленными шагами... Актеров это никогда не смущало. Они его понимали.

Творческий подъем делал его волевым. Каверин отличался устойчивостью, которой обладает заведенный волчок, когда он, стоя на острие, поет и переливается красками. И такой же незащищенностью от ударов. Вне работы был мягок и детски доверчив. Цепкости, бытовой хватки, жизненной умелости в нем не было. Администратор он был никакой. А в репетиционном зале — смел до дерзости. Я уже говорил о его невинной слабости — ошеломлять собеседника.

— Сейчас вам будет дурно, — объявил он мне в день распределения ролей. — Я думал ночью и придумал: Дорофея должен играть Свободин. А Золотарева — Вечеслов.

Я ахнул. Дорофей — ефрейтор царской армии, образцовый служака, крестьянский сын. Н. К. Свободин — высокий худощавый человек с тонким лицом интеллигента, мягким голосом небольшой звучности. Старый граф в «Кино-романе».

Золотарев — прапорщик, урод, фитюлька, истерик, «гриб поганый». С. М. Вечеслов — основной герой-любовник каверинской труппы, рослый, красивый, встречаемый восторженным визгом поклонниц. Незнамов в «Без вины виноватых».

— Вот увидите — будет прекрасно. Театр не кино, и типаж не имеет такого значения. Важно, что у актера внутри...

Каверин оказался прав. Поклонницы не узнавали Вечеслова в рыжем паричке с забавными проплешинами, как от залеченной экземы. Свободин, прятавший свои узкие ладони и длинные музыкантские пальцы под черными суконными варежками, был настоящим русским солдатом. Оба играли отлично.

Позже, когда репетиции перешли на сцену:

— Приготовьтесь падать в обморок. Шумы отменяются. Поезда будут приходить под музыку.

— Почему?

— Станный вы человек! Требуете от Шатова, чтоб он произносил свой монолог в ритме, чуть ли не как белые стихи, а за сценой в это время натуралистическая возня, пыхтение, стук колес. Все это никуда не годится. Восемь — десять восходящих аккордов — поезд прибыл. Я придумал, как играть светом. Те же аккорды в нисходящем порядке — поезд ушел, исчез, растворился. Увидите...

Это было не только хорошо, но и послужило своеобразным камертоном к спектаклю, определило его основную тональность.

Неспособный пошевелинуть пальцем для того, чтобы получить приличную квартиру (так и прожил всю жизнь в домике-развалюхе на Конюшковском), Каверин, когда дело касалось театра, не останавливался ни перед какими препятствиями. Мог позвонить куда угодно и кому угодно.

Известен такой случай.

Федор Николаевич поставил пьесу одного начинающего драматурга на острую международную тему. Репертком смотрел дважды, на втором просмотре присутствовали какие-то работники Наркоминдела. Все сидели с каменными лицами, после просмотра долго шушукались и ушли, еле попрощавшись. Каверин нервничал: в спектакль вбито масса труда и денег. Вскоре пришло официальное запрещение.

Федор Николаевич вскипел: «Безобразие! До наркома дойду!» Позвонил М. М. Литвинову. Литвинов обещал приехать.

И вот через несколько дней в пятом или шестом ряду пустого и холодного зрительного зала сидел немолодой человек в накинутаой на плечи шубе, с удивительно умными и веселыми глазами на массивном лице. Спектакль шел для него одного. Кроме него в зале было не больше десяти человек — сотрудники и друзья театра. Никаких инструкций от Каверина они не получали, но подразумевалось, что они будут смотреть не только на сцену.

Знаменитый дипломат оказался на редкость непосредственным зрителем. Он смеялся, ахал, хлопал себя по коленям и несколько раз подносил к глазам платок. Смотреть на него было наслаждением. И с каждым актом росла надежда...

По окончании просмотра к наркому приблизился своей раскачивающейся походкой Федор Николаевич, и, застенчиво улыбаясь, спросил, какое впечатление произвел на него спектакль. Максим Максимович долго и ласково тряс Каверину руку.

— Спасибо вам, что вытащили. При моей адской занятости в кои веки выберешься в театр. А тут полезное с приятным, и по службе приехал и удовольствие...

— Вам понравилось?

— Очень. Я ведь почти совсем не знал вашего театра. Давно так не волновался.

— Так вы считаете, что нам удалось до некоторой степени передать...

— Даже не до некоторой... Очень правдиво. Так именно оно и бывает.

Федор Николаевич расцветает:

— Значит, спектакль можно выпускать?

Выражение лица Литвинова меняется.

— Ни в коем случае. Что вы, дорогой мой, да разве

вы не знаете?.. А впрочем, конечно, не знаете. В высшей степени несвоевременно.

— Максим Максимович, это катастрофа. Столько труда, денег! Одной фанеры целый вагон истратили...

Литвинов захохотал. Долго не мог остановиться. Этот вагон фанеры его насмешил и растрогал.

— Голубчик вы мой... Вагон фанеры... — Затем стал серьезным, взял Каверина под руку и пошел к выходу.

Вернулся Федор Николаевич с таким сияющим лицом, что у всех опять затеплилась надежда.

— Какой человек! Если б со мной всегда так разговаривали...

Спектакль не пошел.

Каверин был беспартийным большевиком, человеком, близко принимавшим к сердцу интересы Советского государства. Он считал, что искусство должно активно помогать партии строить новое общество. Он был энтузиастом театральной самодеятельности в годы, когда этому виду искусства не придавалось такого значения, как теперь.

О режиссерском творчестве Каверина нужна монография. Расскажу только о двух каверинских мизансценах, при рождении которых я присутствовал.

Кульминационная сцена «Труса» происходит на дороге.

...Зима. Двое солдат с винтовками ведут в тюрьму большевика, арестованного по обвинению в убийстве прапорщика. Настоящий убийца — один из конвоиров. Виноватый ведет невиновного. По дороге на ходу происходит бурное объяснение.

Задача сама по себе сложная. Каждый театр находил свое решение. В Ленинградской акдраме был использован вращающийся круг сцены, в Киевском театре имени Франко дорога сбегала зигзагом из глубины к авансцене. Каверинское решение поначалу тоже было сложным. Он хотел использовать кинопроекцию. Медленно проплывающие по белому заднику деревья и телеграфные столбы должны были создать впечатление движения.

На репетиции с техникой что-то не ладилось. Она жужжала, портилась, тени ложились на лица актеров. Наконец Каверин разъярился:

— Убрать всю эту механику. Это не театр! Два белых сугроба на авансцене слегка подсветить красным — солнце садится. Между сугробами три солдата

лицом в публику. Шаг на месте! Так пойдет вся сцена. Начали!..

Скептики покачивали головами. Решение казалось слишком смелым. Знатоки-то оценят, но придет рядовая публика, и как бы кто-нибудь не захихикал...

Пришла публика. Никто не захихикал. Сцена слушалась с напряженным вниманием. Лучшего режиссерского решения этой сцены я не знаю.

Однажды мне позвонил Федор Николаевич и пригласил на черновую репетицию «Уриэля Акосты». За репетициями «Уриэля» я следил — и потому, что музыку к спектаклю писал мой отец, композитор А. А. Крейн, и потому, что мне очень нравился каверинский замысел.

Репетировалось любовное свидание Юдифи и Уриэля. На сцене стоял широкий деревянный помост, отлого спускавшийся из глубины к авансцене и изображавший в данный момент садовую аллею. После музыкального вступления К. М. Половикова и С. М. Вечеслов возникали в глубине аллеи с разных сторон, здоровались и начинали диалог.

Федору Николаевичу все не нравилось. Ему не сиделось в зрительном зале; он бегал по проходу между креслами, вскакивал на сцену, придирался к актерам, измучил всех и себя. Впору было прекращать репетицию.

Наконец он оставил исполнителей в покое и попросил повторить музыкальный кусок. Слушал пригорюнившись. И вдруг засиял:

— Все неверно. Я виноват. Так нельзя обращаться с музыкой. Это же не садовая музыка, не звуковой фон для обычного свидания, а то, что звучит в душах у них обоих, — это Песнь песней. Оркестр, приготовились! Юдифь и Уриэль, по местам! Не подходите друг к другу вплотную. Даже не поднимайте глаз. Или нет — подняли на мгновение и тут же опустили. Одновременно повернулись и пошли на публику. Вступил оркестр... Идете очень медленно, рядом, но не вплотную, даже несколько сторонясь друг друга. Расстояние вытянутой руки. До самой авансцены никакого текста. Идете молча и слушаете музыку. Вернее, прислушиваетесь к самим себе. Музыка не в оркестре, она внутри вас. При помощи музыки вы общаетесь друг с другом, вам не нужны ни слова, ни взгляды. Когда вы подойдете к авансцене и вновь поднимете глаза, главное должно быть уже сказано, и зритель должен это понять.

Эта сцена немного объяснения всегда вызывала аплодисменты.

Таких находок в спектаклях Каверина было рассыпано множество.

До самой смерти Федор Николаевич сохранил юношеский пыл и неистощимую фантазию. Он был всегда полон замыслами, всегда готов на поиск и творческий риск. Память о его светлом и радостном служении любимому искусству — высокий этический образец для нашей театральной молодежи.

Я часто вспоминаю его шутку о человеке с колокольчиком. Его талант действительно был похож на звонкий колокольчик — необыкновенно нежного и чистого тона.

1961

Актер Михаил Астангов

Пожалуй, ни одна профессия не вызывала у людей, далеких от театра, такого острого любопытства, как профессия актера. В разные эпохи это любопытство окрашивалось в различные тона — актеры испытали на себе и крайнее предубеждение, превращавшее их в изгоев, и не знающее удержу поклонение.

Такой повышенный интерес к профессии и личности лицедея можно понять. С одной стороны, актер — это искусный обманщик, каждый день выдающий себя за кого-то другого, сделавший своим ремеслом имитацию чужих страстей, с другой, он сам — произведение искусства, мечта, облеченная в плоть, источник радости и вдохновения. В отличие от большинства профессий, где субъект и объект труда резко разграничены, труд актера основан на том, что материалом для него служит его же собственное тело и собственная психика. В этом увлекательность профессии, в этом и ее опасность. Впрочем, вряд ли существует профессия, сколь бы почетна и полезна она ни была, которая не таила в себе своих опасностей и не знала бы своих профзаболеваний. В актерской профессии они тоже есть, и затрагивают они не столько физическую, сколько духовную природу человека. Говорю об этом не обинуясь, ибо сам принадлежу к родственной профессии, столь же высокой и столь же опасной.

Одна из главных опасностей актерского ремесла заключается в том, что молодость, красоту, физическое обаяние зрители, а вслед за ними и сам актер принимают за искусство. Разительнее всего это проявляется в кино. Недавно одной из самых знаменитых кинозвезд Запада стала Урсула Андрес, двадцативосьмилетняя учительница из Швейцарии. Мировая слава пришла к ней сразу после того, как она сыграла крошечный эпизод в авантюрной картине «Доктор Но». Возможно, Андрес не лишена актерских способностей, но своей головокружительной славой она обязана не столько дарованию, сколько «bikini» — чрезвычайно открытому купальному костюму, в котором она дебютировала на экране. То, что наряду с подлинными художниками сцены и экрана, мастерами, тружениками и подвижниками существуют как бы на равных правах люди, поверхностно эксплуатирующие свои природные данные, — это, конечно, опасность.

Верно и то, что аплодисменты, визг поклонниц, жадный интерес публики, необходимость сохранять форму, удерживать успех и положение в театре могут породить и нередко порождают эгоцентризм, самовлюбленность — словом, все то, что К. С. Станиславский определял ныне полузабытым словом «каботинство».

Но, пожалуй, наибольшие опасности подстерегают актера не во внешних условиях профессиональной жизни, а в самой природе его мастерства. Ведь как это ни парадоксально, но тот самый тончайше разработанный психологический механизм, который помогает актеру быть искренним на сцене, с тем же успехом может быть использован для того, чтобы быть неискренним в жизни. Легкая возбудимость и умение «верно жить в предлагаемых обстоятельствах», необходимые на сцене, могут стать опасными в быту, а способность к перевоплощению и изощренная фантазия имеют свою оборотную сторону, придавая психике чрезмерную гибкость, не свойственную ясным и цельным натурам. Никто не знает этого так, как сами актеры, и никто так зло не смеется над наигранным темпераментом «Актер Актерычей», как они. Вспомним чеховского Блистанова из рассказа «Сапоги» в поистине блистательном исполнении Игоря Ильинского.

От всех этих ядов есть единственное, но универсальное противоядие — идейность. Когда актер любит не себя, а свое искусство, когда он сознает высокую от-

ветственность своей миссии, когда он служит обществу не только как лицедей, но и как передовой гражданин своей страны, к нему не пристают никакие профессиональные болезни.

Ярчайшее доказательство тому — Михаил Федорович Астангов.

Существует такой шуточный афоризм: «Очень хороший актер не похож на актера, средний — похож на актера вообще, а плохой — на актера своего театра». Эта шутка казалась мне не лишенной правдоподобия, пока я не познакомился с Астанговым.

Астангов был превосходным актером и при этом очень похож на актера. Он был артистичен и не скрывал этого. В его запоминающейся внешности, в том, как он носил костюм, в широком и пластичном жесте было нечто броское, декоративное. На него оборачивались. И это нисколько не мешало ему быть простым и сердечным. В его жизненной повадке было что-то от Сирано де Бержерака. Кстати сказать, Сирано он играл отлично и, вероятно, сыграл бы еще лучше, если бы участвовал в постановке, а не вошел в готовый спектакль. Чтоб хорошо сыграть уроды Сирано, актеру надо быть красивым. Правило это почти не знает исключений, лучшими Сирано на советской сцене были Н. М. Радин, И. Н. Берсенев... Не составлял исключения и Астангов. На мой взгляд, он был очень красив. Выше среднего роста, очень изящный; лицо резко очерченное, мужественное, большой лоб мыслителя, который не портила даже ранняя лысина. Самым впечатляющим в этом лице были глаза — пылкие, легко загорающиеся. Михаил Федорович это знал и умел — чаще всего в шутку — метнуть в собеседника этакий дьявольский, ослепляющий, как магниевая вспышка, взгляд. Миллионам радиослушателей знаком голос Астангова — он звучит и поныне — голос, насыщенный волей и страстью, его узнаешь мгновенно и безошибочно. Но, будучи богато одарен природой, Астангов никогда, даже в юности, не принадлежал к тем артистам, все искусство которых сводится к эксплуатации своих природных данных. Как истинный художник, он не боялся ставить перед собой задачи, трудные, зачастую неблагодарные и, уж во всяком случае, не обещавшие легкого успеха. Обладая всеми необходимыми данными, чтобы играть героев, Астангов охотно брался за характерные роли, переиграл много «злодеев» и в этих злодейских ролях был по-своему обаятелен.

Свои природные данные Михаил Федорович считал долгом беречь и развивать. Аскетом он не был и при случае умел кутнуть, но на репетиции являлся всегда свежим, собранным, гладко выбритым, готовым репетировать в полную силу. В шестьдесят лет его фигура была так же стройна и голос так же гибок, как в тридцать. Играя старого Маттиаса Клаузена в пьесе Гауптмана «Перед заходом солнца», он заставлял зрителей верить, что этот седой человек еще способен пылко любить и вызывать любовь. А это удается далеко не всегда и не всем.

Астангова любили за прямоту и верность в дружбе, за щедрость и великодушие. А те, кто не любил, вынуждены были уважать. И пожалуй, именно на примере Астангова я убедился, что длительное пребывание «в предлагаемых обстоятельствах» отнюдь не всегда имеет растлевающее влияние и что, наоборот, высокие литературные образцы в свою очередь формируют душу актера и обязывают подтягиваться до их уровня. Актер Геннадий Несчастливцев из «Леса» Островского не только «говорил, как Шиллер», он и поступил с великодушием шиллеровского героя. Не нужно понимать меня слишком буквально, но в Михаиле Федоровиче было что-то и от Геннадия Демьяновича. Конечно, ни старомодности, ни провинциальности в нем не было, но горд он был, с «антрепренерами» ссорился и не раз перекочевывал — правда, не из Керчи в Вологду, а из одного московского театра в другой. А главное, жила в нем непритворная рыцарственность, он был вспыльчив и лишен злопамятства, он действительно «говорил, как Шиллер, а не как подьячий», и грустно, что за всю свою жизнь он так и не сыграл ни одной шиллеровской роли. Не сыграл он и Несчастливцева. О сыгранных Астанговым ролях полнее и лучше меня расскажут театроведы, мне же хочется назвать несколько ролей, которые он не сыграл, хотя был создан для них. Михаил Федорович всю жизнь мечтал о шекспировских ролях, а сыграл мало — Ромео, в годы, когда уже созрел для Гамлета, а Гамлета на шестом десятке. Не сыграл он ни Цезаря, ни Макбета, ни Лира, а Ричарда — только на концертной эстраде. Понимал Шиллера — и не сыграл ни маркиза Позу, ни Франца Моора. Любил Достоевского — и не сыграл ни Раскольникова, ни Митеньки Карамазова. Зато в молодой советской драматургии переиграл множество ролей, и среди них были такие блистательные удачи, как Гай в «Моем друге»

Н. Погодина, Павел Греков в одноименной пьесе Б. Войтехова и Л. Ленча и Федор Таланов в леоновском «Нашествии».

Впервые я увидел Астангова в комедии Нотари «Три вора», шедшей в конце двадцатых годов на сцене Московского театра имени Комиссаржевской. Пьесу эту теперь мало кто помнит, больше известен фильм «Процесс о трех миллионах», поставленный Я. А. Протазановым. Трех воров в фильме — банкира, светского авантюриста и бродяжку — играли выдающиеся актеры М. М. Климов, А. П. Кторов и И. В. Ильинский. Астангов играл кторовскую роль и, насколько я могу помнить, играл совсем иначе. У Кторова Каскарилья был вор-аристократ в традициях французского полицейского романа XIX века; у Астангова — вполне современный гангстер. В сцене с женой банкира главным оружием кторовского вора был светский шарм, астанговского — гипнотизирующая злая воля. Эта сцена была как бы эскизом к знаменитой сцене Глостера и леди Анны из шекспировского «Ричарда III», которую Михаил Федорович в течение многих лет исполнял в концертах. Сцена эта одна из труднейших в мировом репертуаре. Шекспир ставит перед актером задачи почти не осуществимые. За четверть часа Глостер должен уговорить сильную, гордую женщину, идущую за гробом убитого свекра, полюбить его — уродца, убийцу, виновника всех ее несчастий. Однако сценическое время по сравнению с астрономическим отличается большей емкостью, а талант артиста заставляет верить в необычайное. Большим актерам — Южину, Качалову — это удавалось. Удавалось это и Астангову. У него было все необходимое, чтобы выиграть этот головокружительный поединок: яркая индивидуальность, мастерство и сценический темперамент, та щедрая самоотдача, та временами безрассудная трата душевных сил, без которой нет трагического актера. Конечно, в спектакле Театра имени Комиссаржевской все эти черты астанговского дарования были еще в зародыше, однако же прошли десятилетия, забылись и пьесы, виденные в этом театре, и актеры, игравшие рядом с Астанговым, даже дом, в котором помещался театр (где-то на Тверской, неподалеку от нынешнего Центрального телеграфа), а Астангов запомнился навсегда.

После Каскарилья я видел Астангова во многих ролях, многие из них он играл превосходно, но я хочу рас-

сказать здесь лишь об одной из его ролей — той, в которой он стал для меня и для многих людей моего поколения подлинным властителем дум. Это была роль Григория Гая в пьесе Н. Погодина «Мой друг». Пьеса шла во многих городах Советского Союза и имела успех, но успеха, равного успеху постановки Алексея Попова в Московском театре Революции и успеху Астангова в центральной роли, не было ни в то время, ни в последующие годы.

Напомню, кто такой Гай. Григорий Гай — крупный хозяйственник, начальник большой стройки, один из тех командиров промышленности, которые выдвинулись в годы первых пятилеток. От множества волевых руководителей и образцовых начальников, разгуливавших по театральным подмосткам, погодинский Гай выгодно отличался тем, что он был не эталоном «положительного героя», а живым человеком — пылким, ищущим, ошибающимся, веселым, страдающим, страстно ненавидящим ханжество и карьеризм и столь же страстно влюбленным в свою трудную и увлекательную профессию. Астангов внес в исполнение этой роли присущую ему романтическую ноту — он был суров и нежен, опасен в гневе и неотразим в своей увлеченности. И мы — молодые современники Гая — не только горячо аплодировали ему из зрительного зала, мы уносили его образ с собой, мы шевелили губами, повторяя его саркастические реплики в диалоге с ханжой Эллой Пеппер, и восторженно хихикали, вспоминая, как Гай наклоняется к уху своего заместителя Белковского, чтобы сказать по секрету, что он, Гай, думает по поводу его очередного предательства. Мы были влюблены в Гая, как был влюблен в него Максим, заросший бородой, не знающий минуты отдыха юный помощник Гая, тот самый Максим, которого Гай нещадно гонял и эксплуатировал и которому в финале пьесы он говорит: «Знаешь ли ты, чего ты хочешь, Максим? Я тебе скажу, чего ты хочешь...» И мы повторяли эти слова так, как будто они были обращены к каждому из нас, и мы действительно чувствовали, что хотим того же, что Гай и Максим.

А сцену Гая с Руководящим лицом я знал почти наизусть. В этой сцене у Астангова был равной силы партнер — М. М. Штраух. Штраух не стремился к портретному сходству с кем-либо из выдающихся государственных деятелей того времени, но ему удалось создать чрезвычайно убедительный образ большевика ленинской

школы, образ обобщенный и в то же время достоверный до мелочей. В этой сцене Погодину, А. Попову, Астангову и Штрауху выпало счастье выразить средствами театрального искусства дух времени, мысли и чувства множества людей, живших и работавших в годы социалистической реконструкции нашей промышленности.

С властителем дум всегда хочется познакомиться. И мы познакомились в полутемном фойе московского Дома актера, во время какого-то очередного мероприятия. Услышав мою фамилию, Астангов ласково попугал меня своими дьявольскими глазами, затем дружески протянул обе руки, и с тех пор у нас установились добрые отношения. Сблизились мы много позже, уже после войны, в работе над спектаклем. Михаил Федорович играл в моей пьесе «Кандидат партии» роль секретаря заводского парткома Плотовщикова, играл хорошо, несмотря на то, что пьеса в целом, а образ Плотовщикова в особенности были к тому времени основательно изувечены, причем моими собственными руками. О печальной судьбе моей последней пьесы, может быть, не стоило и рассказывать, но без этого не воссоздать той тревожной атмосферы, в которой проходили репетиции вахтанговцев и протекала наша совместная работа.

На долю «Кандидата партии» досталось немало испытаний. Опубликованная в 1950 году в «Новом мире» пьеса была принята к постановке Художественным театром и поставлена многими театрами периферии. Был успех, публика ходила, газеты хвалили. Затем, как гром среди ясного неба, статья в центральной газете — и картина резко меняется, театры приостанавливают спектакли и репетиции, директора шлют тревожные телеграммы.

Статья застала меня в больнице. Я написал письмо А. А. Фадееву, занимавшему в то время пост генерального секретаря Союза писателей. Фадеев откликнулся очень быстро. Через несколько дней он приехал ко мне с машинописным экземпляром «Кандидата», носившим следы самой тщательной редакторской работы. Оказалось, что у Фадеева имеется продуманный план переработки пьесы, этот план, состоявший примерно из десяти пунктов, он тут же изложил, добавив, что если я, не теряя драгоценного времени, выполню все эти пункты, то он берет на себя добиться через соответствующие инстанции не только прекращения проработки, но и

полной реабилитации пьесы. При этом он очень явственно дал мне понять, что если я буду требовать у него по каждому пункту объяснений и взывать к художественной логике, то это только затянет наш разговор и поставит нас обоих в тяжелое положение. Думать надо не о пьесе, а о своем здоровье.

У людей короткая память, и сейчас очень легко осудить не только меня — основания для этого есть, — но и А. А. Фадеева. Я же до сих пор рассматриваю приезд Фадеева как дружеский поступок.

Короче говоря, я переделал пьесу. Наибольшим разрушениям подверглась роль Плотовщикова. Это и понятно — одним из основных обвинений, выдвинутых против меня, было обвинение в искажении образа партийного руководителя.

Фадеев сдержал слово. Новый вариант пьесы получил права гражданства и после многих мытарств, о которых не хочется вспоминать, был включен в репертуар Театра имени Вахтангова. Ставил пьесу один из основателей театра, Борис Евгеньевич Захава, вложивший в работу над спектаклем не только свое мастерство режиссера, но и страстную убежденность коммуниста. Он объединил вокруг себя на редкость сильный актерский состав.

Поначалу Астангову предназначалась другая роль, но Михаил Федорович, прочитав оба варианта пьесы, заявил, что хочет играть только Плотовщикова.

— Роль, конечно, подпорчена, — сказал он мне. — И очень может быть, что я сломаю на ней шею. Но именно это меня и увлекает. Я хочу попытаться сказать то, что из текста ушло. Иногда это нам, актерам, удастся. Но для этого мне нужна ваша помощь. Можете не объяснять мне, почему вы кастрировали эпизод, где Плотовщиков, не разобравшись, обрушивается на героя с несправедливым обвинением. Расскажите мне лучше, что вас толкнуло написать эту сцену. Мне почему-то чудится здесь нечто автобиографическое. Не угадал?

Астангов угадал. В дни моей юности я действительно пережил тяжкое потрясение. На заседании бюро ячейки, где рассматривалось мое заявление о приеме в комсомол, неожиданно выступил с резким отводом наш партприкрепленный, участник гражданской войны, человек уважаемый. Все были ошеломлены. Члены бюро, хорошо меня знавшие, не согласились с его предложением «отказать в приеме», но вынуждены были отло-

жить рассмотрение вопроса. Нетрудно представить себе мое состояние. К счастью, мне удалось доказать, что отвод был следствием оговора и недоразумения, и на следующем заседании бюро я был единогласно принят. Мой обвинитель мужественно признал свою ошибку, что нисколько не умалило его престижа, и голосовал со всеми.

В процессе работы над «Кандидатом» я вспомнил не только внешнюю сторону событий, но и нечто более существенное и в свое время мною не до конца осознанное: самым драматичным для меня было то, что мне очень нравился наш партприкрепленный. Даже тогда, когда он обрушился на меня с чудовищными обвинениями, я ни на минуту не усомнился, что передо мною настоящий коммунист. Конечно, я был удивлен, растерян, зол, обижен, потрясен несправедливостью. Но врага я в нем не ощущал. Он ошибался, но в нем говорила настоящая революционная страсть. Он метал свои молнии не по адресу, но с высоты, которая увлекала. Он был великолепен. А когда, оставшись в меньшинстве, он чуть не заплакал с досады, во мне, несмотря ни на что, шевельнулось сочувствие к этому сильному и пылкому человеку.

В сцене, о которой говорил Астангов, ситуация была несколько иная, но суть та же: большевик Плотовщиков даже в момент несправедливой вспышки остается большевиком, он не прав в данном частном случае, и от этого еще нагляднее его правота в исходных критериях, в самом понимании жизни. По моим расчетам, в этой сцене зрители должны были и возмущаться и любоваться Плотовщиковым. Виденные мною спектакли, в особенности ярославский, с С. Д. Ромодановым в роли Плотовщикова, убедили меня, что это возможно. И я отдавал себе полный отчет в том, что приглашенный и лишенный «черт ущербности» Плотовщиков будет вызывать меньше возражений, но зато и меньше симпатий и доверия.

Выслушав мою исповедь, Михаил Федорович задумался.

— Очень хорошо, что вы мне все это рассказали. Возможно, здесь и лежит ключ...

Работа над ролью проходила у Астангова мучительно. Мне казалось, что Михаил Федорович уделяет слишком много внимания поискам внешней характеристики, и мы часто спорили. Мне не нравились некоторые его

придумки, единственной целью которых было «уйти от себя», изменить свою фактуру. И наоборот, я приходил в восторг на тех репетициях, где Астангов, позабыв про «характерность», давал волю своему темпераменту.

Наконец репетиции перешли на сцену. Первые же прогоны показали, что произведенные мною исправления не прошли безнаказанно. Приходилось вновь латать и штопать. Моя истерзанная пьеса, подобно старой шинели Акакия Акакиевича, расползалась под иглой. Не было недостатка в людях, проявлявших бдительность по должности, и в добровольных советчиках. Каждый хотел что-нибудь переделать. Оглядываясь назад, я не могу не подивиться и не порадоваться мужеству, с которым держался возглавляемый Б. Е. Захавой коллектив. Но в конце концов начали сдавать нервы и у нас.

На одной из прогонных репетиций мы с Астанговым грубо повздорили. Задерганный противоречивыми требованиями и бесконечными вариантами, Михаил Федорович репетировал вяло. И вдруг взорвался. Как всегда бывает в таких случаях, повод для взрыва был ничтожный. Астангов кричал, что ему надоело репетировать, что это не роль, а ошметки, и он требует, чтоб ему дали окончательный текст и объяснили, чего от него хотят, иначе он пошлет все к чертовой матери и т. д. и т. п. У меня нервы были тоже на пределе, и я, в свою очередь, ответил грубостью — что-то насчет премьерских замашек... Не помню, на чем кончилась репетиция. Помню, что, как только моя ярость утихла, я расстроился. В ту пору люди часто каялись, но редко извинялись, и я был убежден, что наши отношения с Астанговым непоправимо испорчены. Конечно, здороваться мы будем, но больше ни слова он от меня не услышит, а все деловое — только через режиссера.

Однако случаю угодно было столкнуть нас еще до следующей репетиции. Перед уходом из театра я заглянул в помещение дирекции и увидел там почти всех участников репетиции, в том числе и Астангова. Он стоял спиной ко мне. Услышав, как кто-то окликнул меня по имени, Михаил Федорович резко повернулся. Глаза его вспыхнули, и он с подкупающей сердечностью протянул мне обе руки.

— Послушайте, нам с вами никак нельзя ссориться.

Естественность, с какой Астангов взял на себя инициативу примирения, меня покорила. Именно эта пу-

стяковая размолвка закрепила нашу дружбу, и впоследствии я много раз имел возможность убедиться, каким верным другом был Михаил Федорович, никогда не изменявший ни своим товарищам, ни своим убеждениям.

На мой взгляд, Астангов, как и большинство занятых в спектакле актеров, играл очень хорошо, и если спектакль все же не удержался надолго в репертуаре вахтанговцев, то виной тут не режиссура и не игра актеров, а сплетение множества различных обстоятельств и более всего произведенная мною «пластическая операция». Меня всегда трогало, что, даже увлеченный новыми работами, Михаил Федорович продолжал любить своего Плотовщикова, как мать любит болезненного, стоившего многих забот и тревог ребенка; он играл его на концертной эстраде и на своих творческих вечерах. На сохранившемся у меня пригласительном билете на юбилей Михаила Федоровича в Доме актера воспроизведены только две фотографии Астангова в гриме. Одна — в Маттиасе Клаузене — роли, сыгранной не одну сотню раз и принадлежащей к числу общепризнанных удач. Другая — в роли Плотовщикова. Я всматриваюсь в это прячущее под суровой сдержанностью неугасший пламень немолодое мужественное лицо и думаю: напрасно Михаил Федорович так беспокоился по поводу своего внешнего вида, большевиком на сцене делает не привычный типаж, а тот заряд революционной страсти, который четверть века назад покорила нас в сыгранном Астанговым Гае.

Для Астангова не существовало противоречия между верностью друзьям и верностью своим убеждениям. Он не умел дружить беспринципно. Полнее всего это великолепное качество проявилось во время конфликта между Б. Е. Захавой и тогдашним руководством театра, конфликта, на время расколовшего коллектив. С тех пор прошло много лет, и нет нужды возвращаться к существу спора, достаточно сказать, что конфликт был не личный, а творческий, спор шел о линии театра. В этом споре Астангов занимал твердую позицию и не изменил ей, даже оставшись в меньшинстве. Но при этом я никогда не замечал в нем ни азарта, ни озлобления, даже о тех, кто, по его мнению, вел себя недостаточно принципиально, он говорил с юмором, почти сочувственно. Он хорошо понимал, что огромная популярность и высокое звание если и не делают его полностью неуязвимым, то, во всяком случае, надежно защищают от превратно-

стей судьбы, которые для актера меньшего масштаба могли бы оказаться роковыми. Поэтому он искренне не считал себя героем, а инакомыслящих и колеблющихся ничтожествами. И меня всегда восхищало это неожиданное на первый взгляд соединение в одном человеке вспыльчивости и терпимости, восторженности и сарказма, способности самозабвенно увлекаться и умения трезво анализировать — словом, тех контрастов характера, которые всегда сопутствуют таланту. Только посредственность однозначна.

В последние годы мы с Михаилом Федоровичем виделись не часто, но зато не было и встреч незначущих, проходных. Каждая из них мне чем-то запомнилась — то яростным спором, то подкупающей откровенностью, то непринужденным весельем. Расскажу о двух последних.

Первая из них произошла летом шестьдесят четвертого года в Ленинграде. Я жил тогда на крейсере «Аврора» и, узнав из расклеенных по городу афиш о приезде вахтанговцев, подумал, что Михаилу Федоровичу, вероятно, будет интересно побывать на историческом корабле и осмотреть музей. Я позвонил в «Европейскую» и пригласил Астангова и его жену Аллу Владимировну навестить меня на «Авроре». Мое приглашение оказалось как нельзя более кстати. Михаил Федорович даже разволновался:

— Послушайте, а что, если я с собой приведу еще кое-кого из наших? Марью Давыдовну, Николая Николаевича?..

— Ну конечно, будем только рады...

Астангов не заставил себя ждать. Вместе с ним приехали Алла Владимировна, М. Д. Синельникова и Н. Н. Бубнов. Я познакомил их с начальником музея Б. В. Бурковским. Лучшего экскурсовода, чем Борис Васильевич, нельзя было и желать, но, зная способность Бурковского самозабвенно увлекаться любимой темой, я на всякий случай шепнул ему, что мои гости — люди занятые, и попросил уложиться минут в двадцать — двадцать пять, с тем чтоб осталось время посидеть у меня в каюте, где к тому времени будет приготовлено скромное угощение.

Прошел час, и я решил отправиться на поиски моих пропавших гостей. Стальная дверь музея оказалась задраенной. Я обошел всю верхнюю палубу и не обнаружил ни Бурковского, ни вахтанговцев. Тогда я вспо-

мнил, что помимо главного входа существует еще запасный, и, проникнув в музей с тыла, услышал громкий взволнованный голос.

«Так и есть, — подумал я, — Борис опять увлекся...»

Однако, прислушавшись, я понял, что ошибся. Это был голос Астангова.

Войдя в главный зал, я застал всю группу перед одной из самых примечательных реликвий музея — портретом капитана 1-го ранга Е. Р. Егорьева, командовавшего «Авророй» в 1905 году и убитого в Цусимском сражении. Рама, в которую заключен портрет, сделана из пробитого снарядом листа корабельной брони и обгорелых палубных досок. Портрет был подарен матросами семье покойного командира и передан музею сыном Е. Р. Егорьева советским адмиралом В. Е. Егорьевым. Судя по сохранившимся материалам, Е. Р. Егорьев принадлежал к числу немногих прогрессивно настроенных офицеров царского флота и был любим командой. Есть основания предполагать, что он был одним из прототипов созданного Б. А. Лавреневым образа командира крейсера «Заря» капитана 1-го ранга Берсенева в широко известной пьесе «Разлом». Роль Берсенева в Вахтанговском театре играл Б. В. Щукин, а впоследствии Н. Н. Бубнов, и я сразу понял, что взволновало Астангова. Когда я подошел ближе, он продолжал говорить и поразил меня отличным знанием русской революционной истории. Уже потом я сообразил, что удивляться было нечему: к каждой из своих ролей Астангов готовился самым тщательным образом, а ведь он играл в своей жизни и Гапона и Керенского. Да и Пастухова в «Необыкновенном лете» К. А. Федина он не сумел бы сыграть с такой психологической точностью, если бы работа над ролью не была для него одновременно постижением революционной эпохи.

В том же состоянии радостного возбуждения Астангов вышел на верхнюю палубу, долго стоял на баке у носового орудия, любуясь Невой и о чем-то раздумывая, затем, перейдя на ют, не торопясь прочитал приклепанную к броне кормовой пушки мемориальную доску с подписанным М. И. Калининым постановлением ЦИК СССР о награждении крейсера орденом Красного Знамени.

— «Президиум ЦИК СССР с искренним восхищением...» — проскандировал он, оглядываясь на нас. — Вот умели же люди находить настоящие слова...

В каюте разговор продолжался. Говорили обо всем понемногу, перескакивая с темы на тему. Михаил Федорович поначалу принимал в разговоре активное участие, потом притих. Какое-то время он внимательно, хотя и ненавязчиво, приглядывался к Бурковскому, а затем, воспользовавшись паузой, положил ему руку на плечо:

— Послушайте, я вас очень прошу, расскажите нам о себе.

Сказано это было с тем же неотразимым дружелюбием, с каким он сказал мне когда-то: «Послушайте, нам с вами никак нельзя ссориться...»

Зная чрезвычайную сдержанность Бориса Васильевича в разговорах с малознакомыми людьми, я был почти уверен: откажется. Но в глазах Астангова светился такой уважительный и чистый человеческий интерес, такая непритворная сердечность, что Бурковский дрогнул. Нет смысла конспективно пересказывать его захватывающую исповедь, эту повесть о негибимой воле и неугасимой вере коммуниста. Все были взволнованы. Астангов не отрывал глаз от Бурковского. А я — от Астангова. На его выразительном лице попеременно выражались все чувства: боль, гнев, изумление, сочувствие и — чем дальше, тем больше — восхищение. Наконец он не выдержал и вскочил:

— Борис Васильевич! Можно мне вас обнять?

Они обнялись, а когда рассказ был закончен, Астангов заметался по каюте:

— Послушайте, так нельзя... Неужели мы все сейчас встанем и разойдемся в разные стороны? Нет, я приглашаю всех обедать в «Европу». Борис Васильевич, Александр Александрович?..

До сих пор жалею, что не мог принять приглашения Михаила Федоровича: в тот день я улетаю в Москву. На углу Невского, возле «Европейской», мы расстались. А через месяц мне позвонил Бурковский:

— Я в Москве, у Михаила Федоровича. Ждем вас... И опять, как назло, я не смог.

Последний раз я видел Астангова 19 апреля шестидесят пятого года.

Накануне этого дня мне позвонил по телефону наш общий друг Л. Д. Снежницкий и сообщил, что Михаилу Федоровичу сделана срочная операция и он в тяжелом состоянии. Наутро я был в клинике. В дирекции сказали: Астангов лежит в одиннадцатой палате, но

состояние его таково, что свидания наверняка не разрешат.

Я и не стал просить разрешения. В этой клинике я знал все ходы и выходы. Оставалось раздобыть халат.

Когда я вошел в хорошо знакомую мне палату, Астангов был не один. Его брила парикмахерша — и тоже знакомая. Несмотря на покрывавшую щеки Астангова мыльную пену, я узнал его мгновенно и по тому, как вспыхнули его глаза, понял, что и он меня узнал. Улыбнуться он не мог — мешали вставленные в ноздри и приклеенные к щекам полосками липкого пластыря резиновые трубки, — и он ласково просигналил мне своими удивительными глазами: хорошо, что пришли; подождите, я уже почти готов...

Несколько минут я сидел у окна, листая старый журнал и украдкой поглядывая на белую послеоперационную койку, никелированный штатив и подвешенные к нему склянки с физиологическим раствором. Назначение этих склянок я хорошо изучил на собственном опыте. Наконец парикмахерша ушла, и я пересел поближе к койке. С минуту мы разглядывали друг друга. Астангов смотрел испытующе: вероятно, хотел угадать по моему лицу, какое впечатление он производит на свежего человека. А я изо всех сил старался подавить волнение. Впрочем, если не считать болезненной желтизны, я не заметил на лице Михаила Федоровича разительных перемен: свежесвыбритый, с ясным, смелым взглядом, он не выглядел умирающим.

Дольше молчать было невозможно, и я заговорил первым. Интуитивно я понял, что расспрашивать о самочувствии — бессмыслица. И я заговорил о себе. О том, какое удивительное совпадение, что нас обоих оперировал один и тот же замечательный хирург, что Михаил Федорович лежит в той самой палате, где лежал я, на такой же, а может быть, даже на той самой койке. О том, как мне знакомо все, что в данный момент отравляет жизнь Михаилу Федоровичу, — и боли в животе, и мучительная жажда, и проклятые трубки, и инфильтраты, и капание физиологического раствора. Я рассказывал о своих соседях по одиннадцатой палате и расспрашивал про знакомых медсестер. Михаил Федорович оживился, стал подавать реплики, голос его окреп, и я вдруг понял, что моя болтовня не так уж бестактна — за ней стоял неосознанный мною вначале,

но вполне уловимый для собеседника подтекст: видите, я прошел через все это, и вот я жив и говорю с вами.

Затем был врачебный обход. Знакомые врачи удивленно покосились на меня, но из палаты не выгнали. На вопросы врачей Михаил Федорович отвечал удивительно спокойно, и я поймал себя на мысли, что он совсем не похож на больного, а, скорее, на космонавта, проходящего какие-то специальные медицинские испытания. После ухода врачей мы разговаривали еще около получаса. Я рассказывал ему — с чужих слов, конечно, — о недавних событиях в Вахтанговском театре. Астангов слушал с интересом и даже посмеивался. Затем говорили о Шекспире. Я знал, что Михаил Федорович в содружестве с Л. Д. Снежницким и М. А. Ульяновым приступил к постановке «Ричарда III», и мы разговаривали об этой будущей постановке так, как будто не могло быть ни малейшего сомнения в том, что она состоится, — если не в назначенный срок, то несколько позже. Кто тут кого обманывал — трудно сказать. Может быть, никто никого. Я обещал прийти на следующий день, и в этот момент, вероятно, мы оба верили, что встреча состоится.

Наутро Астангова не стало.

Астангов оставил после себя немалое творческое наследие — фильмы, магнитофонные записи... Но не меньшую ценность для будущих поколений представляет его человеческий образ — неумирающая память о рыцаре советского театра, артисте, который и в жизни был похож на свои самые благородные и совершенные сценические создания.

1966

Драматург Евгений Шварц

Еще до знакомства с Евгением Львовичем я читал и видел на сцене пьесы драматурга Е. Шварца. Но полностью оценил их я не сразу. Впрочем, главные пьесы еще не были в то время написаны. Не было ни «Дракона», ни «Обыкновенного чуда».

Особенность Шварца в том, что он не поддается ведомственной классификации. Ни в какие рамки, списки

и обоймы он не укладывается. Ни по поколению, ни по жанру, ни по рангу.

Когда-то поколение драматургов, к которому принадлежал я, считалось средним. Шварц, будучи старше нас на добрый десяток лет, не смешивался с теми, кого мы считали стариками. Но и нашим он не был. Он был сам по себе. Да и к какой жанровой группе его можно было причислить? Детских драматургов? Его пьесы с одинаковым интересом смотрели и дети и взрослые. Комедиографов? При всем их блестящем остроумии что-то всегда мешало воспринимать их только как комедии. И наконец, уж совсем пустым кажется сегодня вопрос о месте Шварца в литературной иерархии. Премий он, помнится, не получал никогда, в президиумах сиживал редко, свой единственный орден он получил под конец жизни, но его слава не нуждалась в подпорках, и мы, его друзья, а среди нас были люди не в пример гуще увенчанные всякого рода лаврами, всегда знали, что Женя — очень большой писатель. Уместно вспомнить Хемингуэя, утверждавшего, что хорошие писатели не имеют рангов. Их можно называть в любом порядке, от этого ничего не меняется.

Я думаю, что особое положение Шварца заключается в том, что он — единственный настоящий современный сказочник. Единственный в советской драматургии, а может быть, и в советской литературе.

Говоря «настоящий» и «современный», я отдаю себе отчет в том, что на сценах наших театров часто ставились сказочные пьесы советских авторов, иногда очень хорошие. Например, сказки С. Я. Маршака. Казалась очень современной сказка Вадима Коростылева «Золотое сердце», шедшая в свое время на сцене Центрального детского театра. Но ни Маршак, ни Коростылев не сказочники, а современность пьесы Коростылева была не столько в существе, сколько в незамысловатых, почти «капустнических» аллюзиях, в аллегорических персонажах вроде феи по имени Сойдетитак. Но аллюзии преходящи, а аллегии не обладают властью символов.

Настоящим сказочником быть трудно. Их и в мировой-то литературе раз-два, и обчелся. Обычно сказку творит народ, это одна из разновидностей народного эпоса и мифотворчества; прежде чем отлиться в законченную форму, она многократно обкатывается и шлифуется в устах безыменных рассказчиков. Чтобы написать

свою оригинальную сказку, нужно обладать образным миром поэта, чуткостью к народной жизни и мудростью философа. Все это у Шварца было. Он не был сказителем, он был интеллигент. Но Ганс Христиан Андерсен тоже был интеллигент. Вспомним Чехова. Он говорил: «Все мы народ, и лучшее из того, что мы делаем, есть дело народное».

Не важно, что некоторые сюжеты Шварца навеяны сказочными мотивами Андерсена. Такой Тени, такого голого короля у Андерсена не было. Сам Андерсен не скрывал, что он зачастую пересоздавал заново чужие сюжеты. Для Шварца эти сюжеты были только отправной точкой. И современность его пьес не в сиюминутных ассоциациях, а в гуманистическом пафосе, в их способности вызывать чувства и мысли, необходимые сегодня всем людям, и особенно людям завтрашнего дня, то есть детям.

Мастерство Шварца я вижу не только в виртуозном владении словом, но и в поразительном чувстве сказочной логики. Такая логика существует, и дети разбираются в ней даже лучше взрослых. У фантастики и реализма много общих законов, и любой дошкольник безошибочно знает, во что по законам жанра можно безусловно верить, а чего никак не может быть.

С наибольшей силой глубина и самостоятельность сказочной стихии Шварца проявилась, на мой взгляд, в «Драконе». С него и началось наше знакомство.

Пьесу «Дракон» я получил в рукописи от нашей общей приятельницы С. Т. Дуниной, работавшей тогда в репертуарном отделе Всесоюзного Комитета по делам искусств. Война еще не закончилась. Я прилетел в Москву из блокадного Ленинграда по вызову МХАТа, зашел в Комитет и там встретил Шварца, привезшего из Сталинабада своего «Дракона». Как известно, вскоре после выхода в свет «Дракон» был раскритикован в печати как вредная сказка и реабилитирован только в конце пятидесятых годов. Софья Тихоновна страстно боролась за «Дракона». В «Драконе», если его перечитать сегодня, поражает зоркость, с какой драматург рассматривает сущность всякой тирании. Недостаточно повергнуть дракона, говорит сказочник, надо еще выкорчевать посеянные им отравленные зубы, рабью психику людей, годами приносивших в жертву дракону не только прекрасных девушек, но и свое человеческое достоинство. В годы борьбы с фашизмом и его послед-

ствиями сказка Шварца была острым оружием, но им не воспользовались.

У Дуниной мы и познакомились. Евгений Львович был учтив, чуточку чопорен, улыбался мало. Чем-то он напоминал мне М. М. Зощенко и В. В. Шкваркина, и вскоре я понял чем: сатирики редко бывают весельчаками и свойскими парнями, профессия у них трудная, и о людях они знают много такого, что заставляет их, хотя бы на первых порах, держаться настороже. Потом оказалось, что у нас много общих друзей, кое-какие общие недруги (это тоже сближает), и постепенно Шварц открылся мне таким, каким его знали близкие, — прячущим за светскостью и иронией доброту, вспыльчивость и прелестное озорство.

Как-то в один из моих послевоенных приездов в Ленинград, в будний весенний день поехала погулять на взморье небольшая компания: Евгений Львович, Т. М. Вечеслова, И. М. Меттер с женой, артисткой балета К. М. Златковской, я, моя жена и ныне покойный Леонид Антонович Малюгин. Настроение у всех было прекрасное. Леня только что получил премию за свою пьесу «Старые друзья», и мы — его старые друзья — искренне радовались успеху товарища. Было еще очень прохладно. Погуляли по безлюдному берегу, вспомнили пушкинское «На берегу пустынных волн», затем отыскали какой-то еще не развернувшийся в полную силу, но уже открывшийся летний павильон-ресторан, выбрали в совершенно пустом зале столик подальше от входной двери и поближе к теплой кухне, заказали то немногое, что нам могли предложить, и с удовольствием выпили по первой рюмке. Евгений Львович был в то время уже серьезно болен, я и раньше замечал, что у него слегка дрожат руки, дрожь эта была сердечного происхождения и ничуть не свидетельствовала об алкоголизме, но Шварц ее все-таки стеснялся, в особенности его смущало то, что после первой рюмки дрожь прекращалась. Дрожь прекратилась, и Евгений Львович сразу возглавил стол, не столько по праву старшего, сколько благодаря присущей ему магии общения и завораживающей фантазии. Не помню уже, что послужило случайным толчком к начавшейся игре, но вскоре изящный питерский интеллигент, каким всегда был Евгений Львович, превратился в пожилого, ожиревшего, но еще вальяжного, тяжело-самоуверенного дельца-хозяйственника, все сильного главу какой-то таинственной мафии, со-

стоящей из нечистоплотных торгашей и снабженцев, такого «нужного человека», для которого пара пустяков достать любую дефицитную вещь или билеты на модную премьеру. Сначала мы выслушали его безапелляционные суждения о пьесе Малюгина, и Леня восторженно хохотал, слушая этот поток самоуверенных пошлостей, нечто похожее ему уже приходилось слышать, поэтому блестящая пародия Шварца была ему слаще самых пышных комплиментов. Однако рецензией на «Старые друзья» игра не кончилась, Шварцу явно не хотелось так быстро расстаться с удачно найденным образом, и он стал обращаться к нам, как к своим сообщникам, умело подбрасывая строительный материал для создания маски, из И. М. Меттера он сделал нахрапистого ворюгу, из меня — застенчивого, а через четверть часа обслуживавшие нас официантки уже не сомневались, что имеют дело с кутящими после удачной махинации спекулянтами и их лихими подругами.

Но этого невинного розыгрыша Шварцу показалось мало. Как истый сказочник, он стал вводить в наш застольный разговор самые смелые гиперболы, и те, кто нас слышал, а слушали нас теперь не только официантки, но все обитатели ресторанных кулис, включая повара, с замиранием сердца узнавали, что мафия наша всесильна, держит в руках милицию и любое начальство, имеет во многих городах соучастников, которые привозят для сбыта свои «левые» товары. Одним из таких приезжих был я, у меня в роскошном люксе «Астории» плавали в ванне привезенные с Каспия живые осетры, и я очень нервничал, за ними все не приходили, а я боялся доноса горничной, боялся и за самих осетров: им было тесно в ванне, и они страшно плескались. Шварц, покровительственно посмеиваясь, меня успокаивал. Войдя в свои роли, мы изображали компанию гораздо более подвыпившую, чем это было на самом деле, и наши слушатели уже не очень таились, они открыто толпились в дверях, подавали даже реплики, и можно было понять, что хотя они и сомневаются, но верят, восторгаются, возмущаются, ужасаются — и не в силах оторваться.

Но Евгению Львовичу и этого было мало. Осетры в ванне «Астории» — это было маловероятно, но все же реально, а Шварц уже летел на сказочных крыльях. Помаленьку, как через реостат, он прибавлял накал, из

бытовой фигуры он превращался в сказочный персонаж вроде людоеда из «Тени», и чем фантастичнее было то, что он говорил, тем ярче и убедительнее становился образ. Постепенно до нашей аудитории стало доходить, что все происходящее — игра, но разочарования это не вызвало, и, когда мы уходили, нас проводили аплодисментами. «Артисты!» — сказал кто-то нам вслед. Такова судьба драматурга. Все его счастливые находки приписываются актерам.

Сегодня уже трудно вспомнить и перечесть наши встречи. Не помню случая, чтоб я приехал в Ленинград или Шварц в Москву и мы не повидались. Встречались домами или у общих друзей. Другом он был надежным, но не сентиментальным, друзей любил, не закрывая глаза на их маленькие слабости, и при случае был не прочь съязвить. Он рассказывал про них небылицы, очень похожие на правду. Одну нашу общую приятельницу, женщину умную и образованную, но несколько капризную, он показывал так:

- Женя, который час?
- Половина третьего...
- Ах, я знаю!

Мастером такого рода небылиц был Юрий Павлович Герман, и они с Шварцем соревновались. Впрочем, манера у них была разная. Герман сочно живописал, Шварц тяготел к графике и миниатюре.

В общении с Шварцем была одна необыкновенно важная и, как мне кажется, исчезающая в нашей среде черта. Дружбу он понимал не только как бытовое, но и как творческое соприкосновение. Он хотел, чтоб друзья читали и смотрели его пьесы, и сам был внимателен к тому, что пишут друзья. С ним было интересно советоваться, и он сам был чуток к мнению людей, которым доверял. Не только чуток, но и чувствителен. Откровенно высказанным критическим замечанием его можно было огорчить. Обидеть — никогда. Хитрить с ним не удавалось никому, проницательность у него была редкостная.

Для меня было большой радостью, когда в один из своих приездов Шварц сказал, что хочет прочитать мне полтора акта еще не законченной пьесы и посоветоваться насчет финала. Читал он днем в нашей квартире на Спиридоньевском, пьеса называлась «Медведь» и произвела на нас с женой сильнейшее впечатление. В этой пьесе не было ни одного знакомого сказочного мотива.

В многих сказках волшебники превращали людей в животных, но только Шварц додумался превратить зверя в человека, что с точки зрения эволюционной теории даже более правдоподобно. У Евгения Львовича не получался третий акт, и он придиричливо расспрашивал нас о прочитанном, ему нужны были не комплименты, а непосредственная реакция. Неудивительно, что я почувствовал себя вовлеченным в судьбу «Обыкновенного чуда» (такое название получила последняя редакция пьесы), видел пьесу дважды — в Москве и в Ленинграде, — а о московском спектакле написал рецензию в журнале «Театр». С той читки прошло лет восемь, и я с полным убеждением мог написать Евгению Львовичу, что пьеса ни в чем не устарела, не потеряла жизненности, скорее, даже наоборот... И что публика не премьерная, а рядовая, кассовая прекрасно понимает и принимает пьесу. Шварца это обрадовало. «Я ведь приготовил целое объяснение, — писал он мне в ответ, — там я умоляю не искать в сказке скрытого смысла, ибо рассказывается она не для того, чтоб скрыть, а для того, чтоб открыть то, что ты думаешь. Пишу все это потому, что жду, что меня вот-вот кто-нибудь потянет к ответу, хотя как будто и не за что».

У Шварца была трудная судьба. Есть писатели, в том числе даровитые, которые, уходя из жизни, как бы забирают с собой все ими созданное. Оно становится достоянием историков литературы. С Шварцем не так. Он не создал школы — это и невозможно, но творческое наследие его живет, оно завоевывает новые рубежи, и его не приходится искусственно оживлять к юбилейным датам. Оно живет само по себе. Так, как жил он сам.

Моя анкета

— Как вы пишете? — спрашивает меня редакция журнала «Вопросы литературы».

Мне приходилось не раз — и руководя творческими семинарами и в специальных статьях — отвечать на более общий вопрос: как вообще пишутся пьесы? Казалось бы, говорить только о себе легче.

На самом деле — труднее.

Гораздо проще выступать в роли популяризатора и педагога, с некоторой долей самостоятельности оперировать общепризнанными положениями. И не в пример труднее говорить о собственном опыте и ссылаться на свои пьесы. Всякий опыт интересен лишь постольку, поскольку он может чему-то научить, а я далек от мысли генерализировать свой опыт и строить на нем какие-либо обязывающие выводы. Единственное, что меня утешает: редакция послала свою анкету многим литераторам. Мой ответ может послужить материалом для изучения и дальнейших обобщений. Поэтому отвечаю на вопросы в том порядке, в каком они заданы.

1. Как возникает замысел произведения? Здесь надо разделить два момента — возникновение замысла и начало работы над произведением. Замысел предшествует началу, но нередко видоизменяется в процессе работы.

В 1950 году я приехал в один из приволжских промышленных центров и был принят секретарем обкома партии. У нас произошел примерно такой разговор:

— Хотите на машиностроительный завод? Пожалуйста... Только вот на какой? (Пауза.) Скажите по совести — у вас уже есть какой-нибудь замысел?

— Есть.

— Сюжет?

— Нет, не сюжет. Задумка.

— Рассказать можете? Я не из любопытства — просто мне легче будет сообразить, что вам надо.

— Я не умею рассказывать замыслы. Сразу становлюсь косноязычным.

— Ничего. Я пойму.

Я рассказал. Очень путано, экая и мекая. Секретарь слушал внимательно. Затем позвонил на «Шарикоподшипник». На прощание он мне сказал:

— Замысел, насколько я понимаю, интересный. На «Шарике» вы получите подтверждение многим вашим догадкам. Позвольте мне дать вам только один совет: если жизнь захочет внести поправки в ваш замысел — не сопротивляйтесь.

Секретарь был умный человек.

Начинать работу можно по-разному. Одна требует составления плана, другая — предварительных эскизов. Третью надо начинать так, как будто сразу пишешь набело, а затем много раз переписывать. Покойный Н. П. Хмелев рассказывал, что у него работа над каждой ролью начиналась и протекала различно. Была даже такая роль, работу над которой он начал прямо с грима. Однако это нисколько не значило, что его интересовал в первую очередь внешний рисунок или конечный результат. Хмелев был верным последователем системы Станиславского.

Мне рассказ Хмелева был очень понятен — зачастую приходится переставлять этапы. Есть замыслы, не требующие специальной подготовки и собирания материала, можно сразу приступить к работе. Бывает так, что первой написанной строчке предшествуют целые изыскания. А бывает и так — изучение материала идет параллельно с писанием, и приходится прерывать кабинетную работу для выездов.

В 1930—1931 годах я жил и работал в Баку. Впечатления этих лет натолкнули на замысел «Глубокой разведки». Работа над пьесой была начата в 1937 году в Москве и закончена в 1940 году. За это время я дважды прерывал работу и ездил на нефтяные разведки Азербайджана. О значении этих поездок в двух словах не расскажешь — тут и изучение производственной технологии (без знания профессии своих персонажей невозможно построить ясный и жизненно правдивый сюжет),

и потребность вновь ощутить «атмосферу» разведки, прислушаться к тому, как говорят люди, освежить впечатления почти десятилетней давности и подметить происшедшие изменения. Последнее особенно важно: помогает отделить существенное от случайного и скоропреходящего, проверить еще раз свои оценки.

Для того чтобы ответить на вопрос о том, как рождается замысел, надо прежде всего условиться, что мы понимаем под замыслом.

У Чехова в рассказе «Талант» художник Костылев делится с товарищами своим замыслом: «Придумал я, братцы, тему... Хочется мне изобразить какого-нибудь эдакого Нерона... Ирода, или Клепентьяна, или какого-нибудь, понимаете ли, подлеца в эдаком роде... и противопоставить ему идею христианства. С одной стороны Рим, с другой, понимаете ли, христианство... Мне хочется изобразить дух... понимаете? дух!»

При всей комической неуклюжести и даже пародийности откровений Костылева в них с безошибочной чеховской точностью запечатлена жизненная истина: художник всегда с трудом, иногда даже косноязычно излагает свой замысел. Ибо замысел включает в себя в зародыше и «что», и «как», и «зачем».

Анализируя в статье «Как писать стихи» замысел одного из своих популярнейших стихотворений «Сергею Есенину», Владимир Маяковский писал: «Целевая установка: обдуманно парализовать действие последних есенинских стихов, сделать есенинский конец неинтересным, выставить вместо легкой красоты смерти другую красоту, так как все силы нужны рабочему человечеству для начатой революции, и оно, несмотря на тяжесть пути, на тяжелые контрасты нэпа, требует, чтобы мы славили радость жизни, веселье труднейшего марша в коммунизм». И заключает: «Сейчас, имея стих под рукой, легко формулировать, но как трудно было его начинать».

Почему же замысел сравнительно легко формулируется задним числом и так трудно в момент, предшествующий работе? Почему любой серьезный литератор всегда мучается, когда ему предстоит изложить замысел своего будущего произведения в виде так называемой заявки? И почему почти всегда это оказывается неуклюжей отпиской? Вероятно, потому, что, если замысел может быть целиком и полностью изложен чисто логическим путем, без помощи образов, если его можно

сразу же облечь в броню формулировок,— он уже не нуждается в осуществлении. Конечно, он может быть развит, но в статью, в трактат, в докладную записку, а не в художественное произведение.

Различие между художественным и научным мышлением определяет и различие в процессе замысливания.

Художник обобщает, не абстрагируя (мысль А. В. Луначарского). В отличие от ученого, который убеждает доказывая, он убеждает показывая.

В приведенной цитате из статьи Маяковского характерна фраза «...сделать есенинский конец неинтересным...». Не «доказать неправильность», а «сделать неинтересным».

Так определить свою задачу может только поэт.

К. С. Станиславский ввел в обращение термин «сверхзадача». «Подобно тому как из зерна вырастает растение,— пишет Станиславский,— так точно из отдельной мысли и чувства писателя вырастает его произведение. Эти отдельные мысли, чувства, жизненные мечты писателя красной нитью проходят через всю его жизнь и руководят им во время творчества. Их он ставит в основу пьесы и из этого зерна выращивает свое литературное произведение. Все эти мысли, чувства, жизненные мечты, вечные муки или радости писателя становятся основой пьесы: ради них он берется за перо. Передача на сцене чувств и мыслей писателя, его мечтаний, мук и радостей является главной задачей спектакля».

Эту основную, главную, всеобъемлющую цель, притягивающую к себе все без исключения задачи, Станиславский называет «сверхзадачей произведения писателя».

Без сверхзадачи не может быть замысла.

По моим наблюдениям, замысел всегда рождается на стыке между теми мыслями и чувствами, которые я длительное время вынашиваю в себе, с пришедшим извне свежим и сильным впечатлением. Происходящий при этом процесс можно сравнить с тем процессом кристаллизации, который возникает, когда в перенасыщенный соляной раствор опускают лишней, «критический» кристаллик соли.

К этому надо добавить, что реализация замысла никогда не сводится к демонстрации готовых решений, Стремясь в процессе работы решить проблему для всех, писатель одновременно решает ее для себя. Произве-

дение литературы — не раскрашенное наглядное пособие, а человеческий поступок. Иначе оно мертво. В искусстве волнует только тот, кто волнуется.

Приведу два примера.

В 1928 году, будучи студентом Московского университета, я впервые был призван в армию на двухмесячный сбор в территориальную часть. Там я встретился с воспитанниками полка — бывшими беспризорными. О них написана моя первая пьеса «Винтовка № 492116». Но толчком к написанию «Винтовки» послужили не столько впечатления от встречи с ребятами, сколько мои собственные мысли и переживания, связанные с первым погружением в воинскую среду. Для меня и моих товарищей оно не прошло безболезненно: во всех нас гнезился в той или иной степени анархизм штатских людей. И потребовалось некоторое время, чтобы мы почувствовали вкус к жестко организованной жизни военного лагеря, ощутили своеобразную поэзию. Кстати сказать, моя пьеса вначале имела задиристый подзаголовок: «Опыт поэтизации воинского устава».

Сходная проблема волновала меня, когда я писал свою единственную историческую пьесу. События «Труса» происходят в годы первой русской революции. Главный герой пьесы ефрейтор Дорофей Семеняк — лицо историческое. О его существовании я узнал случайно.

Много лет назад, еще до поступления в университет, обстоятельства закинули меня на одну из станций Савеловской железной дороги. Пришлось переночевать на вокзале, в пустом и холодном помещении. Мне не спалось, от нечего делать я стал разглядывать запыленную фотовитрину, и мое внимание привлекла фотография, изображавшая солдата в бескозырке, с твердыми светлыми глазами на скуластом лице. Под фотографией была приклеена узкая полоска бумаги, на которой написано, что ефрейтор железнодорожного батальона Дорофей Семеняк был большевиком и расстрелян в 1905 году за убийство прапорщика Золотарева, издевавшегося над солдатами.

Большевик — и индивидуальный террор?

Приземистый тускло освещенный вокзал, потные оконца привокзальных строений и служб, перрон с традиционным медным колоколом, вороньи гнезда на редких соснах — на всем пейзаже лежала печать чего-то старорежимного. И моему заработавшему воображе-

нию было легко перенестись на двадцать лет назад и представить себе, как выглядел этот вокзал во время всеобщей железнодорожной забастовки, когда движение на линии поддерживалось при помощи правительственных войск. В зале третьего класса — солдаты, в первом классе — офицеры. К проходящему поезду выстраивается караул под командой офицера... Офицера зовут прапорщик Золотарев.

Так родилась на свет вводная ремарка. Пьеса же была написана ровно через десять лет, много позже «Винтовки».

За эти годы я несколько раз предпринимал попытки что-нибудь узнать о Дорофее Семеняке и его трагической гибели. Материалов о Семеняке я не нашел, но в процессе поисков прочел довольно много книг по истории русского революционного движения. И постепенно в моем сознании начала складываться собственная версия убийства Золотарева.

Золотарева убил не Семеняк.

Кто же?

Его убил другой солдат, человек сильный и честный, но лишенный партийной закалки, подверженный анархическим влияниям. Убил, переступив через запрет организации и поставив под удар общее дело. Убил, пылая благородным гневом, не стерпев обиды.

«Другой солдат» получает имя и фамилию. Его зовут Василием Барыкиным. Он искренне предан Дорофею. И даже свое преступление совершает из любви к нему. Выясняется, что прапорщик ненавидел Дорофея и всячески к нему придирался.

Почему?

Потому что угадывал под маской образцового солдата сильного врага. Конечно же, Семеняк был образцовым солдатом — недаром он имеет чин ефрейтора. Профессиональный революционер, он превосходно конспирирован. У начальства он на хорошем счету. У всех кроме Золотарева.

Почему же Золотарев понимает то, чего не понимают другие офицеры?

Потому что Золотарев — палач и жертва в одном лице. Его чувствительность обострена. Этот прапорщик военного времени, недоучка, выходец из мещанской среды — случайный человек в офицерской компании. Его самолюбие подвергается непрерывным уколам. Свои обиды он срывает на солдатах.

Тогда почему же обвинение в убийстве Золотарева падает на Семеняка, а не на Барыкина?

Так складываются обстоятельства. Все улики падают на Дорофея. Конечно, Дорофей мог легко доказать свое *alibi*. Но он этого не делает. Больше того, он сознается в убийстве.

Так родилась кульминационная сцена пьесы — сцена на дороге. Василий ведет в тюрьму Дорофея. Происходит бурное объяснение.

Василий сознается в убийстве и хочет заявить об этом следствию. Дорофей запрещает. Если Золотарева убил Семеняк — убийство легко объяснить личной местью. Дело будет замято. Если убил Василий, вскроется подпольная группа.

Ситуация становится трагической.

«Трус» был поставлен впервые в 1935 году. Я назвал пьесу «опыт трагедии». Жанр только нащупывался. И лишь совсем недавно «отыскался след Тарасов». Мне написали товарищи из Дмитровского краеведческого музея. Они просили прислать им «Труса» и поделиться материалами о Семеняке. Вероятно, они были очень удивлены, узнав, что, кроме фотографии, виденной мной на вокзале тридцать лет назад, я не располагаю никакими материалами. Мне была предоставлена возможность ознакомиться с тем немногим, чем располагал музей. С глубоким волнением я перебирал несколько пожелтевших листков и фотографий.

Моя версия осталась неопровергнутой.

Подведем некоторые итоги. Очевидно, что замысел «Винтовки» и замысел «Труса» формировались различными путями. И столь же очевидна близость проблематики этих двух ранних пьес: и тут и там мелкобуржуазный анархизм вступает в конфликт с организованностью и дисциплиной.

Теперь, через много лет, мне легче разобраться, почему именно эти проблемы волновали меня больше других. Вероятно, потому, что решался вопрос о моем собственном жизненном пути.

Часто ли прототипами действующих лиц являются для меня живые люди? Не часто, а всегда. Но никогда этим прототипом не бывает один человек. Персонаж всегда включает в себе черты многих людей, иначе он никому не интересен. Причем это не смесь, а сплав. Плавление же, как известно, происходит только при высоких температурах.

Конечно, бывает всякое. Бывают неудачные сплавы. Со шлаковыми примесями. Бывает, что в тигель для плавления по ошибке или недостатку дарования попадают черты, взятые не у живых людей, а из книг. Бумага не плавится, а горит. И от персонажа начинает пахнуть дымком литературщины.

Бывает, что напишешь какую-нибудь фигуру (чаще всего отрицательную), и ее начинают узнавать. Звонят: «Здорово ты такого-то вывел...» или: «Напрасно ты его зацепил, он в общем парень ничего...»

Тут надо разобраться, что к чему.

Когда-то слово «пасквиль» не было ругательным. Существовал такой литературный жанр. Пасквилем называлось литературное произведение, в котором открыто выводились (в том числе и на сцену) реально существующие современники. Жанр этот умер, а слово осталось.

Пасквили меня не интересуют, и большинство описанных выше звонков основано на недоразумении. Я никого не «вывожу». Всякий образ включает в себе и обобщенно типическое, и индивидуально неповторимое. Если мысль о сходстве возникла по существу, драматург должен быть счастлив: значит, ему удалось подметить и обобщить что-то, свойственное не одному человеку. Если речь идет о неповторимой черте — чаще всего это только краска, блик, деталь, которые рассыпаны всюду и которыми писатель пользуется, не всегда отдавая себе отчет, где он их подхватил.

Мы знаем из истории литературы: у редкого писателя не было осложнений из-за того, что конкретные люди принимали написанное на свой счет. Будучи польщены, они молчали или хвастались. Уязвленные вламывались в амбицию и даже подавали в суд. Поводы были разные: совпадение фамилий, профессий и биографических деталей, сходство между сюжетом произведения и жизненными ситуациями.

Подавляющее большинство этих претензий основано на недоразумениях. Писатель не должен ставить перед собой задачу опорочить (или прославить) средствами искусства определенного человека. Это задача, недостойная искусства и тем самым выходящая за его пределы. Писатель имеет дело с явлением, характером, а не с частными лицами.

Это не значит, что писатель не пользуется натурой сознательно. В этом отношении он сродни живописцу,

который использует живую натуру даже тогда, когда пишет библейский сюжет или картину из боярского быта.

Основываясь на своем личном опыте, я берусь утверждать следующее.

Всякий персонаж — сплав многих людей, причем химический состав этого сплава поддается анализу лишь до известной степени. Многие элементы, присутствующие в небольших долях, обозначить невозможно.

Во всяком персонаже, положительном или отрицательном, обязательно присутствуют в различных пропорциях черты самого автора. Даже если этот персонаж последний негодяй. Нельзя писать о человеке, которого не понимаешь.

Вообще неверно представлять себе дело таким образом, как будто персонажи пьес, более чем какие-либо другие, независимы от личности автора. Личной интонацией драматурга окрашены не только ремарки, но и речь персонажей, несмотря на то, что у каждого из них свой лексикон, свой ритм, своя музыка. Перевоплощение автора не может (и не должно) быть полным.

Точно так же не может быть персонажа, который изготовлен только из самого автора и является его шагающим рупором. Даже если этот персонаж называется «от автора» или «ведущий».

Сплав, из которого сделан персонаж, подлежит не только качественному, но и количественному анализу. Важны не только сами черты, но и степень концентрации. Можно построить отрицательный образ на концентрации отрицательных черт людей хороших, иногда даже близких и дорогих. А образ любимого героя обогатить фразочкой или биографической деталью, почерпнутой у некоего презренного, но не лишённого обаяния субъекта. Конечно, это возможно только при наличии некоторого сродства. Тут, как в генетике: привьется или не привьется.

Несколько примеров.

Я очень люблю Сашу Майорова из «Глубокой разведки». Не то, чтоб я считал, что он замечательно написан, а просто люблю его как человека. Мы с ним во многом сходимся, многие его мысли — мои мысли. Но он — не я. Не говоря уже о том, что я хуже его, я не он по многим причинам. У нас разные профессии, разные биографии, разные темпераменты. Я учился гораздо

легче, чем Саша. И у меня даже наполовину нет его организационных способностей. Мои черты смешаны в нем с чертами множества людей, которых я знал и видел, причем не только среди разведчиков нефти, но и среди людей других профессий. Одних я мог бы назвать и сейчас, других забыл, некоторые вошли в мое сознание, не оставив визитной карточки.

Я сурово осуждаю Андрея Гетманова из той же «Глубокой разведки». Но он в какой-то мере — я. Льщу себя надеждой, что мера эта не очень велика, а после того, как я написал «Глубокую разведку», стала меньше, но отречься от того, что я понимал и понимаю Андрея, что многие черты гетмановского характера и поведения я постиг не только путем наблюдения за другими людьми, но и путем самоанализа, было бы недобросовестно и неумно.

К слову сказать, литератор, имеющий существенные человеческие недостатки, может быть хорошим литератором. Но литератор, неспособный отдать себе отчет в этом, заблуждающийся насчет своих качеств, — фигура плачевная.

В «Глубокой разведке» есть сцена, где Гетманов с добродушным цинизмом рассказывает Майорову о своих ближайших помощниках. Эта сцена почти буквально повторяет слова, которые я слышал лично от крупного хозяйственника, под руководством которого я некоторое время работал. Это был умный человек, старый коммунист, участник революционной борьбы в Закавказье, человек безупречно честный. Гетмановым он не был, но «гетмановское» в нем было. И я счел себя вправе использовать в пьесе поразивший меня разговор, поскольку он был только наиболее экономным и отчетливым выражением того отношения к людям, которое мне приходилось наблюдать неоднократно, в разных местах и по разным поводам.

Заметную роль в «Глубокой разведке» играет инженер Мехти Ага Рустамбейли. Стареющий бонвиван, лентяй и интриган, злой гений Андрея Гетманова. Свои шикарные барственные повадки он перенял у одного очень известного композитора, завсегдатая бакинского ресторана «Новая Европа». Насколько мне известно, ни лентяем, ни интриганом тот не был. У другого человека взята характерная деталь: не чуждый буржуазно-националистической демагогии, Мехти плохо знает свой родной язык. На этой детали построена финальная сце-

на. Внешний вид и костюм Мехти взяты у третьего человека. Манера клясться — у четвертого. Однако это не значит, что образ можно «составить». Его можно только породить. В состав, именуемый Мехти, вошли как элементы многие люди, но сам Мехти не являлся ничьим портретом. Он портрет некоего явления, некий типический характер, но имеющий свои личные, присущие только ему черты.

Для того чтобы я мог написать главного героя драмы «Офицер флота» — командира подводной лодки Виктора Горбунова, было два необходимых условия: я знал многих морских офицеров, причем не только подводников. Во-вторых, я сам был офицером, правда, не кадровым, но жившим с ними общей жизнью и имевшим общие интересы. Я мог бы назвать по фамилиям несколько командиров кораблей с «горбуновским» складом характера. У одного из них была даже сходная с изображенной в пьесе служебная ситуация. Я описал ее в коротеньком очерке-рассказе «Я держу мой флаг», передававшемся по Ленинградскому радио в первую блокадную зиму. Рассказ был тем зернышком, из которого проросла пьеса.

Во время войны люди быстрее выдвигаются. Я знаю много головокружительных карьер. Эти выдвижения не всегда проходят безболезненно. В некоторых отношениях человек бурно растет, в других — его развитие отстает. Неравномерность развития порождает внутренние конфликты, иногда драматические, а иногда трагикомические. Я наблюдал много таких случаев. В образе командира дивизиона подводных лодок Бориса Кондратьева запечатлен драматический вариант.

Кондратьев — талантливый командир и добрый человек. С Горбуновым его связывает тесная дружба. Но для того, чтобы руководить соединением, он еще не созрел. Храбрый в море, он растерялся и смалодушествовал в сфере служебной. Конфликт между Кондратьевым и резким, принципиальным Горбуновым — конфликт между близкими людьми. Но это конфликт драматический.

В образе Сергея Бакланова (центральный персонаж комендии «Второе дыхание») разработан вариант трагикомический. Подобно Кондратьеву, Бакланов — человек быстрого роста. По признанию окружающих, это человек незаурядный. Но для того места, которое он занимает среди людей, его общей культуры уже не

хватает. Полюбив умную и тонкую женщину, он вскоре совершает ошибку, из-за которой мог навсегда ее потерять. Но находит в себе нравственные силы, чтобы понять свою вину, и все кончается благополучно.

У Бакланова был великолепный прототип — признанный герой Отечественной войны, человек самобытного характера, неожиданный, с причудами. Я очень люблю про него рассказывать. И в хорошем и в дурном он гораздо ярче моего Бакланова. Виноват в этом не я один, слишком много людей находило, что мой уже несколько причесанный Бакланов — недопустимое надругательство над образом советского офицера. Но если даже исключить причесывание, прототип не был для меня моделью. Я его не имитировал и не копировал. В пьесу он вошел в настолько преобразованном виде, что никогда бы себя не узнал. Тем более что любовный казус, подобный изображенному в пьесе, произошел не с ним, а с другим человеком и был рассказан мне года за три до нашего знакомства. А военная ситуация и бытовые детали — это Балтика периода весенних боев 1945 года, все это я видел в Усть-Луге и на Сааремаа, наблюдая боевую жизнь малых кораблей — катеров и тральщиков. От соприкосновения характера, казуса и общей ситуации родился сюжет комедии. Комедийный он стал не сам по себе, а потому, что кроме материала существует еще и ракурс. Точка зрения автора (в данном случае моя) была юмористической. Считая проблему серьезной, я тем не менее считал, что над огорчениями Бакланова надо не плакать, а смеяться. Смеяться по-доброму, смеяться так, как посмеялся бы сам над собой выросший духовно Бакланов.

Незаметно для себя я соскользнул с вопроса о прототипах к следующей группе вопросов — о сюжете и характере, идее и форме. Это естественно. Все эти элементы находятся в теснейшем переплетении. Ключ к характеру — действие. Ключ к действию — характер. Характер непостижим вне поступков. Поступок непостижим вне мотивов и их нравственной оценки.

2. Переходя ко второй группе вопросов, постараюсь быть кратким, ибо частично я на них уже ответил. Созревание идеи, формирование сюжета и характеров — процесс длительный, начинающийся задолго до того, как я сажусь за письменный стол. Писать о том, чего я

не знаю,— не умею совсем. Я работал в промышленности и служил на военной службе, до сих пор я слежу за всем, что происходит в этих областях, и не порываю связей. Ни о чем другом (вернее, ни на каком другом материале) я не пишу. Очень хочется написать об ученых, но к этому я еще не готов, надо сперва восполнить зияющие провалы в своем образовании, особенно в сфере точных наук. Существует мнение, что драматургу не нужны точные знания, что драма в силу своей лаконичности не вмещает в себя технических подробностей. Я с этим решительно не согласен. Я считаю, что именно лаконичность драмы обязывает драматурга знать не меньше романиста и очеркиста. Когда надо *в двух словах* изложить суть какой-нибудь технической или научной проблемы, лучше всего это делают академики, а не дилетанты. Чтобы быть простым и ясным, нужно много знать, и только неофиты щеголяют непереваренной специальной терминологией.

У меня есть свой рабочий термин, который я никому не навязываю. Технический сюжет. Что это такое и как он выстраивается, попробую пояснить на примере.

«Глубокую разведку» сразу после ее появления часть критиков называла «производственной» пьесой. Подтекст был укоризненный. Дескать, писать надо из жизни людей, а не из жизни скважин. Но что делать, если жизнь людей настолько тесно связана с этими скважинами, что, не разобравшись в них, невозможно понять, кто прав, кто виноват, нельзя догадаться, где сущность где маска, и бесполезна всякая попытка проникнуть во внутренний мир людей? Больше всего времени и усилий стоил мне технический сюжет пьесы, та производственная ситуация, вокруг которой разгораются страсти. Не потому, что она сложна. Наоборот, именно поиски простоты, наглядности, доступности для всех и каждого заставили меня перечитать десятки технических книг и разговаривать с сотнями людей.

Только после того, как было произнесено слово «кривизна», все стало на свои места. Итак, в погоне за рекордом Гетманов допускает искривление скважины. Вместо того чтобы исправить кривизну, он пытается ее скрыть. А когда это оказывается невозможным, ратует за прекращение работ. Вмешательство Майорова, объединившего вокруг себя всех честных тружеников разведки, изменяет ход событий.

Стоило повозиться, чтобы найти этот общепонятный

технический казус. Он не только доступен, но создает образную переключку с душевным состоянием Гетманова, с «кривизной» избранного им жизненного пути. Поэтому сцены, где говорится о технической кривизне, не самые скучные в пьесе. Диалог Мориса и Мехти, которым начинается третий акт «Глубокой разведки», оказался одним из наиболее выигрышных в сценическом отношении эпизодов.

Техническим сюжетом «Офицера флота» является история ремонта подводной лодки силами команды в труднейших условиях блокады. В «Кандидате партии» — борьба токаря Николая Леонтьева за власть над машиной. Технический сюжет — это скелет пьесы, тот каркас, на котором зиждится сюжет нравственный. От этого каркаса многое зависит, в том числе и философия пьесы. Недостатки скелета, к примеру горбы или кривизна ног, очень заметны, даже если все остальное в человеке совершенно.

Назвав технический сюжет скелетом пьесы, я отнюдь не утверждаю, что надо сперва построить скелет, а на него наращивать все остальное. Природа ведь тоже так не делает. Скелет развивается и отвердевает вместе с ростом всего организма.

Если быть совсем откровенным, в большинстве случаев моя работа над пьесой протекает так: достигнув какой-то степени осознания «сверхзадачи», когда дальнейшее бездействие уже невозможно, я сажусь за стол и вывожу на бумаге название пьесы, затем составляю список действующих лиц и сочиняю подробнейшую вводную ремарку. Если б я сохранял все черновики, то мог бы продемонстрировать, что первую страницу пьесы я переписываю раз тридцать-сорок, первый акт — не менее пяти, а последний — не более двух раз. Это не причуда. Составление списка действующих лиц — занятие очень ответственное. Чувствуешь себя начальником отдела кадров будущего сочинения. Здесь все важно: фамилия, имя, отчество, возраст, профессия... Дать герою имя и фамилию — дело не шуточное, для этого надо представить себе всю его родословную, наврать в этом вопросе непростительно. Плохая пьеса нередко выдает себя уже при чтении списка действующих лиц.

Вводная ремарка и первые реплики — камертон для всей пьесы. Работая над ними, я впервые начинаю представлять себе не только созданные моим воображением обстоятельства, но и будущий спектакль. Именно

в этот период зарождается форма пьесы, ее жанровые особенности. Именно в этот период я, как драматург, заключаю условие с будущими читателями и зрителями: чему верить, а чему не верить, что понимать как шутку, а к чему относиться всерьез... Всякий театр условен, различны только мера и характер этой условности, о мере и характере надо договариваться со зрителем сразу. Потом, когда условие заключено и зритель уже принял твою логику, менять что-либо поздно — ты будешь жестоко осужден по своим же собственным законам.

Начало — камертон еще и потому, что оно вводит зрителя (а в процессе работы и самого автора) в атмосферу пьесы. «Атмосфера» — тоже рабочий термин, и я затрудняюсь дать ему законченное определение. «Атмосфера» — это то почти физическое ощущение реальности бытия действующих лиц, которое должно возникнуть сразу после открытия занавеса, еще до того, как зритель оказывается втянутым в происходящие на сцене события. Тональность. Гамма. Запах. Я не мог двинуться дальше, пока не нашел атмосферу отупляющего зноя, ставшую камертоном для первого акта «Глубокой разведки». А в «Офицере флота» мне столь же важно было ощущение холода и оцепенения, желтый электрический луч из приоткрытого рубочного люка вмерзшей в лед подводной лодки, серо-лиловое небо и красноватые отсветы на облаках. Театральный художник может потом делать все, что он хочет, но я не могу обойтись без собственного видения.

Многократно переписывая первый — экспозиционный — акт, я добиваюсь сразу многих целей. Во-первых, я совершенствую свое представление о героях и узнаю о них много нового. О героях надо знать во сто раз больше, чем войдет в пьесу. Хемингуэй сказал, что роман напоминает айсберг: девяносто процентов под водой, и только десять возвышаются над поверхностью моря. Драма — очень глубокосидящий айсберг. Во-вторых, я продумываю дальнейшее течение событий. Драма — сочинение жестко структурное, но абсолютная заданность чертежа пагубна не только для романа, персонажи пьесы также нуждаются в известной свободе действий. В-третьих, я овладеваю речевым складом своих персонажей настолько, что для меня уже не составляет труда разговаривать за них по любому поводу, писать от их имени письма и т. д. В этот период я ста-

новлюсь застенчивым, так как у меня появляется потребность говорить вслух. Не люблю, когда меня при этом слышат домашние, еще хуже, когда начинают оглядываться на улице...

Попутно хочу сказать, что я считаю сочинение пьес процессом интимным, чем-то отдаленно напоминающим роды. Свидетелей при это желательно иметь поменьше. Соавторство в таком деле исключение, а не правило. Нужны исключительные обстоятельства, чтобы такое сотрудничество было стойким и успешным.

О работе над языком пьесы скажу немного, не потому, что считаю вопрос маловажным, а из прямо противоположных соображений. Из всех вопросов теории драмы он меня занимает больше других. О языке сценического произведения я сравнительно недавно написал статью в печатный лист, и мне не хочется повторяться. Правда, в той статье мне показалось неуместным ссылаться на свой личный опыт. Отвечая на анкету, я могу себе это позволить.

Я люблю разговорный театр. Пьесы, где люди много разговаривают. Это не значит, что я люблю театр бездейственный или рассудочный. Слово на театре — действие, поступок. И — носитель сильнейших эмоций. Я люблю, когда зрительный зал замирает в ожидании: что он (она) сейчас скажет?..

Все это очень субъективно. Одни литераторы больше понимают, когда подсматривают, другие — когда подслушивают. Я больше понимаю на слух. Об искренности человека вернее сужу по интонации, чем по выражению лица. О профессии, национальности, характере, воспитании — по речи лучше, чем по внешности.

Все вышесказанное во многом определяет мое поведение за письменным столом и в репетиционном зале. Ненавижу актерские отсебятины и ссорюсь с издательскими корректорами из-за пунктуации. Не потому, что мне очень нравится, как я пишу. А потому, что придаю большое значение интонации, подтексту. Подтекст не есть нечто лежащее вне ткани пьесы, наоборот, он ее основа. Он рождается одновременно с текстом. Реплика вне подтекста — только оболочка мысли, а не сама мысль. В «Кандидате партии» есть коротенькая сценка: Людмила Леонтьева и влюбленный в нее Востряков вдвоем накрывают праздничный стол. Разговор идет о

колбасе и лососине. Если исключить подтекст, он лишен всякого смысла. Человек обнаруживает себя не только в тех случаях, когда он излагает свое кредо или говорит о том, что его более всего в данный момент интересует. Здесь он способен заблуждаться и даже вводить в заблуждение. «Проговаривается» он чаще всего в мелочах. Для того чтобы люди понимали друг друга, им нет необходимости все договаривать до конца. Во многих случаях жирную линию успешно заменяет пунктир. Но пунктир должен легко угадываться. Подтекст требует от языка точности.

Подтекст основан на контексте. Смысл слов меняется в зависимости от места, которое они занимают. Есть фразы-рефрены, фразы-гаранты.

Во время репетиции первого акта «Глубокой разведки» в Художественном театре у меня был такой случай. Игравший геолога Мориса В. О. Топорков, репетируя сцену сердечного припадка, всегда забывал произнести обращенную к Гетманову фразу: «Вы правы, вы всегда правы...» Вернее, даже не забывал, она была ему неудобна: в это время он пил воду. Я раза два напоминал Топоркову об этих словах. Кончилось дело тем, что Василий Осипович с некоторым даже раздражением попросил меня объяснить, почему я на них так настаиваю. В ту минуту я почему-то не нашел убедительного ответа. Начался второй акт. Во втором акте Марина Гетманова говорит мужу: «Ты прав, ты всегда прав...» И Гетманов взрывается. Взрывается потому, что слышит эти слова не в первый раз, слышит от разных людей, но с одной и той же интонацией осуждения... Я хлопнул себя по лбу и обернулся, ища Топоркова. Мы переглянулись, и этого оказалось достаточно. В дальнейшем Василий Осипович всегда произносил эту фразу. Ем она по-прежнему была не очень удобна. Но она была необходима В. В. Белокурову, игравшему Гетманова, необходима в спектакле.

Работать над репликой — это значит делать ее точной, емкой, действенной, характерной.

Емкость реплики познается в контексте и находится в прямой зависимости от ее способности, взаимодействуя с другими репликами, увеличивать количество информации. Хорошая реплика выполняет одновременно много задач, она связана со всей тканью пьесы системой мелких кровеносных сосудов: вырви ее — и потечет кровь. Она взаимодействует и вступает в сложные со-

единения с другими репликами, порождая практически неисчислимое богатство жизненных ассоциаций. Плохая реплика инертна, обычно она выполняет только служебные функции, причем не более одной. Такие реплики я стараюсь выпалывать и заменять лучшими, если же это неосуществимо, то хотя бы более короткими. Однако от тяжеловесности и многословия я до сих пор не избавился. И рад бы, да не умею короче. Мое безграничное доверие к слову нередко приводит меня к обидным просчетам. Случается, что я переоцениваю прочность своих конструкций, забывая, что достаточно одному зрителю громко раскашляться, чтобы все остальные не услышали слова, на которое я возложил непомерную нагрузку, и чтобы произошла авария.

При переизданиях и возобновлениях пьес я всегда просматриваю весь текст и во многих случаях вношу стилистическую правку, чаще всего сокращаю. Существенных изменений я, как правило, не делаю. Мне известны многие недостатки моих пьес, но это совсем не значит, что я способен их исправить. Я хорошо переношу критику и хуже — рекомендации. Я готов учесть свои просчеты в следующей пьесе; если же начну коренным образом перерабатывать уже написанную, то почти наверняка ее испорчу. Чего-то добыюсь, но больше потеряю. Пьеса рождается при определенных температурных условиях, восстановить которые обычно не удастся, и дальнейшая обработка «холодным способом» возможна только в определенных пределах. Этого, к сожалению, многие не понимают. Им кажется, что пьеса — это нечто вроде набора реек «Меккано», которые можно свинчивать и так и эдак. И очень удивляются, когда подвергнутая вивисекции пьеса вдруг испускает дух. Кроме того, мне кажется противоестественным и нецеломудренным одновременное существование двух равноправных вариантов одной и той же пьесы. Мне кажется, что писатель, уже поведавший читателю, что герой N заболел и умер, не должен вскорости давать отбой и сообщать о том, что он жив-здоров и уехал за границу. Это как-то подрывает доверие. Обо всех случаях, когда я в силу разных, не снимающих с меня ответственности причин вел себя не по этому правилу, я вспоминаю со стыдом.

Не надо забывать, что зритель чрезвычайно чуток ко всяким «пластическим операциям», ко всяким нарушениям органики, хотя не всегда отдает себе отчет в

том, что именно его раздражает и вызывает недоверие. Латать живую ткань опасно. Образуется рубец. Заплаты на живом теле всегда заметны и всегда антиэстетичны. Поэтому даже купюры надо делать умеючи.

3. О режиме рабочего дня могу сказать мало.

Работаю по утрам, стараюсь не прекращать работы, пока не выполню какого-то минимального суточного задания. Размер задания зависит от характера работы. Перед тем как сесть за стол, обычно выхожу пройтись, на ходу я думаю лучше, чем сидя. У меня есть пишущая машинка, которой я не пользуюсь, — перепечатка для меня немаловажный этап, и я предпочитаю с ним не спешить. При всем этом мне решительно нечего возразить товарищам, которые работают вечерами, не гуляют, не задают себе урока и стучат на машинке. Свой режим я не только не считаю образцовым, но всячески казню себя за недостаток собранности и малую производительность.

Гораздо важнее, чем режим, общая гигиена литературного труда. На этот счет у меня существуют три заповеди, которым я в меру сил своих стараюсь следовать.

Первая. Относиться к своему рабочему времени так же, как слесарь, паровозный машинист или актер. В рабочее время слесаря без особой нужды не вызовут из цеха, актера — со сцены, а машинист не остановит поезд среди поля. Использовать эти часы не по прямому назначению можно только в чрезвычайных случаях. Знакомые и секретарши различных учреждений должны смириться с тем, что во время работы писатель не подходит к телефону, не ездит на совещания, не назначает свиданий, точно так же, как если б он обтачивал деталь, вел паровоз или играл в спектакле.

Вторая — и гораздо более трудная. Садиться за письменный стол с незамусоренной головой. Всех нас одолевает огромное количество мелочей. Будучи в точном смысле слова мелочами, то есть обстоятельствами малозначительными, они обладают свойствами ближних радиопомех — образуют шумовой фон, способный заглушить любую музыку. Нельзя допускать, чтобы пустяковые ссоры и копеечные уколы самолюбия или даже совсем безобидные мысли — «опять не сдал костюм в чистку», «завтра истекает срок хранения под-

писных изданий» — навязчиво, как писк морзянки, вторгались в вашу работу.

Третья — и самая трудная. В нерабочее время сохранять хотя бы приблизительное соответствие между поведением любимых героев и своим собственным. К примеру, если твоим любимым героем является новатор производства, человек убежденный, ершистый и настойчивый, нехорошо, когда сам автор слишком гибок и покладист...

1961

В «Мыслях о прекрасном» покойного Н. П. Акимова есть такой **шутливый афоризм**: «Если б наряду с «точными науками» у нас была узаконена область «неточных наук», первое место в ней по праву заняла бы эстетика».

Этим высказыванием Акимов отнюдь не собирался зачеркнуть эстетику. Равным образом он совсем не отрицал применимости точных методов в изучении искусства. Смысл этого высказывания иной: эстетика является особого рода наукой, особенности которой вытекают из самого предмета исследования. Чтобы исследовать явления искусства, исследователь сам должен быть человеком искусства. Эстетика совмещает в себе элементы научного и художественного познания, и нет ничего зазорного в том, что многие эстетические категории не могут быть выражены математическими способами и возведены в ранг объективных истин. Искусство неотделимо от восприятия его людьми, восприятие же исторически обусловлено и субъективно окрашено в зависимости от множества разнообразных и трудно учитываемых факторов. В. Г. Белинский был сыном своего времени, в анализе явлений искусства он руководствовался не только своими теоретическими воззрениями, но и личными вкусами, даже страстями,— все это несколько не унижает Белинского как ученого, но обнаруживает в нем художника.

Произведение искусства живет во времени, в разные эпохи оно воспринимается современниками различно. Трагедия Гамлета в театре «Глобус» и на сцене советского театра не однозначны, невозможно даже приблизительно установить, как воспринималось бы искусство Павла Мочалова зрителями театра «Современник», и

только неисправимые догматики склонны считать свои сегодняшние критерии незыблемыми.

Непременное условие научного эксперимента — повторяемость, многократная воспроизводимость эффекта — не полностью применимо к эстетике, эстетический эффект всегда в той или иной степени неповторим, а потому и не может быть до конца «формализован». Акимов писал: «Искусство — это средство общения между людьми. Это второй особый язык, на котором о многих важнейших и глубочайших вещах можно сказать лучше и полнее, чем на обыкновенном языке. Вместе с тем ряд понятий и мыслей — научных, технических, деловых — на обыкновенном языке излагается проще и точнее. Путаница в этом вопросе всегда приводит к затрате ненужных усилий».

Избежать путаницы в этом вопросе необходимо именно потому, что назрела настоятельная необходимость применения точных методов в изучении искусства. Назрела она давно. Еще в 20-х годах К. С. Станиславский живо интересовался работами академика И. П. Павлова и других физиологов, это было необходимо ему для проверки и теоретического обоснования ряда положений «системы». ВТО продолжает начатые еще в 30-х годах попытки статистического анализа зрительских реакций. Точные методы могут быть применены как для исследования механизма художественного творчества, так и для изучения законов восприятия. Необходимость научного подхода к этим проблемам проистекает в равной мере из возросших возможностей современной науки и из насущных потребностей самого искусства. С каждым годом этот встречный процесс становится все ощутимее. Случайный, но характерный пример. Недавно в течение одного дня я прочитал два весьма далеких по жанру произведения — статью профессора Э. Ш. Айрапетянца «Личность великого ученого», посвященную 90-летию со дня рождения академика А. А. Ухтомского, и «Из запасников памяти» писательницы В. Ф. Пановой. И вот две выписки:

«Позволю себе вскользь коснуться еще одной существенной черты человеческих доминант. Если каждый человек носит в себе, проявляет в своем поведении разнообразные доминанты и, как правило, одна доминанта заменяет другую, то сосуществование доминант с произвольным и полноценным их переключением — дело весьма трудное. Этим свойством большей частью

обладают представители высокого уровня подвижного типа нервной системы. И надо сказать, что в совершенстве оно развито у талантливых актеров. Здесь не место излагать физиологические основы актерского творчества. Но я позволю себе утверждать, что важнейшими элементами структуры актерского таланта надо считать не только способность входить в роль по всем законам доминанты, но и удерживать в форме сосуществования разнообразные доминанты — образы, не похожие друг на друга, с мгновенным, сигнальным их переключением — *сменой, а не заменой*. Идеально был представлен принцип подвижных доминантных переключений у Ф. И. Шаляпина. В совершенстве им владел Илларион Николаевич Певцов. И можно было бы сослаться на творчество многих истинных актеров, талант которых выражает также и этот чудесный дар мозгового механизма».

Это пишет ученый. А вот что пишет писательница:

«На этом-то материале впоследствии проявилась одна моя способность, которая с годами значительно ослабела и которая в высшей степени полезна литератору: я обнаружила в себе как бы некие запасники, куда совершенно произвольно откладывались впечатления и наблюдения, чтобы затем явиться без всякого моего усилия в нужный момент и занять свое место в моей работе. Уже когда я писала первые свои книги — «Спутники», «Кружилиха», — эти запасники вдруг являлись, как бы всплывая, и служили мне поистине неоценимую службу. Это были характеры, лица, имена, судьбы, голоса.

Может быть, такого рода механическая память и отличает писателя от неписателя. Это всплывание в нужный момент — не оно ли называется вдохновением?

Причем из огромного числа явлений, проходящих перед нами, почему-то некоторые особенно овладевают нами, запечатлеваются с особенной силой, зажигают фантазию. <...> Эта избирательность, этот неосознанный — наугад — выбор является, видимо, непременной частью той способности бессознательного накопления, которую я в себе обнаружила...»

В обоих случаях это вскользь брошенные замечания, своего рода «апартаменты». Но нетрудно себе представить, что, будучи развиты и оснащены фактическим материалом, соображения ученого могут лечь в основу исследования о физиологических механизмах актерского

творчества, а размышления писательницы всей своей логикой неизбежно подводят ее к учению А. А. Ухтомского о доминанте.

Мы привычно говорим о происходящей на наших глазах научно-технической революции и не всегда отдаем себе отчет в поистине революционных изменениях, произошедших примерно в то же время в области искусства. Появление новых средств массовых коммуникаций (кино, радио, телевидение) и массового воспроизведения (грамзапись, фототипия) способствовало созданию новых видов искусства и до основания потрясло старые. Под влиянием множества разнообразных факторов — социальных и технологических — резко изменились организационные формы современного театрального спектакля и зрительская психология. Меньше чем за сто лет театральное зрелище от громоздкого, пышного и медлительного спектакля императорской сцены, где пятиактной трагедии предшествовал водевиль, а в заключение нередко давался дивертисмент, спектакля, где арии и монологи бисировались, а зрители входили в партер во время действия, это зрелище пришло к современному спектаклю Театра на Таганке, идущему в стремительном темпе, почти без декораций, без единого антракта. Достаточно представить себе Танеева на концерте Шостаковича, Энгра — перед полотнами Матисса, М. И. Петипа — на «Спартаке» Григоровича, чтобы почувствовать всю глубину произошедших сдвигов.

На этих же примерах легко видеть, насколько различно протекают эти процессы в искусстве и в технике. Даже самые совершенные создания технической мысли стареют быстро, становясь достоянием истории. Шедевры искусства сохраняют свое непреходящее значение на века. Великие открытия в науке, так же как великие произведения искусства, обязаны своим происхождением гению своих авторов, но природа авторства принципиально различна: не родился на свет Ньютон, закон всемирного тяготения несомненно был бы открыт впоследствии кем-то другим, но «Евгений Онегин» мог быть написан только Пушкиным. Сотни миллионов людей хоронят своих близких под звуки марша из си-бемоль-минорной сонаты Шопена, ставшей как бы всемирно признанным выражением скорби, но сонату эту мог сочинить только Шопен. И наконец, последнее и, может быть, самое существенное для нашей

темы: если мы совершим мысленный эксперимент и перенесем человека из предшествующей эпохи в современную, то естественно предположить, что многого в сегодняшней науке и технике он просто *не поймет*. В искусстве же — *не примет*, как не принял честнейший и культурнейший Танеев своего младшего современника Скрябина. Если в науке основным предметом споров является истинность, то в искусстве понятие истины неотделимо от общественных и личных оценочных, вкусовых категорий.

Несомненно, что и наука и искусство служат одной и той же цели — познанию действительности. Но только в конечном счете. Идут они различными путями. Для того чтобы движущийся корабль мог верно определить свое место в океане, одного пеленга недостаточно. Наука и искусство — два пеленга, обеспечивающие человечеству наиболее надежный курс. Нет смысла спорить, какой из них первый, смысл в том, что они разные. Они не заменяют, а дополняют друг друга. Мы усваиваем явления действительности и как образы и как понятия. Задолго до того, как ему объяснят, что собака — *canis vulgaris* — принадлежит к классу млекопитающих и обладает такой-то суммой признаков, годовалый ребенок отлично узнает в пробегающей по улице неизвестной собаке именно собаку, а вскоре начинает ее узнавать на картинке и условно решенной игрушке. Собака для ребенка — целостный, неразложимый образ; процесс, происходящий в его мозгу в зародыше, — типизация, то есть тот самый процесс нестатистического обобщения, на котором покоятся и художественное творчество и его восприятие. Отметим в скобках, что современный компьютер справляется с решением сложнейших задач, но собаки он пока не узнает.

Театр — одно из самых эмоциональных по своей природе искусств, и для деятелей театра, чье творчество протекает в непосредственном контакте с аудиторией, должно быть особенно наглядно различие в методах, которыми пользуются наука и искусство. Там, где ученый убеждает доказывая, артист убеждает показывая. Один старый художник говорил: «Искусство убеждает, как любимая женщина, — не унижаясь до доказательств». Конечно, это шутка, но в ней много верного.

Существенное различие в путях, которыми идут художественное и научное мышление, осложняет проблему. Для того чтобы объединить усилия представите-

лей точных наук и деятелей искусства, необходимо преодолеть ряд первичных трудностей, и в первую очередь отсутствие общей терминологии. Аналогичные трудности пришлось преодолевать при первых попытках применить электронно-вычислительные машины для нужд медицины — области, в некоторых отношениях близкой к искусству. Трудности заключались в том, что медики не обладали достаточной математической подготовкой, чтобы сформулировать свои задания, а математики недостаточно знали медицину, чтобы взять эту задачу на себя. В процессе сближения между представителями почти не соприкасавшихся ранее областей знания неизбежны на первых порах дилетантские ошибки с обеих сторон, их следует терпеливо, без запальчивости разъяснять друг другу, нетерпимость и кастовое высокомерие могут только помешать сотрудничеству. За последние годы состоялось несколько конференций и симпозиумов, посвященных проблеме применения точных методов в исследованиях культуры и искусства. Участников этих совещаний можно условно разделить на три группы: представители точных наук, искусствоведы, то есть опять-таки ученые, и третья, значительная, но пока еще недостаточно активная группа, которую столь же условно можно назвать представителями творческой практики. Не удивительно, что между этими группами существует заметное различие в подходе к обсуждаемым проблемам. Такое различие мне представляется естественным, а возникающие противоречия — закономерными и в конечном счете преодолимыми. Принадлежа по профессии к третьей группе, я в какой-то мере отражаю ее тревоги и чаяния. Начну с тревог. Они существуют, и было бы неверно от них отмахнуться. Многих творческих работников тревожит, не грозит ли им судьба гётевского «ученика чародея» или сороконожки из сказочки Мультатули. Выпустить духов из бутылки легче, чем загнать их обратно, и не потеряем ли мы, анализируя каждый свой шаг, способность двигаться? Не отравит ли кибернетический Сальери ядом анализа интуитивные прозрения современных Моцартов?

На мой взгляд, немалая часть этих страхов основана на недоразумении. Теория не может быть враждебна практике. Любое искусство издревле покоится на прочном фундаменте в виде *школы*, сочетающей в себе элементы теории и профессиональной тренировки. Настоя-

щий художник, какому искусству он бы себя ни посвятил, прежде всего мастер, впитавший в себя опыт предшествующих поколений и творящий на этой основе новое. Представлять себе Сальери грубым ремесленником, а Моцарта чистым интуитивистом — ошибка, это противоречит и Пушкину и исторической правде. И тот и другой были блестящими профессионалами, несоизмеримыми по дарованию, но мастерами и сподвижниками. Будь это не так, невозможна была бы не только дружба, но даже вражда. Ремесленнику незачем убивать гения, он на нем паразитирует. Ремесленнику незачем «поверить алгеброй гармонию», как правило, он не знает алгебры искусства, ему достаточно арифметики, чтобы комбинировать уже найденное. В своем интереснейшем этюде о Моцарте Г. В. Чичерин убедительно показывает, что великий композитор отнюдь не был «гулякой праздным», на которого по странной случайности и капризу природы нисходил божественный огонь, а был высокообразованным музыкантом, великолепно знавшим всю европейскую музыкальную литературу XVIII века и находившимся на уровне теоретической мысли своего времени. «В общем, XVIII век был выжатым лимоном Моцарта, совершившего скачок в будущее», — пишет Чичерин.

Окружающая нас действительность дает бесчисленные примеры тому, как точные знания обогащают наш опыт, не нанося никакого ущерба нашим природным качествам. Опыт вырабатывает в водителе «чувство машины», ту почти безотчетную способность действовать наиболее экономно и целесообразно, которая сродни грации. Но вряд ли кто-нибудь решится утверждать, что шоферу первого класса, в совершенстве знающему устройство машины, эта инстинктивная грация свойственна менее, чем любителю, знакомому с механизмами лишь поверхностно. Шахматный гений проявляется иногда в очень раннем возрасте, но даже чрезвычайная одаренность не избавляет шахматного вундеркинда от необходимости знать дебюты и рассчитывать варианты.

Творческий аппарат художника принадлежит к числу самых сложных и неисследованных механизмов, и применительно к нему часто употребляют почерпнутый из кибернетики термин «черный ящик». «Черным ящиком» принято называть такое устройство, которое, получая на входе некоторую информацию, выдает ее на вы-

ходе в преобразованном виде, самый же процесс преобразования не поддается наблюдению.

Механизмы высокой сложности обычно передаются в эксплуатацию в запечатанном виде с надписью на кожухе «без завода не вскрывать». В годы ленинградской блокады, когда заводы были эвакуированы или бездействовали, я видел, как балтийские моряки на ремонтирующихся подводных лодках срывали эти надписи и вскрывали стальные кожухи. Принимая такое решение, командир крупно рисковал, ибо полной уверенности в том, что разобранный механизм удастся исправить и вновь собрать без помощи завода, быть, конечно, не могло. Балтийцы шли на риск не потому, что игнорировали сложность устройства, а потому, что находились на уровне понимания этой сложности.

Приоткрыть «черный ящик» творческой личности и заглянуть в него — задача увлекательная и таящая в себе определенную опасность. Чтобы подступиться к ней, надо быть вооруженным тончайшим инструментом науки. Лом для этой цели не годится. Между тем существует еще немало людей, убежденных, что «черный ящик» легко вскрывается простым консервным ножом. Достаточно перечитать некоторые критические статьи, призывающие «повысить требовательность в работе с автором», и списки обязательных «поправок», составляемые иными редсоветами, чтобы понять, о чем я говорю.

Попытки проникнуть при помощи точных методов в творческий аппарат художника на первых порах неизбежно связаны с некоторыми упрощениями, но нужно зорко следить за тем, чтоб эти упрощения не приводили к вульгаризации. При всех условиях проводимые исследования не должны опираться на концепции вульгаризаторов или служить им опорой.

Было бы нелепым возражать против неизбежной в экспериментальной стадии схематизации ряда проблем. Речь может идти только о мере и пределе, ниже которого возникает опасность выплеснуть вместе с водой и ребенка.

Схема схеме рознь. В отличие от технических конструкций, которые всегда изоморфны своей схеме, произведения искусства этим свойством не обладают. На основе схемы радиоприемника всегда возможно воссоздать самый радиоприемник, сюжетная схема театральной пьесы не выражает ее существа и не может быть

автоматически развернута в пьесу. Рассказывают, что Вл. И. Немирович-Данченко добросовестно изложил одному современному драматургу некую драматургическую схему и, когда тот, удивленный, спросил: «Что же из этого может получиться?» — ответил: «Смотря у кого. У Грибоедова — «Горе от ума». Даже при самом тщательном изложении фабулы таких фильмов, как «Толпа» Кинга Видора или «Летчик-испытатель» Флеминга, невозможно дать представление о мизантропической философии первого и догадаться о том, что второй создан на деньги и в интересах военного ведомства. Анализ схемы привел бы нас к противоположным выводам.

Основная задача применения точных методов исследования эстетических явлений — проникновение в тайны искусства. Не ремесла — в ремесле вообще не много тайн, а подлинного искусства. Меня могут спросить, где проходит водораздел между подлинным искусством и ремесленным подражанием. Ответить на этот вопрос не просто. Граница между искусством и неискусством подвижна и трудно уловима. То, что некогда было открыто гениальной интуицией и доступно только таланту, со временем становится добычей ремесленников. Портретисты XVIII века добивались портретного сходства средствами искусства, на помощь современному ремесленнику пришла техника — фотография и волшебный фонарь. С развитием фотографии выяснилось, что фотограф может быть художником, а живописец — ремесленником.

Восковой манекен, натуралистически воспроизводящий безупречно сложенную современную женщину, эстетической ценности не имеет, а безрукие и даже безголовые статуи, созданные до нашей эры, до сих пор служат эталоном женской красоты и источником высокого эстетического наслаждения. Тем не менее эта граница существует, о существовании ее ведомо и людям искусства и представителям точных наук — недаром профессор Айрапетянц в цитированном выше отрывке говорит о творчестве «истинных актеров», тем самым выделяя их из сонма ремесленников.

Вл. И. Немирович-Данченко часто говорил, что в искусстве решает «чуть-чуть». Нечто подобное писал И. Э. Бабель: «Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и

обогреваться». Эти образно выраженные эстетические истины еще ждут своего подтверждения методами точных наук. И мне думается, что в первую очередь подлежит исследованию «чудо» искусства, его неизведанные, но неоспоримые вершины, «чуть-чуть», отделяющее великое от посредственного, а не та очевидная граница, что отделяет посредственное от случайного. Исследовать надо не поделки, а шедевры. Утверждая это, я исхожу из чисто эмпирического убеждения, что они — наверняка искусство. Исследовать их надо не для того, чтобы повторить (в искусстве это и невозможно), а для того, чтобы лучше понять. Я зову на помощь физиологов, чтобы приблизиться к тайне потрясающей силы воздействия Амвросия Бучмы в финальной сцене «Украденного счастья», я хочу, чтобы физики объяснили мне, чем отличаются звуковые колебания, исходящие от виолончели несравненного Пабло Казальса, исполняющего вариации Бетховена на тему моцартовской «Волшебной флейты», от колебаний, возникающих при грамотном исполнении той же вещи рядовым виолончелистом. Уверен, что это знание еще более полезно актеру или музыканту. Оно не сделает его гением, если у него нет для этого данных, но безусловно вооружит его профессионально и положительно скажется на системе обучения. Мысль об этом непривычна, но пятьдесят лет назад столь же непривычна была мысль, что в работе актера над собой может быть применена какая-то «система».

За последние годы учеными проведен ряд интересных опытов моделирования художественного творчества. Попытки эти закономерны. Всякое познание действительности есть в той или иной степени ее моделирование. Моделирование в искусстве возможно и с утилитарной целью — нетрудно представить себе использование ЭВМ для моделирования отдельных вспомогательных, сопутствующих творчеству процессов. Что же касается моделирования как способа создания художественных ценностей без участия человека (машинное творчество), то я, рискуя навлечь на себя упреки в консерватизме, продолжаю считать художественное творчество исключительной прерогативой человека. Искусство, как и речь, присуще только человеческому обществу, вне человека оно не существует.

В самом деле, можно уничтожить все произведения искусства, и искусство не исчезнет, но с гибелью чело-

вещества перестанет существовать самое явление искусства, даже если все шедевры сохранятся. Объективного бытия, независимого от человеческого восприятия, искусство не имеет.

Точно так же мне кажутся бесплодными всякие попытки использовать машину для «объективной» оценки художественных произведений. В отличие от природы в искусстве нет ничего безусловного, всякое искусство построено на системе условностей, условия же заключаются между людьми. Машина может дать убедительную статистическую картину восприятия различными категориями людей тех или иных произведений, проанализировать существующие тенденции и даже предсказать их возможную эволюцию, но судьей быть не может. В спорте — может. И то до той поры, пока к нему не применяется искусство. Вероятно, электронное устройство более точно определит скорость бегуна или результат метателя, чем судейская коллегия, но уже в соревнованиях по художественной гимнастике нам по-прежнему придется полагаться на субъективные оценки арбитров.

Основной аргумент сторонников машинного творчества формулируется примерно так: если ЭВМ способна создать произведение, которое будет восприниматься людьми как искусство, то уже несущественно, каким путем достигнут этот эффект. Аргумент серьезный. Правда, практически он почти ничем не подкреплён, кроме интересных экспериментов Р. Х. Зарипова в области музыкальной композиции. Попытки машинного стихосложения не имеют даже отдаленного отношения к предмету поэзии. Легче себе представить применение ЭВМ для создания орнамента и решения колористических задач в прикладном искусстве. Машинный перевод делает успехи, но не претендует на решение художественных задач.

Второй, не менее серьезный аргумент: наука не терпит никаких запретов, кроме наложенных самой природой. Как бы ни были мизерны достигнутые результаты, нет оснований утверждать принципиальную невозможность машинного творчества. Век электроники только начинается, и зачем заранее ставить границу способности электронного мозга к самоусовершенствованию?

Само по себе это положение неоспоримо. Не следует только забывать, что наряду с законами природы су-

ществуют законы общественного развития и, наконец, законы самого искусства.

Бесспорно и то, что природа, органическая и неорганическая, способна производить на человека эстетическое воздействие, до некоторой степени сходное с воздействием произведений искусства. Нет сомнений, что горные вершины, сталактитовые пещеры, цветы и деревья, пение соловья прекрасны, однако это не делает их произведениями искусства. Более того, способность человека получать от явлений природы эстетическое наслаждение во многом зависит от его эстетического развития. Мы применяем к явлениям природы критерии прекрасного, выработанные в нас искусством, и еще не известно, умел ли питекантроп восхищаться закатными красками или зрелищем морского прибоя, подобно современному человеку. Возможно, они вызывали у него совсем другие эмоции, например страх. Да и видел он их иначе. Исследователи Гомера утверждают, что у древних греков была другая цветовая гамма, чем у нас, они не различали многих оттенков. Восхищаясь горным пейзажем, мы не замечаем, что слово «пейзаж» здесь вторично, привнесено из арсенала искусства. Цветок красив, но он не искусство. Японский букет, составленный человеком, изучившим «икэбана», уже включает в себе элементы искусства. Пение соловья благозвучно, но оно не искусство. А «Соловей» Алябьева — искусство. Сталактитовая пещера производит чарующее впечатление, но это не архитектура. Гора Медведь и Карадаг в Крыму способны вызывать отдаленные ассоциации изобразительного характера, но они не скульптура. А скульптуры Эрзи — искусство, хотя в их основе нередко лежит случайная природная конфигурация. Замечу попутно, что материалом для произведения искусства в отдельных случаях могут служить целые «блоки», созданные без участия художника и служащие ему полуфабрикатом. Наиболее наглядно это в документальных жанрах. Документ становится искусством, пройдя через осуществляемый человеком процесс отбора и монтажа.

Всем знакомо утверждение, что человек не способен выдумать ничего, что не было бы комбинацией уже существующих в природе элементов. Это правда, но в применении к искусству только половина правды. В искусстве все решает не состав, а контекст, то есть взаимодействие. Не исключено, что машина способна созда-

вать многие элементы, необходимые для творчества, и даже целые «блоки» этих элементов, но последний отбор все равно остается за человеком. Отбор — главный элемент всякого искусства.

Искусство, так же как язык, является сложной саморегулирующейся системой, возникшей на базе общественных отношений. Так же как язык, оно немыслимо вне обратных связей с породившей его общественной средой. Сходство законов искусства с законами, движущими живыми организмами, улавливали уже древние, наиболее полное выражение это понимание нашло в гениальной мифе о Пигмалионе и Галатее. «Живой как жизнь» назвал свою замечательную книгу о русском языке покойный К. И. Чуковский. На огромном количестве примеров он показал, что слово никогда не бывает ни однозначным, ни одномерным, оно рождается, живет, эволюционирует, переосмысливается, умирает. Язык болеет и очищается, обогащается и глохнет в сложной зависимости от жизни общества, народа, среды. Характерно, что попытки догматически ограничить эволюцию языка или создать искусственный язык никогда не приводили к удовлетворительным результатам. Запретные слова приобретали со временем права гражданства, а искусственно сконструированные вытеснялись или перерабатывались. Язык эсперанто, не лишенный ряда достоинств (простота грамматических форм и т. д.), не привился и не получил всемирного распространения, как мне кажется, именно потому, что был не рожден, а сконструирован. В отличие от мертвых языков древности он никогда не был живым и полностью лишен способности к самостоятельному развитию; на его почве не произрастают ни литература, ни искусство, и, за исключением кучки приверженцев, люди предпочитают пользоваться для международных контактов хотя и более трудными, но «натуральными» языками — русским, английским, французским. На примере эсперанто легко постигнуть природу всякой имитации. Имитация живой ткани благодаря успехам науки и промышленности достигает больших высот — искусственная кожа, используемая для бытовых изделий, практически почти неотличима от натуральной, зернистую икру, созданную в Институте химии, руководимом академиком А. Н. Несмеяновым, высоко оценивают опытные дегустаторы. Разница только в том, что искусственную кожу нельзя приживить, а из химической

икры вывести осетровых мальков. Для промышленных эрзацев эта разница несущественна, для искусства же имеет решающее значение. В искусстве ценно только то, что живо. Оставаясь внешне почти неизменными, подлинные произведения искусства живут долго в силу своей способности устанавливать обратные связи с изменяющейся средой, каждое поколение читателей и зрителей воспринимает их по-своему. Имитации, даже самые совершенные, этим свойством не обладают.

Я нисколько не хочу принизить значение экспериментов, ставящих своей целью имитацию художественного творчества. Они, безусловно, имеют познавательную ценность и в конечном счете помогут людям разобраться в содержимом «черного ящика», каковым в значительной мере является творческий аппарат художника. Но во избежание путаницы, о которой писал Акимов, следует помнить, что всякая попытка обойти творческий процесс приводит к имитации. В отличие от научного мышления искусство «обобщает, не абстрагируя»; в этом кратком определении, принадлежащем А. В. Луначарскому, уже заложено утверждение, что образное мышление художника не может быть до конца формализовано. Образ индивидуален и неповторим, он не конструируется, а рождается, в нем коцентрируется опыт всего человечества, преломленный через индивидуальный опыт создателя, через особенности его характера и темперамента. Недостаточно изучена, но несомненна связь художественного творчества с сексуальной жизнью художника, общеизвестно, что с физическим угасанием угасает и творческая потенция, в то время как опыт, знания и способность к логическому мышлению сохраняются значительно дольше. Интересно также проследить связь между возрастом и жанром писателя (типична эволюция от юношеских стихов и драм к эпическим формам, а затем к эссе и мемуарам).

Жизненность любого творческого метода (а тем более методов, исключаящих или обходящих творческий процесс) может быть подтверждена только единственным способом — созданием шедевров. Только шедевры заставляют нас пересматривать свои эстетические принципы. Версификация ничего не доказывает. Значительная часть художественной продукции, создаваемой профессионалами во всех областях литературы и искусства, является такой версификацией, количество ее лавинообразно увеличивается, а техника совершенствуется.

По своей технической вооруженности современные версификаторы далеко обогнули великих мастеров прошлых веков. Поэтому на риторический вопрос Р. Х. Зарипова (см. «Кибернетика и музыка»), нужна ли «новая музыка, написанная в стиле Чайковского», я с глубоким убеждением отвечаю: «Не нужна». Конечно, для человечества было бы величайшим событием, если бы появилась новая, Седьмая симфония Чайковского, которая шагнула бы дальше Шестой, но никто, кроме самого Чайковского, не способен ее создать, а для того, чтобы версифицировать на основе хорошо известных элементов, машина не нужна, для любого профессионального музыканта версификация не представляет трудностей. Мне думается также, что Р. Х. Зарипов упрощает взаимоотношения между мелодией и гармонией, искусственно разбивая музыкальное произведение на мотив и аккомпанемент. Определение мелодии как души музыки столь же неточно, как и само понятие «души». Сыгранный одним пальцем «Журавель» не дает даже приблизительного представления о финале Второй симфонии Чайковского, а «Чижик-пыжик» — о глубине сатирического замысла Римского-Корсакова в «Золотом петушке». Общеизвестны музыкальные шутки, когда одна и та же тема разрабатывается в стиле (здесь уместно даже сказать «в духе») различных композиторов: Баха, Листа, Шостаковича. Мы узнаем их не по теме, а по тому сложному содержанию, которое никак не может быть сведено к понятию «аккомпанемент».

Эшби пишет: «Кибернетика занимается всеми формами поведения, поскольку они являются регулярными, или детерминированными, или воспроизводимыми». Эти условия далеко не полностью применимы к художественному творчеству и в особенности к «поведению» произведений искусства. Люди театра знают, как неповторимы творческие взлеты актера на сцене. В живописи между оригиналом и копией зачастую лежит пропасть.

Разделить творческий процесс на этапы, как это делает И. Б. Гутчин (см. «Кибернетические модели творчества»), вряд ли возможно. Творческий синтез не является зеркальным отражением последующего анализа, замысел художественного произведения почти никогда не обнаруживается априорно и гораздо лучше формулируется *a posteriori*. Маяковского трудно обвинить в «жречестве», в своей статье «Как делать стихи» он подчеркнуто рационалистичен (что видно даже из загла-

вия), однако, комментируя замысел своего стихотворения «Сергею Есенину», поэт признается: «Сейчас, имея стих под рукой, легко формулировать, но как трудно было его тогда начинать». Трудность, о которой говорит Маяковский, проистекает из особенностей художественного синтеза, подчиненного не четко сформулированному заданию, каковым является всякий машинный алгоритм, а «сверхзадаче». Термин этот, введенный К. С. Станиславским применительно к творчеству актера, режиссера и драматического писателя, имеет, на мой взгляд, прямое отношение ко всем родам, видам и жанрам искусства. В своем понимании сверхзадачи Станиславский исходил из неразрывности сферы мышления и эмоциональной жизни художника. Вне сверхзадачи, то есть совокупности мыслей, чувств, мечтаний, мук и радостей, проходящих красной нитью через всю жизнь творческой личности, Станиславский не мыслил искусства.

С каждым годом растет число конкретных исследований в области искусства. Театральные работники знают об экспериментах профессора П. В. Симонова в руководимой им лаборатории по изучению актерского творчества. Можно назвать и другие имена. До сих пор инициатива подобного рода исследований почти всегда исходила от ученых. Для плодотворного изучения творческого процесса необходимы встречные усилия со стороны представителей творческой практики, их активное участие в исследованиях. Для начала было бы полезным собрать и обобщить признания и догадки деятелей литературы и искусства. Работа эта почти не ведется: к примеру, интереснейшая анкета журнала «Вопросы литературы» «Как мы пишем» так и осталась необработанной; опубликована лишь небольшая часть материалов Института мозга, также проводившего анкетирование творческих работников. Между тем наука много раз подтверждала необоснованные догадки художников. Образ зачастую предшествует логической мысли. Подсознание и интуиция, хотя не могут быть четко отделены от сознательной жизни человека, все же представляют собой наименее исследованную область. Под интуицией я понимаю неосознанный опыт, приобретенный человеком на ранних стадиях развития, а может быть, и заложенный частично в генах. Известно, что при форсированных ситуациях (опасность, вдохновение) интуиция обостряется и позволяет принимать мгновен-

ные решения, минуя ряд этапов, как раз тех, которые наиболее удаются ЭВМ. Интуитивные решения основаны скорее на аналогиях, чем на расчете. Заслуживает изучения физиологическая и даже клиническая сторона художественного творчества. В 20-х годах в Ленинграде издавался «Клинический архив гениальности и одаренности» (эвропатологии). Нет нужды разделять заблуждения европатологической школы для того, чтобы заинтересоваться огромным материалом, собранным в архиве. Опыт говорит нам, что патологические отклонения от нормы во многих случаях помогают познать существующие закономерности.

Наступило время, когда художник уже не может обходиться без хотя бы элементарного представления о точных науках, а ученым, желающим применять точные методы в исследованиях культуры и искусства, необходимо ближе подойти к творческой практике художника. Не обходить творческий процесс, а изучать во всей его сложности — вот задача дня. Поверхностное представление о законах искусства и законах восприятия непременно приводит к одной из крайностей, в равной мере далеких от реализма, — абстракционизму или вульгарно-материалистическому, мещанскому догматизму, рассматривающему художника как машину для конструирования заданных моделей.

Заметки о языке сценического произведения

Начну с необходимого терминологического уточнения. Мы привычно говорим: язык Леонида Леонова, язык Михаила Светлова, язык Всеволода Иванова, язык Пановой из «Любови Яровой», язык Вершинина из «Бронепоезда 14-69». В литературном обиходе такое словоупотребление вполне законно, если при этом не забывать, что названные драматурги пишут, а их персонажи говорят не на разных языках, а на общем для всех литературном русском языке. Если же мы хотим быть точными, то применительно к писателю лучше пользоваться понятиями «слог», «стиль», а к персонажу — «речевой склад».

Чаще всего мы пользуемся термином «стиль» в применении к художественной прозе. Вероятно, это объясняется тем, что элементы стиля легче всего поддаются анализу в прямой авторской речи. Нет нужды доказывать, что драматург так же, как и прозаик, обладает своим стилем и что стилистическое своеобразие драмы познается не только по развернутым авторским ремаркам, но и по речам персонажей. Речевой склад персонажа и стиль автора связаны и находятся в сложном взаимодействии. Реплика — не цитата, а результат авторского отбора и переплавки, результат творческого акта. Не существует речи действующего лица, не преломленной через стиль автора.

Великолепно сказано у Маркса:
«...Истина всеобща, она не принадлежит мне одному, она принадлежит всем, она владеет мною, а не я ею. Мое достоинство это форма, она моя духовная индивидуальность. «Стиль — это человек»¹.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.1. М., Госполитиздат, 1955, с. 6.

Стиль Н. С. Лескова отличается от стиля его современника И. А. Гончарова многими чертами. Пожалуй, наиболее разительно это различие именно в косвенной речи. Лескову в высшей степени свойственно любованье бытовой характерностью речи, в его отношении к слову есть что-то от страсти коллекционера. Виртуозно владея своей богатой палитрой, он накладывает речевые краски густыми, концентрированными мазками. Его метод отбора временами граничит со стилизацией. Достоевский называл это «писать эссенциями». Речь персонажей Гончарова также характерна, но метод «эссенций» ему чужд.

Второй пример. Над сценическим воплощением образа В. И. Ленина трудились многие советские драматурги. Речевой склад Ленина, его яркая, неповторимая индивидуальная манера запечатлены в стенограммах, на граммофонных пластинках, в памяти его современников. Естественно, что драматург в своей работе над образом вождя стремится быть как можно ближе к натуре, максимально использовать имеющиеся в нашем распоряжении исторические материалы, проявить особую бережность при воспроизведении характерных черт ленинской лексики. Однако нетрудно убедиться, что речевой склад Ленина в интерпретации Н. Погодина существенно отличается от интерпретации, данной А. Корнейчуком или Вс. Вишневским. Речевой склад оказывается преломленным сквозь призму жанра произведения и стиля автора.

Основа языка сценического произведения — устная разговорная речь. Упрек в книжности языка наиболее чувствителен для драматурга. Даже в стихотворной пьесе диалог строится по законам устной речи. Величественные и ясные белые стихи пушкинского «Бориса Годунова» пронизаны интонациями разговорной речи. А гениальные речитативы Мусоргского делают эти интонации еще более рельефными. Упругий ритм разговорной речи несет в себе искрометный, пересыпанный афоризмами стихотворный диалог Грибоедова, сочная народная устная речь слышится в ямбах стихотворных драм А. Н. Островского.

В советской литературе виртуозно владел разговорным стихом Владимир Маяковский. Заслуживает изучения опыт В. Гусева, А. Безыменского, И. Сельвинского, Вл. Соловьева, Л. Первомайского, С. Вургуна.

Во все времена люди писали иначе, чем говорили. В особенности велика разница между устной и письменной речью в эпохи, когда письменность была мало распространена в народе, а являлась достоянием правящих классов. История знает немало примеров, когда народ говорил и творил (устно) на одном языке, вся же письменность, будь то литература или делопроизводство, была в точном смысле слова на другом языке. Так было, например, в Азербайджане.

Дьяки Преображенского приказа писали по-русски, но народ говорил по-русски иначе и не понимал языка петровских указов.

Интереснейший документ русской письменности — воззвания Пугачева. Авторы этих воззваний в своем стремлении быть понятыми массами решительно отошли от официальной письменности своего времени. Однако и язык этих воззваний нельзя отождествлять с разговорной речью. Самая сложная лингвистическая проблема, стоящая перед историческим писателем, — создание своей версии устной речи. Фонограф — изобретение сравнительно недавнее. До его появления человечество не умело фиксировать устную речь иначе, как письменно. При этом устная речь подвергается существенной деформации. Прозаик или драматург, который заставил бы разговаривать своих героев, живущих, скажем, в XVIII веке, языком дошедших до нас документов, неизбежно допустил бы ряд грубейших ошибок, перегрузив живую речь архаизмами, специфическими оборотами, характерными для эпистолярного стиля или канцелярской формы того времени, но совершенно чуждыми народной речи. С этой точки зрения весьма поучителен опыт А. Н. Толстого, который в работе над романом и пьесой «Петр Первый» смело создал свою версию разговорной речи петровского времени, очищенную от архаизмов и максимально приближенную к современному языку, однако без нарочитой модернизации. Эта работа, потребовавшая от писателя познаний лингвиста в соединении с интуицией художника, имела, несомненно, реформаторское значение.

Однако и в наше время, когда у культурных народов письменность получила широкое распространение, люди пишут иначе, чем говорят. «Ножницы» между устным и печатным словом сократились, но не сомкнулись. Пишущий, в отличие от говорящего, лишен непосредственного общения со своей аудиторией, лишен возмож-

ности пояснять свою речь жестом, мимикой, окрашивать ее тембром и интонацией, контролировать себя, наблюдая за собеседником, и мгновенно реагировать на его поведение. Он вынужден тщательно формулировать свою мысль, длительно обдумывать и оттачивать ее для того, чтобы быть наверняка понятым своими невидимыми собеседниками. Говорящий, как правило, лишен этой возможности, активность собеседника вынуждает его к импровизации, в увлечении он нередко обнаруживает себя более, чем предполагал, «проговаривается». «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», «Что написано пером — не вырубишь топором» — в этих пословицах великолепно отражено и сходство и различие между устной и письменной речью.

Анализируя различные промежуточные формы — телефонный разговор (двустороннее общение с невидимым собеседником), публичную лекцию (подготовленная речь в непосредственном общении с аудиторией), — можно сделать ряд полезных наблюдений. Выясняется, что телефонный разговор заметно уступает в экспрессии разговору с глазу на глаз, и поэтому люди никогда без особой крайности не объясняются в любви по телефону; что лектор, не отрывающий глаз от своих записок и бубнящий слово в слово заранее написанный текст, обычно не пользуется любовью студентов; что оратор, выступающий в прениях с напечатанной на машинке речью, редко потрясает аудиторию и частенько вызывает сомнение в своей искренности, в то время как выступающий вслед за ним без шпаргалки оратор подолгу ищет нужное слово, спотыкается, проглатывает целые периоды — и покоряет. Опытный оратор знает, что одну и ту же тему надо развивать по-разному не только в зависимости от состава аудитории, но и от ее численности: в большом зале надо говорить иначе, чем в кабинете или красном уголке. У агитации и пропаганды — разный синтаксис. Маяковский, выступая с чтением стихов в различных аудиториях, иногда изменял отдельные стихотворные строчки.

Несколько лет назад на семинаре по драматургии Литературного института имени Горького был курьезный случай. Один ныне успешно работающий литератор, будучи студентом первого курса, читал на занятии семинара пьесу. В пьесе был эпизод, где только что извлеченный из кабины подбитого самолета летчик про-

износил очень гладкую речь с длинными периодами, украшенную троекратными повторами и прочими риторическими красотами. Руководитель и студенты усомнились в естественности сцены, но автор упорствовал. Тогда был сделан несколько необычный эксперимент: товарищи привели автора в положение максимально приближенное к тому, в котором находился его герой, и заставили читать монолог. И выяснилось любопытное обстоятельство — автор, очень бойко читавший монолог стоя на кафедре и по-ораторски орудуя правой рукой, будучи приведен в горизонтальное положение и лишенный возможности размахивать руками, сразу же стал спотыкаться на каждом слове и быстро признал себя побежденным. Переписывая сцену, он старался яснее представить себе конкретные обстоятельства, в которых говорит его герой.

А. Н. Островский писал: «Отчего легко учить мои роли? В них нет противоречия склада с тоном: когда пишу, сам произношу вслух».

Произносить вслух написанное полезно еще и потому, что таким образом легче проследить за звучанием фразы. В каждом языке, как бы красив и благозвучен он ни был, есть свои невыгодные в фонетическом отношении словосочетания. На русской сцене надо избегать шипения и жужжания, случайных аллитераций и в особенности артикуляционной вязкости. В одной пьесе я нашел фразу: «А поступок, приписываемый ему, — осудить». Произнеси это «емыйему», не вывихнув при этом челюсти, — задача нелегкая. Впрочем, драматург был не виноват, у него было написано проще и лучше: «А поступок его — осудить». Подвел редактор, которому нужно было перестраховаться. Ну а в таких случаях — не до фонетики.

Драма знает различные формы устной речи: и монолог в строгом смысле слова (разговор с самим собой), как «Быть или не быть» в «Гамлете», и монолог-речь (например, речь Отелло в сенате, речи Брута и Марка Антония на форуме после убийства Юлия Цезаря), и диалог, и сложный речевой контрапункт массовых сцен.

Если монолог нередко вершина, то диалог — основа драматического произведения. Искусство сценической речи — это прежде всего искусство ведения диалога. Именно в диалоге полнее всего сочетаются гибкость и естественность разговорной речи с точностью и отобран-

ностью речи литературной. Пушкинская формула «краткость и точность — суть лучшие достоинства прозы» полностью относится к искусству диалога. Краткость и точность придают сценической речи афористическую отточенность и смысловую емкость. Но об этом позже.

Заслуживает специального изучения пунктуация, применяемая Горьким при воспроизведении устной речи. Необыкновенно чуткий к живому слову, говоривший в жизни удивительно просто, веско и скульптурно, Алексей Максимович стремился закрепить это своеобразие в синтаксисе. На первый взгляд может показаться, что Горький злоупотреблял знаком «тире» внутри предложения, однако при внимательном рассмотрении легко установить, что писатель сознательно расширял сферу применения этого знака. И до Горького тире применялось для обозначения выпавшего члена предложения, а также для интонационного закрепления точной смысловой связи между словами. Однако в горьковских диалогах знак «тире» приобретает особое значение, как след выпавшего, сэкономленного в непосредственном общении слова, отсутствие которого возмещается интонацией, жестом, мимикой.

Раскроем «Егора Булычова». На первой странице, в первой же реплике Шуры находим тире.

«Ш у р а. Не шипите, не поможет. Глаша — кофе! А где газета?»

С точки зрения корректора, наличие тире между двумя существительными «Глаша» и «кофе» в данном случае ничем не оправдано. Гораздо привычнее для глаза был бы этот знак в предыдущей фразе: «не шипите — не поможет».

Но рассмотрим реплику не корректорскими, а режиссерскими глазами, и постараемся через пунктуацию проникнуть в замысел драматурга.

Отсутствие тире в первой фразе, адресованной матроне, подчеркивает ее небрежный, проходной характер. Шура вступает с Ксенией в спор, не делает заявления, не высказывает новой мысли. Она привычно отмахивается, вероятно, даже не удостоив взглядом надоевшую ей старуху. Зато в следующей фразе тире необходимо. Оно заменяет слова «подай мне», выпавшие потому, что Глафира находится рядом и отлично знает свои обязанности, потому что слово «Глаша» и «кофе» лучше всяких промежуточных слов связывает повелительная интонация, смягченная дружелюбной улыбкой,

наконец, жест, укладывающийся в крохотную паузу, образовавшуюся на месте выпавшего слова.

Пойдем дальше. В вопросе Ксении: «Черти-то — Звонцовы?» тире стоит на месте выпавшего слова «кто». Затем Шура звонит по телефону Антонине и называет ее «незаконной вдовой».

«К с е н и я. Как же это ты девушку-то вдовой зовешь?»

Ш у р а. Жених у нее помер или нет?

К с е н и я. Все-таки она — девушка.

Ш у р а. А вы почему знаете?

К с е н и я. Фу, бесстыдница!»

Очень выразительна обозначенная знаком тире паузочка между словами «она» и «девушка». Здесь угадывается тугое раздумье глупой женщины, пытающейся сохранить свое достоинство старшей в разговоре с умной и дерзкой Шурой. Нет, ты меня не собьешь, — говорит это тире, — не глупей тебя, матушка. Кабы мужа убили — вдова, а раз жениха — девушка. Ксения определяет, уточняет термин. Шура коварнейшим образом не замечает этого многозначительного тире. И фраза Ксении сразу приобретает другой смысл, как будто речь шла не об общественном положении Антонины, а о ее физической девственности.

Несколько дальше, в диалоге между Шурой и Варварой, мы встречаемся с тем же полемическим приемом, основанным на переосмыслении слова.

«Что тебе — мыла жалко?» — вызывающе спрашивает Шура. «Мне тебя жалко — тебя», — парирует Варвара. Пауза перед «тебя» делает это слово ударным. Вместо того, чтобы сказать всеми словами: «мне жалко, да только не мыла, а тебя», — Варвара в паузе перед «тебя» меряет сестру холодным взглядом, и становится ясно: Варвара не жалеет Шуру, жалость в данном случае только форма осуждения.

Стало уже азбучной истиной, что основой всякого драматического произведения является действие. Актер выходит на сцену исключительно для того, чтобы действовать. Действие — фундамент, на котором зиждится сценическая иллюзия. Спектакль подобен сердечнику электромагнита, сохраняющему свои магнитные свойства, пока по виткам обмотки пробегает электрический ток.

Наибольшее количество сценических действий производится при помощи слов. Слово на сцене всегда в

той или иной мере поступок. Интересно проследить, как эволюционировал в этом отношении театр. Если в старинном театре действенному развитию конфликта зачастую предшествовала бездейственная экспозиция, где слово использовалось для того, чтоб *сообщить* зрителям исходные обстоятельства и предварительные характеристики, необходимые для понимания дальнейших событий, то в современной драме экспозиция осуществляется более действенными путями, приводящими к гораздо более убедительным результатам. Отошли в прошлое слуги, рассказывающие друг другу в первом явлении о своих хозяевах, вестники, являвшиеся на сцену для подробных рассказов о происходящем за сценой, исчезли «апарта» (реплики «в сторону»), представляющие собой своеобразную форму авторского комментария к действиям персонажа. Современный драматург не нуждается в этой форме, связанной с нарушением непрерывности действия в ущерб сценической иллюзии, ему ведомы более действенные пути для решения той же задачи. Слово у Чехова действеннее, чем у Корнеля. Его сценические приемы прошли сложную эволюцию от юношеской «Безотцовщины», через традиционного в некоторых чертах «Иванова», к новаторскому эксперименту «Чайки» и зрелой, отточенной манере «Вишневого сада». В рассказе «Драма» Чехов едко пародирует архаические, с его точки зрения, приемы сценической экспозиции.

На первый взгляд может показаться, что большой монолог Ольги, которым начинается пьеса «Три сестры», лишен действенности и выполняет чисто экспозиционную задачу. В самом деле, Ольга говорит с младшими сестрами о прошлом семьи Прозоровых, она не сообщает ни одного факта, который не был бы известен Маше и Ирине так же хорошо, как ей самой. Но это только на первый взгляд. Вспомним, что разговор происходит в день именин Ирины, проанализируем его с точки зрения сквозного действия, и мы убедимся, что сестры не бесцельно предаются воспоминаниям, не *рассказывают* о прошлом, а *переоценивают* его. А переоценка есть действие, поступок, причем труднейший. В человеке, переоценившем свое прошлое, неизбежно происходят изменения, иногда очень значительные. Для одних переоценка означает второе рождение, для других — катастрофу. Трагедия Лира — это трагедия переоценки. Всякий сильный характер обладает большой

инерцией, нужны значительные силы для ее преодоления. Пьесы, в которых существенные переоценки происходят с легкостью, — чаще всего плохие пьесы. Для легкости может быть только два объяснения — ничтожность героя или лживость автора.

Переоценка ценностей, происходящая в экспозиции «Трех сестер», не только определяет сюжетное развитие, но и дает ключ к раскрытию идейного содержания драмы. Драма сестер в том, что они уже не могут быть такими, какими их воспитал отец, но еще не могут вырваться из плена, в котором их держит происхождение и воспитание.

Мы привыкли различать две основные функции слова в драме — слово как действие и как способ характеристики. При этом нельзя забывать, что практически эти функции неразделимы, больше того — действие само по себе есть способ характеристики персонажа, причем наиболее доказательный. Хорошая сценическая реплика всегда и действительна, и характерна. Она двигает события вперед и одновременно позволяет проникнуть в глубь характера, познать человека, ибо речь лучше всякой анкеты выдает человеческую сущность.

В пьесе А. Файко «Человек с портфелем» приспособленец и карьерист Гранатов несколькими точно рассчитанными словами убивает своего учителя профессора Андросова. Злой язык оказывается страшнее пистолета — больной, старый человек, потрясенный неблагодарностью и предательством своего любимого ученика, умирает от разрыва сердца.

У Шекспира герцог Глостер, будущий король Ричард III, уговаривает леди Анну, идущую за гробом убитого мужа, полюбить его — урода, убийцу. И мы этому верим. Такова сила слова.

Анализируя текст пьесы, мы вскрываем характер при помощи действия и действие при помощи характера. Характер непостижим вне поступков. Поступок непостижим вне мотивов и их нравственной оценки. Без убийства Дездемоны нет Отелло, однако поступок не исчерпывает образа. «Отелло от природы не ревнив — напротив: он доверчив», — для того, чтоб родилось это поразительное по краткости и точности пушкинское определение, необходимо было глубокое проникновение в контекст трагедии — бытовой, исторический, социальный.

Точно так же смысл и вес каждого слова постижимы

только в контексте. Слова не имеют абсолютного, раз навсегда данного значения, они рождаются, живут и изменяются. Еще чаще оставаясь внешне неизменными, они изменяют свое значение, сфера их применения может раширяться и сужаться, слова приобретают и теряют гражданство, наконец, стареют и умирают. Интересно проследить жизнь слова «комиссар». Оно пришло в русский язык с французского и получило некоторое распространение после Отечественной войны 1812 года. Первоначальное его значение очень скромно — приказчик, смотритель по хозяйственной части. Затем оно проникло в военную терминологию, комиссарами стали называть лиц, выполнявших интендантские функции. Октябрьская революция сделала слово «комиссар» все-народным. Оно вызывает прежде всего представление о политическом деятеле, человеке, облеченном доверием партии и выполняющем ее задания. В «Любови Яровой» К. Тренева происходит очень краткий и многозначительный обмен репликами между Швандей и разыскивающей своих пропавших сыновей крестьянкой Марьей:

«Ш в а н д я. Тебе, гражданочка, кого?

М а р ь я. А родимец вас знает кого, может, тебя. Чай, комиссар?

Ш в а н д я. Не, не уполъне.

М а р ь я. А рожа в самый раз».

Никаких ремарок. Не нужно обладать пылким воображением, чтоб увидеть, как застенчиво улыбнулся, чуть ли не зарделся, суровый боец революции матрос Швандя. Он не слышит в вопросе Марьи никакого подвоха. Наоборот, он польщен. «Комиссар» для него — святое слово. Добросовестность мешает ему принять незаслуженную честь. Однако и отказываться Шванде неохота, как-никак он правая рука комиссара Кошкина. Так рождается компромиссное: «Не, не уполъне».

Но для Марьи «комиссар» отнюдь не святое слово. Темную, неграмотную крестьянку этим словом запугивали. Она полна недоверия. Половинчатый ответ Шванди она трактует по-своему: «Не вполне, говоришь? Ой ли?» — размышляет она про себя, хмуро рассматривая улыбающееся лицо Шванди: «А рожа в самый раз».

Я предвижу возражения. Могут сказать, что мое толкование произвольно. В тексте этого нет. А подтекст, как известно, может быть разный, каждый актер при-

вносит в спектакль свой подтекст, иногда такой, о котором драматург и не подозревал.

Эти возражения основаны на привычном заблуждении. Подтекст не есть нечто лежащее вне ткани драматургического произведения, наоборот, он ее основа. Он рождается одновременно с текстом и связан с ним неразрывно. Реплика вне подтекста — только оболочка мысли, а не сама мысль. Лишь подтекст придает реплике точный смысл. Оттачивая реплику, автор всегда рассчитывает на определенный подтекст, который должен стать понятным из контекста и в некоторой степени предопределить интонацию. Ошибочно думать, что интонация никак не зафиксирована в тексте и целиком зависит от произвола актера. Простейшая расстановка смысловых акцентов закрепляется в тексте при помощи пунктуации. Знаки препинания в элементарной форме обозначают те самые повышения и понижения голоса, убыстрения и замедления, из которых строится интонация. Конструкция фразы, порядок слов в предложении помогают найти ударное слово. Могучим выразительным средством в руках драматурга является также ритм. Своим ритмом обладает как речь отдельного персонажа, так и диалог, сцена в целом. Каждая сцена имеет свои «знаки препинания». Особенно важно уметь поставить точку. Но это — отдельная тема.

Я не склонен недооценивать исполнительское мастерство. В актерском творчестве, как и во всяком другом, свобода сочетается с ограничением. Вскрыть заложенный автором подтекст — это значит прежде всего верно оценить всю сумму обстоятельств, в которых действует персонаж. Всякая оценка в той или иной степени субъективна, для нее существуют критерии, но нет измерительной аппаратуры. Актер волен обогатить подтекст тысячью тонкостей, иногда, действительно, неожиданных для автора, но связан логикой обстоятельств и идейным замыслом. Кстати сказать, на сцене радуется и впечатляет только такая неожиданность, которая логически подготовлена всеми предшествующими событиями. Зритель скучает, когда знает наперед каждый ход автора и каждый шаг актера. Он сердится, когда неожиданность поведения героя обусловлена только авторским или актерским произволом. И расцветает, сталкиваясь с неожиданностью, органически вытекающей из известных ему характеров и обстоятельств, — «Как это верно!» — «Ну, конечно же так, только так!» — шепчет он, кивая

головой, хотя еще минуту назад не знал и не догадывался.

В ролях Шванди и Марьи выступали десятки превосходных актеров. Несомненно, они по-разному играли эти роли, в частности приведенный выше маленький диалог. Но трудно предположить, чтобы кто-нибудь из них миновал заложенный драматургом ключевой подтекст, ибо именно в разнице отношения персонажей к комиссарскому званию смысл и юмор куска.

Микроскопический кусок, но даже в нем есть огромный материал для наблюдений и выводов. Ясная действительная основа в данном случае — распознавание. Обе стороны стремятся понять, с кем имеют дело. В то же время каждое слово так или иначе характеризует участников диалога.

Обращение на «ты» к незнакомому человеку может быть барственным. В соединении с ласковым «гражданичка» оно свидетельствует о простоте, веселости, общительности. Отметим, что Марья тоже говорит Шванде «ты». Хоть он и не мужик, а матрос и даже, может быть, «комиссар», но сразу видно — не барин. Деревенское происхождение Марьи, ее политическая слепота и безграмотность, ворчливый характер замученной тяжелой безрадостной жизнью женщины — все это явственно проступает сквозь немногие короткие реплики.

Кстати, о слове «родимец». Слово это малоупотребительно в литературном языке, и в городской аудитории известно далеко не всем. Однако в данном контексте оно совершенно понятно как бранное. Родимец — паралич, корча. По свидетельству В. И. Даля, в некоторых областях, действительно, является бранным словом. Нет ничего удивительного в обороте «родимец вас знает», это очень характерный для деревенской речи антропоморфизм, оставшийся в языке след языческих воззрений на силы природы. До сих пор можно слышать: «пострел тебя возьми». Если пострел может взять, родимец может знать. Кстати, пострел и родимец — синонимы. В устах Марьи это слово не только оправдано, но и очень выразительно.

Драматург совершенно законно применяет здесь слово «может» в смысле «может быть». Как ни сопротивляются некоторые строгие редакторы, эта усеченная форма завоевала права гражданства не только в просторечии, но и вообще в разговорной речи. «Может, выпьешь чаю?» — так может сказать и интел-

лигент. А для Марьи «может быть» было бы слишком книжно.

В реплике «не, не уполне» драматург дает фонетическую транскрипцию слов «нет, не вполне» в произношении Шванди. Писатель вправе подсказать актеру некоторые особенности произношения, присущие той или иной среде. Север и юг, город и деревня имеют свои фонетические различия. На сцене ими не надо злоупотреблять, но обходить тоже нельзя — дистиллированная вода так же непригодна для питья, как и загрязненная. Когда Вишневский в «Оптимистической трагедии» дал фонетическую транскрипцию речи главаря пополнения анархистов, некоторые критики упрекали его в нарочитом коверкании языка, — и неосновательно. Конечно, всякая буквенная запись звуков человеческой речи груба и приблизительна. Непривычная для глаза, идущая вразрез с общепринятым написанием транскрипция при тактичном воспроизведении на сцене обычно воспринимается как нечто вполне естественное. У актера, играющего Швандю, «у» не будет выпирать, так как слог неударный и «у» звучит здесь как английское «дабль ю», «w». Мягкий знак обязывает к мягкому «л», однако степень смягчения предоставляется усмотрению исполнителя. Тренинская транскрипция отражает не только особенности говора матроса-черноморца, но и улыбчивую манеру самого Шванди.

В наших возможностях остановить течение диалога, разъять его на составные части и проверить циркулем анализ. Зритель проделывает эту работу лишь частично. Он ловит слово на лету, его удел — впечатление. Впечатление и анализ составляют единство и взаимно проверяют друг друга.

«Словам должно быть тесно, мыслям — просторно». К драме это относится более, чем к какому-либо другому роду литературы. Сценическое время летит быстро, поэтому проблема емкости приобретает для драматурга особую значимость. В три-четыре печатных листа театральной пьесы писатель должен вместить образный мир, который, будучи воплощен в повести или романе, потребовал бы гораздо большего объема. Вспомните чеховский «Вишневый сад»: при внешне неторопливом развитии событий, какой густонаселенный мир, какая насыщенность деталями, какая галерея персонажей! Многие из них не появляются на сцене, но Раневская не была бы Раневской без погибшего сына Гриши и

«этого дикого человека» в Ментоне. Описанным в пьесе событиям предшествует огромная предыстория, и это необходимо, ибо настоящее Раневских и Гаевых непостижимо вне широкой картины прошлого.

Как достигается емкость? Прежде всего сведением к минимуму так называемых «соединительных тканей». Термин этот взят из хирургии, и сейчас уже трудно установить, кто впервые применил его к литературе. Во всяком случае, его хорошо понимают драматурги, а недавно я обнаружил его в интересной статье В. Инбер применительно к прозе и поэзии. Соединительной тканью в тексте пьесы называются реплики, выполняющие исключительно служебные функции, обычно не более одной. Хорошая реплика выполняет одновременно много задач, она связана со всей тканью пьесы системой мелких кровеносных сосудов — вырви ее, и потечет кровь. Она взаимодействует и вступает в сложные соединения с другими репликами, порождая практически неисчислимое богатство подтекста и жизненных ассоциаций. Плохая реплика подобна клавишу пишущей машинки — как его ни нажимай, всегда будет один и тот же знак, хорошая — клавишу рояля и, прежде всего, своей способностью вступать в гармонические сочетания. Впрочем, все эти аналогии очень субъективны, так к ним и надо относиться. Точнее же — емкость находится в прямой зависимости от экономии выразительных средств и умения драматурга пользоваться контекстом.

В этой связи уместно сказать несколько слов об афоризмах. Афоризм далеко не всегда является наиболее емкой формой сценической реплики, как это может показаться на первый взгляд. Афоризм — это наиболее экономное, наиболее отобранное и законченное выражение какой-нибудь одной мысли. Одной — это существенно. Отточенность и завершенность делают афористическую реплику выразительной, но нередко за счет характерности. В афоризме мысль как бы несколько абстрагируется от высказавшего ее человека и приобретает самостоятельное бытие. Наиболее отчетливо это видно на пословицах. Пословица — это афоризм, родившийся в народе и отшлифованный поколениями. Сказанная к месту хорошая пословица очень украшает речь, но редко дает большой материал для характеристики персонажа. Она — общее достояние. В какой-то мере это относится и к афоризмам, имеющим автора. «Одни родились, чтобы наслаждаться, другие — чтобы

ненавидеть», — говорит Любовь Яровая. Афоризм хорош, уместен в устах Яровой, верно характеризует ее настроение. Но для портрета героини он дает только одну черту, хотя и очень важную. Нельзя сказать, что эта фраза может принадлежать только Любви Яровой — молодой учительнице, участнице гражданской войны. Ее мог сказать и Сатин.

Афоризм по самой своей природе не богат подтекстом. Мысль в нем обнажена и выведена на поверхность. Это образно выраженная формула.

Все это говорится не для того, чтобы опорочить афористическую манеру письма. Но мне думается, что некоторые молодые драматурги склонны злоупотреблять афоризмами. Это создает психологические натяжки, ведет к вычурности и щегольству.

Применительно к комедийному диалогу то же самое хочется сказать об остроте. Сценическая острота близка к афоризму. Не говоря уже о том, что острота нередко бывает облечена в афористическую форму, их сближают многие сильные и слабые стороны. Удачная свежая острота обладает большой силой воздействия, однако как средство характеристики образа она зачастую уступает самой незамысловатой реплике, комизм которой познается в контексте. К тому же остроты стареют; даже очень хорошая острота, если она широко известна, выглядит чем-то вставным, а иногда и банальным. Остроты-парадоксы из великосветских пьес Уайльда когда-то производили ошеломляющее впечатление. Теперь их механизм изучен, и они уже не поражают. Комизм персонажей, острящих неудачно, конечно, с ведома автора, иногда обладает большей стойкостью. Неудачная острота характеризует героя, удачная — не всегда. Шекспировский сэр Эндрью Эгьючийк бессмертен. Русская классическая комедия никогда не строилась на остротах. Блестящие афоризмы Грибоедова нельзя отнести к категории острот, это нечто большее... Гоголевские персонажи никогда не острят, они оттого и смешны, что уморительно серьезны. Мы с улыбкой вспоминаем треновскую фразу «Пустите Дуньку в Европу»¹, она стала ходячей. На театре она вызывает хохот и аплодисменты. Однако это не острота. Смешна Дунька, остроумен, хотя и не острит, профессор Горностаев. Мы

¹ Фраза Л. Славина из его пьесы «Интервенция». (Примеч. И. Желваковой.)

способны оценить и то и другое, ибо драматургом созданы живые типические образы.

Общеизвестно, что писатель должен быть знатоком и ценителем слова. Сложность положения театрального писателя заключается в том, что, с одной стороны, он более, чем какой-либо другой писатель, несет ответственность за чистоту языка, а с другой стороны, именно в драме, где почти отсутствует прямая авторская речь, мы сталкиваемся с наиболее пестрой лексикой. Автор может быть изящнейшим стилистом, но мир его персонажей, происходящих из самых разных слоев общества, обычно представляет собой весьма разношерстную в лексическом отношении толпу. Просторечные слова, провинциализмы, вульгаризмы и прочие «измы» встречаются на каждом шагу, и нельзя, не погрешив против жизненной правды, попросту игнорировать их существование. Как же быть?

Мне думается, что ответ может быть только один: никаких догм, никаких рецептов. Ответственность создает для писателя не только обязанности, но и права. Он сам должен судить о том, что хорошо и что дурно. Кроме площадной брани, нет запретных слов и оборотов,— весь вопрос в том, как, где, в какой мере, для какой цели, с каким авторским отношением применяется то или иное слово, оборот, предложение.

Несколько примеров.

Полина Бардина («Враги» М. Горького) говорит: «Он делает впечатление порядочного человека». Горький сознательно допускает этот нерусский оборот для того, чтоб показать оторванность помещицы Бардиной от народа. «Делать впечатление» это дословный перевод французского «faire l'impression». Полина думает о русских людях по-французски. Какая злая ирония!

Маленький Гога Гранатов («Человек с портфелем» А. Файко) пересыпает свою речь быстрым полувопросительным «знаете». Происхождение этого «знаете» тоже французское: «savez-vous?» Но это не противно, а трогательно. «Француз ты мой бедный»,— говорит взволнованная Зина Башкирова. И вместе с ней зритель сочувствует насильно оторванному от родной почвы мальчику.

Язык, на котором изъясняется Дунька («Любовь Яровая» К. Тренева), чудовищен, насыщен вульгаризмами. Но именно в чудовищности языка и заложено противоядие. Дунька отвратительна и смешна, а вместе

с ней отвратительным и смешным выглядит ее убогий жаргон. Высмеивая ее, драматург не засоряет, а наоборот, очищает язык.

То же самое можно сказать о языковых штампах. К сожалению, они очень распространены. Готовые формулы из газет, официальных бумаг, торговых объявлений проникают в обиходную речь и портят ее. Беда, если ухо драматурга притерпелось к этой словесной мертвечине. Писатель не имеет права переносить штампы в речь своих персонажей без своего отношения. Иногда незначительного сгущения или контраста бывает достаточно, чтобы поставить верный акцент. Штамп может быть средством речевой характеристики. Когда мелкий жулик Паниковский («Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова) злобно кричит Балаганову: «Имейте в виду, манишки я вам никогда не прощу. Теперь таких манишек нет в продаже», — мы понимаем, что этот оборот он почерпнул из витринных и газетных объявлений, которые кажутся ему образцом изящной словесности. Вероятно, он сказал бы: «я приобрел билет», «я посетил цирк», чего никогда не позволили бы себе авторы. Интеллигентные люди говорят менее пышно: «я купил билет», «я был в цирке».

В «Горячем сердце» А. Н. Островского есть блистательная сцена прихода Градобоева к Курослеповым. Все три собеседника люди дикие, пошлые и глубоко невежественные, однако диалог доставляет нам высокое наслаждение. Поражает не только сочность, характерность комизма, но и сила, скульптурность. Смеешься и в то же время любишься. Бедная понятиями речь этих людей тем не менее отличается удивительной образностью.

В том же «Горячем сердце» дочь Курослеповых Параша в момент большого душевного волнения говорит сильно и поэтически, ее речь напоминает песню. Заговори она так в первом акте — это было бы неправдой.

Горький в пьесе «На дне» изображает жителей ночлежного дома, воров, проституток, базарных торгов. Где, как не в ночлежке, раздолье для блатной речи, грубой ругани, пьяных пошлостей? Горький не лакирует своих ночлежников, не приглаживает их речь. Однако в этой пьесе люди говорят умно, смело и красиво, так, как и не снилось сытым и образованным людям из породы «дачников» и «варваров».

О чем говорят все эти примеры?

Прежде всего о том, какую огромную роль играет контекст. Слово не существует изолированно от обстоятельств, в которых оно произносится. Драматургу недостаточно иметь богатый словарь и понимать значение слов. Он должен обладать большой чуткостью к оттенкам словоупотребления.

В последнем акте «Чайки» Тригорин говорит Треплеву: «...Вы уже забыли старое и перестали гневаться». Очень точно выбрано слово «гневаться». В нем есть ощущение дистанции, несколько преувеличенная почтительность, за которой если и кроется ирония, то почти неуловимая. Слово точно выбрано применительно к данной среде, данной ситуации, данной эпохе. Вспомним «Горе от ума»: «В карете барыня и гневаться изволят». Тут нет и тени иронии, барыня, конечно, может только гневаться. Но в разговоре между двумя советскими хозяйственниками или студентами это же слово приобретает оттенок шутки или издевки.

Мы употребляем слово «исключительный» чаще всего как синоним редкого, необычного, особого. На востоке, например в Баку, часто пользуются этим словом для обозначения превосходной степени вообще. Исключительный человек — значит, очень хороший. Здесь нет ошибки, но есть нюанс, по которому можно узнать бакинца. Таких оттенков существует множество.

И последнее замечание. У драматурга есть одно колоссальное преимущество перед своими героями. Строя диалог, он не обязан немедленно отвечать ударом на удар. У него есть время подумать. Поэтому драматург всегда умнее и находчивее самого блестящего из своих героев.

Этим правом в равной степени нельзя пренебрегать и злоупотреблять. Трудно сказать, что хуже — недуманность или надуманность. Зритель необыкновенно чуток ко всяким нарушениям естественного, непринужденного течения диалога, хотя и не всегда отдает себе отчет в том, что же именно его раздражает. Так бывает и в жизни. Наше доверие к собеседнику малознакомому, зависит не только от того, что он говорит, но и как он говорит. Наше ухо, как самый чувствительный прибор, регистрирует всякую нарочитость. Как часто простая запинка выдает лжеца с головой. И как часто сама по себе удачная, но насильственно вставленная в диалог «заготовка» выглядит искусственной. Как часто необходимая, но грубо осуществленная купюра образует ру-

бец, ритмический сбой, настораживающий зрителя. Диалог — живой пульсирующий организм, а с живым организмом надо обращаться бережно. Надо серьезно относиться к купюрам. Заплаты на живом теле всегда заметны и всегда антиэстетичны. Усовершенствовать диалог — это значит переписывать его заново, стараясь сделать его короче, действеннее, точнее и в то же время не забывая о музыке речи, о ритме, интонационном рисунке. Только так можно придать импровизационную легкость плодам долгого раздумья.

Сюжет и сверхзадача

Я не противопоставляю драматурга театру. Наоборот, я считаю нашей ошибкой и бедой, что в теории драмы так слабо разработаны те разделы учения К. С. Станиславского, которые имеют прямое отношение не только к творчеству актера, но и к творчеству драматурга. Подробное развитие этой мысли увело бы меня слишком далеко от главной темы, ограничусь указанием, что термин «сверхзадача», принадлежащий К. С. Станиславскому и бытующий в повседневной практике актеров и режиссуры, почти совершенно не применяется вне театра, при анализе драматургических произведений, в то время как это понятие употребляется Станиславским применительно именно к работе писателя.

«Подобно тому как из зерна вырастает растение,— пишет Станиславский,— так точно из отдельной мысли и чувства писателя вырастает его произведение».

Эти отдельные мысли, чувства, жизненные мечты писателя красной нитью проходят через всю его жизнь и руководят им во время творчества. Их он ставит в основу пьесы и из этого зерна выращивает свое литературное произведение. Все эти мысли, чувства, жизненные мечты, вечные муки или радости писателя становятся основой пьесы: ради них он берется за перо. Передача на сцене чувств и мыслей писателя, его мечаний, мук и радостей является главной задачей спектакля.

Условимся же на будущее время называть эту основную, главную, всеобъемлющую цель, притягивающую к себе все без исключения задачи, вызывающую творческое стремление двигателей психической жизни и элементов самочувствия артисто-роли,
«СВЕРХЗАДАЧЕЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ».

Заметьте: не спектакля, не роли, а произведения писателя.

Мне приходилось слышать возражения. Дескать, нет никакой нужды в новых терминах. Почему сверхзадача, а не, скажем, идея? Однако эти понятия не тождественны. Идея, вернее, круг идей произведения гораздо шире сверхзадачи и не исчерпываются ею. Идея может быть сформулирована и полностью выражена средствами логического мышления — сверхзадача неотделима от сюжетно-образного мышления, она всегда связана с художественным воплощением идейного и жизненного содержания произведения. Идея может быть абстрагирована от личности автора — сверхзадача неотрывна от индивидуальности художника. Самые значительные прогрессивные идеи могут быть дискредитированы ничтожностью сверхзадачи, скудостью замысла и воплощения.

Маяковский называл сверхзадачу просто задачей. Анализируя в статье «Как делать стихи?» процесс создания одного из наиболее действенных своих стихотворений «Сергею Есенину», Маяковский писал: «Целевая установка: обдуманно парализовать действие последних есенинских стихов, сделать есенинский конец неинтересным, выставить вместо легкой красоты смерти другую красоту, так как все силы нужны рабочему человечеству для начатой революции, и оно, несмотря на тяжесть пути, на тяжелые контрасты нэпа, требует, чтоб мы славили радость жизни, веселье труднейшего марша в коммунизм». И заключает: «Сейчас, имея стих под рукой, легко формулировать, но как трудно было тогда его начинать».

Совершенно в иной манере, но тоже задним числом формулирует сверхзадачу своей драмы «Анжело» В. Гюго. Цитата была бы слишком длинна, отсылаю к предисловию автора, имеющемуся во всех изданиях.

Сверхзадачей определяется место автора в пьесе, выбор выразительных средств, пути и каналы, которыми пользуется автор для утверждения своей воли и мировоззрения, и те невидимые рычаги, при помощи коих он управляет своими персонажами.

Начнем с выбора сюжета. Вопрос этот не такой простой, как может показаться. Каким требованиям должен удовлетворять сюжет драмы? Какого рода казусы, жизненные коллизии наиболее свойственны природе театра,

иными словами — в чем заключается сценичность материала?

Люди моего поколения являются свидетелями того, как советский театр успешно развивается, несмотря на жесточайшую конкуренцию кинематографа, ставшего за последние годы говорящим и цветным. Скоро он станет объемным. Мастерство дубляжа стирает границы, которые ставит язык. Фильмы-спектакли фиксируют на пленке постановки наших лучших театров, сохраняют для потомства искусство величайших мастеров сцены. Радио и телевизионные передачи делают игру лучших актеров страны и всего мира общедоступнее газетного листа. Скоро телевизионный экран увеличится, изображение приобретет цвет и объем, дальность передач станет равной дальности радиостанции, стоимость благодаря массовости упадет до минимума.

Не означает ли это гибель театра? Выдержит ли обычный периферийный театр с его ограниченными возможностями и дорогими билетами это жестокое соревнование?

Да, выдержит. Выдержит, если не будет дублировать задачи, успешно выполняемые книгой, газетой, кинематографом, а будет делать то, что доступно лишь театру.

Почему кино с его отборными актерскими силами и неограниченными материальными ресурсами до сих пор не убило интереса к самому захолустному самодеятельному спектаклю, где неопытный артист гримируется губной помадой и жженой пробкой и выходит шиллеровским Фердинандом в трикотажных кальсонах и кирзовых сапогах вместо рейтуз и ботфортов?

Оказывается, неопытный артист обладает неоценимым преимуществом перед мелькающей на экране тенью мастера. Творчество актера на глазах у зрителя, в тесном взаимодействии со зрительным залом обладает особой эмоциональной заразительностью.

К сожалению, механизм этого взаимодействия еще недостаточно изучен. Однако можно считать установленным, что непосредственное общение актера с аудиторией, от которой идут чутко улавливаемые актером токи и сигналы, обогащает его творчество, делает творческий акт радостным и неповторимым, вносит в него элемент неожиданности и импровизации. Анализируя свои впечатления от игры больших актеров — Щукина, Леонидова, Хмелева, Бучмы, я должен засвидетельство-

вать, что на некоторых спектаклях их воздействие было почти физически ощутимым, близким к гипнотическому.

Пьеса, на представлении которой зрители не волнуются, не плачут и не смеются, не выражают активно своих симпатий и антипатий, либо плохо сыграна, либо, вернее всего, — плохая пьеса. Эмоциональное воздействие «Гамлета» и «Сирано», «Грозы» и «Вишневого сада», «Любови Яровой» и «Фронта» различно. Различна, но всегда активна реакция зрительного зала.

Я сознательно подчеркиваю эмоциональную сторону сценического произведения не для того, чтобы противопоставить образное мышление логическому. Зритель в театре органически сочетает веру и логику. Он принимает на веру до той поры, пока не нарушена логика. Он размышляет и сопоставляет, судит и оценивает особенно активно именно потому, что лишен прямого руководства со стороны автора и вынужден составлять свое суждение о событиях и людях путем сложных сопоставлений с привлечением своего жизненного опыта и наблюдений. Емкость драмы при скромности габаритов в значительной степени объясняется тем, что, заставляя зрителя особенно активно сопереживать героям и соучаствовать в событиях; вовлекая его в социальный и личный опыт, драматург тем самым скрытно, но властно направляет его восприятие, подводит к определенным выводам и оценкам, заставляя черпать доказательства в своем опыте, эмоциональной памяти, в принесенном с собой багаже ассоциаций. Зачастую одна крохотная деталь в драме играет роль капли гремучей ртути, заставляя детонировать целые пласты доселе пребывающих в инертном состоянии представлений и впечатлений. Здесь с наибольшей наглядностью вскрывается различие путей художественного и научного мышления. В науке логически выраженная и доказанная опытом истина способна вызвать эмоции. В художественном произведении впечатление, эмоция определяют доверие к мысли, художественное волнение предшествует убеждению.

Но вернемся к вопросу о выборе сюжета. Как часто в беседе с начинающими драматургами приходится задавать один и тот же вопрос: «Скажите, а почему вы решили написать именно пьесу? Почему не рассказ, не очерк, не трактат, не докладную записку?» И как редко удается получить удовлетворительный ответ, получить убедительное подтверждение того, что данная

мысль, данный материал требуют именно сценического воплощения.

Осознанная сверхзадача диктует выбор рода и жанра. На вопрос, какие данные нужны для начала поэтической работы, Маяковский отвечал: «Первое. Наличие задачи в обществе, разрешение которой мыслимо только поэтическим произведением». То же самое можно сказать о драматургии.

Сверхзадача диктует и выбор выразительных средств. Основой своеобразия драматического образа в отличие от образов эпических и лирических являются средства сценической иллюзии. Театр в силу своей синтетичности является самым условным из искусств. Под условностью я подразумеваю тот допуск, то исходное соглашение об условиях игры, заключенное между театром и аудиторией, вне которого вообще невозможна никакая иллюзия. Условность — неотъемлемое свойство всякого произведения искусства и сама по себе не противоречит требованиям реализма. Характер этой условности находится в сложной зависимости от множества факторов, в первую очередь от уровня материальной и духовной культуры общества, и видоизменяется с изменением общественных условий. Фактура заставляет нас делать одни допуски для гравюры на меди и другие для гравюры на линолеуме, одни для деревянной скульптуры и другие для бронзы. Во времена Шекспира зрителей «Глобуса» удовлетворяли самые схематические обозначения места действия; отец русского сценического реализма М. С. Щепкин играл среди разрисованных холстов. В искусстве современного МХАТа на смену холсту пришла объемная, строенная декорация, которая в соединении с первоклассной световой, акустической и прочей аппаратурой дает максимальную иллюзию, наибольшее приближение к натуре. Но и она насквозь условна. Отказ от достигнутого уровня в обычных условиях является неправомерным, как всякий нарочитый архаизм; но когда фронтовые бригады МХАТа играли отрывки из пьес своего основного репертуара под открытым небом, почти без реквизита, иллюзия не нарушалась, оправданная условность не мешала восприятию. Люди театра по опыту знают, что мера условности в опере иная, чем в драме, что в одних спектаклях пьют воображаемое вино из картонных кубков, оклеенных золотой бумагой, а в других — из настоящих рюмок, куда наливается клюквенный морс или лимонад, что

хорошая актриса в возрасте пятидесяти лет может вполне удовлетворительно выглядеть в роли юной итальянки времен Ренессанса и совсем не убедительно в роли комсомолки. С. Герасимов при постановке «Седой девушки» в театре имени Вахтангова очень тонко применил ряд условных приемов, органичных для китайского театра. Но вряд ли мы приняли бы их в «Чайке».

Ко всякому несоответствию между условностью и общественным вкусом надо относиться с сугубым вниманием: иногда прав зритель, иногда — художник. В первом случае мы имеем дело с формалистическим извращением, манерностью, безыдейным шукарством. Во втором — с новаторством. Когда на заре кинематографии был впервые применен так называемый «крупный план», публика с непривычки хохотала и издевалась, — подумать только, у человека в самый патетический момент вдруг отрезали голову, увеличили до неестественных размеров, а затем приставили обратно. Но прошло некоторое время, и буря улеглась, преимущества нового приема стали очевидны, и он не только был «принят на вооружение», но вошел в азбуку современного киноискусства.

Драматург может заключить со зрителем иногда весьма неожиданные условия. Но если он хочет, чтоб ему верили, он должен сам строго и неуклонно соблюдать эти условия.

Что же заставляет зрителя подчиняться мощному воздействию сценической иллюзии? Декорации, костюмы и гримы еще не делают зрелище театром. Театр начинается там, где есть сценическое действие.

Станиславский учит, что актер не может пребывать на сцене не действуя. Для того чтобы действовать, актер должен иметь перед собой частную задачу, вытекающую из более общей — свехзадачи произведения. Стоит прекратиться действию, и иллюзия кончается, спектакль, подобно самолету с выключенным мотором, начинает планировать и может войти в штопор. Не случайно пьеса делится на действия или акты, начинается со списка действующих лиц и исполняется актерами, то есть опять же лицедеями.

Самое трудное в сюжете драмы — экспозиция. Неудачи последнего акта коренятся в первом. В экспозиции драматург поставлен перед необходимостью снабдить свою аудиторию некоторыми вводными данными и условиться с ней о правилах игры. Успех дости-

гается лишь тогда, когда эти задачи в экспозиции разрешаются также действенным путем.

Первый акт чеховских «Трех сестер» начинается большим монологом Ольги, из которого зрители узнают предысторию семьи Прозоровых. Ольга говорит с Машей и Ириной, для которых все это не является новостью, и при поверхностном рассмотрении монолог может показаться информационным, а не действенным. В плохих спектаклях он таким и выглядит.

В превосходном спектакле МХАТа, поставленном Вл. Немировичем-Данченко, действенность монолога predetermined четко поставленной задачей, вытекающей из верно понятой сверхзадачи произведения. Сестры не просто рассказывают о своем прошлом, не просто предаются воспоминаниям — они переоценивают его. А переоценка есть действие.

Слово на сцене перестает быть только словом и становится поступком с того момента, когда оно призвано решать действенные задачи. В пьесе А. Файко «Человек с портфелем» Гранатов несколькими словами убивает профессора Андросова.

Драматическому сюжету присуща концентрированность действия. Непрерывность восприятия на коротком отрезке времени обязывает к емкости, лапидарности, архитектурной ясности. Процессы, иногда протекающие в течение многих лет, должны быть раскрыты драматургом в течение нескольких минут. Дrame противопоставлены не только статика, но и медлительные эволюционные процессы, драматург подстерегает людей и события накануне диалектического скачка. Шекспировский Лир прожил большую и активную жизнь, полную деяний и событий, но героем трагедии он становится только в глубокой старости, когда его цельное мирозерцание феодала впервые подвергается серьезному испытанию.

В «Ричарде III» есть гениальная сцена, где герцог Глостер, будущий король Ричард III, уговаривает леди Анну, идущую за гробом своего мужа, полюбить его — урода и убийцу. Тем, кто видел эту сцену в исполнении Южина или Качалова, такая задача не покажется невероятной.

В «Чайке» есть великолепный эпизод — Аркадина удерживает влюбленного в Нину Тригорина. Чехов ставит задачу огромной трудности. Аркадина в течение нескольких минут мобилизует все средства обольщения:

страсть, апелляцию к чувству долга, привычке, привязанности и главное лести. Она льстит Тригорину, как мужчине и как литератору, льстит бесстыдно и безудержно, почти неправдоподобно.

Может быть, Чехов-прозаик и не написал бы эту сцену слово в слово так, как она написана Чеховым-драматургом. В повести у него была возможность показать, как на протяжении нескольких лет Аркадина постепенно отравляла Тригорина ядом поклонения, делала этот яд привычным и необходимым, как она эксплуатировала деликатность и инертность его натуры. Но Чехов писал комедию и не имел этой возможности. С поразительной смелостью он концентрирует все это в одной сцене, и «почти неправдоподобное» оборачивается высшей правдой, правдой художественного обобщения. И после этого еще кто-то бормочет о натурализме и объективизме Чехова.

А сцена в «Любови Яровой», где арестованный Швандя спасается от смерти тем, что находит нужные слова, вызвавшие «классовое расслоение» среди конвоиров? А сцена с пленными из «Оптимистической трагедии»?

Все это — настоящий театр.

О том, что поэзия, проза и драма, происходя от одного корня, идут различными путями, знали еще во время Аристотеля, однако споры, затрагивающие широкий круг вопросов: в чем же состоит их самое существенное различие и как они взаимодействуют между собой, не утихают и по сей день. В этом нет ничего удивительного, литература — живой процесс, виды, роды и жанры эволюционируют в ходе исторического развития, а вместе с ними эволюционируют и присущие им условности. Мы знаем, что условен всякий, даже самый натуралистический театр, но проза столь же условна, только предварительные условия, которые автор заключает с читателем, иные, чем со зрителем.

Если не рассматривать поэзию только как стихосложение, все виды художественной литературы суть разные ипостаси Поэзии с большой буквы. Как известно, Чехов стихов никогда не писал, но мы уверенно говорим о поэтичности его образов. Достоевский не писал драм — столь же привычно мы говорим о присущем ему драматизме. Но и Чехов и Достоевский скорее исключение из правила, почти все классики в разные периоды своей творческой жизни обращались и к лирике, и к эпосу, и к драме.

Глаз писателя в некоторых отношениях подобен фотообъективу, для различной натуры существует разные типы объективов, более того — одна и та же натура, снятая различными объективами, дает несхожие изображения. Глаз драматурга несомненно отличается от глаза прозаика, но различие это преодолимо; когда прозаик берется за драматургию, происходит как бы

смена объектива. Процесс этот непрост и протекает неодинаково, в разных направлениях и с неодинаковым успехом. Мольер остался в нашей памяти только как драматург, хотя писал и лирические стихи, а Флобер только как прозаик, его единственная поставленная на сцене пьеса «Кандидат» не оставила заметного следа в истории театра. Пушкин писал: «Года к суровой прозе клонят...», а Чехов начал с прозы, а свою новаторскую драматургию создал под конец жизни.

Опыт Чехова заслуживает особого рассмотрения. Если не считать нескольких одноактных сценок, Антон Павлович никогда не инсценировал своих рассказов, хотя некоторые из них так и просились на сцену. На всю жизнь запомнилась мне сыгранная И. М. Москвиным и В. Ф. Грибуниным «Хирургия». Актерам было раздолье: четкость характеров, сочный бытовой диалог, прелестный чеховский юмор. И все-таки это была не пьеса, а слегка приспособленный к условиям эстрады рассказ. Начиная с руководимой Е. Б. Вахтанговым студии, многие советские театры ставили спектакли по рассказам Чехова. С развитием звукового кинематографа и телевидения значительная часть чеховских сюжетов перекочевала на экран. На этом пути было немало неудач, тонкая чеховская ткань не выдерживала грубых прикосновений и рвалась, но были и удачи — чаще при экранном воплощении прозы, чем при экранизации пьес. Это объяснимо не только качеством интерпретации, но и тем, что кинодраматургия оказалась по своей природе ближе к прозе, чем к театру.

Чехов не сразу сказал свое новое слово в драматургии. «Чайке», произведению новаторскому, предшествовали пьесы, отмеченные, как и все, что писал Чехов, печатью большого таланта, но это еще предвестники будущих открытий. «Леший» — только эскиз к «Дяде Ване», «Иванов» — прекрасная пьеса, но во многом еще традиционная, написанная с оглядкой на существующие формы. И только в «Чайке» родился новый драматург, во всем равный Чехову-прозаику. Несомненно процесс «смены объективов» происходил не просто, творческая перестройка, скупое отраженная в чеховских письмах, была напряженной, со срывами и радостными озарениями. Наименее сложным в этом процессе было освоение общих законов сцены. Умение характеризовать каждый персонаж, без авторской подсказки,

или, как выражался Горький, «самосильно», было заложено в чеховской прозе и проявилось уже в ранних пьесах. Сложнее протекало формирование собственных законов, тех черт драматургии Чехова, которые произвели революцию в сценическом искусстве XX века.

В «Чайке» есть великолепный эпизод — объяснение между Аркадиной и влюбленным в Нину Заречную Тригориным. Чехов ставит перед актрисой задачу огромной трудности. В течение нескольких минут Аркадина пускает в ход все средства обольщения, чтоб удержать любовника: страсть, апелляцию к чувству долга, к привязанности и привычке, столь властной над пассивной натурой Тригорина, и, главное, лесть. Она льстит ему, как мужчине и как писателю, льстит безудержно, бесстыдно, почти неправдоподобно... Мне кажется, что Чехов-прозаик не написал бы в повести подобного рода сцену. В повести у него была бы возможность показать, как на протяжении нескольких лет Аркадина отравляла Тригорина ядом поклонения, делала этот яд привычным и необходимым, как она эксплуатировала деликатность и инертность его характера. Но Чехов был уже сложившимся драматургом, с поразительной смелостью он концентрирует это в одной сцене, и «почти неправдоподобное» оборачивается высшей правдой, ибо сценическое время течет иначе, чем в прозе. А какой головокружительный переход от нежности к злобному крику у Наташи в последнем акте «Трех сестер»! Чехов не писал романов, но в своих последних пьесах он наиболее близок к романной форме, так густо они населены, так насыщены судьбами и событиями, так ярок исторический фон.

Всякий, даже самый бережный перенос на сцену прозаического произведения неизбежно связан с потерями, но иногда эти потери компенсируются художественными открытиями. Перевод с языка прозы на язык драмы сходен с переводом с языка одного народа на язык другого. Бывают конгениальные переводы. К примеру, «Синий цвет» Н. Бараташвили в переводе Б. Пастернака. Нечто подобное происходит в театре и в кино. В балете С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» с Г. Улановой в главной роли, в немом фильме «Мать» Вс. Пудовкина по сценарию Н. Зархи не звучит речь героев Шекспира и Горького, однако и спектакль и фильм не только были значительными событиями в художествен-

ной жизни страны, но оказали влияние на мировое искусство.

На примере классической прозы мы убеждаемся, что одни произведения сравнительно легко становятся достоянием сцены, другие ставят перед театром трудности, почти непреодолимые. Говорю «почти», потому что опыт последних десятилетий значительно расширил мои достаточно уже сложившиеся представления о сценичности. Однако я по-прежнему уверен, что не всякую прозу следует превращать в пьесу, и права была режиссура Художественного театра, поставив сцены из толстовского «Воскресения» с участием чтеца, и нет ничего удивительного в том, что наивысшим актерским достижением был От автора — В. И. Качалов.

Ни Достоевский, ни Флобер (если исключить малоудачного «Кандидата») не были драматургами, но как различна сценическая судьба их прозы. С именем Достоевского связан ряд наивысших достижений русского и мирового театра. Орленев и Моисси в роли Раскольникова, Леонидов и Качалов в «Карамазовых», Гиацинтова в «Униженных и оскорбленных», Москвин в «Селе Степанчикове», Хмелев в «Дядюшкином сне», Жихарева и Смоктуновский в «Идиоте»... Как ни сложна полифоническая структура романов Достоевского, его образы, переходя на сценические подмостки, не теряют притягательной силы.

Блестящий стилист и тонкий психолог, Флобер не раз привлекал внимание театров и в России и у себя на родине. Многие актрисы мечтали о роли Эммы Бовари. Больших удач, вошедших в историю мирового театра, мы не знаем. Недавно, разбирая архив, я наткнулся на свою старую, еще довоенную рецензию на спектакль «Мадам Бовари», поставленный Курским областным театром. Рецензия была разгромная. Вероятно, сегодня я сумел бы лучше мотивировать свое неприятие спектакля и справедливее оценить усилия режиссуры и актеров. Но суть от этого не меняется. Сделанная опытной рукой ремесленная инсценировка уничтожила высокую поэзию Флобера, превращенные в реплики потаенные мысли Эммы зазвучали невыносимой ложью. Оголенный, лишенный авторской интонации сюжет неожиданно превратился в банальнейшую историю, а попытка режиссуры героизировать образ Эммы еще усугубила провал. Не принял я и гораздо более сильного, чем у

курян, спектакля московского Камерного театра. Причина коренилась не в театре, а во Флобере. Убежден, что и Флобер не принял бы спектакля, не этого, а, вероятно, любого. Недаром он так яростно сопротивлялся попытке издателя выпустить роман с иллюстрациями. Он считал, что у каждого читателя должен возникнуть свой образ Эммы, а иллюстратор придаст этому образу излишнюю определенность.

Некоторых драматургов начинает всерьез тревожить участвовавшее за последние годы вторжение прозаиков на подмостки театров. Тревога эта не лишена основания. Бывает и так, что руководство театра предпочитает иметь дело с инсценировкой уже широко известного, апробированного печатью произведения, вместо того чтобы идти на риск, связанный с постановкой новой оригинальной пьесы. Но такое объяснение отнюдь не исчерпывает проблемы. Изменился театр, изменился зритель. Лет сорок — пятьдесят назад никому не приходило в голову, что на сцене можно играть личную переписку Шоу («Милый лжец» Д. Килти) или Чехова («Насмешливое мое счастье» Л. Малюгина). И как отказать Ю. Любимову в праве на сценическую версию выдающегося произведения прозы или поэзии?

Существует по меньшей мере три способа перенесения прозы на сцену. Первый — это пьесы «по мотивам», то есть произведения почти самостоятельные, где основной автор — драматург. Применим этот способ преимущественно к классической прозе, наличие сценической версии уже ничего не может изменить в сложившейся репутации книги. Примеры: «Мать» Б. Брехта по Горькому, «Нищий и Принц» С. Михалкова по Твену. Второй путь — «сцены из романа», то есть сценическое прочтение почти неприкосновенного авторского текста, причем игровые эпизоды и диалоги связываются между собой при помощи чтеца. Классический пример: первая постановка «Братьев Карамазовых» в Художественном театре. И наконец, третий, самый распространенный, но наиболее чуждый мне путь: обычная инсценировка, когда проза переносится на сцену без «смены объектива» и грешит поэтому и против природы театра и против природы прозы.

После классических примеров неловко ссылаться на собственный опыт. Я вырос за кулисами театра, рано дебютировал и в течение четверти века писал только

пьесы. За прозу я взялся уже зрелым, сложившимся литератором. Опыт прозаика у меня был самый ничтожный — несколько очерков и рассказов, написанных в военные годы. Мне казалось, что, взяв за основу будущего романа события и основных героев моей пьесы «Офицер флота», я облегчу себе переход от драмы к прозе. Это была ошибка, о которой я не жалею, так как на ошибках учатся. Постепенно выяснилось, что, хотя многие реалии пьесы сохранились, ни одна сцена, ни одна реплика, даже наиболее удачная, не могут быть перенесены в роман и в него не вошли. Сказалась принципиально иная природа сюжетостроения и диалога в романе.

Юрий Павлович Герман, читавший роман в одном из черновых вариантов, писал мне: «Мне кажется, что диалог у тебя чуть-чуть сильно отточен, «кинжален». Это то самое, чего от меня всегда требуют кинорежиссеры и на что я органически не способен. Возможно, что тут говорит во мне зависть, я так не умею, но предполагаю, что и не надо уметь. Я бы остроту некоторых словесных междусобойчиков, словесные схватки иногда сменил вялыми фразами, смяткой, утомленностью, я бы убрал себя (тебя), ловко и круто пишущего». Советы Германа я с благодарностью принял и помнил при окончательной отделке рукописи.

Прошло много лет. Руководство одного хорошего ленинградского театра, справедливо считая, что мой, написанный уже после войны, роман «Дом и корабль» прозвучит современнее, чем пьеса «Офицер флота», предложило мне превратить его в пьесу. Задача показалась мне непосильной, но я охотно дал согласие на адаптацию романа для театра, с тем, чтобы игровые сцены были связаны между собой чтением отрывков из романа. Однако авторы адаптации не удержались в намеченных пределах и соорудили самую настоящую инсценировку, начинив ее всякого рода отсебятиной, именуемой на театральном жаргоне «рыбой». «Рыбу» я до поры терпел, в конце концов «рыбьи» слова можно было кое-где подправить и заменить человеческими, но когда дошел до сцены, изображающей пьяную вечеринку, участником которой случайно становится мой герой, я понял всю безвыходность моего положения. Вечеринка эта, изображенная в романе отраженно, через смутные и смущенные воспоминания героя, будучи превращена в самостоятельный эпизод, выглядела ужасно.

Дальше все было в таком же духе. Пришлось наложить вето, и авторы инсценировки, люди мне симпатичные, ушли обиженные, о чем я искренне сожалею, хотя и сегодня убежден, что избавил себя и театр от провала.

Сумел бы я сделать эту инсценировку сам? Не знаю. Всякий раз, когда мне предлагают инсценировать или экранизировать мою прозу, я отдаю себе ясный отчет: предстоит «смена объектива». Я должен вернуть себе театральное (или кинематографическое) зрение, а это не простая перестройка, а что-то вроде переоборудования цеха. Предстоит труд, почти равный написанию новой пьесы. Но тогда, может быть, и правильнее — оставить прозу в покое и написать новую пьесу?

1979

Примечания

В третий том Собрания сочинений Александра Крона включены произведения разных жанров, написанные на протяжении сорока с лишним лет: повесть «Капитан дальнего плавания» и пьесы «Глубокая разведка», «Офицер флота», «Второе дыхание», принесшие в 1940—1950-е годы широкую известность Крону-драматургу. В данном томе представлен также А. Крон — публицист, мемуарист, историк и теоретик театра.

С середины 1950-х годов А. Крон отошел от драматургии. Для литератора, отдавшего четверть века театру, обращение к прозе означало резкий поворот в творческой судьбе. Объясняя причины такой решительной перестройки, А. Крон писал: «Меньше всего мне хочется ссылаться на трудности и огорчения, каких было немало. (...) Одна из причин — хотя и не главная: драматическая форма стала для меня тесна. В послевоенные десятилетия обозначился любопытный процесс: кинофильмы стали длиннее, а спектакли короче. Стало уже нормой, что спектакли идут с одним антрактом или даже совсем без антракта. Появилось множество пьес, рассчитанных на минимальное число участников. Драматурги, писавшие раньше симфонии, стали писать дуэты и трио. Большинство моих пьес — в четырех актах. В них много эпизодических ролей. Пьесы, несомненно, грешат многословием, тем не менее сокращать их трудно. От некоторой громоздкости мне, вероятно, уже не избавиться. Не случайно, став прозаиком, я обратился к романной форме, а не к новелле» (Пьесы и статьи о театре. М., 1980, с. 3). Но главная причина заключалась все же в отсутствии у Крона театра-единомышленника, который был бы заинтересован не в случайных контактах, а в равноправном творческом содружестве, когда пьеса не является только поводом для спектакля. «Пьеса,—

считал, А. Крон, — самостоятельное произведение, предназначенное для театра, но существующее и вне театральных подмостков» (там же, с. 4). Театральный критик С. Дунина справедливо замечала, что «Крон принадлежит к сравнительно немногим современным драматургам, о которых можно сказать, что у них есть свой театр... Театр как некий целостный мир образов, как совокупность художественных приемов, театр в том смысле, в каком мы говорим «театр Вишневского», «театр Светлова» (Драматург и его герои. — В сб.: Александр Крон. Театр. М., 1971, с. 606). Но у Крона никогда не было постоянного коллектива. Его пьесы ставились лучшими театрами. Иногда возникали крайне плодотворные творческие союзы, как, например, с Московским Художественным театром, но он так и не стал постоянным, «своим» театральным домом. Переход А. Крона к прозе оказался крайне плодотворным. «Дом и корабль», «Бессонница» принесли Крону-прозаику заслуженное признание. «Капитан дальнего плавания» закрепил читательский успех. «Повесть о друге» — так обозначил Крон свою последнюю работу — рассказала о трудной и героической судьбе «подводника номер один», капитана 3-го ранга Александра Ивановича Маринеско. Беспрецедентный подвиг балтийской подводной лодки «С-13» и ее легендарного командира впервые стал известен такому широкому кругу читателей. Конечно, о Маринеско писали и раньше. Сам Крон неоднократно возвращался к трагической судьбе своего талантливого друга (например, в статье «Как я стал маринистом»), но именно своей повестью, по мысли критика С. Дрейдена, «Крон торпедировал неоправданный вакуум молчания, установившийся вокруг имени отважного офицера флота из-за некоторых сложностей его биографии» (Кузнецы победы. — Литературная газета, 11 июля 1984 г.). «А. Крон написал честную, не скрывающую правды повесть, исключаящую «лукавые домыслы» о герое-подводнике, повесть о положительном герое...», — считал писатель Владимир Рудный (Воля и талант. — Известия, 14 мая 1983 г.). За несколько часов до смерти Крон успел перелистать сигнальный экземпляр «Нового мира», напечатавшего его «Капитана», но отклика на свою работу, которая досталась ему невероятно трудно, он так и не узнал. В редакции журналов и газет пришло множество писем. Читатели оценили гражданский подвиг А. Крона, который «...как будто вынес (...) на руках из огня А. И. Маринеско, спас от недоброй славы, от забвения...». Фрагмент письма капитана 1-го ранга Игоря Озимова (Ленинград) опубликовала «Литературная газета» 11 июля 1984 г., по-

местившая обзор читательских мнений под рубрикой «Резонанс». Появились рецензии и на повесть. В «Литературном обозрении» (1983, № 5) выступил В. Порудоминский. Его статья «Офицеры флота» связала судьбу последней книги А. Крона с его собственной творческой судьбой, а героя «Капитана» поставила в ряд других персонажей кроновской прозы и драматургии.

В данном томе печатаются избранные пьесы А. Крона — три из восьми им написанных (музыкальная пьеса «Раскинулось море широко...» создана в соавторстве с В. Вишневым и В. Азаровым в блокадном Ленинграде 1942 года) Первая пьеса А. Крона «Винтовка № 492116» написана девятнадцатилетним студентом философского факультета Московского университета в 1929 году по заказу Государственного Педагогического театра и сразу же им поставлена (премьера состоялась 13 января 1930 года). Успех пьесы о перевоспитании беспризорников (кстати, написанной еще до выхода в свет известного фильма Н. Экка «Путевка в жизнь» и «Педагогической поэмы» А. Макаренко) определил ее долгую сценическую жизнь, а Крона сделал профессиональным драматургом. О начале своей жизни в театре А. Крон рассказал в очерке «О первой дружбе, о первой пьесе...», посвященной памяти друга, комсомольца-драматурга В. Кушкина (Крон А. Пьесы и статьи о театре. М., 1980, с. 450—475). «...Уже в этой первой пьесе,— считала С. Дунина,— с полной ясностью обнаружилось, что театр для Крона — родная стихия, что он органически театрален, с детства театрален, подобно тому, как бывают с детства музыкальные люди». За «Винтовкой...» последовали пьесы «Трус» (1935) и «Наше оружие» (1936), обнаружившие главные черты драматургии Крона — остроконфликтность и глубокий психологизм. «Глубокая разведка» (1940) — четвертая по счету пьеса А. Крона. Завершая свой труд, он писал в «Литературной газете» 13 июля 1939 года: «Сейчас я заканчиваю пьесу о бакинских нефтяниках. Пишу ее три года. Мне говорят: «На производственные темы надо писать быстро: «Все так меняется!» Теоретическая учеба помогает мне оказывать внутреннее сопротивление этой доморощенной теории, на которой возрастает так называемая «мотыльковая» драматургия. Хочется писать о «сегодня» так, чтобы через него проглядывало завтра». В основу пьесы о разведчиках, разыскивающих нефть в безводных степях Азербайджана, положен значительный жизненный опыт драматурга. В 1930—1931 годах он жил и работал в Баку. Из впечатлений этих лет и родился замысел «Глубокой разведки». Позже, когда пьеса была уже

в работе, помогли поездки на бакинские нефтяные промыслы, встречи и знакомства с людьми, изучение производственных технологий, что позволило ощутить атмосферу «разведки». Правда, Крон сознательно писал пьесу не о «разведке» нефти, а о «разведке» человеческих характеров. У «Глубокой разведки» была на редкость счастливая сценическая судьба. Ее больше других пьес А. Крона ставили и переводили. Она сразу же была принята к постановке Художественным театром, обратившим внимание на молодого драматурга после публикации его «Труса». Но премьера «Глубокой разведки» состоялась уже во время войны (23 июня 1943 г. после возвращения МХАТа им. М. Горького из эвакуации). Спектакль ставил М. Кедров. (Композитор — А. Хачатурян. Художник — В. Татлин.) Роли исполняли: Майоров — М. Болдуман, Гетманов — В. Белокуров, Гулам — Л. Эзов, Морис — В. Топорков, Мехти — М. Прудкин, комендант — А. Жильцов, Марго — В. Попова, Марина — М. Титова. Спектакль был удостоен Сталинской премии первой степени. А. Крон такой премии не получил. Этим подчеркивалось, что большой успех спектакля МХАТа вовсе не означает признания пьесы. Долгое время в печати пьеса и спектакль противопоставлялись друг другу, пока не стало очевидным, что «Глубокой разведке» уготовано одно из значительных мест в истории советской драматургии. Подобную же судьбу разделила следующая пьеса А. Крона «Офицер флота», успешно прошедшая на сценах многих театров, в том числе МХАТа, получившего за спектакль Сталинскую премию первой степени. Пьеса была написана в 1943 году в осажденном Ленинграде. Она рассказала о критических месяцах его блокады. Читая дневники писателя военного времени, легко понять, как были близки Крону его герои. «Для того чтобы я мог написать главного героя драмы «Офицер флота» — командира подводной лодки Виктора Горбунова, — писал А. Крон в статье «Моя анкета», — было два необходимых условия: я знал многих морских офицеров, причем не только подводников. Во-вторых, я сам был офицером, правда не кадровым, но жившим с ними общей жизнью и имевшим общие интересы. Я мог бы назвать по фамилиям несколько командиров кораблей с «горбуновским» складом характера. У одного из них была даже сходная с изображенной в пьесе служебная ситуация. Я описал ее в коротеньком очерке-рассказе «Я держу мой флаг», передававшемся по Ленинградскому радио в первую блокадную зиму. Рассказ был тем зернышком, из которого проросла пьеса». В очерке «Как я стал маринистом» (т. I наст. изд.) Крон рассказал о событиях, послуживших

канвой для «Офицера флота», а впоследствии и для романа «Дом и корабль», выросшего из пьесы, но не повторившего ее.

Первая постановка «Офицера флота» была осуществлена в Калинин после освобождения города от фашистов (постановка Р. Сусловича). Летом 1944 года «Офицер флота» был показан в Ленинграде Театром Краснознаменного Балтийского флота, с которым драматурга связывала тесная творческая дружба. Поставили спектакль А. Пергамент и Т. Сойникова. Художник — И. Григорьев. Роли исполняли: Горбунов — В. Честноков, Кондратьев — И. Дмитриев, Белобров — А. Трусов, Катя — А. Попеко, Тамара — Е. Церебилко. Успешно прошел спектакль также в Театре Северного флота. Ставил спектакль В. Плучек. Этические и моральные проблемы, поднятые пьесой и спектаклем, широко обсуждались флотской общественностью. Незадолго до окончания войны состоялась премьера «Офицера флота» во МХАТе. Режиссеры спектакля — Н. Горчаков и И. Раевский. Художник — Н. Акимов. Композитор — Т. Хренников. Роли исполняли: Горбунов — М. Болдуман, Кондратьев — Н. Боголюбов, Ждановский — Дм. Орлов, Соловцов — А. Грибов, художник — Н. Соснин и В. Ершов, Белобров — И. Москвин и В. Готовцев, Веретенников — Н. Дорохин и В. Белокуров, Катя — Л. Пушкарева, Тамара — С. Пилевская.

Сценическая судьба двух последних послевоенных пьес А. Крона «Второе дыхание» (1945) и «Кандидат партии» (1950) сложилась непросто. Превратности политической и литературной жизни той поры заставили драматурга внести серьезные изменения в первые редакции своих пьес. Не случайно, что в конце пьесы «Второе дыхание» поставлены две даты: 1945—1956. В 1945 году пьеса «Второе дыхание», продолжившая флотскую тему (ее действие, по ремарке автора, происходит весной 1945 года, когда части Красной Армии и корабли Балтийского флота, освободив Советскую Прибалтику, устремились на запад), была принята к постановке Театром имени Моссовета. Но спектакль, в котором главные роли были поручены выдающимся артистам В. Марецкой, Н. Мордвинову, Р. Плятту, О. Абдулову (режиссер Ю. Завадский), так и не был выпущен. Только в 1956 году состоялась премьера пьесы в новой редакции. Постановщик спектакля А. Шапс, художник — А. Гончаров. В главных ролях выступили: Лебедева — Л. Шапошникова и В. Серова, Бакланов — М. Погоржельский, Левин — Р. Плятт, Радужный — П. Герага. В том же году пьесу поставил Ленинград-

ский академический театр драмы имени А. С. Пушкина. Художественный руководитель спектакля — Г. Товстоногов, режиссер — Р. Агамирзян, художник Д. Попов. Роли исполняли: Лебедева — О. Лебзак, Бакланов — И. Горбачев, Левин — В. Честноков, Радужный — В. Янцат. Спектакль долго жил на сцене этого театра.

Тема театра постоянно присутствует в сочинениях А. Крона. Для истории постановок ряда кроновских пьес во время войны важен материал, названный писателем «Из балтийских дневников», позволяющих представить атмосферу блокадного Ленинграда, судьбы людей и целых коллективов, их героические будни. Многие из записанного в дневниках, которые А. Крон постоянно вел в осажденном городе, он использовал позже в своей работе над пьесами и прозой. Некоторые выдержки из записных книжек он сопровождал необходимыми комментариями. Из этого материала составилось пять очерков, получивших общее заглавие «Из балтийских дневников».

Следующий материал данного тома — серия мемуарных зарисовок А. Крона о деятелях театра, его старших товарищах «Режиссер Федор Каверин» (1961), «Актер Михаил Астангов» (1961), «Драматург Евгений Шварц» (1979).

Литератор, «вдохнувший запах театральных кулис в школьные годы», посвятивший театру более четверти века, даже уйдя из него, все равно оставался человеком театра, постоянно ощущающим на себе его магнетическое воздействие. Связи А. Крона с театром не прерывались окончательно еще и потому, что оставались друзья, товарищи и знакомые, которые в большинстве своем были людьми театра. Многие из них сыграли значительную роль в его творческой судьбе. Крон не писал мемуаров в полном смысле этого слова, это были скорее эссе, мемуарные зарисовки. К мемуарам как к жанру у него было особое отношение. Крон считал, что время воспоминаний еще не настало. И если отвлекался от работы над прозой, которую считал основной, чтобы написать об ушедших товарищах, то это было прежде всего из чувства долга. Создавая портрет своего героя, Крон писал иногда подробно, иногда давал лишь несколько черточек, но никогда не лгал. Он вынужден был, не кривя душой, о многом умалчивать. По цензурным соображениям приходилось обходить некоторые факты, преимущественно различные виды репрессий, которым подвергалось большинство деятелей культуры (например, читатель так и не узнал, что режиссер Ф. Каверин был убит в отделении московской милиции). Картина получалась не искаженной, но далеко не полной. И тем не менее

созданные А. Кроном портреты деятелей театра были полнокровны, достоверны и масштабны.

А. Кроном написано большое количество газетных и журнальных статей, посвященных проблемам театра и труду драматурга. Теоретические и критические работы писателя полностью не собраны. В этом томе помещены наиболее значительные из них.

«Моя анкета» (1961) — это ответы на вопросы журнала «Вопросы литературы», который интересуется проблемами творчества А. Крона (как возникает замысел его произведений, как созревает идея и формируются сюжет и характеры). Его ответы помещены в журнале с примечанием: «Статьей А. Крона редакция продолжает публикацию ответов известных советских писателей на анкету нашего журнала».

В статье «О гармонии и алгебре» (1971) А. Крон размышляет о взаимодействии науки и искусства, об особенностях художественного и научного мышления, о научных методах исследования художественного творчества.

В «Заметках о языке сценического произведения» (1957) А. Крон на конкретных примерах, обращаясь к опыту мировой драматургии, пытается проанализировать роль языка, законы и особенности сценической речи. Для Крона-драматурга язык сценического произведения меньше всего лингвистическая проблема.

Статья «Сюжет и сверхзадача» (1954) — это, по определению ее автора, — «соображения драматурга по поводу некоторых насущных вопросов своей профессии». Статья написана после дискуссии «О положительном герое и его месте в современной пьесе», прошедшей в Союзе писателей весной 1954 года, в пору, когда в искусстве культивировалась так называемая «теория бесконфликтности». А. Крон, приверженец острого конфликта в драматическом сочинении, считал дискуссию неудавшейся, подменившей обсуждение вопросов творческих выяснением состояния «драматического рынка». Полемизируя с некоторыми участниками дискуссии, в частности о месте положительного героя в пьесе, А. Крон вновь возвращался к серьезному разговору о сверхзадаче художественного произведения, о взаимоотношениях театра и драматурга, отстаивая значимость, самостоятельность пьесы как первоосновы всякого спектакля.

Статья «Смена объектива» (1979) рассматривала теоретические вопросы об особенностях разных жанров художественных произведений, их различии и взаимодействии между собой. Творческий опыт Крона-драматурга, а затем прозаика давал ему богатый материал для подобных размышлений.

Капитан дальнего плавания. Повесть о друге (с. 7).— Впервые: Новый мир, 1983, № 2.

Глубокая разведка (с. 221).— Впервые: Новый мир, 1943, № 9.

Офицер флота (с. 304).— Впервые: Знамя, 1944, № 4.

Второе дыхание (с. 387).— Впервые: ВУОАП. М., 1955.

Из балтийских дневников (с. 465).— Впервые: Нева, 1966, № 10.

Режиссер Федор Каверин (с. 493).— Впервые: Театр, 1961, № 9.

Актер Михаил Астангов (с. 503).— Впервые: Театр, 1966, № 7.

Драматург Евгений Шварц (с. 518).— Впервые: К р о н А. Пьесы и статьи о театре. М., Искусство, 1980.

Моя анкета (с. 525).— Впервые: Вопросы литературы, 1961, № 3.

О гармонии и алгебре (с. 545).— Впервые: Театр, 1971, № 9.

Заметки о языке сценического произведения (с. 562).— Впервые: Молодая гвардия, 1957, № 1; затем в сб.: О труде драматурга. М., Искусство, 1957. Печатается по тексту этого сборника.

Сюжет и сверхзадача (с. 581).— Впервые: Театр, 1954, № 10; перепечатано с сокращениями в сб.: Советские драматурги о своем творчестве. М., Искусство, 1967. Печатается по тексту этого сборника.

Смена объектива (с. 589).— Впервые: Театр, 1979, № 5.

Алфавитный указатель произведений, вошедших в Собрание сочинений

Актер Михаил Астангов	III	503
Александр Твардовский	II	536
Бессонница	II	7
Вечная проблема	II	447
Второе дыхание	III	387
Глубокая разведка	III	221
Дом и корабль	I	29
Драматург Евгений Шварц	III	518
Заметки о языке сценического произведения	III	562
Заметки писателя	I	571
Из балтийских дневников	III	465
Как я стал маринистом	I	543
Капитан дальнего плавания	III	7
Моя анкета	III	525
О Всеволоде Иванове	II	499
О гармонии и алгебре	III	545
Ольга Берггольц	II	525
Офицер флота	III	304
Режиссер Федор Каверин	III	493
Смена объектива	III	589
Сюжет и сверхзадача	III	581
Эммануил Казакевич	II	518

Содержание

КАПИТАН ДАЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ. <i>Повесть</i>	7
ПЬЕСЫ	
Глубокая разведка	221
Офицер флота	304
Второе дыхание	387
ИЗ БАЛТИЙСКИХ ДНЕВНИКОВ	465
СТАТЬИ О ТЕАТРЕ	
О старших товарищах	
Режиссер Федор Каверин	493
Актер Михаил Астангов	503
Драматург Евгений Шварц	518
Моя анкета	525
О гармонии и алгебре	545
Заметки о языке сценического произведения	562
Сюжет и сверхзадача	581
Смена объектива	589
Примечания	596
Алфавитный указатель произведений, вошедших в собрание сочинений	604

Крон А. А.
К83 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 3. Капитан дальнего плавания: Повесть; Пьесы; Из балтийских дневников; Статьи о театре/Сост. и науч. подгот. текста Д. Тевекелян, И. Желваковой; Примеч. И. Желваковой.— М.: Худож. лит., 1991.—605 с.

ISBN 5-280-01047-2 (Т.3)

В завершающий том Собрания сочинений А. Крона (1909—1983) вошли повесть «Капитан дальнего плавания» — последнее произведение писателя, посвященное замечательному советскому подводнику Александру Маринеско, лучшие из пьес, а также статьи о театре и театральных деятелях.

К **4702010206-416** **Подписное**
028(01)-91

ББК 84Р7

Александр Александрович КРОН

Собрание сочинений в трех томах

Том третий

Редактор *О. Дворцова*

Художественный редактор *Е. Ененко*

Технический редактор *А. Кашафутдинова*

Корректор *И. Ломанова*

ИБ № 5747

Сдано в набор 27.11.89. Подписано в печать 22.02.91. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт. 31,92. Уч.-изд. л. 31,87. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3706. Заказ № 351. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Государственного комитета СССР по печати. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский пр., 29.

В издательстве
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
готовятся к выпуску
следующие Собрания сочинений:

Балашов Д.— в шести томах

Бек А.— в четырех томах

Грин А.— в пяти томах

Слуцкий Б.— в трех томах

Хлебников В.— в шести томах

3

Of Perceasing
Kings